С. ПОДЪЯЧЕВ
Избранное

С. ПОДЪЯЧЕВ

Избранное

С. ПОДЪЯЧЕВ

Избранное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Редакция
И. С. Подъячева и А. К. Котова

Вступительная статья
А. К. Котова

С. П. ПОДЪЯЧЕВ

На склоне своей жизни Подъячев, по совету М. Горького, написал повесть о самом себе. Он так и назвал ее «Моя жизнь». В этой книге писатель рассказал о долгом своем жизненном и литературном пути, о лишениях и невзгодах деревенского бедняка, выпавших на его долю. Но эта тяжелая, по собственному выражению писателя — «жуткая» жизнь, отражена не только в его автобиографической повести. Все многолетнее творчество Подъячева посвящено теме, близкой личной судьбе самого писателя. Изображая старую русскую деревню, ее беспросветную нищету, бесправие, произвол полиции, дикую власть кулаков и помещиков, Подъячев нередко писал о собственной жизни, о жизни своих однодеревенцев и спутников по горьким скитаниям в поисках куска хлеба. «Он живет в деревне,— писал о Подъячеве М. Горький,— обычной мужицкой жизнью, которая так просто и страшно описана в его книгах».

Но рассказывая в своем творчестве о себе или о людях, близких ему, Подъячев создал немало типических характеристик и, как в языке, так и в изображении лиц и событий, достиг высокой формы реалистического повествования. Уже после опубликования своих первых очерков и повестей Подъячев получил признание широких демократических кругов и вошел в число наиболее популярных писателей, посвятивших свое творчество изображению крестьянской жизни.

Творчество Подъячева не исчерпывается только изображением дореволюционной русской деревни. Один из старейших советских писателей, Подъячев, начиная с 1917 года, активно выступал в советской печати с рассказами, очерками, статьями, посвященными созиданию новой деревни. Уже известным писателем он с восторгом приветствовал советскую деревню — «новую, идущую вперед, не похожую на прежнюю». «Я прошел суровую дореволюционную школу жизни,— говорил Подъячев.— Много писал с болью сердечной о тем-

ноте и дикости, и теперь вот, на закате жизни, я вижу иное, что глубоко трогает и волнует мою душу».

Семен Павлович Подъячев родился в 1866 году в бедной крестьянской семье в селе Обольянове (ныне Подъячево) Дмитровского уезда, Московской губернии. Здесь прошла значительная часть его жизни. Здесь им были написаны повести и рассказы, открывшие в авторе яркое литературное дарование и принесшие ему широкую известность. В той деревне, где рос Подъячев, еще свежи были воспоминания и о крепостном праве. От матери он, например, слышал о том, как его деда, крепостного крестьянина, насмерть засек помещик. «Такие и им подобные рассказы,— говорил Подъячев,— сделали то, что я с детства впитал в свою душу непримиримую ненависть к тому сословию, которое называло себя «белой костью» и глумилось над нами, называя нас «подлыми людишками».

Большой радостью для Подъячева в детстве были книги. Он ухитрялся читать их в сарае, на чердаке, в огороде. Однажды он забрался в барскую рожь и там за чтением заинтересовавшей его книжки был застигнут «самим» барином. С тех пор отец будущего писателя выслушал немало грубых попреков за сына, который, с точки зрения крепостника-помещика, не имел права читать книги.

После окончания сельской школы Подъячев поступил в Череповецкое техническое училище, но на его пути к образованию непреодолимым препятствием стала бедность, и он вынужден был покинуть училище, проучившись лишь зиму. С этого времени начинается самостоятельная жизнь Подъячева. С рублем в кармане он уходит в Москву. «Пошел,— как пишет он сам,— мыкаться по местам». Он служит наборщиком в типографии, сторожем на железной дороге, дворником. Потом снова возвращается в деревню. Работает батраком в помещичьем имении и в монастырях, рабочим на торфяных болотах, угольщиком на выжиге древесного угля.

В это время он начинает писать — преимущественно стихи, подражая Кольцову, Никитину, Некрасову. Желая завязать литературные связи, Подъячев отправляется в Петербург. Однако из этого ничего не вышло, и вскоре он должен был пешком возвратиться к себе на родину. «Не меньше месяца плелся я пеш от Питера к Москве»,— рассказывал Подъячев. Дома его ждали нужда и унижения. «Вот теперь господа узнают, что ты пришел,— говорила ему мать, встречая его после долгой разлуки,— нам с отцом все глаза проколют тобой». Некоторое время Подъячев служил рассыльным в редакции небольшого московского журнальчика «Россия». Потеряв здоровье, он навсегда вернулся в родное село и стал вести жизнь труженика-крестьянина.

Несколько небольших рассказов Подъячева появились в печати еще в конце 80-х годов прошлого века. Однако широкую писательскую известность он приобрел значительно позднее. Годы тяжелой борьбы за существование надолго задержали развитие его дарования. Рассказы Подъячева, напечатанные в 1888 году, остались незамеченными, и он сам не придавал им большого значения. Только перед революцией 1905 года Подъячев выступил в печати с очерками «Мытарства» и повестью «Среди рабочих» и вскоре стал известен как автор рассказов о тяжелой жизни крестьянской бедноты и деревенского пролетариата.

В очерках «Мытарства», которые появились в журнале «Русское богатство» в 1902 году, Подъячев показал страшную жизнь городского «дна», невыносимые страдания и унижение неимущих людей. Сам автор, как он вспоминал об этом позднее, пережил такие же горести, когда не мог найти места в Москве, «весь прожился, проел и пропил с себя одежонку и, очутившись, по обыкновению, в безвыходном положении, попал в работный дом. Попасть в этот работный дом,— вспоминал далее Подъячев,— в те времена считалось среди безработной бедноты последним делом,— то есть хуже уж этого ничего не могло быть». Эти очерки с их беспощадной правдивостью в передаче страшной обстановки работного дома, отличаются глубоким внутренним драматизмом. Подъячев рисует целую галерею персонажей работного дома, не похожих друг на друга ни по своей психологии, ни по личной своей судьбе. Наряду с впавшими в нищету крестьянами и рабочими писатель изобразил здесь и спившегося дворянина, подметив в нем черты полного морального разложения.

Очерки «Мытарства», значительные по самому своему материалу, одушевленные горячим чувством протеста, обратили на себя внимание таких писателей, как Горький, Короленко и Серафимович.

«Прочитав очерки еще раз,— писал М. Горький,— я уловил в тоне рассказа Подъячева нечто, напоминающее мне «Нравы московских закоулков» Воронова и Левитова — писателей, которым были чужды сентиментализм и слащавость народопоклонников. А кроме этого, почуялось и еще что-то от самого Подъячева, что-то почти неуловимое, но своеобразное».

«Его «Мытарства»,— сообщал в письме от 14 ноября 1902 года В. Г. Короленко,— вызвали очень много разговоров, а в Москве они — целое событие».

В газете «Курьер» в номере от 29 июня 1903 года на «Мытарства» Подъячева откликнулся А. С. Серафимович очерком «Призреваемые». «Семен Подъячев в «Русском богатстве» развернул потрясающую картину жизни в московском работном доме»,— писал А. С. Серафимович.

Вслед за «Мытарствами» выходят в свет повести «По этапу» и «Среди рабочих» (1903—1904). Эти произведения, построенные на отдельных моментах биографии Подъячева, как бы продолжают тему «Мытарств», раскрывая дальнейшую картину полуголодных скитаний крестьянина.

В 1903 году, уже после того как были напечатаны его «Мытарства» и «По этапу», Подъячев решил наняться на торфяные разработки, где он работал в прежние годы. Об этом он сообщал В. Г. Короленко в письме от 19 октября 1903 года: «В мае месяце ходил на болота, но неудачно: меня не приняли на работу — не потому, что я негоден, а потому, что тот человек, который взял было мой паспорт (какой-то племянник фабриканта), читал «Мытарства» и вспомнил мою фамилию... Пришлось уходить, да еще чуть ли не с урядником». В этом же письме Подъячев говорит о характере и содержании своей новой повести: «В настоящее время я пишу очерки под названием «Среди рабочих», т. е. я описываю жизнь рабочих в одном барском большом имении, среди которых жил и работал я».

Эта повесть, напечатанная в 1904 году, передает настроения деревенской бедноты накануне революции 1905 года. Многими своими чертами она близка к рассказам А. С. Серафимовича, посвященным изображению деревни в период революционных событий. Подобно Серафимовичу, Подъячев показывает процесс нарастания революционных настроений среди беднейшего крестьянства. Написанная накануне революции, повесть, однако, не содержит в себе событий, развернувшихся в деревне уже в 1905 году, которые глубоко отражены в рассказах Серафимовича.

В повести мы находим самобытные образы представителей деревенского пролетариата. Молодой рабочий Тереха — пытливый и непосредственный человек, смотрящий на ужасы жизни с недоумением и постоянной внутренней тревогой. Ищущий правды Юфим, прекрасно понимающий, как несправедливо устроена жизнь; в решительную минуту он может мужественно встать на защиту интересов трудящихся. Кузнец — озлобленный своей бесправной нищенской жизнью; доведенный до крайности, он ворует у мужика деньги, которые тот выручил от продажи последней лошаденки, но, увидев, что обидел такого же бедняка, как и сам, с глубоким волнением возвращает деньги обратно. За внешне грубым его отношением к своим товарищам-батракам чувствуются искреннее дружелюбие и искренняя отзывчивость к их судьбе. Он яростно ненавидит бар, урядника, но не видит настоящих путей для борьбы с ними.

Глубокая человечность отличает взаимоотношения между рабочими и батраками; мотивы товарищества и дружбы с неослабевающей силой развиваются до конца повествования.

«Людская» в помещичьей усадьбе, так как о ней рассказал Подъячев, с его великолепным знанием всей обстановки, нашла в лице автора повести «Среди рабочих» своего незаурядного, чуткого и своеобразного художника. Драматизм происходящих событий, страшный быт «людской», по мнению автора, вызываются дикой эксплуатацией деревенского пролетариата, нищетой и бесправием, которые бесчеловечно уродовали людей. Поставив себе целью рассказать правду, Подъячев пишет и о том, как в людскую проникала барская мораль угодничества и смирения, калеча людские души, внося атмосферу лжи и разложения. Рисуя людей, проникшихся рабским угодничеством, способных на подлость по отношению к рабочим, Подъячев характеризует их существование, как унизительное, гадкое и жалкое.

В повести изображены и другие сцены деревенской жизни. Весьма выразительно показана жизнь деревенского лавочника — пьяного и дикого человека, с его сумасбродством, гибельным для окружающих. В последующих рассказах и повестях Подъячев развивает тему уродливого и дикого существования деревенских кулаков, их паразитизма, духовной опустошенности.

Повесть «Среди рабочих» — одно из значительных произведений Подъячева. В широком плане рисует автор тяжелую, беспросветную жизнь старой русской деревни и вместе с тем показывает начало пробуждения ее перед революционными событиями 1905 года. Заслуга Подъячева в том, что он показал объединяющее деревенскую бедноту чувство ненависти к помещикам и кулакам и с суровой правдивостью создал образы деревенских рабочих, о которых сравнительно мало было написано до него.

В дальнейших своих повестях и рассказах, написанных в период между двумя революциями, Подъячев продолжает разработку темы из жизни русской деревни. Появляются такие его рассказы и повести, как «Разлад», «У староверов», «Зло», «Жизнь и смерть», «Семейное торжество», «Благодетель», «Шпитаты», «Карьера Захара Федорыча Дрыкалина», «Как Иван «провел время», «В народной гуще», «В трудное время», «За язык пропадаю». В этих и других произведениях Подъячев отражает дошедшее до крайних степеней разорение крестьян, их безысходную нужду и особенно тяжелое положение широких слоев многострадального крестьянства в период реакционной «столыпинщины». Столыпинская политика, делавшая ставку на усиление кулака в деревне, дававшая возможность деревенской буржуазии безнаказанно грабить трудовое крестьянство, привела деревню к крайнему обнищанию и резко обострила социальные противоречия.

Характерного деятеля «столыпинщины» Подъячев изобразил в рассказе «С новостями пришел». Герой этого рассказа, председатель волостного суда,— ярый поборник «решительных мер», проводив-

шихся царским правительством в деревне. Он требует дальнейшего закабаления крестьян, ратует за закрытие школ. «Мужики в своей деревне его терпеть не могли,— пишет Подъячев,— и все собирались «переломать ребра» за то, что он сторонился их и лип к начальству, потрафляя ему язычком».

Таков и герой рассказа «Неприятности» — трактирщик-кулак, хам и живоглот. Он не считает крестьян за людей. «Живу — никого не боюсь...— рассуждает он.— Староста, медаль имею! А эту сволоту, мужичонков-то, я в ногах топчу... Что хочу, то и делаю. Они все у меня вот где зажаты; редкий не должен».

О том, до какого состояния был доведен крестьянин в ту пору, когда у власти стояли помещики и буржуазия, образно говорит герой из рассказа «Разлад»: «...обстругали меня добрые люди... Гляди, что на мне есть... Адам, истинный господь!..» Спасаясь от голода, крестьяне уходили в город и там попадали в условия крайней нужды и нищеты. Эта тема проходит через ряд произведений писателя.

Содержание многих рассказов Подъячева может быть названо трагическим. Кончает самоубийством затравленный местными кулаками писатель-самоучка («Жизнь и смерть»); бессмысленно и нелепо погибает крестьянин в рассказе «Как Иван «провел время»; тяжелая жизнь, полная несуразностей, составляет содержание повести «Забытые». Внимательный наблюдатель жизни, Подъячев понимал, что не эти люди, темные и до крайности забитые, виноваты во всем, что происходит вокруг. Семен Подъячев, писал А. М. Горький, «рассказывал о деревне... всегда как бы в тоне вопросов: — Разве это все можно считать человеческой жизнью? Разве такими должны быть люди? Но разве в этих условиях могут они быть иными?»

Изображение старой русской деревни в творчестве Подъячева противоположно тому чисто зоологическому подходу в освещении крестьянской темы, которым характеризовалась буржуазно-дворянская литература эпохи реакции. В такого рода литературе крестьянин наделялся звериными инстинктами, а темнота и убожество жизни крестьянина объявлялись естественными признаками его существования, якобы не зависящими от социальных и общественных порядков. Как справедливо отметил в свое время Горький, Подъячев, с его суровой правдивостью и глубоким пониманием жизни деревни, продолжал традиции русской демократической литературы.

Подобно тому, как это было в творчестве крупнейших писателей-демократов, неизменно веривших в силы народа, содержание рассказов, очерков и повестей Подъячева не ограничено темой безысходных страданий крестьянства. Он убедительно подчеркивает, что голод и нищета, бесправие и постоянная угроза полицейских насилий не по-

гасили у крестьянской бедноты жгучего желания отомстить за свои обиды и изменить общественный порядок.

Крестьянин-батрак Демьяныч из повести «У староверов» (1907), высказывая обиды деревенского бедняка, у которого «горе одно... земли вовсе мало», выражает законное чувство ненависти к кулакам и помещикам.

Такие, не редкие в рассказах Подъячева, высказывания верно характеризовали настроения малоземельного крестьянства в период реакции, когда царское правительство жестокими репрессиями пыталось задушить малейшую искру крестьянского протеста и всячески укрепляло позицию кулака в деревне.

С особой обличающей силой выведены в творчестве Подъячева типы кулаков, деревенских лавочников, трактирщиков, монахов. О том, что такое деревенская лавка в старой деревне, говорится в рассказе «Как Иван «провел время» (1912): «В лавке этой обмеривали, обвешивали, всучали втридорога самый дешевый и дрянной товаришко. Редкий из покупателей не был должен в эту лавку. Редко кто мог постоянно брать «на чистые деньги» и выбирать товар по желанию. Должники поневоле получали и брали, что дают, выслушивая еще вдобавок попреки и ругательства».

Среди произведений, написанных Подъячевым о кулаках, особое место занимает рассказ «Карьера Захара Федорыча Дрыкалина». Этот тонкий иронический рассказ, написанный в духе щедринской сатиры, воспроизводит чисто комические эпизоды «дрыкалинской карьеры», в которой нелепости паразитического существования перемешиваются с фактами прямых подлогов и воровства. «Я вот не гнушался псов в рыло лизать, ан господь меня и превознес»,— говорит герой этого рассказа, в лакействе и подлости видя отменные качества человеческой натуры.

Фигура стяжателя показана Подъячевым и в рассказе «Разлад». Деревенский кулак торгует женой своего сына, подло угодничает перед помещиком. Его жизнь основана на обмане, лжи, грязи и преступлении. Он убивает сына, не желавшего пресмыкаться перед помещиком, пытавшегося бороться с темными предрассудками отца.

О моральном разложении и растленных нравах кулацкой семьи рассказывает писатель в одной из ранних повестей — «У староверов». Эта повесть, подобно предыдущей — «Среди рабочих», освещает жизнь деревенского пролетариата и вместе с тем обличает животную, полную идиотизма жизнь деревенских кулаков. Самые дикие поступки, свидетельствующие о полном распаде моральных устоев, приводит Подъячев, изображая «лесное» существование кулацкой семьи.

О чувстве собственности, о том, к каким подлым поступкам это чувство может привести, Подъячев мастерски написал в рассказе «Благодетель» (1914). Герой этого рассказа, крестьянин Коза, в молодости способен был на благородный поступок: он усыновил двух сирот. Подъячев вспоминает, что когда-то много лет назад, он работал вместе с ним и дружно жил в маленькой лесной землянке на выжиге древесного угля. По вечерам они вместе читали Гоголя и оплакивали гибель Тараса. «И столько неподдельной жалости,— говорит автор,— звучало в его голосе и столько молодой восприимчивости к вымыслу поэта, что я любил его в эти минуты». С тех пор прошло много лет. Коза стал зажиточным крестьянином, выросли приемыши-дети. Один из них ушел в город, у него уже своя семья, он работает где-то на фабрике и живет впроголодь. Нужно ему помочь. Но здесь-то и взыграло сердце собственника. Чтобы не дать приемному сыну полагающейся ему части хозяйства, Коза решает продать свой двор и уехать из деревни. Встретив настойчивый протест приемного сына, он избивает его и обещает сдать начальству как бунтовщика. С горечью заканчивает писатель свой рассказ о мнимом «благодетеле»: «Я вышел из дома своего приятеля и пошел опять по той же дороге. Так же сияло солнце и так же сверкала зелень, но мысли были иными... «Неужто,— думал я,— это тот же самый человек, с которым мы когда-то, под шум метели, в дымной землянке, зачитывались Гоголем? Или жизнь его подменила?..»

В этом ярком лирическом рассказе большое место занимает описание природы, к изображению которой Подъячев обращается вообще нередко. В его пейзаже нет простого любования,— здесь как бы подчеркивается по контрасту с красотой и поэзией внешнего мира безотрадность существования обездоленных людей. Природа в творчестве писателя нередко играет роль возбудителя активного отношения к жизни, жизнеутверждающего начала. Так, говоря о природе в рассказе «Благодетель», Подъячев пишет: «Я шел бодро и чувствовал, любуясь окружающей красотой, как у меня на душе поднимается что-то давно позабытое, хорошее, бодрое и честное».

Живя в деревне и пользуясь материалом, который в изобилии ему давала окружающая действительность, Подъячев пишет о новых настроениях среди крестьян, о надеждах крестьянской бедноты на социальные перемены. Крестьянин Грач из рассказа «В трудное время» (этот рассказ был написан за несколько месяцев до начала империалистической войны) утверждает неизбежность и необходимость серьезных перемен. «Что-то будет...— говорит он,— разволновался народ... чему-нибудь, а уж быть! Так не пройдет».

Рассказ «За язык пропадаю», с которым писатель выступил менее чем за год до Великой Октябрьской социалистической рево-

люции, также характерен этим предчувствием близких революционных изменений. «Со всех четырех сторон ветер нам встречу»,— образно говорит темный и забитый крестьянин о своей жизни. Он уже заявляет о своих правах и, понимая, что ни писарь, ни старшина, ни земский начальник, ни поп, ни кулацкие заправилы из кредитного товарищества не склонны ему помочь, идет к Подъячеву с решительным вопросом: «Когда мы жить-то будем как надо?.. Все мы вот так и живем, все ждем чего-то, помог бы нам кто-нибудь...»

Показывая, как глубоко крестьянин ненавидит тех, кто живет за его счет, держит в темноте и невежестве, лишает самых элементарных человеческих прав, писатель верно характеризует то положение, которое сложилось в деревне в канун революции. Он понимает, сколь законным желанием была социалистическая революция для деревни и насколько готова была к ней деревенская беднота.

В ряде рассказов Подъячев отразил также глубокий процесс растущего недоверия к лживым либерально-буржуазным декларациям и к официальной печати.

В повести «Забытые» (1909), рассказывающей о тоскливой жизни уездного мещанства, Подъячев дает резкую характеристику буржуазной печати. Говоря о том, как читались в трактире газеты, выписываемые трактирщиком, Подъячев пишет: «Газеты зачитывались, переходя из рук в руки, до того, что под конец превращались в какие-то серые скомканные портянки, хотя, собственно говоря, по своему духу они были тоже не лучше портянок».

После выхода повести «Среди рабочих» Подъячев написал несколько десятков рассказов, очерков и повестей, нашедших признание у демократического читателя. В. Г. Короленко, в свое время отметивший успех «Очерков о работном доме», в 1908 году назвал творчество Подъячева «интересным литературным явлением». Позднее, говоря о творчестве Подъячева, Короленко отметил, что «у него есть свой читатель», и назвал его талант «ярким, сильным, необычайно правдивым».

В большом литературном наследстве Подъячева, однако, не все равноценно, не все написано с одинаковым мастерством. Изображая подробности быта старой деревни и создавая картины бесспорно правдивые, Подъячев в некоторых очерках и рассказах варьирует близкие сюжеты, а иногда переносит похожие события из одного очерка или рассказа в другой. На это обратил внимание еще Короленко, указавший, что ряд своих рассказов Подъячев начинает с одного и того же — например, с перебранки женщин в избе. Любовно следивший за литературной работой Подъячева, Короленко неоднократно указывал и на излишнюю растянутость, «громоздкость формы» его очерков и повестей. «Ваша сила — знание быта и наблюдатель-

ность. Слабость — однообразие и громоздкость формы»,— писал он Подъячеву 22 декабря 1905 года. В другом письме (от 22 сентября 1915 года) Короленко также указывал на недостатки некоторых рассказов Подъячева: «...надо лучше отделывать изложение. Вы страшно растягиваете. Тема для небольшого наброска в 1/2 листа, ну в 3/4 печатного листа, у Вас разогнана больше чем на два. Одно из важных требований от художественного произведения — чувство меры, сжатость изложения. Если слов много больше, чем требуется для отчетливости образов,— то рассказ, даже живой по теме, становится вял и скучен. Внимание невольно притупляется и тускнеет; выжмите из него воду,— и он оживает, становится сразу ярче. Самая выразительная форма — всегда почти и самая краткая. Не следует, конечно, засушивать, изгонять нужные оттенки,— но нужно истреблять длинноты и повторения как в слоге, так и вообще во всем изложении». Некоторые из рассказов изобилуют натуралистическими подробностями. В известном смысле это можно сказать о рассказе «Зло», который в целом был высоко оценен Горьким. «Не помню, кто писал — и написано ли? — говорил Горький,— о том, как мужик любит и ревнует, как он слагает песни от горя и печали своей жизни и вообще каков он внутри самого себя. Насколько я помню, Семен Подъячев первый очень просто и страшно показал в своем рассказе «Зло», как мужик ревнует жену».

Слабые стороны творчества Подъячева, проявившиеся в отдельных рассказах, не могут, разумеется, умалить высокой литературной заслуги писателя. Его рассказы, на первый взгляд похожие на простые рисунки с натуры, отличаются внутренней слаженностью, которая достигалась высоким мастерством тонкого и проникновенного наблюдателя жизни. Подъячев умеет передать настроение, не прибегая к внешним эффектам, пользуясь лишь динамикой речи для развития нередко очень сложного и тонкого психологического сюжета. Ярок и колоритен язык его рассказов и повестей. Едва ли можно заподозрить Подъячева в увлечении областническими или искаженными произношением словами. Их нет в авторской речи. Отступления от грамматических норм он допускает только в языке героев, воспроизводя интонации и обороты крестьянской речи. Но и здесь писатель обнаруживал художественный такт и отличное знание русского языка.

Дореволюционное творчество Подъячева развивалось в русле демократической литературы и испытывало благотворное влияние Горького. Об этом свидетельствует их многолетняя переписка, из которой выясняется исключительно большое значение А. М. Горького в воспитании литературного таланта Подъячева. В письмах к нему Горький неизменно указывает на общественное значение литератур-

ной работы писателя-демократа, нередко определяя задачи, стоящие перед революционной литературой. «Мы с Вами люди хорошего дела,— писал он в 1915 году.— Человек живет затем, чтобы сопротивляться всей массе условий, угнетающих его...» «Нам следует беречь себя для своего хорошего дела»,— напоминал А. М. Горький в одном из своих писем, поощряя Подъячева в его важной работе.

Радостно встретил Подъячев Великую Октябрьскую социалистическую революцию, покончившую с миром нищеты и насилия. В 1918 году он вступил в партию большевиков. С первых же дней советской власти Подъячев — активный участник строительства новой деревни. Он заведует волостным отделом народного образования, создает общественную библиотеку в родном селе, организует детский дом для беспризорных детей. «С великого Октября,— писал Подъячев,— жизнь моя потекла по другому, бурному и радостному для меня руслу». Он активно выступает в печати с рассказами и очерками о новой, советской деревне.

Основное содержание творчества Подъячева после Октябрьской революции — борьба нового, передового, светлого с отсталым и косным. Он пишет о борьбе деревенских коммунистов и комсомольцев с врагами революции, с кулачеством, всякого рода предрассудками, мешавшими революционному переустройству деревни.

Один из сборников Подъячева, объединивший рассказы первой половины 20-х годов, назывался «Злобная тьма». Сюда вошли рассказы, разоблачающие злобствующих на революцию кулаков, церковных проповедников и всяких темных людей, пытавшихся набить карман за счет ограбления крестьян. В ряде рассказов Подъячев показал мерзкие фигурки угодников старых бар — помещичьих лакеев, прихлебателей прежних хозяев жизни. Об одном из них он написал в рассказе «Письмо». Бывший барский кучер получил от сбежавшего за границу помещика письмо, которое привело в жалкое умиление этого «графского гужееда», как его звали в деревне. Но совсем иначе к «графским милостям», обещанным в этом письме, отнеслись крестьяне. Гордые за свою новую, свободную жизнь, они с презрением выслушали графское послание и по заслугам оценили холуйское умиление лакея. Подобной теме посвящен и рассказ «Сон Калистрата Степаныча». Калистрат Степаныч — бывший графский дворецкий, в свое время облеченный доверием «его сиятельства», держиморда и лакей по убеждению. После революции «его,— как пишет Подъячев,— Калистрата Степаныча, дворецкого, которого все боялись и величали «вы», сшибли, так сказать, с копыльев, сравняв с каким-нибудь последним, презираемым им захудалым мужичонком — дядей Митрием». Этот Калистрат Степаныч злобно шипит на новую жизнь и мечтает о том, как вернется граф, как он перепорет

арапником крестьян, в крови потопит все завоевания революции и снова поставит народ на положение раба. Однако даже сам Калистрат Степаныч понимает, что ничего этого не будет и что «этот сон наяву никогда не повторится».

Похож на Калистрата Степаныча и человек из рассказа «Изведи, окаянные». Он неистовствует в бессильной ярости от одной мысли о том, что в бывшей барской усадьбе находится теперь детский дом. Его темным мыслям злобствующего человека противопоставлена в рассказе радостная жизнь детворы из детдома. Борьба со «злобной тьмой» в ту пору требовала жертв, и Подъячев, очевидец кровавых преступлений кулаков в деревне, их черных дел, направленных против народа,— рассказывает об этом читателю.

В очерке «Два мира» писатель с горечью пишет о пережитках старины в быту деревни, о том, например, как в престольный праздник обезумевшие от пьянства люди избивают человека. Однако содержание рассказа не ограничивается только этой картиной,— в противовес ей автор дает изображение «другого мира», характеризующегося победным шествием новой жизни. Так, рассказывая о спектакле в местном клубе, Подъячев взволнованно пишет: «Молодые люди — девушки, нарядно одетые, «кавалеры», кто в гимнастерках, кто в блузе, кто в длинных сапогах, кто в баретках, а кто просто в валенках — все это кружилось, пело, танцевало, смеялось и радовалось той хорошей радостью молодости, вольной и свободной, от которой и глядя на которую мне, старику, хотелось крикнуть идущей ко мне навстречу смерти: «Подожди, дай мне пожить еще! Дай порадоваться на эту молодежь! Посмотреть, как она окончательно сдвинет и сбросит со своего пути все преграды и очистит дорогу, широкую и всю залитую лучезарным светом восходящего прямо из райских дверей солнца...»

Подъячев с гордостью отмечает ростки нового в жизни деревни. Писатель-коммунист, которому дорога судьба крестьянства, полным голосом говорит о возникшем в крестьянской бедноте большом революционном чувстве коллективизма и общей ответственности за великое дело социалистического переустройства. Характерен в этом плане его рассказ «Новые полсапожки», в котором писатель раскрывает психологию советского крестьянина, испытавшего новое для него большое чувство радости от того, что он оказал помощь чужому ребенку. Ощущению нового посвящен рассказ «Понял». Это рассказ о старом крестьянине, в жизни которого в прошлом «все было темно, убого, принижено, забито». Революция разбудила его, он понял, какую страшную, нечеловеческую жизнь он прожил, на что убил свои силы — и какие светлые горизонты раскрываются в новой, советской жизни.

В свое время пришлось Подъячеву за кусок хлеба немало поработать и в монастырях. Живя на положении батрака в святых пристанищах, он мог наблюдать всю ложь, мерзость и обман монастырской жизни. С большой обличающей силой еще в дореволюционные годы раскрывает он эксплуататорскую сущность монастырей, ханжество и праздность духовенства. В письме к В. Г. Короленко в 1902 году Подъячев следующим образом отозвался о своем пребывании в монастыре: «Прожив год в этом пристанище, я удрал, ибо невозможно жить там. Такой срамоты, лжи, ненависти, бессердечия, грязи и гадости вряд ли где и найдешь в другом месте».

В этой связи необходимо указать, что многие крестьяне, выведенные в повестях и рассказах Подъячева, иронически относятся к религии или прямо высказывают свое возмущение против слепого повиновения религиозным предрассудкам.

Понимая необходимость борьбы с пережитками прошлого и высоко расценивая значение пропаганды художественным словом, Подъячев пишет сатирические рассказы, разоблачая носителей старины, высмеивая проделки деревенских церковников.

Последний период жизни Подъячева связан с работой над большой автобиографической повестью «Моя жизнь». О значении этой его работы Горький писал еще в 1926 году: «Очень полезно было бы деревенской молодежи, если бы Вы написали Вашу автобиографию». В письме от 14 января 1929 года Горький снова убеждает писателя в необходимости выступить с автобиографической повестью. «Как живете? Пишете ли воспоминания? — спрашивает он.— Это нужно писать. Нужно, чтобы молодое советское крестьянство знало, как жил и работал его, родной ему писатель. Жизнь Ваша глубоко поучительна. Вы сами едва ли в состоянии понять это. Уж очень Вы скромный человек... И вообще мало цените себя! Но необходимо, чтобы другие оценили Вашу долголетнюю работу...»

В отличие от многих произведений автобиографического жанра, «Моя жизнь» охватывает не только детство или дописательский период жизни автора,— Подъячев рассказал в своей повести по существу о всей своей жизни и о том ее периоде, когда он был уже известным писателем. Поэтому «Моя жизнь» — не только эпопея страданий, мытарств и ужасов, сквозь которые прошел автор, но — несмотря на некоторую сжатость изложения в последней части — превосходный рассказ о том, как складывался и рос талант писателя вопреки всем темным силам прошлой жизни. Глубоко волнующими строками Подъячев заканчивает свою художественную автобиографию: «...На закате своей жизни глубоко убежден в том, что страна наша, наш рабоче-крестьянский Союз в конце концов всколыхнет весь трудовой мир и приведет его под свои красные знамена!

Счастлив, что мне прошлось жить в первые незабвенные годы революции, и счастлив тем, что в нашем трудовом улье есть маленькая частица и моего меда...»

Умер С. П. Подъячев в 1934 году и похоронен в родном ему селе Обольянове, которое теперь в память писателя называется Подъячевом.

С. П. Подъячев занимает видное место в истории русской литературы первых десятилетий XX века. Лучшие его произведения имеют большое общественное и художественное значение. Его рассказы, повести и очерки могут быть названы живым свидетельством о крестьянской жизни на протяжении нескольких десятилетий.

Творчество Подъячева не потеряло своего значения и по сей день. Советский читатель с интересом прочтет рассказы, повести и очерки писателя-реалиста, тонкого и проникновенного знатока жизни русской деревни. «Семен Павлович Подъячев,— писал А. М. Горький,— русский писатель, правдивый и бесстрашный друг людей: он вполне достоин, чтобы его читали вдумчиво и много».

А. Котов

Мытарства

(В работном доме)

Повесть

Тяжела и горька твоя доля,
Бесприютный, оборванный люд!..

I

Как и почему случилось это со мной,— читателю знать не интересно. Достаточно сказать, что я очутился в Москве без места, без гроша денег, без знакомств и в короткое время дошел до положения совершенно отчаянного.

Как-то раз, в один особенно тяжелый для меня день, попал я у Преображенской заставы в известный среди бедного люда трактир, под названием «нищенский», и здесь пропил с себя всю одежду...

Проснувшись утром в какой-то подвальной трущобе, на полу, около двери, я с ужасом увидал, что на мне вместо моего сравнительно порядочного одеяния надето что-то до того грязное и рваное, что в нем не только показаться к знакомым, но и выйти на улицу нельзя... В головах, вместо моей хорошей шапки, лежал на полу какой-то рыжий блинообразный картуз... Я поднял его и под ним нашел свой паспорт, завернутый в синюю бумагу, и десять копеек денег...

— Это тебе, друг, на похмелье, видно, оставили,— сказал мне лежавший неподалеку от меня и наблюдавший за мною старик — кривой, рыжий и худой, как сушеный судак.— Говори слава богу, что вид цел!..

— Что ж теперь делать?! — воскликнул я невольно.

Старик засмеялся, поднялся с рогожки, на которой спал, сел, поджав ноги калачиком, свернул покурить, затянулся раза три-четыре, передал окурок мне и сказал:

— Накось, хвати... Чай, с похмелья-то башка трещит... Ну, с кем греха не бывает... А делать тебе больше нечего, только выпить надо перво-наперво, вот что, а там увидим.

— Выпить? — удивился я.— На что же выпить-то... Где деньги?..

— Найдем!.. Давай-кась гривну-то... Я добавлю... закусить принесу... Выпьем, закусим, дело-то, глядишь, и обойдется... Чего тут!.. Эвося!.. Я сам, брат, не один раз на этом коне езжал... Наплевать!..

Я отдал ему последний гривенник. Он, весело ухмыляясь, ушел куда-то и скоро возвратился назад, неся сороковку водки и каких-то обрезков на закуску.

— Теперича дело пойдет,— сказал он.— Мальё!.. Гляди, на пятак каких обрезков раздобыл — сливки!.. Хлебушка в булочной подстрелил... Ничего, живет!.. Выпьем, закусим, ну, тогда — приходи, кума, любоваться!.. Так-то, друг ситный!.. Тебя как звать-то?.. Женатый?..

— Женат.

— Еще того чище!.. Небось дети?

— Двое...

— Ловко! Хо-хо-хо!.. Приходи, кума, любоваться!.. Н-н-да!.. Слабы мы...

Он сходил куда-то, принес стакан, налил в него водки и дал мне.

— Пей!

— Много...

— Лакай!.. Елка зеленая... много!.. Говори слава богу,— на меня напал. Видал я вечор, как тебя обделывали, жалко стало... прост ты... Я сам такой!.. Пей, пей!.. Отдерет от сердца-то...

Я выпил и вскоре почувствовал, что у меня действительно как будто «отдирает» от сердца... Стало легче... Положение перестало казаться таким ужасным, как трезвому...

Мы разговорились... Он рассказал мне всю свою жизнь, полную бедствий, пьянства, грязи и всевозможных безобразий. Чего только не перенес этот человек!.. Был он и в тюрьме, ходил раз десять этапом на родину, в Костромскую губернию, был несчетное число раз бит, видал и холод и голод...

— Самая, тоись, последняя паршивая собака,— говорил он,— краше мово живет... И нет у меня никого... Один... Издохну — никто «царство небесное» не скажет... О-хо-хо!.. Да!..

Он захмелел и стал плакаться на свою долю... Мне это надоело, и я хотел было идти, но он не пустил меня.

— Куда ты пойдешь?.. Погоди до вечера, пойдем вместе на Хиву [1], там ночуем у Ляпина... Бульонки купим... Едал бульонку-то когда? Нет?.. Попробуешь... Штука первый сорт, и недорого. А завтра... Завтра у нас что, какой день?

— Вторник.

— Вторник... Вот и ладно... Завтра, значит, иди ты, научу я тебя, в Юсупов работный дом... Там по вторникам да по пятницам прием...

— Зачем?

— Зачем?.. Чудак! Куда ж тебе, окромя этого дома, идти?.. Останешься там, заработаешь денег... Одежонку кое-какую справишь, тогда и айда домой, в деревню... Приходи, кума, любоваться!.. Так-то!..

— Да неужели это правда? — воскликнул я.— И меня примут?..

— Известно, примут... Отчего не принять? Я там раз шесть был. Примут! Одежу тебе дадут казенную... Харчи... Двадцать монет за день плата...

— Да ну?!

— Верно... Ты мастеровой, что ли?

— Нет.

— Нет... Ну, в чернорабочие запишут... Все едино... Поживешь месяцев пять, забьешь копейку, тогда и вон... Ну, и того... Приходи, кума, любоваться!.. Не тужи, брат; все, глядишь, перемелется — мука будет... Так-то!.. О-хо-хо! Да!..

Я обрадовался... Мысль попасть в тепло, заработать кое-что, чтобы одеться и уехать домой в деревню, развеселила и ободрила меня...

«Слава богу,— подумал я,— еще есть, значит, исход из этого ужасного положения!» — Так, значит, завтра? — спросил я.

— Завтра... Пораньше... Часиков в семь. Ночуем в Хиве... Утречком попьем чайку, я тебя и налажу...

[1] Хива — известный Хитров рынок [в Москве]. *(Прим. автора.)*

— На чаек-то денег нет.

— Найдем!.. Да вот что, друг, на тебе, я гляжу, рубаха-то новая. На кой она тебе пес!.. Там казенную дадут... Чайку бы сичас попили с лимончиком, а?

— Что ж мне — голому быть?..

— Зачем голому?.. Сделаем сменку! Заместо этой другую получишь да, окромя того, копеек двадцать придачи... Чего уж тут — проживали ворохами, не наживешь крохами. Не рубаха тебя нажила, а ты ее... Айда, значит!.. Все одно ведь до завтра жить надо... Пить, есть захочешь... Стрелять не умеешь... Заметят. Вляпаешься... Елка зеленая! Тут и думать нечего... Дело само показывает, как быть... Идем!

II

В трактире он живо подыскал охотника на мою рубашку. Мне дали «сменку» такую, что страшно было смотреть, и, кроме того, четвертак денег...

К этим деньгам старик прибавил свой гривенник, а парень, купивший рубашку, двугривенный, и вся эта сумма была живо и торжественно, несмотря на мой протест, пропита нами...

До вечера еще было далеко, а сидеть в трактире за пустым столом не полагалось. На улицу идти — холодно... Положение опять казалось безвыходным... Но, видно, мой новый благоприятель-старик был тертый калач, видавший на своем веку виды...

— Вот что, друг,— обратился он к парню, купившему мою рубашку.— На кой она пес, рубаха-то?.. Давай-ка ее махнем, а?.. Сичас бы, понимаешь, чайку попили с лимончиком, а?.. Ты кто такой?.. Мастеровой?.. Без места, что ли?..

— Без места.

— Видать... Вот и он тоже,— указал он на меня,— без делов... Да я нашел ему место... В Юсупов работный дом... Завтра пойдем, поступит... О-хо-хо! Приходи, кума, любоваться!.. Вот тебе бы тоже туда... Одежа там казенная... Харчи важные... Кашей кормят... По двугривенному за день плата... Сметана, сичас провалиться, а не жизнь! Сымай рубашку-то. Я ее сичас копеек за сорок махну, а тебе надеть свою дам... Вот эту, гляди...

— А сам-то?

— А мне не нужно... Я так, без рубахи... Вишь на мне пиджак надет... Зашпилю у горла булавкой, и ладно... Приходи, кума, любоваться!.. Сымай, чего тут волынку-то тянуть!..

Подвыпивший малый, недолго думая, согласился... Старик живехонько сдернул с себя свою грязную и драную рубашонку и всучил ему... Малый переоделся... Старик «зашпилил» ворот пиджака булавкой так, что совсем не было заметно, что под пиджаком нет ничего, и, посмеиваясь, ушел продавать рубашку...

Он возвратился скоро и принес денег... Заказали чаю, взяли «стюдьню» и «сорокоушку» водки... Я не стал пить... Они вдвоем живо осушили ее и, оба сильно захмелев, пустились рассказывать один другому, поминутно ругаясь скверными словами, свои похождения и мытарства... В конце концов малому захотелось еще выпить...

— Чеколдыкнуть бы еще по махонькой! — предложил он.— Да не за большим дело: денег нет!..

Старик, казалось, как будто только этого и ждал.

— Как так нет денег?! — радостно воскликнул он.— Что ты, друг... Денег нет?! А это что?..— Он дернул малого за рукав поддевки.— Нешто это не деньги?! Ах ты, голова!.. Чудак, сичас провалиться!.. Денег нет!.. Да ведь мы сами деньги...

— Ну, брат, поддевку нельзя! — сказал малый.— Главная причина: на мне пиджака нет, одна жилетка.

— А на кой те пес пиджак-то?! — воскликнул старик.— В жилетке проходишь!.. Любезное дело... Приходи, кума, любоваться!.. Есть о чем толковать!.. Наплевать на пиджак!.. Жилетка есть — говори слава богу... Живы будем — акапируемся... Сичас бы, понимаешь, выпили сотку на двоих, да и айда на Хиву... Там переночуем, а утром прямо на верное дело, на работу.

— Не знаю уж, как и быть? — задумчиво произнес малый, оглядывая свою поддевку.— Совестно в одной-то жилетке... Кабы лето...

— Если бы да кабы,— передразнил его старик.— Ишь, какой господин! Кто тебя знает-то? Говорю: завтра вас обоих на верное дело приставлю. Значит, толковать нечего!.. А поддевка ничего,— продолжал он, ощупывая ее,— важная... За два с полтиной с руками оторвут...

— Она не два с полтиной мне встала,— сказал малый,— много дороже... Работа домашняя, прочная...

— Ах, друг, мало ли что она тебе встала... Да здесь, сам знаешь,— Москва... Цены такой не дадут... Говори слава богу, коли два с полтиной получишь... А не хошь целковый? Я сам намедни пальто за рубль за двадцать отдал, а оно, кому не надо, три стоит... На все, земляк, время... Н-н-да!..

— Так-то так, а все-таки...

— Чего все-таки?.. Да будет тебе дурака-то ломать... Чай, не махонький... Поддевки, что ль, не видал?.. Чай, живы будем, не такого дерьма наживем... Брось... Все, друг, что сегодня есть, то и наше, а завтра, что господь даст... Так-то...

— Ну, ладно,— согласился малый и махнул рукой,— где наше не пропадало! Вали... На, примай...

Он скинул поддевку и, не глядя, кинул ее старику. Тот ловко подхватил ее на руки и сейчас же, очевидно боясь, чтобы малый не раздумал, исчез куда-то.

Мы остались вдвоем. Прошло около часа. Старик не шел... Малый стал беспокоиться.

— Уйдет, старый черт, с поддевкой-то... Ищи его... Дернула меня нелегкая...

— Придет! — утешал его я.

— А ты его знаешь?

— Как тебя...

Стали ждать... Прошло часа полтора... Малый стал совсем отчаиваться... Он чуть не плакал!.. Хмель с него сошел совсем... Как вдруг около стола совсем неожиданно, точно из-под земли, появился старик.

— Вот и я! — воскликнул он и ударил рукой по карману, где забренчали деньги.— Вот они, денежки-то — грызутся... В Гавриковом продал за два семьдесят пять монет... А вы, чай, думали, не приду... Небось я не такой человек! Я свое отдам последнее... На, земляк, получай!.. Соточку, значит, сичас дерганем, да и марш на Хиву... Лучше там выпьем... Там просторнее нашему брату... За ночлег платить не будем... Даром ночуем в Ляпинском... Так-то вот, елка зеленая!.. Ха-ха-ха!.. А ты толковал: жалко... Приходи теперь, кума, любоваться!..

— Чего уж сотку лизать, давай сороковушку,— предложил малый, пряча в карман жилетки деньги,— много ль в сотке кишков-то...

— О?! А и правда твоя... Ну,— так, так, так!.. Давай сороковку. Эй, родной, подай-ка нам половиночку...

Половой подал водки. Мы,— на этот раз и я,— выпили ее и, отдав деньги, отправились на Хиву.

III

От Преображенской заставы до Хитрова рынка конец не малый... На улице было холодно... Мороз градусов в двадцать... Мы в наших майских костюмах не шли, а летели... Старик избегал людных улиц и вел нас какими-то переулками, обходя по возможности городовых и зорко следя за тем, нет ли где околоточного, или, как он выражался, «антихриста»...

— Увидит,— говорил он,— заметет, проклятый, всех троих, как пить даст!.. «Пожалуйте, господа, на фатеру... Для вас готова-с...» Приходи, кума, любоваться!.. Меня намедни совсем было один замел в Зарядье... Удрал, слава богу... Есть из ихнего брата собаки... А то есть и ничего... В крещенье меня один остановил на Пятницкой... «Ты, говорит, что?» — «Ничего, говорю, ваше высокоблагородие».— «Вид, говорит, есть?» — «Есть, говорю, ваше сиятельство...» А какой черт есть — нету! «Просишь, говорит, нищенствуешь?..» — «Так точно, говорю, вашеся, потому зрением от господа обижен и опять грыжа... Страдаю грыжей... Заставьте за себя вечно богу молить — подайте на ночлег...» Ничего не сказал, полез в штаны, достал двугривенный. «На, говорит, чертова голова, только уходи, пока цел...» — «Ну, думаю, ладно... с паршивой собаки хоть шерсти клок...»

Пришли мы на Хитров в сумерки... Среди площади, под огромным шатром, толкалось еще много народу... Старик сейчас же купил бульонки и повел нас в трактир.

— Уж и бульонка,— говорил он дорогой,— язык проглотишь... скус, запах... князьям есть, а не нашему брату, стрелку вечному...

Бульонка, которой он так восхищался и которая приобрела на Хиве обширную известность и права гражданства благодаря своей дешевизне, представляет вот что: всевозможные отбросы из мяса и косточек, выбрасываемых по трактирам, ресторанам, харчевням, как вещи

никуда не годные, подбирают, рубят в общую массу, поджаривают, пускают духов в виде перца и лаврового листа — и бульонка готова.

Трактир, в который мы пришли, был, как и все трактиры на Хиве, грязный, вонючий, переполненный золоторотцами...

Крик, шум, отборные ругательства неслись со всех сторон... Дым махорки ел глаза... Лампы горели, как будто окруженные туманом... Люди — оборванные, грязные, испитые, страшные — пили, ели, ругались, бегали, кружились, как будто в каком-то водовороте...

Мне стало жутко... Тоска, как клещами, сдавила сердце.

«Бежать отсюда!.. Но куда? Куда в таком костюме?.. Кому я нужен?..»

Я с отчаянием и с какой-то злобой принялся пить купленную стариком водку, думая заглушить этим боль сердца.

С каждым стаканом в голове у меня мутилось все больше и больше... Перед глазами мелькали какие-то разноцветно-яркие кружочки, часто, часто, до боли... В висках стучало... Сердце готово было выпрыгнуть вон... К горлу подступали и душили непрошенные слезы.

Опомнился я и несколько пришел в себя только уже на свежем воздухе, когда мы вместе с другими людьми шли по улице в гору, мимо части, к Ляпинскому ночлежному дому...

IV

У подъезда этого дома, под навесом и дальше по тротуару, по порядку, «в затылок» стояла толпа человек в пятьсот, ожидая, когда отворятся двери...

Мы остановились в хвосте этой ленты и стали ждать...

Пронзительно-жгучий морозный ветер дул прямо в лицо и пронизывал до костей... Люди жались друг к другу, корчились, топотали ногами, ругались, проклиная тех, кто так долго не отворяет дверей...

Так пришлось стоять около часу... Весь хмель слетел с меня... Я положительно замерзал... Все тело тряслось, как в лихорадке... Зубы выколачивали дробь... Малый в жилетке, стоявший впереди меня, скорчился в дугу и, мне казалось, тихонько плакал... Стоявший позади старик

кряхтел и ругал какого-то племянника скверными словами...

Наконец, двери отперли... Толпа зашумела и, толкаясь, хлынула туда, как лавина... Вместе с другими я очутился в огромной полутемной камере... Двойные нары занимали ее всю, оставляя узкие проходы около стен и посредине... Черный сводчатый потолок мрачно висел над головами, придавая необычайно угрюмый и дикий вид всей обстановке...

Необыкновенно гулкий, какой-то странный, хаотический шум и гам несся со всех сторон... Мне слышались в этом шуме звуки музыки, лай собак, звон, смех, плач, отрывистые возгласы и ругательства, отдаленные крики, шарканье множества ног по чугунному полу...

Дверь, беспрестанно визжа и хлопая, отворялась, впуская все новых и новых ночлежников... Люди, испитые, полуодетые, молодые, старые и совсем дети, ругаясь, толкаясь, крича, спешили занять места на нарах. Что-то страшное, звериное было в этой общей свалке за обладание местом... Вскоре все места на нарах были заняты, а люди все шли и шли... Стали ложиться на полу, в проходах, полезли под нары... Крик и гам усиливался с каждой минутой и, наконец, слился во что-то хаотически-страшное...

Двери заперли, наконец, и не стали больше пускать, так как везде, где можно было приткнуться и лечь, все было занято...

Воздух стал удушливо тяжел... Лампа едва горела, окруженная туманом... Всюду: на нарах, на полу, под нарами, вспыхивали огоньки папирос... Курили махорку, и дым этот, разъедавший глаза, сплошной удушливой волной плавал по камере...

Пораженный всем этим, я видел и думал, что вижу все это не наяву, а во сне, до того странна, дика, безобразно-ужасна казалась мне вся эта, невиданная мной до сих пор, картина человеческого унижения.

Нары были разделены, как лошадиные стойла, железными переборками, так что когда я лег, то голова и половина туловища скрылись в этом стойле, другая же часть тела оказалась снаружи...

Я лег навзничь, положив голову на покатую железную подушку, похожую на монастырское «возглавие», и стал слушать...

Волна общего, сплошного гудящего шума мало-помалу начала стихать... Стали слышны отдельные разговоры, смех, ругательства, вскрикиванья...

Мне захотелось покурить... Я сел в своем стойле и заглянул в другое, через переборку, налево. Там лежал на спине, закинув руки за голову, костлявый, сухой мужчина... Его тонкие длинные руки были голы... Грубая, серая, рваная рубаха висела клочьями... Очевидно, его сильно донимали насекомые, потому что он ерзал как-то всем телом по нарам и сильно, точно опоенная лошадь, хрипел тяжелым астматическим хрипением... Я глядел на него, и он тоже, с своей стороны, уставился на меня широко открытыми, мутными, страшными глазами... Потом поднял руку, прохрипел что-то и вдруг страшно и дико закричал, забился всем телом, как подстреленная птица, в припадке падучей болезни...

Ужас охватил меня... Я хотел вскочить и бежать, но не мог, точно меня кто приковал к месту... Белая пена клочьями показалась из его рта... Он страшно хрипел и бился... Лицо у него сделалось черно-багровое и какое-то невыразимо ужасное...

— Ишь его черти схватывают! — услыхал я вдруг позади себя голос и, оглянувшись, увидал молодого, лет семнадцати, мальчишку с отталкивающе-нахальным лицом и с папироской в зубах...— Нажрется винища-то, дьявол! Ткни ему в морду-то!.. Покою от него нет...— Он перегнулся через перегородку и, схватив больного за волосы рукой, дернул в сторону так, что голова стукнулась о перегородку.

— Пес поганый... дьявол! — добавил он злобно.— Убью, как собаку...

Меня как будто что-то резануло по сердцу... Я отвернулся и упал ничком в свое стойло. Слезы подступили и сдавили горло... Расшатанные всем предыдущим нервы не выдержали... Не помня себя, я вдруг заплакал, как баба, горькими, мучительными слезами.

V

Оглушительный звонок разбудил меня утром... Я вскочил и долго не мог сообразить, где нахожусь. Было еще совсем темно... Ночлежники, точно привидения, нехотя

поднимались с своих логовищ и шли к двери... Я следил за выходящими, надеясь увидать вчерашнего старика, но его не было... Вскоре раздался второй звонок, и кто-то пронзительно громко закричал: «Эй, вон отсюда все! Живо!..» Толпа хлынула к двери, и я вместе с нею очутился на улице...

На улице было темно... Тускло и печально мерцали фонари... Под ногами трещал снег и пронзительно дул холодный ветер. Вышедшие из ночлежного дома люди завертывались в свои рубища и, как-то особенно жалко скорчившись, точно голодные, забитые собаки, разбегались в разные стороны.

Пробежав вместе с другими до Яузского бульвара, я остановился на углу, не зная куда идти... Все тело дрожало мелкой и частой дрожью. Мороз выжимал из глаз слезы, сердце мучительно ныло и плакало...

— Куда идти?.. Господи, что теперь делать? — с отчаянием шептал я.— Погиб, погиб... А дома?.. Что теперь дома?.. Что теперь дома? Жена небось ждет известий... дети...

— Чего тут торчишь?! П-ш-шел к черту! — раздался вдруг позади меня грубый голос, и вслед за тем я почувствовал удар в спину, так что чуть было не упал. Обернувшись, я увидал городового. Он как-то злобно скалил зубы, намереваясь ударить меня еще раз.— Пшел! — опять крикнул он.— Убью!..

Не дожидаясь повторений, я отскочил от него и побежал налево, вверх по бульвару, глотая слезы и корчась от холода, сам не зная, куда и зачем бегу.

Пробежав бульваром, я свернул в переулок и наткнулся прямо на дворника, сметавшего с панели снег. Он взмахнул метлой и ударил меня по ногам. Я упал в кучу снега, так что руки мои по локоть ушли в него. Увидя это, он громко заржал от удовольствия. Я поднялся и, сдерживая слезы, спросил его:

— За что ты меня ударил?

— Проходи, проходи! Разговаривай тут! — сказал он, подходя ко мне.— Вот я те еще трахну... сволочь!.. Золотая рота!.. Куда бежишь-то? Небось норовишь цапнуть что ни на есть...

— Где Юсупов работный дом? — задыхаясь от слез и трясясь от холода, спросил я.

Дворник подошел ко мне вплотную и заглянул в лицо.

— А зачем тебе этот дом? — спросил он каким-то совсем другим голосом и, поставив метлу к фонарному столбу, стал свертывать папироску. Я объяснил.

— А это, друг мой, будет у Красных ворот, в Харитоньевском переулке... Вот здесь ступай, направо... недалеко... Да теперича еще туда рано.— Он помолчал, затянулся и спросил, глядя мне в лицо: — Иззяб?

Я ничего не ответил и пошел было от него по указанному направлению.

— Эй, землячок, стой... погоди! — закричал он мне вслед.— Погоди чуток!

Я остановился. Он юркнул в ворота и минут через пять вышел оттуда, подошел ко мне и сказал, протянув руку:

— Накось тебе гривну, попей чайку... Тутотка вот недалеча, за углом, чайная есть... Погрейся.— И, говоря это, он как-то торопливо и точно стыдясь сунул мне в руку гривенник и быстро отошел прочь.

VI

Придя в чайную, я купил хлеба, спросил чаю и сел в уголок, где потемнее, к столу, на другом конце которого, положив голову на руки, а руки на стол, крепко спал какой-то одетый в хорошее пальто человек.

Я с жадностью выпил несколько стаканов чаю, поел хлеба и несколько пришел в себя. Было еще рано — половина седьмого, торопиться, значит, было некуда... Я закурил, взял потихоньку какую-то газетку и хотел было почитать, как вдруг спавший на другом конце стола человек поднял голову, пристально посмотрел на меня и сказал осипшим голосом:

— Покурить не оставите, молодой человек?.

Я дал. Он жадно затянулся несколько раз и, бросив окурок, сказал:

— А чайку стаканчик?.. Пожалуйста!..

Я налил стакан и передал ему. Он взял его обеими руками, грея их, и сказал, глотая чай:

— Славно!.. Спасибо вам... право... Вы давно здесь?..

— Нет,— ответил я, глядя на его испитое, еще совсем молодое и симпатично-глуповатое лицо.— Я недавно пришел...

— Откуда? — спросил он.

Я ответил, и мы, слово за слово, разговорились. Я рассказал ему свои мытарства. Он внимательно слушал, моргая добрыми, подслеповатыми глазами, и, когда я кончил, сказал:

— Ничего!.. Поправитесь... У вас все-таки, так сказать, есть еще пристань: деревня, дом, жена, детишки... Уйдете туда — и снова жизнь... А вот мне как быть? Куда деться?.. Это вот вопрос... Да-с...

— А вы разве тоже без дела? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он.— Я потерял место и вот теперь, как рак на мели... Пропился вдребезги!.. Ведь все, что на мне одето,— сменка... Черт знает что... право... Пожалуй, я вам расскажу, если хотите, как это все со мной случилось... Делать-то нечего все равно и идти некуда... Знаете, я ведь в этой чайной пятую неделю каждую ночь ночую — так вот, как изволите видеть, сидя... У меня, понимаете, отек ног сделался... Черт знает что такое... право... А ведь я дворянин и нежного, так сказать, воспитания.

Он как-то жалобно засмеялся, сказав это, и продолжал:

— Служил, понимаете, в почтамте... Получил награду к празднику, навернулся товарищ... пошла писать губерния!.. Пропился, как сапожник... Очутился на Грачевке... Денег нет... ничего нет... Пришел на службу, а меня на вынос! Пять дней не являлся... Ах, черт возьми, скверно!..

Он как-то сразу оборвал речь и глубоко задумался.

— Да это все пустяки,— начал он опять после продолжительного молчания.— Дело не в этом, а дело в том, что меня жена бросила... Понимаете, взяла да и бросила... Сбежала от меня, да не одна, а еще захватила собственного моего сынишку... а?

— Как же так? — спросил я.

— Да так, очень просто... «Ты, говорит, пьяница и кормить меня не можешь... Не хочу с тобой бедствовать, дай мне вид. Жить с тобой все равно не стану... ненавижу тебя, как пса...» Так, понимаете, и сказала: «как пса». Что тут делать, а? Пришлось дать вид. Так и разошлись. Она теперь в Твери... у кого-то в экономках, и сынишка с ней...

Он ударил рукой по столу так, что зазвенела посуда, и продолжал:

— Водку пью, как воду... Запить хочу... Нет, понимаете, никакого удовольствия! Стоит передо мной мальчишка мой и зовет и манит: «Папа, папа!» Тяжело!.. Ейбогу, тяжело, молодой человек!.. Жизнь подлая... или я подл... черт знает что такое... право... Хочу пулю в лоб... честное слово!.. Больше делать нечего... Деться некуда!.. Один... никому не нужен... спился.... Что вы мне на это скажете, а?

— Да что ж сказать... место надо найти... перестать пьянствовать...

— Место! — засмеялся он.— Где оно? Какое же место, когда у меня, понимаете, под этим пальто одно только голое тело... рубашки нет... Вот-с, извольте взглянуть, если не верите!

Он распахнул пальто, и я увидел, что там было действительно только одно голое тело.

— Куда, скажите, пожалуйста, кроме как в ад, меня в таком виде примут, а?

— Да что же у вас здесь, в Москве, нет разве никого... ни родных, ни знакомых?..

— Как не быть — есть... Да только, черт их возьми, подлецов, не принимают! Разве это люди!.. Когда жил хорошо — принимали... «Такой, сякой»... А ведь я, честное слово, тогда, как человек, гораздо хуже был... Да, плохо, плохо и плохо!.. Не знаю, право, что делать... Посоветуйте!.. Вы, например, что думаете предпринять, а?..

— Да что предпринять! Хочу вот сейчас идти в работный дом... Может быть, и останусь там. Случайно вчера узнал и вот ухватился, как утопающий за соломинку.

— Знаете что,— воскликнул он, выслушав меня,— и я пойду с вами... ей-богу... а что?.. Вот только работать-то я того... нездоровится мне... А может быть, там есть, так сказать, и интеллигентный труд, а? Вы не знаете? Право, пойду!.. Как вам, право, такая славная идея в голову пришла и как вас господь на меня нанес... Удивительно!.. Давайте-ка курнем на радостях, да и поплывем... Хо-хохо! Работный дом, так работный дом... Не все ли равно, где ни издохнуть, а?.. А что?.. «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть»... О-хо-хо!.. Черт их возьми, подлецов!

Я дал ему табаку и бумаги. Он стал неумело вертеть «собачью ножку» и, засмеявшись, сказал:

— Махорочка!.. Махорочку стал курить дворянин-то

потомственный, а? Ха-ха-ха! Прежде у Мокея было два лакея, а теперь Мокей сам лакей... О, судьба, судьба!.. Но так и надо... Так нам, подлецам, и надо... Да сбудется реченное Иеремией пророком, глаголющим... и так, понимаете, далее и так далее... Кабы моя покойница маман увидала меня в таком положении... Картина бы это была! Помню я, знаете, у моего отца кучер был. Здоровенный такой мужчина, как бык. Губы имел красные, феноменально толстые и слюнявые. И постоянно он, понимаете, махорку сосал, вот из этакой же «собачьей ножки». Раз пришел я, помню, к нему, мальчишка, в каретный сарай, а он курит. «Какой ты, Гурий, табак гадкий куришь!» — говорю я ему. «Нет, говорит, барчук, табак важный... На-ко, попробуй». Вынимает, понимаете, из своих слюнявых губ «цыгарку» и подает мне. Я взял... Совестно как-то отказаться было. Дымлю... Вдруг, понимаете, шасть в сарай маман... Увидала... «Боже мой! Что это такое? Как ты смел, гадкий мужик, из своих отвратительных губ давать ему курить... Ах, ах, понимаете, заразится, заразится!» Ну, понятное дело, Гурия этого к черту намахали, а меня наказали... А теперь? Теперь я у золоторотцев выпрашиваю окурки, а то подбираю их где придется, на бульварах... Отлично ведь, а?

Его лицо как-то подергивалось, а углы губ опустились и нервно вздрагивали. Он, очевидно, сдерживал душившие его слезы и вдруг как-то неестественно странно не то засмеялся, не то заплакал и, вскочив с места, крикнул, запахивая пальто:

— Идемте в работный дом!..

Я подошел к буфету, отдал деньги и пошел вслед за ним на улицу.

VII

Подойдя к Юсуповскому работному дому, мы увидали, что у дверей подъезда стоит толпа людей... Было еще рано... Только что стало рассветать, и дверей еще не отворяли... Мы подошли и смешались с толпой...

Люди жались и корчились от холода точно так же, как у дверей ночлежного дома. Да и люди-то были те же, что и там... Все та же самая «золотая рота», рваная, грязная, голодная и холодная...

Все ждали нетерпеливо открытия дверей, а их

почему-то не отворяли... Толпа между тем все возрастала... То и дело подходили и подбегали новые лица... Наконец, нас собралось человек с двести... Глухой ропот и шум стоял в толпе...

— Скоро ли они там, черти! — слышались ругательства.— Замерзнешь здесь!.. Им хорошо там, в тепле-то...

Стало совсем светло, а нас все не пускали... Мороз между тем как будто усилился... Перезябшие люди бегали по тротуару и жались друг к другу, как перепуганные овцы...

Прохожие, тепло и нарядно одетые, останавливались по ту сторону переулка и глядели на нас с любопытством. Да, впрочем, зрелище и было занятное: некоторые из нас выкидывали полуобутыми ногами такие па, что впору заправскому танцмейстеру...

Какая-то толстая барыня, проезжавшая переулком, остановила против нас своего кучера и громко спросила:

— Что это такое?.. Что за люди?..

— Буры! — крикнул ей кто-то из толпы.— Черти,— добавил другой.— У-у-у, какая! — крикнул третий, и вдруг вся толпа закричала: — У-у-у, какая! Го-го-го!.. Ха-ха-ха! У-у-у, какая...

Перепуганная барыня ткнула кучера в спину, и тот, тряхнув вожжами, пустил с места полной рысью.

— Держи!.. О-го-го!.. Ха-ха-ха!..— заорала и загоготала ей вслед толпа.

Вскоре после этого маленького «развлечения» долго не отворявшиеся двери, наконец, отворились, толпа хлынула было в них, но швейцар не пустил.

— Тише, дьяволы! — приветствовал он нас.— Входи по череду... Куда вас черт несет, обормоты!.. У-у-у, окаянные, погибели на вас нет!.. Передохли бы там, на Хиве-то... Проходи, что ли!.. Работники!..

Начали входить по череду...

В передней, налево у окна, сидел за столом писарь. Перед ним лежала груда «дел» в белых обертках... Он разбирал и готовил их по номерам...

Прямо от входной с улицы парадной двери вела наверх широкая лестница, а направо была открыта дверь в небольшую, прохладную, с одним окном, не то приемную, не то какую-то старинную лакейскую комнату... Нас всех, как баранов или как маленьких поросят в садок, загнали в эту комнату... Теснота и давка сделалась ужас-

ная... Нельзя было вытащить руки, повернуться. Меня и моего приятеля, «дворянина», прижали к стене так, что нам трудно стало дышать...

На стене на видном месте висела бумажка с надписью: «Курить воспрещается»... Но на это не обращали внимания и задымили со всех концов... Вскоре сделалось жарко и душно, как в бане... Швейцар несколько раз просовывал в дверь свою бритую свирепую физиономию и орал, что позовет городового и выведет вон тех, кто курит, но в конце концов кто-то из задних рядов пустил в него оторванной от опорка подошвой, и это его как будто успокоило...

Так пришлось стоять часа два... Ноги начали ныть... Голова шла кругом... Некоторые не выдержали и, опустившись, присели кое-как на пол... Но сидеть на полу было еще хуже, потому что давили и толкали стоявшие... А раз уже сел, то подняться и встать на ноги не было никакой возможности...

Двери в передней давно уже заперли и не стали пускать новых людей, а нас все держали в неизвестности. Бесконечно долго длилось это ожидание, пока, наконец, нам приказано было выходить по одному в переднюю к сидевшему за столом писарю.

Дошел «черед» и до меня, я подошел к столу.

— Паспорт есть? — спросил писарь.

— Есть.

— Фамилия?

Я сказал.

— Имя?

Сказал и имя.

— Звание?

— Мещанин.

— Лет?

— Тридцать.

— Давай паспорт!

Я отдал паспорт и, сделав налево кругом, хотел было встать тут же в передней, но швейцар не допустил этого беспорядка.

— Проходи! — крикнул он, указывая рукой туда, откуда я вышел, то есть опять в ту же набитую людьми комнату.— Живо!..

В комнате этой стало еще хуже... Люди толкались и лезли друг на друга, ругаясь и крича... В дверях происхо-

дила давка... Те, которые не записались, лезли в переднюю, а им навстречу пробивались обратно те, которые записались... Получалась какая-то дикая картина ненужного мученья. В комнате стоял дым коромыслом... Записавшиеся искали местечка, где бы приткнуться, а их в свою очередь давили те, которым нужно было еще записываться... Последние боялись опоздать. Страшные лица, потные, бледные, красные, с вытаращенными бессмысленно глазами,— мы казались выходцами с того света...

Процедура записыванья и отбиранья паспортов, у кого они были, длилась бесконечно долго. Но, наконец, благодарение богу, кончилась и она. Всех нас оказалось сто сорок семь человек...

— Теперь куда же нас? — спросил, наклонившись к моему уху и держась за полу моего пиджака, дворянин.— Резать или на кол сажать? Как вы думаете?

— А вот увидим,— ответил я,— главное сделано... Записали... Отметили... Значит, приняли...

— Утешительно! — пожав плечами, ответил он.— Вы уж меня, ради Христа, не бросайте. Боюсь я до смерти!.. И черт меня сюда принес!.. Загнали, как грешников в ад... Сиди тут!.. Хоть бы жрать скорее дали!.. Неужели не кормят,— как вы думаете?..

— Не знаю... Сомневаюсь...

— Гм!.. Ловко!.. Но стойте!.. Что это такое?.. Кажется, стали выпускать из ада?

Действительно, в дверях произошло какое-то движение... Толпа заволновалась...

— Тише, черти! — крикнул кто-то.— Вызывают!..

Толпа стихла... Какой-то человек в синей рубашке, стоя на лестнице, ведущей наверх, начал выкликивать нас по фамилиям.

— Петров!

— Здеся!

— Проходи!

— Куда?

— Наверх... Дверь направо...

— Похлебкин!

— Похлебкин! Что ты, черт сивый, спать сюда пришел, что ли? Ну, живо!.. Проходи!..

Дошел черед и до меня... Я побежал наверх... Вслед за мной, перескакивая через две ступеньки, летел дворянин... Мы взбежали с ним на площадку и остановились... На-

право была дверь, налево шла лестница наверх, на следующий этаж...

— Стойте! Дайте перевести дух!..— сказал дворянин, тяжело дыша, и добавил, показывая на дверь: — Сюда, что ли?..

Мы отворили дверь и очутились в огромном и светлом зале... Посреди этого зала стояли крытые зеленым сукном столы, за ними сидели одетые в синие рубашки писаря, а между них, за первым столом, как белый гриб среди поганок, восседал в кресле какой-то необыкновенно строгий на вид господин.

— Это, должно быть, сам Юпитер! — шепнул дворянин, указывая на него глазами.— Вот страсть-то!.. Вдруг прикажет нас выдрать...

Зал между тем быстро наполнялся народом... И как-то странно было видеть в нем этих жалких, грязных, оборванных, жавшихся друг к другу, оробевших людей...

Когда все находившиеся внизу люди собрались в зале, началась снова бесконечная процедура записыванья: Кто? Откуда? Чем занимался? Где жил? Женат ли? Есть ли дети? Доброволец или полицейский и т. д. и т. д.

После этого нас отделили, как овец от козлищ: полицейских (присланных полицией) отдельно, добровольцев (то есть явившихся по собственному желанию) отдельно; снова пересчитав, выдали каждому по картонному, на веревочке, билетику с номером дела и велели идти наверх в спальню.

Мне достался номер 2251-й.

— Ну, теперь мы не люди,— сказал дворянин,— а просто номера. Вы какой? Ну, я вас так и буду звать: Две тысячи двести пятьдесят первый, пожалуйте в спальню... Ха-ха-ха... Но зачем же, однако, в спальню, а не в столовую? Это глупо, наконец. Однако идемте... все пошли. Ох, что-то там с нами сделают?..

VIII

Огромное отделение спальни, сплошь заставленное койками, так что оставался один только широкий проход посредине, находилось в верхнем этаже. Туда вела винтовая полутемная, узкая деревянная лестница...

Спальня эта производила какое-то тоскливое впечатление... Все здесь было серо: серые стены, серые одеяла,

серый пол, серый потолок, и даже свет, проникавший в окна, казался каким-то серым...

Здесь, кроме нас, вновь пришедших, сегодня толкалось много поступивших раньше и ожидавших работы, которой пока еще не было...

Многие из них валялись на койках. Некоторые играли в карты. Большинство же шлялось наподобие одуревших овец, с какими-то странными, как мне казалось, голодными лицами из одного конца спальни в другой...

Мы, вновь пришедшие, разместились, кто как умел и как мог... Я, с неотстававшим от меня дворянином, сел на край порожней койки и с любопытством стал приглядываться к людям и прислушиваться к разговорам.

Из разговоров я вскоре понял, что работ никаких нет. Люди живут здесь пока без дела, и когда будут работы — неизвестно. Между тем народу накопилось много.

— Здеся, в Москве, народу еще не ахти много,— говорил высокий, худой, косматый, с глазами навыкате, мужик.— А вот в Сокольниках, в тамошнем доме, бают, страсть што... Отседова туда гонят... Кажинный день партия... Вас ноне, похоже, тоже туда погонят... Раздадут вот немного погодя белье... в баню сгоняют... одежу дадут, и того... марш в Сокольники...

— Слышите,— сказал дворянин,— нам еще, значит, предстоит прогуляться в Сокольники с пустым, так сказать, желудком... Любезный,— обратился он к говорившему мужику,— а в какое место в Сокольниках нас погонят, не знаешь?..

— Как не знать... не близко... Тишину знаешь?.. Ермаковская улица... фабрика была допрежь сахарная там Борисовского... Слыхал, может?.. Ну, а теперича там этот самый работный дом... отделение то есть... Самому мне тамотка быть не приходилось... Да и здесь-то я впервой... Плотник я... по пьяному делу попал... Ну, а люди баяли, которые оттуда пришли, больно плохо там нашему брату... Главная причина — работ нет, а народу — сила!.. Вальмя валит!.. Вот ужо на ночь погонят туда... Увидим...

— А покормят нас нынче... не знаешь, а?..

— Не знаю, брат... Ужо ужинать будут... Да только, мотри, вам не придется... Потому вас в баню погонят, а опосля бани одежу получать в чихауз пойдете, а там к доктору на осмотр... Навряд!

— Да как же быть-то?.. Жрать хочется!..

— Как быть, терпи!.. Бог терпел и нам велел... Завтра пообедаешь в Сокольниках...

— Завтра!.. Да до завтра-то сколько?.. Сутки! Помрешь ведь... Утешил: завтра... Что же это такое?.. Я убегу!..

Окружающие засмеялись...

— Ишь ты какой стрюк выискался,— послышались голоса,— есть захотел... Убегу?.. Нет, брат, отседа не убежишь... Здесь крепче тюрьмы... ишь ты! Зачем тебя пес с Хивы-то пригнал... Жрал бы там бульонку... А то к жене бы шел, она тебя супом покормила бы... Ха-ха-ха! Барин дикой!..

От этих насмешек мой дворянин покраснел и, наклонившись ко мне, сказал:

— Черт их знает... Прибьют еще...

— Потерпите,— сказал я,— терпят же люди...

— Какие люди?

— А вот все...

— Да разве это люди?

— Кто же?

— Черти... Звери... Все, что хотите, но только не люди!..

Я посмотрел ему в лицо, окинул взглядом его тощую фигурку и сказал:

— За такие слова вас, пожалуй, действительно прибьют.

Он как-то сморщился и, помолчав, сказал:

— Покурить бы!

— У меня нет... весь вышел...

— Попросите у кого-нибудь.

— Попросите вы сами...

— Ну вот, стану я у них просить!.. Попросите вы... Вы к ним ближе... Свои люди...

— Землячок! — обратился я к почтенному с виду и, как мне показалось, доброму седенькому старичку.— Нет ли покурить?.. Одолжи, сделай милость, на папироску...

Старичок посмотрел на меня, подумал и с какой-то особенной мягкостью в голосе сказал:

— Ступай-ка ты, родной, к кобыле под хвост. Ишь ты, ловкий какой!.. Дай ему табачку... Табачок-то чать на деньги покупается... Как ты полагаешь?.. Чудно, пра, ей-богу!.. Дай ему, видишь ли ты, табачку,— обратился он к близ стоявшим людям.— Выискался какой табаш-

ник!.. Откедова ты такой склизкой... Табачок-то здесь дороже хлеба... Дай ему табачку... Ах, в рот те!..

— Слышите? — сказал я дворянину.

— Хам!.. Свинья! — проговорил он и замолчал, насупившись...

IX

Прошло немало времени... Стало смеркаться... Мы ждали, что вот-вот позовут получать белье... Но нас никуда не вызывали...

Спальня со всей ее обстановкой, с толкающимися без дела какими-то ошалевшими оборванцами надоела до смерти... Хотелось поесть, отдохнуть, успокоиться... Бестолковый, несмолкаемый гул человеческих голосов раздражал нервы... Являлась какая-то беспричинная непонятная злость...

— Черт знает что такое! — говорил дворянин, пожимая плечами.— Скоро ли конец?.. Надоело все это!.. Дурак я, что послушал вас и пошел сюда. Вы виноваты... Какие, однако, идиотски-бессмысленные хари! Приятное общество, нечего сказать!.. Посмотрите, пожалуйста, вон на того парнишку... Вот отвратительная харя!.. Сходить, однако, разве вниз?.. Узнать там у кого-нибудь, скоро ли примут относительно нас какие-нибудь меры... Какого черта, на самом деле!.. Я ведь не кто-нибудь... не золоторотец... Привилегированное лицо... Я пойду!..

— Как хотите! — сказал я, чтобы отвязаться от него.— Идите...

Он поднялся и хотел было идти, но в это время в спальню вбежал, или, вернее, точно из-под полу выскочил, какой-то молодой, в синей рубашке, малый и закричал во всю силу своих легких:

— Эй вы, золотая рота!.. Новенькие!.. В чихауз!.. Белье получать... Живо!..

Мы все, точно с цепи сорвавшись, толкаясь, рискуя сломать шею, бросились вслед за ним по винтовой лестнице вниз...

На площадке второго этажа нас остановили... Направо была дверь в какой-то полутемный коридор... В конце этого коридора горела лампа и виднелась еще дверь в кладовую, или, как здесь выражались, в «чихауз», где и выдавали белье...

— Становись все в ранжир, по порядку,— орал малый в синей рубашке.— Живо!.. Ну ты, черт косматый, куда лезешь? Становись, тебе говорят!.. В морду захотел?.. Встали?.. Ну, марш! Живо! Не задерживать!.. Кто получит белье, иди вниз, в столовую... Там дожидайся все!..

Торопясь, словно на пожар, толкаясь, ругаясь, совсем как будто одурев, лезли мы в чихауз за бельем, напоминая, вероятно, на взгляд свежего человека, толпу сумасшедших...

Получившие белье крепко держали его в руках, как драгоценность, и торопливо, с выражением боязни, как бы не отняли назад, бежали вниз по лестнице, в столовую...

Получив свою пару, я тоже отправился туда... За мной, не отставая, следовал дворянин. Он повеселел и расцвел, получив белье...

— Вот это дело! — говорил он.— Хоть и грубое, а все-таки белье... Отлично! Белье выдали и в столовую послали... Очевидно, покормят... Иначе, зачем бы в столовую, а? Как вы думаете?..

Но ему пришлось горько разочароваться: в столовую нас загнали лишь затем, чтобы гнать отсюда в баню.

Когда все собрались, надзиратель, хорошо и тепло одетый, приказал нам выходить на двор и строиться попарно...

На дворе было полутемно и страшно холодно. Кое-как построившись и дрожа от холода в своих нищенских костюмах, мы стали ждать... Вышел надзиратель, пересчитал всех, выдал каждому по кусочку мыла и опять ушел... Пришлось снова стоять и ждать на морозе... Прошло с полчаса... Мы стыли, тряслись и чуть не плакали от холода... Некоторые стали громко роптать... Большинство же молчало, терпеливо и покорно ожидая.

Наконец, явился надзиратель, велел переменить фронт и становиться по порядку, один за другим, затылок в затылок... После этого нас опять пересчитали и погнали, наконец, в баню...

X

Выйдя за ворота, мы сбились, как овцы, в одну нестройную, сплошную толпу и пошли посреди улицы, возбуждая своим видом удивление в прохожих.

На улицах было много снега... Он шел с утра... Мы месили его своими полуобутыми ногами и, корчась от холода, не шли, а торопливо бежали... У меня, к довершению бедствий, вдруг отвалилась подошва. Пришлось ступать в снег прямо голой ногой... Сначала я чувствовал холод, потом как-то обтерпелся и, мысленно махнув на все рукой, бежал за другими...

У бани нас остановили, построили опять по порядку, один за другим, и стали пускать по череду. Я стоял в хвосте, и когда, наконец, дошел черед до меня и я попал в баню, то увидал, что там не только мыться, а и встать-то негде. Кроме нас, как оказалось, в бане в этот же вечер мылись солдаты... Теснота, давка, ругань, крик, стук были невозможные... Баня казалась каким-то адом... Голые тела, возбужденные, озлобленные, красные лица, пар, запах мыла, духота, едва горевшие в туманной мгле лампы — все это вместе взятое представляло фантастически-мрачное и грустное подобие ада.

Нас торопили... Так или иначе, а надо было раздеваться и мыться... Приткнувшись кое-как у порога, я сдернул с себя свою рвань и протискался к крану. Какой-то добрый человек, завладевший шайкой, предложил мне мыться из нее с ним вместе. Я, конечно, с радостью принял это предложение. Мыла у меня не оказалось... Я обронил его где-то... Обмывшись кое-как, на скорую руку, из шайки теплой водой, я побежал одеваться, радуясь все-таки, что хоть так-то пришлось сполоснуться и надеть белье на чистое тело.

Процедура мытья продолжалась недолго, потому что торопили и подгоняли. Тем, которые вымылись и оделись, не позволялось оставаться в бане, а приказано было выходить на улицу и там ожидать, когда кончат и выйдут остальные...

Это стояние на улице после жаркой, душной бани я никогда не забуду!..

XI

По возвращении из бани в работный дом нам, полузамерзшим, не дали ни поесть, ни пообогреться, а прямо погнали в чихауз получать верхнюю одежду...

Все мы выстроились в холодном коридоре друг за другом, точно так же, как при получке белья, и начали сни-

мать с себя по приказанию начальства свою собственную одежду и сапоги...

Каждому из нас выдали по бечевке и велели этими бечевками как можно крепче связать узлы с своей одеждой... Если же узел стягивался не крепко, то его с ругательством развязывал человек, заведовавший приемом и выдачей одежды, и кидал его в лицо владельцу...

Другой человек сидел у двери при входе в чихауз, записывал номера и фамилии и выдавал медные блестящие кружочки с номерами, по два каждому. Один из них привязывался к узлу с одеждой, другой выдавался на руки.

Оба они, и записывающий и выдающий одежду, страшно злились и ругались на чем свет стоит... Вероятно, им страшно все это надоело, и они отводили душу.

Одежду выдавали старую, рваную, вонючую и грязную... На ноги — мягкие, сделанные из шерстяных жгутов «чуни», точно такие, в каких бабы-богомолки ходят весной к преподобному Сергию...

Выдавали разно: одному попадал коротенький, «этапный», полушубок, другому — из толстого сукна не то пиджак, не то поддевка. Штаны тоже были разные: некоторым попадались из толстого сукна и довольно крепкие, другим — какие-то синие, тонкие, как тряпка... Моему дворянину (мы стояли с ним на череду последними) совсем было не выдали никаких: ему дали рваный пиджак, чуни, а штанов не оказалось: все вышли!

— Нет штанов! — сказал выдававший одежду.

— Так как же мне быть-то? — спросил дворянин, разводя руками.— Без штанов ведь невозможно!..

— Ну, еще разговаривать стал!.. И без штанов пойдешь!

— Отдайте мне назад мои... Я в них пойду.

— Молчи, черт!.. Поговори еще!.. В рыло захотел!..

— Да как же я без штанов-то... Идиоты вы эдакие... Говорят, нас в Сокольники погонят... как же я пойду?

— Так и пойдешь... не велик барин-то... Ночью не видать, а там дадут...

— Не пойду я без штанов!

— Не пойдешь?!

— Не пойду!.. Что за безобразие такое... Я жаловаться буду...

— Не пойдешь?! Жаловаться?! Так вот тебе штаны... На, получай!.. Иди жалуйся!

И прежде чем он успел что-нибудь сказать и сделать движение, его схватили за шиворот и без церемонии вышвырнули в коридор...

— Как вам это покажется, а? — обратился он ко мне, чуть не плача.— Что же это за самоуправство такое, а?.. Казенных не дают, свои собственные отобрали, да еще и по шее бьют!.. А? Что? Ведь я говорил — бить будут... Так и вышло... Во всяком случае я без штанов в Сокольники не пойду... Простудиться мне, что ли, черт их возьми, подлецов!..

— К доктору!.. Эй, идите к доктору на осмотр! —закричал кто-то.— К доктору, к доктору!..

— Остается только теперь послать нас к черту! — сказал дворянин и добавил: — Вот хождение-то души по мытарствам... Однако хорош на мне костюмчик... Не правда ли?.. Очень миленькая выйдет, так сказать, жанровая картинка — прогуляться таким образом в Сокольники, а?..

Я посмотрел на него и не мог не засмеяться. Широкие, стоптанные, на босу ногу чуни, широчайшие «невыразимые», драный, сальный пиджак и высокая, как у Шевченко, барашковая (своя) шапка...

— Клоун! — сказал он с горечью.— Вот если бы теперь на меня покойная маман взглянула, а? Фу ты, черт!.. «И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может статься с человеком!..» — продекламировал он из Гоголя и, как-то отчаянно махнув рукой, добавил: — Наплевать!..

XII

Доктор, почтенный с виду, бородатый, с очками на носу господин, спасибо ему, не задерживал нас. Его осмотр оказался до крайности прост.

Он сидел за столом вместе с какой-то барышней в челке, вероятно фельдшерицей, и, не глядя на пациента, спрашивал себе под нос:

— Номер дела?

Пациент подавал картонный номер.

— Грыжа есть?..

— Нет.

Барышня с челкой брала номер и делала на нем с другой стороны клеймо, букву С, то есть «способен».

— Следующий.

Подходит следующий.

— Грыжа есть?

— Нет.

— Проходи!.. Следующий! Грыжа есть? — и т. д.

Дошел черед до дворянина.

— Грыжа есть?

— Есть!

Доктор поднял голову и с удивлением посмотрел на него.

— Давно?

— Не помню, с каких именно пор, по всему вероятию, как я думаю, с детства... Наследственная, наверно... потому и отец мой страдал ей же... Да, кроме того,— продолжал он,— я чувствую боль в боках, и вообще я нездоров и на тяжелую работу неспособен.

— Гм!.. Ну, неспособен, так и запишем, что «неспособен»... Незачем было идти сюда: здесь не богадельня, а работный дом... Неспособен! — обратился он к барышне...

Та положила на номер клеймо Н., то есть «неспособен», и вручила дворянину.

— Проходите... Следующий!..

XIII

После докторского «осмотра» нас опять загнали в столовую. Было поздно — десятый час вечера... Пора бы дать отдохнуть и покормить измучившихся и наголодавшихся за этот бестолковый день людей. Но не тут-то было! Оказалось, что нас сейчас же погонят в Сокольники.

Началась снова бесконечная перекличка людей по фамилиям.

— Иванов! Сидоров! Столбов! Стригунов! Проходи к двери... Живо!.. Стройся попарно!..

— Ты что без штанов, косматый черт? — заорал надзиратель, когда дошел черед до дворянина.— Где штаны?.. Пропил, что ли?

— Мне не дали... Не хватило...

— Как не дали?.. Врешь!..

— Не дали...

— Как же быть?.. Нельзя ж тебе идти без штанов... Эй, Шинкаренко! — обратился он к молодому парнишке, стиравшему со столов сор.— Сбегай на спальню, возьми у певчих штаны какие-нибудь похуже... Скажи, за них после новые дадут... Отходи прочь! — заорал он на дворянина.— Эй, кто там следующий... Киселев! Перов! Эстен! Выходи скорей! Дьяволы!

Наконец, нас вывели на двор, у ворот опять пересчитали и тогда только погнали в Сокольники...

Голодные и злые, шли мы, не соблюдая никакого порядка, как попало, среди улицы, меся чунями рыхлый и глубокий снег. Прохожие останавливались и глядели на нас... Некоторые подавали деньги, думая, вероятно, что это идут арестанты. Дворники и извозчики глумились и острили на наш счет:

— Эй, землячки, куда бог несет?.. Ай в деревню к женам?.. Кланяйтесь там нашим... На Хиву-то когда придете?.. Го-го-го...

С болью в сердце и с чувством невыносимой гнетущей тоски шел я за другими, думая не о себе, а о своих близких, оставленных там, дома, в деревне. Что, если бы они узнали про мои похождения?..

Долго шли мы... Чем дальше, тем все глуше, печальнее и темнее становилась улица... Ветер пронзительно свистал и дул нам прямо в лицо, казенная одежда грела плохо... В особенности зябли ноги, обутые в гадкие, без подверток, тяжелые чуни... Люди шли молча, спотыкаясь, толкая и подгоняя друг друга... Ни разговоров, ни смеху не было слышно. Только изредка раздавались ругательства, в которых слышались проклятия и злость на горькую долю...

Наконец, мы свернули с шоссе влево и, пройдя немного темным и узким переулком, остановились у ворот... Сторож отпер их, и мы вошли в какую-то пустынную и длинную аллею. Огромные, высокие сосны глухо шумели вершинами... За деревьями вправо виднелись развалины не то какого-то строения, не то забора — трудно было разобрать в темноте... Дальше, налево, были небольшие дома, а еще дальше, прямо в глубине, куда гнали нас, виднелась какая-то огромная масса строений... Мы подошли к этим строениям, свернули влево, мимо огромной фабричной трубы, а затем вправо, за угол, обойдя высокий красный

дом, и направились вниз под горку, к какому-то мрачному и тоже красному дому. Достигнув его, мы взобрались по скользким обледенелым ступенькам в темные сени, из которых вошли, как оказалось, в столовую работного дома.

Столовая эта, уставленная поперек длинными узкими столами и скамейками, состояла из двух больших с низкими, темными потолками комнат. В прежнее время здесь, вероятно, была какая-то фабричная мастерская. Голые стены с обвалившейся кое-где штукатуркой выглядывали чрезвычайно мрачно... Точно так же были мрачны и высокие, с одной только правой стороны, окна с большими стеклами в красных переплетах рам... Холодом и сыростью несло от каменного, выстланного большими серыми плитами пола. Вообще вся эта столовая производила какое-то до крайности тягостное и тоскливое впечатление, точно тюрьма или затхлый могильный склеп.

Надзиратель вместе с другим человеком, худощавым, с злыми бегающими глазами, одетым в коротенькое полупальто, сел к столу, достал из сумки бумагу и начал выкликать по фамилиям. Мы подходили... Одетый в полупальто человек окидывал глазами каждого из нас с ног до головы и записывал себе в какую-то тетрадку наши костюмы.

— Штаны какие? — спрашивал он.

— Черные!

— Полушубок?

— Нет... Пиджак.

— Сапоги?

— Чуни.

— Проходи... Следующий!..

Когда все это кончилось, нас, голодных, озлобленных, усталых, погнали, наконец, на покой в спальню.

— Марш на спальню в пятнадцатый номер! — крикнул надзиратель, и мы все, толкаясь и спеша, хлынули из столовой.

«Слава тебе, господи,— подумал я,— наконец-то отдых!..»

XIV

Я побежал вслед за другими через двор к тому угловому огромному красному дому, мимо которого мы проходили ранее, идя в столовую.

По узкой вонючей лестнице я вслед за другими взобрался на третий этаж, вошел в помещение спальни и... остановился, пораженный картиной, которую увидал.

На меня пахнула целая волна затхлых, вонючих испарений и дыма, смешанных с шумом и криком множества людских голосов. Сквозь густой и зловонный туман глаза мои с трудом могли разглядеть огромную длинную камеру со сводчатым потолком, поддерживаемым деревянными столбами, разделенную на три помещения.

По обеим сторонам этой камеры, оставляя проход посередине, стояли сдвинутые попарно, вплотную, койки. На койках, под койками, на полу, в проходе, везде, где только было свободное место, валялись люди...

Многие спали... Но наш приход, приход ста сорока семи человек, которые, как звери, ворвались в спальню, разбудил всех. Крик, шум, ругань слились в один сплошной гул.

Надо было торопиться и искать, где бы приткнуться и лечь на ночь... Я прошел, шагая через ноги валявшихся на полу людей, в самое дальнее помещение спальни и нашел там себе местечко на полу, в проходе около двух крайних, сдвинутых вплотную коек. Одна из них была порожняя, а на другой полулежал, облокотившись на руку, и курил, глядя на меня, какой-то красивый молодой человек в грязной рубахе с расстегнутым воротом.

Я снял с себя полушубок, положил его шерстью вверх на пол, сел, снял чуни, положил их в головы под полушубок и хотел было ложиться, как вдруг человек, сидевший на койке и не спускавший с меня глаз, сказал, дотронувшись до моего плеча рукой:

— Послушайте-ка... Ложитесь вот на эту койку... Она порожняя... На ней никто спать не будет, потому что слесарь, который на ней спал, попал сегодня в больницу и поэтому не придет, а я говорю всем желающим лечь на ней, что она занята... Ну, а вас мне почему-то жалко... Вы точно мертвец... Ложитесь!..

Понятно, я с радостью согласился и, подняв свой полушубок, сел на койку, глядя с особенным любопытством на человека, так кстати предложившего мне это место.

Он был высок и очень красив. С виду ему было лет тридцать. Наружность его резко выделялась из окружающей среды. Лицо его было худощаво и нежно... Продолговатые черные глаза глядели задумчиво и строго... В них

мелькало какое-то особенное, полупрезрительное выражение.

— Полушубок-то вы свой под кровать бросьте! — сказал он с улыбкой на тонких и бледных губах.— Я по опыту знаю: насекомые съедят вас... Вот поносите денька два-три, узнаете и сами... Бросайте его под койку к черту и ложитесь... Курить хотите?..

Я взял от этого неожиданного благодетеля папироску и с наслаждением, понятным тем, кто курит, несколько раз затянулся так, что у меня пошла кругом голова и зарябило в глазах.

— Ну, что новенького в Москве? Рассказывайте-ка!..— сказал он и потянулся на койке всем своим тонким и длинным телом.— Или вы, может быть, спать хотите, а?.. Так я вам скажу, что навряд ли заснете... Во-первых, потому, что шум смолкает только под утро, а во-вторых, не дадут клопы... Без привычки не заснешь... Ну, привыкнете, тогда дело десятое... Вы полицейский?..

— Нет, доброволец.

— Гм! Охота вам была в этот ад идти. Умеете что-нибудь делать?.. Мастеровой?

— Нет.

— Это и видно... Что ж, чернорабочим записались? Гм!.. А прежде где жили?.. Служили где-нибудь на месте, да?

Я удовлетворил его любопытство и, помолчав, сказал:

— Есть страшно хочется... Целый день ничего не ел... Нас нигде не кормили.

— Так вы давно бы сказали! — воскликнул он.— Чудак вы... У меня хлеб есть... Хотите? Целая пайка... Я в карты выиграл... Вот! — Он достал из-под изголовья большой квадратный кусок черного хлеба и подал мне.— Нате вам и кружку,— добавил он, доставая ее оттуда же.— Сходите, вон там, в ушатах, вода стоит, зачерпните и валяйте.

Я сходил по его указанию за водой и, возвратясь назад, принялся было за еду, как вдруг ко мне, бог его знает откуда, точно из-под земли вырос, подскочил дворянин и почти закричал на меня:

— Куда вы скрылись?! Я нигде вас не найду... Черт знает что такое!.. Я чуть не погиб здесь... Черт меня занес в этот дьявольский дом. Где вы достали хлеба?.. Дайте мне... Поделитесь... Вот так ловко! Сам жрет, а про меня

забыл... Кроме шуток, дайте, ради Христа, кусочек!.. Смерть моя!.. Издыхаю!.. Черти! Мучили, мучили целый день, хотели было без штанов по Москве прогнать, есть не дают... Тьфу, безобразие!..

Я отломил и дал ему кусок... Он с жадностью, точно голодная собака, набросился и начал не есть, а буквально пожирать хлеб, чавкая губами и не разжевывая... Человек, уступивший мне койку, внимательно и, как мне казалось, с каким-то отвращением и презрением глядел на него. Его тонкие, бледные губы кривились и нервно подергивались... Он, видимо, что-то хотел сказать, но сдерживался и молчал...

— А спать вы где ляжете? — спросил дворянин, съевши данный мной кусок.

— Вот здесь на койке! — ответил я.

— На койке! — воскликнул он.— Да неужели? Как же это вы нашли?.. Вот счастливец!.. Послушайте! Уступите ее мне!

— А я-то где же?

— А вы на полу!.. Для вас, я думаю, все равно?.. Вы, наверно, там у себя, в деревне, привыкли валяться на полу, а?.. Уступите!..

Я ничего ему не ответил... Мне стало как-то неловко, как будто чего-то стыдно. Я чувствовал, что краснею и не могу посмотреть на него...

— А вы кто такой будете? — вдруг с какой-то дрожью в голосе спросил у него сосед, уступивший мне койку.

— Я... То есть как это, кто буду?.. Человек, как видите!

— Вижу, что человек... Я не о том вас спрашиваю... Звание ваше?

— Дворянин... А что?

— Дворянин... А, дворянин!.. Барин... Белая кость!.. Понимаю! Так почему же ты предлагаешь ему на полу лечь, а сам хочешь на койку, а?.. Койка моя... Я дал ему ее! — продолжал он, возвышая голос.— А ты уйди!.. Тебе здесь не место... Мы не дворяне... Зачем ты к нам, мужикам, лезешь? Тебе дали, как собаке, кусок хлеба, сожрал — ступай к черту! К своим дворянам! Уходи, а не то!..

Он не договорил и приподнялся на койке. Лицо его побелело... Губы тряслись... Черные глаза сверкали и бегали...

Мой дворянин посмотрел на него, как-то сжался весь, хотел было что-то сказать, вероятно выругаться, но ничего не сказал, вскочил с койки, где сидел рядом со мной, согнулся и, как-то держа голову набок, отошел прочь и скрылся в другом помещении спальни.

XV

— Ведь вот,— заговорил мой новый благодетель, проводив его злыми глазами,— дрянь какая-то, а гонору сколько. Наверно ведь с Хивы пришел... Делать ничего не может. Где ему!.. На Хиве небось занимался рассылкой писем к знакомым... Дело легкое...

Он лег навзничь, положив руки под голову, и замолчал, глядя в потолок.

— Ложитесь,— сказал он помолчав.— Чего же вы не ложитесь? Особых приглашений не будет...

Я поднял какую-то серую большую тряпицу, изображавшую одеяло, и лег на грязный, вонючий, сбитый и скомканный тюфяк рядом с ним.

— Вы женаты? — спросил он, повернувшись на бок и глядя на меня в упор своими красивыми черными глазами.

— Да.

— Небось и дети есть?

— Есть.

— Где ж жена, не секрет?

— Дома, в деревне.

— Как же вы сюда попали?.. Извините... Пропились?..

— Да.

Он помолчал немного и сказал:

— Хорошо теперь в деревне...— И, опять помолчав, с какой-то затаенной грустью продолжал: — Я ведь тоже женат... И у меня тоже дети... Теперь, наверно, двое... Когда я отправился в Москву, один еще был только сынишка, Петька, ну, а теперь, наверно, еще родился кто-нибудь... Наверно!..

— А вы давно в Москве? — спросил я.

— Я... Нет... Какой черт давно!.. Всего только третий месяц. Второй месяц пошел, как я здесь вот, в работном доме... Я ведь полицейский... то есть попал сюда через полицию... За нищенство забрали, хотя я, собственно

говоря, и не просил никогда... Мне еще здесь около месяца придется отсиживать...

— Как же вы попали?

— Как попал?.. По пьяному делу, конечно... Перепился точно так же, как и вы, да и как все здесь...

— Вы в Москву места искать приехали?

— Как вам сказать,— ответил он,— и сам не знаю! Мне собственно не следовало из дома уходить... Характер у меня чертовский, вот что! Мне все как-то скоро надоедает... Жена у меня, например, красивая, добрая, славная, и люблю я ее так, что и сказать не могу... Третий год всего как и женат на ней, а ведь вот, откровенно вам скажу, я и ушел из дому больше от нее... Назло ей захотел сделать... Как она плакала, как умоляла меня не уходить... Нет, не послушал, ушел... Бросил ее, да еще как бросил-то... Ей, может быть, всего только неделю до родов осталось!.. Как она теперь там, несчастная, бог знает! Главное, то подло, что она не знает, где я... Изныло у меня все сердце! А написать не хочу... Не хочу, да и все... Выберусь отсюда, уеду... У меня кое-что заработано... Только одного боюсь,— продолжал он и провел рукой по лицу,— водки!.. Боюсь, как получу деньги — выпью... Ну, тогда не знаю, что... Тогда я погиб!..

— А вы не пейте!

— Не пейте!.. Легко сказать — не пейте!.. Не знаю там, как вы пьете, а я вот как пью,— слушайте, я вам расскажу... Когда я уходил из дому, жена на коленях передо мной стояла — умоляла не пить, плакала... Руки мне целовала... Надоело мне все!.. Последние два рубля взял у жены... Уверил ее, что, как приеду в Москву, сейчас же поступлю на место и пришлю денег... Мать-старушка тоже просила не уходить... «На кого ты нас бросишь, несчастных?.. Жена беременна... Последние дни ходит... Чего тебе недостает?.. Какое тебе там место? Кто приготовил?» Ну, и все в таком же роде, понимаете... Мать у меня старая, лет семидесяти, бывшая крепостная... Я мещанин, приписанный к городу Звенигороду... Недалеко от Москвы, верст пятьдесят... Домик у нас свой... Землю у господ арендуем... Огород... Покос... Корова есть, лошадь, куры, ну, словом, все, кроме денег, и жить вообще можно... «Что я,— говорю матери,— буду здесь зиму-то без дела с вами на печке сидеть?.. Я на место поступлю, а весной приду опять, когда надо...» — «Никакого тебе места не надо,—

говорит она,— а погулять ты захотел... Попьянствовать... Ну, как знаешь, иди... бог с тобой...» Собрался я с вечера... приготовил одежду... пиджак, брюки, жилет, самые хорошие. На женины деньги, что взял в приданое, и купил-то их... белье, рубашки вышитые, платочки носовые, полотенчики... ха-ха-ха! Ну, словом, все! Сапоги отличные, опойковые, с резиновыми калошами... тоже на женины деньги куплены были... шубу и шапку барашковые. Ну, одним словом, барин,— так сказать, франт! Всю ночь я эту последнюю не спал... и жена тоже. Боже мой, как она просила меня не уходить!.. «Милый, хороший, не уходи, не бросай меня... умру я... Забудешь ты меня в Москве!.. Не уходи, не уходи!..» Ах, да что и говорить!.. Не расскажешь этого...

Он замолчал, сделал папироску и лег навзничь.

— Черт знает что такое! — воскликнул он вдруг, как-то сразу перевернувшись на бок ко мне лицом, и со злостью кинул на пол скомканную папироску.— Как объяснить это? Ведь я отлично знал тогда, что делаю подлость, что делаю возмутительное дело, что убиваю ее... Мне хотелось плакать, глядя на ее мученья и слезы, и вместе с тем мне были приятны ее слезы... Тешили они меня... тешили мое чертовское самолюбие... Плачешь... страдаешь... жалко... любишь... мучаешься... и мне тяжело, а все-таки я уйду... мучайся тут... страдай... плачь! Ах! — с отчаянием воскликнул он.— Не могу я объяснить этого чувства... рассказать не могу... изныло сердце! Подлость, подлость, и вместе нет подлости, а есть любовь, одна только любовь!.. Ведь люблю же я ее!.. Господи!.. Да, кажется, вот так сейчас бы и упал ей на грудь... заплакал бы... Все-то бы, все поняла она сердцем своим добрым!.. И простила бы!..

Он повернулся вниз лицом и, как мне показалось, начал кусать подушку зубами.

— А что, если она,— воскликнул он, привскочив на койке и схватив меня за руку,— померла!.. Померла от родов?.. А? — И он с выражением ужаса глядел на меня, ожидая ответа.— Тогда,— продолжал он, и глаза его дико сверкнули,— я разобью себе голову об стену или сожгу на огне, как полено дров!.. О господи! — продолжал он, немного успокоившись и выпустив мою руку из своей.— Я не знаю, что говорю и делаю... Во мне все горит и кипит... То мне жалко всех... то я готов зарезать свою

мать, своего собственного ребенка!.. И всегда так, с самого, понимаете, моего детства, все у меня шло вразрез. Я всегда был не такой, как другие... В глубине души я чувствовал себя способнее и умнее своих товарищей... Учился я отлично. Покойный отец не жалел денег на это. Деньги были... Он занимал место управляющего в богатом имении. Хотя он был простой человек, малограмотный, но страшно гордый и ученье ставил выше всего. Да не судил ему бог вывести меня — помер. Так я и не окончил нигде... Средств не стало. А господишки, которым мой отец служил всю свою жизнь, перенося их дикий произвол, не захотели платить за меня... Так я и сел на мель!.. Ну, вырос я, окреп... Сняла старуха мать землю в аренду... женила меня... живи!.. Пить я стал сначала тайком, еще до женитьбы, а потом въявь... пристрастился к водке. Да, тяжело это, а все-таки люблю. Голова кружится и горит, как в огне, сердце бьется, готово выскочить, рой мыслей, одна другой смелее, кружатся в голове!.. О, в это время все мне ясно... все я могу переделать, переменить... Стоит только мне захотеть, и я открою людям глаза, и все изменится к лучшему... Изменятся мысли, отношения, обычаи, земля превратится в рай земной, а люди — в братьев... Я говорю тогда и верю в могущество своего слова, верю, что мною найден ключ к счастью, ко всеобщему благу... Я забираюсь в такие минуты в какую-нибудь трущобу, к пьяным людям, где сидят отрепанные, растерзанные девки, пьют водку и ругаются, как извозчики. Я кричу, что настанет день великого торжества и счастья, что придет то время, когда, по словам поэта:

...не будет на свете ни слез, ни вражды,
Ни бескрестных могил, ни рабов.
Ни нужды, беспросветной, мертвящей нужды,
Ни цепей, ни позорных столбов!..

Мне кажется тогда, что я великий человек... оратор, вития!.. Что передо мной масса слушателей. Что кругом меня все так красиво, светло, радостно, просторно... Я упиваюсь своими словами... слушаю их, и мне кажется, что во мне все ликует, поет, пляшет. Но когда из моей головы выдохнется водка,— продолжал он, понизив голос,— тогда я падаю с неба на землю, прямо в грязь! Тогда я не могу совладать с собой... Все мне гадко... Тоска, тоска гложет сердце! Я убегаю от постылых людей, забираюсь в какую-

нибудь дыру и горько, сам не понимая, не зная о чем, плачу...

Он плакал и теперь... Слезы катились крупными каплями из его черных, как черная смородина, глаз по разгоревшимся щекам. Я, затаив дыхание, слушал и смотрел на него. Мне было грустно. Я чувствовал, что дрожу, но не от холода,— в спальне было жарко,— а от чего-то другого.

— А годы между тем идут,— продолжал он,— все лучшие годы... Тратится жар души в пустыне... Собственно говоря, лично я ничего не желаю... Богатые и бедные, сытые и голодные, умные и глупые всегда страдают и будут страдать... Не в этом дело... А вот — где справедливость? Где правда?..

Он замолчал, сел на койку, обхватил колени руками, широко раскрыл глаза и проницательно взглянул на меня.

— На чем я остановился-то? Да... Ну так вот, всю ночь мы с женой не спали... Она плакала, а я уверял ее, что все будет хорошо... Утром поднялся чем свет, переоделся, забрал белье, шубу надел... ухожу!..

Жена пошла проводить... Зашли мы с ней в лес... С версту от дома... Погода была гадкая, снежная... Устала она, запыхалась... В таком-то положении, понимаете... «Не ходи дальше, говорю я ей, устала... Простимся здесь, и иди обратно...» Заплакала она... Бросилась ко мне на шею... «Не забудь там меня, шепчет, не забудь, голубчик мой... Не уходи... Вернись... Помру я без тебя тут... Немного уж мне осталось...» Высвободился я из ее объятий и пошел прочь... Прошел шагов сто, до повертка... Оглянулся, вижу: стоит она, руки заломила, плачет... Остановился и я... Слышу, шепчет мне в одно ухо совесть: «Останься, что ты делаешь?» А в другое: «Иди, иди, иди!.. Пусть ее плачет... Это ничего... Значит, любит... Будь мужчиной... Покажи свою твердость... Иди... Она тебя за это еще больше любить будет...»

Нахлобучил я шапку, поднял воротник у шубы, махнул рукой и скрылся из ее глаз за повертком... Ну, и пошло... Дошел до села, прямо в кабак... Напился... Нанял подводу в город... Приехал... опять прямо в трактир — «Низок» называется, где обыкновенно золотая рота обитает... Заказал четверть водки, собрал этих молодцов, напился с ними, рассказал им, как с женой расставался, плакал, проповедовал им что-то, песни они мне пели,

Христом меня называли... Шубу, помню, я здесь же продал, и как потом очутился в Москве, уж и не знаю... Знаю только то, что очутился на Хитровке и что у меня нет ничего... Ни денег, ни белья этого вышитого-то, ни платочков носовых, ни полотенчиков — ничего! Чист и гол, как турецкий святой!.. Что делать? Куда идти?.. Началось мученье... Не в холоде и голоде дело... Это наплевать, а вот душевная-то мука, которая терзает душу, жалит, как огнем, сердце, растравляет, как мучительную рану, совесть и вместе с тем делает свое великое дело, обновляет и очищает человека! Не знаю, как вам объяснить, но только для меня в этом есть невыразимая прелесть... Может быть, этого-то очищения мне и хотелось...

Он молчал, думая что-то, и потом продолжал:

— Остался я на Хитровке жить... Ночевал у Ляпина... Питался кое-как... Все собирался домой идти, да не успел... Забрали меня, и вот сюда попал... Теперь скоро, впрочем, выйду... Ну, тогда прямо домой... Хоть замерзать на дороге, наплевать, а только домой, домой!.. Жена так и стоит передо мной в той позе, как я ее в лесу бросил... Жива ли она?.. Господи! Ну, как нет!.. Что тогда? Кто виноват? Я... Что мне за это?.. Какую казнь? Боже мой, боже мой!..

Он отвернулся от меня, закрылся одеялом и замолчал.

— Завтра вы не ходите утром в столовую чай пить... все равно толку не добьетесь,— сказал он из-под одеяла,— здесь напьетесь, со мной... У меня чайник есть и все... Спите! Прощайте!..

XVI

Я не спал всю ночь... Масса впечатлений, вынесенных в продолжение этого безалаберного дня, до того расшатала нервы, что было не до сна. Забылся и заснул я только под утро. Но и этот сон был прерван оглушительным звуком трещотки. Я вскочил, не понимая, где нахожусь и что такое за треск раздается около меня. Опомнившись и придя в себя, я увидал сторожа, который ходил по всем отделениям спальни и оглушительно трещал на своем инструменте... Кажется, мертвый и тот бы восстал от этих звуков... Кроме того, он орал во всю глотку отвратительные ругательства, заставляя скорее вставать и убираться из спальни в столовую...

Мой сосед не вставал... Он лежал, закрывшись одеялом с головой, и не подавал, так сказать, признаков жизни. Посидев на койке и видя, что все одеваются и уходят, пошел и я...

На дворе было ветрено, морозно и совсем темно... Скорчившиеся фигуры людей, подобно привидениям, поодиночке и целыми партиями бежали вниз под горку, мимо трубы, в столовую...

Столовая, битком набитая народом, изображала из себя настоящий ад... В тусклом полусвете ламп, окруженных каким-то смрадом, оборванцы с фантастически-страшными лицами лезли к столам, добиваясь какой-то болтушки вместо чая... Ругань, крик, шум были страшные!.. Дело доходило чуть не до драки...

Служащие, из таких же, как здесь выражались, «призреваемых», то есть такие же золоторотцы, как и мы все, одетые в синие рубашки и подобранные, видно, нарочно молодец к молодцу, но с какими-то прямо-таки разбойничьими лицами, разносили чайники, ругаясь отборными ругательствами и бесцеремонно тыча «в морды» тем, которые подвертывались им под руку.

Какой-то молодой, тщедушный, страшно бледный, испитой, лет семнадцати парнишка подошел к двери «кубовой», где заваривали из огромного клокотавшего куба чай, и, держа в тонких, как спички, руках кружку, жалобно попросил кипяточку.

— Дайте кипяточку кружечку,— сказал он,— сахару-то у меня есть кусочек... Я б выпил заместо чаю... Погрелся бы...

— Кипяточку тебе? — переспросил малый, одетый в синюю рубашку.— Сейчас... С нашим удовольствием... На, получай...

Он схватил стоявшую в углу на куче сора и всяких нечистот метлу и ударил ею мальчишку по лицу... Парнишка отскочил... На его лице показалась кровь. Он горько заплакал, вытирая глаза рукавом казенного пиджака...

— Черти! — между тем орал прислужник.— Лезет всякая дрянь!.. Кипяточку... Вот тебе кипяточек... Мало? Еще дам...

Видя все это и как-то обалдев от непривычного шума, ругани, крика и смрада, я хотел было уйти обратно в спальню номер пятнадцать... Но туда меня уже не пус-

тили... Здесь, как оказалось, был заведен порядок, чтобы весь этот несчастный чернорабочий люд, за неимением пока дела, пребывал в столовой, не имея права с пяти часов утра до шести вечера отлучаться из нее куда бы то ни было... Этот порядок был крайне тягостен... Представьте себе множество народа, загнанного в тесное помещение, с утра и до ночи обязанного находиться в шуме, толкотне, духоте, грязи, и вы поймете, как это тяготит и озлобляет полуголодных и без того ошалевших, несчастных людей...

Чернорабочие не то, что слесаря, столяры и вообще мастеровой люд... Этим, так или иначе, всегда есть дело; чернорабочим же надо ждать, пока потребуется партия куда-нибудь на железную дорогу, на свалку или еще куда... За неимением же работы приходится сидеть у моря и ждать погоды...

В столовой скопляется в такое время по нескольку сот человек... Люди, как тени, с унылыми лицами ходят, толкутся, курят, ругаются и ждут с нетерпением с утра — обеда, а с обеда — ужина...

Делать было нечего... Пришлось возвратиться снова в столовую... Чай отпили... Народу скопилось такое множество, что не было свободного местечка сесть... Те же, кому удалось приткнуться где-нибудь, покидали свои места только в крайних случаях... Столовая гудела человеческими голосами, точно лес в бурю или громадный котел, который гудит и бурлит закипая...

Какая-то гадкая смесь из дыма, копоти, сырости, людского пота и испарений стояла в воздухе... Лица, худые и полные, бледные и красные, старые и молодые, мелькали перед глазами, как мелькают деревья, столбы, поля, деревнюшки, когда смотришь из окна вагона во время быстрого хода поезда...

Сосредоточиться, остановить внимание на каком-нибудь одном лице не было никакой возможности...

Разговоры окружающих меня людей, когда я несколько свыкся с шумом и стал прислушиваться к ним, велись по большей части на одну тему... Тема эта: как пропился, как заработаю, куплю пиджак, брюки, найду место... Или же: как и где забрала полиция, как «стрелял», как жил на Хиве, как воровал...

Один седенький, маленького роста старичок, на голове которого была надета порыжевшая с широкими полями

шляпа, привлек мое внимание своим чрезвычайно симпатичным лицом... Я подошел к нему, и мы мало-помалу разговорились... Он сидел в уголке, на выступе окна, у самой двери, и добродушно поглядывал с улыбкой на толпу сновавших мимо людей, покуривая коротенькую трубочку-носогрейку.

Из его слов оказалось, что он попал через полицию за прошение милостыни и сидит здесь третий месяц, а когда выпустят — не знает...

— Плохо здесь,— жаловался он мне,— порядку нет, работы нет... вша поедом ест... в тюрьме много лучше...

— А ты был?

— Эвося! Ты спроси: где я не был?..

— Чем же там лучше?

— В тюрьме-то?.. В тюрьме, я тебе прямо, как перед истинным, скажу, для нашего брата, что в раю пресветлом...

— Да ну! — воскликнул я, удивленный этим сравнением.

— Вот те и ну... Не нукай, не запрег... Верно тебе сказываю... Ты слушай: перво-наперво чистота... спокойствие, порядок... Умирать не надо!.. А главная причина — харч: ешь, пока брюхо не разопрет...

— Плохо же тебе, должно быть, жилось на свете,— сказал я, глядя на его морщинистое, удивительно симпатичное лицо,— коли ты лучше тюрьмы ничего не находишь.

— Всего бывало,— ответил он улыбаясь,— жил, жизнь изжил... Теперича мне три тесины да поверх крышку, боле ничего и не надо!.. Так-то, землячок!.. Накось, курни... Чай, табачишку-то нету?..

В окнах начало светлеть... Пришел ламповщик с двумя привязанными к боку на веревке «ершами» и задул лампы... В столовой сделался полумрак... Гул голосов как будто несколько стих... Люди, сидевшие на скамейках за столами, спали, положа на них головы... Не имевшие мест,— а таких было большинство,— топтались в этой полутьме, как напуганное стадо овец...

Стало совсем светло... День начинался ведренный, морозный. Солнечный ослепительно яркий свет проник всюду, и при этом освещении картина получилась еще печальнее... Вся нагота, грязь, рвань выплыли на свет в

настоящем своем виде, застланные только дымом махорки.

Я нигде не видывал, чтобы так много и жадно курили, как здесь... К обмусленному, жгущему уже губы, брошенному на пол окурку бросалось несколько человек разом, стараясь завладеть им и хоть как-нибудь, рискуя обжечь губы, затянуться, или, как здесь говорили, «хватнуть» разочек...

Особенно запомнился мне один чахоточный, желтый, высокий и худой, как скелет. Обернувшись лицом в угол, он жадно глотал, втягивая щеки, табачный дым... Глотнет раз, другой, боязливо обернется, посмотрит кругом, как затравленный волк, идиотски мутными глазами и опять, обернувшись в угол, жадно и часто начинает глотать!.. Что-то до того отталкивающее, страшное и вместе жалкое было в фигуре этого согнувшегося чахоточного человека, что я до сей поры не могу забыть его... Фигура эта так и стоит у меня перед глазами, как живая, во всей своей отталкивающе ужасной наготе!..

Время шло бесконечно медленно... От непрестанного гула и шума кружилась голова... Тело чесалось и горело, как в огне... Из шерсти полушубка на чистую холщовую рубаху выползали насекомые в таком множестве, что я струсил, зная, что избавиться от них нет никакой возможности.

— Что, землячок, это, видать, не у женки на печке,— сказал, улыбаясь, какой-то мужик, чернобородый, как жук.— Так нам и надо!.. За дело! Час мы себя тешим, а год чешем... Так-то!.. Да, брат, их в этой самой шерсти-то, может, сила — лопатой греби! Сам посуди, как не быть-то: я поношу — оставлю, ты поносишь — оставишь, так оно колесом и идет... Кабы их, полушубки-то, прожаривать, ну, тогда дело десятое... а то ему износу нет!.. Разорвал ты, примерно... Клок выдрал... Сичас на этот самый клок заплату приляпают... Готово дело!.. Так заплату на заплату и сажают... В Москве вон, когда на работу идешь, все новое дают: полушубок, валенки, рукавицы... Неловко там-то: господа ходят, начальство... Ну, а здесь нашего брата замест собак считают...

— Ох-хо-хо,— продолжал он печально,— горе наше нас сюда гонит, а главная причина — слабость к винному делу... Я вот кузнец... На воле-то каки деньги заколачивал, а тут вот пятые сутки без делов, и уйти нельзя: до

гашника пропился... Бить нас надо, кнутом жучить, чтоб помнили... Да!..

Он вдруг остановился, послушал и сказал:

— Никак запели?.. Так и есть! Вечор тут двое каких-то стрюцких, должно из легавых, важно пели... Надо полагать, это опять они... Пойдем послушаем.

Народ, как волна, хлынул в другое отделение столовой, откуда доносилось пение. Мы тоже прошли туда, в самый дальний угол около стены. Народ сплошной массой окружал это место... Через головы толпы я увидел сидевших на скамейке двух каких-то субъектов...

Один был пожилой, худощавый, с длинными волосами, с горбатым носом. Другой — совсем еще молодой, почти мальчик, белокурый и румяный, с круглыми навыкате глазами.

Пропев что-то негромко, как будто налаживаясь, они замолчали, посмотрели на толпу, перешепнулись о чем-то, и вдруг, как-то сразу, старший махнул рукой и запел чистым и могучим басом. К нему сейчас же пристал молодой со своим тенором, и полились чистые, тоскливые, так и резанувшие по сердцу слова неизвестно кем сочиненной песни:

Ах ты, доля, ах ты, доля,
Доля бедняка,
Тяжела ты, безотрадна,
Тяжела, горька!..

Казалось, что эти рыдающие звуки шли не из темного угла столовой, а падали откуда-то сверху отчаянным дождем слез. Как будто неведомая болезненно-жуткая скорбь перенесла в эту столовую всю тоску и горе забитого, обездоленного люда...

Не твою ли, бедняк, хату
Ветер пошатнул?
С крыши ветхую соломку
Поразнес, раздул?..

Все слушали, затаив дыхание, не шевелясь... Песня лилась широкою волною... Этот жалобный вопль, мольба, стон и плач как будто расширили столовую своим безбрежным отчаянием. Жутко было слушать... Жутко и сладко... Люди стояли молча, вперив глаза в певцов, и не одна, думаю, грудь колебалась от мучительных

рыданий, и не одно сердце ныло, плакало и горело огнем мучительных воспоминаний о лучшей, давно прошедшей, закиданной грязью, залитой сивухой жизни...

Я слушал, глотая слезы, и передо мной быстро и ярко проносились картины за картиной... Точно какое-то огромное окно вдруг открылось перед глазами, и я глядел в это окно, вновь переживая то, что было так давно и что прошло, прошло навсегда!..

Я сижу на берегу, под кустом, и гляжу на поплавок... Мне жарко... Клонит ко сну... Рыба не клюет... Я быстро стаскиваю с себя рубашонку, штанишки и бросаюсь, перекрестясь, в студеную, прозрачную, как хрусталь, воду!.. Каким дождем посыпались брызги! Как хорошо!.. Как весело!.. Как радостно бьется мое детское сердчишко!..

Боже мой! Где это все?.. Я ли это был тогда?.. Где тот я?.. Куда он делся?.. Что осталось от него?.. Кто виноват?.. О, как тяжело...

И снова мелькает картина.

За речкой — лес... Изъеденный донельзя комарами и мелкой мошкарой заяц, торопливо ковыляя и смешно вскидывая задом, выскакивает вдруг, как полоумный, на полянку, садится на задние лапки, вытягивается, слушает с уморительно серьезной мордочкой, шевеля кончиками поднятых ушей, и вдруг ни с того ни с сего принимается передними лапками часто-часто тереть себе щеки...

Но вот где-то далеко-далеко слышатся раскаты грома, глухие и мощные... Гроза еще далеко, но уже деревья притихли и ждут ее чутко и боязливо... Ярко светившее солнце скрылось... Темносвинцовая туча растет, величаво-медленно надвигается, ползет по небу, как бы цепляясь огромными лапами за верхушки леса...

В лесу все затихает... Но вот где-то загудело... Шум все растет... Вот сразу как-то вся затряслась, залепетала листьями чуткая осинка... За ней зашумели березы... Тяжелые капли дождя зашлепали по листьям. Оглушительный удар грома рассыпался над головой, и вслед за ним льет, как из ведра, дождь...

Удары грома, блестящие зигзаги молний, вой ветра, шум леса — все слилось в одну общую, необыкновенно величавую гармонию. Но вот мало-помалу гроза стихает... Дождь все тише и тише... Постепенно удаляясь, громыхает гром... И вдруг сразу в лес ворвалось солнце!.. Господи, как хорошо! Как все блестит и сияет! С листьев, как

алмазы, падают дождевые капли... Трава и умывшиеся цветы стоят и точно смеются... Птицы опять зачирикали, защебетали, запели...

Мы с матерью ходим по лесу и собираем грибы...

— Сенька! а-у-у! — слышится где-то вдали ее голос.— Сенька, постреленок, где ты?! А-у-у!..

Певцы вдруг как-то сразу кончили... Слушатели долго не отходили от них, ожидая новых песен... Но они больше не пели и, поднявшись со своих мест, ушли куда-то...

XVII

Подошло время обеда. Служащие в столовой молодцы, отвратительно ругаясь и толкая людей, начали расставлять по столам солонки... Застучали большущими ложками и такими же чашками...

— За хлебом!.. Марш за хлебом! — заорал один из них.— Живо!.. Не отставать... не задерживать!..

Толпа хлынула из столовой, давя в дверях друг друга, на двор и построилась там по череду один за другим длинной вьющейся лентой...

Это делалось потому, что хлеб и «воробьев» (так называли здесь небольшие кусочки мяса) выдавали у дверей столовой, но только с другой, противоположной стороны ее... Получившие хлеб входили в двери и прямо садились за столы, начиная по порядку, с конца... Благодаря такому порядку все размещались без давки и шума...

Но прежде чем попасть в столовую, приходилось долго ждать на морозе... Тем, которые попадали в черед первыми, еще ничего... Но представьте себе положение тех, которые стоят и ждут в самом конце этой живой человеческой ленты, состоящей человек из трехсот, а то и больше. Скоро ли дойдет черед до них... да и дойдет ли?..

Случается так: ждут, ждут, подвигаются, подвигаются черепашьим шагом к вожделенному крыльцу, на котором оделяют каждого «пайкой» хлеба и кусочком мяса (действительно похожим на общипанного воробья), как вдруг у самой цели этого ожидания: «Стой!.. поворачивай назад... местов больше нет... все столы заняты...» Жди, пока отобедает эта партия и начнет обедать другая такая же, если еще не больше...

Если бы я был художник, я нарисовал бы эту живую ленту людей, ожидающих обеда... Я нарисовал бы эти изнуренные, голодные, злые лица, эти разношерстные, рваные костюмы... скорчившиеся фигуры... грязный, обледенелый двор и осветил бы все это яркими, веселыми лучами солнца... И тогда, я думаю, у зрителя явился бы вопрос: что это такое?.. люди ли это, или какие-то ободранные, загнанные, затрепанные собаки, дожидающиеся, когда им выкинут кость?..

Я стоял на череду позади небольшого, согнувшегося старичка... Лицо у него было худое, желтое, нездоровое... Удивительно злые глаза глядели исподлобья... Он водил ими, как затравленный волк, быстро переводя с предмета на предмет... и, очевидно с голоду, злился на все и на всех, произнося беспрестанно отвратительные ругательства...

— Ты чего, старый пес, лаешься? — сказал ему стоявший впереди молоденький, с отчаянно удалым лицом парнишка, вероятно попавший сюда с Хивы и прошедший огонь и воду.— Дам вот в зубы раза́ — замолчишь...

Старик так весь и затрясся от злобы.

— А ну-ка, дай! А ну-ка, дай! Ты думаешь, ты один жрать-то хочешь?.. Ан нет... здесь, брат, не на Хиве... здесь вас взнуздают...

— А, старый пес, еще разговаривать! — крикнул парнишка и, как-то неожиданно ловко подставя ногу, толкнул его в спину так, что тот полетел кубарем из череды прямо на лед.— Вот тебе «взнуздают»! Ха-ха-ха, взнуздал! Мало, еще дам!..

Старичок вскочил на ноги и, как-то пронзительно завизжав, точно собака, которой мальчишки зажали хвост, бросился было на то место, откуда его вытолкнули, но его туда уже не пустили...

— Куда, старый черт!.. Ишь ты... вперед отца в петлю лезет... Осади назад!..

— Мой черед!.. Мой черед!..— визжал старик, толкаясь, но, видя, что встать ему на прежнее место не придется, что над ним все только потешаются, он вдруг пронзительно-отчаянно заплакал, или, вернее, завыл, и побежал, жалко скорчившись, утирая рукавом полушубка глаза, в самый конец череды...

— Го-го-го!.. Ха-ха-ха!..— неслось ему вслед...

Получив на крыльце пайку хлеба и «воробья», я вслед

за другими прошел в столовую и, идя по порядку, попал за стол...

На столе уже стояли и дымились чашки со щами — каждая на восемь человек — и лежали ложки, похожие скорее на деревенские чумички. Есть не начинали, дожидаясь, когда соберется полный комплект, то есть когда будут заняты все столы... Наконец, все столы наполнились...

— На молитву! — закричал служащий.

Люди встали и пропели «Очи всех на тя, господи, уповают». Не успели еще окончить последнего слова, как ложки с изумительной быстротой опустились в чашки, захватывая там мутную воду с запахом капусты... Люди торопливо глотали, давились, чавкали с таким азартом и жадностью, что если бы сытый человек посмотрел на это со стороны, то пришел бы в ужас...

В один миг чашки опорожнились!.. Послали за прибавкой... Так же быстро уничтожили и прибавку... Немного погодя подали гречневую кашу в таком ограниченном количестве, что ее едва хватило бы поесть досыта двоим... Ее уничтожили в один миг, так что я едва успел зачерпнуть и проглотить одну ложку...

Едва успели, а некоторые еще и не успели, доесть кашу, как нас всех погнали из-за столов вон, в другие двери, чтобы очистить место «второму столу»...

В дверях меня кто-то хлопнул по плечу.

Я оглянулся и увидел... дворянина. Лицо у него было веселое, улыбающееся, глаза сияли...

— Знаете что! — закричал он, оттаскивая меня в угол сеней.— А ведь фортуна-то хочет повернуть ко мне свое капризное личико...

— Как так?

— А так... очень просто... дело-то вот какое оказывается... В конторе я разнюхал, что прогнали двух писарей... тут мне один человек сообщил... ну, я, конечно, не будь дурак, прямо туда... прямо, понимаете, к самому начальнику... к Зевсу! Так и так, говорю... работать неспособен... это раз, а во-вторых — дворянин, привилегированное лицо — два, ну, и, конечно, обратите внимание и так далее и так далее...

— Ну, и что же?

— Велел приходить завтра заниматься... а, что? Ловко ведь?!

— Слава богу.

— Только жалованье, понимаете, б-рррьі!..

— Сколько?

— А вы никому не скажете?

— Нет...

— Три копейки в день! — воскликнул он, как трагический актер.— А?.. Хорошо!.. Вы вникнете: три копейки!..

— Ну что ж, и то ладно... поживете, прибавят... Харчи готовые...

— Да ведь надо жить здесь три года, чтобы скопить на приличный костюм!.. Харчи, вы говорите... Черт их возьми с ихними харчами: я не знаю, обедал я, например, сейчас или нет? Впрочем, наверно, писарей лучше кормят... Как вы думаете?..

— Не знаю.

— Что это за черт с вами вчера рядом спал? Что он, бешеный, что ли, или декадент какой? Лицо такое идиотское...

— Бог его знает!

— Дурак, очевидно... Покурить не раздобылись?

— Где же?..

— Плохо!.. Знаете что — я пойду в контору, попрошу там у кого-нибудь из писарей табачку в счет будущих благ...

Он ушел... Я вышел на крыльцо и, облокотившись на перила лестницы, стал глядеть на черед идущих с другого крыльца в столовую обедать.

Два каких-то субъекта, один пожилой, корявый, с огромным красным носом и толстыми губами, другой молодой, худой и длинный, с наглыми навыкате глазами и с какой-то странной, точно выщипанной бородкой, растущей не так, как у людей, а как-то чудно, какими-то рыжевато-бурыми клочьями там и сям, стояли на нижних ступеньках лестницы и разговаривали... Говорил собственно один молодой, а пожилой только поддакивал да смеялся... От нечего делать я стал слушать.

— Спрашивает она у меня,— говорит молодой, продолжая раньше начатый разговор, которого я не слыхал: «Где же вы живете?» — «Возле печки, возле мосту, говорю ей, сударыня-с...» — «Как же так?» — «Да так-с... У меня домов, как у зайца ломов...» — «Ах, бедный, бедный!.. Тяжело вам, я думаю?» — «Что же делать, суда-

рыня-с, господь терпеть велел...» — «Ну, а чем же вы занимаетесь?» — «Выхожу один я на дорогу, сударыня-с...»

— Го-го! — заржал пожилой.— Это ты ловко... ну?..

— Ну, и того... тары бары, на две пары... то, се, пято, десято... Вижу, барыня дура... «Сударыня, говорю, явите божескую милость, не дайте душе хресьянской замерзнуть, позвольте ночевать?..» А паспорта у меня, понимаешь, нет... Думаю: ну, как спросит? Нет, не спросила... «Ночуйте, ночуйте, голубчик»,— говорит... И все, понимаешь, на «вы» со мной... Потеха!..

— Го-го-го! — опять заржал пожилой.— Вот так вы!.. Вы!.. Ах, чтоб тебя!..

— Ладно... Положили меня в людской... Вижу, народу нет никого... один кучер, да и тот пьяный спит без задних ног... Масленица: народ, известно, гуляет... Ладно... Ночью я, не будь дурак, снял с себя одеяние свое стрелецкое, нарядился в кучеров пиджак... валенки с печки снял, полушубок... айда!.. Наше вам почтение!.. Живо до города десять верст отмахал!.. у Сычихи ночевал... утром с Володькой борзым все и пропили...

— Ловко!.. Ха-ха-ха! Вот, чай, барыня-то?.. «Голубчик, голубчик... вы...» Вот те «вы»... Го-го-го!..

XVIII

Когда все отобедали, я опять вошел в столовую и хотя с трудом, но все-таки разыскал себе местечко в углу на кончике скамьи за одним из столов, твердо решив не сходить с него до вечера.

Облокотившись на стол, я задумался, глядя на шумевшую, как пчелиный рой, толпу людей, и долго сидел так... Мне стало грустно и стыдно, что я допустил себя до всего этого и не имею теперь возможности уйти... Сердце мучительно ныло, когда я мысленно переносился домой, в круг своих близких, родных...

Голос слева, раздавшийся над самым моим ухом так резко, что я вздрогнул, вывел меня из задумчивости.

— Землячок, а землячок, ты чего это нос-то повесил?..

Я обернулся и увидал какое-то квадратное, обросшее рыжими волосами, улыбающееся лицо старого мужика. Глаза у него как-то странно, точно он играл ими, то зака-

тывались кверху, под лоб, оставляя одни только белки, то опускались вниз, причем рыжие, необыкновенно густые брови свирепо хмурились... Толстые красные губы улыбались и как-то смешно оттопыривались под самый нос — маленький и сизый, похожий на грецкий орех...

Он повторил свой вопрос и, видя, что я не отвечаю, заговорил снова:

— Тебя как звать-то?.. Брось думать-то!.. Э, милый, все мы люди и все человеки: с кем грех да беда не бывает... Пройдет все... опять на дело поступишь, ты человек, вижу я, не глупый... Не вешай головы, не печаль гостей!.. Пропился, знать, ась?..

И, видя, что я опять не отвечаю, он продолжал:

— Все мы так-то... не один ты... Эва народу што, а спроси у любого, как, мол, сюда попал?.. По пьяному делу!.. Все мы по пьяному делу!.. Просты мы уж очень... слабы... к вину предвержены... Женат?..

— Женат.

— А зять есть?

— Нет, зятя нету.

— Нет? Говори слава богу...

— Что ж так?

— А так; зять, я тебе прямо, милый, атлепартую: ядовитая штука... особливо богатый... заноза!.. Я, может, через зятя-то и пропадаю...

— Как так?

— А так... Ты слушай... Ты мне вот человек чужой, впервой тебя вижу, а душа у меня к тебе лежит... родные-то нонче хуже чужих... Опять так сказать: понятия у них нет, то есть насчет хоть бы вот нашего брата... По-ихнему, пропился — и больше ничего, никакой к человеку жалости нет... Хоть издохни!.. «Так и надо, скажут, за дело...» Видно, кто в этой шкуре не бывал, на морозе не дрог, тот нашего брата постигнуть и понять не может... потому — душа зачерствела... Говорится пословица: окрепнет человек — крепше камня, ослабнет — слабже воды... По Христову ученью как? Знаешь?.. Прощай человека во всем, несчетное число раз прощай, а они разу не простят... зачерствели!..

Он помолчал, достал тавлинку, понюхал, заморгал глазами часто-часто, крякнул и опять начал, не торопясь, с расстановками, степенно и внушительно, точно поп с амвона:

— Шурин у меня есть... Епалом звать... допрежь его Епалкой звали, а теперича Епалом Митричем величают... живет здесь, в Москве, на хорошей линии, управляющим домовым на Петровке... Сестра моя Грушаха за ём... Ну, только жисть ее хвалить погодить... Прямо надо сказать — желтенькая жисть... Спуталась она с ним в девках... дура баба, известно... Ну, того... затижалела... Он, не будь дурак, хотел было того — улизнуть... отвертеться, бросить ее. Да нет, стой, шалишь! Не на такую нарвался... сичас она, друг милый, того... куда следует жалобу... Так и так, говорит, у меня документ есть, собственноручный его, что жениться хотел... Опять, говорит, на царицу небесную, матушку казанскую, клялся... Портниха она, Грушаха-то, сызмалетства в Москве, порядки знает... Ну, отлично... Туды, сюды... ан, врешь — женись! Так и женился... ничего не попишешь... Я в те поры жил ничего, хорошо, исправно. Мастеровой я... по конопатному делу, конопатчик... Деньжонки у меня о ту пору, прямо тебе скажу, были... Винным делом я мало зашибался — гроза надо мной была: баба, жена покойница, царство небесное... Отлично. Свадьбу надо играть, а у него, у шурина-то, волк его съешь, денег нет... Врет ли, взаправду ли, а только говорит: нет и нет... Дело-то опосля узналось — соврал он... тень, тоись, одну наводил... «Ну что ж, думаю, надо человека выручить по-родственному... Дать ему».

Он опять помолчал и опять понюхал табачку.

— Сто бумажек ему, не за столом сказано, черту, собственноручно всучил... Отлично!.. Сыграли свадьбу. Он меня так на руках и носит... такой, сякой, немазаный, шуренок, родной! Ладно, мол, хорошо!.. Ну, стали они жить: жена на машинке трык, трык... Он на линию попал... зафортунило ему... Знаешь, как пойдет линия, играет и глиняна... Одначе денег мне не отдает... Не отдает, да и все! Нет и нет... «Погоди, говорит, отдам, ужли зажилю...» Ну, водочки мне поставит, закусить, то, се — умаслит: министр, а не мужик... Тянул, тянул. Старуха покойница поедом ест меня: «Завыли наши денежки!..» Захворала инда от этого. А может, и от чего другого, только похворала, похворала, да и с копыльев долой... отдала богу душу... Загоревал я... закургузил... нонче выпить, завтра с похмелья... Денежки тают... Думаю себе: «Ладно, у шурина есть...» Пить да пить, милый, пить да пить... втянулся!.. На Хиву попал, потерял лик человече-

ский... в люди уж совестно идти — наг, бос, трясение во всех суставах... Но, однако, раз собрался, отрезвел, ужаснулся сам на себя... «Пойду, думаю, к шурину, возьму свои деньги, поступлю в монастырь к преподобному Мефодию на Песношу... Там, знаю, возьмут меня... Там и косточки похороню»,—думаю... Пошел вечером к нему... днем-то неловко: уж очень я того, оборвался... Прихожу. Ну, здорово живете! Посмотрел он на меня. «Ты кто, говорит, такой?..» — «Как кто?.. Возьми глаза в зубы... шурин твой, Никифор!..» — «Буде, говорит, врать-то».— «Да что ты, говорю, Епал, аль белены объелся?.. За деньгами я к тебе пришел...» — «За какими деньгами?» — «За своими. За долгом».—«Что ты, говорит, золотая рота, какой долг?.. Ничего я тебе не должен!» — «Побойся, говорю, бога, сестра вот свидетельница». Сестра молчит, не чукнет... голову наклонила: покраснело у нее все рыло, как зарево... «Уходи, он говорит опять, пока цел...» Заплакал я... На коленки перед ним встал, на старости лет, перед жуликом... прошу, плачу... Да где же! Нешто проймешь душу человеческую, коли она зачерствела... Не дал... отперся... кликнул пошел дворников... «Выведите, говорит, его за ворота, да дайте ему хорошего разá...» Ну, дворники, известно, рады... им потеха... вытащили меня за калитку, да и давай вваливать... Отвесили разов пяток, пустили... Эх, обозлился я о ту пору... Да... а что станешь делать?.. «Ну, думаю, пропадай!» Взял, понимаешь, впервой отроду встал на углу Столешникова переулка, у церкви-то... знаешь?.. начал просить Христовым именем... И задалось мне на диво. Какой-то барин целковый дал сразу... Рупь семь гривен живым манером подстрелил я о ту пору... Ну, известно дело, куда идти? Одна нашему брату дорога не заказана — в трактир... Думаю себе: «Выпью водочки для храбрости, куплю ножик, зарежу пойду его, анафему...» Пришел в трактир, выпил сотку, мало показалось, еще выпил... а там еще... досыта налакался... все деньги ухнул... Поутру в части проснулся... Вот ведь какое дело!..

— Видаешь его когда?

— Нет... Господь с ним... На што он мне?.. А что, друг,— добавил он, помолчав,— не подремать ли нам пока, а?.. До ужина-то далеко...

И, говоря это, он положил кренделем на стол руки, ткнулся в них головой и вскоре захрапел.

XIX

Я хотел было последовать его примеру, но не мог и вышел из столовой на крыльцо...

Постояв здесь с полчаса, я думал было идти обратно, потому что озяб и что-то у меня стало покалывать в боку, как вдруг увидал идущую под горку к крыльцу, где я стоял, высокую женщину, закутанную в серую шаль... На руках она несла грудного ребенка и вела за ручку девочку, худенькую и крайне бедно одетую... Подойдя к крыльцу, она остановилась и спросила у меня, с трудом выговаривая слова от усталости и тяжело дыша, как загнанная лошадь:

— Батюшка, здеся столовая аль нет?..

— Здесь.

— Скажи ты мне на милость, как мне мужа сыскать?..

— А он здесь?

— Здеся... Я доподлинно узнала... здеся он... Ох, от Калуцких ворот шла... смерть моя! Как мне его увидать-то, разбойника?!

— Спросить надо... тут народу много... Иди за мной...

Я ввел ее в столовую. Она, робея, остановилась в дверях. Вероятно, этот шум и вид множества таких страшных людей поразил ее... Ее сейчас же окружила толпа любопытных.

— Кто такая? Зачем? Кого надо?

— Мужа бы мне... сказывали: здеся...

— Мужа?.. Какого мужа? Как звать? — заорал какой-то здоровенный малый над самым ее ухом.— Не я ли грехом?..

— Звать-то... Иваном... Иван Красавин... Фабричный он... на самоткацкой работал...

— Иван Красавин! — заорал малый, обернувшись к толпе.— Красавин! Иван Красавин... черт... Эй! Кто здеся Красавин, выходи, леший!.. Эй, Красавин!..

— Здеся!.. Я Красавин!—раздался где-то вдали голос.

— Иди сюда, дьявол... жена пришла!..

Торопливо, расталкивая толпу, появился Красавин. Это был малый лет тридцати, испитой, измятый какой-то, с синими мешками под глазами... Увидя жену, он как-то сразу ошалел и попятился назад, точно волк, которого выгнали облавой из чащи прямо на охотника. Он глядел

на нее во все глаза и, очевидно, даже не верил себе — жену ли он видит, или это дьявольское наваждение... Баба заплакала... Девочка уцепилась обеими ручонками за подол матери и тоже заплакала...

— Ты как сюда попала? — вдруг заговорил пришедший в себя муж и как-то сразу переменился. Лицо его стало до крайности нагло, отвратительно... Глаза загорелись злобным чахоточным блеском. Как тебя сюда черт занес? Чего надо?

— Чего надо? — заголосила баба жалобно и громко.— Люди добрые,— обратилась она к притихшей и жадно смотревшей на эту сцену толпе, как бы призывая ее в свидетели и в защиту.— Спрашивает: чего надо? Ушел, бросил меня с детьми одну-одинешеньку на чужой сторонушке!.. Вторую неделю ищу его... маюсь, не пимши, не емши... Слез пролила, может, реки... А он — на-ко поди!.. Детей-то бы пожалел, варвар, мошенник, притка тебя прострели!.. Дохлый пес... На, бери детей-то... Корми! Пьяница... Злодей!..

— Лайся, лайся! — ответил муж.— Я те полаюсь!..

— Убить тебя мало, дохлого, гнилого пса!.. Как же, люди добрые, посудите, Христа ради, сами... Жил на фабрике... домой ничевошеньки, ни синь пороху не подавал. Дома перекусить нечего: останный мешок коли еще — до Миколы съели... Свекор больной, на ладан дышит... бедность, нужда... Останную коровенку за оброк со двора свели... Говорит надысь свекор: «Ступай, говорит, молодушка, к ему, разбойнику, бери детей, а мы со старухой по миру пойдем... Что ж тебе здесь издыхать, что ли, с голоду...» Пошла я... боле ста верст шла пеша... Зимнее время, а мое дело бабье... опять дети... Пришли в Москву, нашла его... вижу: почитай голый, пропился весь, с фабрики-то прогнали, у земляков Христа ради проживает... «На, говорю, детей-то, такой сякой!..» А он, не будь глуп, шапку в охапку... «Я, говорит, сбегаю чаю заварю — чай, с дороги-то устала, прозябла... погрейся»,— да и был таков; вторую неделю чай-то заваривает... Я туды, сюды — нет! Как в тучку канул... А известно — мое дело бабье, что я смыслю? Опять пить-есть надо... Искала я его по Москве-то, искала... словно в лесу дремучем... Спасибо, научил меня один его знакомый, земляк наш: «Иди ты, говорит, баба, в рабочий дом, беспременно он тамотка, боле ему негде быть...» Ну, разбойник,— обрати-

лась она опять к нему,— что скажешь?.. Бери ребят-то... корми!..

— На кой они мне... Пошла к черту; заработаю — вышлю... Что ты срамить-то меня пришла, дура баба!.. Деревня, черт, необузданная!..

— А ты, брат, потише! — вступился вдруг в разговор совсем еще молодой, высокий и стройный хитровец с отчаянным лицом и бойкими ухватками.— Баба дело говорит. Какого ты черта ее не кормишь? Женился тоже, сволочь паршивая! Дам вот в рыло-то!..

— Молчи, золотая рота! — огрызнулся на него муж.

— Золотая рота! — передразнил его малый.— Я золотая рота и буду... по крайности один... чужого века не заедаю... А ты что? Жену прокормить не можешь, сволочь! Я бы украл, да дал... Повесить тебя!.. Ишь ты, ловкач, кашу съел — горшок на шесток...

— Верно! — раздались в толпе голоса.— Что верно, то верно... Не заедал бы чужого веку... не женился бы...

Слушая это, баба стояла и громко плакала...

Муж злобно глядел на нее. По лицу у него выступили красные пятна.

— Иди,— сказал,— отколь пришла... У меня нет ничего... заработаю вот, вышлю — разорваться мне, что ли, ай родить тебе денег-то!

— Куда ж я пойду?

— Домой иди, в деревню.

— Да мошенник ты эдакой!.. Ай на тебе креста нет?.. Ты хоть детей-то пожалей... Ангельские-то душки за что муку несут? Куда я с ними денусь? Как пойду-то опять?

— Как пойдешь? Ногами!.. Мне взять негде... Сама видишь...

— Вот сволочь-то! — крикнул опять малый с отчаянным лицом.— Эх, на мои бы зубы! Разорвал бы!.. Попадись ты мне на Хиве — душу вышибу!.. Не люблю смерть таких... За правду глотку прорву!..

— А мне где ж взять: я — баба.

— Поправлюсь, говорю, вышлю, и батюшке так скажи...

— Да, вышлешь ты... как же... Матушка ты моя, царица небесная! — отчаянно вдруг заголосила она.— Что же это теперича будет-то?.. Куда же я денусь-то?.. Как пойду эдакую стужу с детьми малыми... О-о-о, головушка

моя!.. Говорила матушка: «Не ходи за него...» Нет, пошла!.. Разбойник ты, разбойник! Кровопийца, идол! Ни стыда-то в тебе, ни совести!.. Бесстыжие твои бельмы, поганые... тьфу!..

— Лайся, лайся! На меня ноне ни одна собака не лаяла, ты вот первая...

— А ты вот что,— вступился опять малый, обращаясь к бабе.— Я тебя научу... Где же тебе идти, дорога дальняя... Паспорт при тебе есть?

— Какой, родной, паспорт?.. Нетути...

— Ну, ладно, все одно... Иди ты прямо в контору здешнюю, спроси там управляющего, набольшего,— там тебе скажут... Расскажи ему все, поклонись в ноги, попроси хорошенько: так и так, мол... идти не могу, потому с детьми... Проси у него на машину денег... Скажи: «Муж, мол, заживет здесь, заработает... Все равно, скажи, коли ему отдать — пропьет...» Так и скажи,— даст!..

— О! — радостно воскликнула баба.— Даст?!

— Даст!

— Не даст! — сказал кто-то.

— Даст, даст! Чай, не сто рублей! — закричало несколько голосов сразу.— Это ты, Миш, верно, ловко придумал!.. Иди, тетка! Больше тебе делать нечего... Даст, а его, гуся, отсюда не выпустят, пока не заработает... Ха-ха-ха!

Баба поправила на голове шаль, взяла за руку девочку и, сказав: «Спасибо вам, родненькие!» — пошла к двери, не взглянув на мужа, стоявшего с красным лицом и побелевшими, трясущимися губами...

— Ребята!.. Наши!.. Хива! — крикнул малый с отчаянным лицом, как только захлопнулась за ней дверь.— Ну-ка, «Сени, мои сени», по бокам припев...

Муж как-то сразу очутился среди плотно обступившей его толпы молодцов с Хивы... Раздался было крик «караул!», но сейчас же смолк.

— Бей его, дьявола!

— Я вышел на крыльцо... Баба шла в гору за угол красного дома, плача и утирая рукавом глаза. Девочка бежала за ней, цепляясь ручонками за подол ее юбки, и тоже плакала...

«Так ему и надо! — подумал я и содрогнулся вдруг от ужаса, вспомня свою жену и детей.— Ты-то сам разве лучше его?»

XX

Вечером, после ужина, состоявшего из одних пустых и мутных щей, идя из столовой в спальню, я чувствовал какую-то страшную слабость во всем теле и боль в боку... Появился кашель и озноб...

«Неужто воспаление? — с ужасом думал я.— Этого только еще недоставало... Что тогда делать?..»

Придя в спальню, я застал своего вчерашнего знакомого уже лежащим на койке.

— Ну что,— встретил он меня,— хорошо в столовой?.. Понравилось?..

— А вы не были?

— Нет... Я ведь на правах больного... У меня от доктора записка, что я могу проводить время здесь, в спальне, а не там. Там с ума сойдешь без дела... Да что с вами? — вдруг, как-то переменив тон, спросил он, глядя на меня.— На вас лица нет!..

— Нездоровится.

— Чего нездоровится, да вы совсем больны!.. Ишь вас колотит. Нервы еще эти проклятые! Я уж знаю... Хотите, заварю чаю?

Я хотел было поблагодарить его, но не мог. К горлу вдруг подкатился точно шар какой-то, и начали душить слезы...

— Ай-ай-ай, ай-ай-ай! — заволновался он.— Вот это нехорошо!.. Эк ведь, батенька, как мы пьянством-то себе нервы коверкаем... хуже баб делаемся... Полноте! бросьте! стыдно!.. Я вот сейчас чаю заварю... Попьем, потолкуем, и ладно... Ложитесь пока!.. Стаскивайте с себя эту хламиду чертову... а я сейчас... О, боже боже!..

Он достал из-под изголовья палочку цикория, или, поздешнему, «цики», отломил кусочек, кинув в чайник, сунул ноги в чуни и торопливо пошел заваривать этот «чай» в столовую...

Я ткнулся ничком на койку, изо всех сил стараясь сдержать проклятые слезы и боясь, чтобы кто-нибудь не поднял меня на смех...

Он скоро возвратился, и мы сели на подоконник пить чай...

— Вы вот что,— сказал он,— ступайте завтра в девять часов утра в больницу к доктору... Доктор здесь для нашего брата, рабочих, душа человек... Он вас положит в

больницу... Там вы обмоетесь, отдохнете, в себя придете, обдумаете свое положение, нервы улягутся... Ведь это все от пьянства да от всей этой одуряющей обстановки делается... Здесь, батюшка, не такие, как вы, а прямо с виду богатыри, сам я очевидец, плакали, как дети... Полежите там недельку, другую, опомнитесь... Мой совет: письмо домой послать. Не бросят же вас так, без внимания. Уезжайте или уходите домой... Здесь вам оставаться нет никакого смысла... Во-первых, работ мало, а во-вторых — скоро ли вы по двугривенному-то наколотите денег? Ведь это если работать месяц каждый день, чего никогда не бывает, и тогда только — шесть рублей. Что вы на них сделаете?.. Домой надо, домой, домой...

— Неловко очень домой-то... стыдно...

— Стыдно... Чего стыдно? Что вы, обокрали кого-нибудь, убили? Ложный стыд!.. Стыдно было делать так, а «повинную голову и меч не сечет»... Стыдно!.. Чудак вы!.. Да дай бог, чтобы побольше блудных сынов возвращалось...

Совет этого доброго человека ободрил меня. Больница, как это ни странно, стала казаться мне какой-то обетованной землей...

— Так и сделаю,— сказал я,— как вы советуете... пойду завтра, только боюсь, не воспаление ли?

— Да будет вам! Какое к черту воспаление! Просто от пьянства почки болят... У меня это же самое было... Закатят вам там мушку во всю спину, и как рукой снимет! Там из ста человек девяносто с мушками. Здесь исключительно только мушками и лечат. Серьезных больных нет: серьезных отправляют во вторую городскую. Здесь лежат *здоровые* больные... Что только делается там, вот увидите! И время проведете отлично... почитать есть что... ну, и сравнительно чисто... выспитесь досыта. Я вас, пожалуй, навещу как-нибудь... У вас ведь денег нет?..

— Нет, конечно.

— Ну, я вам табачку дам: там табак дороже хлеба. И бумаги и конверт принесу... Письмо домой настрочите... Ну, на марку не могу дать, у самого мало... да это не важно: дойдет и без марки, еще вернее... Вам ли унывать?.. Свой домик, жена, дети... Эх, я вам скажу, есть здесь личности, насмотрелся я, вот тем унывать не грех... ни кола, ни двора, ни родных, ни знакомых... одна Хива... Тут и мать, и жена, и сестра, и родина... О!.. Есть здесь

мальчик, он теперь в больнице, вы, может, его увидите... Отец у него тут в Москве, где-то на Хиве путается, пьяница горький, матери нет — замерзла пьяная где-то на Грачевке под воротами... Сынишку отдал этот отец куда-то в коробочники. Били его жестоко, он убежал на Хиву... к отцу... А отец взял да и продал там его какому-то негодяю за бутылку водки да за фунт колбасы вареной...

— Зачем же он покупателю?

— Зачем? Да вы на Хиве-то разве не жили?

— Нет.

— Э, ну так вы еще, значит, жизни не видали... Да там это самое обыкновенное дело... За чай да за калач такие штуки проделывают...

И он разъяснил мне отвратительные цели покупки.

— Да что ж на это никто не обратит внимания?

— Кому нужно?.. Кто станет в это входить? Э, батенька, правда-то знаете где... Да что! Я как-то читал в какой-то газетке здешней московской вот про это наше отделение работного дома... так, верите, умилился до слез — так хорошо написано!.. И чистота-то, и воздуху-то масса, и каждому-то отдельная кровать, и стол отличный, чуть ли не по фунту мяса на каждого, и зал-то концертный скоро отделают, картины туманные станут показывать! Концертный зал!.. Ха-ха-ха! Туманные картинки!.. Ну, скажите, ради господа, пошли бы вы вот сейчас смотреть их?.. До того ли нам? Хоть бы обращались-то по-человечески, не как с собаками... Что, был сегодня управляющий в столовой?

— Нет.

— Жаль, а то бы посмотрел картину. Войдет, понимаете, не один, а со свитой — какие-то там прихлебатели позади...— войдет и заорет: «Встать!..» Ну, конечно, все вскочат, молчание мертвое. А как обращается с рабочими?.. «Ты», «мерзавец», «подлец», «негодяй» — только и слышишь! Подлость!

Он закашлялся и замахал рукой, как бы отгоняя что-то...

— Будет,— с трудом выговорил он,— ну их к черту... Не нами заведено, не нами и кончится... Ложитесь, да давайте потолкуем про деревню... Скоро весна ведь: снег стает, тетерева по утрам затокуют, вальдшнепы прилетят... О!.. Вы не охотник?..

Мы легли... Он начал говорить про свою жизнь дома,

про охоту, про рыбную ловлю, про пчел... Рассказы эти дышали любовью и какой-то особенной, задушевной прелестью...

Я долго слушал его, совсем позабыв, что нахожусь в спальне работного дома...

XXI

На другой день утром я отправился в больницу... Доктора еще не было... В приемной дожидалось человек пятнадцать... Молоденькая симпатичная фельдшерица записала наши фамилии. Мы уселись в прихожей на узкой и длинной скамье и стали ждать. Рядом со мной поместился какой-то молодой человек с длинными курчавыми волосами.

Ему не сиделось спокойно... Он как-то ерзал по скамейке, пожимал плечами и беспрестанно чесал свою голову.

— Что ты не сидишь покойно? — сказал я.— Что у тебя болит?

Он испуганно взглянул на меня большими телячьими, какими-то жалобными глазами и тихонько, чуть не плача, сказал:

— Беда!.. Заели...

— Давно в работном доме? — спросил я у него с невольным участием.

— Недавно... Приехал в Москву на место... да загулял...

— А ты — крестьянин?

— Нет, я из духовных... У меня отец дьякон в Клинском уезде. Дядя еще есть — тоже дьякон здесь, в Москве, на Старой Басманной (он назвал богатый и известный приход), да нельзя мне к нему... совестно...

— Что ж, ты учился где-нибудь?..

— Учился в семинарии у Троицы... да выгнали из четвертого класса...

— Мамаша небось жива?..

Он заморгал глазами.

— Жива... Хочу у доктора попроситься в больницу.. Письмо к дяде пошлю... Очень мне тяжело!

Он наклонил голову и замолчал.

Немного погодя пришел доктор. Это был среднего ро-

ста брюнет, худощавый, с добрым, симпатичным лицом... Он сел к столу и стал вызывать по фамилиям.

Первым подошел к нему коренастый и крепкий, лет шестидесяти, старик.

— Ты что, дед?

— Зубы... зубами маюсь!..

— Где?

— Во, гляди!..

— Вырвать?

— Рви!

— Садись!

Доктор взял щипцы и вырвал зуб. Старик только головой мотнул и, сплюнув в тазик, сказал:

— Рви другой!

Доктор вырвал другой и сказал:

— Еще, что ли?

— Рви!

Доктор вырвал третий зуб и опять, улыбаясь, спросил:

— Ну еще, что ли?

— Нет, будет! — сказал старик с таким выражением в голосе, как будто отказывался от рюмки водки, которую его упрашивали выпить... Все засмеялись...— Спасибо! — сказал он и пошел в прихожую, кладя по полу, точно печати, оттаявшими чунями клетчатые следы.

Подошел следующий... Доктор выслушал его, осмотрел и нарисовал на правом боку карандашом квадрат.

— Приходи в четвертом часу сюда... в больницу ляжешь,— сказал он.

Дошел черед до меня.

— У тебя что?

— Бок больно.

— Какой?

— Правый.

— Сними рубашку.

Я снял. Он стал слушать.

— Ого! Сердце-то того... Ни вина, ни пива отнюдь нельзя пить... Эх, народ, не бережете вы свое здоровье!.. Ну что ж, желаешь полежать в больнице?

— Сделайте милость!..

— Можно! К боку тебе мушку поставим,— и, говоря это, он начертил мне карандашом на боку квадрат.— Приходи часа в три.

Я надел рубашку, полушубок и пошел в столовую.

— Взяли! И меня взяли! — услыхал я за собой голос и, обернувшись, увидал молодого семинариста. Он был рад, точно ребенок, которому подарили игрушку...

— Начертил мушку? — спросил я.

— Начертил! Слава тебе, господи! — Он вдруг перекрестился несколько раз, торопливо и часто, повторяя: — Слава тебе, господи! Слава тебе, господи!..

XXII

В три часа я пошел в больницу. Там, в прихожей, уже дожидались семинарист и еще каких-то двое, принятых сегодня же в больницу.

Вскоре пришла нянька и повела нас в так называемую «мужскую уборную», где была ванна.

— Раздевайтесь! — сказала она.— Кладите сюда вот, к порогу, свою рухлядь... Вот вам белье... халаты... туфли... Полезайте в ванну по двое зараз... Вон кранты... в этом вот холодная, а здесь горячая... Вымоетесь, я вас наверх сведу, в третье отделение... Мойтесь на здоровье... небось обовшивели.

Она ушла. Мы начали раздеваться.

— По двое зараз велела,— сказал высокий, длиннобородый старик, напуская воды,— а как по двое-то: у него вон,— он кивнул на соседа, худенького, плюгавенького человечка,— я даве видел, вся спина в чирьях... Как с ним лезть-то?.. Я не полезу... Слышь, земляк,— обратился он ко мне,— полезем мы с тобой первыми... Чего тут... сымай рубашку-то... сигай!.. Господи благослови!.. О-о! Важно!..

Я скинул рубашку и забрался к нему в ванну. Нам было тесно и неловко. Старик, как тюлень, вертелся с боку на бок и брызгался водой.

— О, важно! — твердил он.— Мальё! Одно плохо, ужо на ночь мушку вляпают... Здорово дерет, анафема!.. Тебе тоже, земляк, мушку? — спросил он у меня.

— Тоже.

— Да уж здесь лекарство одно... Ну, будя... слава тебе, господи!.. Теперича бы половиночку раздавить тоже,— добавил он, вылезая из ванны,— да закусить снеточком!..

— Да у тебя что ж болит-то? — спросил я.

— Да как те сказать, не соврать: одышка вроде как... кашель... мокрота душит... А то я ничего, слава богу...

Мы надели чистое белье, полосатые халаты, туфли, и я почувствовал себя другим человеком... Стало как-то легко во всем чистом, и страшно делалось при взгляде на валявшуюся у порога скинутую одежду...

После нас, пустив свежую воду, полезли в ванну семинарист и плюгавенький человечек... Я убедился, что старик сказал правду: вся спина у него была в чирьях...

— Эх, порядки здешние!..— укоризненно сказал старик.

XXIII

Третье мужское отделение представляло собою большую, чистую, светлую, но битком набитую больными палату. Койки стояли так же, как и в спальне номер пятнадцать, по две в ряд, сдвинутые вместе... Кроме того, койки стояли и поодиночке, там, где только возможно поставить их. Всех больных, как я узнал после, было в этой палате семьдесят пять человек.

Шум, крик, хохот стояли в палате нисколько не тише, чем в спальне... «Больные» играли в карты, в шашки, читали, курили, ходили, шлепая туфлями по полу, в полосатых халатах, надетых у кого в рукава, у кого внакидку, по широкому проходу, из одного конца палаты в другой...

Мне досталась койка в углу у окна, около стены. Я сел на нее, посмотрел на своего соседа, и... меня охватил ужас.

Рядом со мною лежали «живые мощи» и глядели на меня какими-то белесоватыми, злобными, страшно ввалившимися глазами. Это был старик лет семидесяти, худой, страшный, костлявый, косматый. Он лежал на спине, покрывшись одеялом, подняв коленки, которые как-то страшно, точно у мертвеца, обрисовывались под этим одеялом... Одна рука у него была закинута под голову, другая лежала поверх одеяла... Руки эти были тонки и худы, точно палки, обтянутые кожей... Из-под края подушки, под головой, выглядывали пайки черного и белого хлеба...

Но самое страшное, что увидал я и от чего пришел в ужас, это насекомые, которые ползали по лицу этого старика, кишмя кишели в бороде, в волосах на голове...

Я не мог смотреть и отвернулся от него с ужасом, отвращением и жалостью...

«Господи! Как он еще живет, несчастный,— подумал я.— Что же это такое?!»

— Что, земляк, глядишь? — спросил у меня с противоположной койки молодой парень, наблюдавший за мной.— Послал тебе бог соседа... Вот лежит тут ни живой, ни мертвый... Не издыхает, да и все! А озорник какой — страсть...

— Что ж его не уберут отсюда?

— Да куда ж его? Ждут, когда сдохнет... Допрежь он внизу лежал со слабыми... Не знаю, зачем сюда перевели... Должно, скоро капут ему... Да ты хлопочи на другую койку... Вот завтра пойдут на выписку, ты и хлопочи... С ним лежать-то грех один... Озорник... матершинник... даром, что старый... Что, старый черт, глядишь? — обратился он к нему.— Про тебя говорю... У-у-у, пес!..

Стало темно... Зажгли лампы... Одна из них как раз пришлась против моей койки... Немного погодя няньки, разбитные и нахальные, с чересчур развязными манерами и такими же словечками (которым они научились, очевидно, на Хиве), получающие здесь по три копейки в день жалованья, стали разносить ужин... Ужин этот состоял из какого-то мутного, прокисшего и в микроскопическом размере перлового супа...

Поужинав, я хотел было устроиться и лечь спать, как вдруг кто-то крикнул на всю палату:

— Новенькие!.. Пожалуйте на живодерню!.. Мушки ставить!.. Кому мушки? Подходи!..

Этим делом, то есть прикладыванием мушек, или, как здесь выражались, «живодерством», занимался не фельдшер, а просто такой же золоторотец, больной, как и все. Он лежал в больнице уже семь месяцев, присмотрелся и привык ко всем порядкам... Фельдшер, вероятно, решил, что это дело не хитрое и самому заниматься этим незачем...

Мы все четверо подошли к этому «живодеру», расставившему свою «аптеку» на табуретке посреди палаты. Толпа больных окружила нас... Пошли смех и остроты...

— Ну, раздевайтесь! — сказал живодер.— Я вот вам вляпаю... останетесь довольны!..

Он живо «вляпал» нам всем по мушке и так крепко забинтовал грудь, что трудно было дышать...

— Ну, подходи теперь, кому вечор ставил! Снимать стану! — крикнул он.

Подошло шесть человек. Из любопытства я не пошел на свое место, а остался посмотреть, что будет.

— Ну, стаскивай рубашку-то! — крикнул живодер на какого-то подслеповатого, с желтым и бритым лицом, сильно робевшего человека.— Аль, думаешь, горнишная придет сымать-то ее!..

Бритый человек, кряхтя и как-то корчась, скинул рубашку и бросил ее на пол.

Живодер живо разбинтовал бинт.

— Ну, держись!..

Он сразу сдернул мушку... Бритый человек так и подскочил кверху...

— Важно наядрила... Мотри, какой мешок надрала! — послышались возгласы больных.— Здорово!..

Живодер взял ножницы, простриг ими пузырь, спустил воду и, взяв пальцами с уголка отвисшую кожу, начал без церемонии сдирать ее со всего нарисованного доктором квадрата... Больной корчился и крепко стиснул зубы, боясь закричать...

— Держися, небось!.. Задаром здесь кашей не кормят! Помнить будешь... ха-ха-ха!.. Петров, мажь тряпку салом, вмазывай ему!.. Подходи другой!.. Становись ты, долговолосый!..

Я не стал больше смотреть и пошел на свое место. Мой сосед старик лежал, укрывшись одеялом с головой, и, должно быть, спал... Я поднял одеяло, разделся и тоже лег спать...

XXIV

Проснулся я от какого-то шороха... Кто-то тащил, как мне показалось, с меня одеяло... Я открыл глаза... и увидел, что старик сидит на своей койке и дергает с меня одеяло. При этом он глядел на меня и улыбался своим ввалившимся ртом, в котором на верхней челюсти необыкновенно страшно торчал один желтый и длинный зуб...

Было, очевидно, поздно, часа три утра, потому что все больные спали... Лампа, хотя и убавлена, горела все-таки

очень ярко, освещая во всей красоте этого удивительного старика...

«Сумасшедший!» — подумал я, испугавшись, и спросил:

— Ты что?

Он вместо ответа провел рукой по бороде и бросил что-то на мою койку, глядя на меня своим белесоватым, но на этот раз не злым, как мне показалось прежде, а каким-то чудны́м, так сказать необъяснимым и загадочным, взглядом.

«Сумасшедший»,— опять подумал я и сказал:

— Что же ты делаешь? Зачем эту гадость кидаешь?..

— А! — как-то радостно заговорил он шепотом.— Разозлился!.. Ну, ругайся... ну, бей меня!..

Говоря это, он глядел мне в глаза, и я невольно содрогнулся от этого взгляда: в нем было что-то страшное и невыразимо скорбное, что невольно заставляло содрогаться.

— Я ведь нарочно это! — опять заговорил он.— Я вот залаю еще. Я ведь не человек, а пес, собака... паршивая собака... на которую помои льют...

Он пригнулся и, заглянув мне в лицо, опять засмеялся.

Я совершенно не нашелся, что сказать, и только глядел с удивлением на его искаженное лицо.

— А хочешь,— снова начал он,— я тебя ударю! А! Фу ты, черт!..

Я опомнился.

— Что ты, с ума, что ли, сошел?.. Отстань!..

Он откинулся головой на подушку и затрясся весь от своего противного, принужденного хихиканья. Потом вдруг опять сел и, перестав хихикать, серьезно и тихо спросил:

— Ты обо мне какого мнения?

— Я тебя совсем не знаю и поэтому не могу судить...

— Не знаешь?.. Гм! Да, верно, не знаешь... А хочешь, я тебе расскажу одну историю...

— Расскажи.

Он опять посмотрел на меня своим тяжелым взглядом, в котором теперь стало мелькать какое-то сознательное и грустное выражение, и сказал:

— Про сына моего, Николеньку.

Он потянул на себя одеяло, уселся поудобнее, подумал что-то и сказал почти шепотом:

— Принеси мне воды, сделай милость, там вон, под краном... Знаешь?

Я взял кружку и принес воды... Он жадно отпил полкружки и, откинувшись на подушку, закрылся по самую бороду одеялом, огляделся по сторонам, очевидно боясь, чтобы его, кроме меня, никто не услыхал, и тихо, шепотом заговорил, наклонившись ко мне:

— Сын у меня был... Николенька. И жена была. Славная... И любила меня... Не веришь? А правда... Да померла она, понимаешь?.. Померла. А сын остался... Ну, взял его с собою в Москву... думал: «Вот моя цель жизни... душу за него отдам... выращу... человеком сделаю...» Эх, сколько думал я!.. Сколько думал я всего хорошего!.. А жизнь-то, подлая, повернула по-своему... Ну, так вот, взял я его с собой... Здесь, в Москве, мне первое время посчастливилось: нашел место... стал жить... каморочка у меня была снята на Плющихе, маленькая... четыре рубля платил за нее... Сам, бывало, уйду на занятия с утра, а его, сыночка-то, оставлю одного... Попрошу только хозяйку приглянуть за ним... И сидит он, бывало, целый день один... Тихий был мальчик, задумчивый... уставится глазенками на свет и смотрит... думает тоже что-то... Говорить стал только к концу третьего года, да и то плохо... Где ж ему было учиться?.. Один все... все один... Меня он звал «тятя», «тятя миленький», а то еще «тятя путеня»... Что такое это значило «путеня», я и сейчас не знаю...

Он насупился, замолчал, и, тряхнув головой, точно отгоняя что-то, продолжал:

— Все было ладно за эти три года, а тут пошло все как-то под гору... С места прогнали... Оседлала меня нужда, облюбовала и поехала... Бился-бился, искал-искал места — нет! Нет, да и все! А ведь пить-есть надо... О себе-то уж я не думал... Где уж тут! Только бы его-то, его-то только бы! Заложил все, оборвался... озлобился... в трущобах жил, с ребенком-то, понимаешь? Чего только не натерпелся!.. В разные эдакие приюты обращался... Не берут нигде: незаконный! Да и просить-то я путем не умел. Помню, раз провел ночь на Хиве, в притоне одном... Встал рано... куда идти?.. Вышел на Солянку: «Николенька, говорю, куда же нам идти?» А май месяц стоял о ту пору... тепло было, весело, радостно... Пошел куда глаза глядят... его то на руках несу, то веду потихоньку

за ручку... Долго Москвой шли... вышли за заставу... в поле... посидели... отдохнули... «Куда ж теперь?» — думаю... Взял его на руки. «Держись крепче!» Обхватил он меня ручонками, головку на плечо положил, и зашагал я... «Лучше, думаю, где-нибудь в деревне издохну, чем в Москве этой проклятой...» Отошел верст десять... свернул в сторону, в деревеньку... Прямо в избу первую... Гляжу: баба одна хлебы месит, больше никого нет... «Тебе чего?» — спрашивает... «Тетенька, говорю, дай, Христа ради, мальчику моему молочка...» Сполоснула она руки, сходила куда-то, тащит целую кружку... Разговорились мы... рассказал я ей все, вот как тебе теперь... Подивилась она... пожалела... Подумала, подумала, да и говорит: «Отдай нам его со стариком в сынки, худо не будет... Пойдешь, говорит, к нам, сынок, жить?» Это у него спрашивает. А он, сынок-то мой, обхватил вдруг меня, да как взвоет... жмется ко мне... трясется весь... Нервный он у меня был... О господи! Господи!

Он оборвал свою речь и долго сидел молча, тихо всхлипывая.

— Ну, понятное дело,— начал он опять,— не отдал я его... Еще бы... отдать... С тех пор начал я с ним вместе ходить, бродяжничать... из деревни в деревню... из села в село... Случалось, где поработаю — заплатят, а то и так выпрошу... И вот, ей-богу, скажу тебе, хорошее это время было... Загорели мы оба, мальчик мой пополнел даже... Идем, бывало, лесом... птички поют... листочки шелестят... солнышко играет... травка-муравка точно ковер... Хорошо!.. Сядем, разговариваем... Лепечет он у меня... радуется, ангел мой, на муравья на каждого... И у меня, глядя на него, сердце играет!.. Да только все это недолго было... Недолго! Подошла осень... пошли холода... дожди... грязь... Одежонка на нас плохая была... Но, и того... простудился он... сразу как-то свернуло... шабаш! Стоп машина!..

Было это дело во Владимирской губернии; река там есть Дубна, может слыхал? Так вот раз, в одно, так сказать, прекрасное утро шел я с ним по берегу этой реки... На руках его нес... больного... да холодно было... ветрено... тоскливо. На душе у меня камень лежал... ныло сердце, и все во мне плакало лютыми слезами... Несу, несу его, послушаю: дышит? Слава тебе, господи! «Николенька!» — спрошу. «А!» — откликнется. «Не спишь?» — «Нет».—

«А кто с тобой?» — «Тятя миленький...» И жмется, слышу, ко мне... «А где у тебя «бобо»?» Молчит... Несу, тороплюсь, думаю: «Скоро ли деревня?» А деревни нет и нет, как назло... Места какие-то глухие, дикие... Устал... сел... его на колени положил... укутан он у меня был тряпьем разным... открыл тряпки посмотреть — не узнал моего Николеньку: бледный, бледный... губки трясутся, глазки большие, ввалились... слезки в них, как росинки... «Николенька!» — говорю. «А!» — отвечает. «Николенька... Господи, что с тобою?!» А он... а он, понимаешь, улыбнулся эдак жалостно, ручонками хотел поймать меня за шею... да не смог... прошептал только «тятя миленький», «путеня», да и того... помер!..

Он вдруг оборвал речь и полными ужаса глазами молча уставился на меня... В этих глазах опять проглядывало сумасшествие...

— Да и помер! да и помер! да и помер! — повторил он несколько раз, не спуская с меня своего страшного взора... Я не выдержал и отвернулся от него. Когда я опять посмотрел на него, он лежал навзничь и горько плакал. Я тронул его за плечо и сказал: «Полно, полно!..» Он затрясся еще шибче от душивших его слез и, подняв голову, бессмысленно глядя на меня, залепетал, как ребенок, все одни и те же слова: «Тятя путеня, тятя путеня»...

Мне стало страшно. Я взял кружку и опять подал ему воды... Он жадно, захлебываясь и икая, выпил воду и хотел было подняться, сесть, да не смог и, откинувшись на подушку, долго молчал, глядя чудными глазами куда-то вдаль...

XXV

— Взял я его тело,— вдруг неожиданно и каким-то совсем другим голосом, точно плача, заговорил он,— и побежал от речки в гору, в лес... Зачем? Не знаю. Бежал, бежал... споткнулся, упал, прямо на него... Тут уж я не помню, что было... очнулся, тьма кругом... Ночь непроглядная... и тишина мертвая, тупая, страшная... Вспомнил я все вдруг — подкатил точно шар к моему сердцу... «Николенька, кричу, Николенька, где ты?» А сам ведь отлично знаю, что мертвый он, а думаю: «Авось, господь даст,

отзовется...» Да нет, не отозвался! Взял я трупик его... положил к себе на колени... припал к нему, да так и замер... И вся-то тут мне моя горькая жизнь представилась! Вся! И возроптал я на бога. За что, за что наказуешь?! За что отнял у меня то, что любил я? За что, господи!.. О! — воскликнул он страстно,— страшная это была ночь! Мучилась душа человечья, одинокая, никому-то, никому не нужная! Истерзанная, жалкая!.. Лились никому-то, никому не видимые, горькие слезы... Один — и мертвый сын на руках... Понимаешь! Понимаешь ты это?.. Есть на тебе крест... есть в тебе бог... есть жалость — поймешь! И дивное дело: как я не помер тогда! Как не задушил себя своими руками!..

Утро,— продолжал он, немного успокоившись,— застало меня над трупиком... мокрое утро, тоскливое, холодное... Что делать? Ни денег похоронить его, ни одежды... Нет ничего... Куда деться с ним... Объявить?.. Придерутся... «Кто такой?..», «Откуда?..», то, се... всю душу вымотают... Думал, думал, да и решил похоронить его сам, без попа... Укутал тельце его тряпками, спрятал под елкой, а сам побежал в деревню за заступом. Как мне его удалось раздобыть,— не помню... Возвратился назад, походил по лесу, нашел место эдакое глухое, тихое, печальное. Стал рыть яму... Рою и плачу, рою и плачу... Брошу рыть, подойду, загляну ему в личико,— лежит он и ничего-то, ничего не слышит, губенки полуоткрыты, и зубки видны...

Выкопал яму... наломал еловых веток, обложил ими все дно, чтобы, думаю, легче ему спать было... Вылез из ямы... О господи!.. Оставили меня тут силы, пал на колени перед ним: «Николенька, батюшка! Ангел... прощай, прощай!.. Сынок мой! Путеня... прости меня!..» Обхватил его в охапку, опустился в могилу... положил на ветки не навзничь, а на бочок и сам лег с ним... «Полежу, думаю, в останный разок...» Обезумел совсем: и молитвы читаю, и плачу... Как я простился с ним,— не помню! Вылез из ямы... схватил заступ, зажмурился и кинул землю... Слышу: ударилась... Напала тут на меня ярость какая-то дикая, звериная... точно кто бьет меня по голове и кричит: «Скорей, скорей, скорей!..»

Он замолк.

— Что же дальше-то? — спросил я...

XXVI

Через несколько дней его перевели куда-то вниз, где он вскоре умер. Как-то раз утром мы увидали в окно из нашего третьего этажа, что из больницы четверо рабочих на носилках потащили куда-то через двор его тело. Я от души пожелал ему всего хорошего там, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание...»

Его место рядом со мной занял другой субъект, совсем в другом роде... Это был приобревший на Хиве обширную известность юродивый Петруша. Большинство «больных» из нашей палаты знало его хорошо. Это был загадочный человек, не то монах, не то странник... Волосы были у него черные, курчавые и длинные... Лицо опухшее, белое... Глаза черные, бойкие, наглые... Походка кошки, крадущейся за мышью... Руки пухлые, белые, с короткими обгрызками вместо ногтей...

Благодаря этому «юродивому» моя койка, а также и его превратились в какой-то клуб... Петруша был неистощимый рассказчик... Он нисколько не стеснялся, чувствуя себя между «своих», рассказывая про свои похождения, надувательства, пьянство и разврат, пересыпая речь такими ругательствами, какими не ругается ни один становой... Гомерический хохот стоял каждый вечер около наших коек... Чего только я не наслышался от этого человека!..

В больницу он попал после сильного и долгого пьянства, спустив с себя все затем только, чтобы послать отсюда письма с просьбой о помощи «болящему и страждущему рабу божьему Петруше».

На другой же день по поступлении он настрочил несколько таких писем, послал и стал ждать «движения воды»...

В первое же воскресенье «движение воды» не замедлило сказаться: явились две какие-то почтенные матроны — матушки из монастыря.

Когда сообщили об этом Петруше, он как-то сразу преобразился из веселого и здорового в согбенного, удрученного недугами старца... Походка, фигура, лицо, глаза — все сделалось другое. Сгорбившись, шлепая туфлями по полу, пошел он на лестницу, где его дожидались, и через полчаса вернулся в палату прежним Петрушей, неся целый узел гостинцев.

— Вот как наши кошелями-то машут! — весело крикнул он мне, бросая узел на койку.— Теперь заживем... Не тужи! Гляди сюда,— он протянул мне руку и разжал кулак. На ладони лежал золотой в пять рублей.— Ужо можно в картишки... Та-та-та... С нами бог, разумейте языцы... «Петруша, Петруша»... Дураки вы все!..

В узле, когда он развязал его, оказались: чай, сахар, булки, монпансье, две банки с вареньем и еще кое-что.

— Погоди,— сказал он,— ужо не то будет... Скоро сама придет... Принесет доброго здоровьица...

Действительно, его скоро опять кликнули. Это, оказалось, пришла «сама», то есть, как он выразился, «дама сердца», мать Евфросинья, с которой он жил на Хиве и вместе пьянствовал, пропивая заработанные деньги... Она принесла бутылку водки и две четвертки махорки...

— Ну, теперь я кум королю,— говорил он, смеясь,— а дай-ко вот еще кой-куда настрочу,— не то будет... Со мной, раб божий, сыт и пьян будешь... Ешь, пей, не жалко... Ешь, чудак!..

К вечеру Петруша напился; ночью, играя в карты, проиграл три рубля, а остальные отобрала у него нянька, с которой он где-то на чердаке ночью, как сам выразился, «говорил про божественное»...

— Сколько я этих баб на своем веку облапошил,— рассказывал он мне вечером, сидя на койке и куря огромную собачью ножку,— так и счету нет... Дуры... ах, дуры есть из них!.. Ты что, раб божий, знаешь? Меня за святого почитали... След мой вынимали!

— Как так?..

— А так... Где я вступлю стопой своей, то есть ножищей грязной, в снег али там в грязь, сейчас это место, след-то, и вынут... Коли снег,— растопят и пьют, ну, а уж грязь куда идет — не знаю... Ха-ха-ха!.. А то, бывало, за полы меня ловят, подрясник целуют... Ей-богу, не вру!.. «Петруша, Петрушенька, Петруша!» Ах, провались вы все, дуры анафемские!

А то раз со мной какой случай был: стоял я у Большого Вознесения в Елохове... товарищ со мной был, отец Досифей... пьяница, черт, страсть! Ну, отошла обедня... вижу: идет купчиха брюхатая. Я это сейчас подскочил на одной ножке: «Мальчика родишь! мальчика, мальчика!..» Ну, подала она мне: «Помолись за рабу божью Евдокию, Петруша...» А я опять: «Мальчика родишь! мальчика,

мальчика!..» Вдруг, слышу, спрашивает меня сзади кто-то: «А я кого рожу?..» Я сдуру-то не разобрал, думал — это мой Досифей смеется, да и ляпнул: «Черта!..» Оглянулся, хвать — пристав! Вот так клюква!.. Ха-ха-ха!..

А то еще раз я княгиню облапошил. Дом у ней свой насупротив храма Спасителя!.. Взошел в ворота на двор: гляжу — клумбы... цветы растут... Княгиня на балконе сидит... Я это сейчас скок, скок, подбегу к цветочку, поцелую его, к другому... Увидала княгиня: «Кто такой?..» Бежит горничная ко мне: «Кто ты?» А я: «Петруша, Петруша, матушка, Петруша, раб божий! Спаси, господи!..» Сейчас меня, раба божьего, к самой... В комнаты ввели... Палаты — страсть!.. «Ах, Петруша, Петруша, я больная... сердце болит...» — «Молись, матушка, молись, молись».— «Покушать, Петруша, не хочешь ли?» — «Сухарика, матушка, с водицей... сухарика, сухарика... Спаси, господи!» А сам хожу по углам: в один плюну, в другой дуну... Думаю... как бы мне... того... улизнуть... «У отца Кронштадтского бываешь ли, Петруша?..» — «Как же, как же, матушка, недавно от него... недавно, недавно... сподобился... благословил меня к преподобному Сергию... Иду, матушка, на днях...» — «Ах, Петруша, помолись за меня, грешную».— «Помолюсь, матушка, помолюсь!.. Не будет ли жертва какая преподобному... за упокой родственников?..» — «Ах, как же, Петруша, будет, будет!» — «Ну, думаю, мне это-то и надо...» Села к столу, написала что-то на бумажке, достала денег, сунула все в конверт, дает мне. «Спаси, господи, матушка, спаси, господи!.. Подаст тебе господь... молись, молись... Я тебя еще навещу в скорби твоей...» — «Ах, навести, Петруша!» Ну, вышел я это на двор, глядь: дворник, повара, кучер, горничные ко мне: «Петруша, Петруша, скажи нам, скажи нам... благослови...» Лезут ко мне... в угол прижали у ворот... «Ах, дери вас черт!» — думаю, а сам гляжу за ворота, нет ли где, спаси бог, пристава либо городового... Насилу вырвался... одолели... Нанял извозчика, на Хиву... Посмотрел в конверте-то, а там семьдесят пять бумажек... Ловко, а?.. Вот как дела-то обделываем, не по-вашему... Почудил, раб божий, я на своем веку!..

— Да ведь грех,— сказал я ему как-то раз.— Стыдно божьим именем людей морочить.

— Эх! — сказал он, подумавши, и махнул рукой.— Дураков и в алтаре бьют... Наплевать!.. Все одно уж,

гореть в аду так гореть... А может, это и пустое, ад-то?.. Помрем, увидим... Наплевать! Живи, пока бог грехам терпит... Эх-ма!.. Ходи веселей!..

И, подобрав полы халата, он начал выделывать ногами уморительные па при всеобщем хохоте «больных»...

XXVII

Был и еще человек, пользовавшийся, подобно Петруше, завидным авторитетом. Это был, как он называл себя, «вечный стрелок», по имени Григорий Дурасов, прошедший, как говорится, огонь, воду и медные трубы.

Небольшого роста, крепкий, с бойкими, умными глазами, живой и ловкий, он никогда ни перед чем не задумывался... Чего-чего он только не перевидал и не перетерпел на своем веку!.. Его рассказы были необыкновенно живы, правдивы и интересны. Какой-нибудь пустой случай он умел так осветить и передать с таким юмором и правдой, что невозможно было не смеяться... Память у него была просто-таки феноменальная. Впрочем, он рассказывал не только о своих приключениях и похождениях, но передавал чуть не слово в слово большие рассказы и даже романы. При мне, например, он в течение нескольких вечеров занимал нас передачей одного романа, печатавшегося (под заглавием «Буря в стоячих водах») в газетке «Московский листок».

В палате он пользовался почетом. Его даже боялись: тому, кто связывался с ним, приходилось солоно от его острого, как бритва, языка. На его койке устраивался по ночам «майдан», то есть картежная игра на деньги. У него постоянно можно было купить махорки, бумаги, яиц, «воробья», пайку ситного хлеба...

Чем он был болен — неизвестно. Вернее всего — ничем. Он просто «отлеживал» глухое зимнее время.

— Вот как прилетят жаворонки,— говорил он как-то раз собравшимся слушателям,— и мы полетим... И все у нас будет... чаек и баранки! Здесь, что ли, оставаться? Это вы, дураки, корпите, а я уйду... Я каждый день, ничего не делая, сорок-то копеек добуду... Вольный казак! Куда хочу — туда иду. Захотел отдохнуть — отдыхай... никто над душой не стоит... работать не стану... За шесть-то

целковых в месяц — была нужда... Награждай их, чертей, сдуру-то. Сиди, как сыч, где-нибудь в подвале... А на воле-то благодать, рай!.. Птицы поют, и ты поешь!.. Кормить мне некого... один... женой не обвязался... Сумку за спину, палку в руки,— пошел оброк собирать — любо!..

— Что ж ты, Григорий, не женился? — спросил кто-то.

— Зачем? Нашему брату жениться нельзя,— баба любит гнездо, а наш брат — волю... Лететь куда-нибудь... На одном месте не усидишь, мохом обрастешь... Чужой век заедать — жениться-то. Моя жена — воля, крыша — небушко... И ничего мне больше не надо.

— Так всю жизнь ходить и будешь?

— Так и буду... Пойду, пойду, авось до смерти дойду... Дойду до смерти, вот и женюсь тогда... Так-то, други милые... Ну, кто хочет в шашки на воробья?!

XXVIII

В палате лежали два мальчика, по-здешнему «малявки», которые особенно интересовали меня. Один из них, Сергунька, про которого мне рассказывали в спальне, был хорошенький, лет четырнадцати, круглолицый и краснощекий мальчик. Другой, Васька, был совсем в другом роде: худенький, черный, как жук, злой и сварливый,— он производил очень неприятное впечатление.

Оба они старались изображать из себя больших. Оба курили, пили водку, играли в карты, ругались гадкими словами... У них постоянно водились деньжонки, не переводились махорка, яйца, ситный... В карты они играли с особенным азартом. Странно было видеть их детские лица ночью, при тусклом свете лампы, среди завзятых, отчаянных картежников... Какие-то особенно отвратительные манеры были у них во всем. Курит ли, например, один из них,— папироску держит у угла рта, набок, беспрестанно сплевывает, беспрестанно ругается самыми гадкими словами...

Но это еще сравнительно ничего... Ужасно было смотреть на них пьяных... Вся грязь, гадость, разврат Хивы всосались в них, как вода в губку... Ничего детского, никакого проблеска непосредственности, свойственной детскому возрасту...

— Сергунька,— спросил я как-то раз,— зачем ты, дурак, водку пьешь? Ведь гадко!

— Ступай ты к черту,— ответил он,— учитель какой!.. А у самого на папироску махорки нет.., Тоже людей учит... Ты поглядел бы на меня, как я в именины налакался... Ах, здорово!

— Мал ты еще, брат...

— Мал, да умен... Дай-ка вот вырасту... ах!

— Ну, что тогда?

— Богат буду.

— А где возьмешь?

— Достану.

— Никто не даст.

— Да уж достану... Мне наплевать, все едино придушу какого-нибудь черта!..

— В деревне у тебя есть родные?

— А на кой они мне?!

— В деревне-то лучше.

— Лучше... сказал!.. Там и жрать-то нечего... Здесь-то и водочка, и девочки... все!

— Какие девочки?

— Какие?.. Костяные да жильные!.. Дурак ты... Ну, девки!.. Не знаешь, что ли?.. Да что с тобой говорить-то?.. Ступай к черту!..

С другим мальчиком, Васькой, у меня произошел небольшой инцидент: на шее у меня висел вместе с крестом небольшой деревянный, в серебряной, вызолоченной оправе образок, который на меня надела, умирая, матушка... Он был мне очень дорог. Увидев его как-то у меня на груди, Васька сейчас же справился, сколько он стоил и какая на нем оправа... Я сказал, что серебряная, вызолоченная, и совсем забыл про это, думая, что он спросил об этом из простого любопытства... Оказалось, однако, хуже...

Как-то раз ночью сквозь сон услыхал я, что меня кто-то как будто дергает за шнурок на шее. Я проснулся и открыл глаза. Гляжу: сидит на корточках перед койкой Васька и тихонько пиликает ножом шнурок. В первую минуту я испугался и сделал невольное движение. Заметив, что я гляжу на него, мальчик, как кошка, прыгнул в сторону и, согнувшись, быстро побежал около коек на свое место... Я вскочил и бросился за ним. Он успел уже лечь на свою койку, закрыться одеялом и притвориться спящим. Я отдернул одеяло и сказал:

— Ты что же это, негодяй, делаешь?

Он сделал вид, что не понимает, и, сев на койке, стал протирать глаза рукой.

— Не притворяйся,— крикнул я и дернул его за руку...

— Да ты что пристаешь! — в свою очередь закричал он.— Я доктору скажу... зачем лезешь?..

— Ты сейчас у меня образок срезывал.

— Образок! Какой образок?.. Караул! — вдруг громко закричал он и этим криком разбудил своего соседа и еще несколько человек.

— Что за черт? — спросил сосед.— Чего ты орешь?

— Да как же,— заговорил Васька, показывая на меня, и вдруг заплакал,— пристал ко мне... стал безобразничать... Теперь говорит, что образ вишь я у него украл какой-то... Я доктору скажу... ей-богу, скажу! Батюшки, родимые, что ж это такое? Вором меня сделал. О-о-ох... доктору скажу... глазаньки мои лопни, скажу...

Видя, что дело приняло такой оборот, я плюнул и пошел на свое место...

— Сам вор! — неслось мне вслед.— Золотая рота... обормот!.. Кашу сюда пришел жрать казенную!..

Утром он, как ни в чем не бывало, подошел ко мне и сказал, подавая собачью ножку:

— На, курни, черт! Вперед умнее будь... не лезь... на все знай время... зря-то тоже это дело не делается.

Три недели пролежал я в больнице, и эти три недели показались мне за три года...

Письмо я послал на третий же день по поступлении и стал ждать ответа... Ответ пришел только по прошествии трех недель, и такой ответ, которого я не ожидал.

Как-то раз рано утром слышу я вдруг — кличут меня по фамилии... Поднимаю голову, гляжу — и глазам своим не верю: в дверях стоит сестра.

Она увезла меня в деревню.

1902

Среди рабочих

Повесть

I

Несколько раз еще зимой, в январе, «наведывался» я к управляющему и каждый раз слышал от него одно и то же:

— Погоди, работы нет. Наведайся весной,— возьму...

Пришла, наконец, и весна... Стояли последние дни апреля... Было тепло... Снег стаял везде давным-давно, и дни были солнечные, ясные, с плавающими по прозрачно-лазурному небу облаками с ослепительно блестящими краями и грузными, как горы...

В рощах трещали прилетевшие дрозды, куковали кукушки... Над полями, трепеща крылышками и точно захлебываясь от радости, тирликали жаворонки; по болотам и низким местам жалобно кричали, точно плакали, чибисы... Изредка в прозрачной лазури высоко-высоко пролетали журавли, оглашая воздух своим характерным криком, нагоняющим на душу какую-то непонятную грусть.

— Приходи, брат, первого мая!..— дождался я, наконец, приглашения от управляющего.— Да только смотри, друг ситный, будешь пьянствовать,— прогоню и расчета не дам... У меня держи ухо востро...

— Да уж будьте покойны,— сказал я, оглядывая его кругленькую, маленькую, точно надутый пузырь, фигурку и мысленно посылая его к черту,— будьте покойны...

— Ну, ладно... смотри... Жалованья десять целковых... Харчи наши... по праздникам не работать... ну, и... ноги, руки, талия и так далее... Одним словом... с богом, ступай... не задерживаю!

II

Первого мая, ранним утром, я был на месте... На площадке против окон квартиры управляющего несколько человек запрягали в фуры лошадей, собираясь куда-то ехать...

Я сел на ступеньки крыльца и стал ждать, когда проснется и выйдет «сам»...

Рабочие, запрягавшие лошадей, кричали на них, громко ругались и смеялись... Огромный тупорылый боров шатался по площадке, ковыряя своим пятаком землю, и отрывисто хрюкал, точно кашлял. Сизый, хохлатый селезень, потешно переваливаясь, бегал за белой уткой, которая громко, отчаянно кричала, убегая от него: ах! ах! ах!.. Две собаки, красавец пойнтер и шершавая, грязная дворняга, лежали в тени и ловили зубами мух. Множество кур всевозможных пород бродили по площадке. Петухи, в задор друг перед дружкой, то и дело пели, стараясь перекричать один другого. Из конюшни слышно было, как ржали лошади и кричали кучера, убирая их... Около открытых дверей погреба две бабы пахтали масло, вертя колесо с бочонком, в котором переливалась и шлепала сметана...

Когда рабочие, наконец, запрягли и с треском уехали куда-то, к бабам подошел высокий, широкоплечий, сутуловатый мужик и стал что-то говорить, вероятно смешное; бабы громко засмеялись...

Постояв около баб, мужик подошел ко мне и спросил, глядя на меня из-под нависших бровей маленькими, неприятно злобными глазами:

— Здорово!.. Ты что сидишь?

— Ничего,— сказал я.

— К самому?.. Наматься? — опять спросил он и сел рядом со мной на ступеньку крыльца.

— Да,— ответил я.

Мужик помолчал немного, скосив глаза, оглядел меня с ног до головы и произнес, растягивая слова, точно пропел:

— Та-а-ак... А до этого ты где жил?
— Дома.
— А чей ты?.. Откеда?.. Дальний?..
— Нет.
— Стало быть, тутошней губернии?
— Да.
— Та-а-ак! — пропел он опять.— Грамотный?..
— Маракую.

Он опять помолчал и вдруг, как-то скривив тонкие губы в усмешку, произнес:

— Работать-то, я гляжу, ты, парень, не того...
— Что так?
— Да так уж... где вам... чаи распивать вы мастера, московские-то... жалованье дарма получать... избалованный народ... да!.. А тутотка, брат, работать надыть... Водочку, чай, сосешь, как медведь лапу... ась?..
— А тебе какое дело?
— Мне-то?.. Да так... нарядчик я тутошний... н-да!.. не люблю лодырей... Я тутотка шестой год живу... Сам князь меня обожает... так-то, друг! Нарядчик я! — опять внушительно произнес он и, нахмурив и без того хмурые брови, уставился на меня, вероятно отыскивая, так сказать, на моем лице впечатление от своих слов.

Я промолчал и свернул папироску.

— Вот куришь,— начал опять он,— а дома, поди, ребятенки пищат... Н-да... баловство... не люблю я... бесу потеха... тьфу!..— Он плюнул и вдруг, торопливо поднявшись, шепотом произнес: — Сам идет... вставай!..

III

На крыльцо, хлопнув стеклянной дверью, вышел «сам». Одет он был в какую-то серую куртку с синим воротником и большими блестящими пуговицами. На голове фуражка с двумя козырьками, спереди и сзади; рабочие называют такие головные уборы по-своему: «здравствуй и прощай». Светлые брюки были заправлены за голенища блестяще вычищенных сапог... Сильный запах духов сирени шел от него, как от цветущего куста. Кругленькое румяное лицо лоснилось, точно отполированное... В одной руке он держал тросточку с набалдашником в виде головы какого-то мудреца, а в другой — дымящуюся сигару.

Увидя его, нарядчик сдернул с головы картуз и, как-то изгибаясь, глядя на него заискивающими, точно у провинившейся собаки, глазами и сам похожий на собаку, крадущуюся под тетерева, сказал:

— С добрым утром, барин!.. Здравствуйте! Все ли здоровы-с?..

— Здорово, Егор! — кивнув головой, ответил «сам».— Ну, что... а?.. Как?..— И, увидя меня, он воскликнул: — А-а, приятель, пришел!..

Он остановился и глядел на меня, попыхивая сигарой и стуча тросточкой о перила крыльца.

— Пришел, а? — повторил он и, обернувшись к нарядчику, добавил: — Вот, Егор, новый рабочий... а?..

— Слушаю-с! — сказал Егор.— Да только,— продолжал он,— осмелюсь вам доложить, барин: будет ли он работать-то?..

— А что?

— Жиденек-с... А главная причина: тутошний, московский... Сами изволите знать,— народец!.. Скандалисты... пьяницы. Сказать опять ничего нельзя: того гляди, норовят в рыло-с... Грех один... набалованный народ, необузданный... Прямо надо говорить: никакого трепету нет... все не так да не эдак... «Харчи плохи», «на работу рано будишь»... Матершинники тоже — наказанье господне!.. Сказать ничего нельзя: «черт», «дьявол» — только тебе и званья... Народ только развращают... смутьяны!.. По-моему, осмелюсь доложить, не надо брать его,— он кивнул на меня,— дальнего бы какого... А между прочим, воля ваша-с...

— Так как же быть? — вопросительно глядя на меня, произнес «сам» и добавил: — Слышишь, а?..— И, видя, что я молчу, он нахмурился и, застучав тросточкой по перильцам, продолжал, возвышая голос: — У меня чтоб тихо!.. Его слушать! — указал он сигарой на нарядчика.— А то к черту! Приведу урядника... связать прикажу... выдеру!.. Расчета не дам... Хамы!.. идиоты!.. смеют разговаривать!.. Молчать! — закричал он весь красный и, видя, что я и то молчу, обратился к нарядчику и сказал:

— Чуть что,— за урядником!.. За прогул и вообще,— снова обратился он ко мне,— за порчу инструмента, за день — вычет... двойной!.. Понял?.. а?..

— Понял,— ответил я.

— Остаешься?

— Остаюсь.

— Егор, поставь его на дело!.. Рабочие уехали?

— Так точно.

— Я пойду в конюшню... Как нога у Стрелки?

— Полегше.

— Ну, поставь его! — опять сказал он, кивнув на меня.— А коли что, к черту...

Он сошел с крыльца и направился, помахивая тросточкой, через площадку к конюшне...

IV

— Ну, пойдем! — сердито хмурясь, произнес нарядчик и добавил со злостью и презрением: — Работники!.. дери вас дером...

Он повел меня к какому-то деревянному строению, как оказалось после, бане, и, подойдя к ней, сказал, указывая на камни-«голыши», сваленные в кучу, а также разбросанные вдоль забора:

— Вот эти каменья таскай... Бери-кась. Пойдем, укажу, на кое место... Ну, шевелись, неча думать-то...

Я взял два камня и пошел за ним. Камни были тяжелые, и нести их было неловко. Я прижимал их к груди, боясь выронить, и мысленно ругался.

Нарядчик долго шел вдоль забора и, наконец, свернув налево, в ворота, подвел меня к какой-то избе.

— Складывай здеся... Куфню поправляют,— пояснил он, указав на работавших около избы плотников,— печку тоже новую класть станут... Камень-то этот под нее и пойдет в бут... Торопиться надо... Князь скоро приедет — жить на лето...

Бросив камни и обтерев рукавом рубашки пот, я огляделся кругом.

Налево от кухни, шагах в тридцати, стоял старый, потемневший от времени барский дом... Огромные липы и тополя росли около него, раскинув ветки по крыше, точно щит. Дом этот лицевой стороной, где была терраса, выходил в сад. Сад, видимо, был красой имения: бесконечные аллеи тянулись к югу от самого дома вниз под гору. Верхушки деревьев переплетались между собою, представляя тенистые, могучие своды... Чрез темную чащу лишь коегде пробивалась в аллеях узкая полоса солнечного света.

Длинными рядами и целыми купами стояли столетние дубы, липы, тополя... Тут же росли в изобилии лиственницы, пихты, ели и сосны, гордо возносившие свои темнозеленые кроны кверху над другими деревьями... Серебристая кора редких берез, как белые привидения, мелькала кое-где в чаще.

Понизу дико и прихотливо разрослась заросль... Кусты сирени, волчьих ягод, орешника, вереска раскидывали беспорядочно-прихотливо свои ветки, перепутанные, представлявшие местами почти непролазную, одичалую чащу.

В летние знойные дни в этом саду, вероятно, царила непробудная, мертвая дремота. Изредка только где-то высоко, над вершинами деревьев, пронзительно крикнет ястреб, и снова все тихо...

Не то было теперь, весной, когда только что начинали шуметь по оврагам говорливые ручьи и высоко над землею проносились угольники журавлей. Весь сад был полон веселым гамом птичьих голосов...

...На опушку прилетели уже в свои старые гнезда горластые грачи, и крики их раздавались по саду с утра до ночи... За ними последовали скворцы, потом серые трещотки, дрозды. Сад ожил. Все в нем пело, чирикало, свистело и щебетало на разные голоса, стараясь перекричать друг друга. А по утренним и вечерним зорям и во всю короткую майскую ночь в кустах, по берегам огромного садового пруда, раздавались чудные соловьиные трели. В тихие весенние ночи казалось порой, что под эти трели, при таинственном лунном свете, по аллеям сада бродят тени давно умерших «сиятельных» людей и тоскуют и плачут, вспоминая прежнее величие...

Постояв немного, я снова направился к бане за камнями и когда возвратился назад, то один из плотников усмехнулся и сказал, обращаясь к товарищам:

— Гляди, ребята, вот почему и лошади-то ноне дешевы... на себе вишь таскает... Эх ты, голова! И охота тебе?

Я промолчал.

«Почему в самом деле не перевезти камни сразу на лошади?» — думал я, однако, про себя и тот же вопрос предложил попавшемуся навстречу нарядчику.

Он ехидно захихикал и сказал:

— Вишь ты!.. Лошадь! А тебе тогда что же делать?..

Зачем животну зря мучить?.. Таскай, парень, таскай... не сумлевайся.

— Да ведь время даром теряем! — сказал я.

— А уж это, брат, не твоя забота... Ешь — что поставят, делай — что заставят... Помалкивай... А не хошь — как хошь... Слыхал, что сам давеча сказал: «к черту!» Больше ничего.

Он засмеялся и зашагал от меня прочь...

V

Этой дурацкой и утомительной работой я занимался до самого обеда, то есть до двенадцати часов дня. У меня болели спина, руки и грудь, а главное, разбирала злость на нарядчика, который, очевидно, глумился надо мной, испытывая мое терпение и вымещая свою досаду на «тутошних», то есть московских, рабочих.

Ровно в двенадцать часов позвонили к обеду.

К большой избе, стоявшей поодаль от других построек, потемневшей с виду, шли со всех концов люди... Здесь были рабочие мужики, и плотники, и конюхи, и садовники, и бабы-пололки и бабы-скотницы.

Вместе с другими я тоже вошел в кухню. Все здесь было грязно, черно, покрыто копотью, паутиной и наполнено каким-то особенным, гадким запахом.

Налево от входной двери разлеглась огромная печь, занимавшая пол-избы, грязная и ободранная, с бегающими по ней тараканами... Направо, в углу, стояла койка ночного сторожа, и перед ней висела люлька; в люльке барахталось и визжало живое существо, завернутое в грязные тряпки, от которых шел неприятный острый запах... Подальше, начиная от переднего угла, где виднелись покрытые копотью и паутиной образа, стоял длинный, широкий и необыкновенно грязный стол со скамьями по обе стороны... В заднем углу за печкой были нары, на которых валялась разная рухлядь: армяки, полушубки и т. п.

На стене, между окон, неподалеку от образов, висел загаженный мухами портрет Ивана Кронштадтского и картина, на которой был изображен черт, державший в руках пьяницу, с надписью внизу: «Водка есть кровь сатаны»... Тут же висел лист бумаги, на котором крупными

буквами старательно было написано: «Ругаться матерно строго воспрещается»... Бумага эта была скреплена собственноручной подписью «самого»: «Карл Иванович Берг, ученый управитель».

Мне пришлось сесть с краю, рядом с каким-то парнем, молодым, румяным, с шапкой густых волос, похожих на трепаный лен.

Когда все кое-как торопливо и беспорядочно разместились, стряпка, краснощекая, гладкая, бойкая бабенка, жена ночного сторожа, крикнула от печки:

— Все, што ли-чка?

— Все! — ответил нарядчик и, взяв ковригу хлеба, стал резать ее на ломти. Стряпка поставила перед ним деревянный большой грязный кружок, три огромных, похожих на лоханки, чашки, ножик, сделанный из косы, и, подойдя к печке, где стоял на шестке большой чугун со щами, достала железной вилкой, похожей на вилы о двух рожках, кусок чего-то длинного, дымящегося, с виду напоминавшего портянку. Со словами: «Посторонись... ошпарю!..» — она шлепнула перед нарядчиком это что-то на деревянный кружок.

Нарядчик встал, засучил рукава и, взяв в правую руку нож, начал резать это что-то на мелкие куски.

— Ну уж и солонинка! — сказал один из рабочих, сидевший по другую сторону стола, напротив нарядчика.— За непочтение к родителям жрать ее... Истинный господь... маханина это...

— Поболе да потухлей! — сказал другой.

— Сойдет! — сказал опять первый с горечью.— Свиньям да рабочим все годится.

— А дома-то небось коклетки жрешь? — вскинув на него глазами, произнес нарядчик и, облизав языком грязные пальцы на левой руке, опять принялся крошить.

— Да тебе-то что ни дай — все сожрешь,— ответил первый рабочий.— Известно, Рязань косопузая! Вы дома-то у себя ашметком свиную болтушку хлебаете!

— На меня ноне ни одна собака еще не лаяла,— сказал нарядчик,— ты вот первый затявкал...

— Сам ты собака! Виляешь хвостом перед самим...

— Отстань, жулье московское!

— Как тебя не лаять-то, черт! Тебя бить надо... плачешь, да бьешь...

Нарядчик промолчал и, разделив приблизительно

поровну на три кучки накрошенную солонину, разложил ее по чашкам.

Стряпка, дожидавшаяся пока он кончит эту процедуру, взяла чашки и понесла их к печке, чтобы налить щей, запах которых, кислый и противный, наполнил уже все помещение кухни... Щи были очень плохие, черные, отдававшие горечью.

Ели молча, точно сердясь на что-то. Слышалось чавканье, стук ложек... Когда чашки со щами опорожнились больше чем наполовину, нарядчик постучал о край и сказал:

— Таскай совсем!

Начали таскать совсем... Солонина была с сильнейшим «душком», до того жесткая, что не было никакой возможности разжевать ее, и приходилось глотать кусками.

После щей подали гречневую кашу с растопленным и совершенно тухлым свиным салом... Каша была непроваренная и некрутая, белая цветом, похожая на размазню. Ее ели молча и не все: уж очень отвратительно пахло салом!

Те, кто не ел, молча вылезли из-за стола и, не выходя из кухни, стали курить.

Я тоже вылез и, сев около койки ночного сторожа, стал приглядываться к народу и прислушиваться к разговорам.

VI

Ко мне подошел парень, сидевший рядом со мной за столом, и, глядя на меня большими, прекрасными глазами, похожими на васильки, сказал, улыбаясь пухлыми розовыми губами:

— А ты чей?.. Откеда? Дальний, а?..

Я поглядел в его доброе лицо и, тоже улыбнувшись, ответил:

— Нет, не дальний... Здешний...

— А я рязанский! — проговорил он и повторил радостно: — Да, рязанский... Данковского уезда.

— Голод у вас там был,— сказал я, чтобы сказать ему что-нибудь.

— Был! — опять радостно воскликнул парень и, помолчав, прибавил: — Жуть!.. Да ты-то почем знаешь?

— Знаю... слыхал...

— О-о-о!.. Грамотный, что ли?

— Грамотный...

— Я тоже грамотный! — с видимой гордостью и сделав серьезное лицо, сказал он.

— И чего ты, Тереха-Воха, врешь! — вступился в наш разговор пожилой долгобородый мужик, сидевший на скамье у стола неподалеку от нас.— Какой ты грамотный? «Вотчю» по складам читаешь!..

— Ладно! — весело воскликнул парень.— Толкуй, кто откуль... Как-никак, а все поболе твоего знаю.

— Мы не хвалимся,— ответил мужик,— где нам! Нас не учили... Водку небось лакаешь здорово, а?..— спросил он вдруг у меня и, не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Ах, ребята, ребята, не пейте вы, главная причина, водку... Яд это... кровь сатаны. На что и грамота, коли водку жрешь... А уж ежели пьешь,— так пить-то надо умеючи... Вот я вам расскажу, какое через нее дело произошло...

Он встал с места, пересел к нам, утер губы рукавом рубашки, встряхнул длинными, лезшими на глаза волосами и начал:

— Жила, видите ли вы, други милые, баба одна, и был у ней муж, к примеру сказать, хучь вот такой, как ты... И пил он, прямо надо говорить, мертвой чашей... Ладно! А-атлично! Уж что только она с ним не делала — пьет, и шабаш. Ладно! Вот и научи ее одна старушонка, бабу-то эту, как сделать, чтобы, значит, отвадить его от вина... Возьми ты, баит, желанная, с трех упокойников в то, значит, самое время, когда их обмывают, воды этой самой, подай ему испить... как рукой, баит, сымет!.. Ладно! Известно, баба так баба и есть — дура... достала этой самой воды... пес ее знает, где она раздобылась!.. Исхитрилась, дала ему испить, пьяному... Ну, ладно!.. Испил он этой самой воды, и потянуло его, значит, ко сну... спать захотел... Говорит жене: «Пойдем спать на вышку». Ладно! Пошли спать... Поутру встают домашние: нет молодых... не идут с вышки, а уж время. Завтрак на дворе... «Что такоича за оказия,— говорит свекровь...— Пойти, баит, поглядеть»... Влезли туды... глядь, ан там вот какой грех вышел!

Рассказчик помолчал, обвел глазами всех слушателей и продолжал:

— Съел он, значит, жену-то свою... обглодал как есть

дочиста! Взяли его... связали... туды-сюды... пято-десято... А он и говорит: «Я, говорит, не один ел... Нас, говорит, трое ело...» Д-да! Вот оно какое дело-то... Баба мне это одна рассказывала.

— Заливает твоя баба, Устин, здорово! — сказал кто-то.

— Вот те и заливает... Не заливает, а истинная правда. Не верите вы. Умные больно стали...

Он помолчал немного, набил табаком глиняную трубку, покурил и заговорил опять:

— В грамоте-то что проку? Учат, учат, а правды все нет... Греха не прохлебаешь! Возьмем, к примеру сказать, волость, суд тоись наш... Каки порядки? Кто делом правит? Писарь... человек грамотный, ученый... Ладно... а-атлично! — а что толку? Опять председателев взять... ворочают, как им вздумается... Кто виноват,— по-ихнему, выходит прав... сух из воды вылезает... Сделал угощенье, задобрил судей-то праведных... залил им глотки — неправда на правду и перекинулась... Так-то!

— Ты семейный? — спросил я.

— А то как же... хрестьянин я... дома мало только живу... Всю жизнь по людям... да ноне и по людям-то плохо стало... Умножилось народу, теснота! Хозяева нашим братом, прямо надо говорить, как мочалкой трут... В деревне жить — не у чего... Земли нет. Тяжелые времена подошли! И грамота твоя ничего не помогает... Какая грамота, коли жевать нечего... Не до нее! Сытому-то, родной, и молиться гоже...

Он замолчал и затем воскликнул:

— Десятина на душу! Вертись, как хошь... Нанял бы, да негде... А тут подати: хучь роди, а давай.. А где их взять?.. Житье — не дай бог!..

Он махнул рукой и замолчал...

VII

Я вышел из кухни и пошел к крыльцу дома в надежде увидеть управляющего. Но его не было: пока мы обедали, он уехал куда-то. От нечего делать я подошел к погребу, где под навесом на низенькой скамейке сидела какая-то пожилая баба с ребенком на руках... Ребенок пищал безостановочно, настойчиво, жалобно, точно котенок, вы-

кинутый в канаву... Баба сидела, склонившись к нему лицом, и не делала никаких попыток унять его крик... Казалось, она спала, и в ее позе было что-то жалкое, пришибленное, робкое... Я спросил, почему она не хочет покормить ребенка грудью или дать соску, чтобы он затих.

— Да он, батюшка, не с голоду блажит,— заговорила она, точно проснувшись, и с каким-то испугом взглянула на меня,— такой уж он мозглявый сроду... скулит тебе и скулит... Ни дня, ни ночи спокою нетути... Болезнь такая,— пояснила баба,— старость собачья... тает, ровно свечка... Ты глянь-кась на него... Страсти господни!..

— Что ж ты не лечишь его! — взглянув на ребенка, почти с испугом воскликнул я.

— Как, родной, не лечить... лечили!.. Пытали мы с ним мыкаться... Что ни что делали... запекали...

— Запекали?..

— Да, бабушка запекала... Поутру затопила печку... Взяла бабушка его, положила на хлебну лепешку да до трех разов и совала в печку горячую.

— Ну и что же?

— Ничего... толку-то ничего нетути... И не мрет... Не берет господь... Не берет и не берет!.. У других вон, посмотреть, мрут, а на этого и смерти-то нету... Притка его знает, что теперича с ним и делать...

— Ты что ж, здесь живешь? — полюбопытствовал я.— Аль к мужу пришла?

— Какой, батюшка, к мужу... нетути! Муж мой дома, в деревне... К невестке я пришла... У приказчика здешнего, у самого, значит, у набольшего, в кухарках она живет... Ну вот, поживу у ней тутотка недельку, погощу... Боле-то не велят: сам-то туды-сюды... сама строгая, расстрогая — немцы, известно... Дома-то мы, родной,— как тебя звать, не знаю,— бедно живем... Почитай, есть нечего... Дай бог здоровья молодой... выручает... Три целковых вот обещала... ею только и дышим... Да и ей-то где взять: дело бабье... Тамотка, в деревне-то, у ней еще есть ребеночек по семому году... Сироты остались... Наказанье божье! О господи Исуси!

— А ведь я думал,— твой ребенок-то,— сказал я.

— Что ты, что ты, батюшка, господь с тобой! — воскликнула она с испугом.— На кой они мне, прости, господи, ляд!.. И без них тошнехонько! Внучек это мой...

опосля покойника сынка остался... У меня ведь сынка-то ноне перед масленицей убило...

— Как убило? — спросил я, дивясь тому равнодушно-мертвому тону, с каким она произнесла эти слова, и глядя в ее моргающие, слезящиеся глаза.

— Убило, батюшка, убило деревом... Господу, знать, так угодно!.. Пошел это он в рощу,— начала она, совсем повернувшись ко мне,— не один пошел... четверо их пошло... две, значит, пары... Лес они тамотка подрядились валить двенашник, на барский двор... Ну, ладно... Отвели им на каждую, значит, пару по полосе... Ну и, господь знать, так уж вышло: повалила другая-то пара елку, и пошла она прямехонько на мого Сережку... Братишка-то, Колька, извернулся... успел как-то, ухляснуло, значит, только, а мой не успел... прямо ему вот по этому самому месту хватило вершиной... весь череп снесло! Словно корова языком слизнула... Как ткнулся, так господу душеньку и отдал. Крови-то вышло, царица небесная, матушка!

Она помолчала, высморкалась пальцами и продолжала:

— Пошло это дело по суду... Нарядили караул... Мы тутотка тоже... я, старик, молодая... без души стали! Ревмя ревем! Легко ли, сам суди: кормилец ведь... растили, ходили, ночей не досыпали, куска не доедали... Ну, ладно... Лежит это он в лесу... сутки лежит, другие лежит... а мороз-то, господи Исуси! Замерз он весь, значит, аки сосулька... Молодуха катается коло его... ревет белужиной... На третьи сутки прибыл становой, дохтур... перетащили его в сторожку... Опосля этого, милый человек, учали его потрошить... Белое его тело пластать... Заступница!.. Вина, вишь, в ем искали, пьян, значит, не был ли... А он отроду и в рот не брал... Дохтур рукава засучил по локоть... Цыгарка в зубах. По брюху-то как звездорезнет кулаком, инда дух вышел... «Эка, баит, малый-то был, свекла»... Ну, знамо, ничевошенько не нашли... Зашили опять на скору руку... готово дело! Принимайте! Можете теперь хоронить...

Она опять высморкалась и продолжала:

— Привезли мы его домой... обмыли, обрядили. Веришь богу, родной,— как тебя звать, не знаю,— народ-то весь плачет, на нас глядя... жалко! Каждый по себе мерит... Ну, похоронили... поминки сделали!.. Телку огуль-

ную продали... допьяна народ-то напоили... Хучь песни петь... Ах, батюшки,— перебила она сама себя,— никак меня кличут!..

С крыльца в открытую стеклянную дверь звали ее:

— Мамка, мамка!.. Иди обедать... Оглохла, что ли?!

Баба вскочила и торопливо, почти бегом, пошла к крыльцу.

Я встал и, ожидая, когда позвонят на работу, пошел бродить по имению.

VIII

Имение было большое, но наполовину запущенное, с какими-то развалившимися постройками, поросшими крапивой.

Когда-то, в годы еще не столь отдаленные, оно процветало.

Всюду виднелись места бывших строений: груды кирпича, часть стены, полуразвалившаяся башня и т. п.

Но и теперь еще многое уцелело от прежнего величия. Все это, уцелевшее, было сложено из огромного кирпича, не такого, как делают теперь, легкого и мелкого, а прочного, фунтов по восемнадцати весом в каждом. Уцелели амбары, риги, конюшня, скотный двор и какие-то два полукруглых флигеля, называвшиеся богадельней, где доживали на покое, дожидаясь смерти, человек пять-шесть бывших «подлых людишек».

Вид этих уцелевших построек был какой-то страшный, тяжелый и мрачный... От них так и веяло стариной и ужасом крепостного права!..

В особенности гадко выглядывали флигеля с какими-то потемневшими, загаженными, мрачными окнами, с крышей, местами провалившейся, поросшей от древности каким-то мелким, плотно приставшим, точно приклеенным к тесинам, похожим на бархат, мхом, с крыльцами, на которые вели сгнившие ступеньки, с холодными, похожими на склепы, сырыми сенями.

Две огромные корявые березы росли около этих флигелей и точно заслоняли их от бурь, протягивая над крышами свои длинные ветви... На вершинах этих берез грачи вили свои гнезда, и грачиные крики с утра до ночи придавали еще более унылый вид старым флигелям...

Под окнами, близ крыльца, на низенькой скамейке сидели и грелись на солнышке два седых, древних старца без фуражек, в длинных старомодных сюртуках... Они о чем-то перекидывались словами, и оба сидели, опираясь на палки с набалдашниками.

Когда я проходил мимо, один из них вдруг застучал палкой об землю и закричал:

— Шапку... шапку... про-про-хвост!..

Я остановился, не понимая, и с удивлением глядел на эти типичные «холуйские» фигуры.

— Шапку долой!.. Кланяйся! — опять закричал старик.— Эх ты, прохвост! Шатается тут...

Я невольно засмеялся... Какой далекой, далекой стариной веяло от этих старцев!..

Видя, что я смеюсь, старик совсем обозлился и, приподнявшись с места, замахнулся на меня палкой и закричал визгливым голосом, шамкая беззубым ртом и брызгая слюной:

— Не видишь, подлец, кто перед тобой?.. Голова отвалится поклониться-то... Вольница поганая!..

Я отошел от них и, услыша звонок, призывавший на работу, отправился снова таскать камни...

IX

Работать кончили поздно вечером. Все рабочие, опять по звонку, отправились на кухню ужинать... Было часов около десяти... В кухне было полутемно, и поэтому пришлось зажечь лампу. Сели за стол, стряпка подала щей... Щи были остывшие, почти совсем холодные, разбавленные водой, противные... Некоторые попробовали, но, хлебнув ложку-другую, бросили и сидели насупившись, усталые, голодные и злые...

Один только нарядчик молча и резко хлебал, сурово сдвинув брови и не глядя ни на кого... Что-то упрямое, злобное и вместе с тем затаенное и рабски подлое было в его фигуре. Все видели и отлично понимали, что делает это он нам назло, делает в угоду «самому». Но никто не решался высказать это вслух, боясь быть завтра же прогнанным.

— Давай кашу! — крикнул кто-то.

— Нету каши! — отозвалась кухарка.— Кашник ка-

кой! И так хорош!.. За обедом жрал... Кака тебе еще каша?.. Чай, знаешь: не полагается...

— Да какого самделе черта! — закричал вдруг сидевший с краю, в переднем углу, широкоплечий, черный, с суровым лицом, с засученным по локоть жилистыми руками мужик, как я узнал после, кузнец.— Не жрамши нам быть! Аль мы за ради Христа здесь живем?.. Идемте к самому!

Он встал и вылез из-за стола.

— Идемте! — опять крикнул он и обвел всех глазами. Но никто не двинулся с места.

— Тьфу! — плюнул кузнец.— Дьяволы! Ах вы, злая рота! Трусы!.. Я один пойду... Наплевать... Расчет давай... Аль я себе хлеба не добуду... Дьяволы!..

Он вышел, сильно хлопнув дверью и громко ругаясь.

— Ишь ловкач! — усмехнувшись, вымолвил нарядчик.— Харчи, вишь, нехороши... Кто я! Без него-то, диви, людей нет... Сто человек на его место, только свистни... Кузнец!.. Мастеровой!.. Ха!.. Не таким сшибали рога-то...

Никто не ответил. Все сидели молча и ждали.

Минут через двадцать пришел кузнец и привел с собой «самого».

— Что такое, а? — закричал «сам» визгливым голосом, весь красный, с выкатившимися глазами,— что такое?.. Егор, а?.. Встать!..— вдруг пронзительно завизжал он на нас.— В-в-встать!..

Мы все, как школьники, поднялись и стояли в неудобных позах, теснясь в узких проходах между столом и скамейками.

— Ну, что такое?

— Жрать нельзя... падаль! — угрюмо произнес кузнец.— Собака жрать не станет... сбесится!..

— Молчать! — завизжал управляющий.— Не у тебя спрашивают... Егор, объясни!..

— Я, барин, докладывал вашей милости,— начал нарядчик, выйдя из-за стола и стоя перед «самим» навытяжку,— какой народ: все не так да не эдак... Люди едят, ничего... а им, вишь, плохо. Извольте спросить у других...

Управляющий обвел нас всех глазами и спросил:

— Кто недоволен харчами, говорите... ну, кто?

Все молчали, опустив головы... Что-то унизительное, гадкое и жалкое было в этих опущенных головах.

— Кто? — опять повторил управляющий.

— Да вы попробуйте,— сказал я, не вытерпев.

— Что? — спросил управляющий, сделав большие глаза и дернув головой кверху, точно лошадь, которую неожиданно ударили по морде.

— Вон они щи, в чашке, попробуйте,— снова повторил я.

— Как ты сказал? Повтори! — сказал «сам» после продолжительного молчания, во время которого я чувствовал, что все глаза устремлены на меня.

Я хотел еще раз повторить сказанное и уйти, но в это время к управляющему подскочила кухарка и затараторила, как сорока.

— Барин, батюшка, врут они... шти, как шти... холодные малость — только и всего... Не диво, что холодные: сколько часов стоят... печка-то выстыла. За обедом давеча сколько слопали... Добавила водицей, знамо... только и всего... шти, как шти... хучь кому хлебать...

— Ну, что ж вы? — обратился к нам управляющий и, помолчав, сказал: — Кому не нравится, можете убираться к черту!.. Завтра расчет... Я найду таких, кому будет нравиться.— И, повторив еще раз: — К черту! — торопливо вышел из кухни.

Все молчали... Нарядчик опять забрался на старое место и начал хлебать щи... Кузнец дрожащими пальцами вертел папироску.

— Ловко! — сказал он.— Вот так ловко! — И, обратившись к нарядчику, крикнул: — А все ты, черт серый, глот!.. Погоди, дьявол, погоди!..

— Не грозись! — спокойно произнес нарядчик.— Не страшно...

— Погоди! — опять повторил кузнец.— Сволочь... бабник, черт!.. А ты, шкура барабанная,— набросился он на кухарку,— чего егозишь... хвостом-то вертишь... сво-о-лочь!..

— От сволочи слышу! — огрызнулась кухарка.

— Трепалка... язва... у-у-у, убить тебя мало! Кабы тебя на мои зубы... Дурак муж-то глядит... не видит...

— Чего не видит-то? Чего не видит-то? — завизжала кухарка.— Сказывай!

— Чего... чего... Трепло!.. Снюхались... потрафили друг дружке, го-го-го! А муж-то дурак. Эх вы, дьяволы!.. Тьфу!..

Он плюнул и ушел из кухни на улицу.

— Слышали, люди добрые?!.— закричала кухарка, обращаясь к нам.— Будьте свидетели!..

— Не трещи, не трещи, дура, лахудра!..— заговорил ночной сторож, ее муж.— Заплевала... Правда-то, видно, бельмы колет...

— Молчи, гнилой пес... туда же?..

— Ребята,— закричал вдруг кто-то из рабочих, перебивая перебранку,— что ж нам, не жрамши быть? Валяй на пятнадцати винтах!.. давай воды... кроши хлеба!

Все дружно и торопливо принялись крошить руками хлеб; наполнили этим крошевом чашки, налили в каждую из ушата холодной воды, посолили, «пустили» в каждую чашку по ложке черного, горького постного масла, и мурцовка «на пятнадцати винтах» была готова!..

— Валяй, ребята!

X

Поужинав, рабочие начали располагаться спать. Кто полез на нары, кто устроился на скамейках... Я сидел и искал глазами места, где бы можно было приткнуться на ночь. Места не находилось, а на грязном полу ложиться не хотелось, да и подостлать было нечего.

Из этого критического положения вывел меня веселый парень, Тереха-Воха.

— Юфим,— кричал он кому-то,— идем, что ли! — И, обратившись ко мне, прибавил: — Пойдем и ты с нами!

— Куда?

— В сарай спать... гоже! А тут,— продолжал он, скаля белые как снег зубы,— жуть! Клоп... У тебя покрыться-то нету?.. Наплевать... забота! Моим кафтаном покройся, а я полушубком... Юфим!..— опять закричал он.

— Да иду, иду, леший! торопила!.. И куда гонит... диви на пожар.

И с этими словами к нам из-за печки вышел старый, седобородый, высокий и худой рабочий.

— Ну, Тереха-Воха, едем! — сказал он и ласково добавил: — Рязань косопузая...

— Вот и он с нами,— сказал Тереха, кивнув на меня.— Внове... жалко!..

— Не трожь, идет,— сказал Юфим,— места хватит...

Мы вышли из хаты и направились к сараю, стоявшему поодаль от других строений... Это было огромное, старинное строение, крытое железом, со сквозными, расположенными друг против друга воротами так, чтобы можно было въезжать в сарай с возом с одной стороны и, скинув воз (в сарае убиралось сено), выехать порожнём в другие ворота.

В сарае было темно и пахло клевером... Мужики смело, а я осторожно ступая, боясь споткнуться и упасть впотьмах, прошли на известное, облюбованное ими раньше место в углу и опустились на землю. Я сделал то же.

— Пошарь руками круг себя,— сказал мне Тереха,— посбирай ошурков... подложь под себя... кафтаном прикройся... Да, правда, не холодно... благодать!.. Ворота что ж не прикрыли, а?.. Закрыть, что ли, дядя Юфим, а?

— Не трожь, открыты,— сказал Юфим и добавил: — Ночь-то теперича с воробьиный шаг... На хозяйскую руку тянет... Ну, правда, и нашему брату почет другой... А дай-ка вот лето придет, месяц июль — хозяину в рыло плюй... Нужны мы тогда!

Он помолчал и добавил:

— Чу, как на реке лягушки кричат... рады теплу.

— А грому вот еще не слыхать... знать, не было еще,— сказал Тереха.

— Был! — произнес Юфим.— Я слышал... намедни ночью... Ты спал.

Они замолчали... В открытые ворота смутно белело что-то, похожее на туман. Где-то далеко под горой, на реке, ухала выпь... Где-то, тоже далеко, звонили в сторожевой колокол.

— Кто это кричит, а? — спросил Тереха.— Дядя Юфим, слышь?..

— Птица... выпь...

— Что ж она как страшно, словно стонет... Жуть!

— Стало быть, так ей надо.

Они опять помолчали довольно долго. Потом Юфим сказал:

— Завтра праздник, не работать.— И обратился ко мне: — Земляк!.. слышь, что ли, спишь?..

— Нет! — сказал я.

— Денег готовь,— продолжал он,— на гудуху... в винополию завтра пойдем...

— Это зачем же?

— А затем... порядок здесь такой заведен: как, значит, новый приделился,— четвертную с него!.. Ничего, брат, не попишешь... В чужой монастырь со своим уставом не пойдешь... А деньги нарядчик даст... опосля зачтет... Эх-хе-хе! — зевнул он.— Аль уснуть, что ли?

— Не хотца чтой-то,— сказал Тереха и добавил: — Ты рассказал бы, дядя Юфим, что-нибудь... пра, ей-богу...

— Про что рассказывать-то... Нечего рассказывать... все переговорено... Спи-ка!

— В деревню бы теперь, домой,— вздохнув, произнес Тереха.— Живы ль, нет ли... писем не шлют...

— Чего ты тамотка не видал? — сказал Юфим.— Небось там и жрать-то неча... Знаю я вашу сторону... серый народ... Недаром говорится: Рязань косопузая... Косопузая и есть.

— А ты нешто был в нашей стороне? — воскликнул Тереха.

— Ты спроси, где я не был,— ответил Юфим и, помолчав, произнес: — Н-н-да... Всего было... О господи, помилуй!.. Тереха ты Воха, ничего-то ты, брат, не смыслишь... Большой ты малый, а дурак дураком и уши холодные... проведет тебя всякий, дурака, да выведет... Прост ты!.. А простота-то хуже воровства. Женить тебя, дурака, надо.

— Подняться, дядя Юфим, нечем... нужда... жуть!.. А жениться — деньги нужны... успею еще...

— Успеть-то успеешь, а все-таки...

— А ты, дядя Юфим, женатый, а? — спросил Тереха-Воха.

— А тебе что?

— Так я.

— Был женат... Э, да что с тобой... спи!..

— Померла, знать, жена-то? — спросил Тереха.

— Померла... да...— тихо ответил Юфим и вдруг совсем каким-то другим, сердитым голосом почти крикнул: — Убили ее!.. Не своей смертью померла... Двое детей было,— продолжал он торопливо и тихо,— ухайдакали, прирезали, как овец...

— Как же это дело-то было? — с дрожью в голосе, шепотом спросил Тереха и жалобно, как ребенок, начал просить: — Расскажи, дядя Юфим... Дяденька, золотой... расскажи...

— Отстань! — сердито сказал Юфим.— Чего пристал... Чисто махонький...

— Да расскажи... любопытно... Как так... Дяденька Юфим, а?

— Тебе, дураку, любопытно,— видимо сердясь, заговорил Юфим,— а у меня, може, сердце кровью обливается, как вспомню... Любопытного, брат, мало... Дурак ты... да и я не умен.

Он завозился впотьмах, что-то шаря, и немного погодя вдруг чиркнул по коробке спичкой и стал закуривать трубку. Слабый трепетный свет спички осветил его лицо, нахмуренные седые брови, бороду, Tepexy, лежавшего навзничь, подложив под голову руки, то место, где мы лежали, стену, и вдруг погас... В сарае сразу стало как будто темнее, глуше и тоскливее, чем было прежде.

XI

— Я в те поры в лесниках жил,— тихо и каким-то глухим, сдавленным голосом заговорил Юфим,— от Москвы недалече, верстах в сорока, лес стерег. Сторожка в лесу стояла... Место глухое; от деревень далече, от экономии далече, дороги нет... Глухое место! Жалованья получал я десять целковых да два пуда муки... Покос тоже, травы накашивал, корову держал, поросенка выкармливал... опять, грешным делом, случалось, когда елочку аль там сушинку каку спустишь по знакомству, по человеку глядя!.. Хорошо жил, одним словом, нужды не видал. Работа легкая, деньжонки, прямо надо говорить, водились... Накосишь, бывало, за лето сена, на коровенку оставишь, а излишек продашь... Опять на грибах на белых копейку хорошую зашибал... Гриба этого сила была! А то вот еще рыжики солил, волнушки... что придется... Москва все жрет... Господишки, случалось, на охоту приезжали — опять доход. Пойдет это у них гульба, пьянство... самовар за самоваром, только успевай ставить... Здорово на чай попадало! Деньги у них, известно, не мозольные,— гулевые!.. Что им, чертям!.. Управляющий обожал меня... потрафлял я ему всячески... Ну, и все ладно было... Да!.. Ружьишко тоже у меня водилось... Случалось, рябца сшибешь аль там тетерю, зайца ему снесешь... Сичас тебе за это банку да, окромя того, полтинник в зубы... Так-то вот... да!

Он замолчал и начал раскуривать трубку, чмокая губами.

— Ну, известно,— начал он опять, раскурив,— не один жил: с бабой, с женой... двое детей, мальчишки... Одному, старшему, семой год шел, а другому четыре исполнилось, на пятый... Одного Ванюшкой звали, другого Васькой... Утеха, парень, была, а не ребята!.. Бывало, идешь это с обхода, встречают, кричат: «Тятька идет, тятька идет!» А то, бывало, по осени, вечера это долгие, на улице тьма, холод, ветер... Лес это шумит... елки скрипят, словно кричит кто-то, а в хате у нас гоже: огонек, печку махоньку затопим, картошки сварим... Теплынь!.. Ребятишки на мне так и виснут... «Тятя, тятя... миленький, хорошенький, поиграй с нами...» Жена тут сидит, шьет либо еще что делает... Крик это с ребятами подыму, возню... Уж жена, бывало, скажет: «Да полно-ка тебе: диви махонький...» А сама смеется... любо ей... Эх, Тереха-Воха, вспомнишь это!..

Он опять помолчал.

— Чем я создателя прогневил — не знаю, а только наслал он на меня беду лютую, все равно как, скажем, на Иова многострадального... Эх, Терешка, и теперь вот сердце кровью обливается, как вспомню... Ну, а тогда-то что было, и выразить тебе, родной, не могу... Вот оно как дело-то вышло... Слушай-ка да дивись на людей... Бог им судья!.. Осень стояла о ту пору... октябрь месяц... снегу еще не было... выпадал он, да таял... такая-то скверная погода стояла, не приведи бог! Встанешь, бывало, поутру, посмотришь: ах, чтоб те! Смерть идти неохота, а идти надо, потому время такое: зима на носу, самое воровство... А под Москвой народ знаешь какой... не Рязань ваша... Он те за монетку отца зарежет, а украсть ему все равно что плюнуть... Ну, ладно... А обход у меня был агромадный!.. Бывало, выйдешь поутру чем свет, а назад придешь, почитай, к вечеру... Устанешь до смерти... Хлеба с собой брал... Закусишь, бывало, в лесу... Ходишь, глядишь, не украли ли где... Ладно... А о ту осень воровство пошло везде по деревням: то, глядишь, в амбар влезли, то со двора лошадь угнали, то ограбили пьяного на дороге... страсть, голова! А этой самой злой роты развелось — сила! Не успевают подавать православные... а на черед, почитай, каждый день водят...

Стал я, братец ты мой, опасаться за своих... Уйдешь это, бывало, а сам думаешь: «Как бы, спаси бог, греха не случилось... Заберутся, думаю, какие-нибудь хахали...

меня нет... а ее дело бабье... придушат, вот тебе и весь сказ... Ищи опосля...»

Стал я и ей говорить: «Ты, говорю, баба, запирайся тут без меня покрепче... не пускай никого».— «Авось бог милостив, говорит, сколько годов живем, и слуху нет... Я, смеется, коли кто придет грабить, кочергой зашибу...» Веселая была бабочка! Царство небесное... пресветлый рай!..

Успокоит, бывало, меня эдак вот... «Ну, думаю, ладно. Кто, в самом деле, к нам в эдакую глушину пойдет... Свои не пойдут, а чужие ежели кто,— тем и вовсе дороги нет... Нешто заблудится какой...» Хорошо, братец ты мой... да!.. Эх-хе-хе!..

В саму Казанску это дело случилось... Утро было, как сейчас гляжу, холодное: ветер это... дождь, снег... Встал я рано, напился чаю... пошел в обход и собаку, словно греху так быть, с собой взял... думаю: не столканет ли где зайчишку... Иду это лесом... Тоска, понимаешь, напала на меня... «Чтой-то, думаю... господи Исусе. Не случилось ли, думаю, спаси бог, чего?.. Не воротиться ли?..» Думаю так, а сам иду все... Вдруг будто закричал кто... аль показалось мне, что закричал, только еще боле на сердце у меня неспокойно стало...

Ну хорошо... Иду и думаю: «Не пойду седни круг всего лесу, обойду половину... Наплевать, думаю, чего уж оченно-то радеть... да и праздник ноне». Ладно... Обошел, значит, что надо, вижу: по-моему, время уже много... за обед перевалило... «Пойду скорей домой»,— думаю... И пошел назад... Подхожу к сторожке, вижу издали: дверь настежь! Господи Исусе, что такое?!. Затряслись, парень, и руки и ноги... Иду... гляжу в окно... не видать ребятишек. Бывало, как иду, они в окне сидят... стучат в раму... смеются... «Царица небесная, думаю, матушка!..» Взошел это на порог... заглянул в избу... опустились у меня руки... захолодало у меня сердце... страсть!.. Лежит, вижу, Терешенька, баба моя, около печки вниз ничком... ткнулась в пол носом... а кровь-то кругом — лужа! Бросился было я к ней, да и вспомнил вдруг: «А детки-то?..» Испугался... свету не взвидел... закричал не своим голосом: «Ванька! Васька! где вы?» Гляжу: нет... Заглянул в каморку за переборку... кровать там у нас стояла... а они, гляжу, оба на полу около кровати... один вниз ничком... другой сидит, головка запрокинулась... зубки ощерены... а крови-то!..

— Жуть! — воскликнул вдруг Тереха и торопливо, боясь, очевидно, что Юфим перестанет говорить, запросил: — Ну, ну, дядюшка Юфим... ну, ну!..

— Закричал я тутотка опять не своим голосом,— продолжал Юфим,— решился рассудку... хватаю их, целую... кличу... плачу... сам весь в крови стал... А кровь-то, как клей, так к рукам и липнет... Выскочил из каморки, к жене... гляжу: собака вошла, кровь лижет... Осатанел я вдруг... Ах ты, такая-сякая!.. Схватил ружье, за ней!.. Очумел, сам не свой... Она от меня... Я — бац в нее!.. Бросил ружье... побежал, бегу, кричу: караул! караул! Прибежал на барский двор... прямо к самому... в ноги ему... кричу это... плачу... в крови весь... Перепугался он до смерти... Рассказал я ему кое-как... изъяснил... Ну, сейчас это народ сбили... Кто верхом, кто как... пошла канитель.

Он примолк.

— Ну, ну, дядя Юфим, ну, ну! — опять заторопил его Тереха.— Пымали, что ль, кто убивал-то?..

— Нет, брат, не пымали... Как в тучку канул... В ведомостях в те поры об этом пропечатано было... Пытали искать... да нет: пропал злодей, ушел... Ушел от людского суда... От божьего не уйдет... найдет его господь!.. Так-то вот, Тереха-Воха, поживи с мое!..

— Как же ты опосля этого, а? жил-то?

— Как люди живут, так и я жил... У меня, брат, характер крепкий... вот что... А, одначе, отстань от меня, трепло!.. Спать надо...

— Жуть! — опять воскликнул Тереха.— И как это руки поднялись на младенцев... Ангельские душеньки... Жуть!

Юфим ничего не ответил.

— И как это ты!..— опять, помолчав, воскликнул Тереха.— Я бы, кажись, обмер... Дядя Юфим, спишь? — И, видя, что Юфим не отвечает, громко зевнул.— Господи, царица небесная!..

Через минуту он захрапел...

— Чисто ребенок малый! — проворчал потихоньку Юфим.— Господи, помилуй нас, грешных...

Я встал, подошел к открытым воротам и сел на пороге... Короткая майская ночь проходила... Было еще темно, но уже на востоке занималась узкая, точно из стали, полоска зари... В воздухе стояли какие-то странные,

таинственные звуки... Звуки эти то рождались, то таяли, то вновь оживали... В прозрачной синеве далекого бездонного неба дрожали, погасая, редкие звезды... Где-то вдали, за рекой, кричала какая-то птица протяжно и жалобно.

Заря разгоралась... Делалось с каждой минутой светлее... Над рекой поднялся туман... С криком пролетели утки... Птички проснулись, зачирикали, запели... Где-то в деревне пастух хлопал кнутом, а где-то громко перекликались петухи...

Я вошел в сарай, лег и вскоре тоже уснул.

XII

Проснулся я поздно. Яркие солнечные лучи врывались в открытые настежь ворота и тянулись, играя в пыли, разноцветными узкими полосками сквозь щели сарая. На балках глухо ворковали голуби, бегая друг за дружкой... На земле, под остатками почерневшего клевера, пищали мыши.

Мне не хотелось вставать... Так хорошо, тихо и мирно было в сарае... Я лежал, смотрел, слушал. В открытые ворота видны были березы... Молодые маленькие листочки тихо трепетали и шушукались, точно говоря про что-то хорошее... Сквозь сетку ветвей и листочков виднелось голубое необозримое небо, по которому изредка, как корабли, тихо и величаво проплывали облака...

Ко мне в сарай доносились с поля торопливые песни жаворонков, из рощи — крики грачей...

Рядом, за стеной сарая, в кустах бузины, тараторили, дрались, чирикали воробьи... В селе, за рекой, звонили к обедне...

«Пора, однако, вставать!» — подумал я, и только было хотел сделать это, как в сарай вбежал Тереха и еще от ворот закричал:

— Вставай скореича! Дело есть! Меня за тобой мужики послали... Иди на кухню.

— Что такое? — спросил я.

— Что? Четвертную с тебя... Порядок здесь такой... Я сам тоже ставил... ничего не попишешь... Вставай!

— Денег нет,— сказал я, идя за ним на кухню.

— Не горюй об деньгах... Хошь, я дам? У меня есть...

А то нарядчик даст... эва, не пропадут... Из жалованья вычтут.

На кухне собрались все рабочие. Некоторые из них сидели за столом, лениво и нехотя, точно по обязанности, допивая чай, иные курили; остальные просто сидели или лежали, дожидаясь обеда.

Кухарка в своем углу, против печки, в грязной лоханке мыла ложки и что-то пела тоненьким голоском...

— Садись — гость будешь... Вина купишь — хозяин будешь,— сказал мне суровый с виду кузнец и отодвинулся немного на скамье, давая мне место.— Вот что, друг ситный,— продолжал он,— гудуху становь!.. Ребята! — обратился он к рабочим.— Как нам?.. Здесь пить аль на село пойдем? Тамотка ноне престол... праздник...

— Как хотите,— ответил Юфим,— по мне, хошь в село... Чайку тамотка кстати полакали бы в трактире.

— Тащиться за семь верст киселя хлебать,— проворчал нарядчик,— кто пойдет-то? Много ль пьющих-то?..

— Кто пойдет — не твое дело... Ты, известно, не пойдешь.

— Да уж известно; не товарищ я вам, пьяницам.

— Молчи, сволочь!..

— Собака, гад! — произнес злобно нарядчик и, встав, вышел за дверь.

— Не любишь, кобель! — кривя усмешкой тонкие, сухие губы, сказал, сидя на своей койке, чахоточный сторож, муж кухарки.— Не ндравится... собака!.. черт!.. Известно, в село пойдем,— продолжал он,— ужли здеся... ноне праздник.

— Куда те идтить,— крикнула от печки кухарка,— сиди, Ерема, дома... По трактирам тоже... Издыхать пора! На погосте твое место!

— У-у-у, дьявол! — закричал сторож.— Убью! У-у-у, чтоб тебя!

Он начал ругаться скверными словами, злобно сверкая огромными глазами, как-то необыкновенно страшно выделявшимися на худом, желтом, точно заостренном книзу лице.

— Будет вам. Ну вас к чертям! — закричал кузнец.— Ужо наругаетесь!.. Кто на село пойдет, говори! А то мы

одни уйдем, дери вас черт! Рязань косопузая!.. Деньги есть? — обратился он ко мне.

— Нет.

— Врешь?.. Смотри, брат, душу вышибу... Эх,— продолжал он,— у черта этого,— он кивнул на дверь, куда вышел нарядчик,— спрашивать — легче на ножик идти!.. Может, есть у кого,— не пропадут ведь: пачпорт-то в конторе, не сбежит... Получка придет — на, получай деньги... а то, коли что, я отдам...

— У меня, дяденька, есть,— отозвался Tepexa,— я ему давеча сказывал: возьми, мол!

— Молодчина, Tepexa-Boxa,— похвалил кузнец.— Давай, брат!.. А ты пойдешь с нами?

— Пойду! — весело отозвался Tepexa.— А то как же, знамо... там, чать, весело... девки...

— Вот что, братцы,— заговорил опять, получив с него деньги, заметно повеселевший кузнец.— Кто пойдет, так, значит, айда сейчас... обеда ждать нечего,— невидаль!.. Опять ноне винополия только до трех торгует, народу, чай, страсть, опять же идти пять верст... Час пройдешь... Айда, значит,— неча ждать... А ты пьешь водку-то? — обратился он ко мне.— Пойдешь с нами?

— Пожалуй,— сказал я.

— Ну, и ладно... идем!.. Кто желает?..

Желающих оказалось только пять человек, не считая меня... Остальные,— как я после узнал, все дальние, рязанские, калужские,— остались. Они сидели молча, хмурые и как будто чего-то боялись.

Пока желающие идти сряжались,— то есть кто надевал сапоги, кто сменял рубашку,— в избу вошел нарядчик и, сев, быстро окинул глазами всех нас... Гадкая, злая усмешка кривила его губы.

— Никак и ты, Сопля, идешь? — обратился он к сторожу.— А ночью-то за тебя кто же стеречь станет, а?

— Тебя не заставят! — огрызнулся сторож.

— То-то, мол,— произнес нарядчик и, обратившись к кухарке, сказал: — Как у тебя... упрело?.. Похлебать бы,— и, не глядя ни на кого, заговорил: — Поутру, коли что, кто на работу не выдет,— самому доложу...

— Докладывай, черт! — крикнул кузнец.— Ну, айда, ребята! Счастливо оставаться! — поклонился он оставшимся в кухне.— Наплевать!.. Губа толще, брюхо тоньше... Трогай, белоногой.

XIII

Мы прошли мимо окон квартиры управляющего, прошли имением, спустились под гору к реке, перешли по мосту на ту сторону и вошли в молодой, частый, мелкорослый березняк.

Узкая дорога, изрезанная колеями, наполненными жидкой грязью, вилась по лесу.

Мы шли гуськом... Впереди всех шагал высокий, с тонкой шеей, качающейся на ходу, ночной сторож Сопля; за ним — кузнец, за кузнецом — широкоплечий, чернобородый, без сапог, в одной рубашке, мужик Михайло, по прозвищу Культяпка; за Культяпкой плелся, наклоня голову, дядя Юфим, за ним — Тереха и я.

Солнце перевалило за полдень, когда мы вышли, наконец, из лесу в поле и увидали вдали, на горе, село с белою церковью и золоченым крестом, который ярко сверкал на солнышке.

Полем дорога просохла: идти было хорошо и весело. Жаворонки то и дело взвивались с земли кверху, трепеща крылышками, пели свои часто-болтливые песни и, как камушки, вдруг падали на землю... В воздухе стояла та особая, чуткая, майская тишина, в которой каждый звук слышится как-то особенно отчетливо и ясно...

По мере того как мы приближались к селу, цели нашего путешествия, оттуда навстречу нам доносились крики и песни.

Наконец, мы пришли туда... Село гуляло... На улице толпа девушек в разноцветных платьях водила хоровод, крича дикими голосами что-то непонятное и бесконечно-тягучее... Неподалеку от хоровода стояли две палатки, в которых бойко шла торговля гостинцами.

Пьяные мужики и бабы попадались нам навстречу; толпа человек в пятнадцать молодых ребят, с гармошками и бубнами с трензелем, неистово крича, разгуливала по дороге среди села из одного конца в другой.

В каждой избе в открытые окна виднелись сидевшие за столами нарядно одетые гости. Они закусывали и пили водку.

Вслед за шедшим впереди Соплей мы направились к трактиру и винополии, стоявшим рядышком на краю села, немного поодаль от мужичьей стройки.

Около трактира, на вывеске которого были намалеваны чайник на подносе, чашки и надпись: «Не ходи туда, здесь лучше»,— было особенно шумно...

Дверь винополии не стояла на петлях. Оттуда то и дело выскакивали фигуры с полубутылками, бутылками, сотками в руках и тут же, у крыльца, вышибая пробки ладонью правой руки, пили водку прямо из горлышка или же из заранее приготовленной чайной чашки...

Несколько человек пьяных уже валялись около колоды, где привязывают и кормят лошадей, уткнувшись головами в навоз.

Какой-то малый, здоровый, высокий, с красной шеей и налитыми кровью страшными глазами, засучив рукава красной рубашки, ругался скверными словами, вызывая себе «любака», то есть охотника с ним подраться.

Около этого парня вертелся маленький рыжебородый мужичонка; плача пьяными, обильными слезами, он старался ухватить парня за руку и кричал:

— Василь Егорыч, пере-е-е-е-стань!.. по-о-лно... оставь! н-н-н-нехорошо!.. Василь Егорыч!.. Христо-о-о-м богом прошу...

Из трактира неслись на улицу дикие крики и песни... Все напившиеся около винополии шли туда пить чай и вообще проводить время... Трактирщик, злобный, уже немолодой мужик, прежде, до казенной продажи, торговавший водкой, вместе со своим половым выпроваживал то и дело чересчур пьяных гостей вон за дверь, смазывая предварительно им для потехи затылки горчицей...

— Черти! — орал он.— Какой от вас барыш... чашки только воруете... Сидите за пятачок-то целый день... Канителься с вами!..

Совсем пьяный оборванный нищий, точно выкупанный в грязи, с подбитыми глазами и содранной переносицей, с мешком за плечами и корзинкой в руках, выпихнутый из трактира, споткнулся и упал навзничь, раскинув руки и крепко ударившись затылком об землю... Корзинка полетела, из нее посыпались в стороны кусочки черного и белого хлеба.

— Во как у нас! — крикнул нищий и стал было подниматься.— Во как! — повторил он и упал снова.

Какая-то краснощекая, обтрепанная, пьяная, гулящая бабенка, дико хохоча, подскочила к нищему и села ему на лицо...

Видевшие это загоготали.

— Марфушка, что ты, черт! Задушишь, дьявол!.. Встань!.. Ах, дуй тя горой!..

Два каких-то парня, повидимому из фабричных, в пиджаках, жилетках, «при часах», оба испитые, бледные как смерть затеяли ссору, которая перешла в драку... Один из них, потрезвее и посильнее, толкнул другого в грудь... Тот как сноп повалился на землю навзничь и со всего маху при падении ударился затылком об острый угол крыльца... Брызнувшая кровь сразу смочила ему волосы и потекла по щекам от висков к страшно кривившемуся в одну сторону рту... Он начал ерзать по земле руками, как заяц, у которого перешибли задние ноги, стараясь подняться... Из перекосившегося рта показалась пена... Он что-то бормотал, и в горле у него булькало, как в бутылке... Один глаз залился кровью, другой, побелевший, дико вращался, бессмысленно и страшно.

Толкнувший его парень нисколько, повидимому, не испугался; наблюдавшие эту сцену хотя и обратили на нее внимание, но, повидимому, только со смешной стороны... Один только трактирщик, которому сказали про это, вышел на крыльцо, посмотрел и произнес:

— Убрать бы его, ребята, от греха.

— Кой черт ему деется... встанет!

— Отвечай тут за вас! — крикнул трактирщик и продолжал, обращаясь к стоявшим около мужикам: — Самделе, ребята, отволоките его хучь от крыльца-то мого подале... Черт с ним! Подохнет,— не у меня напился... Вон к винопольке-то, будь она проклята, бросьте!.. Сделайте милость, уберите... Иван, будь друг, убери! Безобразие!..

Ушибленный истекал кровью... Он лежал навзничь, разиня рот, и тяжело сопел носом... Все лицо его было залито кровью. На него противно и жалко было смотреть.

Обступившие его делали различного рода замечания: «Ишь налакался, дьявол»... «Дело праздничное»... «Смотри, не сдох бы»... «Ни черта, сойдет»... «Кровью изойдет»... «Небось не изойдет... запечется»... «А нам-то какое дело?! Наплевать — на то и праздник»...

— Иван, убери, сделай милость! — опять сказал трактирщик.

Черноволосый здоровый мужик нагнулся и нехотя подхватил ушибленного подмышки; тот что-то заболтал, как тетерев на току, и задергал ногами.

— Да ну, дьявол, упирайся! — крикнул мужик и поволок его от трактира в сторону.— Полбутылки с тебя за это! — крикнул он трактирщику.

— На сотку дам! — ответил трактирщик.— Зайди!..

XIV

Мы взяли четверть водки и, отойдя в сторонку, сели под березками на другой стороне дороги, против казенки.

— Жуть! — воскликнул Тереха.

— Что, брат! Не по-вашему, видно! — усмехаясь, произнес дядя Юфим.— Учись, брат... гляди... помни! Не Рязань, брат, здесь косопузая: есть на что посмотреть!

Кузнец молча, с необыкновенно серьезным лицом вытащил заранее приготовленным гвоздем пробку и достал из кармана тоже заранее приготовленную чашку с отбитой ручкой, или, как он выражался, «аршин».

— Ну, а как же насчет... закусить-то? — спросил он.

— Надо бы чего-нибудь взять,— сказал Культяпка,— пальцем не закусишь.

— А ты языком,— сказал Юфим и, поднявшись с земли, прибавил: — Пойду в трактир... Возьму тамотка чего-нибудь...

Он скоро пришел назад, неся в серой бумаге изрезанную на куски селедку и фунта два черного хлеба.

— Пятиалтынный сгладил за селедку-то,— сказал, кладя ее на землю и усаживаясь сам,— притка его расшиби! Грабители, черти!.. Два фунта хлеба... всего на двадцать монет... Мотри, ребята, расход поровну.

— Да уж знамо! — ответил кузнец и спросил: — Ну, что ж... дернем аль погодим?

— Чего ждать! — радостно воскликнул Культяпка.— Посуда чистоту любит... Давай, давай... душа горит!

— У тебя завсегда горит... Пьяницы мы с тобой, Культяпка, горькие!

— Ладно!.. толкуй, кто откуль... А ты, самделе, не томи, сыпь!..

Кузнец взял «гудуху» в обе руки, налил в аршин водки и кивнул Культяпке:

— Соси!..

Культяпка, морщась, выпил и начал плеваться.

— Горько, а пьешь,— сказал он,— бросать надо.

— Брось, а я подыму! — сказал Юфим, тоже выпивая.

Аршин обошел всех... Стали закусывать... Нечищеная, ржавая селедка затрещала на зубах... Кожу с кусков обрывали руками и бросали на землю... Грязь текла по рукам... Запах селедки, резкий и противный, ударял в нос. Но на все это не обращали внимания, а ели, громко чавкая и изредка вытирая рот или рукой, или грязным культяпкиным картузом, который он любезно предложил на общее пользование как вещь, которая больше ни на что не годится.

— Сыпь по другой! — сказал Культяпка.— Глядеть на нее, что ли: небось — не девка.

Кузнец стал обносить по другой.

— Я не стану,— сказал Тереха,— будет!

— Что так?

— Много мне... будет...

— Ну, будет, так будет... твое дело!

— Ишь он с одной-то чашки, гляди, запьянел,— сказал Юфим,— ишь рыло-то какое стало.

Рыло у Терехи действительно покраснело, налилось кровью, а глаза весело сверкали и лоснились, точно их покрыли лаком... Он глядел на нас, скаля белые как снег зубы.

— Будя мне! — опять повторил он.— Угощайтесь! Я так посижу, на народ погляжу... Чудно гуляют больно!.. У нас так не гуляют...

— А как же у вас... лучше?..

— У нас,— заговорил он, еще больше оживляясь и сверкая прекрасными глазами,— не так... У нас безобразья этого нету... А чтоб у нас девки, как вот здешние, бесстыжие... спаси бог! Тут вон как... матерно все... на каждом слове! При девках... тьфу! Жуть! На что хуже!

— Верно, брат! — угрюмо произнес кузнец, на которого выпитая водка, повидимому, нагнала еще большую суровость.— Верно, друг, сволота здесь, болотина, тина... Попал сюда, того и жди — затянет...

— А ты наливай знай! — сказал Культяпка.— Затянет!.. Толкуй с ним! Нешто он што смыслит: деревня необузданная, косопузая Рязань.. Ах, в рот те! — воскликнул он.— А ведь закуска-то вся... Дядя Юфим, есть деньги-то, а?.. Давай!..

— Да уж, видно, так тому и быть! — сказал захмелевший Юфим и полез в карман.— Накось, родной, как те звать-то забыл,— обратился он ко мне, подавая деньги,—

сходи возьми за пятиалтынный селедку... выбирай из кадки-то, котора поболе... Ну, хлеба фунт, да спроси, нет ли, мол, огурца соленого... Поди, нету. Ну, одначе, спроси на счастье... может, есть...

Я взял деньги, пошел к трактиру и уже хотел было войти на крыльцо, как вдруг парень с красной шеей, искавший себе «любака», подскочил ко мне и закричал:

— Ты кто такой, а?.. Откеда?.. Куда идешь?

Не обращая на него внимания, я двинулся дальше.

— Стой! — неистово заорал опять парень.— Кто ты такой?.. Какую ты имеешь полную праву ходить здесь? Имеешь вид?.. Кажи вид!..

— Какой вид? — спросил я.

— Ну, коли не вид, так пачпорт... Кажи, а то в морду!

— Василь Егорыч!.. Василь Егорыч!.. Полно... брось, говорю, сукин сын, не для праздника будь сказано... оставь!..— упрашивал его все тот же рыжебородый мужичонка.— Ну, чего тебе? Видишь, чай: человек внове... ну, пришел на праздник... Престол ведь, великий день!.. Вникни, стерва ты беспокойная, тьфу!

— Ступай ты к лешему! — закричал на него парень и опять заорал на меня: — Хошь к уряднику, а? Хошь?.. Ты, може, бродяга, вор!.. Дам вот в хлебово,— будешь помнить!.. Что у тебя в руке? Кажи! Деньги?..

— Отстань от меня! — крикнул я.— Какое тебе дело!

— Нет, врешь, не пущу!.. Врешь, брат!.. Купи половинку — пущу, а то в морду... Айда в казенку!

— Нет, брат, в казенку я с тобой не пойду! — сказал я.— Пусти!

— Врешь! — заорал опять парень.— Пойдешь... Почему такое ты со мной не пойдешь, а? Да я тебя ра-а-а-зражу на две половины! Кто я... не знаешь?.. В морду хочешь, сволочь!.. Айда за мной!.. Сыпь!

— Маркелка! — обратился он к рыжебородому.— Айда! Пьем, значит...

— Василь Егорыч, брось! — снова начал упрашивать мужик.— Нехорошо!.. Противу людей стыдно!

— Ну, пойдем! — сказал я, видя, что от него не отвяжешься.

— Ты куда же это? — спросил он.

Я подвел его и его товарища к своим и объяснил, в чем дело.

— Выпить тебе охота? — спросил кузнец, поднявшись

на ноги, и, окинув его своими страшными глазами, повторил: — Выпить? Можно!

— Мишук,— кивнул он Культяпке,— насыпь... поднесу...

Культяпка молча, с улыбкой на тонких губах, налил чашку и, подавая ее парню, сказал:

— На, родной, выкушай на доброе на здоровье!

Парень взял от него чашку, подержал немного и сказал:

— С праздником! Желаю здравствовать!

— Пей, пей! — сказал кузнец.— Пей, не бось...

Парень поднес чашку ко рту и стал сосать водку...

В это время кузнец, с перекосившимся от злобы лицом наблюдавший за парнем, размахнулся вдруг правой рукой и со всей силы ударил кулаком по донышку чашки...

Парень крикнул «ах!» и как сноп упал навзничь на землю.

Чашка разбилась... Парень, обливаясь кровью и как-то чмокая, заерзал по земле, стараясь встать.

— Вот тебе! — крикнул кузнец и ударил его еще сапогом в бок.— На, пей!..

— Кара-а-а-ул! — закричал товарищ парня.— Караул!.. Убили!..

Видя это, Культяпка схватил четвертную и, торопливо обращаясь к нам, сказал:

— Ну, ребята, утекай скореича от греха, а то пропишут по первое число!.. Хучь бы водку-то не отняли!..

— Караул! Убили! — взвыл между тем мужичонка.— Братцы, наших бьют!

Несколько человек мужиков и гуляющих парней бросились к нам.

Видя это, Культяпка подхватил четвертную подмышку и побежал от места происшествия под гору, по вспаханному полю, к видневшимся вдали кустам.

— Держи его! — закричал кто-то.— Уйдет, дьявол. Уйдет и вино унесет... держи!..

Несколько человек бросились за ним вдогонку, а остальные окружили нас, и началось побоище... Нас били, и мы били.

Помню, как страшно кричал кузнец и как страшно он бил... Помню, как сшибли с ног длинного Соплю... как волокли по земле дядю Юфима...

Страшно, свирепо, отвратительно...

XV

Сильно избитые, оборванные, мы с Терехой вырвались кое-как, наконец, из этой свалки и, позорно бросив кузнеца, Юфима и Соплю на произвол судьбы, побежали с поля сражения под гору, к кустам, по тому направлению, куда удрал Культяпка.

Пробежав немного, мы оглянулись и, видя, что никто не гонится, пошли шагом.

Я смотрел на Тереху. По лицу у него текла кровь, губа распухла, красная рубаха, надетая для праздника, была растерзана и висела клочьями...

Он шел и плакал, хлюпая то и дело носом.

— Что ты? — спросил я.

— Черти! — ответил он.— Идолы! Меня-то за что били?.. Рубаху-то вон, гляди... жуть!.. Неужли у вас завси так-то празднуют?..— задал он вопрос, утирая слезы разорванным рукавом рубашки.

— Бывает хуже! — сказал я.

— Что ж теперича-то, а? — воскликнул он, когда мы вошли в кусты и, остановившись, услыхали крики в селе...— Дядю-то Юфима... жуть!.. А здорово кузнец бьется! — через минуту уже весело воскликнул он.— Как полыхнет — так с ног! Как полыхнет — так с ног... Сила, сичас помереть, жуть!.. Авось вырвутся как-нибудь!..

Я ничего не ответил и шел молча, думая про себя: «Если я брошу это место, то куда же мне идти, и лучше ли будут люди и жизнь в другом месте?.. Вырвусь ли я когда-нибудь из этой страшной тьмы?..»

За лесом, на опушке, около речки, в виду имения, нас встретил Культяпка.

— Слава богу,— ухмыляясь и поглаживая левой рукой бороду, радостно заговорил он,— идете... здравы, невредимы... а где ж те-то?

— Лупцуют их тамотка! — сказал Тереха.— А мы убегли...

— Ах, в рот те шило! — воскликнул Культяпка.— В отделку попали, знать... Ужо, гляди, придут чище хрусталя... А за мной, похоже, тоже гнались,— продолжал он,— да нет, шалишь!.. Главная причина — не убег бы я, кабы не водка... Себя-то не жалко — наплевать, пущай бьют! Ее-то, матушку, думаю, отнимут да слопают... деньги

плочены! Сберег в целости... Чеколдыкнете, что ль, с устатку-то, а? Она у меня упрятана в кусточках.

Мы пошли за ним к месту, где он спрятал четвертную, и, придя, усталые и злые, сели. Водки было еще много.

— Вы, братцы, не подумайте, что я выпил один,— сказал Культяпка, показывая ее,— истинный Христос, не пил. Провалиться мне на этом месте, коли вру! Ей-богу! Глаза лопни!.. Ах, в рот те шило! Из чего ж пить-то?.. Разбили ведь чашку-то... И чашка-то скотницы Васены: заест теперича!.. Погоди, ребята; правда, не горюй... Голь на выдумки хитра: я из бересты сварганю...

Он живо вскочил с места и, осмотрев несколько штук берез, выбрал, наконец, такую, которая, по его приметам, годилась в дело, ухитрился как-то зубами содрать кусок бересты и ловко сделал из нее ковшичек, или «фунтик», по форме похожий на те «фунтики», в которые обыкновенно в мелочных лавчонках завертывают товар.

— Гоже! — воскликнул Тереха.— Молодца ты, Михайло!

— А закусим кислицей! — засмеялся Культяпка и продолжал: — Ладно... Нам тут не дует. Гляди, скоро и наши подойдут. Не убьют их, чай, до смерти.

Он налил в фунтик водки и стал обносить. Мы выпили, закусили щавелем и, выбрав место, где посуше и откуда было видно дорогу, легли на землю.

— Погодить надо,— сказал Культяпка,— придут, все вместе в именье пойдем... Вот черт-то обрадуется — нарядчик-то наш... дери его дером... Вот кого бить-то надо, а не нас.

Мы немного полежали молча.

— Ай еще выпить по махонькой?.. Как скажете? — предложил Культяпка.— Скучно!..

— Надо оставить тем,— сказал я.

— Знамо... неуж не оставим... есть еще... глядикась! — Он поднял бутыль кверху и поболтал.— Грызется, матушка! «Бутылочка моя, превкусненькая,— запел он тоненьким голоском,— ты тогда нехороша, когда пустенькая...» Налью я, а?..

— Как знаешь! — сказал Тереха.

Культяпка обнес еще по фунтику и, крепко заткнув пробку, положил гудуху в сторонке под куст.

— Покурить теперь,— сказал он, доставая засаленный кисет и вертя папироску.— А ты, земляк, куришь? — спро-

сил он, глядя на меня.— Да ты откуда, а?.. Чтой-то словно я тебя где видал, быдто лицо знакомое...

— Не знаю,— сказал я,— навряд...

— О!.. Ну так, так...— Он лег навзничь и, плюнув, сказал: — На небушке-то как чисто, ни одного облачка... А что, взаправду,— продолжал он, помолчав,— неужто, ребята, опосля смерти наши души на небо пойдут, а?

— Дядя Михайло! А что у тебя жена молодая? — не отвечая на его вопрос, почему-то вдруг спросил Тереха.

— А что тебе?.. Аль насчет того хошь, а?.. Старая, брат,— продолжал он, помолчав, и не то с грустью, не то с досадой добавил: — Дура, брат, у меня баба.

— А дети у тебя есть ли? — опять спросил Тереха.

— Детьми я, брат, закидаю!

— А много ль?

— Семеро живы, да никак штук пять, а то и больше примерло...

— Бедно живете?..

— Что говорить!.. У меня изба-то вся с рыбий хвост... Полу, и того нет, земляной... Друг на дружке спят ребятишки-то... повернуться негде... Бедно, брат, да!

— Кто ж у тебя хозяйствует? — опять спросил Тереха.— Чай, тоже землю держишь? Хрестьянствуешь?..

— Я, друг, не хрестьянин.

— О-о-о! — удивился Тереха.— Кто же ты?.. Холуй?..

— Холуй и есть,— засмеялся Культяпка,— мещанин я! — добавил он.

— Что ж ты в деревне делаешь-то?

— А ничего,— живу! Плачу в мир три бумажки в год за место. Боле ничего...

— А велико ль место?

— А как избе встать... вовсе мало... Да что, теснят православные, прижали, как ужа вилами... Курицу держать, и ту не моги... Плохо...

— Ах ты, горюн! — сочувственно произнес Тереха-Воха и покачал головой.— Жалко мне тебя, дядя Михайло, истинный господь. Зачем же ты, чудачина, женился-то, а?..

— А шут меня знает зачем! Да коли правду баить — по пьяному делу да с жиру... С жиру-то, друг, и собака бесится... Жил я в те поры в кучерах...

— В кучерах!.. о-о! — с недоверием воскликнул Тереха, перебивая его.

— В кучерах,— продолжал Культяпка,— а ты что ж,

не веришь?.. думаешь, вру... Э, друг, да я этих разных должностей-то во сколько на своем веку произошел — у плешивого на голове столько волос нет... ей-богу!.. Кем только не был! — воскликнул он.— Царица небесная, матушка! Кучером был, за лакея был, водоливом на реке Шексне был, синизатором был,— с бочками ездил... за дворника был, за коновала и то раз был... ей-богу!..

— О-о-о?! Как так?..

— Как да как... все так! Нужда-то, брат, и попа скоблит. Жрать захочешь — поневоле, что и не умеешь, скажешь умею... Да, друг... так-то!

— Да ты, дядя Михайло, может, врешь?

— Чего мне врать. Мало ли со мной случаев было... всего! Пожил, брат, посрамил добрых людей... попил винца с хлебцем. Кабы не женат был да не детишки, нешь стал бы я работать! Будь она проклята, работа-то эта!.. Гнись, гнись... тьфу! с утра до ночи, как вол, а все нет ничего! Посмотришь, ей-богу, на нищего, и то завидки берут... Кой ему рожон! Настреляет за день-то кусков копеек на сорок, а то и боле — вечером в трактир... Сичас это в казенке половиночку раздавит, потом в трактир: чайку, бараночек, посидит, закусит — все по-хорошему. А ночевать — к десятскому: «Давай фатеру»... А мы что, когда просвет-то видим, а?.. Не женись, брат Терешка, не советую... Жениться, брат, по нынешним временам все одно, что с колокольни прыгнуть... ей-богу!.. Врагу тоись злому не посоветую!.. Будь она проклята, эта самая женитьба.

— Нам нельзя не жениться,— сказал Тереха.— Наше дело не такое. Наше дело хозяйское... А подаешь жене-то?

— Ужли нет! Все туда — в эту яму не напасешься хламу... Семь ртов! Сам ты посуди: семь! По кусочку ежели, семь кусочков! По другому — четырнадцать... н-да, друг!.. Вериги несу на себе, вроде как угодник какой, ей-богу!.. Вспомнишь, как прежде жил,— продолжал он, помолчав,— сердце мрет... так вот и заноет, истинный господь!.. Жалко... Хорошо жил... Тятенька с маменькой любили меня... маменька особливо... она-то, покойница, меня и изгадила, избаловала... Бывало: такой-сякой, миленький, хорошенький... Что захочу — давай! Тятенька-то в садовниках жили у генерала Ковригина... ну, жалованье получали, известно. И все у нас было: корова там, свинью держали... Одним словом, как люди, хорошо жили, говорить нечего.

— Меня в ученье отдавали тоже,— опять, помолчав, продолжал он: — в портные к немцу Фирару, Богдан Богданычу... Ну, коли жив, подох бы скорее, а коли помер — дери его черти на том свете... Эдакого пса не видывал я, да, похоже, и не увижу... В те поры не то что теперь в мастерских-то, просто было!.. Теперь хозяин не моги крикнуть, а в те поры разговор был короткий! Уж и били же меня! Эх-ма!..

— Жуть! — воскликнул Тереха.

— Жуть, брат,— повторил Культяпка,— такого бою ни одна лошадь не видывала: печка одна на мне не была... Убег я. Тятенька было опять меня к немцу хотели, а я говорю: «Удавлюсь!» Маменька вступилась: «Не отдам дите»... А напрасно! Теперь вот подумаю: «Напрасно! Потерпеть бы мне... Ну, били, зато выучили бы, человека бы сделали»... Все родители виноваты: потворство это, баловство... Так ничему и не выучили... Всю жизнь теперь и треплись, как подол бабий... ей-богу! То за то схвачусь, то за это... Набалованный я человек... У меня и места хорошие были, и жить бы, ан нет!.. водочка! Рот-то у меня дрянной. Да и ленив я... Работа эта проклятая для меня все одно, что нож вострый... смерть! Лежать бы мне вот эдак постоянно... аль идтить куда... чтобы, значит, ни конца, ни краю не было... Н-да!.. Эх-ма!.. Ну что ж, они, черти, не идут долго... Неужли их все бьют?

Он замолчал... Молчали и мы... За речкой, в поле, радуясь теплу и солнцу, не смолкая тирликали жаворонки. В лесу трещали дрозды, где-то свистал скворец. Множество птичьих голосов неслось отовсюду... Где-то далеко куковала кукушка...

— Хорошо, братцы,— воскликнул вдруг Культяпка,— тепло... гоже! Вот бы так-то завсе полеживать, а? Хорошо богачам! Вот бы...

И, не договорив того, что хотел сказать, он прислушался и воскликнул:

— Стойте-ка!.. Идут! Во кузнец орет, его голос... Идут, верно.

XVI

Мы ждали, глядя на дорогу... Крупный разговор, ругательства с каждой минутой слышались все ближе, и вот, наконец, из лесу показались три фигуры без картузов.

Впереди шел, махая руками, длинный Сопля; за ним рассказывавший что-то и ругавшийся кузнец, а сзади, понуря голову, плелся дядя Юфим.

Они шли, не видя нас, и уже миновали то место, где мы лежали.

Тогда Культяпка, все время с улыбкой следивший за ними, крикнул:

— Эй, земляки! Аль загордели? Знаться уже не хотите, а?

«Земляки» остановились и оглянулись. Увидя нас, они сильно обрадовались и свернули с дороги. Пока они шли к нам, Культяпка схватил четвертную и, подняв над головой, держал ее, весело улыбаясь.

— Есть? — вымолвил кузнец, любовно окидывая глазами бутыль, в которой плескалась водка.

— Хватит! — воскликнул Культяпка.— Ну, а вы как?

— Чай, сам видишь! — угрюмо ответил кузнец и еще угрюмее добавил, обернувшись к нам: — Вы что ж это, дьяволы, убежали?!

— Отделали нас в отделку! — произнес дядя Юфим и плюнул.— Будь они прокляты! Провалиться бы им там сквозь землю и с селом-то вместе... Слава богу, хучь водку-то не отняли... Смерть бы теперича без нее...

— На-а-а-ливай, што ли-ча,— сказал Сопля, трясясь всем телом,— па-а-а-гуляли! — злобно добавил он и вдруг закашлялся долгим, мучительным кашлем...

— Чашка-то там осталась,— сказал Культяпка, наливая в фунтик водки,— жалко до смерти... Скотницына чашка-то, заест!..

— Черт с ней! — сказал кузнец, жадно выпивая водку.— Ловко отделали! — продолжал он.— Во как, гляди: жилетку на клочки, рубашка — во!..

Он распахнул разорванную с ворота до подола красную рубашку, под которой было голое, покрытое синяками тело.

— Ловко, а?.. Да погоди! — закричал он вдруг, сверкая глазами.— Не уйдешь!.. Нет, брат, не уйдешь!..

Дядю Юфима и Соплю тоже, очевидно, сильно били: на тех тоже все было изорвано и болталось клочьями...

— Озорной народ,— сказал Юфим,— разбойники! Попало мне за дело, видно: не ходи, старый черт!

Они стали пить водку, и по мере того как пили, становились веселее... Нам с Терехой не подносили.

— А тебе, Мишук, спасибо,— говорил Юфим после второго фунтика.— Уберег! Во-время-то она дороже каменного моста...

— Эх, и утекал я с ней, голова! — воскликнул Культяпка,— ног под собой не чуял... Не знал, что подо мной: земля аль нет!..

Все смеялись... Дядя Юфим и кузнец стали припоминать отдельные эпизоды боя, воодушевляясь все больше и больше...

Длинный Сопля сначала было тоже принимал участие в этих разговорах, но потом как-то сразу насупился, замолчал и, очевидно, стал думать о другом.

— А она-то тамотка... чай, с ним, с чертом, финтит,— вдруг совершенно неожиданно воскликнул он, вращая страшными побелевшими глазами и собственно не обращаясь ни к кому из нас.— И так, чай, и эдак повернет... тьфу!.. Будь ты проклята!..

— Да ты про кого это? — спросил Юфим.

— Про жену, вот про кого! — закричал Сопля.

— Кто про что, а ты все про это! — засмеялся Культяпка.— Мы думали — свеже, а это все те же... Подумаешь, забота какая! Да наплевать!

— Что мне делать-то с ней?! — закричал опять Сопля, обводя всех нас мутными глазами.— А?.. Убить, шкуру...

— Плох, брат, ты, коли с бабой не совладаешь,— сказал, усмехаясь, Культяпка, видимо стараясь раздразнить Соплю.— Где баба начало, там голова мочало...

— Братцы мои! Друзья неоцененные! — захлюпал сторож пьяными слезами.— Ведь я с ней сколько живу-то, а? Десять годов прожил... десять, а? Вникните! А на старости лет нехорош стал!

— Она баба молодая, гладкая,— опять сказал Культяпка,— в ней кровь играет, а ты — ишь какой шкилет... тебя вон соплей перешибешь пополам...

— Перешибешь...— как эхо повторил Сопля и, помолчав, завопил: — Убью!.. Не дам над собой мытариться... Погоди ужо!.. Я те, я те!..

— А и взаправду,— угрюмо произнес кузнец,— надо бы этому черту, нарядчику нашему, бока намять!.. Выискался какой: кто я?!

— Народ-то больно у нас недружный,— ответил Культяпка,— где уж! Один так, а десятеро эдак... И сейчас с

язычком к самому... Ты еще рта не раскрыл, а уж там все известно.

— Братцы мои,— между тем ныл сторож,— десять годов, а?.. Десять! А теперича, а?.. нехорош стал, другого захотела... Я, вишь ли, нехорош; красивого надо, здоро-о-о-вого... А я нешто не здоров... Я здоров, худ только!.. Нешто я не справляю закон?

— У тебя, брат, чахотка! — сказал Культяпка.

— Кака така чахотка?

— Кака, кака! — передразнил его Культяпка и, безжалостно глумясь над ним, продолжал: — Болесь така, неизлечимая: сохнет человек, сохнет, сделается аки вот эта былинка сухая... страсть глядеть! Ну, и того, крышка!.. Много народу она жрет, и ничем ты ее не возьмешь; нет супротив нее силы! Вот у тебя она самая... Где уж тебе с женой... тебе помирать скоро...

— Типун тебе на язык! — закричал сторож и сделался еще страшнее.— Черт паршивый! Издыхай сам! Может, ты наперед издохнешь... Сволочь... пра, сволочь... вор!..

— А ты не очень, брат! На меня еще собака не лаяла... Вор! Что я у тебя украл, а?..

— Бросьте! — крикнул кузнец.— Какого черта схватились?..

— А что ж он мне смерть-то прочит? — закричал сторож.— Надсмехается!.. Аль я дешевле его стою?.. Нищий, обормот!..

— Чего уж! — усмехаясь, сказал Культяпка.— Баба что хочет, то и делает... Погоди, она скоро на тебе верхом ездить станет. И будешь возить...

— На мне?.. Верхом?!

— А что ж ты думаешь? Вот приди-ка ужо, каких она тебе надает, за милую душу!.. На кой ты ей!.. Она, чай, там за это время с нарядчиком: и чаек, и бараночки... Пожалте, чего угодно! Ты думаешь, ребеночек-то в люльке твой качается? Накося, выкуси... твой!.. Был твой, да свиньи съели... А он-то сдуру качает... Качай, брат, качай!..

Он говорил эти язвительные слова, а сторож сидел и слушал... На него страшно и жалко было смотреть. Широко открытые глаза остановились на одной точке, точно застыли, посиневшие губы тряслись, на щеках выступили красные пятна... Все его тощее тело дрожало, пальцами

правой руки он царапал землю, точно стараясь схватить что-то.

Нам всем было неловко, совестно, гадко...

— Полно тебе,— сказал, наконец, дядя Юфим,— пожалеть человека надо!.. Вишь, он и так от господа убит... Эх ты! Какое тебе дело до чужого тела?.. А ты плюнь на него,— обратился он к Сопле,— не слушай: собака лает — ветер носит...

Но сторож не слушал его слов. Он вдруг вскочил с места и, как бешеный, вращая огромными глазами и тряся кулаками, закричал:

— Убью!.. Истинный господь! Я... погоди... вот увидишь... со мной!..

Он не договорил и, махнув рукой, повернулся и быстро зашагал от нас по дороге в имение.

— Ну, вот, наделал, брат, ты делов,— сказал дядя Юфим, обращаясь к Культяпке,— пойдет теперича скандал, драка. Эх, нехорошо!..

Культяпка засмеялся.

— Все одно,— сказал он,— и без меня было бы. Не первый снег на голову... Ну что ж,— переменил он речь,— допивать, что ли, а?..— и, видя, что никто не отвечает, молча стал наливать в фунтик водку...

XVII

В имение мы пришли к вечеру и прямо направились в кухню ужинать.

Здесь уже отужинали, по случаю праздника не дожидаясь нас и предполагая, что мы придем пьяные.

Сторож, связанный по рукам и ногам, с разбитым лицом и мокрыми, лоснящимися и слипшимися на лбу волосами, лежал навзничь на своей кровати и, широко открыв рот, спал тяжелым, пьяным сном, мыча и выкрикивая что-то...

Злая, заплаканная, с подбитым глазом стряпка, бормоча себе что-то под нос, вероятно ругаясь, швырнула нам на стол хлеба, ложек, плеснула в чашку щей, кинула наши пайки солонины и, сказав: «Жрите!» — ушла в свой угол...

— Жрут-то, чай, свиньи да ты с ними,— сказал кузнец,— а мы кушаем... Что, аль влетело?!.

— А тебе какое дело? — огрызнулась кухарка.— Ты знай себя... да вали под себя... Оглянися, сват, на свой зад...

— За дело,— продолжал кузнец,— так и надо! Кабы на мои зубы, я бы вам обоим с хахалем-то головы сорвал... И греха не было бы...

— С каким таким хахалем,— завизжала кухарка, выскакивая на середину кухни.— Сказывай, а?.. Ты видел, что ль? Сказывай!..

— А ты, смотри, не ударь! — злобно улыбнувшись, с презрением сказал кузнец и вдруг громко крикнул: — Отвяжись от меня...

И он обругал ее позорным словом. Кухарка громко заплакала и завопила, обращаясь к нам:

— Будьте свидетели!

В это время дверь отворилась, и в избу вошел нарядчик.

— Хлеб да соль! — сказал он, садясь на лавку и словно не замечая плачущую кухарку.

Мы молчали. Нарядчик быстро окинул нас своими острыми из-под нависших бровей глазами и прибавил:

— Ну, как погуляли?..

Но видя, что мы опять молчим, он обратился к стряпке и, сурово хмуря брови, как-то особенно грубо и зло крикнул:

— Ты чаво это, а?..

— Да как же,— завизжала стряпка,— всякой, прости бог, жулик придет, лает, страмит... Аль я взаправду какая-нибудь... За что он меня таким словом обозвал?.. Какой такой у меня хахаль, а? Сказывай! Ну, ну!.. А-а-а! Небось пришил, пристегал язык-то... Испугался?..

— Как не испугаться,— произнес кузнец,— кабы эта страсть да к ночи... гм?.. Какой хахаль-то? — продолжал он улыбаясь.— А вон сидит.— Он указал пальцем на нарядчика.— Аль не узнала?.. Шкура! — продолжал он.— Тоже: кто я?.. Мужа-то извела, подлая... у-у-у, сволочь!..

— Что же это такоича? — закричала кухарка, ударяя себя руками по бедрам.— Люди добрые, а?.. Егор, что ж ты молчишь-то, а?.. Уйми его!

— Собака лает — ветер носит,— стараясь быть спокойным, ответил нарядчик.— Над тобой, дурой, смеются, а ты думаешь взаправду... Вон даве,— продолжал он и

кивнул головой на кровать, где спал пьяный сторож,— этот черт прибил... белены объелся... На меня тоже к рылу с кулачьями лезет... Пожалуй, сердись... Коли на всякую сволочь сердиться — сердца не хватит!

— Сам-то ты сволочь,— сказал кузнец и швырнул ложку по столу.— Взлупку вот тебе дать! — добавил он, вылезая из-за стола...

— Что же... за чем дело стало? — сказал нарядчик, поднимаясь с места.— Дай!..

— И дождешься когда-нибудь...

— Эх ты, пьянчуга... тьфу! — с презрением глядя на кузнеца, плюнул нарядчик и пошел к двери.— Говорить-то с тобой мускоротно,— добавил он, обернувшись.— Злая рота!..

Он вышел и так хлопнул дверью, что затряслась стена и проснулся пьяный сторож.

XVIII

Он заворочался, задрыгал ногами, точно их сводила судорога, замычал и, повернувшись на бок, в нашу сторону, обвел нас всех мутными, страшными, с кровяными жилками на белках, глазами.

— А мы вот отужинали,— сказал дядя Юфим, подходя к нему.— Вставал бы и ты, а?.. Дакось я тебя распутаю... ишь связали!

— Не хочу ужинать, испить дай! — промычал сторож, глядя на жену.— Ла-а-а-худра!..

— На, жри, подавись! — сказала кухарка, подавая в ковше воду.— Проснулся, пьяница, разбойник!..

Сторож припал сухими губами к ковшу и жадно пил, глядя на жену поверх ковша.

— Что говоришь? — переспросил он, напившись и облизывая кончики усов.

— Ничаво! — огрызнулась кухарка и пошла было от него прочь.

— Подавись, а?.. Подавись? — дико, как-то захлебываясь, вдруг закричал сторож и со всего размаха швырнул в нее ковшом. Ковш ударил ее в спину и покатился по полу...

— Ты драться, сволочь! — завизжала кухарка, обернувшись к нему.— Ты драться?.. Ка-а-а-раул!..— вдруг не-

истово закричала она, видя, что муж слез с постели и идет к ней.— Ка-а-а-раул!..

Она выставила руки вперед и пятилась к печке...

— Свово зовешь? — рычал сторож, задыхаясь от злобы и стараясь схватить ее за волосы.— Свово зовешь, а?

Наконец, ему удалось схватить ее левой рукой за шиворот...

— А-а-а,— зарычал он,— подавись? Муж законный подавись, а?.. Вре-е-ешь, стерва, не выскочишь!.. Врешь!..— Захлебываясь и совершенно озверев от злобы, с пеной в углах рта, он ударил ее кулаком по лицу и при этом как-то ухнул, точно филин ночью где-нибудь в лесной трущобе, страшно и глухо...

Баба дико закричала и вцепилась ему зубами в руку. Сторож поволок ее за волосы и вдруг, споткнувшись обо что-то, упал вместе с нею на пол.

— Ка-а-а-ра-ул! — взвыла опять баба.— Православные, помогите!.. На ком крест есть... а-а-ай, убьет!.. Ка-а-а-а-ра-ул!..

Муж сидел на ней верхом и страшно бил ее обеими руками, стараясь попадать по лицу, которое она прятала от него, изгибаясь, стараясь вырваться.

— Разнять надыть! — сказал Юфим.— Как бы чего не вышло: в свидетели еще притянут... Ишь сцепились, ах, дуй вас горой! Чисто, сичас умереть, псы... Разнять надыть!

— Не надо! — закричал кузнец, видимо с удовольствием наблюдавший за ходом драки.— Не наше дело... Поделом...

— Свои собаки дерутся — чужая не приставай,— в тон ему поддакнул Культяпка и закричал: — В торец-то ее полыхни!.. О-го-го! Бей, не робей!..

Между тем озверевший мужик перестал бить ее кулаками, а, нагнувшись и вцепившись ей руками в волосы, принялся кусать ее и грызть сзади за шею, похожий на старого, чахлого, злобного волка.

— Заткни ей глотку-то! — крикнул кузнец.— Ишь, дьявол, орет! Диви — режут...

— Пойдем, ребята, отседа,— сказал Юфим,— дело-то складнее будет... Кузнец, пойдем! Не наше дело, дери их черт!

Он встал и торопливо пошел к двери. Мы с Терехой бросились за ним... Кузнец вышел последним и, плотно прихлопнув дверь, сказал:

— Будет помнить!

— Не убил бы грешным делом,— сказал Юфим.

— Черт с ней!.. Собаке собачья и смерть...

Я посмотрел на Тереху: на нем лица не было. Он поймал мой взгляд и, вздрогнув, произнес:

— Жуть!..

— Во как, брат, жен-то учат! — хлопнув его по плечу, весело воскликнул Культяпка.— Учись, брат Тереха-Воха!.. Учись, родной... го-го-го!..

XIX

Из кухни между тем доносились дикие крики: «Караул... батюшки... православные!..»

Около кухни, кроме нас, никого не было. Все остальные рабочие, как оказалось, вместе с нарядчиком ушли под гору, за имение, ловить бреднем в так называемом «скотном» пруде карасей, и прекратить эту сцену было некому...

Мы все отошли в сторонку, подальше от избы, и сели на бревнах.

Покурил бы табачку,
Нет белой бумажки...—

тоненьким голоском запел Культяпка.— Гармошку бы теперь.

Ты, гармошка-фреичка,
Поиграй маненичко...
Поиграл, потешился,
Погулял, понежился...

— Брось! — сказал кузнец.— Ни складу, ни ладу! — И, помолчав, тихо произнес: — Все бьет...

— В азарт взошел! — сказал Культяпка.

В это время дверь из кухни вдруг отворилась настежь, сильно ударившись об стену, и на крыльцо, а с крыльца на землю кубарем скатилась растрепанная, простоволосая и избитая кухарка, а за ней с поленом в руках Сопля.

С криками: «Караул, убил!» — кухарка пустилась бежать... Сопля побежал было за ней, но, пробежав несколько шагов, остановился и изо всей силы швырнул поленом ей вдогонку.

Оглянувшись на бегу, баба присела, и полено проле-

тело над ней... Вероятно, она не раз проделывала так и раньше, и, вероятно, подобные сцены были ей не в диковинку... Муж крикнул вдогонку скверное ругательство, жена ответила тем же и, сделав гадкую непристойность, от которой Культяпка покатился со смеху, побежала дальше и скрылась где-то за амбарами...

— Иди к нам! — закричал Культяпка.— Эй, воин! Иди сюда... Побаловал да и за щеку...

Сопля подошел... Мы все с каким-то особенным любопытством уставились на него...

На нем лица не было, и смотреть на него было страшно...

Белый как бумага, худой, с пеной по углам рта, трясущийся от неостывшей злобы, в изорванной рубашке, из-под которой выглядывала тощая, поросшая волосами грудь, он был противен, жалок и ужасен...

— Устал, родной, а? — сочувственно произнес дядя Юфим.

Он ничего не ответил и молча сел, низко опустив голову.

— Ну, жисть,— глухо произнес он, помолчав,— да... Сибирь...— Он поднял голову, обвел нас страшными глазами и опять нагнулся.— Хучь давись... да и не миновать!..

— Эх ты! — воскликнул Культяпка.— Из-за бабы-то? Го! Плюнь ты на нее да ногой разотри...

— Плюнь! — передразнил его сторож.— Хорошо тебе говорить-то!.. Да... А ты встань на мое место... попробуй... Мне уж что,— продолжал он, и голос его задрожал слезами,— мне нешто любовь ее теперича нужна? Мне хучь бы ува-ува-женье, мне...— Вдруг он заплакал и затявкал, как щенок.— О-о-о-бидно мне...

И вдруг он заревел так, что нам стало жутко...

Мы долго сидели молча, слушая его тявканье... Солнце садилось... Огромный, яркий диск его прятался вдали за буграми и, наконец, пропал. Стало смеркаться. С поля пригнали скотину. Бабы-скотницы начали доить коров, крича на них и стуча ведрами... Из-под горы, громко разговаривая, смеясь и крича, возвращались с рыбной ловли рабочие. Недалеко от нас на березе сидел около скворечника скворец и пел... Он то свистал, то, обернувшись к заходившему солнцу, трепетал крылышками и что-то часто, часто тирликал, то принимался кричать, как галчонок, то

подражал визгу поросенка... В лугах кричали чибисы, крякали где-то утки, несмолкаемая торопливо-радостная болтовня жаворонков доносилась с поля...

— Н-да! — произнес, наконец, молчавший, как и все мы, кузнец.— Дела, подумаешь, а?.. Из-за какого дерьма, из-за бабы... тьфу!..

— Думай не думай, а жить надыть! — стараясь казаться веселым, крикнул Культяпка.— Ничего не поделаешь...— И, помолчав, добавил: — Знать, и нарядчик с ними рыбу ловил...

— А что? — спросил кузнец.

— Да, вишь, вон Волчок бежит... завси с ним — выкормок... И хитрая ж голова, собачонка!..— Он вдруг свистнул и громко крикнул: — Волчок, Волчок! Сукин сын, подь сюда! Иси, иси... «Иси» — это значит «поди сюда», по-господски,— пояснил он.

Бежавшая в стороне из-под горы небольшая собачонка остановилась, послушала и побежала в нашу сторону. Как-то изгибаясь, махая пушистым хвостом и недоверчиво-робкими глазами оглядывая нас, она подползла на брюхе, тихонько взвизгивая, к Культяпке и вдруг около его ног перевернулась на спину.

— Ах ты, подлец! — перекатывая ее с боку на бок ногой, заговорил Культяпка.— Сукин ты сын!.. мм-а-ашенник! Жрать, видно, захотел, а?.. Злая шельма... Ишь хвостом-то стучит. Что, а?.. что, зла-а-я рожа?..

— Тереха-Воха,— вскочив вдруг с места и как-то сразу оживившись, торопливо вполголоса заговорил кузнец,— сбегай, друг, скореича на кухню, принеси топор. Там он где-нибудь у порога... Скореича беги!

Тереха, не интересуясь, зачем вдруг понадобился топор, встал и торопливо пошел к избе.

— Ты что это? — спросил Юфим.

— Погоди, увидишь! — скверно как-то посмеиваясь, произнес кузнец.— Давай скорей! — крикнул он возвращавшемуся с топором Терехе.

Тереха подошел и отдал топор. Кузнец взял его, пощупал большим пальцем правой руки лезвие и сказал Культяпке:

— Ну-ка, Мишь, подложь-ка хвост на бревно, а его подержи чуток за шиворот... Я в момент!.. Злее будет... Вон у пастухов у зубовских все собаки... хвосты рублены... Клади!..

— Бросьте, ребята, неладно это, не дело... жалко,— сказал Юфим.

— Мы люди, да и то нас не больно жалеют,— пробурчал кузнец.

— Ну, как знаете, ваше дело! — сказал дядя Юфим и, махнув рукой, отвернулся в сторону.— А только,— добавил он,— блажен человек, иже и скоты милует...

Между тем Культяпка взял Волчка за голову и, зажав ее между ног, весело крикнул:

— Сопля, бери-ка его, сукина сына, за хвост... за конец за самый... клади на шестерину-то, тяни к себе, а я к себе, а ты руби... Сразу отскочит...

Сопля охотно согласился и, ругаясь скверными словами, злой и страшный, схватил Волчка за хвост и сделал так, как учил Культяпка...

Волчок потихоньку повизгивал, точно ребенок, начинающий плакать, и моргал небольшими, умными глазками, не делая никаких усилий вырваться.

— Вмазывай! — крикнул Культяпка.

Кузнец взмахнул топором, как-то особенно крякнул, перекосил рот в сторону и ударил...

Отрубленный по самую репицу хвост остался в руках Сопли.

Культяпка разжал ноги и пустил Волчка.

Сначала, вероятно не сразу почуя боль, Волчок молчал, потом как-то неожиданно, сразу раздался пронзительный не визг, а какой-то необыкновенно жалобный вопль, и собачонка, катаясь по земле, обливаясь кровью, оглядываясь назад, делая усилия поймать остаток хвоста, побежала прочь...

— Эх, ребята! — произнес дядя Юфим и встал с места.— За что? Нешто тварь виновата... бессловесная она... Эх! — Он опять махнул рукой и пошел прочь по направлению к сараю, где мы спали...

— Брось хвост-то под бревна! — торопливо и ни на кого не глядя, сказал кузнец.— Да расходись кто куда... Коли сам спросит: «не знаем, мол...» Ишь орет, черт, за версту слыхать... Терешка, брось-ка топор на место... оботри кровь-то об траву.

Тереха понес топор... Я пошел за ним... Он отворил дверь, швырнул топор и, сойдя с крыльца, сказал:

— Ну, и народ, Павлыч, а?.. Жуть!..

XX

Наутро нарядчик нарядил меня работать в кузницу, за молотобойца... Дело в том, что постоянный молотобоец недавно взял расчет и ушел, а нового не было, и обязанность эту исполняли рабочие поочередно.

Злой, хмурый с похмелья кузнец, в грязном фартуке, с засученными по локоть мускулистыми, здоровенными руками, заставил меня прежде всего развести горно. Мне отроду, как говорится, не приходилось работать в кузне, и все у меня выходило неловко, нескладно, нехорошо...

Кузнец злился и орал на меня так, что за версту было слышно. Я боялся, как бы в азарте он не стукнул меня молотком (он несколько раз замахивался им на меня), и дело шло у меня еще хуже... Я чувствовал, что изнемогаю... От усталости, а главное — от волнения я стал весь мокрый и в душе проклинал и кузнеца, и себя, и всю эту постылую, подневольную работу...

Работа была трудная: надо было разрубить вдоль, молотком и зубилом, квадратный, очень толстый конец железа.

Раскалив железо добела, кузнец выхватывал его из горнушки, обсыпая всю кузню блестящими до боли в глазах искрами, клал на наковальню, наставлял зубило и орал что есть мочи:

— Бей!..

Я бил...

— Бей!..— опять орал он.— На нос бей!.. Бей, дери тебя черт! Не так: на нос бей, русским языком говорят, дьявол! Тьфу!.. На нос!..

И, видя, что я не понимаю, что значит бить «на нос», он с ругательством швырял зубило на землю и с ругательством же совал снова в горно успевшее за это время остыть железо...

— Дуй! Дьявол тебя задави... Вот дурака-то бог дал: простого дела, и то не смыслит... Тьфу! Черти... бить вас надо...

Когда конец снова накалялся добела, кузнец давал мне зубило, а сам брал кувалду и, показав место, где наставить зубило, бил...

Бил он страшно сильно, вразмашку, через голову, и при этом как-то особенно при каждом ударе крякал...

— На себя подай! — орал он, глядя на зубило.— Еще! Ах! Ах! Ах! — крякал он вместе с ударами кувалдой.— Не верти... держи, держи крепче, баба рязанская, че-е-е-ерт!.. Черт! Ах! Ах! Ах!

В конце концов я навык, и уже крики кузнеца не действовали на меня так одуряюще, как сначала.

Подошел завтрак, позвонили... Надо было идти в кухню, но кузнец не пошел... Он обтер обратной стороной фартука лицо, сняв фуражку, поскреб в голове и, как-то боком, исподлобья глядя на меня, сказал:

— Сходи, брат, за половиночкой, а?.. Будь друг!.. Аль жрать хошь? Да что там жрать-то? Кандер, чай, опять... Хлеба-то опосля и сюда взять можно, здесь и подождем... А?.. Сыпь к Лизке... Чай, знаешь, вон деревня-то... Пески,— отсель видно... Сыпь!..

— А даст?..— спросил я, не зная, что сказать, и мысленно посылая его к черту.— Понапрасну проходишь, пожалуй.

— Даст, даст... эва! Ты скажи — мне... На спасуду-то, фартук на... Понесешь коли,— не видать под фартуком-то...

Он достал откуда-то, из темного угла, где лежал разный хлам, бутылку и подал мне...

— На деньги.— Он дал мне полтинник и, как будто конфузясь, произнес: — Уж бери цельную, коли даст, а?.. Чего тут, где наше не пропадало!.. Занял даве... Вмазывай!.. А я, буде грешным делом, закусить припасу... Эх, не догадались даве картошки испечь!..

Лизка, маленькая, рябая и горбатая старая девка-«вековушка», подозрительно окинула меня глазами и на мой вопрос ответила:

— Нету! Иди в казенку!

— Да уж полно! — сказал я, зная, что она врет и боится меня, как человека, пришедшего в первый раз.— Давай!..

Поговорив со мной и, очевидно, убедившись, что я не вру, она вышла куда-то из избы и сейчас же возвратилась с бутылкой.

— На вот... Да смотри, парень, поаккуратней... Знаешь, ноне народ-то какой: выдь за ворота, скажут,— на улице была. А ты сам-то что ж?.. Выпил бы стакан-

чик... Выпьешь? Что ж, поднесу для первого знакомства... Посиди, куда же спешить-то?.. Не бойся... никто не придет... дверь-то я, коли, запру, а?..

Я молча взял фуражку и вышел на улицу.

— Заходи! — крикнула мне вдогонку Лизка.— Не будь гордый-то... У меня все шито-крыто!..

Кузнец сидел на пороге кузни и ждал. Увидя, что я иду, он не вытерпел и пошел навстречу...

— Ну что? — издали закричал он.

— Есть! — ответил я.

— О-о-о! — радостно воскликнул он, и лицо его как-то сразу переменилось к лучшему.— Гоже... А я хлеба принес,— продолжал он, идя обратно в кузню,— на кухню ходил... Нарядчик-то на меня зверем смотрит: гляди, как бы расчет не дал... Чай, уж и самому известно про вчерашнее-то... Ну, да черт с ними! Расчет так расчет, наплевать! Была бы шея,— хомут найдется... Наше дело — выпьем вот, закусим... А ноне,— добавил он, входя в кузню,— князя ждут... Как бы завтра сюда не пришел. Ну, да наплевать... дело не ваше, сказала мамаша... Так ведь, а?.. Как тебя звать-то?.. Что ты какой невеселый, а? Ну-ка... эх, водочка-водочка, матушка родимая! Согреет, развеселит... эх-ма!.. Дернем, земляк, а?.. Да и закаемся!..

XXI

— Князя ждут,— говорил он через несколько минут сидя на наковальне,— а мне что?.. Мне наплевать! Им он князь, а мне — тьфу! Плюнуть, да ногой растереть... Ты не видал князя-то?.. Гм! Такой-то чертушка: все сам, до всего сам доходит... А горяч — страсть: так к рылу с кулаками и лезет, ударить норовит... Да нет, брат, шалишь, меня не ударишь... Ша-а-алишь! Вот погоди ужо, как приедет,— всех к парадному выгонят навстречу... И нас, рабочих. Сам, гляди, встречать уедет. Выходит, брат, ноне вроде как бы праздник... Ну ее к черту, работу-то: не медведь, в лес не уйдет...

Он выпил, откусил хлеба, пожевал, выплюнул, морщась; посидел молча и хмуро, о чем-то думая, и вдруг спросил:

— Издохнет, а?..

— Кто?..

— Кто, кто? — рассердившись, передразнил он меня.— Кого вечор-то трахнул? Забыл? Волчок — вот кто!

— А что? — переспросил я.

— Да ничего, так я... Ты думаешь, пожалуй,— мне его жалко, а? Чего глядишь-то?.. Думаешь, я не знаю, что ты думаешь?..

— Издохнет,— сказал я,— кровью изойдет...

— Вре-е-е-е?! Ах ты! Что станешь делать... Да, горяч я, братец ты мой, страсть... сам с собой совладать не могу... Чего уж,— продолжал он, торопливо свертывая курить,— мальчонку своего зашиб, сынишку... навек теперь не человек. Опосля-то и жалко... близок локоть, да не укусишь...

— Как же это ты? — спросил я.

— Да так... Пришел однова домой, выпимши чуток, да с собой принес половиночку. А дома у меня ребятишки — двое... Ну, они это сичас ко мне: «Тятенька пришел, тятенька!.. пьяненький, румяненький»... Чудаки, пра, ей-богу!.. Скачут около меня,— рады, глупые. Поставил я половиночку на стол, сам думаю: «Эх, чеколдыкну перед обедом!..» Хвать мальчишка, помене который, Степкой звать, как-то нечаянно, аль там как, задел эту самую мою половинку. Брык она со стола, да об пол — чик! Готово, только черепки зазвенели... Ну что ж ты думаешь, братец ты мой! — воскликнул он, тяжело переводя дух.— Свету я не взвидел... Подвернись, кажись, о ту пору молоток, так бы и раздробил!.. Затрясся весь,— бац его со всего размаху по уху!.. Так и отнесло его, ровно ветром. Жена завыла: «Убил, убил!..» А по мне, понимаешь, так все ходуном и ходит, трясется... Скажи кто слово — убью!.. Не поверишь,— заплакал!..

Он замолчал и уставился глазами в одну точку, в угол, думая что-то... Я тоже молча глядел на него и потом спросил:

— Ну что ж мальчишка-то?..

Он махнул рукой и крикнул:

— Урод стал, дураком на всю жизнь сделал... Оглох... Припадки с ним: забьется, забьется эдак, изо рту пена, кричит благушей... А тот, другой, постарше-то который, Ванькой звать, тот боится меня, словно тигры... Так весь и задрожит, как береста, коли я приду, побелеет... Не любит меня... Вырастет, будет меня, сукин сын, клочить... Да, правда,— добавил он, кривя рот,— так и надо: почи-

тать-то нас тоже не за что... Вот разве что не дожить мне, где уж... Эх-ма!..

— Где же они у тебя теперь? — спросил я.

— В городе, на фатере... Я ведь не хрестьянин,— мещанин я... В городе живут...

— Подаешь им?..

Он усмехнулся.

— Подаю... Эх, друг, как тебя... Павлыч, кажись?.. Не видишь нешто, кому подаю... Вот кому! — Он взял и потряс бутылку...

— Так кто же их кормит-то?.. Жена, что ли?

— Не знаю... она, чай... Я давно, признаться, не был... Поди, извелась вся... О-хо-хо!.. да... Чеколдыкнуть?.. Как она там, господь батюшка знает... Известно, чай, бьются...

— Да ты там-то бы работал, в городе,— сказал я,— там ведь кузниц много...

— Было дело. Ужли я дурей тебя, не знаю... Стало быть, так надо... Толкуешь!.. Не знаешь ты, брат, ничего... Да нешто меня там возьмет кто?..

— А что?..

— Да то... Хорош очень мальчик, вот что... Ты еще, брат, меня не знаешь... Ты не гляди, что я с тобой по душам говорю... Може, я тебе скоро в рыло шаркну... Это у меня, брат, не долго. Со мной тоже умеючи надо говорить-то, н-да! Не люблю я, коли насупротив. На сердце не наводи меня, а то в рыло!..

— Дули тебя небось за это? — спросил я.

— Было... Раз купцы на площади били. Да так били: душу только оставили...

— За что?

— За дело: руки длинны...

— Воровал?

— А тебе что?.. Ну, воровал, наплевать! Пропьешься, брат, до креста, да взять негде,— украдешь. Кто как, а я украду... Мне, чтобы не опохмелиться, невозможно... У меня, брат, в жилах не кровь, а водка, пропитался я весь ею насквозь... Родитель покойник пил, говорят, мертвой чашей... Мать потаскушка,— не в осуждение будь сказано,— пила тоже... На вине меня и зародили, как блины на дрожжах... Н-да... Как не пить?.. Плачешь, а пьешь!.. Ты говоришь, воровал ли? Эх, было!.. Со мной, братец ты мой, раз кака оказия случилась... Вот я тебе расскажу...

— Работать надо! — перебивая его, сказал я.

— Кака работа? Ну ее к черту!.. И не твое это дело... Не перебивай ты меня, коли ежели я говорю... Сиди, не дыши... Пей вот на, пей!..

— Не хочу.

— Врешь... боишься! Трусы вы все, дери вас черт! Куды ты, гляжу я на тебя, годен-то?.. Трубы тобой затыкать только... Молчи... Молчи, говорю,— заорал он вдруг,— а то в рыло! Работать надо! — передразнил он меня. Работник тоже! Га! Молчи, не дыши!.. Не ты отвечать станешь... Не хочу работать, да и все... Не хочу! Расчет давай! На кой мне черт! — Он вскочил вдруг с места и начал швырять «струмент» куда попало.— Не хочу! К черту!.. Переломаю все, перебью... убью... зарежу!..

Он до того обозлился и сделался так страшен, что на него неприятно и жутко стало смотреть.

Я сидел молча, боясь, как бы он не пристукнул меня, и думал только подобру-поздорову уйти на кухню. Но уйти мне было нельзя, потому что сидел я не у двери, где бесновался кузнец, а за наковальней, в углу...

— Растревожил ты меня, анафема,— орал между тем кузнец,— работой своей! Тянули тебя за язык-то... Тянули, говори?.. У-у-у!.. Стукну вот по макушке-то... убью до разу. Проси прощенья у меня! — вдруг заорал он и подскочил ко мне.— Становись на колени! Проси прощенья! — И, видя, что я молчу и сижу, как сидел, он захохотал вдруг и сказал: — А-а-а, испугался!.. Что брат, а?.. Не бойся, так я это, так: дурака ломаю... А ты небось думаешь: очумел и взаправду убьет... Не бойся!.. Не бойся меня... Где уж... Эх-ма!..

Он опять выпил и опять сел на наковальню.

— Вот эдак-то,— начал он снова, совсем по-другому, с какой-то затаенной грустью в голосе,— придешь, бывало, домой,— давай ломаться... Дети тутотка... соседи... И штука, братец ты мой: чем боле ломаешься, тем тебя боле разбирает.... Пристаешь, пристаешь к жене-то, а она молчит... Нет, врешь, стерва! Говори, отчего молчишь?.. Сичас за волосья... Ну, а уж раз ударил, и пошло! До тех пор бьешь, покедова не отнимут... Да... А ребятишки-то воют в голос: «Мамка, мамка!.. Мамка, мамка!» Эх, друг!.. Эх, друг Павлыч!.. Н-да!.. Все, брат, я понимаю...

Он замолчал и долго сидел молча... Мне казалось, что он страдал и тихо, *про себя,* плакал...

— Ты хотел рассказать что-то,— сказал я.

— Гы, ха! — усмехнулся он.— Это как воровал-то я? Изволь! Мне самому, друг, чудно, как вспомню... Чудно и есть... Обобрал я раз мужика. Вишь ты, какой случай вышел... Как бы это тебе поскладней сказать, не соврать? Бывал ты в городе-то когда в здешнем, уезде? Ну, известно, чай, как не бывать... Знаешь конную, насупротив Курлышкина трактира? Место людное... Ладно... Было это дело о празднике: в Николу самую, в вешнюю... Ба-а-альшой праздник в этот день в городе... ярмарка, крестный ход, балаганы, гулянье. Народу — страсть! Лошадей наведут — сила! А я, друг, по лошадиной части мастак: как и что — пользовать могу, ей-богу, право!.. Кабы я не пил, мне бы в золоте ходить... н-да... Ладно... И был я, братец ты мой, о ту пору в загуле, и все уж я, понимаешь, пропил, и с себя все спустил: рубашонка одна осталась, портчонки худые да фартук. Ну, фартук, известно, присяга наша... На работу меня не берут нигде. К жене? Той самой жрать нечего... чуть жива,— заколотил до смерти... Как быть? Что делать?.. Куда деться?.. Думал, думал, думал, думал... ничего не выдумал... А тоска-то... мать ты моя,— смерть. Хожу как тень... Пришел на конну. Народу — туча!.. Лошадей навели... Цыгане тут... торговля... крик, божба, ругань... И пьяных уж много... В те поры винополек еще не было... Ладно... А я как услышу, от кого водкой пахнет,— так бы и зарезал: завидки берут, ей-богу, право!.. Ну, хорошо... Брожу это я, как неприкаянный, среди народа, думаю: не наткнусь ли на кого... не угостит ли?.. Ходил, ходил... Вижу: в одном месте лошадь у мужика сторговали цыганы... Подошел от нечего делать. Вижу: уж дело у них слажено... Лошаденка — меринок карий, важный,— за сорок за пять бумажек, слышу, дело сошлось... Жалко мужику, вижу, мерина. «На нужду, говорит, продаю. Стройку затеял. Плотникам отдать, а то бы ни в жисть не продал...» Простой такой с виду мужик, душевный, видать сразу — разеватый... Да и горе-то его расстроило: мерина жалко. «Свой, говорит, доморощенный...» Чуть не плачет мужик... Ну, а цыганам что?.. Только бы поскорей дело оборудовать. Суют ему деньги... Принял мужик деньги нехотя эдак... Достал кисет из поддевки... Коротенька така на нем поддевишка... Как сейчас гляжу: из серонемецкого сукна сшита... Размотал, сунул туда деньги, заболтал опять, сунул в карман, в эту же

самую, понимаешь, поддевку, в правый карман... Посмотрел я, и словно кто-то шепнул мне на ухо: «Цопни!» Затряслись у меня, слышу, поджилки... Ну, ладно. Гляжу: начал мужик прощаться с лошадью... Отроду я такого чудака не видывал... Истинный господь, плачет мужик, в морду целует... Смеются над ним, а он сам не свой... Ну, цыганы этого не любят: им чтоб раз — и готово... Взяли лошадь, повели... «Что ты, говорят, слюни-то распустил, дурья голова... Спрыснуть бы надо: эдакую цену схватил за дерьмо... А он плачет!» Мужик махнул рукой. «Владейте!» — говорит, и пошел прочь... Пошел это он прочь, а я, друг ты мой Павлыч, за ним... Куды он — туды и я... Куды он — туды и я... А черт-то, луканька-то, так мне в уши, как шмель, и гудет, так и гудет... Ах, провалиться бы тебе!.. Хорошо... Подошел мой мужик к сажалкам, где поросятами торгуют... Народу здесь страсть! Кто глядит, кто купляет, орут... Народ орет, поросята орут... бабы кричат,— народ задорный...

...Остановился мужик, глядит, рот разиня. Толкают его со всех сторон... Тот толкнет, другой толкнет. Стоит мужик, словно мертвый... «Эх, думаю, аль цапнуть?..» Напер взял на него сзади, а тут с боков бабы каки-то... «Посторонись, говорю, земляк!..» А сам руку в карман... сразу ущупал кисет... Вытащил!..

Ладно... Сунул кисет вот сюда, под фартук, отошел... Трясет все нутро у меня, истинный господь! Индо самому страшно... «Выпить, думаю, теперь? Нет, постой, дай погляжу, что мужик делать станет...» Постоял, постоял мужик около сажалок, пошел... Я за ним... Думаю: «Что будет?» Вот подошел он к трактиру. Лошадей у коновязей много, стоят привязаны. Подошел мужик к телеге одной... А в телеге, гляжу, баба сидит... Пожилая уж баба, не из молодых. Стали они разговаривать... Слышу я, говорит он: «Продал, говорит, Настасьюшка. Лишились своего сокровища. Вот эту бы, говорит, шкуру — не жалко. Да что за нее дадут-то?..» — «За много ль?» — баба спрашивает. «За четыре, говорит, красных да пятишник. Купляем теперича кое-что, да и ехать... Слезай, говорит, пойдем чайку попьем, закусим малым делом... На деньги-то!..» Полез это в карман... пошарил, пошарил... нету!.. Полез в другой, пошарил, пошарил... нету!.. «Ишь ты, говорит, сунул кисет... забыл второпях-то куды... Должно, в портках!..» А сам на бабу глядит, и вижу уж я: испугался. Полез в

портки — нету... полу ощупал — нету!.. разулся — нету... Сидит на земле... сапог в одной руке держит, рот разинул, глядит на бабу... А глаза страшные, расстрашные стали... Сидел, сидел да как взвоет: «Украли, украли, украли!» Индо жуть у меня по телу пошла!.. Баба с телеги кубарем... Завыла пуще его... Ну, народ тут. Обступили их, то, се... Кто жалеет, кто смеется... Ругают: «не зевал бы», «на то и щука в море, чтобы карась не дремал», «дураков бьют». Знаешь ведь, как народ-то: чужую-то беду, мол, руками разведу. Чужой-то беде человек рад. Иной будто и жалеет, а сам про себя рад... Очумел, вижу, мой мужик с горя, ревет белужиной. Чуть волос на голове не рвет. А баба, та так по земле и катается... Полиция подошла: «Что такое? Разойдись!» Ревет мужик... «Говори толком, черт, что такое?» Сичас это его для вразумления селедкой хлоп по рылу... У нас просто насчет этого: съешь за милую душу... «Налакался, черт, орешь!..» В часть его потащили, протокол... то, се... как дело было? Волынка известная!.. Ну, сделали, что надо, отпустили мужика. Иди, мол, со Христом, а мы уж найдем. Ну, отлично!.. Все это я, Павлыч, слышу и вижу... Деньги здесь, под фартуком... держусь за них. И не знаю, как тебе сказать, а только... вроде как бы в груди у меня трепыхает что... вроде как бы отрыжка. А в горле щекотно... «Эге! думаю, вот оно дело-то!» Жалко мне, Павлыч, мужика этого с бабой до смерти стало!.. Кипит во мне сердце!.. «Как бы, думаю, сделать, — назад отдать!»

Думал, думал... надумал! Подошел эдак бодро, говорю: «Много ль денег-то вытащили?..» — «Сорок пять, говорит бумажек...» — «А в чем, говорю, они у тебя были-то?» — «В кисете...» Засмеялся я... И слышу, Павлыч, у меня в нутре вроде как все засмеялось от радости... Засмеялся я, подаю ему кисет: «Не этот ли?.. Эх ты, говорю, разиня, обронил ты его на площади, а я поднял... Возьми, говорю... На получай!..»

Ну уж, что тут пошло опосля этого, и сказать не могу... Мужик мне в ноги, баба в ноги... Опосля в трактир меня... Налакался досыта!.. В деревню к ним ездил: приятели во какие стали, страсть!

Вот они дела-то какие... н-да! А ты толкуешь... Всякий, брат Павлыч, дурак по-своему с ума сходит... Н-да!.. Ну, чеколдыкнем-ка еще, дружище!..

Он выпил и замолчал, задумался...

XXII

После обеда всех нас, рабочих, погнали чинить дорогу, по которой сегодня к вечеру должен был проехать со станции князь.

«Сам» руководил нами. Дорогу, расстоянием версты в две до того места, где начиналась полоса чужой земли, мы по возможности исправили хорошо: засыпали колеи, спустили кое-где воды, кое-где утрамбовали.

«Сам» похаживал среди нас, помахивал тросточкой, покрикивал и, видимо, очень трусил и волновался по случаю приезда князя.

— Скорей, скорей! — понукал он.— Ну, ну, стали! Эй ты, как тебя?.. А, болван!

Князь приехал к вечеру. За час до его приезда «сам» приказал всем нам переодеться, переменить грязные рубахи на чистые и явиться, как он выразился, «в праздничном виде» к парадному крыльцу встречать князя.

— Картузов не сметь брать! — добавил он.

Рабочие переоделись, и все, за исключением кузнеца, который куда-то скрылся, направились к парадному. Позади нас шли бабы, скотницы, пололки и еще какие-то...

На парадном и у парадного между тем уже собрались и ожидали князя все, проживавшие в имении. Около крыльца стояли какие-то допотопные старики, какие-то старушонки, бабы... На самом же крыльце и дальше, на террасе, ожидала аристократия. Здесь были: садовник с женой, какой-то старый, живущий на покое, бывший дворецкий, тоже с женой, жена «самого», два учителя, приехавшие по этому случаю из соседнего села, где была школа, в которой жена князя состояла попечительницей, батюшка из этого же села с матушкой, с двумя дочерьми, сыном и дьяконом.

«Сам», одетый в куцую тужурку с зеленым стоячим воротником и огромными светлыми пуговицами, толстенький и красный, поставил нас, рабочих, около крыльца друг перед другом, так, что между нами образовался проход, по которому, как оказалось, должен был пройти князь...

— Стоять смирно! — приказал «сам», и рабочие, как школьники, покорно замерли в тех позах, какие он придал им...

— Когда князь слезет,— продолжал он,— пойдет... вы должны каждый целовать у него руку... Так уж здесь при-

нято! — громко добавил он, как будто перед кем-то оправдываясь...

— Знаем, барин-с, знаем!.. Не сумлевайтесь! — ответил ему нарядчик.— Знаем-с!

— Ну, ты им объясни, Егор, как и что...

Он побежал к дороге посмотреть, не едут ли. А нарядчик стал объяснять нам, как и что...

— Вы, дуроломы, мотрите,— зашептал он, делая большие глаза,— зря-то не суйтесь! Не торопись, не слюнявь руку-то. Как у попа, так и тут... Мотрите, он ведь строг: не любит, коли что... У него порядок... Мотрите!..

— Знаем канитель-то эту,— тихо ответил Культяпка.

— Тише,— сделав свирепое лицо, прошептал нарядчик.— Едут никак?..

Тройка прекрасных вороных лошадей, запряженных в ландо, лихо вкатила на площадку и остановилась не около самого парадного крыльца, а немного поодаль... Здоровенный детина, выездной лакей, соскочил с козел, отворил дверку, и из ландо вышел князь — высокий, совсем седой старик в светлом пальто... За ним вышла княгиня, еще не старая, вторая его жена, грузная, с глазами навыкате, и вслед за ней — какая-то тонкая особа с синим лицом, похожая на ободранного зайца.

Князь, кивнув подскочившему управляющему, пошел к парадному, направляясь сквозь наш «строй».

Стоявший с краю нарядчик как-то весь изогнулся и, вытянув необыкновенно гадко губы, первый чмокнул князя в руку и произнес:

— С приездом, вашеся!

За ним, неловко путаясь, начали «прикладываться», робея и торопясь, другой, третий, четвертый...

XXIII

Спустя два часа после прибытия князя, когда все так или иначе мало-мальски поуспокоилось и затихло, я от нечего делать, чувствуя на душе что-то злое, тоскливое, гадкое, пошел бродить по имению, думая как-нибудь разгуляться и успокоить свои не в меру расходившиеся нервы...

Проходя по площадке мимо квартиры управляющего, я вдруг услыхал позади себя окрик:

— Эй ты, как тебя?.. Что шляешься?.. Поди сюда!

Я обернулся и увидал управляющего, быстро идущего со стороны барского дома к своей квартире.

— Что шляешься? — снова крикнул он и, подойдя ко мне, продолжал: — Ты что здесь? А? Вон на кухню!.. Стой, впрочем! — спохватился он, что-то вспомнив: — Ты мне ужо свезешь домой гостей... У меня гости,— пояснил он,— учителя... Они пришли пешком... Так вот ты их отвезешь домой, в Терехово... Недалеко, знаешь?.. Запряжешь Буланже в мою корзинку... У Андрюшки-конюха спроси, он покажет...

— А скоро это? — спросил я.

— Что скоро? — переспросил он, нахмурясь и, видимо, стараясь сделать из своего лица что-то внушительное и строгое...

— Поедут-то скоро ли? — спросил я.

— А это не твое дело! — крикнул управляющий.— Ты делай, что приказывают... Молчать! — еще громче крикнул он и, видя, что я молчу, продолжал потише: — Часа через два будь готов и встань около крыльца моей квартиры... Понял?.. Сиди на козлах и жди. Ну, пшел! Живо! Шляешься тут!.. Глаза мозолишь! Разве не знаешь, где твое место? Без дела вперед сюда не ходить!..

Он ушел, а я, скрепя сердце и думая о том, что грубость с нашим братом явление обычное, отправился в конюшню запрягать в корзинку Буланже.

В конюшне конюхов я нашел не сразу. Они, как оказалось, забрались в порожнее стойло, где они и жили, и поздравляли с приездом княжеского кучера и конюха, угощая их водкой и чаем. Все они были уже на втором взводе, и мое появление было совсем некстати.

— Ну тебя к черту! — закричал старший конюх,— и с управляющим-то!.. Спокою нет... Какую тебе лошадь?.. Зачем?..

Я объяснил ему.

— Бери да закладывай! — опять закричал он.— Нам-то какое дело?

— Да я не знаю, где лошадь.

— Ну, погоди поспеешь! — сказал конюх.— Садись пока,— добавил он улыбаясь,— на чем стоишь...

Небольшое стойло (или денник) было занято двумя койками, стоявшими около стенок, друг перед другом... Между этих коек был узенький проход к столу, устроен-

ному под кормушкой. В «комнате» этой сильно пахло навозом и слышно было, как за переборками лошади, пофыркивая, жевали сено...

— Мосей Иваныч! — говорил один из конюхов важному московскому кучеру,— поверишь ты: всю зиму здесь живем!

— Зимой-то, чай, холодно? —пробасил кучер усмехаясь.

— Оно как сказать: холоду особенного нету — всетаки лошади тут, а сыро — страсть!..

— А в рабочую-то что ж?

— Помилуйте! Там еще хуже: повернуться негде. В рабочей! Да там зимой все одно, что на Хиве в ночлежном доме... Тьфу!

И, помолчав, он спросил у меня:

— А ты, земляк, знать, внове?

— Да,— ответил я.

— Охота была сюда поступать!.. Хуже-то не нашел, знать, а?.. Аль пьешь здорово?.. Накась стакашек, ковырни. Ты наш, что ли, московский?.. Видать!.. Эх, друг,— продолжал он, передавая мне стаканчик,— не ко двору мы здесь... Здесь кто живет-то? Сволочь самая, вот кто! Ему, здешнему-то, хучь плюй в глаза, все божья роса... Что ни поставь — сожрут... Рязань!.. Ну, пойдем, покажу, где сбруя... Куда это его черт несет, а?.. Не знаешь?..

— Не его,— сказал я,— а гостей отвезти — учителей.

— А-а-а! — протянул конюх,— знаю...— Он засмеялся и продолжал: — Попьешь ты с ними ужо винца с хлебцем, попьешь, голова! Раз я их возил: во как угостили — малье! Народ ха-р-роший!.. Пр-о-о-стые ребята!.. Ну, вот тебе сбруя, гляди: завсегда здеся... Тамотка вон пятое стойло — Буланжа стоит... А корзинка под навесом, у колодца,— найдешь сам. Бери оброть, обратывай! Валяй, брат, старайся... Заслужишь здесь! — закончил он с насмешливой улыбкой.

XXIV

Он ушел опять на денник пить водку, а я снял с деревянного гвоздя уздечку и пошел в стойло.

«Буланжа» оказался огромным, необыкновенно худым, длинномордым буланым мерином, стоявшим, опустив голову, точно что-то думая, около пустой кормушки...

Я надел на него сбрую и повел из конюшни под навес, где стояли кое-какие экипажи.

Здесь мне долго пришлось возиться с Буланжой, который никак не хотел войти в оглобли. Наконец, кое-как, после долгих усилий, обозлившись донельзя, я запряг все-таки упрямого мерина и, торжествуя, выехал на двор.

Совсем смеркалось... В открытых окнах квартиры управляющего светился огонь. Я подъехал к крыльцу и остановился. Кругом было тихо, а из окон квартиры «самого» доносились голоса... Шла пирушка, кричали, спорили, смеялись...

Ждать пришлось долго... Наступила ночь... Сторож Сопля несколько раз проходил мимо, колотя в колотушку. Наконец, дверь отворилась, и на пороге, с фонариком в руке, показалась горничная, а за ней «сам» и гости.

— Подавай! — крикнул «сам».— Эй, заснул!

Я чмокнул на Буланжу и подъехал к крыльцу.

Гости, два учителя, были совсем «готовы». Одного из них, высокого, тощего, одетого в крылатку и кожаную фуражку, бережно взяв подмышки, «сам» свел по ступенькам крыльца и подсадил в корзинку.

Другой, тоже тощий, но небольшого роста, одетый в поддевку, спотыкаясь и чуть не падая, спустился с крыльца сам и, кое-как забравшись в корзинку, сел рядом с первым.

Первый, которого свел управляющий, бранился... Свет от фонаря падал на его лицо, страшное и вместе жалкое. Глаза были оловянные, широко открытые, точно у безумного, нижняя челюсть отвисла. Из-под надетой на затылок фуражки падали на лоб и прилипли к нему мокрые, как сосульки, волосы... Он хмурил то и дело брови и кричал осипшим голосом, обращаясь не то к учителю, своему соседу, не то к управляющему.

— Я... я,— кричал он,— сверхчеловек!.. «По ту сторону добра и зла...» Я кто?.. Я сам Ницше... Ницше — осел... А ты кто?.. А?

— А ты пьяный дурак! — ответил ему второй учитель в поддевке.— Сиди уж... ворона!..

— Трогай! — крикнул управляющий, которому, повидимому, эти гости сильно надоели.— По-о-о-шел!..

Я тронул, но пьяный учитель тотчас же закричал мне:

— Стой! Стой!

И когда я остановил Буланжу, он обернулся назад и закричал:

— Эй вы!.. Как вас?.. Немец-перец, колбаса... Дайте три рубля взаймы!..

— Извольте! — любезно заторопился «сам», вынимая из кармана кошелек.— Нате!..

— Давай сюда! Отлично! Черт вас возьми! Прощайте! Извозчик, трогай!..

— Хи-хи-хи! — засмеялся вдруг тоненьким голоском учитель, одетый в поддевку.— Вот так ловко! Ницше, философ!.. Хи-хи-хи!.. Ах ты, философ, много ль на плеши волос?.. Кричит тоже: кто я?.. Хи-хи-хи!..

— Молчи! — закричал учитель в крылатке и вдруг ткнул меня в спину.— Стой, извозчик! Я слезу... Я не могу с ним. Эта сволочь решительно отравляет мое существование. Я убью его!..

— Хи-хи-хи! Не слушай его, извозчик,— говорил учитель в поддевке,— пожалуйста, не слушай... Он дурак... Антон Горемыка!.. О господи... Хи-хи-хи!..

— Молчи! — опять заревел учитель в крылатке.— С кем говоришь? С кем ты говоришь, раб, холуй!.. Поддакивало, льстец! Подхалима! У князя ручку целуешь... Не говорю уже про княгиню... Кума, ха-ха! Зачем ты позвал ее крестить, а? Ее, а не первую попавшуюся бабу, а?.. Говори, плебей!..

— Хи-хи-хи! Философ. «Так говорит Заратустра»... А сам только и говорит, когда пьян, как сапожник. Трезвый нем, как рыба... Паки и паки дурак... Осел...

— Осел в твоих глазах,— закричал учитель в крылатке,— и горжусь этим! Я честен!.. Понимаешь ты это слово — честен?! Где тебе понять,— грабитель, взяточник! Взятки берешь с баб!.. Чьи на тебе штаны? Го-го-го! Княжеские... Обноски княжеские... Все на тебе чужое... все выклянчил... Ты не учитель, ты лакей, ты идеальный лакей, только и знающий одно: рубль! Подлец ты, одним словом, и тебе все равно, хоть плюй в рожу... Да!.. Извозчик! — обратился он вдруг ко мне,— вези нас, меня и этого вот подлеца, к Лизке... Вези, гражданин!.. Эй ты, княжеский холуй, тебе говорю!..

— Хи-хи-хи! Так, так... К Лизке, значит, а?.. О господи!.. Вот философия... что и требовалось доказать!..

Между тем Буланжа, тяжело дыша, неловко упираясь

некованными передами в рыхлую землю, кое-как втащил нас в гору, и мы въехали в деревню.

Деревня спала. Даже собаки — и те не лаяли на нас.

— Сворачивай! — сказал учитель в крылатке, дотронувшись до моего плеча.— Вон у ней огонек. «Посмотри: в избе, мерцая, светит огонек»... идиллия, а?.. Ах, черт их возьми!.. Это у ней лампадка мерцает перед Прасковеей Пятницей... Тоже — вывеска... Ха-ха-ха! Сворачивай, гражданин...

XXV

Я привязал Буланжу к крыльцу за столб и вслед за учителями «пролез» в хату.

Лизка, в одной юбке, босая, растрепанная, успевшая зажечь лампочку, торопливо расстилала по столу белую салфетку. Учителя сидели друг перед другом, один — по ту сторону стола, другой — по эту, и оба курили.

— Гости дорогие... ах, ах! — суетилась Лизка,— слышу, стучат... Господи... кто же это, думаю!.. Ан, хвать, вон кто! Милости просим!.. Милости просим!.. Ах! Ах! — спохватилась она вдруг.— Что ж я это окошко-то забыла, дура, завесить!.. Неровен час, народ-то ноне...

Она торопливо задернула окна какими-то черными занавесками и снова, обернувшись к учителям, затрещала:

— Чем вас потчевать-то? Водочки? Сколько прикажете? Бутылочку? Сичас, сичас!.. А самоварчик? Самоварчик можно... Яичек, а?..

— Давай! — сказал учитель в крылатке.— Да не трещи языком-то, не люблю!

И, обернувшись ко мне, прибавил:

— Садись сюда, к столу... Садись, садись смело!.. Руку, друг! Руку, молодой человек!.. Погляди, полюбуйся на нас, культурных людей... Но не суди, не суди, друг, о-о-о, не суди! — повторил он несколько раз.

Учитель в поддевке засмеялся и сказал:

— И что ломается, что ломается? Ах, дурак! Боже, какой дурак! «Культурных людей!» — передразнил он.— А что такое культура — и не знает!..

— Кто, я не знаю? — заревел тот.— Черт ты после этого!.. Под культурными людьми я разумею образованных людей... да...

— Гм!.. Та-а-ак!.. А ты образованный человек, а?.. Если бы ты был культурный, образованный человек, не сидел бы ты здесь. В том-то и штука, что мы дикари, а не культурные люди... Нам бы с тобой овцой родиться-то, авось бы хоть волк съел... Отстань с глупостями! Наливай водки-то!..

— Что же? Мы, по-твоему, значит, никакой пользы не принесли за восемнадцать лет службы на земской-то ниве? — воскликнул учитель в крылатке.

— А я почем знаю... Да и какая польза-то? Сопливых мальчишек учить... Ха! «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда»... Эх-хе-хе!.. Друг, поверь: везде вопиющее противоречие между словом и делом... Что мы можем?.. Польза, польза!.. Вот пока ты пьян, о пользе толкуешь, а завтра... Завтра тебе, брат, твой боров, которого, я слышал, хочешь резать, будет дороже, интереснее, милее, так сказать, этих сопливых, паршивых мальчишек, которые надоели мне до смерти, да и тебе тоже... Да и вообще ушел бы я сейчас с этого проклятого места... Будь оно проклято!.. Всю кровь высосали... Польза!.. Тьфу... Наливай водки!..

— Нет, врешь! Я этого не сделаю,— наливая водку в стакан и мрачно хмурясь, сказал учитель в крылатке.— Я своего поста не брошу. За целковым не погонюсь... Нет, врешь! Ты на свой аршин меряешь... Так ведь ты кто, черт тебя знает! Ты только и думаешь, как бы того, приобресть... Тебе бы торговать, вот что! Вообще ты, брат, гадкий человек, все на чужой счет норовишь... Опошлился... Нет, ты не учитель! Ты — гад!..

— Ругайся, я не обижусь! —делая вид, что ему все равно, произнес учитель в поддевке и выпил водку.— Вот ужо,— продолжал он и как-то скверно подмигнул глазом,— приедем домой, культурные люди... Встречу нам жены сделают... Да, поблагодарит тебя твоя!.. Ты уж лучше и не ходи к ней, а полезай, как в прошлом году, на вербу, да там и сиди, пока дурь не сойдет.

Он обернулся ко мне и, захихикав, скаля черные зубы, продолжал:

— Его жена колотит, ей-богу! Культурного-то, пользу-то который приносит... он от нее на вербу прячется... хи-хи-хи!..

— Молчи! — закричал учитель в крылатке, стукнув кулаком по столу.

— Хи-хи-хи! — снова начал учитель в поддевке.— Не любишь?.. И спросит она у тебя,— смеясь и басом, переменив голос, заговорил он: — «Где взял денег? Ответствуй!..» Что тогда?.. Хи-хи-хи!

Учитель в крылатке молча налил целый стакан и, не отрываясь, выпил.

— По-о-одлец! — проговорил он, переведя дух, и налил еще.— Пей! — обратился он ко мне.

Я отказался и посоветовал ехать дальше.

— Поспеешь! — ответил он и выпил еще... Немного погодя лицо его побелело, глаза как-то остановились и стали страшны... Он начал плакать.

— Убью себя!.. убью!.. убью!.. у-у-убью!..

— «Юнкер Шмит из пистолета хочет застрелиться»,— сказал учитель в поддевке и опять захихикал.

— Убью! убью! — плакал учитель в крылатке, громко и страшно крича.

Лизка испугалась и стала просить меня убрать его. Но я тоже не знал, как быть. Учитель ругался скверными словами и порывался драться...

— Батюшка! Отец родной, не кричи! — молила Лизка.— Ах, господи... Кабы знала... ах, ах... хуже, тысь, последнего мужика... Уходите, Христа ради, уходите, Христа ради!..

Наконец, нам удалось кое-как вытолкнуть его из хаты на улицу и втащить в корзинку... Ругаться и кричать он перестал, но зато начал как-то жалобно стонать...

— Не подох бы грехом,— сказала Лизка,— засудят!

— Ни-ни-чего! — еле ворочая языком, ответил учитель в поддевке,— тро-о-огай!..

Я тронул Буланжу... Учитель съехал на дно корзинки и уперся ногами под козла. Картуз с него свалился... Он стукнулся о твердое сиденье и стонал. Другой тоже еле сидел и что-то говорил сам с собой, беспрестанно повторяя одно и то же: «Н-да-да... гм!.. н-да!..»

Было уже светло, когда я привез их на место назначения.

Какой-то мужик, с вилами в руках, босой, попался навстречу и спросил:

— Откеда? — и, покачав головой, прибавил: — Ловко, в рот те закатай!.. Вот это ловко! Ох-хо-хо! Не одна, видно, корова хвостом-то машет... Н-да!..

Подъехав к школе, я остановился. Учитель в поддевке потихоньку, с величайшим трудом и осторожностью, слез с экипажа и, грозя мне пальцем, что, очевидно, означало: «Не шуми»,— шепотом сказал:

— Постучи в дверь... Про меня не говори: я вот скроюсь пока, понял?.. Тсс!.. Сторожа-то нету: жена сама... тсс...

И согнувшись, причем сделался очень похож на зайца, на цыпочках, цепляясь руками за стену, скрылся за углом...

Я слез с козел, потрогал крепко спавшего седока и, подойдя к двери, постучал. Ответа не было. Я постучал шибче...

— Сейчас! — раздался где-то звонкий женский голос.— Кто тут?..

Дверь отворилась, и на пороге передо мной предстала во всей красе заспанная, толстая, полураздетая женщина.

Это была жена учителя; сейчас же, как только взглянула на меня, она поняла, в чем дело.

— Привез? — спросила она.

— Привез! — ответил я.

— Хорош?

— Хорош!

— Спит? Не может сам встать, а?

— Не может.

— Голубчик! — запросила она.— Помоги мне втащить его... Я тебе на чай дам... Ах ты, господи, вот наказанье-то... Как ведь давно не пил-то... Подохнуть бы этому проклятому немцу!..

Я взял учителя за плечи, а она за ноги, и мы втащили его по ступенькам крыльца.

— В комнату-то не надо,— сказала она, когда мы внесли его в маленькую каморку-кухню.— Там дети спят... бросай здесь!.. Выдрыхнется, начнет ныть... А денег он ни у кого не брал, а?.. Не слыхал ли? — спросила она и торопливо стала шарить по карманам.— А чтоб ты подох! — крикнула она, найдя деньги, и, обозлившись, ударила мужа ногой в бок...

— Прощайте! — сказал я, выходя на улицу...

— На вот на чай! — крикнула она, отворив вслед за мной дверь.— Что ж ты?!

XXVI

Приезд князя сделал то, что нас еще раньше стали выгонять на работу. За всякий пустяк теперь ругались и нарядчик и управляющий... В конце концов я так привык к этому, что мне стало казаться, будто мы вообще не люди, а такие же рабочие скоты, как, например, лошади, которых можно не только бранить, но и бить...

Князь с раннего утра с палкой, или, как ее называли рабочие, «шпанкой», в руках бродил по имению, всюду суя свой нос. Что бы и где бы мы ни работали,— непременно появлялся тут же и стоял над душой... На его глазах поневоле приходилось работать без передышки: покурить и отдохнуть в его присутствии не полагалось... Случалось, впрочем,— если работали на лошадях,— он говорил: «Дать отдохнуть»,— то есть, разумеется, дать отдохнуть лошадям, а не нам, рабочим...

С рабочими он никогда не говорил по-человечески, на поклоны не отвечал, кричал на людей с покрасневшим от злобы лицом, брызгался слюной, топотал ногами, махал палкой, порываясь ударить...

С управляющим он вел себя тоже довольно странно. Руки, например, не подавал никогда, говорил не иначе как стоя к нему вполуоборот или же на ходу, причем управляющий трусил сзади, объясняя, что надо.

Смешно было глядеть на эту картину: князь — высокий, седой старик, необыкновенно бодрый для своих лет, высоко подняв голову, заложив левую руку за спину, а правой помахивая тросточкой, шагал торопливо и самоуверенно-твердо. А за ним, как цыпленок, смешно поддергивая штанишки, потный и красный, семенил управляющий, докладывая что-то и, вероятно для большей вразумительности, делая руками у спины князя какие-то жесты...

Иногда вместе с князем выходила княгиня. Эта на поклоны отвечала и даже иногда кое-что спрашивала: «Послушайте, мужичок...» Только понять ее вопросы было трудно, она как-то необыкновенно смешно сюсюкала, делая губы сердечком, и притом так тихо, что совсем нельзя было разобрать слов.

За княгиней постоянно выступала приехавшая с ней из Москвы англичанка — «макаронина», по выражению Культяпки: это была особа высокая, страшная, с застыв-

шим деревянным лицом, похожая, как я уже упоминал, на ободранного зайца.

Особенно сильное впечатление макаронина производила на простодушного Tepexy. Он смотрел на нее во все глаза, разиня рот, недоумевая, что это такое...

— Ну-у-у! — произносил он каждый раз, встряхнув волосами.— Как только не переломится! Жуть!

— Вот бы тебе такую в жены,— говорил, смеясь, Культяпка.— Аль в деревню бы ее к вам, в Рязань... Всех бы баб перепугала!..

Tepexa плевался...

XXVII

Время шло... Я втягивался в работу, приглядывался к людям, привыкал к порядкам...

Прошел май, подошла первая получка.

В воскресенье, часу в девятом утра, все рабочие собрались в полутемной передней, толкаясь и напирая друг на друга... В контору из передней вела стеклянная дверь, в которую видно было все, что там делалось...

Какой-то коротко подстриженный молодой человек с маленькими усиками, закрученными кверху,— как оказалось, конторщик,— строчил что-то, наклонив голову налево и высунув немного язык, в толстую книгу... Управляющий ходил по комнате из угла в угол, курил сигару, изредка перебрасываясь словами с нарядчиком, стоявшим в подобострастной позе около порога.

Ждать нам пришлось долго... Управляющий нарочно испытывал наше терпение... Мы стояли кучей, не смея присесть, шепотом, как наказанные дети, разговаривая между собой, и были похожи не на людей, пришедших получить свои трудовые деньги, а скорее на золоторотцев, ожидающих, когда им выкинут по пятаку на помин благодетеля. Что-то рабски-приниженное чувствовалось в рабочих. Вытянув шеи, испуганными глазами заглядывали они в контору, и стоило кому-нибудь возвысить несколько голос и заговорить не шепотом,— на него сейчас же набрасывались другие.

— Тише, ты! — раздавался со всех сторон сердитый шепот.— Че-е-рт! Куда пришел?.. К жене, что ли!.. Деревня! Из-за тебя неприятность выйдет, лешман!

Наконец, управляющий подошел к конторке, остано-

вился и махнул рукой нарядчику. Последний, как хорошо выдрессированный холуй, со всех ног бросился к двери и открыл ее настежь.

— Ти-и-ше! — произнес он шипящим голосом, вытягивая губы.

Рабочие, и без того стоявшие тихо, окончательно замерли.

— Журлов! — крикнул управляющий.

— Кузнец! Журлов! — повторил нарядчик,— иди.

В контору вошел кузнец и остановился у порога.

— Ты что же это, брат, а? — глядя на него из-за конторки, громко заговорил управляющий.— А?

— Чего изволите-с? — произнес кузнец.

— «Чего изволите-с!» — передразнил его управляющий и вдруг закричал: — Ах ты, негодяй! Мерзавец! Вон! Чтоб духу твоего в имении не было! На твое место уже найден другой... Геннадий Иванович, сколько ему, подлецу, приходится?

— У него вперед забрано-с! — ответил конторщик.— Приходится ему два рубля семьдесят пять копеек.

— Негодяй! — снова закричал управляющий.— Скандалист, пьяница! Почему не пришел встречать князя?.. Ка-а-ак ты мог ослушаться! А? Как ты смел отрубить хвост у собаки?.. Кто науськивал Соплю бить жену... а? Я вот сейчас урядника позову!.. Вот твои деньги... п-шел!

Кузнец молча, с покрасневшим лицом, подошел к конторке, взял деньги, сунул их в карман и сказал:

— Спасибо!..— И вдруг, перекосив рот, добавил: — Что ж ты, сво-о-лочь, до сих пор молчал? Я б уж давно место себе нашел... Черт паршивый, немецкая образина... провались ты и с кузней своей, тьфу!..

Он плюнул, повернулся и пошел к двери...

— Помни! — вдруг, повернувшись и погрозив кулаком нарядчику, крикнул он.— Помни!.. Найду тебя! — И он вышел, хлопнув дверью в сенях так, что затряслась стенка.

— Головой бы эдак стукнулся! — произнес нарядчик.— Разбойник!

— Держите его! — завизжал управляющий, точно прибитый щенок.— Связать его!.. Урядника...

Он, как ошпаренный, выскочил из-за конторки и бросился к двери... Нарядчик подскочил к нему и осторожно придержал за руку.

— Батюшка барин,— заговорил он чуть не со слезами,— плюньте на него... Батюшка барин,— собака лает, ветер носит... Спалит, мошенник, со зла наделает таких делов!.. Плюньте, не тревожьте себя из-за всякой, с позволения сказать, стервы-с!

— Как он смел! — кричал управляющий, топая ногами.

— Наплевать-с! Право, наплевать-с! — твердил нарядчик.— Будьте покойны-с, мы его найдем. Не тревожьте себя... Стоит ли, помилуйте-с!..

— Чтоб духу его не было!.. Слышишь?.. Если увижу, так и тебя к черту...

— Будьте спокойны, не заглянет... За пять верст обходить будет...

Управляющий, фыркая носом и таращa глаза, весь красный, снова встал за конторку и закричал:

— Сопля!..

— Сопля! — как эхо, повторил нарядчик.

Худой, длинный, страшный Сопля переступил порог и остановился, наклоня голову и глядя в пол.

— Ты что,— закричал на него управляющий,— че-е-ерт! А?.. Ах ты, морда!.. Да я тебя!.. Сколько ему? — обернулся он к конторщику.

— Все-с!

— На вот, получи три рубля. Остальные за конторой... П-шел!...

— Помилуйте-с...— произнес Сопля.

— Во-о-о-н! — закричал управляющий.— Пьянствовать тоже... Мер-р-р-завцы!..

Получив свое «жалованье», я вышел вместе с Культяпкой из конторы и на пути в кухню спросил у него:

— Что это, всегда деньги выдают вот эдак: с криком и руганью?

— А ты вот погоди, что по осени будет,— ответил он,— али зимой... Не приведи бог!.. Того гляди, в рыло за свои кровные получишь... Ей-богу. Зимой нашего брата жмут, как в жоме... не дыши. Теперь еще что... Теперь царство небесное!.. Теперь мы им нужны... Н-да. А зимой,— он махнул рукой,— что дадут, то и ладно, и не спрашивай... А коль чуть что — за ворота! «Вас, говорят, как собак паршивых, сколько угодно. До Москвы не перевешаешь...» Что толковать... дело известное... везде эдак-то... Нам, видно, одна, милок, честь: в рыло да «ду-

рак», «мужик», «пьяница», «сволочь»! Эх-хе-хе!.. Ну, как же быть-то?.. Раздавить, что ли, по махонькой, а?.. Унеси ты мое горе, а?.. Вмазывай к Лизке... ей-богу, а?.. Что уж... плачешь, да пьешь. Один просвет, истинный господь!

XXVIII

Мы, то есть дядя Юфим, Тереха и я, по обыкновению, спали в сарае. Дядя Юфим как лег с вечера, так сейчас же и уснул, а нам с Терехой не спалось. Мы лежали и разговаривали...

Ворота были открыты, но все-таки было душно... Кругом пищали комары...

— Дяденька, пусти-и-и!..— передразнивал их Тереха.

Ночь была тихая, теплая. Множество звезд горело и дрожало в темносинем небе; в лугах кричали дергачи, на реке пели соловьи; в селе далеко лаяли собаки... Все эти звуки не нарушали тишины ночи, а придавали ей какую-то таинственную, робкую прелесть.

— Деньков, гляди, через пять получат дома деньги, а?.. Как думаешь? — раз десять задавал мне один и тот же вопрос Тереха.— Дойдет ли письмо-то?..

— Дойдет, получат,— отвечал я.— Рады будут!

— Рады? — переспрашивал он, повидимому находя в слове «рады» особую прелесть, и тихо, радостно смеялся.

— У нас, Павлыч,— шепотом говорил он,— бедно живут... жуть! А работы много. Мы нешто так работаем, как здеся? Эва! Здесь игра — не работа!.. У нас все ране поспевает: рожь, овес... все! Здесь вон рожь-то жнут бабы, а у нас косят... Вот трав у нас мало... Покосу...

— Так как же вы со скотиной-то?..

— Солома, а то мякоть... Лесов опять тоже нету... Топим соломой... И хлеб на соломе бабы пекут. Зараз хлеба четыре сажают, во каких, ровно колеса... жуть! Ешь, ешь их,— индо заплеснеют.

— Зимой небось холодно в избе?

— Не!.. Изба махонькая... обвалишь вокруг соломой... по-здешнему — пеледа, а по-нашему — защита... Хорошо у нас зимой, весело... На улице гуляем с девками... возимся... А то в другую деревню уйдем, а то в избу... огонь затушим... Во пойдет возня с девками — жуть! Очень хорошо!.. И девки у нас не такие, как здеся...

— Лучше?

— Знамо, лучше... Здесь что? Жуть! Родят здесь девки-то... Все одно, как бабы, и ничего... так словно и надо... Поди-ка у нас!

— А у вас не родят?

— Что ты! Нешь можно? Да у нас засмеют, со свету сживут, проходу не будет... А здесь, у вас, бесстыжие... водку пьют, матерно ругаются, тьфу!.. Уж очень здесь народ отчаянный... Убьют за грош, истинный господь! Так и норовят украсть.

— А у вас будто не воруют?

— У нас?.. Очень у нас насчет этого строго... У нас раз в деревне баба одна украла у другой бабы шаль. У-у-у, что тут было... Муж ее бил, бил, бил, бил... Потом накинул ей на плечи шаль эту самую, да и повел по деревне... А народ-то за ними, а народ-то за ними... Ведет он ее, а сам вваливает, а сам вваливает! Жуть... И за дело: не воруй!..

— Читал ты, Терешка, книжки какие-нибудь? — спросил я.

— Я-то? — переспросил он.— О, я охотник! Ах, читал я книжку. Хороша... Жуть!

— Какую?

— Про казака одного: Тарасом его звали, а по прозвищу Бульбин... Жуть! Истинный господь! Было у него, у этого самого Тараса, два сына... Андреем да Остапом звать... Так ты что, Павлыч, думаешь,— он своего сына Андрея убил... Истинный господь! Как его из пищали полыхнет, так и дух вон... жуть!.. Уж оченно занятно!..

— За что же он его убил?

— А он измену сделал... из-за девки тут из-за одной вышло... Из-за нее измену сделал. А какой казак-то ишь был,— красавец писаный, сила!.. А другого, Остапа-то, поляки в полон взяли, голову ему отрубили... Отец-то как горевал! На его глазах ему и голову-то рубили... Допрежь того мученью предали, жилы вытягивали... Терпел, терпел он... не смог терпеть,— как взвоет не своим голосом: «Тятька, тятька, ужли не слышишь?..» А он, Тарас-от, тут же стоял, в народе... «Слышу!» — баит... У-у-у, что тут пошло, жуть! Меня индо, истинный господь, слеза прошибла... Уж очень хорошо!.. А правда ли это, а?.. Кто ж это за человек, кто таку книжку составил... а?.. Башковатый, должно, мужик. Павлыч! Не спишь?..

— Да нет!

— Что ты молчишь все... думаешь... Про што ты думаешь, а?..— И, видя, что я не отвечаю, он завозился на месте и громко зашептал: — «Богородица, дево, радуйся! Благодатная Мария...»

Я лежал навзничь, слушал его шептанье и глядел в открытые ворота... За воротами было тихо и темно... Вдруг, немного погодя, в воротах стало светло, и отчаянно громкий крик: «Горим! Горим!» — нарушил тишину ночи.

— Пожар! — закричал я и, толкнув дядю Юфима, выбежал вместе с Терешкой за ворота.

— Скотный двор горит! — закричал Tepexa, и мы побежали к месту пожара.

Горел пока не скотный двор, а огромный омет ржаной соломы, сваленный к скотному двору, к одной из его стен.

Сухая солома, треща и забирая все выше и выше, горела, вспыхивая, как порох... В какие-нибудь полчаса пылал весь омет и начал загораться скотный двор...

Все — и рабочие, и управляющий, и князь, и княгиня — словом, все, кто мог двигаться и смотреть, прибежали на пожар. Вскоре из соседнего села и деревень начали прибегать поодиночке и группами мужики, дети, бабы, мальчишки...

— Трубу, трубу! — закричал князь, бегая с палкой и с непокрытой головой около пожара.— Где труба?.. Черт!..

Труба оказалась испорченной и не действовала.

— Выгоняйте скот!.. Скот выгоняйте! — кричал князь.— О, че-е-е-е-рт!..

Из соседнего села привезли, наконец, общественную трубу и кое-как после довольно-таки долгих и бестолковых усилий наладили и начали «прыскать» из тонкой кишки тоненькой струйкой воду в расходившееся пламя...

Высокий и тонкий Сопля, вооружась концом этой кишки, самоотверженно лез почти в самый огонь... Яркое пламя освещало его фигуру, и эта фигура без фуражки, с вытаращенными глазами, бледным лицом как-то необыкновенно отчетливо выделялась на яркоогненном фоне, пугая своим видом.

Бабы и девки, подобрав юбки, бегали с ведрами за водой. Мы, рабочие, и прибежавшие мужики бестолково суетились, ничего в сущности не делая и только крича.

— О-о-о! А-а-а! — стояло в воздухе, сливаясь с треском огня.

— Гони скот, скот гони! — кричал обезумевший, растрепанный, босой, в белых «невыразимых» управляющий.

Перепуганный скот, коровы и телята не шли со двора, и их пришлось буквально вытаскивать силой.

Между тем загорелась, вспыхнула как-то сразу, со страшным треском, деревянная, из тонкой дранки крыша скотного двора и запылала, как свечка.

Половина коров и телят осталась на дворе. Их уже нельзя было вывести. Двор загорелся со всех сторон.

— Спасайте,— кричал управляющий,— черти!.. Ну, ну!.. Убью!.. О-о-о!..

Но спасать уже было невозможно. Крыша вдруг рухнула. Туча искр взвилась к темносинему небу... Несколько голубей, мелькая и трепеща крылышками, ворвались откуда-то в этот столб и вдруг куда-то пропали.

Мало-помалу стихая, охваченный со всех сторон, как огромный костер, горел теперь двор, далеко освещая окрестность.

— О, боже мой! О, боже мой! — всплескивая руками и, кажется, плача, маленький и жалкий, взывал управляющий, бегая вокруг пожара...

XXIX

Пламя стихало... Ветра не было, и опасность другим строениям не грозила.

Князь подозвал к себе управляющего и громко, так, чтобы все слышали, крикнул:

— Что это, а?.. Поджог?..

Управляющий как-то сжался в комочек и залепетал что-то.

— Что-о-о? — крикнул князь и прибавил: — Ду-ра-а-а-к!

— По-по всему ве-ве-ро-ятию! — вымолвил перепуганный «сам».

— Что по всему вероятию? — снова крикнул князь.— Че-е-е-рт!

— Поджог-с!

— Кто же?.. За что?..

Управляющий молчал. В это время стоявший неподалеку нарядчик, как-то изогнувшись, крадучись, точно

охотник под тетерева, подошел к ним и заговорил, обращаясь к князю:

— Ваш-ся, осмелюсь доложить... поджог-с это.

— Что-о-о? — закричал князь, тараща на него глаза.

— Кузнец это, ваш-ся, кузнец... боле некому...

— Какой кузнец?.. Что такое?..

— Ах, да! — радостно крикнул управляющий.— Я и забыл... Конечно, он!

— Да кто он? Объясни! — закричал князь и топнул ногой.

Управляющий объяснил, в чем дело.

— Что ж ты таких-то негодяев держишь? — опять закричал князь.— Ч-е-е-е-рт!.. За урядником послать, живо! Расследовать это дело! По-о-о-длецы!..

Он повернулся и пошел было прочь, но сейчас же снова остановился и, обернувшись, крикнул:

— А сторож?.. Где был сторож?.. Позвать сюда ка-а-а-а-налью!..

— Сторож! Сторож! Сопля! — послышались услужливые голоса со всех сторон: — Иди, князь зовет!.. Оглох, что ли? Че-е-е-рт! Тебе говорят!

Мокрый с головы до ног, с покрытым сажей лицом, без картуза, страшный, точно какой-нибудь сказочный злодей, приблизился Сопля к князю и остановился, приняв необыкновенно робкую и почтительную позу.

— Ты сторож? — подступая к нему, спросил князь.

— Я-с, ваш-ся! — прошептал перепуганный Сопля.— Так точно-с!

— Ты... а-а-а! Что ж ты смотрел, скотина, а?..— И, говоря это, князь совсем близко пододвинулся к нему.— Что ты смотрел? Я у тебя спрашиваю!..

— Ви-виноват-с!

Князь взмахнул палкой и хотел ударить, но не ударил, а как-то вдруг круто повернулся и пошел прочь.

— К черту его! — крикнул он на ходу.— Чтоб духу не было!..

Сопля обернулся и, обведя всех нас испуганными, страшными, недоумевающими глазами, согнулся и, как побитая собака, пошел прочь по направлению к кухне.

— Подлец! Скотина! — крикнул ему вслед управляющий и добавил, обращаясь к нарядчику: — Сегодня же чтоб не было его... Слышишь?..

— Слушаю-с! — ответил нарядчик.

XXX

— Ну вот, получай расчет! — выйдя из-за стола после обеда и помолившись, сказал нарядчик Сопле.— Уходи... Не велят, чтобы ты здеся находился.

— Куда ж я пойду! Собраться, чай, надо... То, се... уложиться... Жена вон тоже... Мало ли?.. Не мутовку облизать...

— Жене неча укладаться,— сказал нарядчик,— ее не гонят... жена здеся останется.

— Экася ты! — воскликнул Сопля.— Склизкий какой!.. Так я ее и оставлю... Оставил один такой!..

— Ну, как знаешь,— сказал нарядчик,— дело ваше... Муж да жена — одна сатана... А только, брат, нам без кухарки нельзя, и уйти ей покеда невозможно.

— Ей нельзя, а мне можно?

— Ты дело десятое... Тебе сказано, слышал: «Вон!» Ну, значит, ты и того, уходи, а то как бы греха не было.

Сопля помолчал, глядя на нас удивленными глазами, точно спрашивал: «Братцы, что же это?» — и вдруг заплакал.

Сначала он плакал, тихо всхлипывая, потом все шибче и шибче. Наконец, завыл, как баба на кладбище, у которой только что зарыли сына, и, трясясь всем телом, начал что-то приговаривать.

Рабочие молчали и не глядели друг на друга. Всем было как-то неловко, чего-то совестно и жалко...

— Я, я,— лепетал, захлебываясь от слез, Сопля,— верой и правдой... шесть годов... а!.. Николи вот крошки хозяйской не брал... Ста-а-а-рался! Заслужу, мол... Заслужил: «Вон!» Хуже собаки... Собаку, и ту... о-о-о!..

— Ну, реветь неча! — сказал нарядчик.— Не баба небось... Сряжайся-ка, друг!

— Бог даст, другое место найдешь,— ласково и участливо сказал дядя Юфим, подойдя к Сопле.— Ты не робей: была бы шея, хомут найдется...

— Нешто я про это? — закричал Сопля.— Дядя Юфим, родной ты мой, нешто я про это! Место... место — тьфу! Обидно мне — вот что, обидно! Обижают меня все... Кому я зло сделал?.. Я... я, думается, муху, и то жалею... жалко мне, вот что... о-о-о-бидно, дядя Юфим...

— Ну-у-у, обидно!.. Что станешь делать?.. Ничего не поделаешь! Не умеешь шить золотом, бей молотом!..

Плюнь ты, не плачь, негоже это... Эка забота!... Обойдется дело-то, наплевать!..

— Водочки бы,— произнес Сопля,— в останный, може, разок... выпили бы... Сбегайте кто-нибудь, братцы,— вот деньги... Егор Иваныч, а? Водочки, говорю... Бог с тобой: не сержусь на тебя... а только... эх-ма!..

— Нет, уж ты водочку оставь,— сказал нарядчик,— нельзя! Сам пей ужо в казенке сколько хошь, а сюда нельзя... Сюда, того гляди, сам придет... Опять же всем на дело идтить... Около пожарища надо растаскать что... Сряжайся, брат, уходи!..

— Куда же я пойду? Погоди!

— Годить неча: уходи, да и вся недолга!

— А жена-то?

— А на что тебе жена-то, пес ты гнилой, прости ты меня, господи! На что я тебе? — закричала вдруг все время молчавшая в своем углу кухарка.— Куда я с тобой с эстаким денусь-то? Что у тебя, дом, что ли, свой, а? Припасено что? Аль место другое нашел? Не пойду я с тобой! Куда я пойду?.. Дура я, что ли? Меня не гонят. По миру с тобой идтить да тебя, длинного идола, кормить?.. У-у-у, дьявол! Протух весь заживо... Не подохнет, окаянный!.. Посадил тебя черт на мою шею!.. Ступай один хучь в омут,— туда и дорога... Бери вон портки свои, да и иди до первого... кабака... Что у тебя есть-то? Как у турецкого святого: портки да трубка...

— Тамотка, у казенки-то, кузнец, чай, сидит,— усмехаясь и в тон ей произнес нарядчик,— вот вам, двум приятелям, и весело будет покеда... А там ужо, дай, урядник приедет, другой разговор пойдет...

— И этот такой же! — крикнула кухарка.— Все одно: такой же каторжник... злая рота!..

— Молчи! — диким голосом закричал Сопля.— Душу вышибу!..

— А ты полегше, полегше,— заговорил нарядчик.— Полегше, брат! Нельзя кричать... Полегше, н-да! Твое дело какое? Последнее твое дело... Уходи, брат... получил расчет — и с богом!

— Врешь, мошенник! — закричал Сопля.— А жена-то? Тебе оставить?.. Не пойду я без жены! Каку-таку она имеет праву не идтить со мной? Где писано? Кто она мне, а? Кто я ей? Хозяин я ей, а?.. Аль нет?.. Муж, чай, законный. Как ты полагаешь? Не пойду! Хучь

убей... Знаю я, об чем ты-то хлопочешь... Сволочь, бабник...

— Смотри, брат, лаяться станешь — выставим!.. Сволочить-то погоди...

— Не пойду! — дико кричал Сопля и вдруг, весь трясясь, длинный, страшный, бросился на нарядчика с кулаками.— Мошенник! Ты все! Ты!.. Ты и скотную подпалил... О-о-о!..

— Братцы! — завопил нарядчик, отпихиваясь.— Будьте свидетели!.. Свидетели будьте! За такие слова... Будьте свидетели!..

— Мошенник, вор! — продолжал Сопля.— Глот!.. Сколько ты народу слопал?! О-о-о!.. Чужих жен совращать!.. Благо, гладок, жир-то тебя точит... Разбойник!.. Убью!..

Дико крича, они сцепились, как два кота, и покатились по полу. Их крик в открытые окна далеко разносился по имению.

Услышав эти крики, прибежал с палкой в руках управляющий и остановился на пороге, пораженный, в первую минуту не зная, что делать.

При его появлении мы все почтительно поднялись в ожидании.

Дерущиеся катались по полу, воя, сквернословя, сопя, награждая друг друга кулаками, кусаясь и никого не замечая.

— Что такое? — закричал, наконец, управляющий.— Драка! Ах вы, зверье, да я вас!.. Бросьте!.. Бросьте, говорю, перестать!..

Он стал награждать ударами палки то одного, то другого. Но дерущиеся до того увлеклись, что не слыхали этих ударов и продолжали драться, как две огромные сцепившиеся собаки.

— Вы что глядите? — накинулся вдруг на нас управляющий.— Болваны! Разнять! Разнимайте!.. Ах, подлецы, дикари!.. Растаскивайте их... ну, живо!..

— Их теперича не растащишь,— закричал Культяпка,— сцепились! Водой надо... Постой-ка, я их...

И говоря это, он схватил ведро, зачерпнул им из кадки воды и, как-то смешно перекосив рот и растопыря ноги, плеснул из ведра водой, стараясь попасть в лица... Это подействовало. Дерущиеся, как петухи, отскочили друг от дружки.

— Егор, что это значит? — спросил управляющий.

— Барин батюшка,— размазывая по лицу кровь и плача от злости, завопил нарядчик,— житья нет! Изругал всячески... при свидетелях... Как только не лаял... Вор, говорит, ты, говорит, скотину подпалил... Лаял, лаял... в драку полез... а за что? За то, что я ему водки не велел сюда носить...

Управляющий уже больше не слушал... Он накинулся на Соплю, топотал на него ногами и кричал визгливым, режущим слух голосом:

— Вон! Вон! Вон! Сию минуту вон! Тебе сказано... ведь тебе сказано!..

— Сказано... даве еще сказано! — вторил нарядчик.

— Не пойду я отсюда без бабы! — угрюмо произнес Сопля.— Гони не гони... не пойду!

— Что-о-о! — завизжал управляющий.— Не пойдешь?.. А-а-а? Какая баба, а?..

— А это, значит, жена его... кухарка наша,— пояснил нарядчик.— Ее он взять хочет, а она, значит, не идет... Потому, сами извольте посудить, куда ж идтить с мужем с эстаким... Ну, кабы еще дом свой был — дело десятое, а то куда?

— Да разве ее гонят? — спросил управляющий.— Что с ним, с дураком, рассуждать... Вон!..

— Укладывайся пока что! — опять так же угрюмо произнес Сопля, обращаясь к жене.— Я пойду лошадь найму в деревне... Съедем пока что на фатеру... Сряжайся!..

Услыша это, кухарка вдруг пронзительно заголосила и повалилась управляющему в ноги.

— Барин батюшка! — кричала она.— Куда я пойду?.. Гони ты его, не слушай... Какой он мне муж?.. Пьяница... гнилой он... протух... О-о-о, матушка, царица небесная, что ж это такоича будет-то?..

— Встань, встань! — успокоил ее управляющий.— Не бойся... Ничего он не может сделать... Я князю скажу... Ты как жила, так и будешь жить... Встань! — И, снова обернувшись к Сопле, закричал: — Вон!

— Не пойду без бабы! — опять произнес Сопля.— Не желаю, чтобы она жила с жеребцом с эстим... Я, скажем, лыком шит, а муж законный... Как хочу, значит, так и ворочу, и неча тебе, барин, не в свое дело лезть...

— Не пойду я с тобой,— закричала кухарка,— ни в жисть не пойду. Издохну, а не пойду!

— По-о-о-йдешь! — протянул Сопля.

— Не пойду! Удавлюсь, а с тобой жить не стану!.. Тьфу тебе в рыло поганое! Гнилой пес!

— По-о-о-йдешь! — опять протянул Сопля.

— Ребята! — обернулся к нам управляющий.— Выведите его... Проводите за скотный пруд... Хорошенько его!..

Мы стояли не трогаясь. Сопля глядел на нас и ждал, что будет.

— Ну-у-у, что же? — повторил управляющий.

— Не наше это, барин, дело,— сказал, наконец, дядя Юфим,— неча нам и соваться... Промеж мужа да жены один судья — господь! А от него мы худого не видали... Нам его трогать негоже, грех! Ты старшой... тебе власть дана,— как хочешь, так и делай, а наше дело сторона... Бестолку над человеком измываться нехорошо. Пожалеть человека надо... Пожалеешь — он, глядишь, и отмякнет... Так-то, барин хороший, а не палкой... Палка-то ведь об двух концах... Ты его, а он тебя...— И, обернувшись к Сопле, сказал: — Ушел бы ты, родной, покеда от греха... Баба дура... баба от тебя не уйдет... Кому она нужна-то? Завси вытребовать можешь... Ступай-ка, родной, дело-то складнее будет...

— Обидно мне,— произнес Сопля и вдруг опять, как ребенок, на которого подействовали ласковые слова, захлюпал.— Обидно, дядюшка Юфим! За что? Аль я... С женой разлучили... гонют вон... а я человек бо-о-льной... ло-о-о-маный. Куда я один-то... посуди сам... дядюшка Юфим, посуди... о-о-о!

— Иди покеда до казенки, а там увидишь! — сказал Культяпка с подлой улыбкой и посмотрел на управляющего, как бы ожидая сочувствия с его стороны своему остроумию.

— Ну, бог вам судья! — тяжело вздохнув, вымолвил Сопля.— Уйду я... покеда... да только приду скоро... приду, баба, за тобой. Прощай, покеда... помни, не пройдет это тебе так...

Он надел поддевку, новые сапоги и, держа картуз в левой руке, перекрестился правой и сказал:

— Прощайте, братцы!

— Прощай! — сказали мы.— Дай бог!

Он перекрестился еще раз, надел фуражку и, не глядя на жену, пошел к двери.

Около двери стоял управляющий, и, как только Сопля

переступил за порог, он размахнулся и ударил его по спине палкой.

— Подлец!

Сопля даже и не обернулся.

XXXI

Перед вечером приехал на беговых дрожках урядник, высокий, плотный, с красным лицом и с усами, как у кота, солдат. Управляющий повел его к себе на квартиру, и скоро всех нас, рабочих, потребовали в контору...

В конторе, кроме управляющего и урядника, были нарядчик и конторщик Геннадий.

Рабочие, как водится, столпились в передней, около двери, с любопытством и страхом глядя на урядника.

Начался допрос.

— Говори ты, как дело было! — повелительно и хмуря брови, чувствуя себя перед нами «большим начальством», крикнул урядник, обращаясь к нарядчику.— Хвалился кузнец, а? Хотел что-нибудь сделать?

Нарядчик стал рассказывать.

— «Помни, говорит,— повторил он слова кузнеца,— помни...» Все слышали!

Урядник записал.

— Слышали вы эти слова? — обратился он к нам.

Рабочие молчали.

— Слышали, что ли, а? Что ж молчите? Ты, старый хрен, слышал?

— Ничего я не слыхал,— ответил Юфим,— зря это все... Мало что в горячности скажешь... язык без костей... враг наш. Ничего я, господин, не знаю... Ты меня не спрашивай!..

— Ишь ты, каналья, а? — повернувшись к управляющему, произнес урядник.— Из какой оперы запел, а? Ах, негодяй! Н-а... Ну, а ты слышал? Эй ты! Тебя спрашиваю...

— Меня-с?..— переспросил Культяпка и выдвинулся вперед.

— Ну да!

— Как же-с,— заговорил Культяпка,— как же-с... как не слыхать-с, помилуйте... Я рядом стоял... слышал-с... Слышал, как он похвалялся: «Мотри, говорит, будешь

помнить...» Потом пошел, а сам про себя шепотом: «Спалю!» говорит.

— Что-о-о? — переспросил урядник.

— «Спалю!» говорит,— повторил Культяпка.

— Он это говорил?

— Говорил-с!

— Буде врать-то! — сердито сказал Юфим.— Трепло! И что брешешь на свою голову... Эх, Михайло, грех!.. Не верьте ему, господин, брешет он.

— А ты что за заступник такой выискался? Тебе кузнец-то сват, брат?

— Не сват, не брат, а я за правду... правду люблю...

— Ну и стой со своей правдой... молчи... не суйся, где не спрашивают,— сказал урядник и снова спросил: — Так ты слышал?..

— Ну, вот-с... Помилуйте! Барина вон тоже обругал... «Сволочь ты», говорит... Я рядом стоял.

— Правду он говорит? — обратился урядник к нам.

Рабочие молчали.

— Мы ничего не знаем! — сказал Юфим.— Как знаете... Дело ваше!

— Та-а-а-к! — протянул урядник, пристально глядя на Культяпку.— Та-а-ак! Еще кто не слыхал ли, говорите! — опять обратился он к нам.

Мы молчали.

— Он это... он! Боле некому! — произнес нарядчик.— Кабы не он, пришел бы на пожар... А то небось не был... Гори, мол... Не жалко!

— А где он теперь? — спросил урядник.

— Известно, чай, коло винополии околачивается... в селе, чай...

— Его надо сюда, — произнес урядник, — допросить бы... Да уж кстати связать... Уйдет, подлец, ищи тогда...

— Пьян он небось,— сказал управляющий.

— Послать бы за ним, а? — сказал урядник.— Распорядились бы вы, — обратился он к управляющему.

— Не пойдет он, господин,— сказал нарядчик,— не таков человек... навряд-с!

— Ну-у-у, не пойдет... Пойдет! — произнес урядник.— У нас пойдет! Скажи, кто приказал... А не пойдет — возьми сотского, понятых... руки таким манерцем... по-

нял?.. А будет упрямиться, я сам приеду... Так и скажи: сам приеду.

— Слушаю-с... Прикажете съездить, барин? — обратился он к управляющему.

— Да... Конечно... поезжайте четверо... Ну, а если его там нет?

— Тамотка, барин, не сумлевайтесь! — улыбаясь, произнес Культяпка.— Боле где же ему быть-то? Коли не там, то у Лизки — два места... Покеда не пропьет денег, далече не уйдет.

— Ну, так поезжайте! — сказал управляющий.— А мы с вами пока закусим, а? Чайку, а? — обратился он к уряднику.— Вам, конечно, ехать незачем, так закусим.

— Можно! — произнес, улыбаясь, урядник.— А князь сюда не придут-с?.. Я думаю, это обстоятельство сильно расстроило их? Н-да! Можно сказать, один негодяй и... результат-с!..

— Кому прикажете, барин, ехать? — спросил нарядчик.

— Кому? Да кто-нибудь. Ну, ты... Михайло, вон... он, вон,— указал он на меня,— ну, еще кто-нибудь... как хочешь вообще...

— Мне-то, барин, ехать ли?..

— А что?

— Сами изволите знать — зол он на меня. Как бы греха не вышло какого... Ему-то все едино-с — человек он отпетый, а у меня жена, дети-с...

— Да не бойтесь ничего,— сказал урядник.— Зачем ехать четверым... На медведя, что ли? Ну, поезжайте двое... Ты вот поезжай,— кивнул он на Культяпку,— ты, малый, кажись, тово... не промах, да вон тот, длинный,— кивнул он на меня,— и довольно...

— Что ж, поедем, Павлыч, а? — сказал Культяпка.— Неча время терять. Авось не убьет...

Мы вышли из конторы.

XXXII

Кузнеца мы действительно нашли у винополии. Он был не один... Они вместе с Соплей сидели на ступеньках трактирного крыльца и пили водку из горлышка полубутылки, закусывая селедкой с хлебом. Кузнец был не пьян, а Сопля успел уже «дойти до дела»...

Мы слезли, привязали к колоде лошадь и подошли к ним.

— Приятного аппетиту! — сказал Культяпка.

— Вы как сюда? — спросил кузнец.

— По делу,— ответил Культяпка и, отвернувшись от него, нагнулся, поплевал на ладонь руки и, похлопав этой ладонью Соплю по голове, сказал:

— Гуляешь, сторублевая голова, с горя-то?!.

Сопля обрадовался нашему приезду и начал угощать водкой. Сам он пил больше всех и все говорил про жену, про обиду, про свое горе, и, по обыкновению, хлюпал. Кузнец пил мало. Он был какой-то хмурый, невеселый, задумчивый.

— А ведь мы за тобой приехали,— неожиданно, вдруг, улыбаясь, сказал Культяпка.

— За мной?.. Зачем я понадобился?

— Да что, друг,— заговорил Культяпка,— кислые слова там про тебя... будто ты того... скотную... Чай, тебе Сопля-то сказывал?.. Урядник там... Он нас, признаться, и послал-то... к допросу тебя... Чудно! Я им, веришь богу, давеча говорю: «Что вы, говорю, на человека эдакое дело?..» Пра, ей-богу... «Не твое, говорят, дело».

— Нарядчик небось все? — угрюмо произнес кузнец.— Вот шельма-то... Н-да! Подвел штуку...

— Все, брат, хороши! — ответил Культяпка и в свою очередь спросил: — А что ж на пожар-то не приходил?

— На кой он мне черт! — опять так же угрюмо произнес кузнец.— Все гори... Мне наплевать... У князя денег много... кой им черт!.. Так, значит, и порешили, что я поджег?.. Павлыч,— обратился он ко мне,— ну, а ты как полагаешь: я аль нет?..— И, видя, что я молчу, поднялся с места и, хлопнув меня по плечу, сказал: — Не я, брат Павлыч... не верь... не я... Кабы я — я сказал бы... И не боюсь я никого... ни князя, ни черта, ни тюрьмы... и Сибирь наплевать мне... И там солнце светит... Так-то, друг... Уходи-ка ты из имения этого, будь оно проклято!.. Поедемте! — добавил он резко.— Сопля, едем!

— Его-то не надо,— сказал Культяпка.— Куда его?

— А тебе что?.. Лошади барской жалко, что ли... Пущай едет... Может, и его в свидетели поставят... Полезай, Сопля!..

— Погодите, други мои,— залепетал Сопля,— я... я...

половиночку... с собой... не бросайте вы меня... Я на дорожку... по-по-половиночку... сичас я...

И он, спотыкаясь и шаря на ходу в кармане поддевки, пошел в казенку и вышел оттуда, держа бутылку.

— Вот она! — издали подняв ее перед собой, крикнул он и, подойдя к нам, вдруг почему-то заплакал.

— Садись, Сопля,— сказал кузнец и почти втащил его в телегу.— Сиди смирно... Не разбей спасуду-то... горе луковое... Трогай!..

Мы поехали...

XXXIII

Дорогой, пока мы ехали до имения, кузнец угрюмо молчал. Культяпка болтал разный вздор, косясь на кузнеца. Сопля то принимался плакать, то начинал говорить про жену, про обиду, про жизнь...

Я правил лошадью и тоже думал про свою жизнь и про тех людей, среди которых жил, и в голове у меня невольно как-то стучали слова: «Ну, люди!.. И жалко, и бить хочется, тьфу!..»

Ехать было хорошо... Колеса громко стучали по дороге... Солнце стояло низко... В речке, по берегу которой мы ехали, отражались, как в зеркале, прибрежные кусты, неподалеку росшие старые березы, голубое небо, белые редкие облака... У берегов, поросших высокой осокой, заливались со всех сторон лягушки... Мошкара стояла над водой, походя на тонкие, прозрачные, движущиеся столбы... Где-то громко крякал одинокий селезень и, перелетая с места на место, курлыкали и посвистывали кулики... Где-то, высоко над нами, летал невидимый самец-бекас и блеял, как баран. Пастух где-то за пригорком играл на жалейке, и звуки этой жалейки, простые и жалобные, казалось, лились в прозрачный воздух, стояли в нем, плакали, жаловались, навевая на душу тихую, приятную грусть... Что-то далекое, забытое, хорошее вставало перед глазами, трогая за сердце...

— Ты — Журлов? Кузнец? — спросил урядник, оглядывая фигуру кузнеца с ног до головы большими, выпуклыми, налитыми кровью, вероятно от выпитой водки, глазами...

— Я! — ответил кузнец.

— Ты... а-а-а? Ты! — Урядник подошел к нему и вдруг, точно играя, ударил его указательным пальцем правой

руки по носу.— Ты! — повторил он.— Ты, голубчик... ты!.. Тебя-то нам и надо... Ах ты, гадина эдакая, а? Какими делами... а?..

— Какими делами? — угрюмо переспросил кузнец.

— Ты арапа-то не строй! — воскликнул урядник злорадно.— Каков, а? — обратился он к управляющему и продолжал: — Дело хорошее, прекрасное дело... Ах ты, подлец! Посмотрим, как ты перед господином приставом поговоришь, голубчик... Какие дела, спрашиваешь?.. Ха!..— он опять махнул его пальцем по носу.— Ты поджигать, каналья!.. Мстить! С заранее обдуманным намерением... Ах ты, подлец!..

— Я не поджигал! — сказал кузнец.

— Что-о-о?.. А кто же... ха-ха-ха! Не он, а?.. Ну, а кто же?.. Пушкин, что ли?.. А?.. Ска-а-а-тина!..

— Не я! — снова повторил кузнец.

— Ладно... не ты, так не ты... А я знаю, что ты... Да что с тобою толковать... Свидетели, брат, есть... Связать его!.. Эй, свяжите-ка его, ребята!..

— Меня вязать нечего,— сказал кузнец,— я и так не уйду... не боюсь я...

— Ну там увидим, боишься ли, нет ли,— произнес урядник и вдруг закричал на нас: — Вам говорят — связать!..

— Это дело не наше,— сказал Юфим,— вяжи сам... На то ты над нами и поставлен... Наше дело тут ни при чем... Да!.. Понапрасну человека обижать не закон.

Кузнец обернулся, посмотрел на дядю Юфима, и вдруг рот его чуть-чуть тронулся ласковой и вместе какой-то жалостной улыбкой.

— Вяжите, ребята,— тихо произнес он.— Пущай потешатся... Мне все едино... Я не жег... не боюсь!..

— Вот так-то лучше! — опять злорадно воскликнул урядник.— Вяжи! — обратился он к нарядчику.

Нарядчик с припасенной заранее веревкой боязливо подошел к кузнецу и сказал:

— Давай!

Кузнец безропотно закинул руки назад. Лицо его потемнело... губы тряслись... Он нахмурился и, видимо, делал страшные усилия, стараясь сдержать себя.

Нарядчик быстро, ловко и крепко скрутил кузнецу руки и, когда сделал это, усмехнулся гадкой, злобной усмешкой и сказал:

— Вот теперя не подожгешь!

— Не подожгешь! — повторил урядник.

Кузнец молча глядел в землю.

Управляющий подошел к нему и, стараясь заглянуть в глаза, злобно сказал:

— Что, голубчик, догулялся, а?.. Догулялся, я говорю!.. Так и надо... по-о-одлец!

Он махнул рукой, и звук пощечины раздался по конторе.

— Бей еще! — сказал кузнец.— Благо, у меня руки связаны... Ах ты, гад!.. Тьфу!..

Он плюнул ему в лицо.

— Ведите его! — завизжал управляющий, быстро отскочив от кузнеца.— Чтоб духу не было!..

— Запереть пока, а завтра в стан! — сказал урядник.

Кузнеца увели.

XXXIV

Нас отпустили. Мы отправились на кухню и там совершенно неожиданно наткнулись на такую картину: на полу около стола валялась, как чурка, кухарка, страшно избитая и связанная. На ней положительно не было лица. Какой-то кровяной комок, а не лицо. Рот был заткнут тряпкой, крепко-накрепко закушенной зубами... На обнаженном теле висели там и сям узкие полосы одежды. Жидкие рыжеватые волосы были растрепаны, и вырванные клоки их валялись на полу.

— Господи!.. Что ж это значит! — воскликнул нарядчик.

Пораженные не меньше его, мы молчали.

— Никак убил! — воскликнул Юфим.— Ох, грехи!.. Беги кто-нибудь за самим... Не трог до урядника.

Нарядчик нагнулся, оправил на ней платье и вытащил изо рта тряпку. В горле у ней что-то захлюпало.

— Эй! — крикнул нарядчик.— Матрен! А, Матрен! Кто тебя! А?..

— Чего спрашивать, кто?.. Известно, кто,— сказал Юфим.— Он небось.

В горле у кухарки захлюпало еще шибче. Она вдруг открыла как-то страшно круглый, весь залитый кровью левый глаз и зашевелила губами...

— Что-о-о? — крикнул нарядчик.

— Му-у-у-ж! — послышался, хриплый, сдавленный, слабый голос, и после этого в горле у ней опять захлюпало.

На кухню между тем прибежали урядник и управляющий. Последний от страха присел на корточки.

— Как я скажу князю? — жалобно крикнул он.— Что мне будет?

— Ах, черт! — воскликнул урядник.— Ловко! Кто же это, а? Жива?..

— Жива-с! — ответил нарядчик.

— Развяжи ей руки-то,— сказал урядник и снова воскликнул: — Ловко!.. Ну, ну!.. Кто же это, а?

Нарядчик нагнулся к кухарке и крикнул:

— Матрен! Матрен! Слышишь? Кто тебя?

— Му-у-уж! — снова получился едва внятный ответ. Из горла избитой вылетел звук, ужасно похожий на крик курицы, поющей петухом.

— В больницу надо! — решил урядник.— Везите скорей в Грачево.

— Помрет дорогой! — сказал нарядчик.

— Помрет — меньше врет! — сострил урядник и добавил: — Скорей на телегу и марш!..

Управляющий велел запрячь телегу. Урядник сел на скамейку и закурил. Кухарку развязали и положили на кровать.

— Ловко! — опять повторил почти с удовольствием урядник, глядя на залитое кровью лицо кухарки и пуская к потолку густые струи табачного дыма.— Ловко! Где ж он теперь, а? Найти его, голубчика!.. Заодно с кузнецом и отправим... Убил ведь бабу-то,— обратился он к «самому»,— а? Как думаете?

Управляющий, бледный, с испуганным лицом, молча подошел к окну и забарабанил пальцами по стеклу.

К крыльцу подъехала телега. Урядник встал.

— Тащите! — сказал он.

Кухарку вынесли, положили в телегу на сено, прикрыли сверху дерюгой, и нарядчик повез ее в земскую больницу.

— А вы, ребята, молодчика-то найдите,— обратился к нам урядник, уходя с управляющим прочь,— без него этого дела не разжевать...

XXXV

— Провались ты пропадом и с жизнью-то этой! — воскликнул дядя Юфим.— Плюнуть да уйтить отсюда, куда глаза глядят... Самое святое дело! И откеда он взялся только... притка его задави!..

— Откеда?! Мы даве привезли! — сказал Культяпка.— Ссадили у амбаров... догадало нас!.. А все кузнец... дернула нелегкая... словно на грех!.. Да, правда, нешто думано?.. Видим, человек выпимши... Ну, мол, наплевать, поедем!

— Мотри, ребята, как бы вам за это не влетело... Не намахали бы, гляди,— сказал Юфим.

— А кто скажет-то?

— Скажут... Найдутся... Ты первый... Сволочь, брат, ты, не в обиду будь сказано... Чего ради ты на кузнеца-то наплел? Человеку гибнуть от твоих слов... Неужли ты и на суду это покажешь?

— Ну вот, была нужда! — воскликнул Культяпка.— Мне, главная причина, думаю, жалованьишка не прибавят ли... А то нешто я стану...

— Язычком заслужить хошь!.. Хо-о-орошее дело!.. Только гляди, сват, береги голову...

— А что?

— Ничего... Так, мол... Ну, одначе,— переменил Юфим речь,— кто же у нас за стряпуху будет? Ужинать пора... Жрать хотца... Михайло, наливай хучь ты, покеда что...

Мы уселись за стол. Культяпка налил щей. Началось обычное хлебанье чего-то черного, вонючего, гадкого...

— Вот что, братцы, я надумал,— заговорил дядя Юфим, когда мы улеглись на своих обычных местах в сарае,— уходить нам отседа надо... бросать... Ну их к ляду и с местом-то! Ни те спокою, ни те харчи... обращенье собачье... вша... грязь... тьфу! Да неуж мы того стоим?!

Мы молчали...

— Уходить надо,— продолжал он,— время теперя самое горячее... рабочая пора... Что тут-то? Тут ведь кому жить?.. Кто нови не видал, тот и ветоши рад... Махнем на болото, на торф... Трудно, зато деньга... А то по деревням пойдем... Теперя навозница... Там, глядишь, покос... А осенью молотить пойдем... Гожа! ей-богу...

— А зиму-то? — спросил Тереха.— Главная причина — зима!

— Ну, зима! До зимы глаза вылупишь... И зимой найдем... Была бы, брат, шея, а хомут найдется... Уходить надо!..

— Ну, там увидим! — зевая, произнес Тереха-Воха и вскоре захрапел. Дядя Юфим поворчал что-то про себя, повозился и тоже уснул...

Но мне не спалось... Я вышел за ворота, сел и долго сидел, прислушиваясь к шепоту ночи... Далекое, темное, усыпанное звездами небо манило к себе своей таинственной тишиной...

— Улететь бы туда! Что там?.. Неужели и там тоже людская ненависть, злоба, мученье, слезы, грязь, тьма?

Утром нашли Соплю. Он висел в каретном сарае на переводе, синий, с высунутым наполовину языком, необыкновенно страшный и необыкновенно жалкий...

— Жуть! — воскликнул Тереха-Воха, увидя его.— Господи помилуй! Мне теперя ни в жисть ночью не уснуть... Жуть!..

— Черту баран! — мрачно произнес нарядчик.— Допился!

— Нет, что же,— сказал кто-то,— человек он был ничего... простяга... Жалко!

— Таких жалеть неча! — перебил нарядчик.— Чего его жалеть, коли он сам себя не пожалел... Таких не отпевают. В куль да в яму... Туда и дорога!.. Черту баран!..

— Врешь, брат,— сказал Юфим,— отпевают... Допрежь не отпевали, а теперь отпевают... Одно только — не в церкви, а на паперти... Да не наше это дело... Не нам судить... Он в деле, он и в ответе, а уж царь небесный разберет по-своему... Мы с лихостью, а господь с милостью. Грех судить... пожалеть надо! Люди мы... Мы не пожалеем, кто нас пожалеет?.. Господь батюшка сказал: «Любите друг дружку»... А мы что?.. Эх-хе-хе!..

Он махнул рукой и прибавил:

— Пойдемте отсюда, ребята... Чего смотреть?.. Не наше дело.

— Жуть! — то и дело восклицал весь бледный и вздрагивавший, точно от холода, Тереха-Воха.— Не стану я здесь жить!..

Через неделю, отработав «навозницу», на время которой управляющий не отпускал нас, мы трое: Юфим, я и Тереха-Воха, с сумками за плечами, ранним утром, веселые и бодрые, выходили из имения, чтобы больше никогда не входить в него...

Перед нами под гору вилась пыльная дорога, а перед глазами, куда только мог проникнуть взор, раскинулась и манила к себе таинственно загадочная, синеющая даль...

— Ну, ребята, сказал Юфим,— что-то будет... Либо Акулька, либо мальчик; а дело сделано...

— Хуже не будет,— добавил он в раздумье,— рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше.

XXXVI

В первый день мы отошли от имения верст тридцать, нигде не останавливаясь и не справляясь относительно работы. Мы чувствовали себя бодро, и идти нам было хорошо. Погода стояла прекрасная, дорога везде просохла... Идти приходилось по большей части молодыми, мелкими березовыми лесами... Пели птицы, жужжали шмели, мухи, пахло цветами...

Мы часто делали «залоги», то есть садились где-нибудь, снимали сумки, закуривали и разговаривали, наслаждаясь отдыхом и полной свободой... Разговаривать про работу,— где ее найдем, как будем жить, сколько будем получать,— точно сговорившись, мы избегали в этот день; говорили совсем о другом.

Я забыл, между прочим, упомянуть, что в нашей компании был еще Терехин земляк, солдат Яков Малинкин, человек бывалый, веселый и разговорчивый... На отдыхах и в дороге он без умолку рассказывал про свои похождения и мытарства по белому свету, особенно же про русско-турецкую кампанию, в которой он участвовал.

Тереха слушал его рассказы, и они, видимо, доставляли ему невыразимое удовольствие.

— Жуть! — восклицал он в особенно сильных местах и, обернувшись, окидывал нас своими прекрасными глазами, как бы приглашая взглядом разделить с ним восхищение.

— А убивал ты, дяденька Яков? — спросил он однажды.

— Эва! — воскликнул Малинкин.— Редьку, что ли, я тамотка таскал? Знамо, убивал!.. На то война...

— Стра-а-а-шно!..

— Ни черта не страшно! Православного ежели, скажем, убить — страшно... Христианскую душу загубить — дело десятое... а их что! Нехристь, пес — все одно! — И, затянувшись из своей черной трубки на коротком чубуке, солдат продолжал: — Забрали мы ихнюю деревню. Злые мы о ту пору были, голодные... жрать смерть хотелось... Начали по избам ихним шарить... Забежал я в одну, гляжу: сидит на полу в углу баба... прижалась... И ребенок с ней, году эдак, сказать не соврать, по пятому... Кричу я: «Хлеба!..» Жую эдак, показываю... не понимает!.. «Э, думаю, нехристь!..» Начал сам шарить... шарю, про бабу забыл... А она, стерва, что ж ты думаешь: как ахнет меня по этому вот месту... Свету не взвидел... Как господь спас,— диво!.. Видно, норовила меня по голове, да не попала по голове-то... А то бы крышка, не сидеть бы Малинкину с вами, убила бы, истинный господь.

Оглянулся я... «О-о-ох!..» — думаю... А она так вся и ощерилась, ровно ведьма какая аль черт, зубами скрипит... Я как ее, понимаешь, ахну штыком... насквозь!.. Завертелась... «ля, ля, ля, ля!..» Вырвал я штык, да этого самого щенка ейного к-а-а-к ахну... так к стене и пришил!.. Никак штык не выдерну... Выдернул, а он, щенок-то, на нем вертится... Стряхнул его, взял, ей в рыло... На, сука, лопай!..

— Ох-хо-хо! — крякнул дядя Юфим.— Грехи!

— Жуть! — воскликнул Tереха, глядя большими испуганными глазами на Малинкина.— Жуть! Грех... Ну, дяденька Яков, ну, ну!..

— Ну и ничего... Подохли, да и все!

— А хлеба-то нашел? — спросил дядя Юфим.

— Нет, какой хлеб!.. Сами, должно, голодней собак жили: не нашел.

— Ребенок-то не виноват,— помолчав, в раздумье произнес дядя Юфим.— Ни при чем он... разве он смыслит? Грех! Ты попу на духу сказал бы...

— Скажешь тоже! — усмехнулся Малинкин.— П-а-а-пу! Чудак человек... до старости дожил, а кругом не се-

чен... Мы, чай, присягу принимаем... Ну, а кабы она меня, а?..

— Я не про то,— произнес дядя Юфим и замолчал, задумавшись.

— А попа-то напомнил ты мне... Я на духу второй год не был... Оказия, голова!..

Малинкин помолчал, набил новую трубку и, закурив, заговорил:

— Со мной, братец ты мой, какая оказия вышла... и смех, истинный господь, и грех! Задумал я летось постом говеть... Дома жил о ту пору, в деревне. Все, понимаешь, честь-честью: в среду к заутрене сходил... обедню отстоял... ну, в четверг службы нету... пятница подошла... сходил опять к заутрене, к обедне... Пришел домой... думаю: «Часика через два пойду на дух к попу»... Ладно... Лег, полежал, встал... Стал было обуваться,— гляжу — а портянки у меня протерлись... загрязнились, обузились... Я и говорю жене: «Ты бы, говорю, Аксинь, мне портянки новые сделала, мешок бы, что ли, распорола...» — «Ладно!» — говорит... А матушка от печки, слышу, кричит... Строгая она у меня, да с дурью, бог с ней. Даром что мать, а не скрою... С женою завси ругань, страмота, ейбогу... «Мешок, кричит, гадить... и в эфтих хорош... Куды ему ходить-то... Сшей ему из рогожи...» А жена и говорит: «Неужто он и мешка не стоит?» А мать ей на это: «Мешок-то пятиалтынный... на земле не подымешь...» Слово за слово, пошла это промеж их ругань... Ругались, ругались, корили, корили одна другую, сцепились драться... «Ах ты, думаю, владычица, вот те и говенье... Тьфу! Разнять ежели,— как разнять?.. Жену обидеть — жалко, мать — как-никак, власти не имею...» И взорвало, понимаешь, меня. «Провались вы, говорю, и с портянками-то... Не буду говеть, коли так, наплевать! Какое с вами говенье?!» Плюнул взял... Будьте вы неладны!.. Собрался, ушел в казенку... По вечеру пришел пьяней вина... Нате вот вам, коли так, портянки... навели человека на грех... Так и не говел...

— Это тебя *он* смутил,— сказал дядя Юфим,— враг рода человеческого... Он рад!.. Ему это все равно, что медку лизнуть...

— Да уж видно, что так! — согласился Малинкин, накладывая новую трубку.

XXXVII

Переночевав в какой-то маленькой деревушке, мы на другой день часам к двенадцати пришли в большое, богатое торговое село Лисачево.

Огромная белая, похожая скорее на собор, церковь стояла посреди него. Около церкви была площадь, от которой во все стороны шли улицы. На этой площади вокруг церкви сосредоточивалась вся торговля. Здесь было много лавчонок, трактиров, винополия и казенная чайная. Кроме того, на площади торговали в палатках, с лотков, с возов и так далее. В селе был базар. Огромная пестрая толпа народа толкалась на площади и гудела, как пчелиный рой. Трактир был набит битком. Измученные, потные, со злыми лицами, половые носились по залам, разнося гостям чай, заваренный некипяченой водой и разбавленный для крепости или, как говорят, для цвета содой, а то и просто порошком березового выплавка.

Устроившись за одним из столов, накрытым грязной, загаженной скатертью, мы потребовали четыре пары чаю и принялись пить.

Дядя Юфим, прежде чем наливать чай, сполоснул пузатые чашки кипятком и, выплеснув кипяток под стол, сказал:

— А что, ребята, ежели по махонькой, а?

— Не вредит! — согласился Малинкин.

— Ну, а вы как? — спросил дядя Юфим, глядя на нас с Терехой.

— Я не стану,— сказал, улыбаясь, Тереха.— Ну ее к ляду!..

— Что так?

— Не хочу!..

— Ну, не хошь — твое дело! — сказал дядя Юфим и внушительно добавил: — А ты вот что, парень, помни: пей за столом, да не пей за углом... Пить ежели в меру,— ничего, для здоровья польза... Пей, да не упивайся,— так и во святом писании сказано: «Не упивайся вином, в нем бо есть блуд»... Ну, ты,— переменил он речь,— посиди чуток здесь один, а мы сходим. Павлыч, захвати-кась в карман аршин... Пойдемте!..

Я сунул в карман чашку, и мы трое, оставив на столе свои фуражки, вышли из трактира на улицу.

Винополия была рядом. Ее только что отперли... Длин-

ной лентой черед ожидающих тянулся от дверей далеко по улице. В этом череду стояли мужчины, бабы, девки... Некоторые держали в руках пустые для обмена четвертные, бутылки, у большинства же были полубутылки — посуда, как известно, самая любимая и подходящая, носящая название «половинки»...

Мы подошли к этому череду.

— Половинку, что ли? — сказал дядя Юфим вопросительно и сейчас же добавил, точно спохватившись, что сказал глупость: — Аль мало?.. Пожалуй, что мало на троих... Ну, быть по сему, возьмем цельную. Это с нас с троих помногу ль сойдет?

— Ладно,— сказал Малинкин,— сочтемся!.. У тебя есть мелочь-то? — обратился он ко мне.— Становись на черед, вмазывай! В трактире ужо отдадим... Ты тут покеда ждешь, мы с Юфимом закусить возьмем... Селедку, что ли?..

Они отошли, а я встал на череду и стал двигаться за каким-то малорослым, плохо одетым мужиком к дверям винополии. Впереди его двигались две молодых бабенки... У каждой было в руках по пустой четверти.

— Господи Исуси, что ж это морят как? — вздыхали они, то и дело подымаясь на цыпочки и заглядывая через головы.

— Н-н-д-а,— ответил им шедший впереди меня мужик,— дела!.. Словно к царским дверям, прости господи!

Ждать пришлось долго... Дядя Юфим и Малинкин купили селедок и подошли ко мне.

— Страдаешь все? — спросил Юфим.— Ах ты... За свои-то денежки!..

— Казна! — лаконично произнес шедший впереди мужик.— И ничего не попишешь... царское дело...

Наконец, мы пододвинулись к цели... В открытую дверь виднелись головы, стойка, решетка, полки с посудой и высокий, рыжий, с суровым лицом сиделец.

— Сымай шапки,— сказал шедший впереди мужик и добавил: — Во, голова, чисто в храм господний... До чего дожили, а?..

Бывшие впереди бабенки вошли в казенку, за ними переступил порог мужик, а следом тронулся я.

Бабы подошли к оконцу, и первая из них, поставив посуду на стойку, сказала:

— Вот, батюшка, спасуда!

Сиделец схватил бутыль и выкинул ей двугривенный.

Баба полезла в карман, достала платочек и начала развязывать зубами узелок, где у нее были завязаны деньги.

— Много ль, родной, за четверть-то? — спросила она.

— Не задерживай! — злобно крикнул сиделец, которому все это, видимо, страшно надоело.— Где ты была раньше-то?.. Ворона!.. Подходи! — крикнул он стоявшему впереди меня мужику.

Мужик заторопился, оттолкнул баб и развязно, очевидно радуясь, что достиг, наконец, цели, сказал, подавая в оконце деньги:

— Мерзавчика мне, господин, душа горит!..

— Что-о-о?! — заорал на него «господин», сделав большие, совсем круглые глаза.— Что-о-о? — повторил он еще громче.— Сам ты мерзавец! Разве здесь мерзавчиками торгуют?.. Во-о-о-н!..

— Па-а-милте!.. Я-с...—залепетал оторопевший мужик.

— Вон! — снова крикнул сиделец и, махнув мне рукой, сказал:

— Подходи... Заснул там...

Он схватил поданные мною деньги, сунул в оконце бутылку и закричал на баб, стоявших разиня рот около стойки:

— Вон!.. Не мешаться... раньше деньги готовьте...

— Кормилец! — заголосили бабы.— Батюшка... внове мы... распорядков тутошних не знаем.

Я не стал слушать, что будет дальше, взял бутылку и вышел на улицу.

— Добыл? — радостно воскликнул Малинкин, увидя меня.— А мы ждали, ждали... слюной изошли ждамши... пра, ей-богу! Ну, где ж пить-то?..

— Где вот хошь, там и пей! — ответил дядя Юфим.— Ох-хо-хо! Да! Пойдемте хоть туда вон, за угол, с глаз долой... То ли дело допрежь: выпьешь, закусишь, бывало, посидишь честь-честью, по-людски... А теперича тяни из горлышка да оглядывайся, как бы по шее не тяпнули...

— Ау, брат! Грехи,— согласился Малинкин,— ничего не поделаешь...

Отойдя от казенки на довольно почтительное расстояние, мы свернули направо, за угол какого-то дома, и, пройдя немного, расположились на берегу канавы.

Юфим разложил на бумаге разрезанную на куски селедку, а Малинкин взял бутылку и, привычным манером хлопнув ладонью по донышку, вышиб пробку. От этого удара водка в бутылке замутилась и побелела... Я приготовил «аршин».

— Погоди, дай отстояться,— сказал Малинкин, глядя на бутылку.— Ишь ее, матушку, всколыхнуло как!..

— Наливай, не томи! — вмешался дядя Юфим.— Выпьем поскорее да в кусты... Терешка, чай, заждался тамотка нас...

XXXVIII

В трактире к нашему столу, когда мы уже кончали чай, подошел какой-то небольшого роста человек, с красным, опухшим лицом, одетый в засаленный, точно покрытый лаком пиджак, и спросил:

— Вы, ребята, откеда?.. Чьи?

— Мы не здешние,— ответил дядя Юфим и добавил: — Так мы... насчет работенки...

— Мастеровые, что ль?

— Нет... так... Каки мастеровые!.. По хлебу резчики...

— Куда ж идете-то?..

— Да куда идем? — усмехнулся подвыпивший Юфим.— И сами, родной, не знаем.

— Работы ищем! — пояснил Малинкин.

— Та-а-а-к! — протянул одетый в короткий пиджак человек и, помолчав немного, опять протянул: — Та-а-а-к! Вот что,— продолжал он, окидывая нас всех противными глазами с кровяными жилками на белках.— Землю рыть можете?

— Как, чай, не можем — можем! — сказал Юфим.— А что?..

— А то: давайте на сотку, укажу работу.

— Сотка не расчет,— опять сказал дядя Юфим,— дать можно... А кака работа? Что делать?

— Погреб рыть,— ответил человек в пиджаке,— яму новую... Я вас сейчас бы и свел... А мне, признаться, выпить необходимо... а?

— Да уж не знаю, как с тобой и быть? — сказал Юфим, вопросительно глядя на нас.— Дать, ребята, ему, что ли, а?

— Дай! — сказал Малинкин.— Сотку-то мы видали... пес с ней, не разорит!

— Да вы не бойтесь,— успокоил нас пиджак,— вместе пойдем... Я на ваших глазах выпью, недалече тут... чай, не сбегу... Авось и мы тоже восемь-то монет видали...

— Ну, смотри, верно ль будет-то? — усомнился Юфим.

— Ну, вот! Толкуй, кто откуль... Говорю — верно, стало быть — верно... Мое слово — олово... Отдавайте за чай, пойдемте...

Мы отдали за чай, взяли сумки и пошли на улицу. Около казенки, где уже не было череду, как час тому назад, дядя Юфим дал человеку в пиджаке одиннадцать копеек денег и сказал:

— Смотри, друг, чтобы по совести.

Человек махнул рукой и скрылся в казенку. Через минуту он явился оттуда, на ходу, по дороге к нам, вышиб ладонью из бутылки пробку и, остановившись, запрокинув голову назад, стал пить водку прямо из горлышка.

— На, получи,— тяжело переводя дух, вымолвил он, подавая Юфиму пустую сотку, и, крякнув, сплюнул на землю.— Бр-р-р! — поморщился он.— Фу-у-у-у!..

— На, закуси хлебушком! — сказал Малинкин.

— Не надо! — отвечал тот.— Заберет лучше так-то... Посуду снеси... за нее три копейки плочено...

— Знамо,— ответил дядя Юфим и, обернувшись к Терехе, сказал, подавая ему сотку: — Поди-кась обмени.

— А меня там не заругают? — конфузясь и покраснев, произнес Тереха и вдруг решительно добавил: — Не пойду я, дяденька Юфим, ни в жисть не пойду... Иди сам, коли что...

— А, черт серый! — рассердился дядя Юфим.— Куда ты годен-то? Вытянулся с коломенскую версту, а ума вот на эстолько нет... тьфу!..

Он плюнул и пошел сам в казенку.

XXXIX

Человек в пиджаке перевел нас через площадь и, пройдя немного по пыльной, как будто песчаной улице, остановился перед домом, выкрашенным желтой краской и крытым железом.

Рядом под одну крышу стояла лавка со стеклянными

до половины дверями на улицу и с вывеской: «Авошная лавка Максима Иванова Тумашева»... Ворота во двор были искусно разукрашены жестью... Человек, делавший их, очевидно, обладал терпением и настойчивостью, достойными лучшей доли... Изнутри дома по окнам виднелись кисейные занавески и стояли горшки с ярко распустившейся цветущей «еранью»...

— Обождите малость,— сказал пиджак,— сейчас я...

Он взошел по ступенькам на крыльцо лавки и, заглянув в стеклянную дверь, произнес про себя:

— Оказия, голова... гм! Неужели опять?

Он обернулся, посмотрел на нас, точно ожидая ответа, и, немного подождав, дернул за проволоку звонка. Прошло больше минуты... Человек стоял и прислушивался, наклонив набок голову, походя на лягавую собаку, которая сидит около двери и ждет, когда выйдет хозяин-охотник.

— Оказия! — снова произнес он и опять дернул за звонок.

На этот раз ждать ему пришлось недолго... По ту сторону загромыхал засов, одна половинка стеклянной двери отворилась, и на пороге показалась толстая, сердитая баба.

— Наше вам-с! — воскликнул человек в пиджаке, делая в воздухе выверт поспешно снятым с головы картузом.

— Ты чего это дурака ломаешь? — басом произнесла баба.

— Мы к Петру Иванычу... собственно по делу...

— Возьми вон своего Петра Иваныча... Он вон, задеря ноги, третьи сутки валяется, как свинья! — грубо ответила баба.

— О? Закургузил? — вопросительно произнес наш вожатый.

— А то нет... знамо! Черти эдакие! Жрете и жрете винище, не облопаетесь никак, притка вас расшиби!.. Да тебе на что он? — спросила баба, помолчав.

— Да намедни мы с ним в трактире чай пили... Ну, между прочим, сказывал, погреб хочет рыть, яму... Не увидишь ли, говорит, каких,— присылай! Вот я и привел! — добавил он, показывая на нас рукой.

— А чьи такие? — спросила баба, разглядывая нас.— Може, воры... кто их знает, заблудящие, может. Ноне народ-то такой... Пачпорта-то у них есть ли?..

— Пачпорта у нас, мамаша, в исправности,— ответил дядя Юфим.

— Ну, так как же? — спросил человек в пиджаке.— Без самого-то как быть?..

— Да так и быть,— ответила баба,— яму рыть надо, без него знаю... А вы, миленькие,— обратилась она к нам,— дорого ль возьмете-то?

— Да ведь какая яма?!.— ответил Юфим.— Дороже денег не возьмем.

— Обнаковенная яма... Не то чтоб очень глубока, а так... середка на половину.

— Сажени полторы квадрат,— пояснил человек в пиджаке.

— А глубиной как? — спросил Юфим.

— Да обнаковенно как... все поглыбже, чай, надо,— ответила баба.

— Да как выроешь — себя не видать, так и будет,— сказал человек в пиджаке.

— Эва как! — воскликнул Юфим.— Дела не мало!

— Четверо вас... живо выроете!..

— Да, живо... Ну, а цена как?

— А много ль возьмете? — спросила баба.

— За трешницу выроем... на твоих харчах,— сказал Малинкин.

— Ишь ты какой склизкий! — воскликнула баба.— Больно жирно крошишь — дьячка подавишь!.. Трешницу!.. У вас вон и струменту-то нет... Кто вы такие? Може, вы, пес вас знает, жулье аль што?..

— А ты, мамаша, полегче! — сказал Юфим.— Лаяться не годится.

— Да как вас не лаять: три рубля, статочное ли дело?..

— Ну, а ты много ль дашь? — спросил Малинкин.

— Полтора рублика дам!

— Эк ты!..

Начали торговаться.

— Ну, уж так и быть,— сказал Юфим,— давай два!

— Дорого... кормить вас надо... Чай небось тоже пьете?

— Само собой,— отвечал Юфим,— небось тоже люди.

— Заступов вам, чай, надо?

— Да как же? Знамо, пальцем рыть не станешь...

— У нас вон только два... к соседям надо... Все вот докука, хлопоты... Ну, идите в калитку.

— На сотку за хлопоты! — воскликнул человек в пиджаке.

— Ступай ты отседа, пес... Мне свой пьяница надоел! — крикнула на него баба и, захлопнув дверь у него под носом, ушла.

— Сво-о-о-лочь! — злобно протянул мужик.

— Кто така? — спросил Юфим.

— Ха-а-а-зяйка! Че-е-ерт! Давайте хоть вы на сотку!

— Ну, нет, друг,— ответил дядя Юфим,— мы тебе уже дали — отчаливай!.. У нас денег шальных нету... Бог с тобой...

— Ну, дери вас черт, коли так... Я думал, порядочный народ... по совести... эх вы, обормоты!.. Ну, давайте хоть пятачок, дьяволы!

— Дай ему, дядя Юфим, пятачок,— сказал Малинкин,— отвязаться... ну его!

Ему дали пятачок, и он, ругаясь, ушел...

XL

Хозяйка отперла калитку и, пропустив нас на двор, сейчас же снова заперла ее.

Огромная, гладкая, черная собака соскочила, гремя цепью, с телеги-полка, где она лежала в тени под навесом, и с ожесточением, становясь на задние ноги, хрипло, задыхаясь от злобы, принялась лаять на нас.

— А вдруг сорвется,— произнес Тереха-Воха, сторонясь,— жуть!..

Под навесом, налево от ворот, кроме полка, на котором лежала собака, стояли еще обыкновенные крестьянские «карули» и щегольской, недавно только, повидимому, окрашенный тарантасик. В заднем углу лежали сложенные в клетку сажени две березовых швырковых дров и сотни три кирпичей. Направо от ворот, против навеса, находился собственно самый двор, то есть помещение для скотины. В открытую дверь стойла виднелась широкая спина вороной лошади и доносилось откуда-то резкое, басистое хрюканье...

По пустому пространству, между навесом и двором, бродили черные, поджарые, с белыми щеками «аглицкие» куры, индейский петух, то и дело распускавший хвост

и кричавший «здравия желаем!», утки и породистые белые голуби...

Вслед за шедшей впереди хозяйкой мы завернули за угол и вошли в полутемные сени.

— Полегче топочите тутотка ножищами,— вполголоса сказала она,— хозяин спит... Выпимши.

Она отворила обитую рогожей дверь, и мы друг за другом вошли в кухню.

— Здорово живете! — сказал Юфим, перекрестившись в угол.

— Здравствуй! — ответила хозяйка.— Кладите сумки пока хучь под лавку, садитесь... Покурите, коли курите... На дворе не курите, а здесь можно.

Мы сняли сумки, и все четверо сели рядышком на скамью, стараясь держаться поближе к порогу.

В передней части кухни, у небольшого оконца, выходившего на площадку двора, сидела еще женщина и, наклонившись, что-то шила.

— Здравствуй, молодка! — сказал Юфим.

Она подняла голову вяло и нехотя, ничего не сказала и снова принялась за шитье. Женщина эта была одета в серое, сильно заношенное, давно не стиранное, засаленное платье... Она была беременна, лицо было худое, с желтыми пятнами, под глазами синяки...

Немного поодаль сидели у стола дети и ели со сковороды жареную картошку,— две девочки и мальчик. Они уставились на нас глазенками, как испуганные зверьки, и перестали есть... Карапуз-мальчишка, с волосами, похожими на лен, полез, очевидно со страху, к матери. Та сердито толкнула его и грубо крикнула:

— Не мешай, оглашенный!

— Невестка это моя,— сказала приведшая нас хозяйка.— Вы не бойтесь ее,— почему-то успокоила она нас и добавила: — Пойду заступов поищу... К Лучинкиным схожу. Посидите пока что...

Она вышла... В кухне было полутемно, грязно и как-то жутко... Она была, повидимому, очень стара и требовала полного ремонта. Пол, покатый к окнам, изображал что-то вроде горки. Большая облупившаяся глиняная печь, стоявшая на деревянном опочке, тоже ткнулась челом вперед, напоминая задумавшуюся старуху. В старинном, с ободранной фанеркой и выбитыми в дверцах стеклами шкафу виднелись на полках чайные чашки, сахарница в виде ку-

рицы, стаканы и прочее. На одной из стен висела картинка с надписью «Ильяс» и небольшой портрет Гоголя. Гоголь с отодранным ухом как будто чуть-чуть улыбался, глядя на грязь обстановки. Маятник небольших, с одной гирькой, часов торопливо, точно боясь опоздать куда-то, однообразно-надоедливо выстукивал свое тик-так, тик-так... В пазах стен виднелись тараканы, и множество мух бродило по столу.

— А где ж хозяин? — спросил дядя Юфим, нарушая тяжелое молчание.

Женщина дернула как-то особенно зло иглу, нагнулась, откусила нитку, исподлобья глядя на нас, и потом уже сказала:

— Спит!

— Что не во-время? — опять спросил любопытный Юфим.

— Ему время,— сердито ответила женщина, вдевая нитку.— Хоть бы облопался, что ли!.. Петька! — воскликнула она вдруг.— Я те побалую, смотри, окаянная сила!

Мальчишка, забравшийся на подоконник и хотевший было отворить окно, кубарем слетел оттуда и заплакал от испуга.

— У-у-у, лешай! — крикнула на него женщина злобным, отчаянным, со слезами в голосе, криком.— Передохли бы вы все! У людей вот мрут — передохли бы и вы!

— Что это ты? — тихо вымолвил Юфим.— Нешто можно? Ребенок глуп, играет... Грех и уста, молодка, сквернить...

— А ну и тебя! — крикнула женщина и махнула рукой.— Ничего ты не знаешь! Связали они меня... Царица ты моя небесная, матушка! — опять отчаянно завопила она.— Долго ль мне страдать-то... Долго ль чашу эту пить горькую?

Она бросила работу и заплакала, закрыв лицо руками.

— Скоро ль мои глазаньки-то закроются на веки веченские... О-о-х! горькая я, горькая!.. Не с кем-то мне слова вымолвить... Некому меня пожалеть!..

Она выла, точно по покойнике, жалобным, душу надрывающим воем. Видя, что мать плачет, дети тоже заплакали. Девочка уцепилась за ее подол и кричала:

— Мамка, не плачь! Золотая, не плачь!

— Полно, молодка,— сказал дядя Юфим,— что ты словно по упокойнике?

— Милый ты мой,— еще шибче заголосила женщина и скорбно всплеснула руками,— не знаешь ты моего житья... Почернело во мне сердце ровно черная смола!

Она обняла вдруг одну девочку поменьше и, в страстном порыве прижав к своей груди, заголосила:

— Детушки мои милые!.. Ненаглядные мои детушки!.. На горе-горенское народила я вас... Кто пожалеет вас, как помру я... Детушки, голуби мои ненаглядные!..

Она принялась целовать девочку.

Волнение ее мало-помалу стихло... Она всхлипнула последний раз, утерла руками глаза и заговорила, уже не растягивая и не выкрикивая слова:

— Вот придет ночь темная, бери детей, да и иди в чужие люди ночевать... День-деньской вот тут сиди... в горницу-то я и не смею... а на ночь в люди...

— Что ж так?

— Проснется чадо-то мое... драться начнет... Дети боятся... на стену лезут со страху... Ах, как дерется!.. Владычица ты моя! Избита я вся... нет живого места на мне! Голову вот как наклоню, так словно падаю куда,— все от побоев... страх во мне во всей, трясение. И все пьет, и все, милый ты мой, пьет!..

— С чего ж это он?

— С жиру... избаловался: харч хороший, жизнь привольная, деньги есть... Не рабочий, не ломаный: палец о палец не ударит... Пьет и пьет, и нет ему, окаянному, удержу. Не захлебнется винищем-то проклятым... Все до дна пьет, все до дна... И не пролей, милый ты мой, капельки!

— Та-а-к! — протянул Юфим и почесал в голове.— Ну, а как же хозяйство-то: лавка и все прочее? У вас, как поглядел я даве, как сюда шел, колесо тоже немалое заведено.

— Свекровь все, батюшка, все свекровь... Кабы не она, давно бы все прахом пошло!

— Все без мужика нельзя: лошадь там запрячь, скотину убрать... все такое...

— А мы работника держим.

— Где же он... не видать...

— Ушел... расчет взял третевось... Не живут... Кто станет жить? Срамовище!.. Поживет недельку — бечь! На руку сам-то тяжел... дерется... Ну, а по нынешнему времю кто станет терпеть... Доведись до кого хошь,— нешто стерпит?..

— Известно,— согласился Юфим.— Плохо твое дело,— добавил он.

— Так-то плохо, милый, так-то! Десятый год маюсь, извелась вся... В люди идти стыдно... Ну что же мне, милый, делать-то? И не придумаю... Ах, да связали вот они меня, проклятые!.. У-у-у, черти!

Она опять со злостью толкнула мальчика и еще пуще заплакала. Мы молчали, потупясь. И, кажется, у всех одинаково нехорошо было на душе.

— Кабы не они,— заговорила женщина снова,— плюнула бы я на него... ушла бы куда глаза глядят... Ешь, собака, да незнамая!.. Вот проснется к вечеру... Ужо посмотрите, каков бурлак: морда-то лопнуть хочет... Хуже-то он для меня, милый, зверя лесного, волка!.. Не слыхала я от него, опричь матюгов, слова ласкового... Пьяный да слюнявый лезет... Во грехах и детей рожу, за насилку... Каждый год, почитай, рожу...

— Так как же тебе быть-то? — воскликнул Юфим.

— Вот как хошь!

Она жалобно улыбнулась, замолчала и снова принялась за шитье. Дети присмирели и сидели жалкие, как брошенные птенчики... Со двора доносилось пение петухов и крик уток...

— Н-да,— глубокомысленно произнес дядя Юфим,— и через злато, видно, слезы льются... Ох-хо-хо! Видно, скоро свету конец: муж на жену, сын на отца, брат на брата. Водочка это... Хитрость пошла промежду людей, обман, нажива... В писании сказано: «Обовьет паутина весь свет белый... побегут по земле и полетят по воздусям жуки черные с железными носами... Тут и свету конец!..» И все верно, и все это верно!..

Он замолчал и стал делать папироску; молчали и мы. В сенях послышались шаги, дверь отворилась, и в кухню вошла хозяйка, неся с собой заступы.

— Ну, вот вам, ребятушки, струмент! — сказала она и, обернувшись к молодой невестке, спросила: — Не слыхать, не шевелится?

— Нет,— ответила молодая, не поднимая головы от работы.

— А ты, никак, опять ревела? — спросила свекровь.— Дура ты, дура! Охота...

— Заревешь! — сказал дядя Юфим.

— А нешто она вам сказывала?

— Сказывала... Чудна голова! Да вы ему хоть вина-то бы не давали... вот бы он и не пил.

Хозяйка усмехнулась.

— А мы не жалеем, родной, водки-то: пей хучь в три горла,— авось, господь даст, захлебнется, подохнет скорей... Тогда и пить бросит.

— Да уж тогда верно, что бросит! — сказал Юфим и добавил: — Чудеса в решете: дыр много, а вылезть негде!..

XLI

Хозяйка показала нам место, где рыть яму, и мы дружно принялись за работу.

Верхний слой земли был мягок и легко поддавался лопатам. Дальше пошла глина, твердая, как камень, и рыть стало трудно. Принесли лом, длинную железную, фунтов в двадцать, палку, и стали ею работать по очереди, отворачивая глину. Работа пошла скорее.

Вечером, когда село солнце и пригнали скотину, хозяйка позвала нас ужинать. Мы зачистили лопаты и пошли. На кухне было почти совсем темно. Хозяйка зажгла небольшую лампочку, висевшую над столом. Мы помыли руки из глиняного «с рыльцем» умывальника и, обтерев их о тряпку, висевшую тут же, уселись за стол.

— А где ж молодая, не видать? — спросил дядя Юфим.

— В ночевку пошла, ко вдове тут к одной недалече,— ответила хозяйка и, поставя на стол чашку со щами, села сама на скамью.

— А житьишко ейное, похоже, желтенькое?..— сказал дядя Юфим, принимаясь хлебать вкусные, из белой капусты со снетками, щи.

— Ох, уж и не говори, родной! — воскликнула хозяйка и махнула рукой.— Не говори — срамота на все село. И бог его знает: напущено на него, что ли.

— А вы бы в Нахабино съездили, свозили б, помолились.

Хозяйка опять махнула рукой и с грустью сказала:

— Были, возили...

— Ну что ж?..

— Грех один: зарок взял на полгода не пить... перед крестом, евангелием клялся, а сам, идол, в тот же день

налакался. С той поры зачертил, индо волос дыбом встает... страсть!..

— Грехи! — произнес Юфим.— Полечить бы его как.

— Да как лечить-то, нет такого человека... Ты, родной, не слыхал ли средства какого, а?..

Дядя Юфим помолчал, пережевывая кусок хлеба, и потом, расправя пальцами усы, сказал:

— Как сказать... слыхал я... Достоверно сказать не могу, ну, а только слыхал, и будто помогает... Сделай ты, милая, вот что,— продолжал он, немного помолчав и подумав: — Возьми ты половинку аль там боле, дело твое... Пробку из ней, примерно эдак, вытащи... не совсем вытащи, а чтоб, значит, только дух из нее выходил малость... и поставь ты эту половинку в стерву... Издохнет, скажем, лошадь аль там корова, шкуру ейную сдерут... дух из нее пойдет... ты, значит, в нутро ей эту спасуду и сунь. И пущай, значит, стоит она в ней, покуда воронье всю стерву не сожрет... А там вынь и поднеси ему стакашек в те поры, когда он с похмелья... Коли начнет с души рвать, говори: слава богу!.. попритчило ему... Ну, а коли не сорвет — крышка... говори тогда: злой дух в нем.

Хозяйка промолчала. Видя, что мы кончили со щами, она встала и, сняв со стола чашку, пошла к печке. В это время в сенцах послышался шум. Дверь отворилась настежь, и к нам в кухню, переступив порог, вошел человек.

Человек этот был полураздет. На нем была длинная кумачовая рубашка и полосатые короткие штаны... На ногах резиновые калоши на босу ногу...

Увидя нас, он на минуту остановился около порога, что-то думая, шагнул вперед и, растопыря руки, закричал хриплым голосом:

— Максим, на-а-а-дуйся!

Мы глядели на него, и он глядел на нас.

После продолжительного молчания он снова закричал:

— Максим, надуйся! Что за народ? — хриплым басом произнес он, садясь на скамью рядом с Терехой-Вохой.— Как без моего спроса могли, а? Кто здесь хозяин, а?.. Максим, надуйся!..— опять закричал он и ударил себя кулаком в грудь.— Я! — выкрикнул, он, тараща пьяные оловянные глаза.— Максим, надуйся!..

— Будет тебе орать-то, ду-у-у-рак! — сказала хозяйка, ставя на стол чашку с кашей.— Медведь рамейский!.. На

что ты похож-то... у-у, лешман! Ни стыда в тебе, ни совести...

— Максим, надуйся! — крикнул он снова и вдруг, схватив стоявшую на столе бутылку с постным маслом, вылил из нее все масло в кашу.— Жрите! — закричал он.— Кашу маслом не испортишь. Ма-а-ксим, надуйся!..

Возмущенная хозяйка схватила его левой рукой за волосы, а правой стукнула несколько раз по толстой короткой шее, приговаривая:

— Вот тебе надуйся! Вот тебе надуйся! Вот тебе надуйся! Не озорничай, разбойник!

Смешливый Тереха-Воха громко захохотал. Дядя Юфим перекрестился и с серьезным лицом полез вон из-за стола. Мы за ним.

— Куда же вы? Сидите! — сказала хозяйка.— Я другой наложу.

— Спасибо,— сказал Юфим,— сыты... много довольны.

— Вы уж не взыщите, сделайте милость,— просила хозяйка,— пьяный человек... дурашливый... Коли хотите, я самовар согрею, а? Будете пить-то?..

— Да оно не мешает,— ответил Юфим,— чай пить — не дрова рубить...

— Где ключи от лавки? — закричал вдруг пьяный хозяин.

— Я вот дам тебе ключи! — ответила хозяйка.— Иди, бесстыдник, отседа!

— Где ключи? — опять крикнул он.

— А на что они тебе, дураку, понадобились?

— Баранок им,— он сделал движение рукой в нашу сторону,— пущай жрут! Сдобных фунт! Максим, надуйся!

— Иди дрыхни, дурак пьяный... Ду-у-у-рак!..

— Я не дурак, а сроду так! — заржал хозяин.— Ма-а-ксим, надуйся! — опять закричал он и вдруг спросил: — А в карты играть умеете по носам?.. Ты, старый черт, умеешь? — обратился он к дяде Юфиму.

— Черт-то в болоте,— ответил, обидевшись, дядя Юфим,— а на мне хрест есть... А ты бы, купец, всамделе спать шел... Святое бы дело.

— А ты ружейные приемы знаешь, а?..

— Каки-таки ружейные приемы?..

— А-а-а, деревня! Каки!..

Он схватил стоявший около печки ухват, встал по-

среди избы в позу, вытянулся и закричал во всю глотку, страшно тараща глаза:

— Ннн-а-а кра-а-а-ул!!!

Тереха-Воха снова не утерпел и громко захохотал.

— Ша-а-аг вперед! Ша-а-аг назад! — между тем орал хозяин и вдруг, схватив ухват наперевес, бросился на Тереху-Воху.

— Ко-о-оли! — заорал он.— Максим, надуйся!

— Батюшки! — воскликнул перепуганный Тереха.— Убьет... Жуть!..

— Ко-о-о-ли! — еще шибче закричал хозяин и, обернувшись, наставил ухват в дядю Юфима.

— Окстись, лешай! — крикнул дядя Юфим.— Белены объелся, знать!

— Ко-о-о-ли! — снова закричал хозяин и вдруг ткнул со всего размаху концом ухвата стоявшую на столе чашку с кашей. Чашка полетела со стола и разбилась вдребезги.

— Вяжите его, разбойника! — завопила хозяйка.— Отцы родные! Вяжите, бейте... не бойтесь, бейте в мою голову... перебьет он теперь, разбойник, все... вяжите его!

— Максим, надуйся! — орал между тем хозяин и начал без разбору, во что попало, тыкать ухватом, крича: — Ко-о-ли... Бей! Режь!..

— Вяжите его! — вопила хозяйка.

— Максим, надуйся! — ревел одуревший хозяин, вышибая из шкафа последнюю дверку.

Видя, что дело приняло такой оборот и что комедия превращается, так сказать, в трагедию, мы, внемля просьбам хозяйки, по знаку Малинкина бросились на пьяного, свалили с большим трудом на пол, связали и положили в сторонке.

— Максим, надуйся! — хрипел он, делая тщетные усилия развязаться.

От этих усилий лицо его сделалось красно-багровым и, казалось, готово было лопнуть... Глаза, дикие, оловянные, без бровей, что делало их еще более страшными, лезли из орбит... По углам рта виднелась пена.

— Господи, помилуй нас, грешных! — произнес дядя Юфим, глядя на исступленного человека и качая седой головой.— Что водочка-то делает, а?.. И хороший, може, человек, а вот вишь...

— Жуть! — прошептал, весь дрожа, Тереха.

Хозяйка села к столу, положила на него руки калачиком, ткнулась головой и горько заплакала.

XLII

Хозяин долго еще бушевал, не давая нам покоя. Наконец, он стих, и мы все уснули.

Утром хозяйка разбудила нас, как только начало рассветать. Она, пока мы спали, успела развести самовар; большой и грязный, он стоял на столе, клокоча и выпуская под потолок клубы пара.

— Вставайте чай пить... Самовар поспел.

Мы встали, умылись над лоханкой и сели за стол. Хозяйка сходила в лавку и принесла два фунта сухих, твердых, как железо, дешевых баранок.

Пока мы не торопясь пили чай, проснулся хозяин. Он открыл глаза и долго лежал, молча глядя на нас.

— Распутайте! — тихо и хрипло произнес он, наконец.

— Лежи, лежи, разбойник! — сказала хозяйка.— Лежи, подыхай!..

— Да ну уж! — произнес он.— Буде... распутайте...

Мы вопросительно взглянули на хозяйку. Она промолчала.

— Тереха, распутай встань! — сказал дядя Юфим.

— Боюсь я, дяденька, а ну как он по-вчерашнему.

— Ну, дурак... Рязань косопузая! Ему дело, а он: собака бела.

Тереха вышел из-за стола, развязал хозяина и снова сел на свое место. Хозяин потянулся, расправляя онемевшие члены, сел на лавку, обхватил голову руками и произнес протяжно:

— Фу-у ты!..

— Чердак трещит? — спросил Малинкин.

Хозяин повернулся, молча посмотрел на него и опять схватился за голову.

— А жена где? — спросил он, помолчав и не поднимая головы.

— Где?.. Известно где,— ответила хозяйка,— одно место... Разбойник, пьяница!.. Доколь ты нас мучить станешь?

— Фу-у-у! — снова тяжело вздохнул хозяин и вдруг, подняв голову и глядя на нас исподлобья, спросил:

— Хорош мальчик, а?

— На что уж лучше,— с усмешкой ответил дядя Юфим.— А помнишь что?

— Нет.

— Врё?

— Не помню.

— Н-да,— произнес дядя Юфим, покачивая головой,— эдак ты можешь делов во каких натворить... Ты бы, купец, оставлял замычку-то эту... Не в обиду будь тебе сказано: у тебя ведь дети... Мы и сами пьем, все грешны, что говорить... Ну, а все-таки... того... полегче надо... нехорошо... Будь один — наплевать, а то — дети...

— Фу-у-у! — опять протянул хозяин и вздрогнул всем телом.

— Ангельские-то душки за что терпят?.. Какой пример от родителя? — вмешалась и хозяйка.

— Что уж,— поддержал ее дядя Юфим,— вырастут, уваженья не жди... А то и по затылку попадать будет... бывает. Родительскому сердцу прискорбно, а ничего в те поры не попишешь. Сам виноват... за дело сто́ит...

— Ты не сердись на меня,— ласково продолжал Юфим, видя, что хозяин молчит,— я постарше тебя... Не в обиду тебе говорю, не в укор,— жалеючи говорю... Спокаешься, да уж поздно: близок локоть-то, а не укусишь... Зарубку, купец, знать надо. Человек ты молодой, в силе... Нехорошо!

— Отстань! — сказал хозяин, махнув рукой.— Своих детей учи, а я учен.

— Твое дело, тебе виднее,— сухо произнес дядя Юфим, принимаясь пить чай.

В это время в сенях послышался шум, и в кухню, осторожно отворив дверь и пропустив вперед себя детей, вошла молодая. Увидя сидящего в растерзанном виде мужа и подумав, вероятно, что он пьян, она, с выражением ужаса в глазах, попятилась назад. Дети испуганно прижались к ней.

Хозяин поднял голову, посмотрел на нее и на детей. Какая-то жалкая, робкая улыбка скривила его рот, и он тихо сказал:

— Пришла... беглая...

Молодая отошла от двери, села и, закрыв лицо руками, заплакала.

Хозяин молча встал и куда-то вышел... Минут через пять он возвратился назад, неся что-то в бумажном пакете.

— Подьте сюда! — поманил он рукой детей, усевшись на прежнее место.

Дети не шли и жались к коленкам матери.

— Райка! — продолжал отец, обращаясь к старшей девочке.— Подь, глупая, не бойся... Что я тебе дам-то... Эва, гляди-ка, гляди сюда... У, глупая!..

Старшая девочка отделилась от матери и робко подошла, глядя на отца боязливыми, недоверчивыми глазенками.

— Держи подол! — Он достал из пакета пряников и дал ей.— Глупая ты, глупая!.. А что надо сказать, а? Что тятеньке сказать надо, а?

Девочка вдруг доверчиво прижалась к нему.

— Покорно благодарю, тятенька, сказать надо,— объяснил он,— покорно блага-блага...— Голос его вдруг задрожал и осекся. Он порывисто обнял девочку и нагнулся, пряча свое лицо у ней на груди...

— Вставай, ребята! — вдруг как-то чудно и неожиданно, срываясь с места, крикнул дядя Юфим.— Неча прохлаждаться-то... сряжайся!

— Слава тебе, боже! Слава тебе, боже! Слава тебе, боже! — порывисто и широко крестясь на иконы, произнес он, и в его голосе слышались слезы.

XLIII

Покончив с работой, получив расчет и попрощавшись с хозяевами, мы вышли за ворота и, отойдя немного, остановились.

— Куда ж теперь маршрут держать? — спросил Малинкин.— Чайку буде попить, что ли, а?..

— Попьем чайку, да и того... в монастырь махнем! — сказал дядя Юфим.— Там, гляди, косить коли не начали, так начнут на днях. А пока что, до покосу, другое дело дадут... Цена там, правда, не ахти какая: всего двадцать монет... Ну, зато харч — патока!.. Работа вольготная... А после того по попам ударим, по именьишкам мелким,

по лавочникам... Народ весь за дело бросится,— нам везде рады будут... только, батюшка, работай!..

От села до монастыря было верст десять по хорошей, торной дороге. Это расстояние мы прошли ходко и еще задолго до заката солнца подходили к монастырю. По дороге, обгоняя нас и навстречу нам, шло и ехало много богомольцев.

Не доходя до монастыря с версту, мы вместе с другими богомольцами сделали «залогу» около часовни, на пороге которой сидел древний, совершенно седой монах в огромных очках, таких же древних, как и он, читавший толстую книгу в кожаном облупившемся переплете. Перед ним на табуретке стояло оловянное блюдце, на которое богомольцы, помолившись в часовне, клали кто сколько мог.

Прежде, чем залоговать, мы все четверо зашли в часовню, поклониться иконе преподобного, которым был, по преданию, основан монастырь.

Дядя Юфим долго и усердно молился, кланяясь перед иконой в землю. Мы вышли из часовни и уселись в сторонке, а он все еще был там. Когда старик, наконец, вышел и присоединился к нам, лицо его было серьезно, почти строго... Он долго молчал, что-то думая, часто моргая глазами и фыркая носом.

— Третий раз я здесь, ребятушки, господь привел побывать,— сказал он.— Третий! — И, помолчав и точно отвечая на свои думы, грустно добавил:— Эх, други, други, много я скорби перенес... реки! Единому господу известно!.. Нн-да!

Перед нами, как на ладони, был монастырь... Солнце, низко стоявшее на западе, освещало его белую стену, церкви, сосновый лес рядом, речку, зеленый, точно бархатный, луг перед ней, играло в золоченых крестах... Все это вместе с какой-то особенной тишиной, разлитой вокруг, представляло прекрасную картину...

— Здесь бы вот господь привел косточки положить,— произнес дядя Юфим, вздохнув,— потрудиться бы перед концом преподобному.

— Самое святое дело,— согласился Малинкин и добавил: — Одначе идтить надо... Трогай, белоногой!..

Мы встали и направились к монастырю...

XLIV

На площади, между «святыми воротами», ведущими во внутренность монастыря, и гостиницей, огромным в три этажа зданием, толкалось множество народу. Был канун какого-то праздника.

Богомольцы ожидали всенощной, которая, как я узнал после, тянулась здесь чуть ли не до двух часов ночи, начиная с шести вечера.

Маленькая, приткнувшаяся рядом со святыми воротами лавчонка, в которой сидел длинный, худощавый приказчик, бойко торговала хлебом, чаем, селедками, баранками, монпансье и т. п.

У святых ворот стояли молодые послушники, заглядывавшие в открытые окна гостиницы, из которых иногда высовывались женские лица. Здесь же, около ворот, сидели слепые и пели Лазаря, чутко прислушиваясь к ударам копеек, падавших в деревянные чашки, которые они расставили около себя... Какой-то кряжистый, чернобородый, с блестящими глазами, безногий мужик, стуча своими культяпками, двигался тут же, собирая подаяние на убожество... Страшная, безносая странница протягивала руку, что-то шамкая и гнуся... Злая рота поодиночке и человека по три то и дело шмыгала в ворота туда и обратно.

Мы остановились около парадного подъезда гостиницы и присели на землю у изгородки, за которой росли кусты акации, черемухи, сирени... В гостиницу и из нее, мимо нас, то и дело входили и выходили люди.

— Куда ж мы? — спросил Малинкин.— Здесь, что ль, ночевать будем?

— Зачем здесь,— ответил дядя Юфим,— на страннюю пойдем переночуем, а там видать будет... Чай, скоро ужин...

Он поднялся и повел нас. Пройдя немного по площади, он свернул влево и вошел сквозь открытую калитку во двор монастырской гостиницы. Двор был огромный, окруженный со всех сторон забором. Прямо против ворот, вдали, помещались конюшни, а под навесом стояли телеги. Направо — скотный двор... Налево — какое-то полуразвалившееся деревянное двухэтажное здание... К нему-то, шагая напрямки через площадь, и повел нас дядя Юфим.

В нижней части этого здания, как оказалось, помещалась «странняя». Вход в нее, какая-то узкая, ведущая вниз дыра, пугал своей таинственностью...

Дядя Юфим, бывший здесь раньше, смело спустился по деревянным ступенькам куда-то вниз, в темный коридор, пошарил по двери, нащупал скобку и дернул... Дверь, как-то чмокнув, точно кто сладко поцеловался в потемках, отворилась, и мы вошли в страннюю.

XLV

Прежде всего нас обдал запах, тяжелый, удушливый, противный запах человеческих испарений, прелой одежды, махорки, гнили.

В большой, низкой, черной, необыкновенно мрачной комнате царил полумрак. Посредине во всю длину стояли столы и длинные, узкие, грязные скамейки... Около стен были устроены покатые, сплошные нары. На нарах, на скамейках и на полу сидели и лежали люди. Некоторые спали, некоторые разговаривали, смеялись, курили...

В одном месте на нарах, против небольших, с грязными стеклами окон, сквозь которые тускло проникал свет, поджав под себя по-турецки ноги, сидели люди, по пояс нагие, и искали в своих грязных рубашках насекомых. Откуда-то из темного угла раздавался с короткими промежутками молчания рыкающий, низкий, грубый бас, повторявший все одно и то же: «Слава ти, господи, сотворившему вся, сотворившему вся!» Это «сотворившему вся» глухо и как-то странно, будто что-то живое, страшное, огромным шаром каталось по страннее, наполняя ее всю гудящим шумом...

Один из сидевших на нарах против нас, худой человек с бледным и истощенным лицом, что-то рассказывал, то и дело смеясь своим собственным словам и обводя слушателей тяжелым взглядом больших, дерзко-нахальных выпуклых глаз.

Неподалеку от двери, около печки, на кирпичном полу с выбитыми местами кирпичами, подложив под голову сумку, лежал навзничь какой-то огромный человек, длинноволосый, одетый в подрясник; он спал, громко храпя и поднимая то одну ногу, обутую в лапоть, то другую. Молодой парнишка, одетый тоже в подрясник и тоже с длин-

ными волосами, ходил по странне около столов, заложив за спину руки. Он то останавливался около группы людей, сидевших на нарах, и слушал, что говорят, глупо ухмыляясь, то снова начинал шагать, озираясь во все стороны, точно ища чего-то.

Близ двери, где мы остановились, на краю скамейки сидел, наклонясь и упершись руками в коленки, маленький, худой, необыкновенно жалкий человек, похожий на курицу-клушку, которую баба, желая отучить от клоктанья, выкупала несколько раз в луже и, отстегав после этой ванны крапивой, бросила...

Одет он был во что-то рваное и грязное... Тяжелый, кислый запах шел от него. Он был страшно худ... На руки с тонкими, длинными пальцами жутко было смотреть: точно руки мертвеца, высохшие, холодные, страшные! По лицу, начиная от ушей, росла у него бороденка, клочковатая, бурая, книзу заостренная клинышком.

Человечек этот то и дело крестился и громко, ни на кого не глядя и не обращая внимания, гнусаво читал: «Камо пойду от духа твоего и от лица твоего камо бежу? Аще взыду на небо, тамо еси; аще сниду во ад, тамо еси. Аще возьму криле мои рано и вселюся в последних моря, и тамо рука твоя наставит мя и удержит мя десница твоя...»

Кончив, помолчав немного и перекрестившись несколько раз, он снова начинал: «Камо пойду от духа твоего», и т. д.

Стоя около входной двери, мы не знали, что делать и где нам приткнуться на ночь.

— Жуть! — произнес Тереха-Воха с изумлением в больших глазах.

— Хива! — тоже тихо сказал Малинкин.— Здесь сумки упрут... вишь народ-то... Не уйти ли с богом?

— А куда? — спросил дядя Юфим.— Погодим пока что.

В это время дверь позади нас хлопнула, и в странню вошел высокий, сутуловатый монах. В странне сразу затихло. Он исподлобья окинул всех маленькими глазами и, обернувшись к нам, спросил тоненьким голоском:

— Вы, рабы божьи, что?.. Ночевать?.. Откеда?.. Дальние?...

— Да, отец, ночевать бы,— ответил дядя Юфим,— да вишь тесненько словно.

— Идите за мной! — сказал монах и пошел через всю странню к небольшому чуланчику с маленьким оконцем-гляделкой на передней стенке.

Подойдя, он достал из кармана ключ и, отперев им небольшой висячий замок, открыл дверь и сказал:

— Проходите, рабы божьи!

Он пропустил нас и, захлопнув за собой тонкую тесовую дверку, запер ее на крючок.

— Здесь, рабы божьи, у меня и переночуете,— сказал он,— дорого я с вас не возьму... всего по три копейки с человека.— И, как бы извиняясь, с улыбкой пояснил: — Грешен... табачишко потребляю... то, се... А где взять?..

— Что говорить,— сказал Юфим,— все мы грешны... все во плоти. «Дух бодр, плоть немощна»,— сказано в святом писании.

— Вот, вот,— обрадовался монах,— самое это! Кладите сумки в уголок... Не бойтесь, целы будут. А спать ужо на полу ляжете. Тесновато оно, да зато спокойно. Опять и вшей помене, чем на странне... Присядьте!..

В каморке было тесно, неуютно, мрачно. Маленькое оконце за железной решеткой, точно в тюрьме, выходило куда-то в забор и давало сквозь грязные стекла мало света. В переднем углу висели иконы и картинки духовного содержания. Под иконами стоял столик и на нем лежала необыкновенно толстая в кожаном переплете книга. Около печки, входившей одной своей стороной в каморку, стояла узенькая на козлах кровать, на которой валялась грязная, сальная подушка и вместо одеяла старый подрясник. У противоположной стены, насупротив печки, стояли две табуретки, висел в углу полушубок и на веревке, протянутой под потолком, две пары теплых валенок.

Больше, если не считать тяжелого, удушливого запаха да множества пятен на печке, образовавшихся от раздавленных пальцами клопов, ничего не было.

— Присядьте! — опять сказал монах и сам сел на край кровати.— Деньги-то вы мне сейчас, что ли, отдадите?.. Аль как?.. Давайте уж, а?..

Дядя Юфим и Малинкин сели на табуретки, а мы с Терехой опустились на пол.

— Да у вас есть ли деньги-то? — спросил монах, подозрительно оглядывая нас.— Вы, рабы божьи, того... Коли что,— прямо говорите.

— Об деньгах не сумлевайся, отец,— сказал дядя Юфим,— отдадим. Сейчас тебе, говоришь? Изволь! Ребята, я отдам за всех, опосля сочтемся...

Он достал кошелек и, отсчитав двенадцать копеек, подал монаху.

— Спаси вас Христос! — произнес тот, опуская деньги в карман подрясника, и опять, как давеча, с виноватой улыбкой добавил: — Табачишко весь вышел... что ты будешь делать! И не надо бы курить-то, а не отстанешь: привычка...

— А что, отец,— начал дядя Юфим,— как у вас здесь, косить не начинали?

— Нет... на той неделе, гляди, начнут... А что?

— Да мы было за этим боле шли,— ответил Юфим.— Ну, а каких делов не слыхать ли?..

— Мало ль делов у преподобного,— ответил монах.— А вы что ж, по какому делу?

— Да мы так... чернорабочие...

Монах помолчал, подумал и сказал:

— В роще работа есть: лес валят, дрова режут, доски пилят. Юхновцы работают две пары, пильщики продольные — шестеро...

— Работа для нас не сподручная,— сказал дядя Юфим,— у нас струменту нет... Дрова-то как режут, какие?

— Всякие: береза швырок... осина пятерик... Боле все осина.

— Ну, а цена как?

— Юхновцы на своих харчах, им и цена другая,— сказал монах.— Ну, а коли на наших харчах,— известно, скидка.

— А не слыхать, как цена-то? — опять спросил Юфим.

— Цена-то?.. Да как те сказать, не соврать,— цена настоящая: восемь гривен швырок березовый... рубль — пятерик, со шкуркой ежели, ну, а без шкурки, лупленый, тот дороже... тот рубль десять.. Ну, да эти самые юхновцы и работают здорово: сажени по три с лишком на пару выгоняют... Встают чем свет, бросают ночью... Здорово работают!..

— Струмент у них справный, налаженный,— сказал дядя Юфим,— опять сноровка... Нам противу их где же выстоять...

— Где же! — согласился монах и, помолчав, сказал: — Останьтесь, поработайте, а там покос, работа легкая... Ну, только цена — двугривенный...

— Ну, а какую нам цену, ежели дрова резать, положат? — спросил Юфим.— На здешних харчах?

— А уж это не знаю,— ответил монах,— у вас вишь и струменту нет... Вы по этому делу к отцу Зосиме толкнитесь: он у нас тут и покосом и по лесной части управляет... К нему завтра опосля ранней. Только вот что, рабы божьи,— улыбаясь, продолжал он,— вы ему половиночку того... суньте...

— Соль, значит! — усмехнулся дядя Юфим.— А где ж нам половинку-то взять?.. Завтра праздник, бежать далеча...

— Эва, — воскликнул монах.— У нас чего другого, а это добро не переводится... Я вам, коли хотите, обмозгую, у нас тут отец дьякон Владимир торгует... Сколько угодно! А то поутру бабы приносят... Мы привыкли... Коли не жалко, бутылку принесу... Мне бы, грешным делом, стакашек поднесли...

Дядя Юфим почесал в голове и, подумав, сказал:

— Накладно!..

— Друг об дружке, а бог обо всех,— сказал монах.— Я бы вам пригодился, коли останетесь... то, се,— мне доступно... Вот сейчас ужин: на странню, злой-то роте,— он кивнул на оконце-гляделку,— я чего дам?.. Кашица — крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой... есть порядочный человек не станет... Ну, а вам щец бы с трапезной сюда принес, кашки, кваску... Глядишь — и заправились бы.

— Так-то оно так,— согласился дядя Юфим и посмотрел на нас.— Ну, как, ребята, а?

— Как хочешь,— ответил Малинкин и махнул рукой.— Ты у нас вроде полковника. Ты и действуй.

— Ну, отец,— как тебя звать, не знаю,— ладно, быть по сему. Только ты, гляди, щей нам раздобудься... Признаться, поесть хотца... Ну, сыпь до горы, а в гору наймем.

Он засмеялся и, хлопнув монаха по плечу, добавил:

— Эх вы, отцы, отцы!..

XLVI

Отец Пимен (так звали монаха) немного погодя вышел из камеры кормить кашицей, как он выразился, «злую роту», а мы сквозь оконце-гляделку стали наблюдать эту сцену.

— Эй вы, рабы божьи! — закричал он своим тоненьким голоском на всю странню.— Ужинать!.. Проголодались, чай, поработамши-то, а? Садись за стол, кормить буду...

И, когда голодная толпа злой роты быстро расселась по скамейкам, он начал считать их, ударяя рукой по плечам и громко произнося: «раз! два! три!..»

— Двадцать шесть! — громко закончил он и, выйдя куда-то на минуту, принес с нарезанными заранее кусками (по-монастырски, «окрухами») корзину хлеба.

Набрав двадцать шесть квадратных кусков и положив их друг на дружку, он стал обходить столы, кидая куски и приговаривая:

— Держи!.. Эй, раб божий, держи!

Окончив это, он принес груду больших деревянных ложек и, швырнув на стол, сказал:

— Разбирайте!..

Злая рота, торопясь, наваливаясь друг на друга, расхватала ложки.

Отец Пимен опять сходил куда-то и, возвратившись с пятью большими деревянными чашками, отправился с ними к печке. Здесь, поставив их на пол, он открыл заслонку и с помощью большого с колесиками ухвата вытащил из печи на шесток чугун. Сделав это, он крикнул:

— Эй, рабы божьи!.. Идите сюда пять человек!

Из-за столов сорвалось пять человек и бросилось к нему. Взяв большую чумичку и разболтав ею предварительно в чугуне, монах стал наливать в чашку кашицу.

— Тащите... Пять человек на чашку,— крикнул он,— один лишний... Ну, на его долю прибавлю, ешьте!..

«Рабы божьи» поставили чашки на столы, сели сами, и видно было, как замелькали ложки... Послышалось чавканье, хрипенье...

— Жуть! — произнес Тереха-Воха.— Ровно волки на стерву... Да они б работали лучше...

— Наголодались,— сказал дядя Юфим и тихо, с грустью, добавил: — А все небось водочка... Станут они тебе

работать... Для них работа — нож острый... Ох-хо-хо! Учись, Терешка... Гляди, как люди живут... Помни: пить до дна — не видать добра!..

XLVII

Поужинав, некоторые из злой роты пошли куда-то из странни; оставшиеся стали располагаться спать. Отец Пимен убрал со столов и, заглянув к нам в каморку, сказал:

— Сидите?.. Ну, сидите, а я пойду вам поесть сгадаю... Скоро ко всенощной ударят. Пойдете?..

— Как же,— ответил дядя Юфим,— надо сходить... Я пойду...

Отец Пимен ушел. Мы остались одни, поджидая его возвращения и обсуждая свои делишки. Прошло с полчаса... Он все не шел... Ударили ко всенощной. Дядя Юфим перекрестился и сказал:

— Вот те и ужин. Что он там?.. За смертью его посылать!

— Подождем,— сказал Малинкин,— было бы чего ждать.

Подождали еще немного, и, наконец, о. Пимен пришел, неся с собой две больших чашки. В одной были щи, в другой каша и несколько штук соленых огурцов... Поставив это, он принес хлеба, которого могло бы хватить на десять человек.

— А я, рабы божьи, все насчет вас хлопочу,— сказал он, присев на кровать.— Отца Зосиму видел, говорил... насчет того намекнул... Он говорит: «ладно»... К отцу Владимиру забег... «Есть ли?» — спрашиваю. «Хоть облейся, говорит, приходи немного погодя...» Как бы не разобрали... Надо, коли что, поторопиться... Я бы сейчас и сбегал, а?

Дядя Юфим молча ел, делая вид, что эти слова к нему не относятся.

— А каша у вас добрая,— облизывая ложку, сказал он.— И щи хороши... Капуста-то своя?

— Своя! — резко ответил о. Пимен, точно отмахнувшись рукой от надоедливого комара.— Надо, коли уже брать, две половинки: одну, значит, отцу Зосиме, а другую нам.

— Нам не надо,— сказал Юфим,— чего уж тут лизать на пятерых половинку... Пей ты, отец...

Отец Пимен радостно, не умея скрыть улыбки, потер руки одна о другую, точно грея их, и воскликнул:

— Так я сбегаю!

— Много ль тебе денег-то? — спросил Юфим.

— Полтину.

— Эва! — воскликнул дядя Юфим...— Что дорого больно?..

— Раб божий! — жалобно как-то воскликнул о. Пимен.— Сам посуди: и ему, отцу Владимиру-то, нажить надо... Из чего ж и хлопотать?

Дядя Юфим, хмурясь, достал деньги и, отдавая их о. Пимену, сказал, обращаясь ко мне:

— Ты бы, Павлыч, записывал, куда что... А то как бы не забыть грешным делом... Опосля спору промеж нас не было бы...

— Не бойся! — сказал Малинкин.— Не забудем.

Получив деньги, о. Пимен торопливо вышел из каморки. Мы опять остались одни.

— Ладно ль, ребята, делаем? — спросил Юфим.— Как бы с ним греха не нажить...

Мы молчали.

— Ох-хо-хо! — продолжал старик.— Враг-то, видно, горами качает... Индо затрясся весь, увидал деньги... О, господи, батюшка, ко всенощной звонят, а мы человека на грех наводим..

— Не махонькой, чай, смыслит,— ответил Малинкин.

Немного погодя пришел, запыхавшись, о. Пимен и молча, радостно улыбаясь, поставил на стол две половинки, вынув их из карманов подрясника.

— Спасуду, как опорожнится, назад наказывал принесть,— сказал он.

— Дакась сюда! — сказал дядя Юфим, беря со стола одну половинку.— Терешка, спрячь, родной, к себе в сумку... Дело-то оно вернее будет.

Он передал половинку Терехе-Вохе и, перекрестившись на иконы и взяв картуз, сказал:

— Ну, я пойду в божий храм.

— Погоди, пойдем вместе,— сказал Малинкин.

— А вы, ребята, спать ложитесь,— сказал дядя Юфим, обращаясь к нам.— Мы не скоро.

Они вышли. Отец Пимен запер за ними дверь.

В каморке стало темнеть... Из странни доносилось храпенье... Отец Пимен зажег лампадку.

— Ложитесь, рабы божьи,— сказал он.

— И то лечь нешто,— ответил Тереха-Воха.— Павлыч, давай...

Он взял свою сумку, подложил ее под голову, перекрестился и, растянувшись на полу, почти сейчас же, по обыкновению, захрапел.

— А ты, раб божий? — спросил о. Пимен.

— А я погожу... Курить можно?

— Кури... кури... Ты кури, а я того... пропущу,— захихикал он, потирая руки.— А я пропущу! — повторил он радуясь.

Он взял половинку, сковырнул ногтем сургуч и, ударив ладонью по донышку, вышиб пробку... Пробка отлетела в угол.

— Пошла душа в рай, хвостиком завиляла! — сказал он и жадно начал пить прямо из горлышка.

— Душа меру знает,— сказал он затем, как-то ухнув и плюнув на пол, отрываясь от половинки.— Эва еще осталось,— добавил он, разглядывая ее на свет лампадки,— на заряд хватит... А ты, раб божий, потребляешь?.. Дакась курнуть,— протянул он ко мне руку,— закусить...

Я передал ему окурок. Он жадно, втягивая щеки, затянулся раза три и, передавая мне обратно, сказал:

— Заберет складнее!..

Он присел на край кровати, что-то думая или ожидая действия водки. Я положил свою сумку рядом с Терешкиной и лег навзничь, наблюдая за о. Пименом.

Он посидел немножко, соскочил с койки, открыл в столе ящик, достал оттуда огурец, чайную чашку, налил в нее из половинки немного водки и, зажмуря глаза, выпил.

— Спишь, раб божий? — спросил он, оглянувшись на меня.

— Нет... так лежу...

— А я еще выпью... останное... а?

— Захмелеешь, отец.

Он ничего не ответил и молча допил из половинки последки.

— Все... вот и все! — грустно произнес он и сел на кровать.— Все! — повторил он.

Он поднес половинку ко рту и, запрокинув голову, допил несколько оставшихся капель...

— Теперь полежать не грех,— сказал он и растянулся во весь рост на своей убогой постели.— А у нас, раб божий,— заговорил он, вдруг приподнявшись,— какой тут недавно случай произошел... не слыхал, а? С отцом Кондратьем-то...

— Нет, не слыхал... А какой?

— О-о-о,— затряс он головой.— Ужасть! Прислали к нам в обитель из... (он сказал — откуда) монаха на выдержку... Часто к нам присылают... Молодой монах, видный... Тамотка-то он ишь гулял шибко... ишь полюбовница у него была... Место там, знаешь, раб божий, какое,— вольное, доходное... постоянно деньга. Ну, а у нас насчет этого плохо: коли своих нет,— взять негде. Опять насчет харчей: какие здесь противу тамошних харчи? Ну, и затосковал малый... А еще пуще, слышь, об полюбовнице убивался... Молчит, бывало... спросишь,— молчит. Стука́ный какой-то, ей-богу... Вот раз, что же, раб божий: заперся взял в келье да себе по горлу ножом... А уж за ним поглядывали: игумен ишь велел... Ладно, увидали... Ну, сполох пошел... К двери, а дверь здоровая, не выломаешь... К окну опять, а в окне решетка железная... во какие пруты!.. А он... Кондратий-то... отошел в угол, пилюкает себе глотку. Ножик-то ишь тупой,— не перепилюкает никак... Просунули в решетку, в окно-то, кочергу, зацепить его как-нибудь норовят — не достанешь! Пилюкал, пилюкал, перепилюкал-таки, а все жив... Бросил ножик да, понимаешь, раб божий, взял вот эдак пальцами сам себе глотку-то и перервал... Ну, тут и свалился... готов!.. Выломали дверь, глядят: помер!.. А крови-то, аки из барана, аки из барана!.. Ужасть!

Он замолчал и сел на кровати, спустив ноги.

— А то повесился еще один,— опять заговорил он,— в лесу нашли... висит на суку... посинел весь... А крест с себя снял, положил на землю... С крестом-то ишь не удавишься. *Он* боится креста-то... Грехи, раб божий!..

Он опять замолчал... В каморке стало совсем темно... Лампадка чуть-чуть мерцала. На странне, за перегородкой, кто-то громко разговаривал, часто повторяя: «А я ему, черту, и говорю... а я ему, черту, и говорю».

— Раб божий, а ты откеда?.. Какой губернии, а? — нарушил молчание о. Пимен.

— Здешний,— ответил я.

— А я тверской, из карелов я. У нас тут много из ка-

релов. Уж я здесь второй раз, в обители-то... Да, второй! — повторил он, как будто ожидая, что я скажу на это. И видя, что я молчу, продолжал: — Ушел, да пришел... Куда ж мне больше идти, сам посуди, раб божий, а? Куда, коли мне деваться некуда... Я и пришел... Сказано: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы». Я и пришел... Взяли опять, ничего... игумен взял... У нас игумен ха-а-роший, простец!.. Что ты думаешь, раб божий: допрежь, говорят, в молодых годах он пильщик продольный был... Как господь-то возвеличил... Стало быть, богу угодно... достоин... Мы вот недостойны, где нам, грешны мы... Батюшки, сколько грехов-то!.. Аки орехов на орешине... Ужасть!.. А нищих как любит игумен-то наш,— страсть!.. Умирает за них... Чтоб ежели, спаси бог, узнает, не накормить — распалит! Меня сюда на страннюю ставил на послушанье и говорит: «Пимен, говорит, помни одно: «Блажен, разумеваяй на нища и убога, в день лют избавит его господь...»

— А ты, отец, давно здесь, на странне-то?

— Да вот уже четвертый год пошел...

— Насмотрелся, чай, на людей?

— О-о, раб божий, как насмотрелся-то!.. Все-то одно, все-то одно каждый день! Голодные, холодные, грязные, больные... Ужасть!.. Сам с ними обовшивел...

— Надоело?

— Терплю... терплю, раб божий... А тяжко ино... Ох-хо-хо!.. Ропщу... ругаюсь... Вот выпьешь водочки — отляжет...

— Ну, а прежде на каком послушанье был?

— А всякие послушания: в квасной бочки мыл... на конюшне был, дрова резал, воду качал... на прачечной белье стирал, на угольнице уголь жег... да мало ли!..

— Что ж ушел, зачем?

— Соскучился! Тоска напала... Враг, известно! Напала тоска,— места не найду! Взял да и ушел... Поболе года на воле шатался... На родине был... только там мне, вижу, делать нечего... По монастырям ходил, богу молился... Пришел опять сюда: здесь уж, видно, и помирать буду...

Он замолчал и потом, после долгого молчания, спросил вдруг:

— Раб божий, а ты женат аль холост?

— Женат.

— А дети-то есть ли?

— Есть.

— Сыновья, что ли?
— Есть и сын.
— Махонький?
— Да.

Он вдруг спрыгнул с койки и, сев рядом со мной на полу и наклонившись ко мне, шепотом заговорил:

— Раб божий, не сердись, по душам я тебе скажу: береги ты сынка... Учи паче всего божьему слову... Сказано: что посеешь, то и пожнешь... Паче всего бойся ругаться при нем матерно, пьяный беги прочь... не бей... все по-хорошему, все по-хорошему делай... чтобы видел он, каков ты человек есть... Вырастет — почитать будет... Слова от него не услышишь супротивного... Помни — сам Христос батюшка сказал: «Пустите детей приходить ко мне»... С ребенком что хошь сделать можно... Ангельская душка — аки воск мягкий... Сам господь батюшка на своих пречистых руках ее держит.

— Ох, раб божий,— тяжело вздохнув, продолжал он прерывающимся голосом,— кабы ты знал, каку я маяту-муку через детей принял!.. А кто виноват? Сам, пес смердящий... Понял это вот теперича, на краю могилы... Понял, раб божий, да поздно... Вот он, локоть-то, а укуси-ка, попробуй... Нет, не укусишь!.. Нешто мне здесь жить-то надо? Два сына, а спроси: где? В злой роте, вот где!.. Я из них господа изгнал, а дьявола вселил... Воры они теперича, мошенники... В те поры, когда махоньки были, что я делал?.. Господи батюшка, ужас! Бывало, напьюсь пьяный, приду домой и давай бушевать... Жена покойница побелеет, словно береста... а я матерно... тьфу!.. С топором, с ножом бегал... Ну, а они-то видят, все это им в память входит... Их бил, страсть как бил... Да все по-черному... Где бы приласкать, пожалеть, а я рычу... Боялись меня пуще огня... А тут мать померла, один с ними остался... полюбовницу себе завел, шкуреху-канарейку... А они уже понимать стали... Да что уж!

Дале да боле, дале да боле... Выросли ребята... Ну, тут и пошло! Я слово — мне десять... Я бить — они меня! Известно, вошли в года... В солдаты одного взяли, другой остался. Пить начал, из дому тащить... Я туды-сюды — нет, шалишь!.. Дело пропало, шабаш!.. Отслужил другой, пришел домой... пошло еще хуже! Я так, они эдак. В воровство ударились... Били их мужики раз, страсть как!.. Женить хотел — не идет никакая... Отбились совсем.

А мне только и названья: «Собака проклятая». Вижу — дело мое пропащее... «Уходите, говорю, с глаз моих долой, а я продам избу, тоже уйду...» — «Нет, говорят, старый пес, нам долю давай...» — «Кака ваша доля?» — «Така!» — говорят. «Нет вашей доли, все мы с матерью наживали... все мое...» — «Ты, говорят, собака, ее в могилу вогнал... На кой ты нам... Давай, да и все, уйдем мы...» Я было на мир, а мир и рад: «Пущай идут. Дери их дером и с тобой-то вместе»... Ну, и того, раб божий, пошло все прахом.

Он замолчал и долго сидел молча, тяжело дыша и сопя носом.

— Раб божий,— зашептал он опять и ощупал меня руками,— а, раб божий!.. Что я тебе скажу?

— Что?

— Дай мне на шкалик, а? Христом богом прошу, а? Я заслужу...

— Запьянеешь? — сказал я.

— Ничего... дай, а? Дашь?

— Да где ж ты добудешь теперь?

— У Владимира... уж я добуду... раб божий... родной! — Он вдруг встал на коленки и, наклонившись, поцеловал меня.— Дай! Дай, Христа ради! — Он захлюпал.— За-а-а-служу я тебе... пожалей... Ты добудешь... Бог те за это впятеро невидимо пошлет... Дай!..

Он ползал на коленках, хватая меня руками и хлюпая.

— Спаси Христос! Спаси Христос! — залепетал он, получив от меня пятнадцать копеек.— Спаси Христос! Родной ты мой... не пожалел, дал... Деньги — тлен... Душу спасай... душу... душу...

— Душу! — повторил он еще раз уже за дверью, и мне слышно было, как он, топая большими сапогами, шел по странне к выходной двери.

XLVIII

Отец Зосима, к которому мы на другой день утром направились, поджидал нас (о. Пимен предупредил его), сидя на ступеньках крылечка у входа в кельи, где жили монахи.

Человек этот был маленького роста, кряжистый, похожий на корявый обрубок карельской березы (о. Зосима тоже был из карел), с длинной, клинообразной бородой,

с щетинистыми, как у николаевского солдата, усами, с лицом, похожим на старинный пятак, с маленькими глазками, над которыми нависли седые длинные брови, придававшие лицу о. Зосимы вместе и смешной и суровый вид.

Он еще издали увидал нас, но зачем-то начал усердно ковырять палочкой в песке, делая вид, что не замечает нас.

Около его ног бродили голуби... Солнышко ярко освещало и его, и его длинную белую бороду, и голубей, и растущие около душистые тополя, и все крыльцо, где он сидел...

Подойдя, мы остановились и поздоровались.

Он поднял голову, посмотрел на нас как-то смешно, желая, вероятно, показать свою важность, нахмурился, отчего его глазки стали еще меньше, и сказал:

— Вы что, рабы божьи?

— Да вот, отец, к твоей милости,— ответил дядя Юфим,— насчет, значит, работенки. Сказывали нам: дровишки резать... Аль там косить мы можем... Мы...

— Сказывали! — перебил его, передразнив, о. Зосима.— Кто сказывал?.. Никто не знает... Я хозяин! — вдруг ткнув себя пальцем в грудь, важно надувшись, произнес он и, глядя на нас и хмуря брови, еще раз сказал: — Я хозяин.

— Вот мы к вашей милости и пришли,— сказал дядя Юфим, переходя с «ты» на «вы»,— нас к вашей, отец, милости и наладили.

— Кто наладил? Никто не может наладить... Я хозяин. А пачпорта при вас? — еще больше надуваясь, спросил он.

— Вид при нас,— ответил дядя Юфим.

— Да вы можете ль работать-то, а? Может, вы только монастырскую кашу умеете есть?..

— Ну, вот,— усмехнулся дядя Юфим,— чай, мы не господа... мы крестьяне... дарма хлеб не едим.— И, немного помолчав и сделав на своем лице какую-то смешную улыбку, тихо добавил: — Мы вашей милости гостинчик принесли, не обессудьте... вот...

Он запустил руку в карман и осторожно, оглянувшись по сторонам, вытащил половинку и сейчас же снова спрятал ее.

Отец Зосима широко улыбнулся, причем вся его суровость сразу пропала и лицо точно расцвело.

— Ну,— сказал он, поднимаясь с места,— пойдемте в келью... пачпорта отберу у вас.

Он взошел на крыльцо и, отворив дверь, сказал:

— Идите!

Мы вошли в какой-то полутемный длинный коридор, в котором пахло чем-то похожим на запах испорченной кислой капусты, и пошли по этому коридору вслед за о. Зосимой в самый дальний конец.

В коридоре было мертвенно тихо, сыро и как-то жутко; точно в гостинице, по бокам были двери, ведущие в кельи...

В конце коридора, у самой крайней двери, о. Зосима остановился и, достав из кармана большой ключ, сунул его в замок и повернул... Раздался гулкий, звенящий звук. Отец Зосима толкнул дверь и, пропустив сперва нас, вошел сам, захлопнул за собой дверь и запер ее.

Келья, куда мы вошли, была узенькая, аршина два с половиной в ширину и аршин шесть в длину, с сводчатым потолком, похожая на склеп, куда ставят мертвецов. Налево от двери помещалась изразцовая печь с узенькой, аршина в три, лежанкой. Кровати в келье не было, и поэтому можно было предположить, что о. Зосима спал на этой лежанке и зиму и лето.

Небольшое окно с решеткой, сделанное в толстой, аршина в два, стене, выходило за монастырскую ограду, и сквозь него видны были речка, поле, синева неба...

В переднем углу висели иконы, под ними — столик с книгами, шкафчик, табуретка.

Отец Зосима пододвинул к столу табуретку и сел на нее. Мы все четверо стояли около двери... Водворилось какое-то неловкое молчание... Наконец, о. Зосима, достав из кармана берестовую тавлинку и понюхав из нее табачку, сказал:

— Та-а-ак, значит! — И, помолчав, опять протянул: — Та-а-ак!..

Стоявший впереди нас дядя Юфим торопливо достал половинку и молча поставил ее на стол перед о. Зосимой. Отец Зосима мотнул головой, взял ее, посмотрел на свет, встряхнул и вымолвил:

— Казенка пошла... Доходная статья, и вино много лучше. А где брали-то?

— Ваша, здешняя, в обители брали,— ответил дядя Юфим.

— Та-а-ак! — Отец Зосима, потянувшись через стол, снял с гвоздика висевшие на нем ножницы.— Та-а-ак,—

повторил он опять, отковыривая ножницами сургуч.— Дорога здесь-то... четвертак небось, а?..

Мы промолчали.

— Ну, я попробую,— продолжал он, выковыривая этими же ножницами пробку.— Не знаю, закусить-то у меня есть ли?

Он отворил шкафчик и, нагнувшись, стал там шарить.

— Нету,— сказал он, ставя на стол чайную чашку.— Нечем закусить... Ну, я так... языком... А, рабы божьи, языком?..

Он потихоньку захихикал, завторили ему и мы.

— Кушай, отец! — сказал дядя Юфим, снова переходя на «ты».— Кушай на здоровье... А там и потолкуем.

— Чего толковать, толковать нечего... работайте! — сказал о. Зосима, выпивая водки.— Я хозяин...

— У нас, отец, вишь ты какое дело... струменту-то своего нет.

— Гм! Как же это вы... без струменту? — принимая опять такой же важно надутый вид, как и давеча на крылечке, спросил о. Зосима.

— Да мы, признаться, на местах жили... в имении одном, в рабочих. Ну, взяли расчет, ушли. Откеда ж у нас струменту быть?.. Ходим вот пока что, работенки ищем... где кака придется... Мы, признаться, шли сюда, думали на покос попасть, ан дело-то, вишь ты: косить-то не начинали... Сказывают, на той недели начнут.

— Сказывают! — рассердившись, опять передразнил его о. Зосима.— Кто сказывает?.. Никто ничего не знает... Я хозяин!..

— Да я так,— спохватился Юфим.

— То-то, так... Я хозяин!..

Он вылил в чашку остатки и допил все.

— Ну, а каку же ты, отец, цену положишь?..— спросил дядя Юфим.

— Не обижу.

— Ну, а все-таки?

— Да каку цену?.. У меня вон работают юхновцы... Им цена настоящая: у них и струмент и все... Они привыкши, харч у них свой... Где вам до них! Вы вот что, ребята, я вам скажу: беритесь поденно. По тридцать монет дам... Ну, известно, харчи наши, фатера, струмент дам... Струмент, надо правду говорить,— неважный, много

им не наделаешь... Ну, а вот ежели поденно, таковский. Пили да пили...

Дядя Юфим почесал затылок.

— Возьмись поденно, а ты, отец, и будешь над душой стоять, не отойдешь... За тридцать-то копеек заездишь!..

— Эва сказал! — воскликнул о. Зосима.— Буду я над душой стоять!.. Да я в лес-то в неделю раз хожу... Я, друг, не люблю эдак... Я на совесть... У меня этого нет, чтобы, значит, человека изводить... У преподобного на всех хватит.

— Как же, ребята, скажете? — обернулся к нам дядя Юфим.— Думайте, как лучше.

— Думай не думай... оставаться надо,— ответил Малинкин.— Глухое время, куда денешься.

— Ну, вот и ладно,— ответил о. Зосима, поднимаясь с места,— ступайте в рабочую покеда, на конный двор... К обеду позвонят, обедать на трапезну приходите... Я приду ужо, струмент принесу... Ноне праздник... работать грех. Завтра поутру поставлю вас... Идите со Христом... За водку спасибо, утешенье мне, старику... Спаси Христос!

XLIX

Рабочая, куда мы пришли по указанию о. Зосимы, была большая, с низким черным потолком, мрачная, загаженная комната. Около стен, как и на странне, были настроены нары. В переднем углу стоял стол и скамейки. Четыре небольших окна за двойными рамами, очевидно никогда не выставлявшимися, глядели во двор.

В рабочей был народ: шесть человек продольных пильщиков и трое постоянных, месячных монастырских рабочих. Эти последние, почти старики, жили здесь, получая летом пять рублей, а зимой три на готовых харчах.

Пильщики в грязных рубашках с открытыми воротами (в рабочей было жарко) сидели за столом и допивали водку из третьей бутылки (две стояли уже пустые), шумно о чем-то разговаривая.

Монастырские рабочие с сердитыми лицами лежали на нарах и курили трубку, молча передавая ее один другому и громко харкая куда попало.

— Приятного аппетита! — сказал дядя Юфим, поклонившись пильщикам и помолившись на картинку, висев-

шую в углу над столом, на которой был изображен старец, кормящий из рук огромного во всю картинку медведя.— Мир вашей компании...

— Садись,— ответил ему на это один из пильщиков,— гость будешь... Вина купишь — хозяином будешь... Что скажете? Зачем?

— Дядя Юфим объяснил, зачем мы пришли.

— Чудно! — воскликнул один из пильщиков, выслушав его.— Много ль добудете-то?.. Из-за хлеба на квас! Хуже-то не нашли...

— Да мы временно, пока, значит, время глухое, а там уйдем,— пояснил Юфим.

— Здесь, друг, тоже даром кашей не кормят,— опять сказал пильщик.— Ты думаешь, даром тридцать-то монет дадут? Как же! Здесь, брат, народ аховый, садись да помахивай... Ты не гляди, что он монах, он те доедет!.. Мы здесь котору весну работаем! Не дальние, знаем все порядки... Вот дай дело к расчету — жмут: скидку, то, се... Чай, небось уж водочки-то поднесли хозяину-то?

— Какому хозяину?

— А Зосиме-то?..— засмеявшись, ответил пильщик.— У него ведь первое слово: «Я хозяин».

— Любит выпить,— сказал другой.

— Никто не откинет! — проворчал с нар рабочий.— Все — не пролей капельки!..

L

Вскоре после обедни раздался звонок на обед. Мы отправились вслед за потянувшимися со всех сторон монахами по направлению к трапезной, расположенной в самой отдаленной части монастыря. Огромный, узкий зал, заставленный длинными столами, с расписными потолком и стенами, с каким-то особенным, монастырским запахом, быстро наполнялся монахами. Все ждали игумена. Наконец, он явился. Это был замечательно красивый старик, с огромной седой бородой, румяный и бодрый... Как-то особенно энергично шагая, он прошел между расступившимися монахами вперед и остановился перед большим киотом с образами.

Монахи пропели молитву и, не торопясь, чинно разместились за столами. Около аналойчика встал небольшого роста, белый как лунь старичок и начал читать что-то,

чего нельзя было понять, ибо старичок гнусавил и спотыкался на каждом слове. Несколько молодых послушников отправились на кухню за кушаньем.

Все столы были покрыты белыми из грубого, толстого холста скатертями, и только наш, «рабочий», не был ничем прикрыт и лоснился, точно лакированный... От него пахло постным маслом... На столе стоял в трех местах, посредине и по бокам, квас в жестяных пузатых жбанчиках и лежали небольшие жестяные ковшики.

Черного хлеба, нарезанного квадратными кусками, хватило бы, кроме нас, еще человек на пять. Хлеб лежал по столу стопками местах в шести...

Вскоре, осторожно ступая, гуськом, друг за другом стали выходить послушники, неся в руках небольшие деревянные чашки... Чашки эти расставили по столам, начиная по порядку от игумена.

Игумен позвонил, и «братия» принялась за еду. Ели молча, тихо, не торопясь... Слышалось только чавканье, легкий стук ложек да монотонное, непонятное бормотание старца, читавшего что-то из жития святых.

Когда чашки опорожнились, игумен, подождав немного и видя, что уже никто не ест, позвонил снова. Послушники вскочили и отправились на кухню за второй переменой. Наши пильщики последовали за ними.

В это время дверь вдруг тихонько отворилась, и в трапезную робко, как-то боком, почти крадучись, вошел молодой монах с черной клинообразной бородой.

Войдя, он остановился и начал молиться, широко и размашисто крестясь. Потом низко, в пояс, поклонившись на три стороны, подошел к нашему столу и сел с краю, рядом с Терешкой и со мной.

Я с удивлением заметил, что голова у него была начисто острижена. Приглядевшись внимательнее, я увидал, что по этой бритой голове ползают белые насекомые, и почувствовал, как холодок пошел у меня по спине... Пильщики нахмурились, но делали вид, что ничего не замечают... Я посмотрел еще. Монашек вдруг полуобернулся в мою сторону и, поймав мой взгляд, улыбнулся какой-то необыкновенно жалкой, испуганной улыбкой...

Он наклонился и сидел, вертя в руках ложку, но не прикасаясь к еде.

— Отец Иван,— шепотом через стол сказал старый пильщик,— хлебай, родной... не бойся... мы ничего...

Монах поднял голову, посмотрел на него и, опять так же жалобно улыбнувшись, начал хлебать...

Игумен позвонил... Послушники принесли третью перемену. Мы принялись за еду, а монах почему-то опять только играл ложкой...

— Ешь, отец Иван,— снова шепотом сказал старый пильщик,— ешь, ешь, не робей!..

Монах опять виновато улыбнулся и принялся за еду...

После обильного обеда монахи пропели молитву и, пропустив вперед игумена, стали выходить из трапезной... Мы вместе с сидевшим за нашим столом монахом вышли последними.

— Заходи, отец Иван, посидеть в рабочую,— сказал старый пильщик, выйдя из трапезной,— заходи, не бойся!

— Спаси Христос! Спаси Христос! — несколько раз с улыбкой произнес монах и вдруг, как-то согнувшись, торопливо пошел от нас в противоположную сторону.

— Мускоротно с ним за столом-то сидеть,— сказал один из пильщиков,— кусок в глотку не идет... ей-богу... К себе небось не сажают.

— Что за монах этот? — спросил я у старого пильщика.

— Э, брат ты мой! — воскликнул он.— Иов многострадальный!.. Истинный господь жалость на него смотреть... Говорят, ишь зачитался, библию все читал... Читал, читал, да, видно, ум за разум зашел, свихнулся вроде... Мать, слышь ты, к нему издалеча приезжала... Вчуже я в те поры, парень, наплакался... Привела она его на странню, посадила на скамью... А он нестриженый был... волосишки долгие, да свалялись все комом, а в кому-то, веришь ли богу, несосветимая сила вшей. Кишмя-кишат! Увидала она это, как взвоет — так и покатилась... Страсть! Добыла ножницы, вывела на двор, давай стричь, как барана... Народ собрался, глядят все... Злая рота смеется. Остригла баба, глядь — голова-то местах эдак в пяти до кости проедена. «Батюшки, кричит, сынок!» То, се, сама разливается, плачет... Известно, материнское сердце: жалко... Я мужик вот, чужой, да и то жалко... Ну, хорошо... Мыть это она ему голову стала... Справила малого, пожила с неделю, ушла... В ногах валялась у игумена-то... просила не оставлять... братию просила... Только вот дивное, парень, дело; не выходит из него нечисть эта самая! Вымоют, белье чистое наденут, хвать, на другой день

опять... Говорят старые люди: от думы это, да ежели сердцем горяч. Кто его знает, что за человек... Его, вон, обижают, а он скажет только: «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся...», да и отойдет прочь... Мать-то сказывала: охотой ишь ушел в монастырь-то. С малости чудной был, тихой, да все думал про себя... Умница, сказывает, был, жалостливый: курицу начнут резать, а он в слезы и убежит... Грамоте хорошо, сказывают, знает... Озорничают тут над ним послушники: ребята молодые, гладкие, кой им пес!.. Народ, друг, здесь тоже ох-хо-хо! Греха-то конца краю нет... Чего им!.. Жизнь вольная... Харч хороший... Их бы вот под пилу: узнали бы, на чем свинья хвост носит!..

Старый рабочий замолчал, свернул покурить, отошел от меня и лег на нары.

LI

К вечеру, после ужина, пришел о. Зосима и принес струмент: две пилы, два топора, два колуна. Пилы были ржавые, давным-давно не точенные и не разводившиеся...

— Ох, отец,— сказал дядя Юфим,— уж и струмент же у тебя... Ох-хо-хо!.. Ты бы хоть подпилок дал да разводку... Я, може, пилы-то наладил бы.

— Подпилок! Что еще выдумал... Он сколько стоит-то? Три гривенника. А ты его сразу изгадишь... Сойдет и эдак: по барину и говядина...

— Да нам все едино... Смотри только, не взыскивай работу. На чиненом, отец, коне далече не уедешь...

— Я хозяин! Мое дело... Ты, раб божий, я гляжу, пустословить любишь... А ты вот что: дают — бери, бьют — беги... не пустословь!.. Не люблю: я хозяин! Завтра утречком поране я вас поставлю... Пилюкайте да пилюкайте...

Он ушел... Дядя Юфим повертел в руках струмент, разглядывая его, покачал головой и сказал:

— И ладно, ребята, мы сделали, что поденно взялись... Зарез бы нам был... Эва топоры-то: тесто рубить!..

Утром, до восхода солнца, о. Зосима разбудил нас и повел в лес на работу. Идти пришлось довольно далеко,— версты за три, по плохой дороге... Отец Зосима, повидимому, был не в духе: он шел впереди и всю дорогу молчал.

Лес, куда он привел нас на работу, был смешанный: ельник, осинник, береза... Преобладал, впрочем, осинник.

Высокие, прямые, «взводистые», как говорил дядя Юфим, до самой макушки голые осины достигали огромной вышины. Между ними было много сухих, стоявших еще на корню, и много на земле, сгнивших или начинавших гнить. Тут же валялось много хвороста, росла сочная, мягкая трава, и было сыро. Наверху шуршало и шумело море листьев. Со всех сторон доносилось разнообразное чириканье птичек...

— Вы, рабы божьи, коли пойдет ветер, остерегайтесь,— сказал о. Зосима,— спаси бог, лес валится здесь здорово... Коли увидите, силен ветер — бросайте работу... Убьет... Тут вон вишь сушняку сколько... на чем держится только... пхни рукой — упадет... особливо как место очистите... они друг дружку держат. Режьте на подряд, а кладка порознь... Осина к осине, береза к березе... На швырок режьте... ну, елки, известно, на бревна пойдут... Сушилку тоже в дровишки... Мерка три четверти плаха... Кладка обыкновенная, рощинская.

— Ладно,— сказал дядя Юфим и спросил: — А как класть?..

— Все едино... кладите, как вам способнее: полсаженками, четвертками, восьмушками... все едино! Приступайте со Христом.

Мы разделились на две пары: Тереха-Воха с Малинкиным, дядя Юфим со мной, и, разойдясь, по указанию о. Зосимы, в разные стороны, принялись за работу.

Отец Зосима, постояв немного, посмотрел и ушел, сказав нам:

— Ну, Христос с вами, пилюкайте!.. Потрудитесь для преподобного... Увидите, солнце на полудни встанет — бросайте... Обедать приходите...

Работать тупыми пилами было тяжело. Мы скоро запыхались и облились потом... Пилили, став на коленки, под самый корень.

Высокие, взводистые осины падали с треском и шумом, ударяясь о землю с такой силой, что каждый раз, в особенности у сухих, отскакивала, точно срубленная топором, макушка или же от силы удара дерево ломалось пополам.

Свалив дерево и приступив к другому, дядя Юфим измерял его снизу доверху глазами и каждый раз говорил:

— Эва махина, аршин восемнадцать! Ну, Павлыч, господи благослови!..

Работа была очень трудна, в особенности, когда осина «зажимала»...

— Тьфу, окаянная! — сердился дядя Юфим.— Зажала... чтоб те издохнуть!..

Приходилось с трудом вытаскивать пилу и начинать отрез с другой стороны.

Случалось, что спиленное с корня дерево не падало, а запутывалось вершиной там где-то, наверху, останавливаясь в наклонном положении; тогда, крикнув Терешку и Малинкина, мы все четверо брались за комель и оттаскивали его в сторону до тех пор, пока не освобождалась вершина и дерево, ломая сучья, грохалось об землю.

— Ух! — раздавался глухой удар, и эхо где-то в стороне тихо повторяло: — Ух...

— Трудно, матушка,— говорил дядя Юфим,— трудно!

Свалив по нескольку штук деревьев, мы, усталые, мокрые от пота, сошлись все четверо и сделали продолжительную залогу. Сидели, долго курили и разговаривали...

Отдыхать в лесу было славно. Над нами вверху, не смолкая, шумели беспокойные осины... По сторонам чирикали птички, где-то куковала кукушка. Лучи солнца, пробиваясь сквозь частую сетку ветвей и листьев, падали пятнами, играя по зеленому мху.

— Потрудимся для преподобного,— сказал дядя Юфим, поднимаясь.— Авось зачтется... начинай, ребята!..

Мы опять разошлись и начали пилить сваленные деревья в дрова. Это дело оказалось еще труднее.

Отпилив кое-как первую, самую толстую плаху («стул», как говорил дядя Юфим) и посрубив с дерева топорами сучья, мы брались за комель и взваливали дерево на стул так, чтобы толстый конец, аршина на два выдвигаясь вперед, свешивался книзу и во время пилки не зажимал пилы.

Покончив кое-как с этим делом и отдохнув, я колуном начал раскалывать чураки надвое, а дядя Юфим стал складывать их в четвертку. За этим делом мы провозились долго, и солнце стояло уже высоко.

— Время обедать,— крикнул дядя Юфим: — О-о-п!

— Оп! — откликнулся Малинкин.

Мы попрятали «струмент» в кусты и отправились в монастырь. Монахи уже отобедали, и высокий, худой, грязный повар о. Савелий, сердясь, собрал нам отдельно.

— Вы, рабы божьи, не опаздывайте,— сказал он.— Мне тоже небось отдохнуть надо. Я двух часов не присяду... Чего так больно усердствуете, аль заслужить думаете? Здесь не заслужишь... А работа дураков любит... Вы вот что: как ударят к достойной, так и бросайте; здесь порядок такой... А по вечеру зазвонят к вечерне,— опять бросайте. А то и собирать не стану... Ну вас к ляду! Лошадь я всамделе, что ли?..

Пообедав, мы отправились в рабочую. Пильщики тоже уже отобедали и лежали на нарах — отдыхали. Нас они встретили с усмешкой.

— Много ль напилюкали, отцы? — спросил старший.— Восьму вчетвером-то выставили, а?..

Дядя Юфим молча махнул рукой и полез на нары...

Пильщики засмеялись.

LII

Прошла неделя. Мы привыкли к монастырю, освоились с порядками, пригляделись к монахам, хорошо узнали о. Зосиму, который только любил напускать на себя строгость и кричать ни к селу ни к городу: «я хозяин!» — а в сущности был добрейший человек.

В рощу мы ходили каждый день и, по совести сказать, больше залоговали, чем работали... Совет повара о. Савелия: «Как ударят к достойной,— бросайте» и «по вечеру звонят к вечерне,— опять бросайте»,— мы приняли близко к сердцу...

Такая жизнь очень нравилась Терехе-Вохе. Он несколько раз говорил мне:

— Малина, Павлыч, а не житье — жисть здешняя... Истинный господь! Харчи — помирать не надо... Квас — сусло, работа легкая... Не ушел бы отседа!..

Нас навещал по вечерам о. Пимен. Он, как оказалось, был страстный рыболов и как-то раз пригласил меня идти на ночь ловить рыбу. Я согласился и с тех пор стал ходить с ним почти каждую ночь.

Собравшись с вечера, забрав снасти, мы уходили из монастыря версты за три, на реку. Придя на место, закидывали удочки и молча сидели на берегу. Ночи были тихие, звездные, прекрасные. С низких мест, с болот, где стояли всю ночь похожие на дым туманы, неслось неумолкаемое кваканье лягушек, блеяние бекасов, жалобное

уханье выпи. Лишь только на землю спускалась ночь и небо становилось темносиним, в воздухе являлись странные звуки; тихие, жалобно-непонятные, они рождались сами собой, то усиливаясь, то смолкая, то сливаясь в одну странную мелодию, наводившую на душу приятно-сладкую жуть. Они рождались, замирали, таяли и снова оживали в таинственной прелести ночи.

К полночи, когда рыба переставала брать, мы разводили небольшой огонек и ложились навзничь, подложив под себя широкий старый подрясник о. Пимена, захваченный нарочно с этой целью.

Мы лежали и смотрели кверху. Прямо над нами сияло усеянное звездами небо. Звезды мигали, гасли, падали и манили к себе.

Какая-то тихая, непонятная грусть наполняла душу... Хотелось не быть человеком, хотелось иметь крылья... Хотелось забыть все, подняться от земли высоко-высоко и потонуть навсегда там, где бродят эти тихо мигающие, прекрасные, манящие к себе своей таинственной прелестью звезды.

Мы редко говорили, но о. Пимен часто пел тоненьким голоском. Пел он грустные вещи, и в его пении мне слышались слезы и безысходная тоска.

«В путь узкий ходшии прискорбный,— тоненьким голоском необыкновенно грустно выводил он,— все в житии крест яко ярем вземшии, и мне последовавшии верою, приидите насладитеся, их же уготовах вам,— почестей и венцов небесных!»

И помолчав, еще с большею тоской начинал другое:

«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу божию созданную, нашу красоту безобразну и бесславну, не имущу вида» и т. д.

Перед восходом солнца, когда ярко разгоралась заря и начинали петь птицы, когда листья на прибрежных кустах, и травы, и цветы блестели, покрытые росой, мы шли обратно в обитель и там пили в каморке о. Пимена из грязного самоварчика чай или сушеную землянику.

Напившись, я шел через двор, где было тихо и бродили только что проснувшиеся куры, в рабочую и будил товарищей. Они лениво поднимались, долго зевали, умывались, крестились на образа и, наконец, после долгого «разламыванья», отправлялись в рощу, на работу.

LIII

Подошло таким образом время покоса. Дни стояли прекрасные, солнечные, жаркие, самые благодатные для этого дела. На заливном лугу перед монастырем трава стояла по пояс, с густым, плотным подседом.

Как-то раз поздно вечером, когда мы уже легли на нары, пришел о. Зосима и объявил нам, что наша работа в лесу кончена.

— Косить завтра поутру,— сказал он,— давайте струмент.

Мы сдали ему топоры, пилы и, очень довольные, снова улеглись спать.

— Еще, ребята, недельку аль полторы живанем здесь, да и того... на настоящую добычу! — сказал дядя Юфим.— Пора!

Утром о. Зосима позаботился разбудить нас, когда еще чуть-чуть начинало брезжить. Он принес нам новые, повидимому только что накануне отбитые косы и брусочницы с зеркальцами, в которых торчали тоже совсем еще новые бруски.

Осмотрев косы и перевязав ручки, мы отправились за о. Зосимой к «святым воротам». Здесь мы услышали по ту сторону стены разговор и топанье: это шли косцы. Калитка отворилась настежь, и в нее, друг за другом, стали выходить послушники с косами в руках. Их было человек двадцать пять, народ все молодой, здоровый, сытый... Одеты были все одинаково: в белые длинные подрясники-балахоны. На головах были черного цвета шапочки, по форме похожие на поповские камилавки. На ногах опорки на босу ногу. Каждый был подпоясан кто узеньким ремешком, кто веревочкой, и на этих ремешках и веревочках висели жестяные брусочницы, тоже с зеркальцами, как и у нас.

Отец Зосима, успевший уже, повидимому, «клюнуть», с покрасневшим носом, необыкновенно серьезный и растопырившийся, как индейский петух, повел нас на луг.

С реки поднимался белый туман. Здесь было сыро, и трава стояла наклонившись, мокрая от росы.

Отмерив шагов семьдесят по берегу речки, о. Зосима остановился и сказал:

— Отседа начинайте!

Высокий, рыжебородый, долговолосый послушник вы-

шел вперед и, поточив косу, предварительно зачерпнув из речки воды в брусочницу, сказал:

— Свальник, что ль, отец?..

— А ты небось не знаешь,— усмехнулся о. Зосима,— махонькой, что ли, аль барин из легавых?.. Чай, видишь: знамо, свальник.

— Да я так,— произнес послушник и, поправив на голове шапочку и поплевав в руки, пошел...

— Жик! Жик! — раздался приятный звук под его косой.— Жик, жик...

За этим послушником, дав ему отойти шага четыре, тронулся другой, третий, четвертый...

Мы пошли в конце.

Трава была густая, местами полегшая, спутанная и крепкая на́ косу... Прокосы необыкновенно длинные... Часто попадались кочки, которые приходилось обкашивать, что задерживало работу... Под ногами кое-где хлюпала вода... Косу приходилось точить то и дело.

Дойдя до конца прокоса, почти под самую монастырскую стену, шедший впереди послушник остановился, обтер полой балахона потное лицо и, подождав немного, когда подойдут другие, начал делать свальник.

Под косой трава ложилася,
Под серпом горела рожь...—

запел он вдруг густым басом, покатившимся по лугу и отозвавшимся по ту сторону реки в сосновом бору.

Ка-а-тя часу не спала!..

— Вот я те задам! — завопил о. Зосима, перебивая.— Игумену скажу... Ах ты, рыжий, красный... Молчать. Я хозяин! Не вводи во искушенье... Ах ты, лодырь гладкий!..

Послушник громко захохотал и крикнул:

— Я хозяин!

— Я хозяин! Я хозяин! — подхватило несколько голосов.

— Я хозяин! Я хозяин! — громко и необыкновенно внятно ответило из соснового бора эхо.

— Молчать! — пуще прежнего завопил о. Зосима, в ярости затопав ногами.— Ах вы, лодыри! Кашу вам жрать только!.. Игумену скажу... Косите, косите, вам говорят!.. Встали, жеребцы стоялые!

— Я хозяин! — опять крикнул кто-то.

— Озорной народ,— вполголоса заметил дядя Юфим.— Да что им, правда... Ишь морды-то — лопнуть хотят... Жеребцы и есть!..

Между тем взошедшее солнце начинало сильно припекать, трава сохла, и косить становилось труднее.

— Коси, коса, пока роса,— сказал дядя Юфим, начиная третий прокос.— Роса долой, и мы домой.

Прошли еще по прокосу. Солнце стояло уже высоко. По времени пора уже было идти завтракать. Но о. Зосима, казалось, и не думал об этом. Он ходил, заложив руки за спину, и покрикивал:

— Поуспешнее, рабы божьи, поуспешнее!.. Еще прокосик, другой... поуспешней!..

Прошли еще по прокосу, и рыжий, ходивший впереди, послушник, бросив на землю косу и обтерев, как и давеча, полой балахона потное лицо, сказал:

— Довольно!.. Жрать пора... Эна какую махину смахнули!..

И правда, скосили много... Высокие пухлявые валы лежали, как гряды.

— Возов десяток ахнули!

— Болтай! — крикнул на него о. Зосима.— Больно много насчитал... Скажи пять — и то ладно! Еще бы по прокосику...

— «Пять!» — передразнил его послушник.— Эх ты, «я хозяин!..» Пойдем-ка, пойдем, нечего разговаривать... Подноси по банке.

— Только об этом и думаешь,— проворчал о. Зосима,— налакаться бы поскорее...

Недовольный, он пошел, однако, к монастырю. Закинув за плечи косы, звякая на ходу брусками, и мы все отправились за ним...

LIV

В трапезной приготовлен был завтрак: капуста с квасом, картошка со свеклой и оставшаяся от вчерашнего ужина черная каша.

Послушники не садились за стол, ожидая о. Зосиму, который пошел к о. эконому за водкой.

Вскоре он пришел, весь запыхавшись, неся подмышкой

гудуху, и, кроме того, в карманах подрясника торчали у него еще две бутылки.

Радостный гул голосов встретил его. Лица у всех как-то расцвели, стали радостные, добрые... Отца Зосиму окружили...

У многих из послушников оказалась припасенная заранее посуда: у кого половинка, у кого бутылка. Эти запасливые люди, оказывалось, копили водку, выливая свои «банки» в посуду до тех пор, пока она не наполнялась до краев, и тогда уже водка выпивалась сразу...

— Чего пить стакашиками? Лизнешь — и не попахнет... То ли дело сразу... Пить — так пить, чтобы накачивало!..

Отец Зосима дрожащими от волнения руками открыл пробку и начал небольшим граненым стаканчиком (семериком) обносить косцов.

Тем, которые отливали, он велел подходить после. Таких оказалось человек восемь. Отец Зосима, наливая им банки, сказал:

— Пьяницы вы, пьяницы горчайшие!.. Зависть у вас... нажраться до бесчувствия... Эх вы!..

Когда все выпили, и водки еще осталось много, о. Зосима сказал, обращаясь к нам:

— Рабы божьи, подходите!..

Мы не заставили повторять предложение и подошли.

— Гоже! — сказал дядя Юфим, выпив и утерев рукавом губы.— С устатку-то гоже... Спаси Христос!

Сели за стол. Отец Зосима, забрав оставшуюся водку, ушел. Мы остались одни, и за столом пошел веселый, оживленный разговор, смех, шутки...

— Ну и жизнь здесь,— наклонившись ко мне, тихо произнес Тереха-Воха,— истинный господь, помирать не надо!

— Нравится?

— Жуть!

— Оставайся совсем...

— Что ты... очумел?.. Чай, мне жениться надыть... Так я говорю...

После завтрака косцы-послушники разошлись по кельям спать, а мы, не видя о. Зосимы и не зная, что теперь делать, тоже завалились в рабочей на свои нары. Но долго нам лежать не пришлось: явился о. Зосима,

веселый, разговорчивый, красненький, по всем признакам сильно выпивший, и весело крикнул:

— Эй, рабы божьи!.. Что это вы... спать? Сон пагуба... Подите валы бить... Там вон, у крыльца, грабли... Вёдро господь посылает... Много хлопот мне теперича предстоит... Да!.. Один я... за всеми догляди... упустишь ведь час — все пропало... Я уж давно этим делом заведую... полная моя власть... Я хозяин!

Нечего было делать — мы вышли из рабочей, взяли грабли и отправились на луг. Здесь уже человек десять пожилых монахов потихоньку ходили и разбивали «граблевищами» валы. Работа шла лениво, неохотно, через пень колоду.

Мы присоединились. Крайний монах, с длинной седой бородой, худой и горбоносый, с выпуклыми неприятными глазами, покосился на нас и как-то прошипел:

— Лодыри... Кашу только жрать пришли сюда, необузданные!..

— Не боле твоего, отец, жрем,— ответил Малинкин,— чего ты нас попрекаешь... не твое...

— Молчи!..

— А ты что за птица така выискалась, чтобы я перед тобой молчать стал... Начальство здешнее, что ли?

— Отстань, деревня! — крикнул монах и, закинув грабли на плечо, торопливо отошел от нас в сторону, на другой вал, сердито на ходу оглядываясь и сверкая глазами.

— Во лешман-то! — произнес Малинкин.

— Лешман и есть! — согласился дядя Юфим.

LV

Разбив валы, мы вместе с монахами опять пошли в монастырь.

Отошла поздняя обедня и позвонили к обеду. Пообедав, я от нечего делать стал бродить по монастырю. Зашел на кладбище, осмотрел незатейливые памятники, почитал надписи, подумал о смерти; потом забрел на пчельник, где старый, глуховатый монах о. Амфилозий радушно предложил мне понюхать с ним табачку из берестовой тавлинки.

Вернувшись в ограду, я увидел о. Зосиму, который

шел, покачиваясь из стороны в сторону, по направлению к высокому столбу с колоколом.

Подойдя к столбу, он остановился, подумал, посмотрел на солнце и, бормоча что-то, схватился за конец веревки обеими руками.

Дернув несколько раз, он вдруг поскользнулся, поехал ногами вперед и упал навзничь, не выпуская, однако, из рук веревки. Его клинообразная борода торчала кверху, колпак свалился... Он лежа дергал за веревку и бормотал:

— Я хо-о-зяин...

Я стал его поднимать.

— Я хозяин! — закричал он, тараща на меня пьяные, одуревшие глаза.— Во-о-орошить... Я хозяин...

Между тем на звонок собирались монахи и послушники. Отец Зосима вырывал у меня руку и кричал:

— Я хозяин...

Мне надоело возиться с ним, и я предоставил поднимать его подошедшим к месту происшествия монахам. Но последние не торопились поднимать: это для них было развлечением, случавшимся в год раз. Слышался смех, сыпались различного рода замечания и остроты.

— Доверили козлу огород! — сказал кто-то.— Вот так «я хозяин»!

— Поднимите его,— сказал, наконец, худощавый, серьезный монах.— Грех смеяться... не хорошо... Чужие люди ходят... обители конфуз... Брат Григорий! Иван! Сведите его в келью... Ох, грехи тяжкие... Игумен тоже: знает — человек слаб... нет, каждый год так-то...

— Жалеет его игумен... обидеть старика не хочет,— сказал другой.

— Брат Григорий! Иван! — уже строго сказал серьезный монах.— Берите под руки... ведите... А вы расходитесь,— обратился он к другим,— нехорошо... грех... со всяким может случиться... грех смеяться... вспомните — Ноя!

Два послушника подхватили о. Зосиму, все еще кричавшего «я хозяин», и потащили почти волоком в келью.

LVI

Время шло... Проработав еще с неделю, мы объявили о. Зосиме о своем желании покинуть монастырь.

— Дело ваше,— нахмурясь, видимо недовольный, ска-

зал он.— Знамо, человек ищет, где лучше... Поработали на преподобного... хорошее дело сделали... Остались бы еще на недельку!

— Нет, отец, нам расчета нет оставаться... Ослобони,— ответил дядя Юфим.

— Дело ваше! — опять повторил о. Зосима и спросил: — Много ль вы ден здесь жили?..

— Да ты, чай, знаешь.

— Надо к казначею сходить... Вы когда уйдете-то?

— Да ноне... Получим расчет, отслужим молебен преподобному, да и со Христом!

— Ну, ладно... схожу ужо к казначею. Пачпорта ваши у него тоже... Только вот что, рабы божьи... половинку с вас...

— Как же так, отец: в те поры половинку, опять половинку... больно много половинок-то... У нас деньги тоже не шальные...

Отец Зосима нахмурился.

— Ну, как знаете,— сказал он,— ваше дело... Подождать вам денек, другой придется... пожить на стороне.

— Что так?

— Да отцу казначею нездоровится... Как его беспокоить?.. Нельзя беспокоить! Погодить придется...

— Ну, ну,— покачал головой дядя Юфим.— Ловко! А ты уж, отец Зосима, того... не обижайся... половинку тебе в зубы... Господь с тобой... грабь!.. Не ты, так другой... Где наше не пропадало...

Отец Зосима улыбнулся и сказал:

— Друг об дружке — бог обо всех... А нам где взять?

Он сходил к казначею, принес наши паспорта, деньги, и мы, пообедав в последний раз на трапезной, попрощавшись с о. Зосимой, Пименом и отслужив молебен, покинули монастырь.

LVII

Прошло два дня... Мы отошли верст за шестьдесят, нигде не найдя работы. По деревням только что начинали косить усадьбы, а настоящего покоса не было.

Местность, где мы проходили, была глухая, лесная... Народ по деревням жил, по выражению дяди Юфима, се-

рый, лапотники, говорившие на «о» и смотревшие на нас подозрительно.

Наконец, на третий уже день к вечеру, придя в большое село Уткино, напившись в трактире чаю, мы разговорились с хозяином, и он, узнав, в чем дело, предложил нам остаться у него.

— Завтра — воскресенье, помочь у меня будет... пять человек придут... Коли желаете косить, косите за водку... Ну, а опосля завтра, в понедельник, начнете как надо...

— А много ль положишь? — спросил дядя Юфим.— Знамо уж, харчи твои, чай твой.

Трактирщик долго и упорно торговался с нами, но, наконец, сошлись на полтиннике. Мы отдали ему паспорта и остались.

— Так завтра поутру помочь у меня,— опять повторил хозяин.— Водку-то пьете?..

— Пьем... Как, чай, не пить...

— Ну, и отлично... Косы у меня есть... побить надо только... бой тоже есть... молоток, бабка... Ноне, пока засветло, побили бы косы-то... Спать на дворе будете... стойло там пустое есть... солома... Вам тоже будет, мягко... В избе-то тесно... бабы... то, се...— Он обернулся от стойки к стене и постучал в нее кулаком: — Эй, Марья, поди сюда...

— Сейчас! — послышался за стеной тонкий голос, и немного погодя в трактир, громко хлопнув в сенях дверью, вошла толстая, как копна, баба.

— Чаво? — спросила она.

— Проводи вот ребят в стойло, где солома, укажи им... Да дай косы... на сушиле они... сыми там... бой дай... Где он, не знаешь?..

— Чай, на палатцах... там валялся словно.

— Сыщи... Побейте косы-то, а там ужинать... Марья, ты им ужо налей похлебать... мурцовку, что ли, сделай, коли щей не хватит.

— Ладно! — ответила баба.— Кто их знал, что придут... щей-то мало... Пойдемте...

Она провела нас на двор, указала стойло, где нам предназначалось жить, сняла с сушила косы и принесла бой.

Мы вошли на задворки, где лежала толстая очищенная «лапа», и, заколотив в нее «бабку», пристроив кол с веревочкой, на которую вешалось косье, стали бить косы.

Косы оказались старые, ржавые, к бою мягкие; во время работы косы приходится беспрестанно точить, иначе они не будут резать, и тогда приходится ими не косить, а, как говорят, «тяпать», то есть налегать на плечо, брать на силу.

— Ну, ребята, вот так косы! — ворчал дядя Юфим.— Эдакими косами траву только мучить.

Покончив с точеньем, мы пошли в свое стойло и легли на солому, поджидая, когда позовут ужинать... Стемнело... Из поля пригнали скотину, и мы очутились в приятном соседстве с коровами, лошадьми, овцами...

— Неужто ж мы этого только и стоим,— ворчал дядя Юфим,— чтобы вместе со скотом... Ишь дух какой тяжелый... Да и сыро... Ну-ну!..

Подоив коров, толстая баба позвала нас в кухню ужинать, для чего устроила нам мурцовку с кислым жиденьким кваском, с зеленым луком и снетками и, поставив на стол чашку, сказала:

— Не взыщите... боле ничего нет.

Мы поели мурцовки и, прозябнув (квас был холодный), пошли спать.

— Коли так станет кормить,— сказал Малинкин,— то ну его к лешему и с работой!

LVIII

Утром, еще солнце не вставало, хозяин разбудил нас:

— Вставайте... пора... Скоро, чай, мужики придут.

Мы встали и пошли к колодцу, достали воды и умылись. Немного погодя пришли и мужики.

— Здорово, ребятушки, здорово, милые! — весело приветствовал их трактирщик, радостный и довольный их приходом, равно как и вёдренным утром.— Спасибо, пришли... Погода-то больно хороша... Неохота упустить вёдро...

Утро действительно было прекрасное. Солнце еще не взошло, но уже весь восток горел, как в огне. Кое-где разбросанные золотые облачка расстилались по небу и уходили куда-то, словно таяли. В чутко дремлющем утреннем воздухе начинали раздаваться живые звуки: вот где-то вдали послышалось тонкое ржанье жеребенка... вот

заблеяли овцы... пастух заиграл на жалейке песню, ясно выговаривая:

Ка-а-ак на зорьке было, на заре,
Да на заре было на утренней...
Та-а-ам девушка коровушку доила.

Влажный ветерок набегал волной... Под горой, вдали, дымилась речка... Роса крупными алмазами блестела на траве; тихо шушукались листья; медовый запах шел от цветущей липы; над этой липой уже кружились и гудели пчелы, а с поля доносились крики перепелов и пение жаворонков.

— Ну, братцы, идемте,— сказал трактирщик,— пора... Сейчас, гляди, и солнышко выглянет.

Он пошел впереди... Мужики и мы, брякая брусками в брусочницах, гуськом потянулись следом. Идти до лужка, как оказалось, было с версту. Трактирщик повел нас, чтобы сократить путь, не по дороге, а межой, через овес.

Зеленой чертой ложились наши следы по росистой траве. На меже росли полынь, кашка, мята, издававшая сильный запах. В овсе по сторонам кричали перепела; жаворонки то и дело взвивались кверху и быстро падали опять, точно камешки. Заяц-русак, весь мокрый от росы, выскочил из овса на межу, увидал нас и присел; послушал, шевеля ушами, и пустился бежать по меже, вскидывая задом.

— Держи! — крикнул идущий впереди трактирщик.

— Держи! — звонко раздался его голос в соседнем лесу.

Придя на место, трактирщик остановился, достал из кармана пиджака платок, утер лицо и сказал:

— Ну, вот, Прохор, начинайте... Вон до энтого места, до барской канавы... Ты передом-то пойдешь?

— Да все одно, чай...

— Нет уж, сделай милость, иди ты... Уж я тебя знаю... им противу тебя не выстоять...

— Конфузишь, Илья Михайлыч,— отозвались мужики.— Нешто мы косить не умеем аль не кашивали?

— Ну, ладно... передом так передом,— сказал мужик, которого трактирщик назвал Прохором, и стал точить косу.

Мы все последовали его примеру. Звучное лязганье далеко понеслось по чуткому утреннему воздуху.

— А и прокосы длинны будут! — сказал Прохор, отто-

чив косу и сунув брусок в брусочницу.— Так до канавы, говоришь?..

— До канавы... до самой канавы.

— Ладно... Ну, ребята, не отставать... Прокоса по три до завтрака отмахнем... Господи благослови!

Он поплевал на ладони, отставил немного вперед левую ногу, взмахнул косой и пошел. Худой мужик, тощий и длинный, подождал немного, дал ему отойти и тоже пошел.

Пройдя шагов двадцать, идущий впереди мужик остановился, нагнулся, поднял горсть травы, обтер косу, поточил ее и, подождав, когда мы сделаем то же, опять пошел. Казалось, он не косил, а играл. Коса у него не резала, а, как говорят мужики, «мылила». Тщедушный, длинный мужик, идущий за ним, торопливо махал со всего плеча, «тяпал», стараясь не отставать.

Дойдя до канавы, идущий впереди мужик повернулся, поточил и начал делать свальник. Густой, высокий вал ложился позади него.

— Ну и трава! — громко сказал он подошедшему хозяину.

— А что... хороша? — радостно спросил тот.

— Малина!.. Не сено будет, а свинина! В каждом возу пуд меду. Вишь, не прорежешь... кашка... пырей... Зародит же господь!..

— Ха-ха-ха! — радостно засмеялся трактирщик.— И то хороша!

— А чай, дарма досталась... за много ль взял?

Трактирщик не ответил на вопрос и сказал:

— Ну, ладно... косите, а я пойду... Закусить там принесу... водочки... Косите!

— Ступай со Христом! — откликнулись мужики.— Ступай... не сумлевайся... не подгадим...

Трактирщик ушел... Мы докончили по прокосу и, видя, что трактирщик скрылся из глаз, сели курить...

LIX

— Кури, ребята, отдыхай! — сказал старший мужик Прохор.— Ну его к лешему... Задаром норовит... Успеем... Выпьем вот, то ли разговор другой...

— Принесет небось бутылку,— сказал другой,— на-

перстком обносить будет... Дьявол, выжига!.. Коли б не должен, ни в жисть не пошел бы.

— А вы, ребята, что ж у него нанялись, что ли? — спросил Прохор, обращаясь к нам.

— Нанялись,— ответил дядя Юфим.

— Как цена-то?

— Полтина.

Мужик усмехнулся и сказал:

— Глядите в оба... Выжига! Норовит на грош пятаков сцопать.

— Ну?..

— Летось меня так нажег... Заложил я у него шерсть за три с четвертью, пришел выкупать... Насчитал на меня проценту... четыре с гаком содрал... во как! А допрежь-то что делал, до винополии этой самой... Бывалочка (кабак он держал), принесешь курицу,— стоит, скажем, гривенник,— «на говорит, возьми три монеты...» Всем брал, разбойник... Он деньги-то ишь в Москве нажил: обобрал кого-то... бают, придушил...

— А то что ж, и верно! — сказал тощий мужик.— От святой жизни, думаешь, разбогатеешь! Как же! Пустишь душу в ад, будешь богат... Он вон жену свою родную... Стойте, ребята! — перебил он сам себя.— Идет!..

— Идет и есть... Коси, ребята!..

Мужики вскочили и дружно принялись за работу, делая вид, что не замечают идущего полем под гору трактирщика.

Он подошел, неся в правой руке узелок, а под левой — четвертную, положил все это на землю, утер лицо платком и, немного подождав, вероятно думая про себя: «Ишь, мошенники, навалились... диви, я не знаю!» — крикнул:

— Ребятушки, подходи!

Но «ребятушки» как будто не слыхали его крика: никто не оглянулся.

Трактирщик подождал и опять крикнул:

— Прохор, подходите! Говорю: бросайте!

— Погоди,— ответил Прохор,— прокос пройдем!.. Успеем... время терпит... Стараемся для твоего здоровья!..

Пройдя прокос, он обтер косу, закинул ее за плечо и не торопясь пошел к трактирщику.

Остальные мужики сделали то же.

Все мы окружили его, и каждый из нас старался не глядеть на стоявшую, прислонясь боком к кочке, четверт-

ную. Все мы занялись совсем ненужным теперь делом: кто разглядывал косу с таким видом, как будто ее, надоевшую до смерти, видит в первый раз, кто полоскал брусочницу, кто вертел курить...

— Ну, братцы, с начатием... Приступайте!.. Прохор... Аксен... как вас там... подходите!..

Прохор подошел, взял в левую руку налитую водкой чашку, перекрестился правой на сельскую церковь и, прежде чем выпить, сказал:

— Дай бог тебе управиться за погоду... Да и трава же — не прорежешь! Индо всю поясницу разломило... истинный господь!

Он выпил, утерся рукавом, передал чашку трактирщику, потянулся за куском селедки, осторожно взял его двумя пальцами и спросил:

— Почем селедки-то продаешь?

— Подходи! Подходи! — крикнул трактирщик.

Обнеся всех, он вдруг, сделав серьезное лицо, энергично заткнул пробкой четвертную, молча показывая этим, что, дескать, довольно.

— Ну, братцы,— сказал он,— выпили, закусили, начинать пора, а то жарко будет...

— Действительно, пора,— отозвались мужики, не трогаясь, однако, с места,— да и трава — погибель! Зародил же царь небесный!.. Как махнул — так копна! Много ты сена уберешь.

Трактирщик только вздохнул на это, обвел нас всех глазами, взял посудину и сказал:

— Вот что, братцы, поднесу я вам еще по махонькой, а уж вы того... поналяжьте... Ужо, по окончании, угощенье само собой будет... Допьяна напою!

— Да мы нешь из корысти,— загалдели мужики,— как себе... Нешь вина не видывали, что ли... Да мы его и пить-то путем не умеем!

Трактирщик, молча, хмурясь, с недовольным лицом и, вероятно, думая про себя: «Знаю я вас... за водку отца родного продадите»,— стал обносить по другой, но только не по полной.

Эта другая быстро забрала мужиков. Они стали поговаривать по-другому. Лица покраснели, глаза стали свинцовые...

— Ну, братцы, давай!.. Начинай! — орали они, не трогаясь с места.— Прохор, заходи!.. Смахнем ноне тебе...

Убирай, не зевай! Захар, неча ляс-то точить... дело делать надыть... Заходи... Господи благослови!..

— Начинайте, братцы! — сердито крикнул трактирщик.— Ужо наговоритесь... будет время.

— Мы со всем усердием... как себе, так и тебе! — орали мужики и, наконец, кое-как успокоившись, стали косить.

Трактирщик пробыл около нас с час времени, в продолжение которого мы усердно работали; но как только он ушел домой, мужики бросили косить и сели.

Солнце стояло уже высоко, и делалось жарко. В селе отзвонили к обедне.

— Бросать надо,— сказал тощий мужик,— коего черта, в самом деле... Посидим вот, курнем, да и айда!..

— Погоди, вот ударят к достойной, тогда и пойдем,— сказал другой.

— Еще по прокосику сделать бы не грех,— вступился в разговор дядя Юфим.

— А ты, старый шут, не суйся вперед отца в петлю! — осадил его тощий мужик.

— Стар селезень, да уха сладка,— ответил ему дядя Юфим.— Ваше дело одно, наше другое!..

— Ну, и дери вас черт, ломайте...

Ударили к «достойной», и мы, бросив косить, вместе с мужиками отправились в село. Солнце стояло высоко, и было жарко... Роса давным-давно сошла, и в траве громко кричали кузнечики-сверчки.

Перед окнами трактира стоял приготовленный для нас стол. На столе лежал уже нарезанный кусками черный хлеб и стояло деревянное ведерко с квасом.

Повесив косы на сучья рябины, мы сели на землю в тень и стали курить.

Вскоре вышла из трактира работница и поставила на стол закуску: «холодное», соленые огурцы, селедки, кислую серую капусту. За ней показался хозяин с четвертной подмышкой и с чайным стаканом в руке.

— Садитесь, православные... милости просим! — сказал он и, обернувшись к работнице, добавил: — Марья, убери-ка косы-то ихние... спрячь покеда от греха.

— Боишься? — с улыбкой произнес тощий мужик.

— Мы учены,— ответил трактирщик,— летось

перерезались... Садитесь,— опять произнес он,— милости просим!

Мы уселись за стол. Трактирщик стал обносить большим чайным стаканом. Делал он так для того, чтобы сразу ошеломить «православных» и благодаря этому выпоить меньше водки и израсходовать закуски... И расчет его оказался замечательно верным. После первого же выпитого стакана мужики обалдели и совсем почти не закусывали... Трактирщик, не теряя времени, сейчас же начал обносить по другому разу из другой четверти, принесенной работницей... Мужики выпили с жадностью, и, когда немного погодя совершенно опьянели, началась обычная безобразная гульба, окончившаяся в конце концов дракой.

LX

Хозяин действительно, как говорили мужики, оказался выжигой. Мы прожили у него всего лишь четыре дня и ушли, пожелав ему... всего нехорошего...

Кормил он нас отвратительно, будил на работу часа в два ночи, когда еще было темно, и морил на работе до самого позднего вечера... Ужинали с огнем, спали в хлеву... Кроме того, раз ночью он поехал с нами в барский лес и заставил украсть тридцать штук слег...

При расчете недодал по пятачку, ссылаясь на то, что Тереха-Воха нечаянно оборвал у него косу о пенек.

— Подавись ты нашими деньгами! — сказал ему на прощанье Малинкин.— Прохвост! Своего брата грабишь... Отольются тебе наши деньги...

— Идите... Идите!..— кричал трактирщик.— А то урядника позову. Злая рота!..

Мы ушли... Купив затем в уездном земстве собственные косы, мы подрядились косить у богатого, торговавшего красным товаром, купца в лугах.

Там, в лугах, мы и жили в шалаше. Хозяин-купец остался нами доволен, при расчете дал «на чай» и, весело улыбаясь, сказал:

— Приходите, ребята, на то лето, ждать буду... На совесть работали!..

После Ильина дня, когда сжали рожь, мы продали наши косы, вооружились цепами, или, как выражался Тереха-Воха, «тяпками», и ударились по молотьбе... На

этом деле мы зарабатывали гораздо больше... За нами ухаживали, кормили хорошо...

После ржи мы молотили овес до самой поздней осени, переходя из деревни в деревню...

Это время я всегда вспоминаю с любовью.

Осень стояла прекрасная... Днем солнце грело, точно в мае. На небе не было ни облачка... Лист с принявших осенний убор деревьев неслышно падал. Клен, липы, березы стояли золотые, рябины и осины — красные... Паутина белыми длинными нитями носилась по воздуху, цепляясь за растущую по межам дикую рябину и за кусты. Озими ярко зеленели, как бархат... Словом, была та «короткая, но дивная пора», когда

Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Природа точно улыбалась на прощанье, все глядело как-то необыкновенно бодро, празднично, весело...

Вставали мы на работу рано и шли на гумно с фонарем. По утрам было свежо, но тихо и как-то таинственно прекрасно... Кругом ни звука, точно все давным-давно умерло... Темносинее, далекое и глубокое небо горело звездами, и там, казалось, было еще тише, еще таинственнее, чем на земле.

Придя на место, мы вешали фонарь так, чтобы он освещал гумно, и, разложив снопы, принимались за работу.

— Буц, буц, буц! — раздавались глухие удары.— Буц, буц, буц!..

Приударьте-ка, ребята,
По буланым лошадям! —

весело каждый раз затягивал слегка дрожащим голосом наш добрый, милый «старшой» — дядя Юфим.

Чтобы шибче шли!..—

подхватывали мы, и «Буц, буц, буц! Буц, буц, буц!..» раздавалось сильнее.

Вскоре, однако, нам пришлось расстаться...

Проходя как-то раз уездным городом, я получил печальное известие из дому, из-за которого мне необходимо было вернуться. Я сообщил о своем решении товарищам.

— Как же так,— сказал дядя Юфим, глядя на меня удивленными глазами,— а мы-то?.. Не уходи, Павлыч!..

— Не могу... Нельзя...

— Ах ты, владычица!.. Жили, жили вместе... ан вон оно дела-то...

На прощанье мы зашли, конечно, в трактир. Дело уже было к вечеру. В трактире «на черной половине» было полутемно, гадко, печально. Растрепанный половой подал нам бутылку водки с обрезками противной колбасы на закуску, две пары чаю, баранок и отошел прочь...

Мы все четверо сидели грустные и молча по очереди тянули из граненого стаканчика водку.

Когда, наконец, покончили с водкой и попили чаю, я сказал:

— Ну... прощайте!..

— Прощай, Павлыч...— ответил дядя Юфим, моргая глазами.— Прощай, родной... Дай тебе господи... Живи по-божьи.

Он хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой и, обняв меня, поцеловал. Я почувствовал, что и у меня к горлу подступают слезы.

Тереха-Воха молча глядел на меня во все глаза, и в этих прекрасных глазах стоял туман.

— Я тебя провожу чуток! — наконец, вымолвил он.— За город.

Я еще раз поцеловался с дядей Юфимом, с Малинкиным и вместе с Терешкой вышел из трактира.

Мы оставили город и вышли в поле. Вдали виднелось на моей дороге село на горе. Солнце низко стояло на горизонте и ударяло нам в глаза. Мы остановились.

— Прощай!..

— Прощай, Павлыч!

Мы три раза крепко поцеловались.

— Дай тебе бог... Неужели не увидимся николи?..

— Бог знает... Прощай!..

С грустью в сердце я пошел прочь и, отойдя шагов пятьдесят, оглянулся.

Тереха стоял и смотрел мне вслед, заслонясь рукой от солнца. Я махнул ему еще раз фуражкой и торопливо пошел по убегающей вдаль дороге, навстречу заходящему яркому солнцу.

1904

У староверов

Повесть

I

Одно время, по некоторым, очень для меня тяжелым, обстоятельствам, пришлось мне, так сказать поневоле, гостить у приятеля-послушника в Т. скиту.

Брат Иван, молодой, лет двадцати трех малый, родом из Сызрани, сын какого-то, по его словам, протопопа, занимал в скиту должность, или, как там говорят, послушание, повара на странне. Кулинарное его искусство заключалось в том, что он готовил на приходивших каждый день всякого рода и звания людей в огромном котле серую, вонючую, мутную кашицу — кандер. Обязанность была нехитрая и нетрудная, тем более что ему были даны в помощники два, как он говорил, «поддужных» — молодых, отчаянных, походя ругавшихся матерно и не выпускавших изо рта папиросок, послушника...

Жили эти господа, все трое, в одной келье, где-то в подвале, и все свободное после послушания время занимались игрой в «три листика» и пили водку.

Где они добывали деньги, из каких доходов,— не знаю, но только деньги у них водились постоянно.

Жилось мне у них нельзя сказать чтобы плохо. Кормили меня хорошо и, как мне кажется, дорожили мной, потому что я, с своей стороны, за их временный приют и стол оплачивал тем, что «летал», по их выражению, в казенку за водкой.

Летать мне приходилось часто, и каждый раз, идя за водкой и возвращаясь с ней, я должен был проходить под арку ворот, где постоянно торчал вратарь — сердитый старец о. Геннадий. Сначала — день-два — он не обращал на меня внимания, но потом стал следить за мной и как-то раз сказал:

— Ты что же это, раб божий, гляжу я, загостился больно у нас?.. Которы сутки живешь... шмыгаешь тутотка... Чего ты шмыгаешь-то, а?... Ишь пазуха-то отдулась... смотри, брат, намахаю отседа...

Я сказал об этом приятелю.

— Пошли ты его, черта, подальше,— ответил он, выслушав меня,— ему-то какое дело... Выпить захотел... сорвать... Не бойся, летай... скажи,— я посылаю. А коли будет много разговаривать, скажи, что я еще рыло разобью...

Не знаю, чем бы это все окончилось и долго ли бы еще я прогостил в скиту, если бы не один случай, благодаря которому мне и моему приятелю, брату Ивану, вместе с его поддужными пришлось с позором покинуть скит.

Случилось вот что. Как-то раз, в какой-то, кажется, праздник, мои приятели «сгадали» на целого «монаха», то есть на четвертную.

— Чего тебе бегать-то то и дело... основу сновать,— сказали они,— тащи цельную... Все едино: по мелочам-то больше изойдет...

— А как же пронесть-то? — спросил я.— В кармане ведь не спрячешь — не сотка.

Этот мой вопрос поставил их в тупик. Мы все четверо стали обдумывать, каким бы способом пронести контрабанду мимо сидящего у ворот аргуса. Наконец, брат Иван придумал.

— А вот как! — воскликнул он и, обратившись к одному из своих поддужных, сказал: — Ты вот что, Петрушек, возьми матрасник и ступай с ним в сарай, к прудочку, где прошлогодняя яровая солома лежит... Будешь проходить под воротами, скажи тому идолу-то, что я, мол, послал тюфяк набить новой соломой, что эта, мол, вся иструхлявила... Понимé? А ты,— обратился он ко мне,— возьми *ее* и волоки к сараю... Суйте ее, матушку, в тюфяк-то... соломкой прикройте и того... чисто девки стряпали!

Так и сделали. «Монах», сидя в тюфяке, благополучно совершил путешествие и, прибыв на место назначения,

в келью, вызвал неподдельную радость у ожидавших его братьев.

— Здорово! — воскликнул брат Иван.— Вот это здорово! Попьем за этим царем... Только вот что, братия: отца Авдея позвать надо... он при деньгах... мы его того... не обстругаем ли в картишки... Сбегай-ка кто-нибудь за ним. Скажи: иди, мол, водку пить... сейчас прилетит, как ворон на падаль. Водочку любит слаще молока... Арканом не оттащить!..

Отец Авдей, как оказалось, был старшим смотрителем на конном дворе. Он не заставил себя ждать и сейчас же пришел.

Это был небольшого роста монах, какой-то всклокоченный, красноносый, рябой, одетый в белый, покрытый кое-где пятнами дегтя балахон и в опорках на босу ногу...

— Мир вам! — сказал он хриплым голосом, войдя в келью, и, увидя на столе *ее,* воскликнул: — А-а-а, родимая!..

— Что, рад? — улыбаясь, спросил брат Иван.

— Рад! — потирая руки и жадно глядя на четверть, ответил о. Авдей.— Как, мать честная, не быть раду-то? Одна ведь утеха нашему брату, старцу...

Стали пить. Пили чайной чашкой, лошадиной порцией, и закусывали твердой, как кремень, колбасой, покрытой плесенью, и мочеными яблоками.

После третьей чашки о. Авдей запьянел и на предложение сыграть в картишки почему-то обиделся и начал всех посылать к черту и сквернословить. Его стали уговаривать. Он обозлился и принялся орать еще пуще.

— Ра-а-а-зражу! — орал он, тараща пьяные глаза.— Выставлю всех! Как курятам, головы сорву! А игумену, сукину сыну, бороду ощиплю... Ты думаешь, ты кто? Игумен... Ха-а-а... эка штука... я сам игумен... На кой ты мне рожон нужен!.. Наливай водки... я сам игумен... На кой вы мне все-то...

Ему, чтобы отвязаться, налили еще и вытолкали вон. Он долго ругался за дверью в темных сенцах и, наконец, ушел к себе на конный двор.

Но этим, как оказалось, дело не кончилось.

Придя к себе на конный двор, о. Авдей придумал довольно-таки курьезную штуку, благодаря которой всей нашей компании пришлось жестоко пострадать.

С пьяных глаз о. Авдею взбрела в башку нелепая идея: сесть верхом на лошадь и в таком виде ехать к крыльцу игуменских покоев «лаяться».

Недолго думая, он так и сделал. «Обротал» какого-то огромного, гладкого мерина, взобрался на него верхом и, пьяный, в своем белом балахоне, босой (опорки свалились), растрепанный, как какое-нибудь сказочное привидение, направился к «святым воротам», крича и сквернословя.

Отец вратарь в это время (дело было после обеда) отдыхал у себя в келье, и благодаря этому о. Авдей, никем не задерживаемый, торжественно, точно какой-нибудь возвращающийся с поля брани воин, въехал под арку ворот (конный двор был за оградой скита) и, торжественно проследовав до крыльца игуменских покоев, остановился здесь перед окнами и принялся «лаяться».

Его скоро заметили, но, так как подобные сцены случаются не часто, не торопились убрать. Одуревшая от скуки и ничегонеделания братия с понятным удовольствием наблюдала эту картину.

— Ты кто? — кричал ошалевший о. Авдей, махая правой рукой по направлению к игуменским окнам и пересыпая свою речь выражениями «чисто русских» людей.— Ты игумен! Эка штука,— я сам игумен. Выходи сюда на расправу, кривой кобель... Я тебе покажу... Я тебе пузо-то прочкну... Отрастил на монастырской-то каше, гра-а-битель. «Кто я? Я игумен». Ах ты, растудыт твою!.. Много вашего брата таких-то видал я... Вот они где у меня сидят, гляди. Выходи, пузан...

Игумен в это время, как и о. вратарь, отдыхал. Келейник, видя из окна соблазнительную сцену и не зная, что делать, решился, наконец, разбудить его.

Игумен встал и, подойдя к окну, стал смотреть.

Отец Авдей, увидя в окне его фигуру, принялся сквернословить еще шибче. Игумен, в сущности слабохарактерный, добродушный монах, вышел из себя: приказал сейчас же позвать нарядчика и убрать о. Авдея в башню, где была маленькая, сырая, полутемная каморка, служившая местом успокоения для пьяных, буйных во хмелю монахов.

Отца Авдея стащили с лошади и поволокли к башне. Он упирался, дрыгал ногами, отвратительно сквернословил, кричал «пустите», но на это не обращали внимания

и с хохотом волокли его к башне, где и сунули в конце концов в сырую, темную камеру.

Но этим дело все-таки не кончилось. Нарядчику кто-то шепнул о том, где напился о. Авдей, и он сейчас же побежал «с язычком» к игумену. И вот, спустя каких-нибудь полчаса после сцены с о. Авдеем, к нам в келью совершенно неожиданно явился контроль в виде самого игумена, нарядчика и еще какого-то высокого, с сердитым лицом, монаха.

Мы, понятное дело, их не ждали и занимались своими делами.

Я только что начал было разводить самовар... Приятели сидели за столом и жарили в карты. Четвертная стояла в переднем углу на угольничке, на самом видном месте, под святыми иконами...

Дым махорки, не хуже тумана над болотом, плавал по келье, наполняя ее отвратительным смрадом.

Войдя, игумен остановился у порога и, вероятно, пораженный представившейся его глазам картиной, молча стоял, покачивая головой сверху вниз, точно кланялся нам, очень похожий в этом виде на старого мужицкого косматого мерина, пригревшегося где-нибудь на солнышке весной на задворках, сладко дремлющего и, вероятно от большого удовольствия, тихо качающего головой.

— Вы что же это, рабы божьи,— спросил он, наконец,— питейный дом здесь открыли, а?..— И видя, что мы, пораженные его неожиданным приходом, молчим, продолжал: — Других во искушение вводите... спаиваете... срамоту делаете... ах вы, необузданные!.. Ах вы, срамники, похабники!.. Пьяницы!.. Энто что? — он кивнул по направлению к тому месту, где стояла четвертная.— Энто что? — повторил он.— Тьфу! — И вдруг, обернувшись ко мне, стоявшему в сторонке, у печки, с самоварной трубой в руках, спросил: — А ты кто? Ты что за человек здесь? Зачем?..

— Зна-а-а-комый,— ответил я запинаясь.

— Зна-а-а-комый,—протянул игумен,—та-а-ак!.. Та-а-а-к, раб божий!.. Что ж ты тут делаешь, а?

— Да что делает,— ввязался вдруг в разговор нарядчик,— за водкой бегает... Третья неделя, замечаю я, пошла,— живет здеся, а кто такой — неизвестно.

— Да у тебя вид-то есть ли, раб божий? — спросил игумен.— Покажь-ка.

Я молчал. Вид у меня, собственно говоря, был, но только просроченный и для проживанья не всюду пригодный.

— Не позвать ли урядника? — предложил нарядчик.— Кто такой?.. По нынешним временам всего жди... Может, он скрывается... пес его знает... наживешь беды...

Но игумен почему-то не согласился на предложение этого городового в рясе, а просто велел мне сейчас же подобру-поздорову убираться вон.

Я не заставил повторять предложение и начал торопливо прилаживать на плечи сумку.

— А вы, рабы божьи,— обратился игумен к моим пьяным благодетелям,— приходите ужо, когда прочахнете, за паспортами... Так-то... мне таких не нужно... Ишь ты, кабак завели, похабники... тьфу!

Он опять, как и давеча, сердито плюнул и, повернувшись, пошел вон из кельи. Нарядчик и длинный, с сердитым лицом, монах тронулись за ним. На ходу нарядчик обернулся в мою сторону и сказал:

— Смотри, брат, поторапливайся, а то...

Он не договорил и вышел, сильно хлопнув дверью.

II

Вышел я из скита часу в четвертом пополудни. Погода стояла прекрасная. Дело было в июле, перед Ильиным днем, в самую рабочую пору.

Пройдя верст пять по большой шоссейной дороге, я свернул влево на проселок, отошел немного, сел покурить и задал себе вопрос:

— Куда же мне идти?..

На этот вопрос не находилось ответа. Я сидел долго... думал... Бог знает, о чем думал... Мысли кружились, порхали и таяли в голове, как первые снежинки осенью, не успевая долететь до земли.

Здесь, где я сидел, все молчало. Листья на молодых, стройных, высоких и прямых, как свечки, березках неподвижно висели и, казалось, робко и чутко прислушивались, ожидая чего-то большого и страшного.

Было тихо и мертвенно грустно. Уж чувствовалось, что дело идет «не к Петрову, а к покрову». Птички молчали... Какая-то робкая, тихая грусть заползла в душу.

Вспомнилась отрывками вся жизнь, беспорядочная, тоскливо печальная, никому не нужная.

По лазурному, беспредельно глубокому небу двигались с севера к югу тихо и медленно-величаво одинокие, похожие на горы из снега, облака...

Высоко взлетевший ястреб тихо парил в прозрачном воздухе, делая круги, забирая все выше, изредка пронзительно громко и как-то необыкновенно жалобно вскрикивая.

Около меня в траве, точно откуда-то из-под земли, неслось пронзительное чирканье кузнечика, и это однообразно-назойливое чирканье не нарушало окружающей тишины, а, напротив, навевало еще более какую-то непонятную грусть.

Так сидел я довольно долго, не зная, как быть, что предпринять, куда идти... Но идти или, так сказать, двигаться куда-нибудь, все-таки было надо.

Я встал, поправил за плечами небольшую, наполненную кое-какими вещами сумку и медленно, нехотя двинулся по убегавшей вдаль торно наезженной проселочной дороге...

Дело, как я уже сказал, было в рабочую пору. В деревнях было пусто. Попадались одни только босые, белоголовые, загорелые мальчишки, девочки-«няньки» с грудными детьми, какие-то тощие, злобно тявкавшие собачонки, общипанные, уныло бродящие куры...

Все взрослое население деревень работало. Бабы в белых рубахах торопливо жали начавшую, благодаря сухой погоде, сыпаться рожь... Мужики косили — кто еще свою, а кто нанятую траву, тоже торопясь управиться за вёдро...

Мне почему-то было очень неловко и совестно проходить мимо этих трудящихся людей...

Какое-то неприятное чувство затаенной обиды и отчужденности наполняло душу...

Несколько раз пришлось мне проглатывать нелестные эпитеты насчет моей фигуры, костюма..

— Эй ты, дикий барин, откеда убег?

Или:

— Эй ты, по хлебу резчик, продай опорки-то!..

А одна пожилая баба, жавшая около самой дороги, бросила жать, распрямила спину, заслонилась рукой от солнца, долго глядела на меня и вдруг, когда я уже

отошел от нее шагов на десять, крикнула каким-то особенным, если можно выразиться, грустно-злым голосом:

— Тоже небось женатый?.. Чай, тоже детей нарожал?.. Ждут, чай, а он — накось... Ах вы, притка вас расшиби, жеребцы стоялые!.. Тьфу! И не совестно?.. У меня вот тоже такое-то чадо невесть где землю меряет... Наказал господь... Куда идешь-то?..

Я, понятное дело, ничего не ответил и торопливо пошел дальше. Дорога пошла ельником. В лесу было сумрачно и как-то необыкновенно тихо... Ели, высокие, могучие, прямые и гладкие, стояли рядами и, казалось, в грозном молчании ждали чего-то... Дорога, вся изрезанная колеями, вероятно в весенние и осенние распутицы, пробиралась между ними, виляя и вправо и влево... Идти было неспоро и неудобно. Ноги поминутно задевали то за какие-то корни, то оступались в колеи... Между тем солнце, хотя мне его и не было видно за лесом, стало спускаться все ниже, и в лесу с каждой минутой делалось все глуше и печальнее...

Я стал еще больше поторапливаться, думая, как бы поскорее выбраться из этого леса, хотя, впрочем, и не знал — далеко ли, близко ли тянется он.

Мне, одинокому, с моими тоскливыми думами, казалось, что я уже прошел бог знает какое расстояние и что идти еще придется долго, что конца не будет этому сумрачному, так подходившему к моему душевному настроению лесу.

В одном месте дорога как-то сразу круто повернула налево и, пройдя немного по гребню глубокого оврага, пересекшего ей путь, стала круто и, так сказать, осторожно спускаться вниз.

Внизу, на дне, протекал небольшой, почти высохший за лето, ручеек. Через него был переброшен мосток, по которому, впрочем, как видно, не ездили, боясь провалиться, а ездили рядом, в объезд.

Я перешел по этому мосточку на другую сторону и, оставив дорогу влево, стал было взбираться по торной тропинке, шедшей параллельно с дорогой в гору, как вдруг совершенно неожиданно позади меня раздался голос:

— Земляк!.. Обожди... Не торопись на тот свет... отдохни...

Я быстро обернулся, вздрогнув от этого неожиданного крика, и увидал шагах в десяти от себя двух каких-то субъектов, мирно посиживающих на краю глубокой промоины, свеся в нее ноги, около небольшой корявой и хохлатой елки...

— Иди, иди сюда! — поманил меня один из них пальцем.— Курни...

Я подошел к ним.

— Здравствуйте!..

— Здорово! — улыбаясь и глядя на меня, ответил тот, который поманил.— Садись,— добавил он,— гость будешь; вина купишь — хозяин будешь. Откеда бог несет?

Я ответил, сел рядом, опустив, как и они, ноги в промоину, закурил и с любопытством посмотрел на своих новых знакомцев.

III

Один из них — не тот, который говорил со мной,— был здоровый, кряжистый, широкоплечий мужик. Лицо у него было какое-то темное, землистое, испорченное оспой, с выдающимися скулами... Начиная от самых ушей, больших и оттопыренных, росла у него жиденькая, какого-то неопределенного цвета бороденка, книзу заостренная клинышком. Усов над толстыми губами почти совсем не было, а вместо них торчала по обеим сторонам носа какая-то смешная поросль... Глаза были маленькие, «точно осокой прорезанные», с удивительно густыми, нависшими на них бровями, благодаря которым все лицо этого человека имело необычайно суровое выражение, точно он когда-то жестоко обозлился, да так и остался навсегда с выражением этой злости на лице.

Одет он был исправно. На нем была серого цвета, топорно сшитая, с талией на спине, вероятно домашнего производства, короткая поддевка нараспашку. На ногах надеты были здоровенные, тоже самое топорной работы, с короткими рыжими голенищами сапоги. На голове, несмотря на жаркое время, была надета шапка.

Человек этот сидел, облокотившись левой рукой на лежавший рядом большой, очевидно нелегкий мешок, и курил из небольшой глиняной, на коротком чубуке, с изображением человеческого лица трубки, изредка и с

каким-то необыкновенно серьезным видом сплевывая с громким харканьем прямо против себя, в промоину...

Товарищ его был совсем в другом роде.

С виду совсем еще молодой человек, лет тридцати трех, бледный и испитой, он производил сразу отталкивающее впечатление. Лицо у него было какое-то неприятно белое, совершенно гладкое, без бороды и усов... Глаза круглые, навыкате, наглые, слезящиеся, вероятно больные, потому что он ими беспрестанно моргал, как-то особенно нехорошо кривя при этом все лицо.

По углам тонких синеватых губ играла белая слюна, которую он часто слизывал языком, открывая рот, где виднелись черные, гнилые зубы...

Одет он был отвратительно. Грязная, рваная кумачовая рубашка, короткие казинетовые широкие штаны, стоптанные опорки и какая-то смешная верблюжьего цвета, с длинными козырьками спереди и сзади, вероятно подаренная каким-нибудь барином, фуражка.

Никаких вещей, кроме палки, при нем не находилось...

— Куда ж ты идешь-то? — задал он вопрос, противно улыбаясь, оглядывая меня, точно ощупывая глазами, и скаля черные зубы.— Домой?..

— У вас у обоих домов-то, знать, как у зайцев ломов,— сказал серьезный мужик и, громко харкнув, плюнул в промоину.— Идемте! — сказал он подымаясь.— Сиди не сиди, а идти надыть... время... сумерки... А близко ли, нет ли до селенья — неизвестно...

— Да я ж тебе, чудак человек, говорю русским языком: близко! Сто раз говорю... нет, все свое! Ах ты, бугай рязанский!

— Ну, тебе верить-то надо погодить,— сказал серьезный мужик и, обращаясь ко мне, спросил: — Да ты, парень, взаправду, куды идешь-то? Дела ищешь аль так, не плошь вон ентого огарка,— он кивнул на товарища,— треплешься?..

— Дела,— нехотя ответил я, стыдясь сказать правду.

— Какого?..

— Да какое придется...

— А ты что ж... мастеровой?.. Рукомесло твое какое?..

— Так... кое-какое... по письменной части...

— Прошенья, что ли, составляешь... аль как?.. Чего ж это ты... пропился, знать, а?..

— Пропился,— ответил я.

— Работа легкая, деньга шальная, ну, жир-то вас, сукиных сынов, и топит... С жиру-то, родной, как тебя звать, не знаю, собака бесится... Тебя бы под лопату... землю рыть... забыл бы, как ее и ко рту-то подносить...

— Ну, много ты смыслишь,— перебил его чернозубый малый,— ты по себе гнешь... думаешь, как там у вас, в Рязани косопузой... «Кого», «чаго», «жуть»... Сиподеры, черти! Свету не видите...«Ломай, Ванька малый»... ворочай за двугривенный в сутки... Нешто это жизнь?!. Ха!.. То ли дело у нас... Ты вот что, земляк,— обратился он вдруг ко мне,— пойдем со мной до городу... там я тебя познакомлю кое с кем... Буфетчик у меня в трактире приятель... отрекомендую... Пиши прошения чертям серым... Никто тебя не тронет... город у нас хороший... девять церквей... Дорогу вот теперь железную ведут... Этот бугай-то,— кивнул он на своего спутника,— туда идет... землю рыть... Трактиров одних,— продолжал он,— страсть!.. Три казенки... ряды... девочки — отойди, а то ослепнешь... У меня там дом свой...

— Та-а-а-к! — с ударением в голосе протянул серьезный мужик и, немного помолчав, опять протянул: — Та-а-а-к! Ври, Емеля, твоя неделя...

— Жена у меня там,— продолжал чернозубый,— хозяйство... огород... сам-то я, признаться, на фабрике живу... дети... четверо... все девчонки... Да никак скоро еще бог даст... Родятся, что ты станешь делать...

— А кто их кормит-то? — с иронией спросил его спутник.— Пушкин, что ли?..

— Кто?.. Я кормлю... родитель... Чего ты?.. У твоего стола не стоят.

— Та-а-к! Ох, и здоров ты врать, погляжу я, парень! Куда уж ты годен... погляди-кась на себя... стюдень ты рыбный... дрызг один... соплей перешибешь... Вши одни у тебя, боле ни фига... Огарок!..

Чернозубый промолчал и, пройдя довольно долго молча, сказал:

— Скоро лесу конец... Село будет Высочкино... Бо-о-льшое село!.. Трактир... казенки... чайку попить не худо, а?..

— Кто-нибудь попьет за тебя, а ты посмотришь,— сказал серьезный мужик.— Где уж тебе чаек... водицы похлебай из лужицы, и слава те господи!..

— А ты думаешь, у нас денег нет?

— Чего думать-то... не думавши видать...
— А ты в моем кармане-то был, что ли?..
— Да у тебя и кармана-то нет... Погляди-кась, дыра одна...
— А ну тебя к черту, бугай!.. Рязань косопузая!.. Тоже «кто я»... Сволочь... серый черт!..
Серьезный мужик засмеялся.
— Не любишь,— сказал он.— Правда-то глаза колет... А ты не серчай... мне ведь наплевать на тебя... так я... для смеху...
Между тем лес стал редеть и скоро кончился. Дорога вышла в поле, на пригорок, с которого видна была покрытая дымкой необъятная какая-то даль.
Солнце, по левую от нас руку, спускалось огромным шаром за далеким бугром. Воздух был тих, прозрачен и необыкновенно чуток. Каждый звук, скрип где-то едущей, тяжело нагруженной телеги, мычанье коровы, хлопанье кнутом, жалобные звуки жалейки — все это стояло долго в воздухе и тихо, как мыльный пузырь, расплывалось и таяло...
Внизу, под горой, блестела кое-где прихотливо вьющаяся, обросшая кустами речка, а за ней, по склону отлогой горы, раскинулось большое село с каменной белой церковью и с видневшимся немного поодаль от нее огромным, похожим на дворец, барским домом.
— Это, что ль, Высочкино-то?..— спросил мужик.
— Это,— ответил молодой малый.
— Стало быть, господа тут жили... Как фамилия-то?
— Князья Турусовы,— ответил малый,— богачи стра-а-сть...
— А теперь что ж... знать, пустует хата-то?..
— Живет какая-то графиня старая по летам... да ишь еще с ней какой-то... Не поймешь, кто... двое, а прислуги держат человек двадцать... лакеи это... повара... горничные... кучера... всем отдай... Опять управляющий есть... рабочие... садовники... скотники... всякого дерьма по лопате... страсть... А около дому ты посмотрел бы... цветов одних... фонтал бьет кверху... белые какие-то бабы голышом стоят... Песочком все засыпано... чистота!.. Брось иголку — найдешь...
— Ишь ты... стало быть, полное хозяйство... Не бросает, стало быть, барыня... Ну, а для народу-то она как... милостива?..

— Ну ее к черту! — воскликнул малый.— «Милостива»,— передразнил он мужика.— Гроша не даст! Старая, черт... все думает по-старинному, как крепостные были... и приказчик такой же черт... из холуев... Лет сто ему будет... песок сыплется, а не подыхают, черти...

— Чего им подыхать,— помолчав, ответил серьезный мужик,— успеют... Житьишко ихнее не плохое... не наше с тобой... За деньгами неча ходить... бери... готовы... припасли добрые люди... Чудеса, голова! — воскликнул он, пройдя несколько шагов молча, что-то думая.— А за какой рожон, спроси, счастье-то такое хучь бы, скажем, барыне этой, а?.. Работала она... добывала?.. Мы же,— продолжал он с грустью в голосе, окинув нас глазами,— всю жизнь ворочаем, как, прости господи, черти какие... спокою не видишь... сердцем болишь, а все нет ни фига... и не будет... Ходи вот... треплись по чужой стороне... беги от своего дома... Эх-хе-хе!.. Н-да! Хлеб ноне у нас не уродился,— продолжал он, опять что-то подумав.— Из поля в поле... По нашим местам раньше все поспевает... Здесь эна жнут только, а мы до Казанской управились... Горе одно... семян не собрал... А у меня семейство... шестеро... корми их... подати отдай... то, се... а где взять? Разорваться... Нет ни фига... ей-богу! Земли вовсе мало... ни лесу, как здесь вот... ни покосу... горе! Не живем, а скулим... Земли небось одной у барыни-то этой конца краю нет? — спросил он опять, пройдя несколько шагов молча.

— Мало ли! — усмехаясь, ответил малый.— Вот лес-то прошли,— ее... все ее... Мужики утеснены — страсть! Скотину выгнать некуда... Работают ей за выгон-то дарма... пусти только, матушка... Жа-а-а-дная!.. А ты думаешь, у ней только и всего, что здесь земли-то?.. Как же! У ней, сказывают, еще в Саратовской губернии именье... двенадцать тысяч десятин. Н-да!.. Не кот наплакал...

— Двенадцать тысяч? — с каким-то даже испугом в голосе переспросил мужик.

— Двенадцать! — повторил малый.

— Ах ты, господи боже мой... двенадцать тысяч!.. А у нашего-то брата, а?.. Откуда ж эта земля перешла к ней?..

— Была царица одна,— объяснил черный малый,— Катериной звали... так вот она, сказывают, земли-то своим генералам роздала.

— За какие ж такие услуги? — спросил серьезный мужик, с удивленным попрежнему выражением в глазах.

Черный громко захохотал.

— За какие!.. Ах ты, Рязань косопузая, ничего-то ты, брат, не смыслишь!..

IV

Спустившись под гору, мы перешли по исправному новому мосту на ту сторону речки и, поднявшись немного на отлогую гору, вошли в село.

Село было большое, в две слободы, с широкой и длинной улицей... Изредка по бокам этой улицы росли старые, во время оно, вероятно по барскому приказу, посаженные, корявые, дуплистые березы. Толстые, сгнившие пни, попадавшиеся местами, свидетельствовали, что таких берез было здесь когда-то много.

Мужичьи избы поражали своим до крайности плачевным и убогим видом. Избенки эти, одна другой хуже, с маленькими черными дырками-окошками, глядели на дорогу с таким видом, как будто говорили: «Подайте Христа ради...» Все они были крыты соломой, поверх которой лежали уродливые, гнилые, черные слеги...

— Где ж здесь трактир-то? — спросил серьезный мужик.— Не видать... А должно, народ здеся не ахти как живет,— оглядываясь по сторонам, добавил он.— Ишь стройка-то — волкам жить... У нас в деревне и то не хуже, даром что лесу нет... Н-да... дела!.. Ну, где в самом деле трактир-то?.. Зайти, загубить пятачок... Испить что-то захотелось...

— Ступайте на тот конец... Там увидите: в сторонке чайная, а рядом казенка,— сказал молодой малый.— На господской земле они... и стройка от барыни... увидите...

— А ты-то?..

— А я не пойду... мне тут надо по делу к одному человечку... Прощайте!..

Сказав это, он, повидимому избегая глядеть на нас, свернул направо и, перейдя улицу, скрылся за углом какой-то полуразвалившейся избенки...

— Ах, сукин сын! — сказал, посмотрев ему вслед, рязанец.— А ведь это он, ты что думаешь, не иначе, стрелять надумал... куски собирать... Наберет, продаст... вот тебе и чай...

— Да кто он такой? — спросил я.

— А шут его знает... Говорит, фабричный. Да врет... Пристал ко мне дорогой... шли вместе... пес его знает что за человек... пропился, надо быть... врет все... Ну, а ты,— переменил он речь,— пойдешь чай-то пить? Аль у тебя тоже, не плошь его, нет ни фига?..

— Пойду,— ответил я.

— Да ты что ж, взаправду работу ищешь аль так, врешь?..— спросил он, пройдя несколько шагов молча, и, видя, что я не отвечаю, продолжал: — Да ты по крестьянскому-то смыслишь ли что?.. Ты умеешь ли за косу-то браться?.. Косить-то можешь ли?

— Могу,— опять ответил я.

— Ну, а коли можешь, чего ж ты... Теперь самое время... народ нужен... Я сам вот посматриваю тоже... думаю: приткнуться где-нибудь недельки на две поденно, гривен за семь... На земляной-то работе, будь она неладна, успею еще намотаться... не уйдет от нас... Пойдем вот вместе... Может, где не попадем ли... к попу где аль к господишкам... Тебя как звать-то?..

Я сказал и в свою очередь, обрадовавшись его предложению идти вместе, спросил:

— А тебя?..

— Федором.

— А по батюшке?

— Был Демьяныч,— ответил он и с улыбкой добавил: — Меня так все в деревне у нас и зовут... по отцу... Демьяныч да Демьяныч... Назовет кто Федором — как-то чудно, понимаешь, слышать... точно не меня зовут... ей-богу, не вру... А фамилия моя,— опять улыбаясь, продолжал он,— Груданов... Так и в пачпорте вписано... ужо чай будем пить, я тебе покажу. Груданов! — повторил он с ударением, видимо сам любуясь звучностью своей фамилии.— Федор Демьянов Груданов! — Он весело засмеялся, ударил меня левой рукой по плечу и воскликнул: — Так-то вот, друг ты мой Павлыч!.. Ты Павлыч, а я Демьяныч, так, значит, и запишем... А вон, знать, и трактир,— перебил он сам себя,— пойдем грешным делом чайку попьем... закусим... глядишь, ночуем... А там... там что господь даст... Утро вечера мудренее, а жена мужа хитрее... Так-то, друг Павлыч... Не вешай голову — не печаль гостей... Работу найдем... Была бы шея — хомут налезет!..

V

В трактире, в большой двенадцатиаршинной комнате, заставленной столами и скамейками, с загаженным полом, с паутиной по углам и царским портретом на стене, было тихо. «Гостей», за исключением какого-то, вероятно, тоже, как и мы, прохожего, сидевшего в дальнем углу и пившего чай, никого не было.

За буфетом, у окна, на стуле сидел старый, толстый, седой, с бакенбардами, хозяин и читал толстую в переплете книжку, глядя в нее сквозь большие, привязанные за уши белыми тесемками очки...

Мы вошли, поздоровались и сели к столу.

— Чайку бы нам как, почтенный,— сказал Демьяныч.

— Вам сколько? — спросил хозяин старик из-за буфета.

— Да две парочки... бараночек нельзя ли фунтик... почем у вас?

— Разные... Вам каких — сдобных аль простых?..

— Где уж, родной, сдобных... нет... нам простых... потухлее да поболе... Почем?..

— Восемь монет.

— Ну, собери... потрудись...

Старик положил книгу на подоконник, грузно поднялся, достал с полки два чайника, один — маленький — для чая, другой — большой — для кипятку, выдвинул какой-то из буфета ящик, сунул туда маленький чайник и там засыпал в него, сколько требуется, чаю и, для того чтобы чай цвет не терял,— соды.

Проделав эту штуку, он, кряхтя, нагнулся, достал откуда-то небольшой, черный, облупленный поднос, поставил на него две пузатых, расписанных золотом чашки, маленькое блюдце с четырьмя кусочками пиленого сахару и, поставя все это на край стойки, сказал:

— Потрудитесь... возьмите сами...

Демьяныч встал, взял «прибор» и поставил его на наш стол.

— Потрудитесь уж,— опять сказал хозяин,— заварите сами чай-то... вон за дверью коробка... сделайте милость...

— Можно,— ответил Демьяныч.— Сиди, мы сами...

Он сходил, заварил чай, принес чайники на стол и спросил:

— А баранки-то?..

— Ах, чтоб те пусто было!..— воскликнул усевшийся было уже на старое место хозяин.— А я и забыл... Глафира Михайловна! А Глафира Михайловна! — закричал он, обернувшись к стене позади себя, и постучал в нее кулаком.— Принеси-ка фунт баранок из лавки!..

— Ка-а-а-ких?! — раздался за стеной женский голос.

— Простых!..

Немного погодя в трактир, где мы сидели, из двери, ведущей, очевидно, из помещения, где жил хозяин, вышла старая, небольшого роста, необыкновенно толстая и тоже седая, прилично одетая женщина.

— Кому баранки-то? — щурясь, мягко спросила она.

— Нам,— ответил Демьяныч,— эво сюда давай...

Женщина ничего не сказала, подала баранки и ушла обратно.

Мы принялись за чай. Хозяин, тяжело вздохнув, сел на стул, поправил очки и углубился в чтение толстой книги. Мы молчали. В трактире было тихо: слышно было только, как жужжат мухи да бурчит в коробке кипяток...

Сидевший в дальнем углу человек закурил и, встав, пошел мимо нас без фуражки к выходной двери. Хозяин, когда он проходил мимо, поднял на него очки.

— Еще хочу,— улыбнувшись, ответил на его взгляд человек и, громко хлопнув дверью, скрылся за ней.

— Выпить, надо полагать, пошел? — догадался Демьяныч и как-то подозрительно посмотрел на меня.

Я помолчал.

— Уж не иначе как выпить,— все так же глядя на меня, повторил он.— Немного коли... она не вредит... на пользу... Ты пьешь?..

— Пью... А ты?..

— Гм!.. Избаловался... Допрежь, было время, меня к кабаку-то на аркане не дотащишь, а теперь на аркане не оттащишь... На все время... Я годов с тридцати и пить-то ее приучился, а то в рот не брал... ей-богу, не вру!.. В кучерах жил в Москве... барин избаловал... Как же быть-то,— перешел он сразу к делу,— мы не сгадаем?..

В это время в трактир возвратился вышедший выпить человек. Проходя мимо нас, он усмехнулся и подмигнул глазом.

— Выпил? — спросил Демьяныч.

— Вот! — ответил человек.

Он прошел в свой угол, наклонился там под скамью, достал какой-то длинный белый сверток трубкой и, подойдя к нашему столу, сказал:

— Картин не продам?..

— Каких картин? — спросил Демьяныч.

— Вот гляди... портрет! — Он развернул трубку и показал портрет литографской аляповатой работы.

— Много ль за такой? — прихлебывая чай, спросил Демьяныч.

— За сотку отдам...

— Что больно много?.. За сотку... Эк ты!..

— Много?.. Чудак... Ты гляди, работа какая... краски одни чего стоят! Ну, вот что, для почину хошь вместе с самой за половинку?..

— Не надыть... На что мне?

— Чудак!.. В избе повесить... Украшение!.. А то вот купи,— не унимался разбитной выпивший человек,— вот гляди: «Епиха, что едешь тихо», вот «Голубая корова», вот «Лантух», а то божественные есть... вот тебе жизнь и страдание святой великомученицы Варвары... Серафима вот... купи!..

— Да ну тебя! До картинок ли нам... Ты вон кому продавай,— хозяину...

Торгаш молча свернул картинки, как они были, в трубку и отошел к своему столу. Сидевший за буфетом хозяин, вероятно утомившись читать, громко вздохнул, отложил на подоконник книгу и, подняв на нос очки, спросил:

— Вы что ж... куда идете-то?.. Дальние?

— Да вот ищем, почтенный, работенки... не попадет ли, мол, где подходящая,— ответил Демьяныч.

— По какому же вы делу?.. Какой работенки?

— Да какой придется... Покосить бы вот остались... аль еще что... Где бы вот на барский двор... аль у попов не надо ли?.. Не слыхать ли где?.. Здесь вот на барском дворе не возьмут ли?..

— Нет, здесь не надо,— помолчав, ответил хозяин,— здесь не возьмут... Здесь свои, годовые, и зиму и лето живут... А вы вот что... научу я вас... сходите вы в одно местечко... верст эдак, сказать не соврать, с десяток отсюда... На хуторе... купцы там живут... столоверы... У них вот останетесь косить... это я знаю за наверное... Третьевось сын приезжал... хозяин молодой... так сказывал,— чай он

у меня пил,— и не начинали, говорит, путем косить-то... Ишь людей нету... не найдут... Знамо, теперь где найти... рабочая пора... все за свое бросились... Ступайте вот к ним, останетесь...

— А что за народ? — спросил Демьяныч.— Обману не будет?..

— Народ... Ничего... Сын-то, признаться сказать, непутевый, и пьет, и курит... Ну, да не он хозяин... А вам что, вам отработал день — подай денежки...

— Знамо,— согласился Демьяныч.— Ну, как же, Павлыч, а?.. Завернем?

— Что ж, можно,— согласился я.

— Утречком пораньше и ступайте по холодку,— сказал хозяин.

— А где бы нам здесь ночевать приткнуться? — спросил Демьяныч.

— Да вот у меня и ночуйте,— ответил хозяин.— Места хватит, весь трактир пустой... По две монетки всего и возьму с вас... Покой зато... на любой скамейке ложись... Пачпорта-то есть у вас?..

— Как не быть... есть...

— Ну, вот и ладно... ночуйте...

Он замолчал и снова принялся за чтение. Торгаш картинками собрался и, отдав за чай, попрощался и ушел...

Мы сидели молча. Пили чай, макая в него засохшие серые баранки. Огромные старинные почерневшие часы, висевшие на стене за стойкой, громко щелкали, и маятник лениво и редко однообразно падал вправо и влево.

Солнце село, и в пустынную большую комнату трактира тихо и как-то печально медленно стали заползать сумерки.

VI

— Пожевать бы нам чего-нибудь,— сказал Демьяныч,— сомовинки нешто фунток, а? — и, не дожидаясь моего ответа, спросил у хозяина: — Сомовина-то есть?.. Почем?..

— Дорога она стала... тринадцать монет... Вам сколько?..

— Ошпарь фунток... А мы,— он опять обратился ко мне,— пойдем пропустим по махонькой... Не заперто небось?..

— Чай, нет,— сказал хозяин.— Да вам и ходить нечего... у меня есть... Вам сколько... Половинку?..

— Да у тебя небось дорого?..

— Всего три монетки лишку... Зато здесь выпьете, не торопясь... не по-собачьи.

— А-у! — согласился Демьяныч.— Не говори, почтенный, безобразие эта самая казенка... Пей, голова, аки сукин сын, на улице из горлышка... Летнее время туды-сюды, а зимой-то... беда!

— На что уж хуже,— согласился хозяин и опять, как и давеча, постучал в стенку и крикнул: — Глафира Михайловна! А Глафира Михайловна! Поди-ка сюда...

На его зов, как и давеча, тихо и не торопясь, вошла в трактир та самая толстая женщина, которая подавала нам баранки, и войдя, молча остановилась у буфета, вопросительно глядя на хозяина.

— Принеси,— сказал он ей,— фунт сомовины да полфунта *товару*.

Женщина молча повернулась и вышла.

— Хозяйка? — спросил Демьяныч.

— Она.

— Как торговлишка-то у вас... ничего?..

— Плохо.

— Дом-то твой?

— Нет.

— Чей же?

— Барский.

— Как же ты тут торгуешь... сымаешь, что ли?

— Нет... служу за жалованье...

— О-о-о!.. Как же так?.. Чудно! На отчете, стало быть?

— Какой отчет... нет, так я... Я, любезный, всю жизнь служу... вот какой еще был, через порог на карачках лазил — с тех пор служу... Всю жизнь у одних господ... Из крепостных я.

— А-а-а,— протянул Демьяныч,— из холуев, значит?..

— Из дворовых,— поправил его хозяин и опять, помолчав, повторил: — Всю жизнь служил... н-да!.. Теперь мне вот седьмой десяток на исходе, а все служу...

— А много ль за бесчестье-то? — полюбопытствовал Демьяныч.

Хозяин махнул рукой и нехотя произнес:

— Десять целковых...

— Ма-а-ло... десять целковых... чего тут!.. А харчишки-то... неужели свои? — и видя, что хозяин не хочет отвечать, спросил: — Чай, доходишко есть?..

Хозяин и на это ничего не ответил. В это время пришла толстая женщина, принесла кусок ржавой сомовины и в таком же небольшом чайнике, из которого мы пили чай,— водку.

Бросив кусок сомовины на стойку буфета, она подошла к нам и поставила принесенный чайник на стол перед нами.

— Ло-о-о-вко! — сказал Демьяныч, открыв крышку и понюхав из чайника.— Первый сорт!..

Между тем хозяин принялся готовить для нас закуску. Прежде всего он изрезал сомовину на мелкие куски, потом положил эти куски в какую-то металлическую посудину, вышел из-за буфета и, ошпарив рыбу из-под крана коробки, прикрыл посудину крышкой и тогда уже подал ее нам на стол.

— Не трог, постоит минут пять,— сказал он.— Вам бы давеча перед чаем закусить-то,— добавил он, отходя за стойку.

— Знамо,— согласился Демьяныч,— перед чаем-то солененького тоже... не догадались!..

— А хлеба не надо? — спросил хозяин, подавая через стойку тарелку и две костяные вилки.— А то возьмите...

— Не надо... свой есть,— ответил Демьяныч, принимая тарелку.— И так израсходовались...

— Добудете,— произнес хозяин и, пододвинув стул к самому окну, снова принялся за книгу...

VII

— Что это ты, почтенный, гляжу я, читаешь все? — спросил Демьяныч после того, как мы с ним выпили и закусили страшно соленой, отрывавшейся от кусков слоями, похожими на мочалу, сомовиной.— Занятно, знать?..

От выпитой водки Демьяныч покраснел. Глаза у него заблестели, и он сделался вдруг какой-то чудной, до крайности любопытный и болтливый...

Он встал с места и подошел к стойке, облокотился на нее и опять спросил:

— Про кого ж это ты читаешь, а? Толстая книжонка-то... не скоро осилишь... божественная... аль так?

— Божественная,— ответил хозяин.— Разное тут... книга сурьезная... тут все есть... как спастись... как молиться надо... про церковь... о таинствах... о том, что есть образ и подобие божие в человеке... все есть... книга богатая...

— Почитай-кась что-нибудь, от нечего делать я послушаю... Я любитель...

Хозяин, очевидно и сам любитель, охотно согласился.

— Вот слушай-ка,— сказал он,— я тебе про церковь прочту. Что значит церковь и как ее почитать надо... в старинных, брат, книгах об этом писано было святыми отцами... Н-да!.. Вот: «Вне церкви нет спасения,— начал он протяжно и несколько в нос.— Правило. Аще кто учит дом божий, рекше церковь, преобидити и не радити о ней, ни собиратися в ней во время молитвы на пение, да будет проклят...»

— О господи Исусе,— произнес, вздохнув, внимательно слушавший, но, очевидно, думавший совершенно о другом, Демьяныч,— проклят... да-а-а!.. Ну!..

— «Не удаляйся церкве,— продолжал хозяин, перевернув страницу.— Ничто же до церкве крепчайше, упование твое церковь и спасение твое церковь, небес вышши есть, камения твердейши есть, земли ширши есть, никогда же стареет, присно юнеется...»

— Сверни-кась, Павлыч, покурить! — обернувшись ко мне, сказал Демьяныч.

— «Вопрос...— между тем продолжал хозяин.— Что есть церковь соборная? Ответ. Церковь соборная есть...»

Он хотел было читать дальше, но в это время в трактир опять вошла толстая Глафира Михайловна и сказала:

— Там в лавку Марья Цидилина пришла... просит восьмушку чаю на стенку... Как ты велишь? Плачет... для «шпитонка», говорит... Хуже ишь девчонке-то...

Хозяин нахмурился, помолчал, что-то думая, отложил книгу в сторону и сказал:

— Всех слез не утрешь...

— Так как же велишь,— помолчав, снова спросила толстая женщина,— не давать, значит?.. Жалко девочку-то... ишь чайку, сердешная, захотела, а нету...

— Ну, дай уж,— сказал хозяин,— жалостлива больно некстати... Скажи: последний раз. Тому дай, другому дай, а придет время платить — нет никого... Кланяйся за свои-то денежки...

Толстая женщина ничего не ответила на его слова и молча вышла.

— Это про какую же она девочку баит? — спросил любопытный Демьяныч.

— Тут одна есть,— нехотя ответил хозяин,— больная... отец избил...

— Отец? — переспросил Демьяныч.

— Да... шпитонок она... Своих четверо... бедность... пьет отец-то... Ну что уж!.. Избил девчонку... а за что?.. Плюнуть все и дело-то... Пошла девчонка в лес по малину с подружками... пошла-то босиком... разумшись... Пришла домой вечером, а отец выпимши... увидал ее: «Где была?» — «По малину ходила...» — «А полсапожки-то где... потеряла?..» И надо же, любезный, такому греху быть: забыла девчонка — надевала она полсапожки аль нет... Оробела... заплакала... А ему того, должно быть, и надо было... осатанел... начал колотить ребенка... бил, бил так-то... мало все... взял, сукин сын, завернул ей подол-то на голову, да и давай веревкой вожжевой жучить... До того бил, замертво уж девчонку-то суседи прибежали, отняли... Теперь вот больная лежит... в больницу возили... Доктор ишь сказал, что жаловаться будет на него... Да, стоит поучить... его бы так-то... А полсапожки-то после, спустя короткое время, и нашлись... валяются под скамейкой...

— Ишь ты,— произнес Демьяныч, качая головой.— Греху, знать, так уж и быть... Враг все... все он...

— Враг-то враг,— согласился хозяин,— да и народ-то тоже стал... Ох-хо-хо! Нагляделся я... наслушался... бога забыли... правды ни в ком нет... особливо молодые... избаловались... водку жрать... обмануть... облаять... за бутылку отца родного продадут... Нехорошо!.. А почему? Потому все, что страху нет... трепету никакого нет... сами себе большие... Слова не скажи, сейчас матерно, а то и в рыло... У нас вот, тут в селе, недавно какой грех случился... говорить-то страшно... ей-богу... Мальчишка, лет эдак двенадцати, пастуха зарубил... Да ведь как обстряпал-то — большому впору...

— Ой, батюшки мои,— воскликнул Демьяныч,— как же так... до смерти зарубил?..

— До смерти! — усмехнулся хозяин.— Чего тут до смерти... всего изрубил... страсть!..

— Что ж это ему вздумалось?..

— А по злости... не смей ишь его трогать... Пастух-то его колотил... учил... баловник мальчишка-то... настойчивый... Он ему так, а он по-своему... Взял раз, пока пастух завтракать ходил, да всю скотину в барское яровое и заладил... Ну, известное дело, за это не хвалят... Прибежал пастух, да вгорячах-то его и поколоти, да и скажи со злости-то: «Зарежу я тебя». А он будто ему на эти слова ответил: «Я тебя, старого черта, скорее зарежу»... Ну, хорошо. Прошло эдак немало время, слышим: «Подпасок пастуха зарубил»... Что такое?.. Думали, врут... Нет, хвать, правда... В поле на полднях и зарубил. Все обдумал зараньше... Большому так не обдумать... Топор накануне припас... унес с череду... спрятал... Поставили скотину на полдни... Пастух-то лег уснуть, а он его, сонного-то, и того... топором-то вот по этому месту, по шее, сзади... знать, он вниз ничком лежал-то... совсем почти голову отрубил... на ниточке болтается. Ногу одну отрубил, а на другой только одно мягкое место вырубил... ляжку... должно быть, пастух-то дрыгал ногами-то... как курица вон,— перережешь ей глотку-то, а она все ногами сучит... Ну, ему, знать, это страшно показалось — он и давай со страху-то ему ноги рубить... Управился, сделал дело... да с полверсты эдак и оттащил его к речке... там и бросил... Вечером, об эту вот пору, пригоняет скотину один... «А где ж Платоныч-то?» — спрашивают у него. «А шут его, говорит, знает... Ушел куда-то...» Ну, ушел так ушел... Не важность, придет... Пришло утро. Надо скотину гнать... нет Платоныча... «Где же он?» — «А шут его, говорит опять, знает! Я ему, говорит, не сторож... мне не докладывался, куда пошел... он старший... Придет... найдется... не мешок с золотом...» Погнал скотину один... по вечеру пригнал опять один... Утром опять выгонять... Опять нет Платоныча... Что за оказия?.. Пропал человек, да и на. Если, думали, загулял, так все бы в казенку пришел, а то нет... не был... Хвать, бежит бабенка, кричит... «Караул... Платоныча убили! Платоныча убили!» Где? Как? Что такое? «Пошла, говорит, по грибы... только подошла, говорит, к речке, на ту сторону перейти хотела в лес... Хвать, говорит, а он и лежит...» Побежали туда... верно: лежит... мертвый... убит... Сейчас за урядником... то... се... Подпаска этого сцопали... Он и отпираться не стал... сразу признался: «Я убил...» — «За что ж ты?..» — «За что! За что! говорит. Много старого зашло... вам какое дело?..»

— Ах ты! — воскликнул Демьяныч.— Ну!

— Ну, приехал урядник... протокол... то... се... за становым... как водится...

— Ну, что ж ему за это? — спросил Демьяныч.

— Не знаю... в город увезли, а там ишь в Москву, в исправительный дом... Не знаю...

— Да, де-е-ла! — протянул Демьяныч.— Что ж, у него родители-то живы?

— Есть отец один... матери-то нету...

— Вот небось отцу-то!..

Хозяин помолчал и потом с какой-то затаенной грустью сказал:

— Да-а-а, вот они, детки-то... Эх-хе-хе!.. Ну, так как же, ночуете у меня?..

— Надо ночевать...

— Ночуйте... ложитесь... время... Передай-ка посуду-то со стола... убрать надо... Кончили?..

— Сколько с нас? — спросил Демьяныч, передавая ему со стола посуду.

— Поутру отдадите... лишнего не возьму.

— Да мы рано.

— Раньше меня не встанете... Небось заперто... не уйдете... Ложитесь... пора запираться... время...

Он убрал посуду, запер, гремя связкой ключей, выручку и, выйдя из трактира за дверь, стал с улицы закрывать ставнями окна.

— Что же это он нас в потемках-то оставит... назаперти...— сказал Демьяныч,— аки зверей...

Окон в трактире было несколько, и одно из этих окон, ближайшее к двери, было, как в тюрьме, за железной решеткой и, как оказалось, никогда не закрывалось на ночь ставней...

Хозяин долго возился там, гремя каким-то железом об стену, и, наконец, запыхавшись, вошел в трактир и запер накрепко входную дверь здоровым, похожим на лом, железным засовом.

В трактире стало глухо, неприятно, тоскливо...

Свет, проникавший в незапертое окно, тянулся полосой по полу, по краю стойки к противоположной стене, слабо и как-то грустно освещая небольшое пространство вокруг... В дальних углах стало совсем темно, и там что-то завозилось и запищало...

— Крысы,— сказал хозяин.— Вы не бойтесь... они ни-

чего... не тронут... Их тут страсть развелось сколько... оставить ничего нельзя — сожрут... Ну,— добавил он, помолчав,— ложитесь, а я пойду поужинаю... Зайду ужо...

Погромыхивая связкой ключей в кармане, он тихо, с перевалкой вышел в ту дверь, откуда появлялась в трактир толстая женщина, и слышно было, как где-то за этой дверью, должно быть в каких-нибудь сенях, громко хлопнула другая дверь, и после этого все стало тихо...

Я отодвинул немного от стола скамейку, положил на нее в головы свою сумку и лег навзничь.

— А что же ты богу-то? — спросил Демьяныч.

Я промолчал.

— Что это ты, брат,— продолжал он,— аль нехрещеный?.. А не думаешь, *он* пригрезится?.. Простая, милый, штука... Встань, перекрести лоб-то.

— Да я еще не совсем... так лег полежать...

Демьяныч промолчал и начал тоже готовиться ко сну... Он разулся, оглядел, подойдя к окну, сапоги, положил их вместе с сумкой и портянками в головы, разостлал свою поддевку и, почесавшись и зевнув несколько раз, повторяя при этом: «Господи Исуси Христе!» — отошел немного в сторону, к переднему углу, и стал там молиться богу...

Молился он долго. Я лежал и слушал. Сначала он прочитал громким шепотом «Отче наш», потом «Богородицу», потом «Верую», потом громко зевнул несколько раз, помянул всех «сродников», всех «православных хрестьян», «государя, государыню» и после того, помолчав немного, принялся, как оказалось, за акафист богородице.

— «Радуйся, обрадованная, господь с тобою,— громко и с каким-то особенным азартом шептал он, стукая себя щепотью в лоб, в грудь, в плечи.— Радуйся, преславная и прерадованная, храме одушевленный. Радуйся, обрадованная, небу и земли равное жилище. Радуйся, благодатная, небесного класса нежненая ниво...»

Наконец, подойдя ко мне, он без передышки сказал:

— Дорога сомовина-то... Я сейчас вот молился, так высчитал — немало мы с тобой прогуляли... Клади: половинка — четвертак, фунт рыбы — тринадцать монет, баранки — восемь, чай — гривенник... Много ль за все?..

— А за ночлег-то забыл? — сказал я.

— А, чтоб тебя!.. Забыл и есть... Ну, за ночлег по три монетки... шесть, значит... Ну, считай... за половинку четвертак,— опять сначала начал он,— фунт сомовины тринадцать... много ль?

— Тридцать восемь,— сказал я.

— Тридцать восемь?.. Баранки восемь.

— Сорок шесть...

— Эна!.. Чай, клади, гривенник...

— Пятьдесят шесть.

— За фатеру шесть...

— Шестьдесят две.

— Ловко!.. Вот они, денежки-то, не видать их... плывут, аки вода, а все ни сыт, ни голоден... Значит, это по много ли с нас сойдет?

— По тридцать одной копейке...

Он замолчал и стал укладываться...

VIII

В это время потихоньку, точно крадучись, осторожно прихлопнув дверь, вошел к нам хозяин.

Он шепотом спросил:

— Спите?..

— Где спать... нет,— отозвался Демьяныч, приподнимаясь и садясь на скамейке,— не спится что-то...

— Что так?..

— Да так... дума разная... об своих думаешь... Как? Что?.. Ждут небось деньжонок... Телом-то я здесь, а душой-то дома... Дети, почтенный, задавили... плохо живу... земли мало... жмут со всех сторон, как ужа вилами, спокою ни днем, ни ночью не вижу... Сердце-то прыгает, как овечий хвост... какой тут сон! Да вот водочки-то выпил... еще хуже... А ты чего не спишь... бродишь?..

Хозяин сел на краю скамейки у него в ногах и, помолчав, сказал:

— Я все так... не спится мне по ночам... Заведу глаза эдак на час, и опять готов... нету сна... Думается тоже все, вот не плошь тебя... тоска...

— Да чего ж тебе тосковать-то?.. У тебя, кажись, все слава богу... эна колесо какое заведено... жить надо, радоваться...

— Мало ли что... у всякого свое...

— Да у тебя-то чего?.. Сыт, обут, одет, деньги небось есть... тебе чего... живи да господа благодари... Посиживай в трактире, книжку почитывай, а денежка плывет... Дети, что ли, у тебя... семейство... перекусить нечего?..

— Детей нет, а были,— ответил хозяин,— об них-то вот я и думаю, дети-то меня и доконали...

— Примерли?

— Сын-то помер, а дочь не знаю где.

— Гм... чудно... где ж она?

— А господь ее знает... Может, жива, а может — на том свете... не знаю...

— Чудно! — опять повторил Демьяныч.— Сбежала, знать?..

— Зачем бежать... взяли...

— Кто?..

— Начальство.

— За какое же дело?..

— Не знаю, милый, до сих пор не знаю... В Москве это сделалось... Давно уж время... В тот самый год, как царя Александра убили... В Москве она тогда жила... ученая она у меня была... Господа выучили... В Питере в гимназии учили... Радовался я сдуру-то... думал: «Вот под старость нам с женой утешенье...» Ан вот оно, дело-то... Да-а!..

Он замолчал и долго сидел молча, наклонившись и что-то думая. В трактире было тихо, почти совсем темно, печально и жутко... Маятник часов глухо и монотонно стукал: ра-а-аз! два-а-а! ра-а-аз! два!..

— Как в тучку канула,— заговорил опять хозяин.— Я туды, я сюды — нету! Потом уж сказали мне господа, что взяло ее начальство за то, вишь, что она с нехорошими людьми спуталась, которые против царя шли... Увезли, а куда — неизвестно... С той поры вот старая-то княжна — одна она теперь осталась — все на меня и сердита... попрекает... «Твоя, говорит, дочь-то какая... знаешь? Дурак ты, хам...» А я чем виноват?.. «Ваши же, говорю, дети ее выучили...» Сердится на меня... сюда выслала на старости лет... в трактир... «Торгуй...» А какой я торговец? Нешто мне здесь место-то... мне бы покой теперь нужен... богадельня... Всю жизнь им служил... У мужа у ее, царство небесное, в камердинерах был... в Севастополь на войну с ним ездил, муку-то видел за свою жизнь какую... Ни один, грех сказать, великомуче-

ник такого креста не нес... А вот тебе, под старость-то, и награда... «Дурак», «хам»... А! каково это?..

— Так какого ж ты, не к ночи будь сказано, черта треплешься-то коло их?..— воскликнул Демьяныч.— Взял да и ушел... Белый свет на волю дан... не прежняя пора...

— Ушел! — с унылой иронией повторил его слова хозяин.— Ушел... Куда я пойду-то от своих господ?.. После воли не ушел, а теперича куда идти? Я всю жизнь им... и родитель мой им... Всю, можно сказать, нашу кровь мы в них излили... Я верный раб был... не лукавый... И тепе́рича... и теперича...— с дрожью в голосе повторил он,— готов пострадать за них... Я с пеленок служу... они мне дороже родных... вот что... а ты говоришь...

Он замолчал, хлюпая носом... Молчал и Демьяныч, свертывая курить...

За окном стало темно, и видно было в верхнее стекло, как где-то далеко на небе горит какая-то звездочка, вспыхивая и погасая, как гаснущая лампада...

Люди холопского звания
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа...—

припомнилось мне, и от горькой правды этих слов великого поэта на моем сердце стало еще печальнее...

— Что ж это она, твоя княжна-то, от себя трактир-то держит? — спросил Демьяныч.— Аль обедняла?

— И трактир и казенка в ее домах,— ответил хозяин,— за казенку триста рублей в год получает... с трактира доход... с лавки...

— Гм! Ишь ты... жадная, знать... Не ее это, кажись бы, дело...

— Господи! — с горечью воскликнул хозяин...— Какое ее дело!.. Стыд, срамота... сердце перевертывается... Диви, нету!..

— Все мало,— сказал Демьяныч,— боится, обедняет... Князь-то давно издох?

— Как волю объявили... Как прочитал он, покойник, царство небесное, про это... грох на пол!.. Отдал господу душу... Разрыв сердца сделался...

— А-а-а! — радостно засмеялся Демьяныч.— Тошно, знать, показалось... Ишь, черти, им не по скусу это... Их

бы, сукиных детей, на наше место... Плохо тебе при нем, говоришь, было... бил?..

— Да уж что говорить! Всего было... Трепетал я день и ночь, как лист осиновый... Спаси бог ошибиться в чем,— убьет... А отец у него был, господи твоя воля, страсть!.. Отца вот моего до смерти убил...

— Вре-е?!

— Чего врать... правда... застегал плетьми до смерти... Я тогда лет десяти был... нас восемь человек детей было у отца... в углу жили... Помню, мать страсть как плакала...

— Что ж ему за это?..

— Ничего... Что ж ему!.. Он — господин... ему власть от бога дана... горячий был... Помню, уж немолодой был, а до женского естества охотник... Беседка такая в саду была... Как вечер, он туда... Уж это знай: веди к нему из села девку... Так по череду и ходили.

— Ах, сволочи! Что делали... Да-а-а!.. Укротили их, да мало... Надо бы, по-настоящему, капиталы у них отобрать... землю... Живите мол, попытайте... А то им и сейчас неплохо с денежками-то... Нахапали!.. Ну, а сын-то у тебя давно помер?..— спросил Демьяныч, чиркнув спичку и закурив погасшую папироску.

— Давно уж тоже... лет десять прошло...

— Болел, что ли?

— Удавился! — тихо и каким-то сдавленным голосом произнес хозяин.

— Вре-е-е?!

— Удавился,— повторил хозяин и фыркнул носом.— На рябине в саду... на суку...

— Ах ты, господи помилуй!.. Что ж это ему вздумалось... с чего?..

— Пил сильно... Так пил — удержу не было... вот и допился...

— Холостой?

— Женатый...

— Где ж жена-то теперь?..

— Не знаю... в Москве ишь где-то... Непутевая бабенка... трепалка... она и при нем-то трепалась с кем ни попало...

— Что ж он у тебя... по какому делу пущен был?..

— Учитель...

— Учи-и-и-тель?..

— Учитель... ребятишек учил в училище...

— Где ж ему учить, пьяному?.. Что ж, опять, видно, господа до дела-то довели?.. Где теперича господа-то эти?..

— Примерли все... Сын да две дочери были, царство небесное... хо-о-орошие были!..

— Не в родителев, знать?.. Да-а-а! — глубокомысленно, помолчав, добавил Демьяныч.— Погляжу я на тебя, не сладка твоя жизнь... вот они, дела-то... Да-а-а!..

— Как-нибудь век доживать надо,— грустно произнес хозяин.— Немного уж остается...

— Как сказать... это тоже неизвестно... на лбу не написано... Может, ты нас переживешь... Старинный народ крепок!..

— Вся власть божья,— опять так же грустно ответил хозяин и замолчал.— А тяжко,— сказал он, помолчав,— вот как — не приведи бог!..

— Что говорить,— согласился Демьяныч,— дети всякому больны... Какой палец ни укуси, все одно, а беспутные-то, неудачные — еще, пожалуй, больнее... Да-а-а!.. Нехорошо твой сынок сделал... напрасно... Смерть-то бы от него и так не ушла... Положим, он тут ни при чем... тут уж за него другой хлопочет, с рожками-то... так и винтит... шепчет на уши-то... то к одному забежит, то к другому... «сделай, да сделай...» А ангел-хранитель в те поры в сторонке стоит, плачет... подойти боится... потому отшил его черный... завладел человеком... дух свой в него пустил и доконать совсем человека хочет... душу погубить... Тут уж ничего сам с собой человек сделать не может, потому весь чужой стал... Всего он тебя, как паук паутиной муху, обмотал... не выскочишь... Да-а-а!.. Грехи человечьи... А все водочка... все она... Сказано: «кровь сатаны»... И верно! Бросать ее надо... все грехи от нее...

— Прощайте,— сказал хозяин,— мешаю я вам... вам спать пора...

— Сиди,— отвечал Демьяныч,— куда ты?..

Но хозяин ничего не ответил и, тихо ступая в потемках по полу, вышел...

— Н-да-а!.. Дела! —произнес после его ухода Демьяныч.— Видно, всяк свой чирей хвалит: «У меня больно», «Ан нет, у меня больнее»... Ох-хо-хо!.. Спишь, что ли?.. Ну, спи, Христос с тобой... Ох-хо-хо!.. Н-да!.. Что-то завтра господь пошлет?.. Чем-то обрадует?.. О, господи помилуй! Господи помилуй!.. Господи помилуй!.. Н-да!..

IX

Поутру хозяин разбудил нас до восхода солнца... Сам он уже успел, пока мы спали, развести коробку и открыть с улицы в окнах ставни... В трактире было светло и весело.

Демьяныч, шершавый, хмурый, повидимому сердитый, молча поднялся со своего логова, спустил на пол ноги, зевнул несколько раз подряд и начал, засунув руку под рубашку, «скрябать» там ногтями по голому телу, искривляя при этом рот то в одну сторону, то в другую.

— Попариться бы теперича в баньке,— сказал он,— обовшивел за последнее время... Потеешь дорогой-то... А что, почтенный,— обратился он к хозяину,— где у вас тутотка... рыло бы вот сполоснуть, а?..

Хозяин показал рукой на дверь:

— Там, на дворе, кадка с водой под капелью... мойся!..

— Пойдем,— обратился ко мне Демьяныч.

Светлыми, чистыми сенцами, одна стенка которых была бревенчатая, с дверью, обитою клеенкой, очевидно в квартиру хозяина, другая — тесовая, с оконцем на улицу, мы вышли на обширный, крытый дранкой двор...

Широкие ворота налево от крыльца были открыты настежь, и хозяйка, вчерашняя толстая женщина, подтыкав юбки, в опорках на босу ногу, выгоняла из них на улицу, где слышно было уже блеяние овец, хлопанье кнутом, звонкое ржание жеребенка, двух сытых, не желавших, повидимому, уходить со двора, коров...

— Но-о-о, матушки, но-о-о!..— кричала она на них звонким голосом, махая хворостиной.— Но-о-о!..

Несколько штук кур с петухом бегали за ней, ожидая, очевидно, обычной в это время порции корма... По балкам порхали друг за дружкой и ворковали голуби... В открытые ворота то и дело влетали и вылетали ласточки... Привязанная на цепь толстая собака, увидя нас, принялась лаять каким-то хриплым, с переливами, злобным лаем...

— Вам кого? — спросила хозяйка.

— Да вот насчет... умыться бы где тут... хозяин послал,— ответил Демьяныч.

— Вот кадка-то, мойтесь со Христом... вода хорошая... капельная... с крыши... громовая... Помогите-ка мне коров согнать.

— Сейчас! — обрадовался Демьяныч и, схватив тол-

стую палку, бросился, вытараща глаза, на коров и заорал:

— Но-о-о, окаянная сила, растуды вас, но-о-о!.. Набаловались, черти!.. Но-о-о!..

Поджав хвосты и как-то сгорбившись, бросились перепуганные коровы в ворота на улицу к проходившему в это время мимо трактира, по дороге, поднимавшему пыль стаду.

Пастух, без левой руки, с кнутом на плече, как змея, извивавшимся позади него, шел впереди, а два подпаска — по сторонам. Проходя мимо трактира, пастух увидал хозяйку, стоявшую вместе с нами у ворот, и крикнул:

— Михайловна! Коровам твоим я ноги перешибу... Избаловались!.. Как чуть прозевал — ищи в барском яровом, а приказчик меня за них матерно садит... Черти, баловницы, а не коровы!..

— Зайди ужо в обед, Иван Палагеич, к нам... Зайди, батюшка! — крикнула ему на это хозяйка.

— Ла-а-адно! — ответил пастух.

— Сорвать, знать, хочет? — догадался Демьяныч.

— Изгадит коров, что станешь делать с ним? — обратилась хозяйка к нам, как будто извиняясь.— Такой-то разбойник он у нас... живорез... убьет... ищи на нем!..

— Что ж это ты его Палагеичем-то зовешь, а? — спросил Демьяныч.— Чудно, голова! «Палагеич»... по матушке...

— Так уж его прозвали... не знаю... Ну, я ворота запру... умывайтесь...

Она прикрыла ворота и ушла. Мы умылись из кадки, до краев наполненной водой, и пошли было снова на крылечко в коридорчик, как вдруг на дворе, где-то в углу, раздалось хрюканье...

Демьяныч остановился.

— Ишь ты,— сказал он,— и свинью держат... все есть... Погоди, погляжу...

Он на цыпочках подошел к тому месту, откуда раздавалось хрюканье, и, вытянув шею, заглянул в хлев.

— Ну, что? — спросил я.

— Хо-о-рош! — шепотом ответил он.— Пудов на восемь... одно сало... Лежит, как ребенок... Так, голова, на нем все и трясется, аки стюдень...

Вернувшись со двора в трактир, Демьяныч выпросил

у хозяина расческу и, причесав ею сначала на прямой пробор волосы на голове, принялся драть бороду. Это дело, повидимому, доставалось ему не легко, потому что он морщился, кривлялся и несколько раз снимал с расчески и бросал на пол выдранные волосы...

Покончив с бородой, он обернулся лицом в угол, где висели иконы, сложил пальцы щепотью, дунул на них три раза и принялся молиться богу.

— Здорово живете! — сказал он, покончив с этим делом.— С добрым утром, с веселым днем.

— Здравствуй! — ответил хозяин.— Чай-то пить будете?..

— Ох, уж и не знаю, как тебе сказать... Попить-то оно не вредит... Чай пить — не дрова рубить... Начетисто!.. Карман-то у нас с похмелья... А не опоздаем мы туда-то... к столоверам-то к твоим?..

— Не опоздаете... они завсегда дома...

— Как скажешь? — обратившись ко мне, спросил Демьяныч и, видя, что я молчу, сказал: — Ну, давай... все одно уж... пятачок-то и мы видали... Собирай...

— Ну, вот что,— сказал хозяин, собирая нам чай,— за ночлег я с вас не возьму... Бог с вами... Места не жалко... не пролежали... не возьму... Вот попейте чайку, да и с богом... Я для хороших людей и сам хорош... Я вижу сорт людей...

— Как тебе не видать,— ответил Демьяныч,— нагляделся... всякого сорту звания людей видал... Ты человек практикованный... не так, как вот мы... Мы кто? Нешь люди... Мы — гвозди... куда нас бьют, туда мы и лезем... Где нам!..

— Да,— согласился польщенный хозяин,— пожил я... пожил!.. Знаю, как земля вертится.— Он помолчал немного и вдруг тихо спросил: — Выпьете?

— Хы! — усмехнулся Демьяныч.— Ты чудишь, отец... Вечор выпили... ноне опять... эк ты! Нет, шалишь... будет... побаловали дерьмом, да и за щеку!..

— А я вам сво-о-о-его! — перегнувшись через стойку и скосив глаза на ту дверь, в которую входила хозяйка, шепотом произнес хозяин.— Будто вы спрашиваете,— пояснил он...

— Та-а-ак! — протянул, усмехаясь, Демьяныч.— Понимаем... у самого, знать, горит... Ну что ж, валяй... Мы от добра не отказываемся... грех...

— Глафира Михайловна! Глафира Михайловна! — закричал, постучав в стену, хозяин.— Принеси пол-аршина товару...

Глафира Михайловна принесла точно так же, как и вчера, в белом чайнике «товару» и сейчас же, молча поставив его на стойку, вышла...

Хозяин пообождал немного, подозрительно глядя на дверь, за которой она скрылась, и, наконец, очевидно удостоверившись, что хозяйка ушла, поспешно трясущейся рукой налил в чашку водки и жадно выпил...

— Де-е-е-ржи! — тяжело переведя дух, вымолвил он, передавая чайник с «товаром» Демьянычу.— На... пейте... скорей!..

— Спаси Христос,— хватая чайник, сказал Демьяныч,— сичас мы... в один момент... управимся, как повар с картошкой!..

Напившись чаю, мы отдали хозяину то, что с нас приходилось, и он, выйдя из трактира на крыльцо, показал нам дорогу...

— Так и идите по ней прямо... лесом все... Никуда не сворачивайте... Пройдет лес, деревня будет Сиколовка... там спросите: «Где, мол, нам к столоверам пройти?..» Покажут... Недалече там... Идите с богом... Прощайте!..

— Счастливо оставаться... Дай тебе бог много лет здравствовать! — ответил Демьяныч, снимая с головы свою вязенку и кланяясь.— Спасибо тебе, родной, за наставление... Прощай!.. Так по этой вон, говоришь, дороге-то... Прямо?

— Да... да!..

— Ну, прощай!

— С богом!..

X

Дорога, по которой мы направились, была плохая, малоезженная, заброшенная... Шла она все лесом, молодым, частым осинником, стоявшим по сторонам, как стена...

Местами этот осинник, «чапыга», по выражению Демьяныча, представлял сплошную, непролазную чащу. Идти было неловко, потому что сжатая с обеих сторон лесом дорога оставалась постоянно в тени и, очевидно, никогда не просыхала... Поперек ее стояли даже в эту жаркую пору грязные лужи из мутной, густой жижи...

В лесу было тихо, сумрачно и пахло какой-то неприят-

ной, прелой гнилью. Растущая по краям дороги трава пожелтела, пожухла, опустилась, и при виде ее как-то невольно думалось, что теперь не лето, а глухая, поздняя осень... Птиц тоже не было слышно... Только где-то сбоку дороги в чаще стрекотали сороки, точно переругивались две бабенки, да изредка — тоже где-то в самой чаще — отрывисто посвистывал рябчик...

Шли мы этим лесом часа два, если только не больше, обозлились, устали, и оба одинаково обрадовались, когда, наконец, лес стал редеть, стали попадаться поляны, покрытые густой нескошенной травой, и дорога пошла получше.

Пройдя еще немного, мы вышли прямо к яровому полю, за которым виднелась небольшая деревнюшка,— как оказалось, та самая Сиколовка, про которую говорил хозяин.

Деревенька эта была маленькая, дворов пять-шесть, и печальная с виду. Она стояла на берегу какого-то глинистого оврага и казалась вымершею или брошенною людьми; когда мы подошли к первой с краю избушке и остановились, то на улице не было видно никого...

— Спросить бы? — сказал Демьяныч.— Да не видать ни души... на работе, должно, все... Ну-кась, я постучусь...

Он подошел к окну и побарабанил пальцами в раму... Никакого результата не получилось. Из избы никто не отозвался...

— Пойдем к другой,— сказал он, подождав;— надо быть, здеся пусто... Авось, чай, найдем кого-нибудь...

Он подошел к другой избе, рядом, и точно так же постучал в раму и крикнул:

— Эй, хрещеные!.. Есть ли кто?.. Есть,— обернувшись ко мне, шепотом сказал он,— дохает кто-то... кашлит...

— Кто тамотка? — раздался из избы какой-то сдавленный (точно душили человека за глотку) голос.— Бог подаст!..

— Да мы не то... мы не милостыньку,— громко сказал Демьяныч, заглядывая в окно,— нам вот спросить надо... Поди-кась сюда...

Маленькое оконце отворилось, и из него высунулось к нам лицо старухи, страшное, худое, мертвенно бледное, со слезящимися, необыкновенно глубоко ввалившимися глазами...

— Вам кого? — прошамкала она беззубым ртом.

— Где нам тут к столоверам пройти? — спросил Демьяныч.— Укажи, сделай милость...

— А зачем вам?..

— Надо...

— А вы чьи сами-то?

— Да мы дальние... дело у нас есть...

— Какое же дело-то? — опять спросила любопытная старуха.— Вы плотники, что ли?..

— Какие плотники... нет... так мы... Скажи, где дорога-то... недосуг нам... поспехаем...

— А вы почем их знаете-то, а? Сродственники они вам, знать, а?..

— Да какие сродственники!.. Ты дорогу-то укажи... Что ты пристала, как девка с бульвару...

— Да я так,— сказала старуха.— А ты не серчай... поспешишь — людей насмешишь... Обожди чуток... я к вам на улицу выйду...

Она прикрыла оконце и немного погодя, хлопнув кособокой дверью в калитке, вышла, ковыляя на левую ногу, на улицу...

— Вон туды ступайте,— зашамкала она, махая правой рукой по направлению «вон туды»,— вишь вон дорогу-то... через овраг-то?..

— Вижу...

— Вот по этой дороге... перейдете овраг-то... лес-то видишь?..

— Вижу...

— К этому лесу по дороге-то все и травьте, все и травьте... Никуда не сворачивайте... так все и травьте... Тамотка подойдете к яму... увидите, дом стоит... на юру он... видать... Самые они тамотка и живут...

— Спасибо! — сказал Демьяныч.

— Не на чем, родимые, не на чем!.. Так все и травьте к лесу-то... так все и травьте,— снова зашамкала она.— Дом на юру стоит... не миновать... со всех сторон видать его... так и травьте... все прямо... прямая дорога...

— Спасибо, бабушка,— еще раз поблагодарил ее Демьяныч,— дойдем!.. Спасибо!..

— Не на чем, родимые, не на чем!..

Мы отошли от нее шагов на двадцать, а она все стояла на одном месте, глядя нам вслед, заслоняясь левой рукой от солнца, и кричала:

— Так все и травьте к лесу-то... так все и травьте!..

— Заставь дурака богу молиться — рад лоб расшибить! — сказал, улыбаясь, Демьяныч...

XI

Трудно было выбрать место печальнее и глуше, чем то, где был построен дом «столоверов»...

Он стоял действительно, как выразилась старуха, «на юру» и был виден далеко издали, хотя не отличался сколько-нибудь грандиозными размерами. Напротив, это был самый заурядный, небольшой, крайне печальный с виду дом.

Лицевой своей стороной он смотрел на запад и разделялся сенями на две половины. Ход в сени был устроен с небольшой терраски, где сидела, когда мы подошли, около стола какая-то женщина; вероятно, приняв нас за нищих, она поспешно скрылась за дверью. На небольших окнах левой половины дома, где, как после оказалось, жили хозяева, висели изнутри какие-то канареечного цвета занавески, а на подоконниках стояли горшки с цветущим бальзамином...

Снаружи стояли прислоненные к стене около каждого окна ставни со здоровыми железными засовами, на ночь запиравшимися на замок. Под этими окнами росли две тоненькие, чахлые березки, и больше никакой растительности поблизости не было.

Вся задняя часть дома обнесена была квадратным из здоровых, толстых досок забором. В заборе этом, или, вернее, стене, были устроены ворота, за которыми находился двор для скотины и места под навесами, где лежали всякие нужные по хозяйству вещи.

Ворота были на запоре, и из собачьей будки выглядывала здоровая злая морда, коварно молчавшая, но вместе с тем и красноречиво говорившая этим молчанием: «А ну-ка, попробуй подойди...»

Саженях в пяти от лицевой стороны дома было огорожено слегами небольшое пространство, где виднелись гряды и стояли две колодки пчел... Около этого огорода красовался пруд, похожий на лужу, заплывший тиной и поросший по краям осокой.. А немного поодаль, на луговине, стоял набоку готовый упасть сарай, крытый соломой, предназначенный для уборки сена.

Саженях в десяти от этого сарая начиналась опушка елового леса...

Темный, угрюмый, он тянулся в виде подковы с северо-запада к югу, окружая дом и придавая ему и всему местечку еще более тяжелый, тоскливый и заброшенный вид...

XII

Мы остановились около терраски и стали поджидать, не выйдет ли кто. Но никто не шел, все было тихо...

— Как быть? — шепотом спросил Демьяныч.— Постучать, а?..

— Погоди,— отсоветовал я,— кто-нибудь выйдет...

Стали ждать... Прошло так минут пять, но все было попрежнему тихо...

— Чудеса, голова,— снова шепотом произнес Демьяныч,— что ж мы тутотка докеда, аки дураки, стоять будем без толку?.. Я постучу...

Но постучать ему не пришлось. Вдруг крайнее окно на правой половине дома от сеней открылось, и высунувшаяся из него по самую талию молодая, краснощекая бабенка сказала, протягивая нам через балясник терраски два небольших ломотка хлеба:

— Примите, Христа ради!.. Не взыщите,— добавила она, улыбаясь толстыми кровяными губами,— деньгами не подаем...

— Гм! — усмехнулся Демьяныч.— Спасибо и на этом... вашими родителями довольны... Мы, красавица, не нищие... Мы по делу... Ты кто?.. В услуженье, что ли, живешь?.. Кухарка, знать?..

— Вся я тут,— засмеялась бабенка,— и кухарка, и сударка, и в пир, и в мир, и в добрые люди...

— Та-а-ак,— протянул, улыбаясь, Демьяныч.— Голой рукой, значит, тебя не бери, а обвали да бери... Та-ак... Хозяева-то где же?.. Знать, нету?..

— Сам спит, а сынок — притка его знает,— знать, по грибы пошел... Шатается без колодки орясина... Вам обождать придется... Сам-то скоро выдрыхнется... встанет...

— Что же это он спит-то?.. Неужели уж пообедали?.. Словно бы, по солнышку-то, раненько...

— У нас не раненько... Мы и ночь спим и день спим... во что только господь посылает... за простоту, знать... Вот

встанем, чайку попьем, пообедаем, опять спать... там, глядишь, опять чай... а тамотка и до ужина недалече... Так время-то и идет...

— Как же так... А кто ж работает-то? Все, чай, надо... скотину, то, се, уборка... Аль работника держите?

— Какой работник! Нету, сами... на мне все выезжают...

— Скотина-то есть у вас?

— А как же, есть,— корова, две лошади, куры, поросята, за всеми уход нужен.

— Знамо... Стало быть, поэтому землю гадите тоже, сеете...

— Где, родимый! Нет... где землю... Станут они тебе землю... нужда им... У них пропасти-то конца краю нет. В Москве два дома.

— Верно,— согласился Демьяныч,— ты это, красавица, верно говоришь, на что им?.. Ихний хлеб не наш, ихний на камушке уродится. Ну, а как же насчет покосу-то? Косите аль от своего добра покупаете, благо у дураков денег много.

— Косим.

— Много, чай, убрали?

— Куды тут много! Усадьбу одное, да и то не так, как люди,— пересушили. Вся трава некошена стоит. Нам все некогда...

— Дык как же вы? Небось косить-то надо, время, Илья пророк на дворе, люди сказывают. Небось знаешь: до Ильина дня в возу-то пуд меду, а после Ильина дня пуд дегтю.

— А притка их знает! Ишь народу не найдут, не идет ишь никто...

— Чудеса, голова! Как, чай, за деньги народу не найти, за деньги что хошь найдешь. Нас не возьмут ли?..

— А уж этих я делов не знаю. Обождите, может и возьмут. Посидите пока на приступках-то.

— А покурить можно, ничего?

— Курите, ничего. Сам-то не курит, ну, а сынок-то изо рту не выпускает, сосет, как соску, мы привыкли, курите.

— Испить бы ты нам вынесла квасу хучь, что ли бы, коли воды нет, испить захотелось, измучило пойло.

— Сейчас,— ответила кухарка и скрылась. Немного погодя она вынесла к нам на крыльцо в большом черном ковше квасу.

— Смотрите,— сказала она,— со льду, не наваливайтесь, как бы глотку не захватило.

— Вот это гоже,— сказал Демьяныч, обтирая ладонью усы,— спасибо. Ты что ж, вдова, что ли, ай как?..

— Нетути. Как вдова... Нет, у меня муж жив.

— О-о-о?! Что же это ты от него... а он-то где же?

— А притка его знает!.. Я с ним не живу... болтается где-то, пес его знает.

— Та-ак! Стало быть, детей-то нету?

— Нетути. Мы его в дом приняли... Думали, все похорошему, ан он мошенник вышел... пьет ковшом... из дому тащит... меня бьет, наказанье господне! Напьется винища-то этого, разденется донага, да по избе-то, как дьявол, и скачет, что под руку ни попадет — надвое!.. Бьет, ломает. Видала я с ним, родной ты мой, муку, видала. Раз на помолотках избил, лица на мне не было, целы сутки при смерти валялась, рычагом бил... Что было-то!.. Рассказать тебе, родной, волос дыбом встанет, истинный господь!..

— Да,— согласился Демьяныч,— что говорить, верю, плохо твое дело, ни вдова, ни замужняя жена. Баба ты, погляжу я, молодая, гладкая, небось тоже подумаковашь... трудно, чай?..

Баба засмеялась, скаля белые зубы, и сказала:

— Вашего брата много, отбою нет. Как себя пустишь,— а у меня разговор короток: в рыло!

— А то что же, знамо... Умница ты, гляжу я, красавица... Ты, значит, и стряпаешь на них?

— А то кто же? Я.

— Харчи-то ничего ведут?

— Харчи хорошие.

— С говядиной небось едите?

— Мясоед с говядиной, постом с рыбой, с грибами белыми, со снетками.

— Каша небось не переводится...

— Ну вот, дерьма-то!.. Мы ее мало едим-то... не охотники... приелась... Ты по-своему думаешь: как у тебя каша-то в диковинку... Чудак, да здесь сладким куском подавились... жрут... что душа хочет... в том и время проводят: жрут да спят... спят да жрут... Чего им!.. Денежка течет...

— Марья! — раздался из сеней чей-то женский голос.— Марья... Ставь самовар!..

— Сейчас! — ответила бабенка.— Хозяйка это,— сказала она нам,— скоро сам встанет... Да вон, правда, идет один.

— Где?

— А вон из лесу-то... с корзинкой-то... грибной бог...

— Это кто ж... хозяйский сын?..

— Он... ишь лодырь гладкий!.. Делать-то нечего... Только и делов, за грибами ходить да на вилисипеде шаркать... тьфу!.. С ним вот и толкуйте... рядитесь... дешево-то не беритесь... Ну их, дьяволов... у них денег охапка... гляди на них... кланяйся им в задние копыта... Не робейте... невелик барин-то...

Она захватила ковшик и ушла. Мы с Демьянычем поднялись со ступенек, где сидели, разговаривая с бабенкой, и стоя стали ожидать идущего к нам тропинкой из лесу, мимо сарая, хозяйского сына...

XIII

Он издали заметил нас и прибавил шагу. Когда он подошел, мы сняли шапки и поздоровались.

— Вы что за японцы? — спросил он, не отвечая на поклон.— На погорелое место, что ли?.. Отчаливайте!.. Прохожие толсторожие!..

— Мы, купец, не на погорелое место,— ответил Демьяныч, держа в руках шапку,— мы к вашей милости по делу.

— По какому?

— Сказывали нам, косить нанимаете... Народ ишь нужен...

— А вы что ж... взялись бы?..

— За этим и пришли...

— А где ж у вас косы-то?..

— Кос у нас нету... Косы ваши...

— Хы, чудно!.. Да вы чьи?.. Вы, может, жулье какое-нибудь... паспорта-то у вас есть?..

— Как не быть... есть...

— А ну-ка, покажи...

— Далече лезть-то... в сумке...

— Ничего... слазий... подождем...

Демьяныч снял сумку и начал развязывать ее... Хозяйский сын уставился на него, а я, стоя немного поодаль, на него.

Это был замечательно стройный, красивый, широкоплечий, очевидно обладавший недюжинной силой, молодой малый лет двадцати. Лицо у него было худощавое, белое, чистое, с легким румянцем на щеках... Глаза — круглые, большие, совершенно черные, под черными бровями — горели точно угольки и были какие-то и дерзкие. и наглые, и страшные... Под тонким с легкой горбинкой носом росли небольшие черные усики... Тонкие румяные губы улыбались насмешливо-ядовито...

Одет он был по-русски. На нем был хороший черный пиджак нараспашку, под ним синяя с вышитым воротом рубашка навыпуск, подпоясанная шелковым плетеным с кистями поясом... На ногах гамбургские с икрами сапоги; на голове самый обыкновенный, помятый, с засаленным козырьком картуз.

Демьяныч достал завернутый в синюю чайную бумагу «вид» и подал ему. Он взял, прищурился и начал читать.

— Рязань косопузая,— сказал он, подавая «вид» обратно.— А ты,— обратился он ко мне,— что за гусь?.. Пропился, что ли?.. Ты, брат, чисто какой-нибудь актер... Ха, Аркашка!.. Ну, ладно... подождите тут, я папаше скажу... Небось останетесь... нам косить надо... подождите...

Он вошел по ступенькам на крыльцо, отворил дверь в сени и громко запел:

Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края,
И будешь ты царицей мира,
Подруга вечная моя!

— Эка глотка-то! — сказал Демьяныч.— А похоже — угар парень-то... видать доброго молодца по соплям... Остаться бы нам здесь, вижу я, парень, не худое бы дело... Да-а! Ну, давай посидим еще... обождем...

Мы опять сели на ступеньки и стали ждать.

XIV

Ждать пришлось недолго. Вскоре к нам вышли оба хозяина, старый и молодой...

Старый, очевидно, только что встал и не успел еще одеться. Он вышел в одном нижнем белье, в резиновых калошах на босу ногу. Волосы на голове у него какого-то

палевого цвета, редкие и жидкие, были всклокочены. Лицо — пухлое, белое, бабье, без признака растительности, кислое и обрюзгшее, с оттопыренной, как у старого мерина, нижней губой, с круглыми без бровей глазами — составляло необыкновенно резкий контраст с лицом тут же стоявшего молодого хозяина... Разница была во всем, и чудно как-то было думать, что такой молодой, красивый парень — сын этого обрюзгшего человека с бабьим лицом и мертвенным взглядом белых глаз.

Увидя их, мы опять встали и, опять сняв головные уборы, поздоровались...

— Здорово! — ответил старый хозяин на наш поклон и присел боком на «балясник» терраски, опустив глаза на пол.— Вы ко мне? — немного помолчав, спросил он, не глядя на нас и таким тоном, как будто у него что-то лежало за скулой и мешало говорить...

— Точно так-с... к вашей милости,— ответил Демьяныч.

— Сказывал мне Николка вон,— кивнул он на сына,— косить набиваетесь?

— Да как сказать... набиваться мы шибко не набиваемся... нам нужды особой нет,— не желая продешевить, дипломатично ответил Демьяныч.— Ну, а если дело подходящее,— покосить можно.

— А вы как... поденно?..

— Поденно. Нам на отряд взяться нельзя... есть-то что же мы станем? Кто нам состряпает? Мы, коли возьмешь, поденно, на твоих харчах.

— Ну, а как вы... цена-то?..

— Да как цена... лишнего не возьмем... Положь семьдесят пять монет — со Христом и начнем...

Хозяин поднял свои мертвые глаза с полу и уставился ими на Демьяныча.

— Дешево! — сказал он, помолчав.— Хы!..

— Ну, а твоя как цена? — спросил Демьяныч.

— Моя?.. Моя — три гривенника.

— Эх ты!.. Богат будешь... коси сам за эту цену... теперешнее время баба и та больше добудет... рабочая пора... Три гривенника?.. Ты чудишь, купец...

— А харчи-то? Харчи-то не кладешь... забыл?.. Чего вас этаких прокормить-то встанет, а?..

— А пустое для тебя дело... Хлеба, что ли, у тебя не хватит? Чай, мы не обжоры... небось, не голодны... Не

накинемся на твою хлеб-соль... не объедим... Ты говори дело... клади цену настоящую, а то нам тутотка и трепаться не у чего попусту...

— Сорок монет... два раза чай...

— Не подойдет!

— Косы-то мои... бить станете... сточите... это надо принять в расчет...

— А что им делается-то... Мы их, скажи спасибо, наладим, а то небось лежат без призрения, ржавые...

— Так-то оно так... Ну, так как же... по сорока не остаетесь?

— Нет.

— Николка, как быть, а?

— Как быть,— грубо и не глядя на него, ответил сын.— Косить надо... Я, что ли, тебе косить буду?.. Оставайтесь по шести гривен, да и вся недолга! — обратился он к нам.

— Прибавь по пятачку,— сказал Демьяныч,— так уж и будет,— пояснил он,— по шестьдесят по пять... а?.. Прибавь?..

— А ну тебя к чертовой матери! — крикнул вдруг, как-то весь покраснев, молодой хозяин.— Ступай к черту на рога, Рязань косопузая!

— А ты не серчай... чего ты... Наше дело такое... рядись, не стыдись, опосля не кайся... Ты — свое, мы — свое... У тебя, чай, денег-то не с наше... пятачок-то для тебя все равно плюнуть стоит.

— Толкуй, кто откуль... ишь ты химик какой... мяконький, ты, я вижу... себе на уме с походцем... А ты вот что: хочешь оставаться за шесть гривен — оставайся, не хочешь — ступай к черту... Прогоним, да еще по шее на дорогу получишь... как сюда ходить, позабудешь... У меня, брат, это недолго.

— По шее-то нонче, купец, не велят... ответишь...

— По первое число накладу и отвечать не стану... Наставлю банок — иди проси!..

— Хи-хи-хи! — засмеялся Демьяныч.— Ловкий ты... смотри тоже... наскочишь!..

— А ты поговори у меня! — снова еще больше вспыхнув в лице, сказал молодой хозяин.

— Николка, брось! — скосив на него глаза, сказал старый.— Свяжись еще, сукин сын!..

— А какого он черта разговаривает-то! «Семьдесят

пять»... Ах ты, вшивый черт! Ей-богу, в рыло закачу!.. Скажи еще слово!..

— Ну, так и быть, за шесть гривен останемся, Павлыч, а? — сказал Демьяныч, обращаясь ко мне.

Я кивнул головой.

Хозяин скосил на меня глаза и, посмотрев, спросил:

— Ты не из духовных ли?

— Нет...

— Косить-то умеешь?

— Да уж не сумлевайтесь,— ответил за меня Демьяныч.— Косить будем... тебя учить не заставим... Нонче вот опосля обеда и начнем со Христом... Косы-то небось побить надо... наладить... то... се... Молоток-то с бабкой, бой-то — есть?..

— Найдется все... оставайтесь... Николка, проводи-ка их в кухню... Сумки-то там оставьте... А спать-то ночью в сарай вон в тот ходить будете... Да только, смотрите, не курить... спалите... чего с вас взять-то?..

— Ну, вот... небось не махонькие!.. Не сумлевайся... у нас все будет по-хорошему...

— Ну, ладно... ладно... Ступайте... Николка, укажи им... скажи там Машке, чтоб собрала им... жрать небось хотят...

XV

Вслед за Николкой мы вошли в коридор, разделявший дом на две половины. В бревенчатой стене налево была обитая клеенкой дверь, ведущая, как оказалось, в помещение, где жили хозяева... Другая же стена, по правую от нас руку, была глухая, из тонкого, плохого леса семерика, до того плохо и небрежно проконопаченная, что в некоторых местах из пазов висела клочьями грязная, самого низкого сорта, дешевая пакля.

В коридоре было полутемно и сильно пахло навозом. Запах этот шел со двора, под навес которого и выходил этот коридор.

Пройдя его весь, Николка завернул за угол стены направо и, сделав шагов пять по узенькому с балясником на двор мосточку, отворил низкую из толстых почерневших досок дверь; нагнувшись, он переступил через порог и сказал:

— Пролезайте, японцы!

Мы тоже, нагнувшись вслед за ним, переступили порог и очутились в низкой с черным потолком избе.

Свет, проникавший с улицы сквозь небольшие оконца с какими-то перламутровыми квадратными маленькими стеклами, нехотя, скупо освещал ее и не веселил, а как будто придавал ей еще более неряшливый вид, чем она была на самом деле.

Огромная облупившаяся русская печка, служившая, очевидно, местом склада для всякой всячины, занимала половину избы. Сбоку этой печки были приделаны на козлах полати, так называемая казенка, на которой валялись разного рода грязные тряпки, старые от хомута клещи, огромный резиновый ботик, рваный, с облезшим мехом нагольный полушубок, топор, рыжая, свернувшаяся клубком кошка, обмызганный половой голик, покрытая тряпкой квашонка, коровья доенка и еще что-то большое, покрытое рогожей.

Грязный пол был собран не из досок, как обыкновенно, а из плохо обтесанных тонких, похожих на слеги, и, очевидно ради экономии, осиновых бревешек.

В переднем углу, как и водится, висели в каком-то угольничке, похожем на китайский домик, черные доски, на которых от копоти и пыли совершенно не было видно никаких ликов. Перед этим китайским домиком висела на цепочке лампадка в виде той чаши, из которой поп причащает в церкви православных. Под этой лампадкой висело большое яйцо с изображением на одной стороне адамовой головы и с надписью на другой: «Христос воскресе!»

Под домиком и лампадкой стоял большой, с двумя выдвижными ящиками, изрезанный по краям, точно парта в школе, неопрятный, плохо вымытый стол. На нем стоял с краю огромный, пузатый, напоминавший своим видом католического монаха, самовар и лежала наполовину отрезанная толстая редька вместе с черной теркой, на которой, по всему вероятию, терли эту редьку для хлебова.

«Несосветимая сила» (по выражению Демьяныча) мух жужжала, как рой пчел, и назойливо лезла и в рот и в нос, и бродила тучей по столу, по стенам и везде. Какое-то отвратительное протухшее блюдо — должно быть, мухомор — стояло для них на тарелке, но, повидимому, не достигало цели, ибо мухи совершенно свободно целым обществом лазили по нему, нисколько не думая о злоехидной цели, с какой оно было поставлено.

По полам и щелям стенных бревен сидели тараканы-прусаки и ждали минуты, когда в свою очередь могли целым войском выступить на фуражировку. Для них, так же как и для мух, было приготовлено блюдо, хотя и в другом роде: все стены, потолок, печка были испещрены белыми пятнами, сделанными при помощи заячьей лапки «тараканьим морилой», или, как в иных местах он зовется, «тараканьим богом».

По словам «морилы», к пятнам этим «спаси бог дотронуться, подохнешь!..» На деле же это простой мел, и действует он на тараканов, повидимому, самым благоприятным образом...

В кухне тяжело и угарно пахло хлебами, очевидно сидевшими в печке.

— Здорово живете! — сказал Демьяныч, дунув на пальцы и перекрестившись в угол.

— Здорово, Рязань! — насмешливо ответил Николка, садясь к столу на скамейку и оглядывая нас своими красивыми дерзкими глазами.— Кладите добро-то под лавку, никто не украдет, садитесь, милости просим, гости дорогие; только хотели в лапоть накласть да за вами послать, а вы сами жалуете.

— А ты, купец, не смейся,— усаживаясь на скамью, сказал Демьяныч,— мы не Христа ради, не надо — не бери, уйдем.

— Ну, ну, ваша светлость, Анна Павловна, королева Нидерландская!..

— То-то, ну-ну... Ты язык-то свой сокращать должен, насупротив себе во всем делать должен. Ты ведь человек — не с нами сравнять, неловко тебе эдак-то.

— Ну, ну, помалкивай, не твое дело. Всякое дерьмо учить станет! Профессор какой, граф Толстой пришел. Ты мне, брат, лекции-то не читай, а то у меня живо за ноги да об угол.

— Та-ак! — протянул Демьяныч.— Тише, военный, портки разорвешь. Ну-кась, красавица,— обратился он к кухарке,— сзади коса, спереди шире колеса, собери-кась нам похлебать, нет ли у тебя чего-нибудь...

— Дай им пахтанья,— скаля зубы, сказал Николка,— пусть жрут, все одно поросятам выльешь.

— Ну, уж это ты сам хлебай с поросятами-то,— сказал, обидевшись, Демьяныч,— я постарше тебя, зубы-то лупить неча.

— О-о-о?!.

— Вот те и о!..

— Хотите, похлебки налью? — сказала кухарка.— Каша есть, день-то постный, пятница, варила-то я мало. Редечки, не хотите ли, потру, с квасом похлебать холодненького.

— Гоже это, потри, будь друг, квас у вас, аки мед, к губам липнет.

Кухарка, с засученными по локоть толстыми, здоровыми руками, взяла со стола редьку за хвост и, пообчистив ножом кожу, начала тереть толстым концом об терку с усердием, достойным лучшего дела.

Скоро на столе под теркой образовалась куча белой пахучей массы. Она ссыпала ее пригоршней в чашку, помяла железной ложкой и сказала, обращаясь к нам:

— Вам сюды снеточков не подпустить ли с лучком, аль не любите?

— Подпусти, подпусти! — торопливо произнес Демьяныч.— Худое дело молоко с пенкой. Помаслить не забудь. Мы все съедим,— не господа.

— Да уж что ваше дело,— сказал Николка,— наша невестка все трескает, мед и тот жрет.

— И нет — ждет! — добродушно добавил Демьяныч.

Вскоре редька была готова. Кухарка достала с бруса покрытую полотенцем краюху хлеба и, наставив один конец этой краюхи в живот, отворотила от нее ножом для нас два огромных ломтя хлеба.

— Эк ты, голова,— произнес Демьяныч,— на малашкину свадьбу, что ли?.. По эстольку хлеба есть — жену запросишь...

— Кушайте на здоровье, у нас хватит.

— Знаем, что хватит, дай бог, хватало б, я не про то. Набалуешь себя, боязно. Здесь-то по горло вон лезет, а домой-то придешь — перекусить нечего. Вот об чем, милка, слепой-то плачет...

— Да-а-а, прокормить вас тоже, мое почтение,— сказал Николка,— встанет в копеечку, небось жрать начнете — давай только, за ушами пищит...

— А ты, я вижу, купец, ложкой кормишь, а черенком глаз колешь. Эх-хе-хе!.. А ты бы умен-то был, взял бы, давно догадался, пошел бы да нам по баночке вынес. Перед начатием-то оно, глядишь, и, боже мой, как бы

хорошо вышло!.. А ты вот сидишь да языком треплешь, а чего им трепать-то...

— А любишь ты, должно быть, выпить-то?..

— Ну вот, худое дело, небось не откинем!..

— А что в ней проку-то,— вступилась кухарка,— погибель. Стаканчики, рюмочки доведут до сумочки!..

— Ну, нас нечего доводить, у нас и так доведено до дела. Вот придет зима, надевай на бок-то набедренник, да и того: «Подайте Христа ради...»

Николка засмеялся.

— Ах ты, Рязань косопузая! — сказал он и, поднявшись со скамейки, вышел из избы...

XVI

— А, должно, угар парень-то? — опять, как и давеча, спросил Демьяныч у кухарки, кивнув по направлению к двери, куда только что вышел Николка.

Кухарка молча махнула рукой

— Что ж он так, стало быть, при родителях и проживает без колодки?.. Чай, все что-нибудь делает?

— Да я тебе сказывала давеча: ничего, жрет да спит, да на вилисипеде гоняет, по грибы вот повадился, водку лакает, вот и все его дела.

Демьяныч замолчал и принялся хлебать редьку. Делал он это не торопясь: хлебнет, положит ложку на стол, оботрет ладонью левой руки бороду и опять хлебнет...

— Вы пообождали бы чуток хлебать-то, небось сейчас принесет.

— О-о-о!.. Принесет?.. Неужели взаправду?..

Не успела кухарка ответить утвердительно на этот вопрос, как дверь отворилась, и Николка, держа в левой руке графин с длинным и тонким горлышком, согнувшись в дверях, чтобы не удариться головой о верхний косяк, перешагнул через порог и вошел в избу.

— А вы уже никак жрете? — любезно спросил он.

— Да никак ложки по две, по три успели проглотить,— как-то торопливо ответил Демьяныч, глядя на графин.

Николка поставил графин на стол и сказал кухарке:

— Давай чашку... нет ли какой похуже... После них она все равно не годится... опоганят... Папаша разобьет...

Ха-ха-ха! — во всю глотку захохотал он, принимая из рук кухарки чашку.— Поганые вы, а?..

— Хи-хи-хи! — каким-то тоненьким голоском со своей стороны, в угоду ему, пустил Демьяныч.— Чудишь ты, купец, пра, ей-богу, чудишь... Молодчина, глаза лопни... Сейчас видать человека-то, с одного взгляда...

Между тем Николка налил в чашку и, прежде чем угощать нас, глотнул ее сам, оглянувшись при этом почему-то назад на дверь, торопливо закусил корочкой и, налив другую, подал Демьянычу.

— Пей, Рязань!..

Демьяныч принял из его рук с каким-то торжественно серьезным видом чашку, поставил на стол, перекрестился на то место, где висели бога, и уже после этого, сказав: «Дай бог здравствовать!» — медленно выпил, крякнул, поморщился и сказал, обтирая рот ладонью левой руки:

— Гоже, голова!.. Спа-а-асибо! Пойдет теперича по всем жилкам ходить...

Николка, угостив меня, отошел от стола в сторону и, усевшись на скамью около окна, вытянул ноги и с какой-то противной усмешкой на тонких губах начал разглядывать нас, как что-то необыкновенно любопытное и особенное.

Хлебать под его взглядом было неприятно. Чувствовалось, что малый смотрит на нас с презрением, с высоты какого-то величия...

XVII

Не успели мы еще покончить с редькой, как в кухню, так же как и Николка, согнувшись на пороге, чтобы не удариться головой о косяк, как-то боком, точно крадучись или боясь чего-нибудь, вошел сам хозяин.

Вслед за ним вошла высокая, толстая женщина, как оказалось, его жена, и два мальчика, один лет двенадцати, другой лет восьми... За этими мальчиками немного погодя вошла высокая же, необыкновенно стройная, лет восемнадцати, девушка, хозяйская дочка...

Вся эта компания во главе с «самим» разместилась как пришлось и принялась тоже рассматривать нас...

Мне, признаюсь, сделалось до того гадко и чего-то совестно, что я бросил есть и хотел вылезть из-за стола и уйти... Что же касается Демьяныча, то он, не обращая

внимания, продолжал хлебать с таким видом, как будто хотел сказать: «А наплевать мне на вас... глядите!»

— Похлебку-то будете? — спросила кухарка, видя, что с редькой покончено.

— Плесни,— сказал Демьяныч,— будем...

— Эти работники-то? — спросила, улыбаясь, с любопытством глядевшая на нас «сама».

— Они самые,— ответил Николка,— один-то Рязань косопузая, а другой черт его знает откуда...

— Ты бы им, Николя, поднес... может, они выпьют? — сказала хозяйка.— Небось намотались, сердешные... Может, они выпьют? — снова повторила она.

— Как небось не выпить,— сказал Николка,— подноси только...

— Покорничи благодарим, сударыня! — приподнявшись немного и стараясь изобразить на своем лице какое-то умиление, произнес Демьяныч.— Много довольны... Коли милость будет, выпьем...

— Так налей им, Николя,— сказала хозяйка.— Сам-то не пей, а им-то налей...

— А ну их к черту! — сказал Николка.— Не надо...

— А ты делай, что велят,— вступился молча сидевший в углу на скамейке и как-то боком, исподлобья, глядевший на нас хозяин.— Тебе сказано... должен слушать...

— Что я, холуй, что ли? — огрызнулся Николка и, вдруг поднявшись с места, заорал во всю глотку:

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством! —

и вышел из избы, хлопнув изо всей силы за собой дверью.

— Вот дурак-то... орясина... полено дров... Эдак-то бы тебя по затылку шаркнуть! — сказал вслед ему хозяин.— Дурак! — повторил.— Дармоедина...

Хозяйка посмотрела на него, кивнула головой и выразительно скосила глаза в нашу сторону.

Мы с Демьянычем сделали вид, что ничего не замечаем и что вообще это до нас не касается. Но хозяин не стал церемониться и закричал вдруг охрипшим голосом, сразу как-то покраснев до самых ушей:

— Чего ты мигаешь-то, дура, баловница... Нешто добрые-то люди не видят?.. Все, матушка, видят... все!.. Шила

в мешке не утаишь... Дурак, разбойник, ёрник, дармоед... тьфу!.. Что вылупила бельмы-то, подкладка! — набросился он вдруг с хозяйки на кухарку.— Убежала, стервоза, от мужа-то... мало мужа-то... с другим ёрничать... У-у-у, сатанинская образина!..

— Ты хоть бы при детях-то посовестился,— сказала хозяйка,— чего ты, белены объелся, что ли?

— Такие же будут,— сказал хозяин и махнул рукой.— У тебя есть дети-то? — спросил он у Демьяныча.

Демьяныч обтер рот ладонью и ответил:

— Не обидел господь... есть... по мой век хватит...

— Ну, а есть, так тебе и говорить нечего... сам знаешь...

— Да-а-а,— согласился Демьяныч,— по нонешним временам детки-то того... Отдай, а то потеряешь... знаем...

— Истинная правда! Истинная правда! — обрадовался хозяин.— Верно... Вот у меня, видел сейчас, сынок-то, а? Дерется со мной... ей-богу. Слова не даст сказать!.. А все что?.. Все баловство... все вон она, дура! «Николенька, батюшка, голубчик»... такой, сякой, немазаный... тьфу!..

— Ну, уж ты начнешь теперича! — сказала хозяйка.— Попал на зарубку... начнешь! Уйти от греха!.. Пойдемте, дети... ну его к богу... ему ведь и чужих людей не стыдно... рад... другой бы молчал... виду не показал, а он на смех... кому нужно-то? Пойдемте,— опять повторила она и, пропустив детей вперед, вслед за ними, точно гусыня, немного вперевалку, вышла из избы.

XVIII

— А-а-а, не любишь! — язвительно протянул ей вслед хозяин.— Не любишь! — повторил он, глядя на нас с таким видом, точно что-то спрашивал или ожидал от нас ответа.

Демьяныч сочувственно захихикал.

— Правда-то того... кусается,— сказал он,— другому правда-то все равно, что сытому аржаной хлеб...

— Не любишь! — снова повторил хозяин и вдруг опять набросился на кухарку.— Ты чего ж это, а?.. Давай им... каши давай... время идет... чего рот-то разинула, подлая! Ерничать твое дело, а? Трясет задом-то, как трясогузка... фу ты, ну ты!.. Деньги ваши, будут наши...

— Отстань, солдат, мелких нету,— равнодушно сказала кухарка,— пристал... завидки берут... старый кобель! — И вдруг, обернувшись к нам с улыбкой на румяных губах, сказала: — Вы что, земляки, знаете... оба ко мне лезут, и сынок, и родитель... ей-богу!.. Как псы...— Она громко засмеялась.— А мне что... мне, знамо, который помоложе, тот и мой... А ты, старый кобель, куда годен-то? — обратилась она снова к хозяину.— Трубы тобой затыкать? Ха-ха-ха!.. Тятя детям тоже!

Мы с Демьянычем разинули рты от удивления, и нам до того стало вдруг неловко, что мы оба сразу поднялись и торопливо полезли из-за стола.

— Благодирим тя, Христе, боже наш, яко насытил нас,— громко зашептал Демьяныч, делая широкие вразмашку кресты...

— Щепотью-то не крестись!.. Щепотью-то не крестись! — перебил его вдруг хозяин.— Чего ты... солить, что ли, собрался?..

— Покорно благодарим за хлеб, за соль,— кланяясь и делая вид, что он не понял слов хозяина, сказал Демьяныч.— Теперича надо косы побить... исправить... вот покурить только...

— Я те покурю! — закричал хозяин.— Я те покурю! — повторил он, поднимаясь со скамьи и глядя на нас своими рыбьими, необыкновенно страшными глазами.— У меня свой куряка есть... будет... да еще вы тут... кабак, что ли?.. Вон, вишь, иконы святые, а ты с поганью... До старости дожил, а соску не бросил... Нельзя курить!

— Курите! — со смехом сказала кухарка.— Чего на него смотреть-то... Николай вон курит, не боится...

— Молчи, пота-а-скушка! — закричал хозяин и затопал ногами.— Хоть бы стен-то постыдилась, коли добрых людей не стыдно...

— Чего мне их стыдиться-то?.. Мне с ними не ребят крестить... нонче они здесь, а завтра у черта на рогах... Стыдись сам, а мне что... наплевать-то я на вас хотела!..

— Тьфу! — плюнул хозяин.— Чтоб-те засад сел в глотку-то твою проклятую... У Николки научилась орать-то?..

— У него...

— Мо-о-лчи!..

— Ступай к черту!

— Молчи... убью!..

— А этого хошь?..

— Ах ты, сво-о-о-лочь, да я тебя...

— Караул! — завизжала во всю глотку кухарка.

И как только она закричала, в избу сейчас же вбежал, очевидно стоявший по ту сторону двери и слушавший эту сцену Николка.

— Что такое? — спросил он глухим, сдавленным голосом.— Что ты орешь?..

— А вон спроси у него,— кивнула кухарка на хозяина и вдруг, заплакав, добавила: — Пристает... проходу нет... что я ему далась...

Николка хотел что-то сказать, но ничего не сказал, посмотрел только сбоку своими отчаянными глазами на отца и вдруг, как-то перекосив рот в сторону, громко несколько раз скрипнул зубами...

Демьянычу, очевидно, как и мне, стало страшно и стыдно; он дернул меня за рукав и торопливо сказал:

— Ну, хозяин, идем!.. Кажи, где косы... бить надо... время идет... неча тут... идем... кажи!..

Хозяин молча, опустив глаза в пол и закусив губы, с побелевшим, как будто еще больше страшным лицом, пошел к двери.

Мы с Демьянычем за ним...

XIX

Весь двор был огорожен, как я уже и говорил, дощатым забором с навесами по сторонам, где в страшном беспорядке валялась всякая всячина.

Сразу было видно, глядя на этот беспорядок, что настоящего хозяина в доме нет.

На самом дворе, то есть там, где стояли лошади и корова, очевидно, в год раз подкладывалась подстилка; до того было грязно, что лошади вязли в жидком месиве чуть не по брюхо...

Какая-то мелкая мошкара, плодившаяся в этом навозе, лезла всюду, не давая двум тощим, грязным лошадям, почему-то стоявшим на дворе около пустых кормушек, покоя.

Три пестрых небольших поросенка бегали, хрюкая, по двору, ковыряя своими пятачками где попало. Штук двадцать кур, во главе с огромным черным петухом, то и дело

певшим охриплым басом, бродили тут же, тщетно стараясь найти то, что можно бы было проглотить...

Под навесами стояли две телеги — «карули», тарантас, перевернутые дровни. Валялась сбруя: хомуты, седелки, совершенно новенькая с набором под серебро, дорогая, очевидно недавно купленная, но уже успевшая в некоторых местах покрыться плесенью шлея...

Тут же стояли какие-то кадки, наполовину рассыпавшиеся, сломанная железная кровать, полосатый матрац с дырой посередине, из которой лезла грязная мочала... шкаф... старинное огромное, с ободранным сиденьем, кресло, рамка от картинки, кирпичи, разбитые чугуны, колесная в ящике мазь, деготь в лагушке, дюжины три-четыре пивных бутылок в углу, скомканный брезент, рогожи, сломанные грабли, поперечная пила, лубок для телеги, старые сплетенные из соломы гнезда, корье и т. д. и т. д.

— Где ведь вот косы-то и позабыл! — сказал хозяин, оглядываясь по сторонам.— Висели словно здесь на стенке, а нету... Памяти у меня совсем не стало... А может, Николка куда засунул... Поди-ка,— обратился он ко мне,— сходи в кухню, спроси: «Где, мол, косы?..»

Пройдя по грязному двору, я взошел на мост, пообтер ноги и, отворив кухонную дверь, наткнулся на сцену: Николка обнимал кухарку, сидевшую у него на коленях, и целовал в шею, за ухо.

Увидя меня, она хотела соскочить с колен, но он не пустил ее и со злостью спросил у меня:

— Ты чего?.. Какого черта надо?..

— Косы, не знаешь ли где? — сказал я.— Кос не найдем...

— А черт их знает!.. Я-то почем знаю?..

Он отвратительно выругался и выпустил из своих объятий вырвавшуюся и, очевидно, стеснявшуюся меня кухарку.

— На дровах они лежат,— сказала она, освободившись.— И бой тамотка...— повторила она.— Я их сама убрала намедни...

— На дровах где-то лежат,— сказал я хозяину, возвратившись из избы обратно под навес, где он, сидя с Демьянычем на оглоблях телеги, поджидал меня.

— Ишь, куда черт догадал засунуть! — сказал он и, пожевав губами, помолчав, спросил: — Что там в кухне-то?.. Ты что застал они делают-то?..

— Ничего не делают, сидят,— ответил я.

— Гм! Ведь вот,— обратился он к Демьянычу,— ёрничает парень... на глазах... грубит... пьет... курит... Разбойник!..

— А ты его того... поучил бы стяжком,— посоветовал Демьяныч.

— Да-а-а, поучил бы!.. Тронь-ка его... он убьет... зарежет... Разбойник Чуркин, ей-богу!.. Пригульный он... не мой... жена с приказчиком с одним из Пассажа пригуляла... Ей-богу, не вру!..

— Эх, купец,— сказал Демьяныч и махнул рукой,— не наше это дело... Мы ваших делов не знаем, и слушать нам это негоже, да и не время... Деньги ведь ты нам за это платить не будешь... Вот когда на досуге поговорим, а теперь давай косы побьем... Веди нас... ставь на дело, а уже вечером за полдня денежки подай...

Косы, три штуки, оказались одна другой хуже. Все они были с хлопушками, наделанными, очевидно, не умевшим отбивать их человеком, покрыты ржавчиной, с рассохшимися ручками. Бой тоже был не лучше; молоток положительно не жалко было закинуть за забор...

— Вот что, купец,— сказал Демьяныч, разглядывая косы,— ты с нас, буде что, не взыскивай... Таким струментом много не наделаешь... Разве это косы?.. Гляди... траву мучить... Эх, погляжу я, хозяйство-то у тебя непутевое!.. Ведь вот,— продолжал он, прилаживая место для битья кос,— даст бог клад, да не умеем его взять... Ишь у тебя на дворе-то, не в обиду будь тебе сказано, черт ногу сломает...

Хозяин махнул рукой и не то лениво, не то с какой-то затаенной грустью произнес:

— Наплевать!.. Руки ни к чему не лежат... нездоровится все... тоска заела...

— Водки, знать, пьешь помногу?..

— Куда!.. Нет... не пью... десятый год в рот не беру... нельзя мне пить... Я, кабы мне пить-то, давно бы здесь всех перерезал... Я во хмелю нехорош... Раз жену было задушил... отняли... с тех пор в рот не беру.

— Ну, ты это об ней и тоскуешь... Червяк-то винный тебя и сосет... А ты, купец, крепись, не поддавайся... Спаси бог, запьешь... удержу тебе не будет... Наделаешь чудес... Крепись... надень на себя оброть... Держись за землю...

Когда косы были отбиты и кое-как, на скорую руку,

поисправлены, хозяин повел нас через ворота, вынув предварительно огромный засов, которым они были заперты, мимо собаки, надрывавшейся от лая, на место покоса.

Идти пришлось недалеко. Привел он нас на пустыри. Пустыри эти — десятины две — были, повидимому, не так давно пахавшимися и засевавшимися чем-то полем, теперь заброшенным и густо заросшим высокой травой, среди которой особенно выделялось высокое, на толстом стебле, растение с макушкой, покрытой мягким, похожим на вату, пухом («бурыльником»).

— Косите вот! — лениво сказал хозяин.— Вон до энтих кустов... до лесу... увидите там... Начинайте!..

— Ох, да уж и трава же! — покачав головой, произнес Демьяныч.— Где ты раньше-то был, не косил?.. Теперь она куда годна-то? Собакам спать... в навоз!.. Вишь, палки одни... Как ее косить-то?.. Ах вы, хозяевы!..

Хозяин, как и давеча, махнул рукой и, очевидно думая о другом, сказал:

— Косите... Какая есть... наплевать... сожрут... Косите, а я пойду... Ужо чай пить я вас кликну.

— Обед да полдни, только и помни,— с презрением в голосе сказал Демьяныч.— Ступай... ты нам не надобен... ступай...

Хозяин ушел. Мы поточили косы и, как попало, начали тяпать устаревшую, перепутавшуюся, необыкновенно крепкую на косу траву.

XX

Пройдя прокос, во время которого пришлось несколько раз точить быстро затуплявшиеся о бурыльник косы, мы запыхались и стали отдыхать.

— Черт бы вас ободрал и с травой-то с этой! — сердито сказал Демьяныч, усевшись на берегу канавы и вертя папироску.— За непочтение к родителям косить-то ее... Пошли мы с тобой... непутевый, гляжу я, народ... Ведь вот дает же господь дуракам счастье... жена ведь вон даве в кухню приходила — чисто, голова, дыня, какая телка огульная... Какого, кажись, еще рожна нужно?.. Ан вот, возьми!.. С жиру бесятся... жрут да пьют, в том и время идет... Ох-хо-хо!.. Да-а-а!.. Грехи, голова! Ну, давай еще по прокосу, а то вроде как по началу-то неловко... Поживем денек-другой, там дело двенадцатое... очень-то на-

легать не будем... Знаем тоже, как пень-то колотить, а день-то проводить... Учены!..

Прошло часов около двух. Мы сделали по нескольку прокосов и страшно устали, точно косили не каких-нибудь два часа, а целый день... Трава, чем дальше от края, делалась гуще, суше, и ее приходилось не косить, а буквально рубить со всего плеча нашими отвратительными, звенящими косами.

Демьяныч ходил передом, и мне даже по затылку его было видно, что он сердится. Я, с своей стороны, обливаясь потом, с расстегнутым воротом рубашки, тяпал, сшибая одни макушки, оставляя позади себя весь подсед и думая только об одном, как бы не отстать от Демьяныча.

Между тем солнце стало спускаться к лесу, но жара все еще не спадала, и нас сильно мучила жажда, а воды, как назло, нигде не было.

— Чайку бы теперь,— несколько раз говорил Демьяныч.— Что ж он не идет?.. Хотел прийти, а сам не идет, белоглазый черт... Время уж и чай пить.

Наконец, настала блаженная минута: пришел хозяин и позвал пить чай.

Мы увидали его издали и принялись усердно косить, делая вид, что не видим его.

— Поналяжь,— шепотом говорил Демьяныч.— Пошире бери... поплотней... Что ты одни макушки сшибаешь?.. Прижимай на пятку-то!..

— Помогай бог! — подойдя, сказал хозяин.

— Спасибо!

— Косите?.. Ну, как?

— Да что,— сказал Демьяныч, обтирая рукавом пот,— хучь бросай... смерть! Не трава, а хворост... топором рубить... измотались до смерти... рубашка-то, гляди, хучь выжми...

— Ну, пойдемте чай пить... Я за вами пришел. Как-нибудь скосите... лошади зимой слопают...

— Знамо,— согласился Демьяныч, вытирая травой косу.— Одно дело, съедят...

— А вы и то нагрелись,— оглядывая нас, сказал хозяин.— Жестка трава-то... устарела...

— Зато много будет,— ответил Демьяныч,— продать буде...

Хозяин ничего не сказал на это и, помолчав, вдруг

спросил у меня, показав пальцем на мой расстегнутый ворот рубашки:

— Что это у тебя на груди-то?.. Никак, икона болтается?..

У меня действительно висел на груди образок, очень для меня дорогой, надетый матерью за несколько минут до ее смерти.

— Да,— ответил я.

— Гм! — усмехнулся он.— Женатый ты?..— И, не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Небось как с женой-то спишь, скидаешь?

Я молчал.

— Ну, нонче насчет этого просто стало,— вступился Демьяныч,— нонче ни фига не боятся... Ни в бога, ни в царя не веруют... Сам слыхал... Его за это по рылу раз, два, а он: «Наплевать, говорит, бейте, а все-таки, говорит, по-нашему будет...»

— Строгости не стало,— сказал хозяин.

— Да-а-а! — сказал Демьяныч.

— Какой вам еще строгости не хватает? — с досадой, не утерпев, заметил я.— Кажется, слава богу, хоть отбавляй!

— Родителей не уважают,— не слушая меня, продолжал хозяин.— К начальству страху не стало... Никакой власти над собой не признают, а ведь того не знают, дураки, что в святом писанье сказано: «Несть власть, аще не от бога».

— Верно! — согласился с ним Демьяныч, подмигнув мне глазом.— Сказано: «Повинуйтесь начальникам вашим и покоряйтеся!..»

XXI

Чай был собран на террасе. Когда мы подошли, за столом уже сидело все семейство. Тут же была и кухарка. Чай разливала хозяйка по небольшим одинаковой формы чашкам, то и дело добавляя чайник кипятком из огромного никелевого самовара.

Фунта четыре баранок лежало посредине стола, и ребята во главе с Николкой ломали и с треском грызли их белыми и крепкими, как у голодных щенят, зубами...

Нам с Демьянычем дали по кусочку сахару, по две баранки и посадили на ступеньках, ведущих на терраску.

Чай со стола в таких же, как и у всех, чашках из рук хозяйки «примал» Демьяныч. Красный, обливающийся потом, скинувший с ног сапоги, с длинными, мокрыми и висевшими, как сосульки, волосами, он был чуден и смешон.

За столом царило какое-то тягостное молчание. Близкие между собой люди сидели, как чужие...

Сразу было видно, что между ними уже давно пробежала черная кошка, и от этого по крайней мере мне было несколько неловко и совестно. Я старался пить как можно скорее, чтобы тоже поскорее уйти, но Демьяныч не торопился с этим делом, а, напротив, старался протянуть удовольствие и выиграть время для лодырничанья... В этом он вполне и успел.

Видя, что все молчат и дуются, но делая вид, что ничего этого не замечает, он с простотой «доброго русского мужичка» завел какую-то канитель про бешеного волка, про девочку, попа, наконец про какого-то снохача и вскоре овладел вниманием слушателей до того, что все перестали пить чай и сидели с полуоткрытыми ртами...

— Однако ты, брат, лясник,— сказал, наконец, улыбнувшись, хозяин.— А все небось врешь.

— Глаза лопни, не вру! Провалиться мне на этом месте! — начал божиться Демьяныч.— Сейчас издохнуть, не вру!..

Самовар заглох... Чай отпили... Но никто не уходил, все внимательно слушали вновь заведенный Демьянычем рассказ о том, как и что один раз случилось с одним человечком через эту самую напрасную божбу... Демьяныч был неистощимый мешок с рассказами подобного рода. И было очевидно, что, живя в своей глухой трущобе и ничего не делая, люди эти до того скучали, что рады были рассказам Демьяныча, как евреи манне небесной в пустыне.

Все это сметив и желая оттянуть время, Демьяныч пел соловьем до тех пор, пока, наконец, самому ему, очевидно, надоело ораторствовать и, желая еще более угодить хозяевам, он вдруг, будто спохватившись, вскочил на ноги и почти закричал на меня:

— Чего ж ты сидишь-то?.. Идти надо... Эна, солнышко-то где!.. Неча языком-то трепать... Работать надо... Деньги-то тоже, чай, у них не на полу валяются... Пойдем!.. айда!..

— Да посиди!.. Не медведь дело-то, в лес не уйдет,— сказала хозяйка,— много ли вы уж теперь натяпаете?..

— Нельзя! — приняв самый серьезный вид, решительно произнес Демьяныч.— Ужо поговорим на досуге, поужинавши, а теперь надо поторапливаться... Авось, глядишь, милость будет, перед ужином-то по махонькой...

— Ладно,— улыбнувшись, произнесла хозяйка.— Ступай уж, расска-а-зчик!..

XXII

— Са́лить этот народ, Павлыч, надо,— говорил мне Демьяныч, идя на место покоса,— потрафлять... Любят, как блины масло... Всех я их, погоди, ублаготворю... Кухарке этой только потрафь — и любой кусочек твой... Я эту науку превзошел, друг ты мой милый!.. Коли хошь жить по-хорошему, гладь всякого по шерстке... По шерстке гладь... Про себя-то там гладь, как знаешь, а в глаза-то по шерстке...

Косили мы до солнечного заката. Косили не торопясь. «Баловались», по выражению Демьяныча... Да и к вечеру косить было совсем другое дело. Солнце зашло за лес, и мы все время косили в тени, где на траву очень рано стала падать роса и на наше счастье подул прохладный, бодрящий ветерок.

За несколько минут до заката, бросив косить, мы закурили и уселись возле канавы так, чтобы нас не было видно с той стороны, откуда мог прийти хозяин; мы же, наоборот, могли во всякое время, завидя его фигуру, встать и приняться за дело.

Мы сидели молча. Кругом было тихо. Вдруг со стороны дома стали раздаваться какие-то крики...

— Что такое? — спросил Демьяныч.— Аль драка?..

Мы стали слушать. Сначала крики были какие-то глухие и непонятные, точно кричали где-то внутри дома, потом как-то сразу, точно вырвавшись из стен, они раздались отчетливо и громко. Мы тотчас же узнали Николкин голос. Он сыпал самыми отборными, отвратительными ругательствами. Эхо в лесу повторяло, точно дразня, эти ругательства, и удивительно дико было слушать в вечерней чуткой тишине эту перекличку гадкими, бессмысленными словами...

— Ах, сукин сын,— сказал Демьяныч, качая головой,— а ведь это он отца катит... А-а-а!.. А-а-а! Что нам теперь... как быть?

Но вот ругательства стали реже и, наконец, совсем затихли...

— Пойдем, что ли? — почему-то шепотом сказал Демьяныч.— Время... До полночи, что ли, здесь сидеть будем...

Придя к дому, мы хотели было пройти сквозь ворота во двор, чтобы положить косы, но ворота оказались на запоре, и собака, как бешеная, бросилась на нас. Тогда мы повесили их на сучок березы около террасы и прошли, стараясь не производить шума, в кухню. Здесь было тихо; горел огонь. Кухарка была одна. Лицо у нее было злое, опухшее, заплаканное. Она молча, со злостью шваркнула нам на стол хлеба и подала простывшей и немного тронувшейся похлебки.

— Что это у вас тут кричали? — спросил Демьяныч, как бы не замечая ее злости.— Мы думали, не горит ли, мол, спаси бог... время жаркое... долго ли до греха... слизнет, как корова языком... Не успеешь порток надеть...

Кухарка молчала.

— Аль повздорили? — не унимался Демьяныч.— Где ж сам-то... не видать... Нам за полдня бы получить за сегодняшнее...

— Получите... за все получите! — с нескрываемой иронией в голосе произнесла кухарка.

— А что? — уловив эту иронию, встрепенулся Демьяныч.— Не отдаст?!.

— Отдаст! — усмехнулась кухарка.

— Я коли что,— помолчав, сказал Демьяныч,— глотку перерву... мое отдай!..

За дверью что-то стукнуло...

— А ты потише глотку-то распускай! — шепотом сказала кухарка и оглянулась на дверь.

— А что? — тоже шепотом спросил Демьяныч.

— Ничего... знай край, да не падай...

Демьяныч замолчал и, покосившись на дверь, принялся за похлебку. Стало тихо... По столу, по стенам, по потолку бегали, падали, шуршали тараканы. В маленькие оконца уже глядела ночь, и видно было, как кое-где мигают звезды...

— Ну, что ж теперь делать? — спросил Демьяныч, вылезая после ужина из-за стола.— Спать, что ли? — А расчет-то! — спохватился он.

— Завтра отдаст,— сказала кухарка.

— Да отдаст ли?.. Кто его знает?.. Поди с ним свяжись...

— Отдаст,— опять повторила кухарка, повидимому старавшаяся поскорее выпроводить нас.— Ступайте в сарай... Нате вот, я вам дерюжину дам покрыться, коли озябнете под утро... Да и свою-то захватите одежонку, в голова бросите... Тамотка вам гоже будет...

Мы попрощались с ней и вышли из избы на террасу.

Здесь, на нижних ступеньках крыльца, согнувшись и упершись подбородком в ладони рук, сидел хозяин.

Мы удивились и осторожно, чтоб не задеть его, сошли по ступенькам на землю. Хозяин точно не заметил нас.

На улице было уже почти совсем темно и необыкновенно тихо. На небе горели звезды, и смутно вдали черной полосой виднелся лес.

— А мы вот поужинали,— сказал Демьяныч, остановившись,— спать вот идем... Тебя было посматривали, спросить, мол, как насчет денег... нонче отдашь аль уж до утра погодить?

— До утра,— глухо ответил хозяин и, помолчав, добавил: — Поутру я в город поеду... мелких у меня нет... привезу... Человека вот еще третьего привезу, коли найду... косить с вами будет... знакомый... летом у меня косил... втроем-то скорее управитесь... К обеду назад буду... Не запалите в сарае-то... аккуратней соску-то сосите... Ну, с богом....

— Счастливо оставаться! — ответил Демьяныч.

XXIII

В сарае было совсем темно, как-то пугливо-тихо, и сильно пахло сеном.

Демьяныч отворил ворота, и они необыкновенно жалобно, точно им сделали мучительную операцию, не заскрипели, а как-то закричали — до того громко, что эхо в лесу за сараем повторило этот крик, но, точно испугавшись, что нарушило тишину леса, сейчас же смолкло.

Ощупав в потемках место, где лежало сено, и поразрыв его, я сделал себе гнездо и лег. Демьяныч разделся и, выйдя за ворота, стал громко шептать молитвы.

Помолившись, он опять вошел в сарай, окликнул меня, устроил рядом со мной гнездо, лег, прикрывшись дерюгой, и сейчас же заснул.

Мне не спалось. Я лежал и глядел в открытые ворота, где было темно и как-то таинственно тихо, точно в могиле. Вдруг где-то далеко, на востоке, вспыхнула на секунду молния, и спустя немного глухо и робко громыхнул гром... Не успел еще затихнуть его раскат, как вспыхнуло снова, гораздо сильнее, и звезды, которые мне были видны, на минуту исчезли в ярком блеске. Гром загремел шибче... По крыше точно что-то пробежало, шелестя соломой, и за сараем в лесу вдруг зашумело.

«Ветер»,— подумал я и, выбравшись из гнезда, вышел за ворота.

В лесу тихо шумело... Звезд на той стороне, где я их видел, уже не было видно, и внизу стояла тьма, непроглядная, мрачно-жуткая. Молния стала вспыхивать чаще, освещая на секунду, точно обливая молоком, небо, по которому быстро мчались передовые, разрозненные облака. За ними надвигалась, судя по блеску молнии и все учащавшимся ударам грома, грозовая туча...

Ветер все крепчал с каждой минутой, рвал на крыше солому и ревел в лесу... Тьму то и дело прорезывали блестящие зигзаги молний, и вот, наконец, над самым, как мне казалось, сараем разразился необыкновенно резкий, сухой удар, вслед за которым сейчас же полил дождь...

Я затворил ворота и снова лег в свое гнездо. В сарае стало свежо. Сквозь ветхую крышу кое-где на душистое сено закапали тяжелые, редкие капли... Ветер врывался под застреху ворот и шелестел где-то под самым коньком соломой. Ворота потихоньку и жалобно скрипели, почти не переставая. Под тем самым местом, где я лежал, завозились и запищали мыши... Только Демьяныч спал невинным сном младенца, громко свистя носом, и по временам скрипел зубами.

Между тем гроза так же быстро, как и налетела, прошла... Дождь стих... Громовые раскаты уже слышались по другую сторону сарая, за лесом, на западе, делаясь все тише и тише... Ветер прекратился, перестала шелестеть солома, замолкли ворота, и сделалось опять до того

необыкновенно тихо, что мне стало жутко, и, стараясь не думать, гоня от себя непрошенные мысли, я зарылся в сено и тоже, наконец, уснул...

Солнце еще не встало, а уж Николка, очевидно назло, разбудил нас.

Сам он, судя по его лицу и костюму, не ночевал дома и не спал всю ночь. Сапоги, пиджак, фуражка, вся одежда была на нем мокрая, в грязи. Белки глаз по углам налились кровью, под глазами опухло, и сами глаза были какие-то посоловелые и тусклые...

— Вставайте, японцы! — во всю глотку орал он.— Пора... даром, что ли, вам деньги-то платить... вставайте!..

Мы встали.

— Эку ты рань! — зевая, сказал Демьяныч.— С этих пор да до вечера-то... Год!..— И, посмотрев на Николку, спросил: — А ты где ночь-то болтался?.. У девок, что ли?.. А должно, дождик силен был... А я и не слыхал... уснул, как умер... Насчет чайкю бы теперь...

— Чай поутру у нас не полагается,— сказал Николка,— вот покосите часа три... придете завтракать... тогда и чай...

— О-о-о!.. Ну, это для нас все едино... Папаша-то твой ноне в город снаряжался...

— Черт с ним!

— Привезти хотел еще одного... косить... какого-то, ишь знакомого...

— Черт его знает! — опять сказал Николка.— Пойду спать,— добавил он.—Устал...

— Наработался,— усмехаясь, произнес Демьяныч, тщательно навертывая на ногу подвертку.— Эта работа хошь кого ухайдакает... не пыльна, а прибыльна... Усни поди, дитятко, Христос с тобой... заботиться тебе не об чем... Царь денежку вышлет...

Николка засмеялся и пошел, широко шагая, прочь от сарая по направлению к дому.

— Дери тебя черт, дармоед проклятый,— заговорил Демьяныч ему вслед,— разбудил, черти на кулачки не дрались. Ему что... нажрется, да и спи, а ты вот маши цельный день-то... Эх, Павлыч,— обернувшись ко мне лицом и с какой-то дрожью в голосе, воскликнул он,— неужели и дети наши таку же муку будут нести, как мы, грешные?.. Неужели и над ними всякий черт Иван Иваныч будет... а? Как думаешь?..

— Не все будет ночь,— сказал я,— дождемся и утречка.

— Дождемся?..

— Дождемся!..

— Загуляем, а?.. Все вернем!.. Эх-ма! Вали!.. Рви!.. Очень я, братец мой, на кулачки охотник!.. Любимое дело... Погоди, я как-нибудь на праздник Николку этого умою... будет он у меня помнить Рязань косопузую!.. Зол я на них, Павлыч, на всех... так бы зубами и съел!.. Досада, ей-богу!.. Посмотришь, подумаешь, за что, мол, им все, а нам ни фига? Да что ж мы, не люди, что ли?.. Бить их, сукиных детей, надо... Унистожить всех!..

XXIV

К полудню хозяин возвратился из города и привез с собой нового косца.

Когда мы с Демьянычем пришли на кухню обедать, он сидел у стола и разговаривал с Николкой, рассказывая ему, очевидно, что-то смешное, потому что Николка ржал во всю глотку.

— Вот вам,— закричал Николка, как только мы переступили порог,— помощника бог послал... вон сидит — глядите... Хо-хо-хо! Хорош?.. Ах вы, жеребцы стоялые, вот собрались-то... один к другому... Дело к вечеру, а народ все чище... хо-хо-хо!

— Ко-о-нчено! — с ударением на «о» густой, совершенно охрипшей, точно в пустую бочку гудевшей октавой произнес сидевший у стола вновь прибывший работник.— Ко-о-нчено! — повторил он, и поглядев на нас, вдруг приподнялся немного, засмеялся и сказал: — Представляюсь, господа: Наум Яковлевич Стогов, бывший соборный дьякон, а в настоящее время, увы! «полон скорбью неутешною, смуглолиц, высок и прям, ходит он стопой неспешною по селеньям, городам...» Ко-о-нчено!..

Он опять сел. Николка засмеялся и сказал сквозь смех:

— Ты бы в актеры шел, отец дьякон, ей-богу!.. Потеха на тебя смотреть-то... Одно рыло чего стоит... хо-хо-хо!.. С такой рожей да на суд божий... ах ты, масальское!..

«Рыло» у бывшего соборного дьякона действительно было, как говорится, недюжинное: огромное, поросшее волосами, похожее на сырую говядину; все на нем было

огромно — и нос, и губы, и брови, и выпяченные, как у зарезанного с ободранной на голове шкурой быка, глазищи, которыми он вертел так, будто их кто-нибудь завел, как волчок, и пустил в ход.

Рост и вся вообще фигура о. дьякона вполне гармонировали с лицом. Он казался чудовищно огромным, страшным и, очевидно, необыкновенно сильным.

Одет он был в грязный, засаленный долгополый подрясник, подпоясанный каким-то мягким, широким кушаком. На краю стола лежал его головной убор — засаленный колпак, который обыкновенно носят по монастырям послушники. Зато на ногах у него ничего не было: он был бос...

— Ко-о-нчёно! — прохрипел он на Николкины слова.—

В светлый праздник Троицу,
Рано, до обедни,
Горькую пропоицу
Встретил я намедни! —

продекламировал он, страшно ворочая белками глаз.— Не ищи, брат Николка, ни в какой хрестоматии стихов этих... не ищи... не найдешь, потому что мои они... моя собственность... Ко-о-нчено!.. Давайте жрать... Эй, Мария! Избери-кась нам благую часть...

Мы с Демьянычем, дивясь на этого человека, молча и остерегаясь, как бы не потревожить его, боком забрались с другой стороны за стол... Кухарка, гремя заслонкой, полезла в печку за кушаньем...

— Ну, а как же насчет разговорцу-то? — прохрипел дьякон, таращa глаза на Николку.— Тецы, чадо, к родителю... Тащи...

— И так не слиняешь,— сказал Николка.

— Нечего линять... вся краска слезла... ко-о-нчено! Тецы, тецы!.. Знаешь, Устин, из-за этого зла и сюда притащился... Мне хоть роди, а перед обедом, ужином, завтраком порция... чайный стакан... выпью и... ко-о-нчено! Не серди меня... Мы с родителем порядились... Он знает...

— У него и проси,— отвечал Николка,—на кой мне черт твой родитель!..

— Ко-о-нчено!.. Дурак-то ты... Устин!..

— А ты не ругайся.

— Дубина стоеросовая,— прохрипел дьякон.— Пороть тебя, Устина, надо... Устин ты!..

— Расстрига, дьявол... помалкивай!..

Между тем кухарка налила чашку щей и поставила ее нам на стол, сказав: «Кушайте на здоровье!»

Демьяныч перекрестился и начал было хлебать...

— Водки! — вдруг прохрипел дьякон и стукнул огромным кулаком по столу так, что затряслась и расплескалась чашка со щами.— Магдалина,— обратился он к кухарке,— гряди к самому и тащи... поняла?.. А то, скажи, плюну, разгромлю все и уйду... Ко-о-нчено!..

— Сейчас, батюшка, отец дьякон, сейчас... вы давно бы сказали...— И кухарка, обтерев руки о засаленный «пупок», торопливо вышла за дверь.

— А ты,— захрипел дьякон, глядя на Николку и грозясь на него указательным, необыкновенно толстым пальцем,— изыди!.. Изыди, сатано!.. Ко-о-нчено!..

— Черт долгогривый! — ответил Николка.

Дьякон поднялся со скамьи и, глядя страшными глазами на Николку, прохрипел снова:

— Изыди, говорю!.. Мне власть над тобой дадена родительская... Сказано мне: «Усмиряй и усмири»... Понял?.. Ко-о-нчено!.. С миром изыди!..

— Стакались опять два дьявола! — вставая и идя к двери, злобно сказал Николка.— Подыскал черта... Да погоди... погоди... я свое дело знаю!..

Он вышел и так сильно хлопнул за собой дверью, что она снова отворилась...

— Черти проклятые! — раздался за дверью его голос.— Погодите... я... погодите!..

XXV

Пришла кухарка с графином. Дьякон налил себе стакан и сразу выпил.

— Ко-о-нчено! — прохрипел он, утирая усы, и, скосив глаза на Демьяныча, спросил: — Дерзаешь?..

— Хи! — усмехнулся Демьяныч. — Кто от эдакого добра откажется?.. Благословите, отец дьякон!

— Косите?..

— Косим, отец дьякон!

— И я с вами... Коса-то есть ли?.. Ну, да я больше во время уборки понадоблюсь... под вилы... на сторону подавать... Я здесь человек свой... Дерзни еще!.. Не

бойся... Пока я здесь — я хозяин... Что захочу — ко-о-нчено!..

Демьяныч сразу, повидимому, проникся особенным уважением к этому человеку и вкрадчиво спросил:

— Ты что ж, отец дьякон, служишь где аль так?..

Дьякон посмотрел на него, помолчал, потом вдруг высунул язык и хрипло заблеял, как баран, показывая пальцем на глотку.

— Бя-а-а!.. Ко-о-нчено! — прохрипел он.— Где голос?.. Пропил... Погибшая, брат, я овца дома Израилева... Ко-о-нчено! Было, брат, время — ел семя, а теперь... Ко-о-нчено!

Он замолчал и принялся за горячие щи.

Пообедав, мы все трое отправились в сарай отдыхать, причем открыли ворота, чтобы нас ветерком продувало, и все трое легли на душистое сено.

Отец дьякон снял с себя подрясник и остался в одной — до последней степени засаленной — длинной бабьей рубашке. Прямой ворот ее был, точно пасть какая, открыт до самого живота, и косматая грудь, точно у хорошего барана к осени, покрыта густой шерстью. В этой шерсти виднелся большой медный крест с небольшим круглым образом, висевшим вместе с крестом на толстом, похожем на пояс, гайтане...

Без подрясника, в этой грязной рубашке, с открытой косматой грудью, растрепанный, огромный, с лицом и глазами, ставшими после выпитой водки еще более ужасными, он был поистине страшен, напоминая собою какое-то сказочное чудо-юдо...

Прежде чем лечь, он сделал покурить и, присев в воротах на корточки, задом к сараю, начал пускать дым кверху, делая каждый раз губами протяжное «фу-у-у-у»...

Демьяныч, усмехаясь, шепотом говорил мне:

— Вот чертогон-то, а?.. Истинный господь, отроду не видывал!.. Чистый, голова, леший из болота... Гляди, гляди, сзаду-то, чисто, сейчас, издохнуть, баба... Ну-у-у, и чудеса же, голова!..

Покурив, о. дьякон выбрал себе место рядом со мной и Демьянычем, крякнул и, сказав свое любимое: «Ко-о-нчено!» — лег навзничь.

— Гоже! — немного помолчав, прохрипел он.— Благодать, ребята, ей-богу!.. Ах вы, Устины эдакие!.. Ничего-то вы не понимаете!..

И, разглаживая с видимым удовольствием грудь и живот обеими руками, вдруг засмеялся и, глядя на крышу вытаращенными, налитыми кровью глазами, огромный и страшный, с выпяченным, точно у беременной женщины, брюхом, захрипел, давясь от душившего его смеха:

Я недавно приехал в Коринф,
Вот ступени, а вот колоннада.
Я люблю здешних мраморных нимф
И истмийского шум водопада.
Целый день я на солнце сижу,
Трусь елеем вокруг поясницы,
Между камней паросских слежу
За извивом слепой медяницы.
Померанцы растут предо мной,
И на них в упоенье гляжу я.
Дорог мне вожделенный покой.
«Красота! Красота!» — все твержу я.
А на землю лишь спустится ночь,
Мы с рабыней совсем обомлеем...
Всех рабов высылаю я прочь
И опять натираюсь елеем...

И, повернувшись на бок, как сом, повторил:

Дорог мне вожделенный покой.
«Красота! Красота!» — все твержу я...

— Эх вы, Устины эдакие!..

— А голосина у тебя, отец дьякон, здоровый, надо полагать, был? — спросил Демьяныч.— Сейчас и то, аки бык, ревешь...

— У меня? — переспросил дьякон.— Хы!.. Устин ты!.. Меня, брат, сам митрополит отличил... евангелие мне подарил... Ко-о-нчено!..

— За что же тебя, отец дьякон, от дела-то отстранили?.. За какую провинность?..

— Ах ты, Устин любопытный... За какую провинность?.. Хы! За Бахуса!.. Больше четвертной в день пил...

— О-о-о!.. Неужто взаправду?..

— Ко-о-нчено!.. Пьяный служил... Бывало, выду на амвон, а у самого перед глазами-то турецкого султана жены скачут... Рявкну: «бла-а-а-гослови, владыко!» Ну, отойдет малость... налажу... Батя протопоп хороший мужик был... «Эх, скажет, бывало, покойник, дьякон, дьякон, стыдно!» Ко-о-нчено! Н-да! Раз в благовещенье за поздней обедней служил я... Народу — туча... А я с

мухарем... Ну, подошел великий выход... понесли мы с батей честные дары из алтаря, и случись тут грех: зацепил я ногой за половик... не удержался... брык... Ко-о-нчено!..

Он замолчал и перевернулся навзничь.

— Ко-о-нчено! — повторил он и закрыл глаза.

Мы помолчали... В сарай вдруг залетела ласточка и, усевшись на перевод, весело защебетала. Дьякон открыл глаза и уставился на нее.

— Всякое дыхание да хвалит господа! — сказал он.— Всякое... а человек, царь земли,— мошенник... Ко-о-нчено!.. Философия это, а вы, Устины... темный вы народ... кроты...

— Небось тоже женат был? — спросил Демьяныч.

— Небось! — усмехнулся дьякон.— Устин ты... а то как же... неужли холостой! У меня сейчас сын попом...

— Что ж ты у него не живешь?.. Жил бы у него...

— Мы-ы-ы! — замычал дьякон и затряс головой.— Отстань, Устин, надоел... Ко-о-нчено!..

Демьяныч помолчал и потом спросил:

— А что за народ, отец дьякон, хозяева здешние?.. Порядились мы вот, да все сумлеваемся, как бы какого греха не вышло... а? Что за народ?..

— Кроты,— ответил дьякон.— Сволочь народ...

— О-о-о!.. Не заплатят?..

— Сволочь народ,— повторил дьякон.— А денег много... Философия!..

— Столоверы? — спросил Демьяныч.

— Кроты,— опять повторил дьякон.— Куда им... тьма... хуже вас вот... Николка этот... мы-ы-ы... убить мало... меня вот только и боится.. У меня, брат, ко-о-нчено... Отец-то, дурак, орет, а толку мало...

— Сынок-то его выставит, похоже?..

Дьякон не ответил. Он опять закрыл глаза и тяжело вздохнул.

— Чудеса! — сказал Демьяныч, отвечая, вероятно, на свои мысли.

— Ты, Устин, что? — спросил дьякон, открывая глаза.

— Чудеса, говорю.

— А... чудеса!.. А мне послышалось: «суета»!.. Не чудеса, брат, а суета... Суета сует и томление духа... все суета... Н-да... ко-о-нчено! Не мешай, Устин... спать хочу... молчи...

XXVI

Работник о. дьякон оказался плохой, но ужасно капризный и сердитый. Сознавая свою неловкость и неуменье, он злился и вымещал свою злость на «струменте», то есть на косе, на граблях, на вилах... Кроме неуменья, он страдал еще, вероятно от пьянства, сильнейшей одышкой.

Страшно было и жалко смотреть на него, когда он, пройдя прокос, останавливался отдыхать... Грудь тяжело поднималась... Из открытого рта вылетали какие-то свистящие звуки... Глаза таращились и лезли из орбит... Лицо делалось сине-багровое, и он, вдруг схватившись левой рукой за грудь и перегнувшись, начинал кашлять долгим, мучительным кашлем...

— Ко-о-нчено! — говорил он, откашлявшись и утирая на глазах слезы.— Ко-о-нчено! Устины вы... «Не расцвел — и отцвел в утре пасмурных дней»... Каюк. Ко-о-нчено! «Меня могила не страшит, там, говорят, страданье спит»... Не боюсь... «Подвизайся за истину до смерти — и господь бог поборет за тебя»...

— А хороший ты, отец дьякон, человек, гляжу я,— говорил Демьяныч,— а понапрасну пропадаешь... ей-богу...

— Ну, ты, Устин, молчи,— ласково отвечал на это дьякон.— Ты крот... где тебе понять... молчи — и... ко-о-нчено!..

Сам хозяин обращался с ним ласково, работать не неволил, а, напротив, старался сделать так, чтобы мы с Демьянычем поняли, что мы — одно дело, а о. дьякон — другое. Это мы сразу поняли, и привилегированное положение о. дьякона было для нас даже выгодно. Благодаря ему мы сами работали гораздо меньше и, отдыхая, «проводили» время гораздо чаще.

Отец дьякон быстро задыхался и, стараясь не показывать этого, выбивался из сил, бросал косу, садился и заставлял делать то же самое и нас.

Если же Демьяныч протестовал — конечно, для виду только,— дьякон сердился, начинал ругаться, уверяя нас, что коли он говорит, то бояться нечего.

Изредка к нам приходил хозяин, здоровался, садился где-нибудь в сторонке и уныло сидел, повеся голову на грудь или глядя в сторону.

Вся его жалко-беспомощная фигура, казалось, гово-

рила: «Ах, да отстаньте вы от меня... все мне надоело, и на все мне наплевать!»

Иногда он говорил с дьяконом, отвечал, спрашивал, соглашался или не соглашался, но видно было, что он говорит об одном, а думает в сущности о другом. Что-то страшное, пугающее, казалось мне, было написано на его пухлом бабьем лице и в мертвых, застывших глазах...

Николка приходил к нам в то время, когда мы обедали или ужинали, садился на лавку, поодаль от стола, и начинал дразнить о. дьякона, не стесняясь в выражениях. Дьякон, с своей стороны, или презрительно молчал на это, взглядывая иногда на Николку, как слон на моську, или же говорил:

— Молчи, Устин... не серди... Попадешь в лапы — ко-о-нчено!.. Дурак ведь ты, да и мошенник вдобавок... дармоед... Пять да пять сколько, а?.. Дубина ты, брат... Ко-о-нчено!.. Отстань, а то измочалю, как летось...

Остальных членов семейства — хозяйку, дочь, мальчиков — мы видали редко, только за вечерним чаем, который пили обыкновенно на террасе...

Хозяйка постоянно показывалась хмурая, молчаливая, иногда с опухшими, заплаканными глазами, небрежно одетая...

Между тем дела наши с покосом пошли плохо. Погода вдруг сразу переменилась. Подул северо-восточный ветер, нагнавший серые, низко и быстро бегущие тучи, из которых посыпал мелкий, назойливый дождь, сеявший с утра до ночи без перерыва. Все сразу изменилось. Стало серо, печально, гадко. Листья на деревьях повисли, и с них капали большие, тяжелые капли... Что-то вроде тумана надвинулось со всех сторон, и в воздухе сделалось сыро и холодно.

Такая погода простояла несколько дней, и не было надежды на скорую перемену.

Мы с Демьянычем продолжали, однако, косить, а дьякон взял сколько-то денег и ушел, сказавши, что вернется, когда установится погода.

Косить в ненастье было гораздо легче. Мокрая трава срезывалась без особых усилий. Косы не тупились так быстро, как в сухую погоду, и их не приходилось то и дело точить... Зато сами мы целый день не просыхали... Нас мочило и сверху, и снизу, и с боков... Мокрая рубашка липла к телу... с козырька капало... в сапогах хлюпало, по

спине пробегала дрожь, и на душе было необыкновенно тоскливо; все время разбирала на кого-то и за что-то жгучая злость...

— Что ж это мы подваливаем все,— говорил Демьяныч,— а сушить кто будет? Навалим и спарим...— и, помолчав, добавлял: — Взаправду, дело не наше, сказала мамаша... дело хозяйское... нам наплевать... Дураков учить нечего... Денег у них много... наплевать!..

В обед заходил хозяин и, по обыкновению, лениво и не глядя на нас, спрашивал:

— Ну... как... косите?

— Косим, ваше степенство.

— Погода-то не того... сгноишь...

— Чего ему в валах-то делается... Ничего... Будет и вёдро... Подвали побольше, тогда только не зевай — убирай... В ненастье-то и косить...

Хозяин молча соглашался и, посидев с нами немного, тяжело вздыхал и, поднявшись, уходил куда-то.

— Чудак человек,— говорил Демьяныч,— не поймешь никак, что в нем есть.

— Глина в нем... вот что в нем есть! — ответила раз на такой его вопрос кухарка.— Разве это человек?.. Хы!.. Дурак, и уши холодные... тьфу!..

XXVII

Погода не менялась, а, напротив, с каждым часом делалась, казалось, хуже и хуже. Косьбу поневоле пришлось бросить, тем более что, покончив с пустырями, мы должны были перейти в кустарник, где обдавало брызгами с каждого куста и с каждой ветки.

Хозяин придумал нам другое занятие — заставил нас городить прясла кругом усадьбы. Для этого надо было ехать в лес, нарубить слег и натесать кольев.

Место, которое он указал нам для городьбы, было вообще невелико, и слег, по нашему расчету, надо было нарубить не особенно много.

Ехать в лес — показать место рубки — вызвался с нами Николка.

После долгих сборов, занявших полдня, мы, наконец, выехали на роспусках, на двух лошадях, захватив с собою по топору, а также поперечную пилу.

Николка, одетый в короткую кожаную куртку и длинные хорошие сапоги, ехал с Демьянычем на лучшей лошади впереди... Демьяныч правил, а он показывал дорогу.

Я на мухортенькой кобыленке Таньке трусил следом. Танька оказалась с норовом: она то и дело отставала и на удары хлыстом отвечала только тем, что как-то особенно странно вертела хвостом и несколько раз порывалась ударить копытами задних некованых ног.

Николка, сидевший на роспусках, свесив ноги, позади Демьяныча, несколько раз, при виде моих хлопот, громко хохотал.

— Жарь! — кричал он мне.— Не жалей... жарь! Не отставай, а то совсем станет... на себе повезешь... хо-хо-хо!..

Добравшись, наконец, до места назначения, мы отвязали роспуски и, поставив лошадей с одними передками на траву, покурили и, по указанию Николки, принялись за дело.

Слеги мы с Демьянычем пилили с корня пилой, а Николка, от нечего делать, рубил те, которые были помельче, топором и обрубал с тех слег, которые мы спиливали, сучья.

Напилив и нарубив штук шестьдесят и вымокши с головы до ног, мы перетаскали слеги на полянку, поймали лошадей, приладили роспуски и, наложив на них слег, тронулись в обратный путь.

Николка с Демьянычем поехал опять, как и давеча, передом, а я на своей Таньке позади.

Воз у меня был тяжелый. Роспуски шли как-то боком, а на поворотах дороги я мучился не меньше Таньки, стараясь проехать так, чтобы не зацепить за дерево... Видя впереди себя лошадь, Танька тоже выбивалась из сил, стараясь не потерять ее из виду и не отстать. Жалко было глядеть, как она, худая и страшная, запыхавшись и сопя, волокла тяжелый воз, боясь повидимому, остановиться.

Так проехали мы довольно порядочное расстояние, и я уже надеялся на благополучное окончание путешествия, как вдруг, точно на смех, в самом конце небольшого овражка заднее левое колесо попало как-то чудно в колею, уперлось, и моя Танька стала...

Я забежал, посмотрел, поправил немного колесо и стал понукать Таньку. Не тут-то было!.. Танька не двигалась,— стояла, наклонив голову, точно что-то думая, и на мои ноканья отмахивалась только хвостом с таким видом,

как будто хотела сказать: «Ах, да отстань ты от меня, сделай милость!»

Видя, что нуканье не помогает, и не зная, что делать, я выломал хлыст и ударил им Таньку по ввалившемуся боку... Она было дернула, и если бы была немного посильней, наверно вывезла бы... Я ударил еще... Она махнула хвостом и, повидимому, твердо решилась переносить удары, не двигаясь больше с места... Тогда я бросил хлыст и закричал отъехавшим от меня на довольно далекое расстояние Демьянычу и Николке, чтобы они остановились.

Они подошли ко мне. У Николки в руках очутился незамеченный мною до этого обыкновенный ременный — на длинном и тонком кнутовище — кнут... Еще не доходя до меня, он, как-то зверски ухмыляясь, потряхивал им в руке, как во время оно палач-солдат, махавший шпицрутеном при виде подводимого к нему сквозь строй преступника...

— Стала, окаянная сила! — сказал он.— Жрать только твое дело... Но-о-о! — дико закричал он и ударил лошадь под брюхо. Танька махнула хвостом — и ни с места.

— Но-о-о! — закричал и Демьяныч, схватившись за колесо.— Но-о-о!..

— Брось колесо! — крикнул на него Николка.— Врет, стерва... Ты думаешь, она не может?.. Но-о-о!..

Он принялся хлестать ее под брюхо и по боку.

Жик, жик! Жик, жик! — свистал без перерыва минуты две кнут... Но результат был тот же: Танька не брала... Она только отчаянно отмахивалась хвостом и вздрагивала.

Николка осатанел. По углам его губ появилась пена... руки тряслись... лицо побелело... глаза, казалось, хотели выскочить.

Видя, что хлестанье под брюхо и по боку не помогает, он, как-то взвизгивая, трясущимися руками расстегнул подпругу, стащил седелку, и зайдя сбоку, начал хлестать Таньку поперек спины, по тому месту, где была седелка. Тонкий кнут точно обвивал Таньку и как будто липнул к ее спине.

— Брось,— сказал Демьяныч,— убьешь...

— Отстань! — прохрипел Николка.

— Ну, шут с тобой... Не наше дело... Мы отвечать не станем,— сказал Демьяныч и, отойдя немного, стал накладывать трубку.

На Николку страшно было смотреть, и страшно было думать, что человек может дойти до такого звериного состояния. Казалось, с каждой секундой он все больше зверел; и вот вдруг, очевидно совсем потеряв рассудок, он бросил кнут, схватил воткнутую между слег пилу и, прежде чем мы успели опомниться и что-нибудь сделать, бросил эту пилу, зубьями вниз, на спину Таньки и, ощерив зубы, перекосив рот, начал пилить...

Из спины брызнула кровь, полетела рваная кожа, мясо... и зубья пилы запрыгали по кости...

Танька запрокинула голову, точно стараясь посмотреть на мучителя, оскалила зубы, пронзительно завизжала и повалилась боком на левую оглоблю...

У меня во время этой дикой сцены ноги буквально приросли к земле, зубы стучали, и весь я дрожал, как в лихорадке; в глазах все помутилось...

— Убил! — закричал дрожащим голосом Демьяныч.— Ах ты, сукин ты сын... разбойник, что наделал!..

Николка обернулся и, с пилой в руках, бросился к нему. Демьяныч, увидев его лицо, закричал и, шарахнувшись в сторону, как заяц, побежал по дороге к первой лошади...

— Зарежу! — завопил Николка ему вслед и вдруг, бросив пилу, упал и громко и дико, необыкновенно страшно заплакал, царапая пальцами землю.

XXVIII

Я догнал Демьяныча. На нем лица не было.

— Ну их к чертовой матери и с работой-то! — задыхаясь, сказал он.— Утекать надо... Будь они прокляты, окаянная сила! Наживешь с ними беды...

— Что ж теперь делать? — спросил я.

— А то и делать: расчет брать, да и давай бог ноги!.. Покеда целы... утекай...

— Нет,— сказал я,— с Николкой-то как же?.. Бросить его здесь, а?..

— Знамо... шут с ним!.. Придет... Пойдем скорее к самому... Ну их к чертовой матери и с работой-то! — повторил он опять.

Придя домой, мы застали хозяина на террасе. Он сидел и с своим неизменно меланхолическим видом тупо смотрел на туманную мглу, тихо спускавшуюся на землю.

В воздухе было необыкновенно мертво и беззвучно. Хозяин, казалось, спал с открытыми глазами и был похож на какую-то чудную, плохой работы статую.

— Приехали? — сказал он.— Скоро вы...

Демьяныч рассказал ему, как мы «приехали», и настойчиво стал просить расчета.

— Ужо,— ответил хозяин,— успеете! — И, поднявшись с места, начал ходить по террасе.— Ах, сукин сын! Ах, сукин сын! — несколько раз повторил он, беспомощно хлопая себя руками по бедрам.

Постояв подле и видя, что нам тут делать нечего, мы ушли к себе в сарай и легли на сено.

Прошло с час... Мы лежали молча, стараясь уснуть, думая каждый свои думы, как вдруг со стороны дома раздались громкие крики...

— Дерутся, знать? — шепотом сказал Демьяныч и, поднявшись, подошел к воротам.

Крики раздавались все громче.

— Смертоубивство произойдет, того гляди,— опять шепотом сказал Демьяныч,— шальной народ... Гляди! Гляди! — вдруг перебил он сам себя: — Кухарчонка сюды бежит... простоволосая!.. Ах, дери их черт!.. Что такое? Попали мы... В свидетели запишут...

Через минуту к нам в сарай ворвалась, очевидно обезумевшая от страха, кухарка и закричала, махая руками и разевая как-то неестественно широко рот:

— Батюшки! Отцы родные!.. Убьет! Убьет, окаянный! Идите скореича, помогайте! Что же это такое, а?!.

— А нам-то какое дело? — ответил Демьяныч.— Провалитесь вы все провалом! И не черт ли нас связал с вами!..

Между тем от дому, не переставая, доносились крики, но теперь какие-то хриплые, точно кто-то душил кого-то за глотку...

Кухарка, махая руками и вопя, опять помчалась к дому.

— Пойдем все-таки,— сказал я Демьянычу,— посмотрим, что там такое делается.

Он молча согласился, и мы пошли.

Около террасы, на земле, шла драка. Николка бил отца. Последний, очевидно сильно уже избитый, лежал ничком, закрыв лицо руками, а Николка, встав ему на спину коленками, давил его, подскакивая, и с каждым

подскоком как-то страшно кривил рот и ахал: «Ах! ах! ах!» Отец же в ответ только стонал и дрыгал левой ногой, то поднимая ее, то опуская...

Мать, дети, кухарка, с обезумевшими от испуга лицами, стояли на ступеньках терраски и вопили, боясь подойти ближе.

— Батюшки, помогите!.. Убьет! — закричала нам хозяйка.— Пяти целковых не пожалею... стащите вы его только!

— А не омманешь? — спросил Демьяныч.

— Вот как перед истинным!.. Детей мне своих не видать!

— Ну, ладно! — сказал Демьяныч, засучив рукава.— Мы ему пропишем на первое число... Павлыч, вали!.. Ах, ты!..— дико закричал он, с неизбежным истинно русским прибавлением «матери», и бросился к Николке.

Я думал было помочь ему, но тут произошло нечто неожиданное, что заставило меня быстро ретироваться.

Николка бросил отца и с быстротою и ловкостью «почти военного человека» ударил подскочившего к нему Демьяныча ногою в живот. Демьяныч крякнул, как селезень, и повалился на землю. Николка моментально очутился на нем и начал проделывать на его спине то же самое, что перед тем проделывал на отцовской...

— Павлыч!.. Ба-а-тюшка! — замычал Демьяныч.— Помоги... будь отец родной... Убьет... Ка-а-раул! Ка-а-раул!..

Николка мял его коленками, а кулаком то правой, то левой руки бил по ушам.

— Павлыч! Ба-а-тюшка!.. Ка-а-раул!..

На другой день утром, чем свет, не получив никакого расчета, мы шагали с Демьянычем обратно по той же дороге, по которой пришли к «столоверам»...

Погода стояла гадкая, мокрая, невыразимо тоскливая.

— Куда же мы теперь? — спросил, наконец, я, желая прекратить тягостное молчание.

— К черту на рога!.. Вот куда! — злобно ответил Демьяныч, но, пройдя шагов десять, вдруг остановился и в свою очередь спросил у меня: — Где ж нам теперича на них управы искать, а? Где управы искать, а?

Я молчал, потому что мог бы ответить одно: негде!..

1907

Разлад

I

В частой «чапыге» молодого осинника, полукругом облегавшего маленький, заросший тиной прудок, на берегу которого сидел я и удил карасей, раздался треск. Я обернулся... Из чапыги, раздвигая ее руками, вылезло прямо ко мне на берег какое-то косматое чудище и остановилось, глядя на меня мутными, посоловелыми глазами...

Я, со своей стороны, с любопытством уставился на него.

Передо мной был мужик, до крайности плохо одетый, даже, можно сказать, почти совсем раздетый, если не считать какую-то болтавшуюся на нем грязную рваную рубашку и полосатые короткие, чуть ли не по колени, штаны... На голове ничего не было... Вместо шапки или картуза расползлись копной черные, с легкой проседью, всклокоченные, свалявшиеся космы волос...

Постояв немного, мужик подошел ко мне и прохрипел:

— Рыбку ловишь?.. Клюет ли?.. Мое почтение! Все ли я здоров?..

— Здоро́во! — ответил я, не спуская с него глаз.— Ты это откуда?..

Мужик ничего не ответил и молча лег на берегу, животом вниз, уставясь мутными глазами на поверхность пруда.

Я сбоку глядел на него. Лицо у него было какое-то черное, густо обросшее бородой, глаза мутные, большие, навыкате, руки тряслись, и весь он, всем своим телом, то и дело вздрагивал и корчился, поднимая кверху то одну ногу, то другую.

— Да ты куда же?..— опять спросил я.

— В больницу! — нехотя ответил он.

— Заболел?..

Мужик помолчал, плюнул в воду, достал из-за пазухи до половины выпитую полбутылку и сказал, подавая мне:

— На... глотни...

— Спасибо,— ответил я,— не надо.

— Не пьешь? — Он опять помолчал и потом сказал: — Нет ли у тебя каких брюк старых, негодящих... Нет ли, а?.. Дай, сделай милость...

Я промолчал. Он сел и, запрокинув назад косматую голову, начал тянуть из горлышка...

— Пропился! — сказал он затем.— Обстрогали меня добрые люди... гляди, что на мне есть... Адам, истинный господь!.. Посмотри-кась...

— Вижу! — сказал я.

— Иду вот в больницу,— не положат ли, мол... Смерть!.. Что съем ли, выпью ли — все назад!..

Он опять лег животом вниз и, помолчав, сказал:

— Ты мне хлебушка дал бы... Жрать, сейчас помереть, хочу, как сукин сын...

Я послал бывшего со мной сынишку домой за хлебом и, когда он ушел, спросил у мужика:

— Да ты откуда же?

Прежде чем ответить, он с каким-то ожесточением, кривя рот, поскреб обеими руками свою косматую голову и сказал:

— Из Голубина, знаешь?

— Знаю,— ответил я.— Да ты в город шел бы... В город-то от Голубина ближе, чем сюда...

— Был... не приняли... Местов ишь нет... притка их знает... сво-о-лочи!..

Он опять уставился мутными глазами на поверхность пруда, что-то думая.

В это время мой сынишка прибежал, запыхавшись, неся в руке ломоть хлеба.

— На, дяденька! — едва переводя дух, сказал он, подавая хлеб.

— Спасибо, сынок,— ласково сказал мужик.— Умница ты... спасибо. И посолил никак?.. Вот спасибо-то...

Он сел, перекрестился и, взяв ломоть хлеба в обе руки, принялся есть, откусывая куски белыми, необыкновенно большими зубами...

Проглотив несколько кусков, он снова перекрестился и, спрятав недоеденный ломоть за пазуху, сказал, обтерев рукою рот:

— Вот я и сыт!..

— Мало поел,— сказал я,— ешь еще.

— Спасибо!.. Мало... гм! Слава богу, это-то проглотил... Н-да! Подкатит к сердцу, понимаешь, ну, думаю, крышка... душа с телом расстается... И тоска, смерть! Не приведи господи!.. А что, друг, покурить ты мне не соблаговолишь?..

— Можно,— сказал я.

Он раза три, жадно втягивая щеки, затянулся и вдруг, повернувшись ко мне, совершенно неожиданно и, как говорится, ни к селу ни к городу, сказал:

— Слышал, Думу-то разогнали?..

— Тебе-то что? — удивился я.

— Как что? — в свою очередь удивился он.— Я небось кто? Хрестьянин? Мне, чай, любопытно знать, как они тамотка нащет земли-то... Положим, мне-то она не нужна... Котора и была — и таё бросил, ну, а православным-то как жить.. любопытно... Думали: авось, мол... Ан вот тебе... н-да!.. Я ведь — ты не думай,— продолжал он,— одет плохо... я грамотный, смыслим тоже кое-что, добрых людей слыхивали, книжки читали... понимаем... Худо ли им, чертям, живется... Отдадут ли! Взять бы за глотку, истинный господь,— самое, по-моему, святое дело. Какого рожна еще глядеть-то... циримонию-то разводить... Они с нами не больно-то циримонятся; кабы им да волю над нами — загрызли бы! Да и то чего уж,— он махнул рукой,— на что мы похожи? Куды годны? Бараньё, истинный господь! Так нас и считают: дискать, как хотим, так и воротим... Ах, дьявол вас заломай! Где ж правда-то, а?..

Он замолчал. Я перекинул удочку на другое место и спросил:

Ты какой губернии?

— Калуцкой я...

— Не живешь дома-то?..

— Какой у меня дом?.. Нет у меня ни рожна... Весь вот тут... чист молодец, гол, как сокол...

— Как же так?

— Так... Бросил все... ушел на чужую сторону... Сгорел я! — угрюмо добавил он, помолчав.

— А семейный?

— Жененка на фабрике путается, а сын — шорник в Питере... такой же вот задался угар, неплошь меня... Видно, братчик, «от яблоньки — яблочки, а от елки — шишки...» Были еще двое,— продолжал он, дрыгая ногами,— девочка с мальчишкой, да сгорели в избе оба...

— Ну?!

— Истинный господь! О самую рабочую пору, в покос... Мы с бабой версты за три от деревни были, траву сгребали по кустам... Слышим, вдарили в набат... пожар... Рядом с нами тоже работали, кричат: «Пожар! Горим! Бросайте...» А тихо было, ни чукнет, далеко каждое слово слыхать... «Маркел, говорит мне жена, а ведь это у нас». «Что ты, говорю, дура, очумела?.. Бог милостив». Говорю, а у самого сердце в груди тук, тук! тук, тук! Точно, понимаешь, кузнец молотком по наковальне... Бросили мы грабли, побежали напрямки, где поближе... забежали на взлобок, оттеда вся деревня наша как на ладошке... смотрим: горит наша хата... Завопила моя баба: «Детушки, детушки». Побежала под гору, словно из ружья выпалила... Я за ней... Ну, прибежали, глядим, полыщет нашу хату со всех четырех сторон, занялась вся... подступиться никак невозможно...

Он перевел дух и так же, как давеча, поскреб в голове обеими руками.

— Баба моя начала сновать промеж народу, глядит, где ребяты: нет ли, мол, думает, и наших... ан нет, нету... туды, сюды — нету... «Сгорели детушки!» — кричит, да сама в огонь... Я ее за подол да в охапку, оттащил в сторону... повалилась баба, завыла, сгребла себя вот эдак обеими руками за волосья, принялась драть их, ажно, братчик, клочья летят... а сама землю кусает, как собака: ам-ам! ам-ам!.. Страшно, братчик! Веришь, дело прошлое, а как вспомнишь — жуть, истинный господь!.. Н-да, дела... Одолжи-кась еще курнуть!.. Прогорел, друг, вчистую... табачишку — и того не имею,— точно извиняясь, с конфузливой улыбкой на толстых губах пояснил он.

— Ну, а потом как же? — видя, что он замолчал, спросил я.

— А так же, что бабу свою о ту пору я из петли вынул,— как бы отвечая не мне, а на свои думы, продолжал он.— Петлю уж на шею надела, а я тут и есть... «Стой, говорю, очумела, душу губить?..» Н-да! и дурак же был... Черт бы с ней, пущай бы давилась! — совер-

шенно неожиданно и с какой-то злобой в голосе закончил он.

По нахмуренным бровям видно было, что то, о чем он думает, для него тяжело и неприятно.

— Сгорели,— начал он опять,— остались в чем были... Что тут делать? Думал я, думал, думал, думал... «Дай, говорю, пойду к попу схожу, ко священнику, не даст ли, мол, совета какого, не научит ли, мол?..» Ну, пошел, прихожу, выходит... «Ты, говорит, что, Маркел?» — «Так и так, говорю, батюшка...» Стал ему говорить, а сам, друг, слышу, словно кто меня за глотку душит... Веришь богу— заплакал... Стал это он меня утешать: «Полно, говорит, Маркел, не унывай... вся власть божья... А я, говорит, и рад бы тебе душевно помочь, да не из чего... Вот, говорит, на, что могу...» Дал три рубля... «А посоветовать, говорит, я тебе посоветую: сходи, говорит, к князю. Он, мол, не даст ли тебе леску на сруб... попроси, покланяйся, князь добрый...»

Ладно,— продолжал мужик, улыбнувшись какой-то страшной, злобной улыбкой,— послушал я, пошел к князю... Прихожу... прямо на барский двор. Именье огромадное... устроено все по-богатому... чистота... служащих одних — конца-краю нет... Ла-а-дно... Иду это мимо конюшни... слышу, кучера лошадей убирают, нокают, ругаются... Зашел я к ним... вижу: трое... старший, с черной бородой, толстый, словно дьякон какой, да два помощника... «Тебе, спрашивают, кого надо?.. Чего тут ходишь?» — «Да вот, говорю, так, мол, и так, к его сиятельству»... Чернобородый и говорит: «Тебе надо прошенье в контору подать, а уж из конторы передадут куда надо... Порядок здесь такой установлен...» — «А кто ж, говорю, мне напишет?.. Сам я пишу плохо, да и струменту у меня такого нет».— «Там, говорит, писарь напишет... Да только, говорит, напрасно... навряд твое дело выгорит...» А молодой конюх засмеялся, да и говорит мне: «Чего тебе прошенье писать? Валяй сам... Дело твое сурьезное, авось не съест... Даст — даст, а не даст — наплевать, не слиняешь ты с эстого...» — «Взаправду, думаю, пойду сам... что будет».— «А где же мне его найти?» — спрашиваю. «А ловить тебе его надо на балконе, устроен тамотка из дому в сад балкон эдакой, ну, скажем, навес, цветами установлен... Каждое утро, часу эдак в десятом, он тамотка кофий пьет, закусывает, ведомости читает... Ну, вот ты туды

прямым лицом и при...» — «Ладно, говорю, спасибо! Авось не убьет...»

Ну, посидел я с ними часок, покурили... Подивился я, как они лошадей чистят... Выхолили — как стеклышко, лоснятся! Эх, думаю про себя, у нас ребята того не видят, что тут лошади... позавидовал, истинный господь!.. Показали они мне дорогу, где пройтить к балкону. Обошел я это вокруг хором, вышел на энту сторону в сад... пошел по дорожке к балкону... картуз снял... в руках несу... Ну, иду это, братчик, по дорожкам и дивлюсь и сам себе не верю — куда это я попал?.. Чисто, понимаешь, рай пресветлый! Цветы это... один одного краше... фонтал шибает кверху, а круг фонтала каки-то голые каменные бабы стоят... по сторонам липы растут... здоровенные, обхвата по три... дух от них... стоят во цвету, белые... пчелки божьи летают... Гоже, истинный господь! А окошки из хором растворены, и висят над ними, от солнышка, вроде как навесы какие из парусины, и слышна, братчик, оттеда музыка... Так, голова, по всему саду и раздается!..

Ну, постоял я немного, разиня рот, послушал... пошел... Подхожу к балкону... вдруг, понимаешь, откеля ни возьмись, собака... вот эдакая... Истинный господь, с жеребенка, с сосунка... прямо на меня, как гамкнет!.. Ну, думаю, съест... Испужался до смерти... да со страху-то как сигану прямо на балкон... А на балконе-то, гляжу, промеж цветов, сам князь сидит на стуле эдаком прутяном... качается под ним вроде как люлька... Ноги кверху задрал... в зубах цыгара... сам ведомости читает. Увидел меня... должно, испугался... думал небось жулик какой грабить пришел... Вскочил это с качалки-то со своей, да как завопит не своим голосом, тонким эдаким, словно баба-кликуша: «Кто это? Чего тебе здесь надо? Кто ты?» Ну, я, понимаешь, пуще его испужался... Бултых ему, ни слова не говоря, в ноги, и, веришь богу, со страху-то подступили у меня слезы, не могу сдержаться... Скипелось у меня на сердце-то, горе-то задавило меня... ну, и нету слов... Ловлю его за ноги да реву коровой, и сам себя, понимаешь, никоим манером сдержать не могу... «Да что ты?» — закричал опять князь не своим голосом, а сам, понимаешь, меня под рыло-то сапогом тычет. А я все одно бормочу: «Вашеся, вашеся... явите божескую милость...» Обозлился он, думал — пьяный... Как даст, понимаешь, мне эдаким макарцем, под это вот место сапогом-то своим

разá... так я свету ажно не взвидел, покатился кубарем... А собака, дьявол ее заломай, не будь дура, на меня... Я еще пуще испугался... спрыгнул с балкону-то да бежать куда-то вниз, под гору, по дорожке... Собака за мной, не отстает, сволочь... кусать не кусает, а только забежит встречу, остановится: «гам». Не дает ходу, хоть ты что хошь... А там уж тревогу сделали... Слышу, топочут сзади... оглянулся — батюшки-светы! — четверо, в руках у каждого по плетке, а сами на дьяволов похожи... С рыла черные, носья с горбинами, глазищи, как у сов. Стал я. Все одно бежать некуда... спереди собака, позади — они... Один эфиоп, ни слова не говоря, цоп меня за вороток, да плеткой как шиганет вдоль спины... Я было сдуру-то: «ка-а-араул!» — а тут, гляжу, и те трое пристали... жучили, жучили, братчик... Как жив только остался, дивное дело...

Он замолчал и провел ладонью левой руки по всему лицу, начиная со лба, с такой молчаливою выразительностью, что мне стало его жалко.

— Ну, и что же? — спросил я.

— Да что! Дополз кое-как домой... Жена спрашивает: «Ну, что господь послал?» — «А вот, говорю, гляди, что...» Заворотил рубаху, кажу ей... «Батюшки, говорит, кто ж это тебя испестрил так, за что?» — «А за то, говорю, что не ходи одна, а ходи с маменькой... Дураков учат, как на свете жить...» И с досады-то, понимаешь, с эстой, с огорченья, набросился на бабу... Давай ее ни за што ни про што клочить... Вырвалась та да бежать... Я осатанел да с колом по деревне за ней... бегу, а сам кричу: «Мне попало, и тебе попадет...» Уж и не помню, куды она от меня в те поры упряталась...

Вижу я, братчик,— продолжал рассказчик, глядя каким-то пугливым взглядом на поплавок и, очевидно, не видя его,— что дело мое — табак... Эх, думаю, пропадай все, наплевать! Брошу я эту самую землю, уйду в люди... авось, мол, не пропаду... Ай, думаю, я работы боюсь? Али силы нет? Уйду! Уговорил свою шкуреху,— будь она от меня проклята отныне до веку! Продали лошаденку, овец, собрали кое-какие хундры-мундры, ну и того... «прощай, Москва, прощай, столица!» Н-да, братчик, дела! Жизнь прожить — не мутовку облизать... Н-да! — закончил он и замолчал, наклоня голову и глядя на свои ноги, распухшие, красные, с огромными загнутыми ногтями на больших пальцах.

II

Молчание длилось довольно долго. В кустах, позади нас, назойливо-однообразно чирикала какая-то птичка... В осоке, на той стороне пруда, квакали лягушки... На поверхность пруда то и дело поднимались желтобрюхие «хритоны»... Большие серые комары бегали по воде, скользя по ней, точно на лыжах. Вдали, где виднелась полоса темного елового леса, куковала кукушка, и ее монотонная песня, как-то особенно отчетливо стоявшая в воздухе, точно масло по воде, расплывалась потихоньку в необыкновенно чуткой тишине...

— Семь! — сказал вдруг неожиданно мужик и, улыбаясь, посмотрел на меня.

— Что семь? — спросил я, не понимая.

— Семь годов житья мне осталось,— сказал он,— кукушка вон куковала... считал я... Ну что ж... семь, так семь, и то ладно... а по мне хоть сейчас — не заплачу... Сколько ни живи, а умирать не миновать... Так ли, братчик, а?..

— Так, значит, и бросил деревню-то, в Москву ушел? Что же там?

— Целых, почитай, два года в дворниках выжил. Может, и больше бы прожил, да женёнка, стерва, с хозяйским сыном спуталась... Отъелась, сволочь, на хороших-то харчах, зажирела, гладкая стала, белая, красивая... Ну, а ему, знамо, худо ли!

— Как же ты узнал? — спросил я.

— Как, как! — точно рассердившись на мой вопрос, воскликнул мужик.— Добрые люди глаза открыли. Добрые люди этому рады — медку слизнуть... Ну, знамо, осатанел я, клочку ей... С места оба долой... Другое стал подыскивать... Тут уж у меня кое-какие знакомые завелись... Вышло место на фабрику. В сторожа меня пределили. Ну, ладно! Приехал я с женой поутру, слез с машины, пошел. Прихожу прямо к воротам: сидят два сторожа, в шашки от нечего делать играют... Один, который помоложе, и спрашивает: «А это, говорит, жена твоя, что ли?» — «Жена, говорю, законная. А что?» — говорю. «Да ничего, говорит, ишь она у тебя какая гладкая, сытая... Сам таких любит... Не сумлевайся, земляк, быть тебе на месте!»

И что ж, братчик, думаешь? — воскликнул рассказчик,

повернувшись ко мне.— Истинная, сейчас провалиться, правда. По бабе только и меня взял. Такая-то, понимаешь, сволочь, не приведи бог. Ни одну, сукин сын, не упустит — все молодые бабенки его. Высокий, ноги долгие, с рыла рыжий. Англичанин какой-то... пес его знает... Попадись теперь — убью, истинный господь, убью! Им, сволочам, все можно... Нет, тпру! Погоди, и наше время подходит! Мы вам пропишем...

Ну, поступил я, пределился, стал жить... Жененка тоже на дело попала, ей три бумажки положили... Каморку дали на четверых: я с женой да мой товарищ — сторож, тоже с бабой... Посменно мы с ним у ворот дежурили... Я двенадцать часов, он — двенадцать. Я по ночам, он днем. Ну, пожил... привык, намотался... Жизнь, братчик, фабричная — не приведи создатель... аки вот, истинный господь, в аду кипишь... Народу много... девки это... все отчаянные... «Деньги ваши, будут наши...» Попадет, особливо холостой, живо с копыльев слетит... Водку эту глушат, аки воду... В карты жарят. Налакаются пьяные, пойдут с гармошками, с девками гулять... песни орут, безобразничают... с ножами ходят... Слова не моги сказать — зарежут, истинный господь! Отчаянный народ московский, не приведи царица небесная. Я было сдуру-то, по первому-то разу, строго дело повел, да меня, братчик, живо укротили... Дежурил я у задних ворот. Приказано было на ночь их запирать, а в калитку без дела никого не пущать... Я было так и повел, не стал пущать... Только вот раз сижу, глядь — идет артель человек десять, с девками, прямо ко мне. «Ты это, говорят, чего здеся, косопузый черт, за начальство сидишь, а?» Бац меня ни с того ни с сего по уху, бац по другому, начали валтузить... Я было: караул! А они мне рот-то зажали, да и того — и по бокам-то, и по рылу-то... Вот это место, около глазу, наскрозь прошибли!.. Крови из меня выпустили — конца-краю нет!.. С тех пор, братчик, полно, шабаш, по-другому дело повел: что и вижу, так не вижу, что и слышу — не слышу... Сбили с меня форс-то, вся политура сразу слезла... И дело мое, гляжу, с эстого разу пошло в гору... Прямо скажу: полюбил меня народ, доходишко кое-какой образовался... Глядишь — тот запоздал, а пройти нужно, сейчас пятачок... А то, глядишь, из лавки к казенке кто волочет что на похмелье... Раз с цельным мешком двоих пропустил... на половинку дали...

Привык я... стал за галстук закладывать... Как лишняя копейка завелась, сейчас ее под ноготок... Грешный человек, по пьяной лавочке от жены погуливать стал. Мамзелю одну себе прииначил... Что она ни добудет, все, бывало, и пропьем вместе... Немолодая была, а полюбился я ей... пристала, не отдерешь... как пластырь, истинный господь... Жены только я все опасался сдуру-то... Опасаться-то нечего было: она допрежь того этим самым делом занялась. Спуталась с табельщиком... а мне, понимаешь, и ни к чему... Ночь-то меня дома нет, ну, а днем-то она на работе... Приду поутру, перехвачу чего ни на есть, спать... А там, глядишь, выпью... Дело-то бы оно так и шло, да, спасибо, эта самая моя мамзеля глаза мне открыла. «Ты, говорит, Маркел, что знаешь? Ведь твоя, говорит, милая-то половинка с Игнат Тимофеичем, с табельщиком, снюхалась...» — «Врешь?!» — «Сейчас издохнуть, говорит, не вру. Ступай-кась, говорит, часиков в десять в чепуху — увидишь...» Так она мне этими словами сердце пронзила. «Ах ты, думаю себе, погоди, я тебе покажу Игнат Тимофеича, до морковкиных заговин не забудешь!..» Собрался это я по вечеру... сердце кипит... трахнул половинку для смелости... Прихожу в чепуху, а уж эта полюбовница-то моя тут. «Они, говорит, в каморке... там их, говорит, конпания. Ванька Бузин со своей шкурой, Михайло Петрович булгахтер с Танькой Голядской да Игнат Тимофеич с твоей пиво глушат... Ступай, говорит, полюбуйся, как жены-то, богом даденные, от мужей пузья делают...» Распалила меня, окаянная сила, во как — страсть... Побежал я в трактир... прошел мимо буфету, скрозь всю залу, прямо в каморку... отворил дверь, гляжу... ах ты, сила окаянная!.. Сидит этот самый Игнат Тимофеич, а моя шкура у него на коленках и левой ручкой за шею обхватила... Песни поют, а на столе, насупротив их, бутылки с пивом, стаканы, закуска... Эх, веришь богу, братчик, как увидал я это — пошел, слышу, по всему телу холод, а перед глазами, словно кто фонарики зажег, замелькали огоньки, часто эдак, инда глазам больно... Ну, сгреб я ее тут, понимаешь, ни слова не говоря, за глотку, и пошла у нас, братчик, переделка... Подскочил было этот самый ко мне Игнат Тимофеич... заступиться хотел... А я его ка-ак шаркну бутылкой пивной... брык он! Прямо на стол... Стол к чертовой матери!.. Хозяин прибежал, половые, гости, начали меня укрощать... Разгорелся я, сам

себя не помню... Как которого ни ахну — с ног долой! Ну, однако, сшибли меня, кто-то по затылку бутылкой тарахнул. Помутилось в глазах, свалился... Очухался в больнице... избили всего, живого места не оставили...

Поправился, вышел из больницы, меня сейчас навынос, к расчету... Получил расчет, пошел, выпил, как следовательно... Пойду, думаю себе, к бабе, велю ей сряжаться, вместе уйдем... Ладно! Прихожу в каморку... нету ее... стал дожидаться. Гляжу — идет. Посмотрела на меня эдак сбоку, ничего не сказала, диви не узнала... Платьишко, гляжу, на ней, даром что на работе была,— хорошее... «Такого у ней, думаю, словно не было...» Закипело, слышу, во мне опять все, как кипяток в чугуне. «Здорово, говорю. Аль не узнала?» — «Как, говорит, не узнать! Аль вышел из больницы-то? Мало, говорит, тебя, озорника, клочили...» — «Ах ты, говорю, лахудра ты эдакая... Да я, говорю, тебя превращу сейчас в соль и отвечать не стану. Я тебе кто?.. Что во святом-то писанье сказано, говорю, а? Сказано: «Жена да боится своего мужа», а ты, трепло, что, а?.. Сряжайся, говорю, бери расчет... пойдем... Не желаю я здесь находиться». И что ж ты, братчик, думаешь, она мне дерзнула на это, а?

Рассказчик замолчал и вопросительно смотрел на меня, ожидая ответа.

— Не знаешь? Не дай бог и знать. «Не пойду, говорит, на кой ты мне нужен? Трепаться-то с тобой!» Хватило же, понимаешь, у сволочи смелости такие слова сказать мужу, а? Стало быть, хороша... Хватило же смелости, а? Ну, гляжу я на нее, своим ушам не верю. «Не пойдешь?» — говорю. «Нет... Ступай один, коли охота, а мне и здесь жить можно». Вскочил я тут, братчик, да за ней... Она за дверь, по колидору... «Караул!» — кричит... Я за ней... Колидор-то длинный, есть где разгуляться... бежит она, а сама оглядывается... А я, понимаешь, словно волк остервенился... Настиг, сцопал за это место, за повойник... Стой! Теперь наша! Сшиб на пол, да ногами под бока, и так и эдак, и так и эдак... «Будешь?» — спрашиваю. «Буду»,— говорит. «Будешь?» — «Буду!» Вцепился я ей левой рукой за пасть-то, зажал, а правой по морде... залилось все кровью... «Будешь?» — говорю. «Бу-бу-ду»,— булькает только, понимаешь, а выговорить не может, что, дискать, «буду»... До того, братчик, бил, устал инда, словно цельный день в роще работал. Забил бы,

истинный господь, до смерти, кабы не хожалый Наум Василич... сказали ему... прибежал, отбил, а то бы крышка!..

Ну, тут уж и мне опять попало... били — не жалели... Директор велел сказать, чтобы уходил, пока цел, а то-де плохо будет. Полицию, дискать, позовет... А жену бить не смеешь, и ничего ты с ней сделать не можешь, коли она с тобой жить не желает... «Надо уходить, думаю, ничего не попишешь, а куда?..» Пошел с горя в казенку... Любовницу свою позвал. Взяли бутылку, колбасы взяли, выпили. Пошли в трактир, чаю заказали две пары, баранок сдобных фунт. Потом дал ей денег, сбегала она в казенку, принесла еще половинку... И сделался я, братчик, пьяный... Она-то ничего, а я вдребезги... с огорченья, видно, ослаб... Вышли из трактира, ткнулся я в канаву, уснул, как умер... Проснулся — темно, ночь. Собаки где-то брешут, дождик идет, моросит. Опомнился, гляжу — сапог на мне нету. Я — в портки, кошелька нету... Вскочил, сел, дрожу весь... «Что, думаю, сделать теперь? Куда идти?.. Все спят, трактиры заперты... надо рассвету дожидаться...» Нащупал в кармане кисет... В кисете вид мой лежит. Ну, думаю, слава богу, хоть вид-то цел. Лег, картуз под щеку, свернулся калачиком, как собачонка, а зубами-то — тра-та-та, тра-та-та... Холодно, мокро... да с похмелья-то... смерть!.. Забылся, однако... вроде как бы уснул... очухался, гляжу: бело... гудок орет, машина бежит, стучит колесами об рельсы... Дождя нет, перестал. Заря занимается, разъяснело, на небе чисто... хороший день будет. Сел это я, достал кисет, свернул, закурил. Хотел было идти... глядь: от фабрики по мосту бежит баба, шалью покрыта... шаль трепыхается одним концом... «А ведь это она, думаю себе, самая моя мамзеля». Подбежала... запыхалась... «Проснулся?» — «Проснулся».— «Что же это ты разумшись-то? Где сапоги? Батюшки, неужели сняли?» — «Стало быть, говорю. Проснулся — нету... другие наказывали припасать. И кошелька, говорю, нету. И кошелек уперли».— «Кошелек-то, говорит, у меня. Я взяла. Уж очень ты сразу, дивное дело, ослаб: тащила, тащила, словно мертвый лежишь. Дура я, сапоги не догадалась стащить,— целы бы были... Чай, иззяб?!» — «Смерть...» — «Ну, пойдем в трактир... отперли... я тебя обогрею... А твою-то, говорит, милую половинку в больницу положили... Очень ты ее вечор разукрасил ловко...»— «Черт с ней, говорю, хоть бы подохла... наплевать!» —

«Ой ли?» — говорит. «Истинный господь!» Смеется, любо ей. «Видно, говорит, это не я, дура. Я разве не могла бы, говорит, твой кошелек-то себе взять?.. Ан не взяла, мне тебя жалко... Уйдешь ты вот, а я опять одна останусь... Никого у меня нет... все тут... И в жизни-то, говорит, своей радости не видала... Шпитонка я, казенная... Били, говорит, меня только бесперечь всю жизнь... Жалко мне тебя до смерти... опять я одна».— «Ну, другого, говорю, какого-нибудь гусара подыщешь... мало ли... найдется. И мне тебя жалко... привык! А что станешь делать?..»

Ну, посидели мы в трактире, водочки выпили, похмелился я, чайку попили... «Куда же мне теперь? — говорю».— «Ступай, говорит, в город. Сапожонки перво-наперво, какие-нибудь головки подержанные купи, а там, говорит, иди в деревню, в работники наймись... Дело летнее, народ нужен. Приткнешься где-нибудь...» Утешила меня, понимаешь, словами этими, другой стал, ожил... Еще выпили... Принялась она плакать... не пущает меня: «Посиди да посиди, такой-сякой, немазаный...» Провожать меня пошла... На свои половинку на дорожку купила. Отошли от фабрики эдак побольше версты, сели на бережок, выпили из горлышка, закусили колбасой, посидели... Плакать она опять принялась, и мне ее, веришь, вроде жалко как стало. Душевная баба, истинный господь! Хитрости в ней не было... прямая была, ей-богу!

Посидели мы. Говорить не говорим, вроде как не об чем... Плачет. «Ну что же, говорю, идти надо... Прощай, буде, не забывай... Может статься, свидимся когда».— «Бог с тобой, говорит, прощай, Маркел... Дай тебе господи... Может, говорит, когда обо мне вспомянешь, а я, говорит, завси... Приходи, коли что, последнюю корку горелую разделю пополам, не пожалею...» Ну, попрощались мы... Отошел я шагов на сто, оглянулся... Стоит она, глядит мне вслед... Еще отошел, опять оглянулся: стоит все моя баба, издали вижу, плачет... Махнул ей вдаль картузом: «прощай, мол!» — и пошел, и оглядываться больше не стал.

— Н-да! — произнес мужик помолчав.— Вот ты и говори... чужая, а...

Он не докончил и опять замолчал, как бы что-то думая, низко опустив свою косматую голову.

III

— Пришел я в город,— начал он, очнувшись,— купил в лавке сапожонки подержанные за три четвертака. Пошел в трактир чай пить... А день был базарный, в трактире все столы заняты, сесть негде... Ходил, ходил промеж столов, приткнуться негде... Пошел было уже вон, хвать — у самого у порога в уголке сидят за столом трое: мужик, баба да мальчик, и один угол стола у них свободен... Тут я и примостился... Подал мне шестерка чаю, налил я, стал пить... Вижу — некипяченой водой чай заварен... Ну, да уж что станешь делать,— пью... Мужик с бабой молчат, на меня поглядывают... Мужик с виду сурьезный, немолодой уж, лет эдак, сказать тебе, под шестьдесят... бородища во какая, по пупок, над глазами брови висят седые, росту сам большого... грузный... Сидит в одной рубашке и ворот отстегнул,— жарко ему... Бабенка насупротив его сидит, чай разливает по чашкам... красномордая, молодая, гладкая... «Не иначе, думаю себе, сноха это его...» Ну, сидим это мы, друг на дружку поглядываем... Мужик вдруг и говорит: «Ты, говорит, земляк, откеда?» — «Да я, говорю ему, не здешний... Калуцкой... жил на фабрике, расчелся...» Рассказал ему, как и что... «Стало быть, ты, говорит, теперича без делов?» — «Без делов»,— говорю. «А ты, спрашивает, работу хрестьянскую можешь вести?» — «Ну, вот, говорю, я сам хозяин был. И сейчас бы был, кабы не божья немилость».— «Та-а-ак, говорит. И вид у тебя есть?» — «Есть, знамо... без виду нешто возможно?..» Замолчал он, поглядел на меня и говорит: «Пойдешь ко мне на лето в работники?.. Много ль возьмешь с меня до Казанской?.. Работать, говорит, на четыре души... Ну, знамо, и я, говорит, тоже помогать буду... Да мне, говорит, нельзя завси-то, у меня другое дело... углем занимаюсь... в Москву поставляю на места... Этим круглый год кормлюсь... Сын у меня, говорит, есть... в Москве живет по футлярному делу... Это вот, молодушка-то, жена его, а это сынишка... К Петрову я его выпишу на покос,— косите вместе, травы у меня много... Своей много, да сымаю еще рублей на двадцать пять... Нельзя иначе,— скотина: две лошади, жеребенок-стриган, бык, корова, овцы. Прямо скажу — полон двор скотины... Сам я вдовый, старуха давно преставилась... Живу вот один... она вон за хозяйку... Сын в Москве и, сказать тебе

по совести, неудачный: соплей перешибешь... худой, махонький, а за ворот-то запускает во как! В дом подает плохо — забастовщик, сукин сын... Ни в бога, ни в царя не верует... Развелось их, анафем, конца-краю нет... «Слабоды» ишь какой-то им надыть... Мошенники! Начальства над собой не признают никакого, господам грубят... Какой-нибудь сукин сын, и цена-то ему монетка, готов постаре себя за глотку... «Ты, говорит, старый черт, отжил свое, пора тебе и на свалку в навоз, а то, говорит, от тебя зараза идет...» Допустил царь-батюшка до чего! И к нам в деревню трое повадились ходить... Книжки читают... листки какие-то... Я раз взял один, думал — троицкие от преподобного Сергия... поглядел — вот так троицкие! Уряднику показал... так, мол, и так, господин урядник, народ баламутят, супротив начальства, нехорошо... А он, урядник-то, сукин сын, взял листок, да как сунет мне в рыло: «Ах ты, говорит, сволочь старая, не твое, говорит, дело,— начальство и без тебя знает!..» Такой же, видно, и урядник — забастовщик! В храм божий — и то перестали ходить... Батька стал серчать: «Служи, говорит, а для кого — для баб...» А баба, сам посуди, кака спасуда, что она смыслит, кака у ней молитва...

«Ну, так как же, говорит, земляк, что скажешь?..» Подумал я, подумал: все одно, куда ж идти, а пить-есть надо. «Ладно»,— говорю. Стали рядиться... Он свое, я свое выговариваю... Крепкий, вижу, мужик... выжига, прижима... Ну, да и я тоже не пальцем струган, вижу, куда гнет... Стакались, сошлись, порядились... Отдал я ему тут же пачпорт, а он приказал половому еще половинку принести... Выпили, спрыснули. «Пойдем, говорит, теперича на базар, в лавки зайдем, поглядим там, что надо, поросенка выберем, да и со Христом ко дворам...» Вышли мы из трактира, пошли в ряды... Зашли в одну лавку — красным товаром торгует, на три раствора, богатеющая... Народу страсть! Подошли мы все к стойке. «Дакась, говорит мой новый хозяин приказчику, ситцу, да, гляди, без обману, давай какой подобротней...» — «Да уж будьте покойны-с, тот говорит, кожа-с, а не ситец...» Начал приказчик куски с полок кидать. Начала Аксиньюшка выбирать... Бабенка, вижу, того, голой рукой не бери... Тот не хорош, этот не ладен... Откидывает куски, как навоз вилами... Приказчик инда серчать стал — упарила она его... Выбрала под конец... Начали торговаться... по семнадцати

монет купили шестнадцать аршин... на два семь гривен сразу. «Теперича, говорит, кружевов давай да пуговиц». Купили и этого... «Ну, теперича, говорит хозяин, пойдемте башмаки покупать к Плошкину в лавку, а там, говорит, ты, Аксиньюшка, сказывала даве, сачок ишь какой-то тебе нужен? Уж заодно бы, все едино тратиться-то, авось, говорит, зачтется...» А сам на молодую глядит, и улыбка умильная на устах... «Гм!» — думаю про себя... Пришли в лавку, велел показать полсапожки. Подал приказчик простые. Думал небось баба деревенская, какого ей еще рожна... А она,— вон те и баба,— взяла, да как шваркнет их. «Чего ты мне, говорит, дерьма-то суешь? Не видывала я... Ты давай мне щигреневые, на низком каблуке с благородным скрипом, да калоши резиновые мелкие». Подал тот. «Цена?» — «Три — полсапожки, без четвертака два — калоши...» — «Ловко, думаю про себя... Ай да Аксиньюшка!..» Отдал старик деньги... выкинул, все равно, как сор какой... «Ну, думаю, теперича что будет?.. Куда пойдем?..» Приходим, гляжу, в одежную лавку. «Что вам угодно-с?» — «Да вот бабе сачок какой-то... есть у вас?» — «Сачок? Помилуйте-с! У нас сколько угодно-с... пожалуйте наверх-с...»

Полезли мы все за малым наверх, на чердак, вроде как на какую-то вышку аль на колокольню... Встретил нас тамотка другой малый... приказчик, что ли, пес его знает... здоровый, морда лопнуть хочет, винищем разит... Обрадовался нам... закидал словами... «Ты, молодец, говорит ему мой хозяин, не торопись, не танцуй, нам не на пожар, показывай товар получше...» — «Будьте покойны-с, будьте покойны-с... Вот пожалуйте: картина-с, а не сачок... Извольте взглянуть, купец... глазам больно-с... ослепнешь...» Стою это я в сторонке, гляжу на них, и чудно мне, истинный господь, дивлюсь я, чего это они покупают. Понимаешь, братчик, сачок этот болтается на бабе, словно тряпка на колу... ни красы, ни радости... «На кой он ей, дуре, думаю, сачок-то этот, неужели в деревне носить будет?..» Ладно. Стою, жду, что дальше будет... Мерила, мерила наша мадама сачков этих... штук десять перемерила... все не по ней! Чисто, понимаешь, голова, барыня какая... Под конец и языком трепать, сердешный, перестал... подает молча... Ну, выбирала она, выбирала, вертелась, вертелась перед зеркалом-то... и так гузном-то повернет и эдак... выбрала, глядеть на бабу совестно, истинный гос-

подь... «Ладен ли этот, батюшка, будет?» — спрашивает у свекора. «А мне что,— тебе носить-то... гляди... Ладен, так ладен... об цене будем говорить... Как цена-то, а? Много ль положишь?» — «За этот-с? С вас только без запросу восемнадцать с полтиной-с! Дешевле нельзя-с, все берут... мода-с! Фасон один чего стоит... материя...» Взял мой хозяин у него из рук сачок этот, оглядел кругом, встряхнул и обернулся ко мне: «Как, говорит, думаешь, много ль давать?» — «Да много ль, говорю... бутылки на две подымет...» Засмеялся приказчик: «Нонче, говорит, за эдакую цену до ветру не сходишь...» Начали торговаться, бились, бились, сошлись, слава богу, за двенадцать с четвертью да на чай приказчику... В двенадцать, значит, сорок пять этот сачок-то вскочил!.. Полезли опять вниз, старшему деньги отдали...

Пошли после того на постоялый, оставили там покупки... четвертку овса лошади всыпали и опять на базар, к садкам, где поросят продают... Хозяин все ищет из боровков курносого, а молодая — свинку... «Борова, говорит, мне не надо... с боровом хлопот много... лягчать, говорит, надо... то... се... бери его себе, коли хошь... вешай на шею... а мне свинку давай...» — «Ишь ты, думаю себе, похоже, бабочка-то с норовом... задом бьет... кнута, видно, только хорошего себе не найдет...» Настояла баба на своем, купили свинку без четверти за пять, на постоялый пошли, оставили ее там, дворнику наказали: поглядывай, мол, а сами опять в трактир пошли чай пить... Сели за стол, хозяин и говорит: «Ну, теперича, говорит, надыть покупки спрыснуть... Выпьем, Аксиньюшк... Я тебе красненького, кагорцу хошь?» Постучал. Велел половинку подать простого да красного... Принес половой. Выпили... Мне подносит вперед свого... «Пей, говорит, не бойся... Я сам пью. Водка у меня завси... никогда не переводится». Ну, раздавили мы с ним эту половинку, еще велел подать... и эту шпокнули... Гляжу — мой хозяин заговорил по-другому: покраснел, вспотел, глаза словно маслом смазал и все, понимаешь, на бабенку поглядывает... «Выпей да выпей...» Та, гляжу, выпить тоже не дура: рюмку за рюмкой так и пошвыривает... Смеется, зубы скалит... на меня поглядывает... Я смотрел, смотрел на нее, да тоже, возьми, глазом и моргани... дискать: «Я тебя моргану, а ты догадайся, я тебя поманю, а ты подвигайся...» Гляжу, ничего она... рада... смеется... Ну, думаю, ладно, Маркел Иваныч,

наше с тобой дело на колесах поехало... А его, старого лешего, развезло: взял эдак рукой правой ее по плечу — хлоп!.. А потом, гляжу, без стыда за грудки прихватил. «Баба она у меня, говорит, форменная... вот она, пятьсот дана! Так, что ли, Аксинья, да Петровна?» — «Отстань, говорит, старый кобель... Ишь тебя разбирает лихая-то година. Погоди, пожалуюсь мужу, он те покажет...» — «Боюсь я, говорит, твоего мужа, как летошнего снегу... Сопляка-то... где уж ему... ему козой владеть, а не эдакой бабой... Он про тебя и думать-то забыл... чего ему! Уткнет морду в книжку... ни фига не видит... Много ты от него получаешь? Два белых, а третий как снег... Добыча-то его плюнуть стоит, и все на глотку да на книжки. Домой приедет — люди гостинца везут, а он книжек похабных... мужикам читает, народ смущает... И дивно дело... в кого только такой черт уродился?! У нас и в роду-то таких не бывало... С ним начальник говорит, а он в носу ковыряет... Нешто это порядок? Сволочи! «Слабоды» им, чертям! Вешают, дьяволов, да мало... Забастовщики окаянные, тьфу!..»

Не утерпел я: «Чего, говорю, костишь-то его?.. Что, мол, он у тебя за разбойник такой, Чуркин?..»

«Не люблю, говорит, больно умны стали... А ты молчи, говорит, не серди меня... Я выпимши нехорош бываю... Не говори мне насупротив ничего...» — «Черт с тобой, думаю, не велик барин-то!.. Князь какой, подумаешь, Хованский. Снохач чертов!» Разобрало его... кликнул полового... велел пива две бутылки принесть... Я пить не стал, он один вылокал... Вылокал, братчик, да и того, гляжу, с копыльев долой, опьянел мой мужик... Сидит, хлопает глазами, как сова, и языком еле ворочает, а все бахвалится: «Я, говорит, супротив десятерых выстою». Аксинья ему не перечит, смеется, а сама мне, понимаешь, глазом моргает... «Ах ты, думаю, сволочь ты эдакая!.. Взять бы тебя, да об угол!..» Пошли из трактира с молодой лошадь глядеть, колеса мазать... Ну, и смазали же ловко,— и теперь, чай, не скрипят...

Он засмеялся и поскреб обеими руками голову.

— Ведь вот они, бабы... возьми их... Истинный господь, все на один покрой... Ну, знамо, одна похитрее, другая поплоше... одна этак концы схоронит, другая эдак, а дело-то все одно выходит... Те же портки, да назад гашником повернуть...

Справили лошадь, покупки уложили, отдали дворни-

чихе за постой, сели, выехали за ворота к трактиру... «Ступай, говорит мне баба, тащи его, пса, оттеда... чай, раздряб, кисель-киселем...» Пошел я... Гляжу, сидит мой бурлак за столом, клюет носом, а мальчишки нету при нем. «Где ж он?» — думаю. У полового спросил: не видал ли, мол. «В бильярдную, говорит, пошел». Заглянул я туды. Верно, гляжу, здесь он... папироска в зубах... курит... «Ах ты, думаю себе... вот уж: «Сын в отца, отец во пса, вся семья в бешеную собаку». Взял его оттеда... пошли к самому. Насилу с половым спустили по лестнице... Завалили на телегу, как борова... Сели, поехали по городу... растрясло его по камням, блевать принялся... Блажит на всю улицу... головой об грядку колотится... сам без картуза... Народ идет, глядят, смеются... «Далече ли, говорят, падаль везете?..» А там, понимаешь, малость прочах, начал песни орать, да все норовит позабористей:

Капустка моя, мелкорубленная,
Отойди, шантрапа, я напудренная!..

Ехали до дворов долго... Поехали селом Козьмодемьянским, глядь — а в нем казенка, трактир около... Ну, знамо: «Стой! Приворачивай!» Пошли в трактир... Нас трактирщик в особую каморку — почет!.. С самим за ручку, с бабой тоже... «Пожалуйте!.. Из города-с? Чайку вам? Три пары?.. С лимончиком прикажете? Бараночек-с? Свежие, хрусталевские-с...» Сели за стол к окну. Меня тоже посадили. «Садись, говорят, как тебя... чего стоишь-то, чай, мы не господа...» Трактирщик принес чаю, баранок: «Пожалуйте! Что в городе новенького-с? Как насчет Думы-с? Что слышно?» А мой и говорит ему: «Ни рожна я, говорит, не слыхал... Кака там Дума?.. Выдумаешь... На кой она нам ляд? Жили без нее и опять жить будем... Народ только смущают, а и все-то дело наплевать стоит! Дава-кась, неси половинку». Выпили, захватили с собой четверть, сели и поехали...

IV

— Приехали в деревню — скотину, гляжу, гонят,— продолжал рассказчик.— Стройка хорошая: две избы, крыты железом, двор — дранкой... Слезли, отпряг я лошадь. Вышла ко мне старуха, Аксюткина мать. «Работник,

говорит, новый, знать?» — «Да». Сам меня спрашивает: «Ну, что, голова, как у меня, по-твоему, а?» — «На что уж лучше... полная чаша!..» И верно, братчик, все у него в порядке, всего много, каждая вещь у места. «Я, говорит, все приобрел... моими трудами нажито...» Пошли в избу... Две избы-то, одна зимняя, другая летняя,— сенями разделены... В одну — дверь клеенкой обколочена зеленой, гвоздиками медными пришита, а скобка — за что открывают-то — тоже медная, начищена, словно золото, истинный господь, горьмя-горит!.. Отворил хозяин эту дверь: «Шагай!» — говорит. Вошли. Гляжу я, братчик: горница, на избу не похожа... словно, голова, у господ... стулья, диван... стены обоями обшиты... портреты висят... в переднем углу божья благодать, все в ризах... на полу половики подостланы, чтобы, значит, пол не топтать сапогами... Цветки в горшках... кисейные занавески на окнах... Хорошо, голова, истинный господь, барину жить!...

«Ну что, говорит, как по-твоему?» А сам смеется, любо ему. «Сами-то, говорит, мы здесь не живем... Нешто можно? Это у меня для гостей, которы достойны... У меня здесь, говорит, сам батюшка граф молодой был не один раз... Покойного старого графа, чьи мы барские были, сынок. Теперешнее время он, говорит, в Питере к царю близок... совету государственного член... Много я от него добра видал... Хорош он для меня... А вот сынка моего... не того, не любит... «Крамольник он, говорит, у тебя... держи его строго... В церкви, говорит, никогда не вижу...» А сам до храма божьего вот какой — удивительное дело! Чисто, понимаешь, угодник какой... Именье его сумежно с нашей землей... Заходит ко мне. Про старину любит поговорить, как допрежь жили... «Да, скажет, Абрам, разорились старые дворянские гнезда... разорились!» Чуть не заплачет, сердешный... «А теперь-то, скажет, что, а? А все, Абрам, от того, что воля, слабость, ученье... Ты ведь вот, скажет, ученый, что ли?» — «Нет, ваше-с».— «А ведь живешь?» — «Дай бог всякому, ваше-с».— «То-то вот, скажет, и оно-то. Если вас всех учить,— вы графами захотите быть... Кто же землю-то пахать станет, а? Мы, что ли?» Хо-о-о-роший человек. Только вот до женского естества слабенек... Бабу ли молодую, девку ли с ним одним оставлять, того, погодишь. Слаб! Ну, я, признаться,— ты только помалкивай,— свою дуру Аксютку подсуну ему: разливай, мол, чай его сиятельству, а сам за дверь... Наплевать,

думаю, что ей делается?.. Не ягодка, не перезреет, не опара — на шесток не уйдет... А мне за это, глядишь, красненькая! От него жить пошел, ей-богу!.. Уголь вот теперь жгу в его роще... Роща-то, почитай, дарма мне досталась,— а какой уголь-то... одна березка... звенит!.. Угольщик у меня жгет, ваш калуцкой, земляк твой... две ямы... Так вот как, милок, денежки-то наживают, а не по-нынешнему: «Кто-ста я? Ученый!» Забастовщики беспортошные, дери вас черт! Перевешал бы вас начисто, мошенников!»

Молчу я... не перечу... Хозяин! Потрафлять надо... Пошли в другую избу... сели за стол... ужинать велел собирать, четвертную распечатал, налил в графин. Сам выпил и мне поднес. Стали ужинать. Харчи, гляжу, хорошие. Щи со свининой, из белой капусты, каша с салом, квас, любота! Поужинали, он и говорит: «Ложись теперича спать... хоть здесь, хоть в сенцах... В сенцах-то покой, а здесь бабы встают чем свет, громыхают».— «Ладно, говорю, мне все одно,— в сенцах так в сенцах...» — «Пойдем, говорит, я тебе укажу где. Аксюшь, дакось ему постелиться чего-нибудь в головашки. А я, говорит, пойду на печку, разломало меня дорогой-то, растрясло... спине больно». «Та-ак, думаю себе. Ах ты, старый черт, растрясло тебя!..» Ушел он. Помолился я богу, лег... уснул, точно умер. Долго ли спал, только слышу скрозь сон: толкает меня кто-то под бок... Открыл глаза, спросонок-то не пойму, где я... «Кто это?» — «Я, говорит... Что ты, аль испугался? Небось, говорит, не домовой — душить не буду...» — «Ах ты, думаю, притка тебя задави!.. Во жены-то!.. Наши хороши, а эти еще чище... Что ты, говорю, стерва, очумела?.. Спаси бог, сам услышит, отвечай тут из-за тебя...» — «Небось, говорит, не услышит... знаю я... спит, старый черт...» — «А много ль время теперь? Свет небось скоро?» — «А зачем тебе, говорит, свет-то?..» Хохочет, подлая. «Ловко, говорю ей, это ты... не знамши человека,— пожалуйте!» — «У ловкого, говорит, все ловко».— «А муж-то, говорю... вон свекор тоже... вижу небось я...» — «Да что ты, говорит, к обедне я к тебе, что ли, пришла ай на дух к попу?» — «А и то, думаю, мне-то какое дело?.. Наплевать!..»

Ушла она от меня, должно, перед светом... Только было я глаза завел, слышу: заиграл пастух в жалейку — скотину выгонять. «Вставать, думаю, мне аль погодить?..» Лежу... слушаю. Пошли, слышу, бабы на двор коров

доить... Подоили, заскрипели воротами — выгнали скотину на улицу. Гляжу, идет сам — только проснулся,— косматый, разумшись. «Ну, говорит, как спал на новом-то месте? Вставай... делов нам ноне по горло. В Москву поедем на двух с угольем. Попьем чайку, закусим, поедем на угольницу насыпать... Вставай». Встал я. Напились чаю, позавтракали, поднес он мне стаканчик, забрали спасуду, кули тоись, запрягли в полки — поехали на угольницу. Приехали туда, начали насыпать из кучи уголь. Измазался я, аки черт какой... потья эта с непривычки-то в рот набилась... От ям дым идет, глаза ест... Плюнешь — слюна черная... А жарко-то — духотень... А хозяину с угольником ничего, так словно и надо... Знамо, привычка... Ну, насыпали — слава богу... пить смерть захотелось... Пошли все трое в сторожку, достал хозяин бутылку — выпили, посидели, поехали назад с возами домой... Дома не мешкали, не отпрягали... Живо срядились опять,— закусили, выпили... «Пошел со Христом!» Он на чалой кобыле передом, я на саврасом жеребенке позади... Лошади здоровые, привычные,— прут... снасть крепкая... все устроено, как надо быть, не бойся, что ось сломишь. Не сломишь — железная...

Съездили мы в Москву с углем, все по-хорошему... Назад приехали... Кладь оттуда захватили в город. Опять деньга... не порожнем... Стал я у него жить... Неделю живу, другую, третью... вижу, ничего: жить можно... Аксютка эта для меня — лучше быть не надо... Старухе, ейной матери, потрафил... Жить можно. Работы особо тяжелой нету... Знамо, хрестьянская, то, се... Ну, да ведь мне не привыкать стать... По праздникам в храм божий обязательно посылал хозяин... Сам, бывало, пойдет, коли дома, и меня с собой. «Пойдем, скажет, Маркел, возблагодарим господа за его великие и богатые милости...» По праздникам в деревне весело было... Деревня большая... народ все мастеровой... игрушки из жести делают... исправный... ловкий... Девки это... все больше на фабрике живут, прожженные... На улице-то стон стоит. Ну, я, знамо, до этого не касался. Я, братчик, по другому ударил. Даве я тебе сказывал, как хозяин-то мой в трактире говорил, что, мол, повадились к ним в деревню трое... народ смущать... забыл?

— Помню,— ответил я.

— Вот это самое... Мне, может статься, и не к чему бы, и не знал бы я про них, да дело вышло как-то само

собой. Сидим мы раз с хозяином в избе, чай пьем. Окошко открыто... Глядь, идут по улице мимо окон трое... один — повыше всех, в шляпе, а те двое — в картузах... «Чьи такие, говорю я, гляди-кась?» Посмотрел хозяин. Плюнул. «А вот эти, говорит, самые смутьяны-то, гитаторы-то и есть».— «Куды же это они?» — «Куды? Идут, вишь, как и водится, к Чюнину двору... Тамотка у них клуб, притон... Да погоди, ужо попадет вам, а Мишке не миновать острога... Донесу, истинный господь...» — «Пойду-кась я, говорю ему, схожу туды, послушаю, что такоича... любопытно».— «Ступай, говорит, только смотри — знай край, да не падай...»

Пошел я... Гляжу: точно, около Чюнина двора народ... Те трое сидят на скамье под окнами, двое папироски курят, а третий, в шляпе-то, разговаривает... Мужики вокруг, которые сидят, которые стоят, слушают. Протискался я поближе, стал слушать... Говорит барин, вижу, все по-хорошему, дело, а не пойму я путем, не вникну... Да и где ж мне, братчик, сам посуди, сразу понять было... Что я до этого-то слыхал, каки слова? Материнство одно... да «сволочь», «в рыло», «мужик», «дурак»... Эх-ма! Н-да!..

Он помолчал, подумал, опять поскреб голову и продолжал:

— Начал я с этого раза ходить слушать их, открыли они мне глаза, понял я, в чем дело-то... повязку с моих глаз сняли... Ну, братчик, и люди же, истинный господь, цены нет. А этот, в шляпе-то, Николай Иванычем звать, как начнет говорить,— что ты, голова!.. Заслушаешься... откуда что берется, ей-богу, чисто вот у него по маслу так и плывет!.. За сердце хватает, истинный господь!.. Хозяин мой, вижу, стал того... косыми глазами глядеть на меня. «Чего ты, говорит, туды повадился?.. Какого черта! Нашел кого слушать!.. Нехристи, сукины дети... Смотри, говорит, и тебе попадет...» Молчу я... ничего ему не перечу, а сам про себя уж за пазухой камушек припас... Попротивел он мне, братчик, хуже драной кошки... Эдакие-то вот дьявола все и дело-то гадят... Много ведь их, чертей, и ничем ты их не проймешь, никакими словами... хуже быков, истинный господь! Необузданный народ, заскорузлый... Только и заботы, как бы хапнуть где, обмануть, нажить, больше им ни рожна не надыть... Чужой беде рады. Я раз как-то и скажи ему: «Все, говорю, они истинную правду говорят. Нет в ихних словах лжи. Вот хоть, го-

ворю, насчет земли... Нешто это порядок: у одного тысяча десятин, а у меня нет ничего. Вот хоть у здешнего графа-то твоего сколько земли-то, а? Половина уезда, а на кой она ему черт?» Сказал, да и сам не рад... Батюшки-светы, накинулся он на меня!.. «Да ты, кричит, чего это, а? В ихнюю веру перешел!.. Отравы хватил!.. Ах ты, сукин ты сын, дурак... эдакие слова!.. Да скажи я его сиятельству про дерзновенные речи твои,— что он тогда с тобой сделает? Ему только одно слово сказать — и кончено, и нет человека. Дурак ты! Нам ли с ними равняться?.. Он кто? Граф! И родитель его граф, и родителев родитель граф, так и идет колесо... Земля дарственная, дареная... Дурак, царями дарена! За выслугу. Стало быть, они стоили того... Смотри, брат, коли услышу еще, ступай тогда, где был... Ненадобен будешь, и расчету не дам, да еще и уряднику представлю».

Ну, что ты станешь с ним, со старым идолом, делать?.. Молчу я. Ладно, мол, толкуй, кто откуль... Живу, работаю. С хороших харчей в тело входить стал... Шея это, морда... не то, что сейчас... Лопнуть хочет! Завси, почитай, водка, харчи хорошие... Аксютка эта самая... любота, истинный господь! Покос подошел... с Петрова закосили усадьбу, а к Казанской сын из Москвы приехал... Покосу, травы страсть сколько... своей много, да нанятой вдвое... Знамо, одному мне не управиться, а самому со мной недосуг. То, глядишь, в Москву, то еще что,— все отрывка... Дело не ждет, а нанять некого, все за свой взялись... Так и пришлось сынка из Москвы на покос звать...

Приехал он из города со станции под вечер, в самую Казанску, на ямщике парой, с колокольчиком... Мы думали, кто такой? Ан хвать — это он. Соскочил с тарантасу. Пальтишко на нем легкое, брючонки навыпуск, жилетка, при часах... Фу-ты, ну-ты! Рубашка на вороту шнурком перевязана, на ногах щиблеты, зонтик... Барин, истинный господь!

Полез это в карман, достал кошелек, отдал ямщику за подводу, взял из-под сиденья узелок эдакой небольшой, пошел домой в избу.

Мы сидим все за столом, чай пьем... молчим, хозяин инда потемнел весь. Насупился, глядит в блюдце... Аксютка покраснела, бельмами-то так и стреляет... знает, погань, чье мясо съела... Мальчишка разинул рот, уставился на дверь, глядит во все глаза...

Ну, входит он. Картуз на нем надет белый, снял его на пороге, на иконы, гляжу, не крестится... «Здравствуйте, говорит. Живы ли вы тут?» Никто ему на это, ни отец, ни жена не чукнули. Посмотрел он на них, на меня посмотрел, усмехнулся эдак тонкими губами, подошел к столу, наклонился к мальчишке. «Здравствуй, говорит, Колюнька! Аль не рад отцу-то?» Начал целовать его. Снял потом пальтишко, повесил, остался в пиджачишке куцем, штанишки это навыпуск, болтаются. Да и весь-то, гляжу я, чудной какой-то, словно петушишко забитый, заморыш-курояй... Жалость индо глядеть на него, истинный господь! «Ну, думаю себе, хорош работник... много ты натяпаешь!..» Мордочка у него, понимаешь, гляжу, вот эдакая, с кулачок, словно моченое яблоко... глазенками хлопает... в градусах... Росту небольшого, жиденький, словно ивовый хлыстик, а видать, что юркий... Так его всего и ведет, как бересту на огне... ручонки так и трясутся, а губы белые, тонкие... «Ну, думаю себе, ты тоже, брат, должно, огурчик!»

Чудно мне на них, братчик: сидят — молчат... Ни тот, ни другой, ни третий покориться друг дружке не хотят... говорить не желают. Я сижу, жду, что будет. Хоть и не мое дело, а и мне как-то вроде неловко... «А что, спрашиваю, молодчик, как дорога-то, ничего? Попросохла ли?» — «Просохла, говорит, ехать можно. Местами плохо, а то ничего. В Спирькином овраге плоше всего». Гляжу, хозяин мой скосил на него глаза эдак сбоку, словно, прости господи, на черта стал похож, да и говорит ему эдак скрозь зубы: «Да ты видел ли дорогу-то?.. Сам-то себя видел ли?.. Налил очки-то...»

А тот ему на это, не будь плох, в ответ:

«Сам-то ты не налил ли?.. Чего брешешь зря?..» Обозлился, гляжу, мой хозяин... вылез из-за стола, руки в боки упер, покраснел весь, как кумач, так и трясется, старый черт! «Ты что ж это, говорит, сукин сын, делаешь-то, а? Чего это ты меня ради срамишь, а?» — «Чем я тебя срамлю?» — «Чем, чем... Какой барин, подумаешь,— на паре с позвонками приехал, а? Что теперича люди-то говорить станут, а? Обо мне и так слух, что у меня денег девать некуда... а он накось... Чай, мимо графского дома ехал? Хорошо его дома нету, а то что бы он подумал, коли б увидал, а?» — «А мне наплевать на твоего графа,— это сын-то ему на ответ,— тебе он нужен, а мне — тьфу

да ногой растереть! Все одно их скоро к чертовой матери, графов-то твоих... Голову ему отшибить, твоему графу-то... воткнуть на кол да поставить в коноплю воробьев пугать... боле-то он никуды не годится...» Гляжу я на него во все глаза... «Вот тебе, думаю, штука!» Откуда что, понимаешь, берется... и ни чуточки не робеет! Эдакой сморчок, а куды годишься... Так весь и трясется... тронь его — зарежет, истинный господь! Ошалел, вижу, мой хозяин от этих слов. Выпучил глаза, глядит, как сыч, а сказать ничего не может. Оголоушил он его, как дубиной... Где-то, где-то опомнился,— как заорет во всю пасть по-матерну... «Давай, орет, деньги... нажил, чай, в Москве-то?.. Кажи, давай, а я твою жененку да щенка кормить дарма не обвязался... Забастовщик проклятый! Наплевал бы на то место, где ты, сукин сын, родился... Жене вон на платьишко не купит, мошенник... в храм господень и то выйти не в чем... А тоже: кто я?! Сволочь!» А он ему на это: «Чего мне, говорит, покупать, а ты-то на что? Ты купишь. У тебя денег много... подохнешь, с собой не возьмешь, нешто только на помин души попам оставишь?» — «А ты думаешь, тебе оставлю, а?.. Тебе? Накось, вот чего не хочешь ли?.. Накось, выкуси! В печке сожгу, а не дам». А сын ему на это: «Жги, наплевать! Мне твоих грабленых денег не надо... Подавись ими! Грабил, грабил... подохнешь ведь все едино...» — «Подыхай ты, сукин сын, а я не собака подыхать-то... Может, ты вперед мого подохнешь. Гляди-кась, Аксютк, муженек-то какой стал — картинка... Что значит Москва-то, а? Хо-хо-хо! Поправился! Возьми-кась его, Аксютк, зажми промеж ног, не вывернется, подохнет... хо-хо-хо!» — ржет, аки жеребец... Мне, братчик, индо совестно стало. Не видывал я и не слыхивал отродясь, чтобы, тоись, отец с сыном так-то... Сижу, гляжу на сынка-то, и жалко мне его. Видать сразу, больной человек, чаврый. Побелел весь, аки бумага... трясется... страшно индо смотреть на него. Заплакал, сердешный, махнул рукой да из избы вон. Дверью хлопнул — стекла заговорили. А мой чертушка-то ему вдогонку: «Чтоб тебя, сукина сына, эдак-то по шее бы дернули! Поди, говорит, Маркел, посмотри, куды он пошел? Начнет теперь, сволочь, языком трепать по деревне... погляди-кась, выдь». Надел я картуз, пошел. Выхожу на крыльцо, гляжу: сидит он на скамейке, папироску курит... Посмотрел на меня... «Ты, говорит, здесь кто ж такой, а?» —

«Да работник, говорю. Нанялся вот до Казанской».— «Так. Много ль же он тебе положил?» Сказал я. «Дурак ты, говорит, дешево... Брал бы больше... У него, черносотенца, денег много. Драть с них, чертей, надо... бить их...» Закашлялся индо со злости... «Эна, говорит, вишь вон именье-то графское... Вон отседа видать, долина-то... а на чьи это все денежки строено? На ваши, говорит, все... Народ-то у нас, говорит, все одно, что звери дикие... Вот вроде моего родителя, черти!.. Сами в петлю лезут... В Москве вот дело другое... есть люди... Эх, брат, слыхал я... Как соберутся да запоют: «Вставай, подымайся, рабочий народ!..» — веришь, говорит, сердце мрет... словно вот, говорит, летишь на крыльях, и ничего тебе не страшно, и не боишься никого... так бы вот взял, говорит, сейчас да и помер за правду... Правду я, говорит, люблю пуще себя... За правду пострадать готов, муку приять... Я, говорит, вертеться не стану, черного белым делать не буду... Ты думаешь,— я сюда на покос приехал?.. На кой он мне черт! Так я приехал, воздухом дыхнуть... Плох я... сынишку вот жалко!..» — «А жена-то?» — говорю. Посмотрел он на меня, усмехнулся, да и говорит: «Ты, говорит, арапа-то не строй... небось видишь...» Удивился я...

«Дык как же, говорю, ты это стерпеть-то можешь, а? Неужели тебе ничего?» — «Ничего, говорит. Я теперь вроде Алексея, человека божьего... больной я, говорит, видишь... да и дура она, черт с ней... корова... Кабы любил я ее,— дело двенадцатое, а то она мне все одно, как касторка с похмелья... наплевать... Эх, говорит, земляк, да нешто в бабе дело?.. Наплевать баба!.. Не такой я человек! Мне не баба нужна, мне правда нужна... дело мне делать нужно, пострадать... Вот я тебе, погоди — у меня книжки есть — почитаю про людей... Вот были люди, не с нами сравнять, орлы! Ничего не боялись! Режь его, все одно не чукнет! За правду умирали, за нас, дураков, кровь проливали, старались... а мы что им за это? «Так и надыть... дери их черт! Они, мол, в бога не веруют, противу царя идут...» Тьфу ты, говорит, дуболомы проклятые. Вон мой родитель в бога верит, в церковь ходит, посты блюдет, а живодер первый во всем уезде... Не догадается ни один дурак прийти к нему «руки вверх»... Хлопнули бы — одной собакой меньше!» — «Что это, говорю, родителя-то ты как?.. Нешто можно?.. Как-никак, а все родитель...» — «А я, говорит, просил его меня родить-то?.. Спрашивался

он у меня?» — «Ну, это дело, говорю, божье, он ни при чем... закон!..» — «Божье, говорит, да, божье! Вон к моей дурехе лезет... тоже дело божье, коли родит, а?»

Молчу я... сижу, слушаю его, дивлюсь. «А что, говорю, вас эдаких-то много? Допрежь словно бы таких я и не привидывал?» Усмехнулся он. «Много, говорит, повсеместно... по всей Росеи... Помни, говорит, Маркел, слова мои... подохну, может, я скоро, может повесят, наплевать: встанет Росея, подымется народ — «отдай наше...» Эх, кабы мне дожить, говорит... По локоть бы, говорит, руки в ихней крови выкупал... напился бы, говорит, ихней крови досыта!»

Гляжу на него... страшно индо, истинный господь!.. Словно вот полоумный какой, порченый... «Что это, говорю, они тебе насолили больно, а? Уж очень ты озлобился...» — «Не мне, говорит, насолили... Я что, я — муравей... всем они насолили, народу всему... грабители! Дурак ты, говорит, ничего еще не смыслишь...» — «Понимать-то нечего, говорю, нашему брату цена известная — спокон веку грош... Ломай, да и вся недолга... У кого деньги есть, тому, знамо дело, и хорошо, живи не тужи..., а без денег сам бездельник... и ничего не поделаешь... Дакось, говорю, мне денег, и я барин буду, холуя заведу. «Эй ты, малый, подай водки алой...» Лошадей заведу, коляску, нешто мы не можем?..»

Махнул рукой на мои слова. «Отстань, говорит. Я, говорит, про Фому, а ты про Ерему... спать, говорит, пора... в сарае сено есть? Лягу я там».— «Что ж тебе в сарай, говорю, ложись дома... Только приехал, чай, не чужой... жена молодая... поужинал бы... все честь-честью...» Махнул он опять рукой, ничего мне на это не сказал; встал, пошел в сарай... Поглядел я ему взад-то... жалко стало... Пошел в избу. «Где же он-то?» — хозяин спрашивает. «В сарай, говорю, спать ушел».— «Ну, черт, говорит, с ним, пущай спит. Давайте ужинать. Ты его завтра, смотри, раньше буди... Косит пущай... Это не книжки читать, не языком болтать...» — «Какой уж, говорю, он работник... в чем душа...» — «А ругаться небось умеет... На это мастер... Нет, ты, сукин сын, должен покориться родителю... Вся моя власть над ним: стащу в контору вот... земскому скажу, прикажут отодрать... У нас земский, дай ему бог здоровья, человек справедливый, меня хорошо знает,— с ним и разговаривать не будет... Велит отодрать — и во

как, за милую душу насыпют... Погляжу вот, что будет из него, а то форс-то ему сшибить надыть... Погодишь, брат! Мы вас взнуздаем...» Ничего я ему на это не говорю. Сижу молча... Поужинали... Пошел я к себе в сенцы спать... Под утро, слышу, пырх ко мне Аксютка... «Спишь?» Взяла тут меня, братчик, злость. «Тебе, говорю, чего ж это надо-то, сволочь ты эдакая, а?» — «Что ты, говорит, очумел?» — «Уйди, говорю ей, паскуда, бесстыдница, уйди, пока цела... Муж дома, а она... Зачем же ты, стерва, опосле этого закон приняла, а?» Засмеялась она. «Какой это, говорит, муж? Он негож для этого дела, я таких не люблю». Так без стыда и режет. Плюнул я тут ей в харю, да по шее раза три отвесил. Больше, говорю, ко мне не ходи. Ступай вон к свекру-батюшке, он те, может, еще сачок какой купит». Выругалась она матерно, заплевала меня, ушла.

Стала заря заниматься... встал я, пошел в сарай москвича будить на работу. Гляжу, а уж он не спит. «Что ж это ты не спишь-то?» — «Да так... не спится, тоска какая-то, да кашель одолел... грудь болит... Плох, брат, я, Маркел... А ты что пришел?» — «Да за тобой, говорю, косить. Вечор сам наказывал будить тебя... Пойдешь?» Усмехнулся. «Пойду, говорит, по своему желанию... Наказу его не боюсь. Коса-то есть отбитая?» — «Есть». Встал он. Пошли мы с ним, умылись на дворе, взяли косы, вышли на улицу. Он и говорит: «Выпить бы хорошо теперь, да с собой бы половиночку».— «Дома у отца, говорю, водки хучь облейся... постоянно держит».— «Ну его к черту, говорит, с водкой-то его. Купить бы... Не знаешь, кривая Гундора торгует?» — «Признаться, говорю, сам не хаживал, а слыхивал: придерживает...» — «Зайдем».— «Мне что ж, говорю, зайдем. Только как бы сам не узнал... ругаться станет».

Зашли мы к этой самой Гундоре... бабенка, вдова, водкой торгует... с ребятишками живет, этим и кормится. Глядим — заперто. Постучали в оконце, встала она, впустила... «Есть?» — «Пожалте... Закусить-то вам чего? Лучку нешто пойти головку выдернуть?» Пошла, принесла луку зеленого. Сели мы к столу. Налил он. «Пей!» — «С хозяина, чай, говорю, черед».— «Пей, не ломайся! не люблю я». Хлопнул я. Налил он себе, тоже хлопнул. «Дакась нам еще половинку, а эту на, убери (мне говорит) в карман, с собой возьмем...» Притащила Гундора еще половинку, и эту хлопнули. Отдал он деньги. Вышли на ули-

цу... пошли вдоль деревни... Пошатывается, гляжу, мой малый, развезло его натощак-то, да и у меня тоже, слышу, того, не в порядке... А солнце чуть встало, на небе ни облачка, роса сильнейшая... «Хороший день будет, думаю себе, надо понавалиться, до завтрака подвалить побольше...»

Вышли за деревню, стали под гору спускаться к речке, глядь — из-под горы пылит кто-то нам навстречу. Глядим, не мужик едет. «Со станции, говорю, должно, господа каки-нибудь в именье». Остановились. Вот, глядим, катит пара в дышле, лошади хорошие, все в мыле... На козлах кучер, руки вытянул в струнку... бородища черная по брюхо... А в коляске, глядим, сидит-развалился барин какой-то в шляпе, папироску курит... прищурился, на нас смотрит... Поровнялся с нами... Снял я картуз, хотел было поклониться... Хвать, мой хозяин-то молодой как закричит по-матерному, что ни есть хуже, а сам зубы ощерил да кулаком-то вот эдак барину и грозит... «Вот тебе, кричит, такой-сякой!» Я так, братчик, веришь богу, и присел... Увидал это барин, кучера в спину тык — «Пошел!» А мой чудород вдогонку-то им, вдогонку, что ни есть гаже... «Что ты, говорю, очумел — ни за што, ни про што лаешь!.. Кто такой барин этот?» А он побелел весь, глаза страшенные... с винища-то еще пуще, пена из роту клубком. «Граф это, говорит, чтоб ему...» да опять матерно. «Вот бы, говорит, была бонба, шваркнул бы, полетел бы вместе и с коляской своей к чертовой матери... ишь катит в коляске... кучер... а мы с тобой иди вот, тяпай... А что он, умнее нас с тобой, что ли? Отними от него деньги, одень поплоше, сыми, как с бутылки, ярлычок графский... Поди-кась, мол, добудь себе на пропитанье. Ей-богу, в злую роту не примут... Подохнет, сукин сын, с голоду...» Обернулся опять в ту сторону, куда граф поехал, поднял кулак, кричит, словно помешался:

«На наши денежки живешь... нашу кровь сосешь... погоди, погоди!» Затрясся весь вдруг, а пена-то из роту, братчик, словно, истинный господь, мыло какое... Показывает, вижу, мне рукой на глотку на свою, а сам глаза вытаращил, черт-чертом... Испугался я... Не знаю, что делать... А он вдруг, понимаешь, как закричит, да об землю брык — и забился, словно курица с перерезанной глоткой... Нашло, значит, на него, вступило!.. Испугался я того пуще... «Батюшки-светы, что, думаю, как помрет... что мне тогда делать? Затаскают...» Стою над ним разиня рот...

гляжу, а что делать — не знаю... Отродясь такого страху не видывал... Лежит, смотрю, хрипит... Уснул, потом стих... Что делать? Не бросать же на дороге... Много ль он проспит — шут его знает... «Домой ежели, думаю, хозяин заест и меня-то вместе... Провались ты совсем провалом. И не черт ли, думаю, меня с тобой связал...» Гляжу, эдак шагах во ста от дороги кусты растут и трава-некось высокая, метла... «Дай, думаю, туды его стащу, пущай спит... ужо пойду завтракать, зайду разбужу, а то и сам проснется, черт с ним, найдет дорогу». Взял это его, поднял, завалил на спину, как обрубок какой, сволок, положил в кустах... Спи, мол, а сам взял косы, пошел на место — косить.

Рассказчик замолчал и, потянувшись, зевнул.

— А ведь мне идти надыть,— сказал он,— заболтался я тут с тобой. Язык мой — враг мой.

— Куда тебе торопиться? — сказал я.— Успеешь, на, покури.

— Давай... наказываю я тебя.

— Ничего! Ну как же ты потом-то... а?

— Да как!.. Покосил часика два, пошел завтракать, зашел в кусты, а он, гляжу, лежит, не спит, на небо смотрит, табак курит... «Ну, как, говорю, дела-то, проснулся?.. Напугал ты меня до смерти. Графа ни за что облаял... Узнает отец, плохо тебе будет».— «Ступай ты, говорит, к черту с графом-то да и с отцом-то вместе... Не боюсь я никого».— «Ну, пойдем, говорю, закусим, устал небось... Чай, есть захотел,— голова болит?.. Вот на, поправься...» Достал давешнюю половинку, которую с собой-то взял... подаю ему... Обрадовался он. «А я, говорит, и забыл про нее. Вот спасибо. Завтракать я не пойду. Ты мне захвати сюда, пойдешь назад, хлебушка... А я пока полежу... Не хочется мне туда... ишь здесь как гоже... благодать!» Нечего делать — пошел один. Сел за стол. Аксюшка и косыми на меня не глядит, так все швырком и швыряет... Сам пришел со двора. «А тот-то, говорит, где же? Лодырь-то?» Сказал я. «Ишь ты, говорит, должно с осени закормлен... Ну, шут с ним. Губа толще — брюхо тоньше, наплевать! Ну, как трава?» — «Трава хорошая...» Помолчал и говорю... черт-то меня за язык потянул... «Графа, говорю, твоего приятеля, видели... со станции, должно, домой покатил... Навстречу нам попался под горой...» — «О-о-о!» — «Верно». Обрадовался он. «Аксюшь, кричит, слышь, что баит: граф-батюшка приехал...» А она от

печки: «А мне наплевать, приехал, так приехал. Много вас тут, графьев-то...» — «Что это ты ощерилась, говорит ей, смотри не замай... Это он, батюшка, благодетель, на свои именины прибыл... У нас ноне какой день... пятница? Ну, значит, в понедельник он именинник. Сходку надыть собрать накануне, потолковать с православными, как и что насчет проздравленья. У нас, говорит, исстари заведено проздравлять ходить на барский двор с анделом... Теперича все по-другому пошло: старики одни, почитай, ходят... молодые-то неплошь вот того, не идут, а допрежь все, всем обчеством... Хо-о-о-рошо было! А теперича, говорит, его вдвойне проздравить надо: кроме андела-то, с царской милостью, с производством в государственного совета членом... Подарочек какой-нибудь надыть сделать. Барашка, нешто, а? Как думаешь?» —« Да мне-то, говорю, какое дело?.. По мне хучь мерина, дело ваше».— «А что, говорит, как он вам попался-то, мой-то поклонился ли ему?.. Картуз-то сдернул ли?» — «Поклонился»,— говорю. «То-то, мол, а то ведь от него станет...»

Ну, закусил я... пошел опять на покос валы бить... хлеба взял ломоть. Прихожу на то место, где дружка-то милого оставил, гляжу, а он выпил все, полеживает себе, покуривает... «Идешь?» — «Иду. На, хлебушка тебе принес... пожуй».— «Ну, что, как там мой чертогон-то, про графа-то ты сказал?» — «Сказал, мол, попался — едет, а насчет лаянья твоего умолчал. Спрашивал: поклонился ли ты, мол, ему. Я говорю: «Как же... знамо дело, поклонился». Хочет ишь в воскресенье сход собрать насчет графа-то этого самого... с анделом идтить поздравлять да с царской милостью... в члены ишь какие-то произвели,— барана, говорит, надо в подарок снесть...» Засмеялся он. «Ах, говорит, мошенник... вот сволота-то! Ты думаешь, ему граф этот нужен?.. Как же, граф!.. Карман ему нужен... целковый... Он за двугривенный с любой свиньей спать ляжет... Поклонился... хы... ах вы, дьяволы серые!..» — «Небось тебя, говорю ему, граф-то признал, чай?.. Вот отцу-то скажет, а?» — «Наплевать... что я, боюсь, что ли?» — «Побоишься... всыплют хороших в конторе-то, узнаешь... Он, граф-то, лицо большое, скажет слово, и каюк, крышка...» — «Небось не скажет. Им тоже хвост-то прижали, боятся они... Пущай только тронет,— убью и усадьбу дотла спалю...» — «Неужели взаправду, доведись такое дело, спалишь?» — «Спалю».— «Поймают — пове-

сят».— «Наплевать, вешай... Всех не перевешаешь...» — «А что ж, думаешь, веревок не хватит на вашего брата?» — «Верно, говорит, не хватит. Мы, говорит, не тараканы, нас морозом не испугаешь...» Подивился я на него опять. «Чудак ты, говорю, я такого и не видывал. Смотри, наскочишь, не сносить тебе головы». Махнул он рукой... Поднялся... «Пойдем, говорит, косить...» — «Пойдем»,— говорю. Свернули еще, покурили... Пошли...

V

В воскресенье, братчик ты мой, эдак после обеда, часу во втором, стали наряжать на сходку... Хозяин мой пуще всех хлопотал, и все это дело, будь он неладен, он оборудовал. От нечего делать и я пошел поболтаться. Послушаю, мол, как они там.

Пошли. А молодой, москвич-то, дома остался... Позвал было его сам, а он только рукой махнул. Ну, мол, вас, идите... Разлад у них каждодневно промеж себя... один другому уважить не хотят. Этот то говорит, а этот ему назло другое... Раскорячка, понимаешь, ни на што не похоже!..

Ну, пришли это мы, сели. Народ, гляжу, подходит, дело праздничное... есть, которые из молодых, в градусах... Собрались, мой и начал говорить: «Вот, говорит, господа, завтрашний день тезоименитство благодетеля нашего, его сиятельства графа. Как, значит, спокон веку не нами, дураками, а старыми стариками заведено было, так, значит, и мы должны идтить его всем опчеством проздравить со днем андела, да, окромя этого, с производством в государственного совета членом... Согласны ли, господа? А теперича, говорит, нам надыть обдумать, какой бы ему презент преподнесть, тысь подарок. Барашка нешто, а? Как думаете? Сложимся по гривеннику с души, купим... велики ль деньги, а ему это вроде лестно будет... понятие об нас будет иметь не какое-нибудь. А, православные, как скажете?»

Вышел какой-то малый, подошел к нему из народа под самое рыло, выпимши... «Мы, говорит, пойдем, коли он нам угощенье поставит. А не поставит, на кой он нам тогда нужен?.. За гривенник-то я пойду к Гундоре, да и ахну сотку. Нам твой граф наплевать, нам водка нужна. А то

придешь к нему, притащишь барана-то, а он «спасибо» скажет, да и покажет тебе, на чем сидишь. От ихнего брата, по нынешним временам, всего жди... жулье тоже, знаем мы, на чем свинья хвост-то носит». А мой обозлился, да и говорит ему: «Ну, с тобой, с мошенником, смутьяном, я и говорить-то не желаю... есть постарше тебя... твое дело слушать, что старшие говорят, да молчать. Тебя не спрашивают... Кто ты такой?.. Молчи, не твое дело...» Ну, тут и малый обозлился. «Ах ты, говорит, старый лопух!.. Да что ж я, неужели с твое-то не смыслю? Тебе ли меня учить?.. Чудно! Тебе, знаешь, куды пора... Ты ступай вон Аксютку учи... понял?..» Пришил ему язык-то... Замолчал на время... «Ну, так как же, православные, решайте насчет барашка-то... согласны аль нет? — слышу, опять мой бормот затявкал.— Расчудесное бы дело, ей-богу... лестно бы ему было...» — «А я барана знаю, где найтить! — кричит на его слова Мишка Долгий — чудак мужичонка и постоянно с мухарем.— Такого барана, говорит, диковинного, четырехрогого... Ну, знамо, и цена ему... Хо-о-роший баран! Вот бы его разукрасить лоскутьями да к графу на именины... На, мол, вашеся, примай отрад сердца...— Беспременно бы угощенье поставил...» Смеются православные. «Где ж это твой баран диковинный находится?» — «Недалеко, говорит, в Козьмодемьянском, у трактирщика... Ну, только он его меньше красной не отдаст... Давайте, православные, денег, я сбегаю. Вот как бы потрафил графу,— залил бы водкой... Не расстался бы он с эстим бараном... В Питер бы его с собой увез напоказ, ей-богу... «Во, мол, как меня мужички-то чествовали... каким бараном!» Смеются мужики. «Вместе бы, говорят, с твоим бараном и в совет ездил для охотки, вдвоем-то повадней... Может, и ему на харчи двадцать пять бумажек на день положили бы... А тебя бы, Долгий, за ним ходить приставить... Пошел бы?» — «Нет, говорит, за бараном ходить не пошел бы, а вот кабы в Думу избрали, пошел бы, не отказался бы... Уж очень, голова,— послушаешь вон, в ведомостях читают — этим самым епутатам жизнь хороша... Красная в зубы на харчи каждодневно... Подумать надо, а? А каки дела-то? Пришел поутру в Думу, промялся по улице... сел в кресло — сиди... любота! Слушай, как господа промеж себя грызутся... один так лает, другой эдак... тепло, чисто... посиживай в кресле-то, аки граф, а денежка течет... красную как-никак, а отдай за

работу... На что уж лучше!.. Пошел бы, ей-богу, с большой охотой!» — «Ну, погоди, говорят ему, мы тебя в другой раз, шары катать будем, изберем... Действуй тамотка! Хлопочи для миру!..»

Ну, тут опять мой вступился со своим графом да с бараном... пристал без короткого, сбил весь мир... согласились, порешили идтить с бараном на поклон... Знамо дело из расчетов больше: дискать, сделает угощенье, попьем винца с хлебцем. Выпить-то все не дураки, особливо на даровщинку-то... Опять же и мой уверил: «Будет угощенье... нешь он свинья, говорит, какая-нибудь?.. Чай, понимает с нашето... чего ему значит угостить-то для эдакого-то разу?.. Лестно ему, говорит, будет. Много доволен останется».

Собрались на другой день в понедельник... Работать бы надо — не стали работать... Срядили барана, разукрасили, собрались все: «Пойдемте!»

Хозяин и мне велел идтить. «Пойдем, говорит. Поздравь и ты. Посмотришь, говорит, на него».— «А ты что ж, спрашивает у сына, пойдешь?» А он ему: «На кой он мне черт?.. Иди поздравляй, коли охота... буду я сам себя унижать! Небось он меня поздравлять не придет. А выпить-то я захочу,— на свои выпью...»

Так и не пошел, дома остался.

Ну, собрались мы это гурьбой, пошли... Барана впереди ведут двое за рога. Потеха, истинный господь!.. Чисто с крестным ходом... Пришли на барский двор, уставились это перед парадной, коло балкону, барана вперед к самым ступенькам, на видное место... Стоим, ждем... Глядим — выходит... доложили ему... «Здравствуйте, говорит, мужички, вы что?» Голос у него тонкий, как у девки, сам небольшой, чернявый, с плешью.

Гляжу, мой хозяин лезет к нему. Картуз снял, держит в обеих руках... поклоны отвешивает поясные... чисто перед иконой стоит, богу молится. «Мы, говорит, вашеся, осмелились... всем, тысь, опчеством... честь имеем поздравить вас со днем вашего андела, а окромя этого, с царской милостью, с производством в государственнюго совета членом... Примите вот, вашеся, от нас барашка... барашка вот привели... не побрезгуйте».

Засмеялся он... любо ему... лестно. «Что ж, говорит, спасибо, мужички... очень рад! Очень рад!» Сошел это он со ступенек, взял барана рукой, погладил. «Славный, говорит, барашек... славный...»

Мы стоим, молчим. Ждем, что дале от него будет. «Не знал я, говорит, мужички, не знал, что вы это сделаете... Я бы приготовился, угостил бы вас... спасибо вам, спасибо... Вы вот что — приходите в середу... Я распоряжусь угостить вас, а теперь, говорит, пока вот вам...» Достал, понимаешь, портмонет, вынул две красных на две ведерки... Важно! Сейчас мы все ему за это: «Ура, много лет здравствовать!..» А он стоит, усмехается... любо ему... индо покраснел... А мы что: нам, знамо, водка дороже бога... Он думает,— его чествуют...

Взяли деньги, отправились назад в деревню. Сейчас двоих за вином наладили. А бабы узнали, что он нам столько закатил,— взяли их завидки. «Пойдемте, говорят, и мы... какого рожна... им гулянки, а мы что ж — за ними только за пьяными ухаживать». Набрали яиц, марш с поклоном. Ну, братчик, у баб еще того чище вышло: помазали они его чище нашего, размяк он... а они ему песни... Денег дал, звал в середу... И пошла, милый ты мой, у нас по деревне гульба. В праздник, истинный господь, в Николу того не бывает... перепились и мужики и бабы...

Рассказчик замолчал. Вынул из-за пазухи пустую бутылку и, приставя ее горлышком к губам, запрокинул голову и долго держал ее так, слизывая языком тихо ползущие со дна капли водки.

Было жалко и смешно глядеть на него.

— Да уж полно,— сказал я,— не выжмешь.

— Верно,— согласился он и откинул бутылку.— Хочется, братчик... червяк во мне завелся винной... Пропадать мне, а?

Он вопросительно посмотрел на меня. Я не ответил ему на это ничего и спросил:

— А сын-то хозяйский гулял с вами?.. Пил водку-то графскую?

— Куда пил!.. Полаялся с отцом, ушел куда-то... И в середу на угощенье не ходил. Да, взаправду, хорошо сделал, что не ходил. И мне бы, братчик, кабы знать, не след ходить... да уж, видно, так греху быть... Дело с эстими именинами да с угощением вышло бя... Собрались это православные в середу идтить. Хозяин мне и говорит понаметнишнему: «Пойдем, работа успеет... для эдакова разу можно». Ну, а мне худо ли?.. Я рад... Бабы тоже не отстают... разрядились — чисто, голова, барыни... друг перед дружкой... с песнями на барский двор... Сынок

опять не пошел. Ходит, молчит... смотрит зверем... Только мне вдогонку, как пошли мы, буркнул: «Ах вы, сволочи, хамы!»

Ну, пришли это мы на барский двор, опять на это место, к балкону... Тут, глядим, стол стоит, скатертью накрыт, на столе бокал вот эдакий,— рукой обхватить, графин... А за столом дворецкий, толстый, рыжий... приставлен, значит, водку подносить. Немного подальше другой стол, там закуска: по пирогу вот по эдакому да ветчины кусок, а коли кто ветчины не желает,— день постный,— ешь рыбу... Водки пей досыта... Выпил бокал, мало,— пей, еще нальют.

Ладно. Обождали мы это мало дело, глядим — из парадной сам вышел... Какая-то высокая барыня в очках с ним да два жигана в пиджачках, учителишки вокруг его, как хмель круг тычинки, вьются... Привели с собой, сукины дети, ребят все училище, выстроили в сторонке и только, понимаешь, граф-то сошел с балкона здороваться, велели они им какую-то канту петь... Знамо, чтобы угодить, народ бедный, семейный... Глядишь, что-нибудь перепадет: штанишки старые даст — и то давай сюда... Забитый народ, робкий, хуже нас, грешных, истинный господь!

Поздоровался это он с нами. Мы во всю глотку ура... такой-сякой, отец, батюшка... Увидали водку-то, ошалели, рады... Сел на стул около стола, барыня около, учителишки... Дворецкий за столом, да два каких-то бритых, холуи, что ли, пес их знает, у него в поддужных... Из четвертной в графин водку льют, добавляют...

Начали подходить к столу друг за дружкой... черед устроили... Я позади своего встал... держусь ему за пояс, как ребенок за няньку.

Подошли... подошел наш черед. Хозяин передом. «Здравия желаю, батюшка, вашеся... честь имею проздравить с прошедшим с анделом, да с царской с милостью, с производством...» Отвесил это поклон в пояс. Узнал его граф. «А, Абрам! Здорово... Ну, как живешь?» — «Слава богу, батюшка, вашеся. Вы, осмелюсь спросить, как? Как там Дума-то, осмелюсь спросить?» — «Дума-то? Ничего. Дума, брат, все думает, как у нас землю отнять да вам отдать. Хо-хо-хо!» Заржал. А мой ему: «Да нешь это возможно?.. Как же так? Не закон».— «А вот, говорит, по-твоему, не закон, а по-ихнему, закон... Набрали там крамольников, головорезов, кричат, как в кабаке...» Махнул

рукой, не стал больше говорить... достал портсигар, закурил папироску...

Выпил мой хозяин бокал — пошел к закуске. Я подошел. Налил мне дворецкий... Взял я в левую руку бокал этот, перекрестился правой, графу поклон, здравия, мол, желаю... только хотел выпить, ан тут и случись, братчик, грех... такая-то вышла заварушка... тьфу!..

Узнал меня граф. «А, говорит, приятель! Ты кто такой, а?» Встал с места, подошел ко мне... покраснел весь... так и залился краской... «Ты не здешний? А тот, который с тобой был, здесь? Говори же! Что ты молчишь?»

Гляжу, подбежал мой хозяин. «Это, говорит, вашеся, мой... в работниках у меня нанялся, калуцкий, дальний... Взял я его сюды... не прогневайтесь, на вас взглянуть... Человек он темный! Эдакое лицо где ж ему видать... не обессудьте!» Засмеялся граф, эдак, слышно, со злостью, нехорошо. «Да уж он, говорит, видал меня. А тот... кто с тобой шел тогда?.. Кто такой, чей?..» — «Его вот, говорю, сын». Показал на хозяина. Обернулся он. «Сы-ы-ын? — говорит.— Вот как, а я и не узнал... Не думал, не думал... Не ожидал я, Абрам, чтобы твой сынок меня площадными словами ругать смел... Благодарю, Абрам, очень благодарю!..» А тот испугался, побелел... «Вашеся... помилуйте! Что такое?» — «А вон у него, говорит, спроси... он тебе скажет...»

И напустился он, братчик, тут допрежь на меня, а потом на самого. «Да ты, кричит на меня, кто такой? Да ты такой же... ты заодно... ни бога, ни царя не признаете, сукины сыны... За урядником послать... Да я тебя, такой-сякой, в острог... сгниешь ты у меня в тюрьме...» Я стою... ошалел, слова сказать не могу. Бросил меня, напустился на хозяина... Ну, этому попало здоровше мого. Уж он на его... уж он его при народе-то!.. «Кто он такой, кричит, твой щенок, а? Как он смел? Зачем ты его держишь? Почему он сюда не пришел, а?.. Все пришли, а он нет... Почему?.. Молчишь, старый пес? Крамольника держишь... Да знаешь ли ты, что я власть имею повесить его, мерзавца, а?»

А мой ему на это бултых при всем-то народе в ноги. «Вешай, говорит, батюшка, слова не скажу... Отступаюсь я от него... Не сердись ты только на меня Христа ради... прости... Да нешь я учу его?.. Уродился такой разбойник... Что станешь делать с ним? Прости...» Катается у него

в ногах-то на старости лет, смотреть индо совестно... Народ стоит, молчат, всем вроде как-то неловко, стыдно... Сел опять граф на стул, утешился малость... поговорил что-то по каковски-то с барыней в очках... Потом моему хозяину и говорит: «Ступай домой. Испортил ты мне весь праздник. А ты, мне, говорит, лучше не попадайся на глаза. Чтобы и духу твоего не было... Понял?..» — «Да я, говорю, вашеся, ни при чем... Он пьяный был... а я что ж... я, знамо, работник». Напустился он опять на меня: «Молчать, кричит, не разговаривать... Молчать!.. Перед кем стоишь, сукин сын, а?.. Молчать!» Уж я стою, не дышу, не токмо что говорить, а он все свое: «Молчать!» — орет... Что станешь делать?.. Пошли мы с хозяином от народу прочь, словно собаки, хвост поджамши. Совестно ему, вижу. Голову наклонил, в лице точно почернел как-то, сопит носом... «Эх, думаю, быть чему-нибудь, дело-то по-хорошему не обойдется!»

Отошли мы от барского двора порядочно эдак, не видать нас оттеда; он, понимаешь, ни слова не говоря, бац меня по рылу — искры посыпались, истинный господь. И начал, и начал... «Да ты такой-то, да ты эдакой-то. Да зачем ты не сказал мне? Заодно ты с ним! Расчет тебе, ступай к черту, не нужен». А сам так с кулачьями, остервенился, и прет к рылу... Ну, тут уж и я не стерпел: смазал его раза два... «Дери тебя, говорю, черт с расчетом-то, снохач проклятый!..» Всю дорогу, пока до двора шли, лаялись мы что ни есть хуже... Мне, знамо, обидно... Доведись до кого хошь, понапрасну лают... Я тоже небось не каменный... Пришли в избу. Одна старуха дома, никого нет. «А где ж тот, говорит, разбойник-то?» — «Да не знаю. Тутотка был, вертелся, вышел куда-то...» Сел он на лавку, ноги расставил, сопит, дух не переведет... Отстегнул ворот, тяжко ему... Посидел, вскочил, побегал по избе, сел опять и — что же ты думаешь, братчик,— заплакал со злости-то... Уж очень ему, значит, обидно насчет графа-то... острамил при всем народе...

Неловко мне стало... пошел я из избы... Глядь, за дверью в сенцах сынок... идет откуда-то, выпимши... «Ну, что, говорит, угостили вас? Вы еще бы, говорит, Христа ради попросили... Он еще бы угостил. Ах вы, сволота!..» — «Не ходи, говорю ему, в избу, обожди: сам нехорош... как бы чего не было».— «А что?»

Рассказал я ему. А он смеется, рад. «Так вам, говорит,

и надо... Ловко! Вот небось мой-то, пойду посмотрю». Пошел в избу... Я за ним... Грешный человек, любопытно мне, что у них будет.

Не успел это он через порог путем перелезть, как набросился на него сам, ровно волк на падаль. Сцепились. «Ты что ж это со мной сделал, богоотступник проклятый, а? — кричит старик.— Долго ль ты меня срамить-то, мучить-то будешь? Что ты со мной наделал? С какими я бельмами на улицу выйду? Как я к графу покажусь? Мошенник ты, разбойник, сукин сын! К уряднику тебя... свяжу по рукам, по ногам — в город!.. Пороть тебя, смутьян проклятый... вышибить из тебя дух-то твой, окаянный!» А сын смеется, да и говорит ему на это: «Угостил, говорит, ловко... так и надо. Поди еще покланяйся,— поднесет чашку... Помиритесь, говорит. Он таких любит... Рыбак рыбака с другого берега видит... Такие обормоты, как ты, им нужны, как мост через реку. По вашим спинам ходят, а ты, дурак, гнись ниже... эх вы!» Хотел еще что-то сказать, да не успел... Случилось тут, братчик, дело, не дай бог, вспомнить тошно... Схватил, понимаешь, сам рубель, вот которым бабы белье катают, на брусу он лежал, да как ахнет его этим рубелем-то по голове... так он и покатился по полу, как сноп.

— Убил? — как-то невольно воскликнул я.

— А ты слушай. Нет, не убил сразу, а только оглушил... Ударил-то он его, понимаешь, плашмя, а не ребром... Кабы ребром — прошиб бы голову... Ну, упал это он на пол, потом хотел встать, ан нет, не может... Поднялся эдак на карачки, да по избе-то кругом, кругом, на одном месте, как волчок... Страсти смотреть — истинный господь...

Подбежал я к нему. «Что ты, что ты?» Взял его в охапку, посадил на скамейку, а у него голова-то вот так вниз и падает, и говорить ничего не может, языка решился... Взял я, подстелил в голова — положил его. Старуха-то со страху убежала за дверь, втроем мы остались... «Убил, говорю, малого-то... что теперь делать, а?..» Молчит старый, испугался, трясется... «В больницу, говорю, надо скорее везти — пока жив. Может, помогут... Да навряд... За попом бы послать... Напреет тебе теперь, говорю, что наделал!..» Испугался он, вижу, еще больше... «Батюшки, говорит, Маркел, не сказывай, не сказывай, Христа ради... не губи!.. Затаскают!.. Я тебе за это... вот

погоди... погоди, я тебе две красных... Мало? Три... живи у меня, пей, ешь...» Гляжу я на него. «Ах ты, думаю, сволочь ты эдакая! Он все об себе-то хлопочет, себя-то ему жалко пуще всего, а не человека...» Н-да!..

— Помер? — спросил я еще раз.

— Тут же, на этой скамье, где положил я его, отдал богу душу. Без языка был, да, должно, и без памяти... погас, как лучина... потрещала, потрещала, да и того, свалилась в лоханку, только дымок пошел.

Рассказчик опять замолчал, словно задумавшись о чем-то...

— Ну, а как же потом-то? — спросил я.— Сам-то как же?.. Судили? Что ему было?

Он махнул рукой.

— О братчик, черта лысого судили!.. Ни фига ему не было: оправдали...

— Ну, а ты как же?.. У него жить остался?

Он усмехнулся какой-то нехорошей, злобной усмешкой и ответил:

— У него... да только, братчик, не долго... Его, старого пса,— нашелся какой-то добрый человек,— спалили...

— Как спалили?

— Как!.. Как!.. Не знаешь, как?.. Махонький, что ли?.. Подпустили ночью петуха под крышу-то — и готово дело... Как корова языком слизнула.

— Кто ж это? — спросил я и посмотрел на него.

Он тоже смотрел на меня, и его губы кривила прежняя злобная, нехорошая усмешка.

— Нашелся такой... да и за дело... так ему, сукину сыну, и надо... так и надо... и всем им, кровопийцам, всем... Ох, господи!..

Он схватился за грудь, закашлялся, встал и, махнув рукой, пошел от меня прочь.

— Куда ж ты, погоди! — крикнул я, думая, что он остановится...

Но, даже не оглянувшись на мой крик, он опять махнул рукой и через минуту скрылся на повороте за часто и густо разросшимися кустами.

1908

Зло

I

Агафья проснулась рано, часу в четвертом, и потихоньку, как была в одной рубашке и босая, вышла из избы на крыльцо посмотреть, какова погода.

Погода была хорошая. На улице было тихо, безмятежно, и все молчало. Небо было чисто, безоблачно и все усыпано звездами, как-то особенно ярко сверкавшими под утро малыми и крупными точками. Серп месяца, тонкий и молочно-бледный, окруженный какой-то дымкой, висел в беспредельной шири неба, на западе, и тихо горел, точно какая-то далекая, готовая погаснуть лампада...

Легкий морозец, бодрящий и крепкий, чувствовался в воздухе, наполненном каким-то особенным, странным, почему-то нагоняющим на душу тихую грусть, осенним запахом.

Где-то далеко звонили в сторожевой колокол, и удары, мягкие и тоскливо-певучие, плыли по воздуху, не нарушая тишины, а, напротив, придавая ей еще более таинственной прелести...

Агафья постояла немного, послушала и, вздрогнув от холода, пошла обратно в избу.

Здесь она прошла, стуча пятками по полу, к печке и, нащупав в печурке коробочку со спичками, засветила висевшую над столом стеклянную небольшую, с каким-то матовым, тусклым, нечищеным стеклом, лампочку.

Свет лампочки осветил всю небольшую, аршин семи-восьми, старую, из почерневшего от времени леса избу и выказал ее убогий и неряшливый вид...

На полу, около передней стены, поперек всей избы, был брошен грязный, засаленный матрасник, на котором, укрывшись с головой дерюжиной, спал, храпя на всю избу, мужик, Агафьин муж, Левон... Рядом с ним, разметавшись и раскинув ручонки, лежал навзничь с разинутым ртом и тоже крепко спал мальчик лет пяти-шести, их сынишка Спирька...

Большой, черный, с изъеденными ушами кот лежал у него в ногах и, запрокинув морду, усердно «замывал гостей», облизывая себе спину.

Около самого порога, в углу, лежал на соломе небольшой рыжий, привязанный за шею веревкой, теленок и громко и как-то смешно чмокал губами, как будто бы целовался с кем-то крепко и сочно. От того места, где он лежал, из-под соломы, по полу, осевшему к печке, стояла лужа, и от этой лужи шел сильный, острый, щекочущий в горле запах.

На лавках и около печки на казенке валялись какие-то тряпицы, одежонка. На столе, в переднем углу, стояли чайные чашки и небольшой никелевый самовар...

Засветив лампочку, Агафья слазила на печку за валенками, обула их, надела на себя плохонькое платьишко, подправила на голове под повойником волосы, умылась и, дунув на пальцы, встала посреди избы перед «святыми иконами», висевшими в ящичке, похожем на скворечницу. Она начала молиться богу, то и дело бултыхаясь в землю и громко шепча что-то такое, понятное только ей, где то и дело слышалось то «заступница, матушка», то «Суси», то «андел господний», и в то же время, шепча молитвы, часто зевала, торопливо крестила рот и скребла голову двумя пальцами левой свободной руки, подправляя волосы под повойник...

Помолившись, она взяла со стола самовар и понесла его ставить к печке. Около печки на скамье стояли ведра с водой и в корчаге лежали уголья. На шестке лежала приготовленная заранее, еще с вечера нащипанная лучина. Устье печки было не закрыто заслонкой, и в печке виднелись дрова, тоже положенные туда с вечера, чтобы утром не возиться и не громыхать ими.

Проходя с самоваром мимо лежавшего на полу мужа,

она приостановилась и, легонько толкнув его ногой по голой, высвободившейся из-под дерюжины ноге, сказала вполголоса:

— Левон, а Левон, спишь, что ли?..

— Ну-у-у? — раздалось из-под дерюги, и голая нога спряталась под нее.

— Вставай... свет на дворе... я самовар ставить хочу... идтить мне скоро...

— Успеешь! Чего ты эдакую рань полетишь?.. Чай, не к спеху... Ишь тебя подняло спозаранку... загорелось... не спится...

— Тебе, оглашенному, все рано... аль не выспался? Ночь-то, слава те, господи, год... бока больно!.. Вставай!.. вставай!.. брось поди скотине по клоку... Нонче, должно, не скоро погонят, мороз... Взять-то ей нечего...: дай поди. Лодарь, рад валяться, валяется, как падаль какая!..

Лежавший на полу мужик откинул дерюжину и, поднявшись, сел и вытянул ноги.

— Ра-а-но! — сказал он зевая.— Ишь ты!.. Керосин только палить... с вечера жгем, поутру жгем, а он вон пять копеечек...

Агафья ничего не ответила и, сняв с самовара крышку, стала наливать в него из ведра воду.

— Ты бы на лошади ехала,— сказал мужик, глядя на нее.— Зачем пешком-то трепаться?.. Близкий свет!.. Чего ей делается-то... так же стоит, жрет зря...

— Ну, на лошади связа одна... Опять же она некована у нас... По эдакой дороге нешь можно?.. Глышка на глышке... тащись в чем душа... растрясет всяе... не люблю!.. Я так-то живо добегу; чай, не бо знать сколько понесу-то с собой...

— Ну, как знаешь,— сказал мужик,— треплись.

Он нагнулся, почесал между пальцев правой ноги и добавил:

— Все одно вить никакой толчины не будет.

— Нет, по-твоему,— обернувшись к нему, сказала баба,— лежать бы вот все!.. Само к тебе не придет... Под лежачий-то камень, люди говорят, и вода не течет, а волка ноги кормят.

— Всего не поймаешь, что по морю плывет,— ответил мужик и, поднявшись, потянулся.— Эку рань подняло! — произнес он зевая.— Тыкайся в потемках-то, как щенок

рылом... ни дела, ни покоя... того и гляди — лоб расшибешь... Мороз, говоришь, на дворе-то?..

— Мороз, а тихо... вызвездило... Скотину ранее, как к полдню, не выгонют.

— Чего гонять-то?.. Взять-то нечего.

— Ну, все хучь погуляет...

— Только то нешта...

— Вот за пастушню готовь,— помолчав, сказала баба,— обуви теплой нетути... стройка валится, того и гляди — задавит... хлеба до Аксиньи-полухлебницы не хватит... картошка вся... полежишь тут!

— Ну, авось проживем как-нибудь,— равнодушно произнес мужик,— слава богу, не до креста дошли... Дакась умыться!

Он подошел к стоявшей близ порога лоханке и, засучив рукава, подставил пригоршни. Баба зачерпнула в кружку воды и, встав около него, начала поливать ему в пригоршни воду. Мужик зафыркал.

— Холодная кака! — сказал он.

— Ну, барин! — улыбаясь, ответила баба.— Испугался... Небось красивши будешь... Еще, что ли?..

— Нет, будя!

— Мойся! Може, кака полюбит...

— Про меня-то что толковать?.. Ты-то вот тамотка не запаздывай...

— Загуляю, мотри, с солдатами...

— Что зубы-то скалишь?.. Очень просто... тебе все смешки да хаханьки... пристанет какой... ишь ты у меня какая ладья, бог с тобой... Кабы тебя да на харчи, на настоящие, на том свете никуда не пустили бы...

— Будя болтать-то, что не надать... Иди давай скотине-то, а я печку затоплю, самовар сейчас доспеет... Ступай, ступай, лень!.. Ваня домашний... Лось!..

— Ну, ну,— усмехаясь, произнес мужик, с любовью и лаской поглядывая на свою красивую, высокую, румяную бабу,— успеешь! Успеешь, тетка Агафья...

— Отстань, лешман, нашел время играть...

— А-а-а, не любишь! — засмеялся мужик.— Щекотно?.. А ты ничего... пора любить, не махонькая... Где картуз-то?..

— Лоб-то бы перекрестил,— сказала баба,— тогда и шел бы, блаславясь... татарин! На вот твой картуз... Все подай ему, чисто барин какой...

— А то кто же, ты как думаешь?.. Знамо, барин! Бог я твой и царь: что хочу, то и делаю.

— Накась, вот чего не хошь ли? Очень-то я тебя испугалась... нужен ты мне, как в Петровки варежки...

Мужик засмеялся и, надев фуражку, вышел за дверь, плотно прихлопнув ее за собой...

— Темно! — крикнул он из-за двери.

— Ладно! — ответила баба.— Авось лоб не расшибешь, а и расшибешь, так наплевать!..

II

Управясь по хозяйству, напившись с мужем чаю, Агафья стала сряжаться в дорогу. Она надела на себя все, что похуже, с той целью, чтобы там, куда она шла, обратили на это внимание и, глядя на ее «одежу и обужу», подумали: «Вот, мол, молодая бабенка идет, мол, в такое место, а как, мол, одета... стало быть, мол, плохо живут».

Ноши у ней с собой никакой не было, если не считать фунта три-четыре белых сушеных грибов, которые она несла, как деревенский гостинец, в подарок, рассчитывая, что это тоже не вредит и что «сухая, мол, ложка рот дерет...»

— Эх, напрасно все это ты, баба,— сказал муж, когда она совсем срядилась и приготовилась идти,— ни фига, я гляжу, у тебя толчины не выйдет... так только, из ног глухоту выколачивать...

— Ла-а-дно!.. Выйдет не выйдет — убытки невелики, а ноги-то у меня не купленные... Ну, я пойду... время... прощай, будя... сиди... ужо приду — половиночку принесу...

— Забудешь, стерва...

— Ну, вот — забуду! Я-то да забуду!

Она нагнулась и перекрестила лежавшего на полу мальчишку.

— Напой его ужо, как проснется, чаем,— сказала она,— не забудь, мотри...

— Детушка ты моя родная,— ласково и осторожно целуя мальчишку, вымолвила она,— спит и не знает — мамка ушла... Спи, Христос с тобой! Спи, батюшка ты мой, сла-а-дкий ты мой!

— Ты, смотри, не обижай его здесь,— поднявшись сказала она.

— Что я, очумел, что ли?.. Чего мне его обижать-то? Небось не чужой!..

— Скотину-то не прозевай выпустить, как погонят...

— Да ну тебя к шуту!.. Иди уж, коли пошла... указчица! Учит, диви я махонький какой, не смыслю!..

— Знамо, не смыслишь... Тебя все носом ткни!.. Где уж тебе? Пропадешь ты без меня, как капустный червь. Что ты? Да пра, ей-богу.

Она встала посреди избы и, перекрестившись на иконы, сказала:

— Ну, я пошла... Запри за мной...

Они вышли на крыльцо, и муж спросил, когда она сошла со ступенек на землю:

— Где пойдешь-то?

— На Сосновку... тутотка словно поближе, ничем на Хрущево, да и дорога веселей... Прощай!..

— Ну, со Христом ступай!.. Мотри, не запаздывай!

— Чего мне тамотка делать-то? Делать-то нечего... Как управлюсь, так и домой... За Спирькой гляди... не попал бы, спаси бог, в пруд...

— Ла-а-дно уж... иди!..

III

В деревне все еще спало и было тихо, только петухи перекликались между собой, точно дразня друг дружку, разными голосами, да где-то на задворках громко и жалобно мяукала кошка.

Агафья прошла вдоль всей деревни и, не доходя до крайней избы, свернула направо и пошла не по дороге, а прямо через усадьбу напрямки, чтобы сократить путь и не делать крюка, вниз под гору, к ручью, по ту сторону которого виднелся некрупный, молодой, смешанный березовый лесок.

Перейдя по лавам через ручей, она снова попала на дорогу и ходко, твердыми, крупными шагами, стуча башмаками по твердой земле, пошла по ней в гору.

Стало светло, но солнце еще не выходило. Горело только на востоке небо, похожее на яркокрасный кумач. Кругом было тихо, безмолвно и необыкновенно как-то

чутко. Казалось, что все уже давно проснулось и, проснувшись, притихло и боязно ждало чего-то, что уже чувствовало свою власть над землей и тихо, осторожно, скрывая тайну своего движения, начало, как огромный огненный глаз, выплывать из-за горизонта, с каждым мгновением делаясь все ярче и ярче...

Агафья перекрестилась и пошла еще шибче. На душе у нее было весело и радостно. Идти было хорошо — сухо, не холодно и не жарко. Она шла и думала, как придет в город к своей пожилой вдовой, бездетной, давно уже живущей у председателя управы в кухарках, сестре, как подарит ей гостинец, расскажет про свое житье, заплачет, будет просить леску на стройку.

— Матушка, сестрица,— шептала она, заранее, сочиняя слезную просьбу,— проси ты, родная, барина своего за нас... попроси ты леску у него... скажи: валится, мол, стройка... подняться, мол, нечем... Попроси ты его... у него много... а ему господь за это веку продлит... Другим вон дает... Мы бы, сестринька родима, как вот снежок напал бы, и перевезли бы, пока не глыбко, по первому бы пути, благо возить-то недалеча, роща-то его рядом, сумежна с нашей землей... попроси его! Мы опосля помаленьку стали бы, сестринька, выплачивать, коли уж задаром не даст он... Уплатили бы... все бы, сестринька, уплатили до единой бы до копеечки...

«Уж только бы дал-то,— в это же время думала она,— посыкнулся бы только... увезти бы нам только из рощи-то, а там жди — заплатили!.. Нету, да и все... отдадим... должен, не спорю, а отдам не скоро... На что ему, гладкому, деньги-то?.. Ни жены нет, ни детей... Живет, аки хлыст какой... брюхо растит... На что ему?.. Подохнет — с собой не возьмет... И чтой-то, господи Суси, за счастье им такое... всего по горло... за что?..

Построились бы,— думала она, идя и не замечая, занятая своими мыслями, дороги,— возьми хучь, скажем, аршинную... Плотники возьмут рублей сто с четвертью... а может, и меньше, коли на наших харчах... Да взаправду, ну их и с харчами-то!.. Дороже того встанет кормить-то их... съедят! Пущай уж лучше кака красная перейдет, по крайности ни хлопот, ни забот мне нету... Печку? Ну, печку глиняну собьют, таку же, как и теперича у нас... греет вить... Кирпишну-то дорого... вон он семнадцать целковых... возить его опять... глиняну, все одно... выбелю ее

известкой, то ли дело... ей и веку-то не будет!.. Дворишко из старья как-нибудь соберем... Крышу соломой крыть не стоит... расчету мало, да опять это нонче не в моде... щепкой покроем... Схожу к мельнику, выпрошу у него в долг... в ногах буду валяться, а уж не отстану... надо как-нибудь исхитриться... сам не сделаешь, никто тебе не сделает... под лежачий камень вода не бежит...»

Она незаметно, занятая своими думами, миновала лес и вышла в поле. Все поле было вспахано и лежало черное, глубоко изрытое плугом, с отвороченными застывшими пластами земли, идущими параллельными рядами, какое-то холодное и мертвое...

Узенькая дорожка, виляя туда и сюда, пересекала это поле и шла к селу, видневшемуся вдали на пригорке. От этого села до города было верст десять. Белая церковь ясно и отчетливо, как какой-нибудь огромный комок снега, виднелась издали, а золоченый крест, в который ударяло низко стоявшее над горизонтом солнце, горел, как яркая звездочка.

Миновав поле, пройдя всем селом, Агафья свернула направо, мимо трактира и только что отпертой казенки, на пороге которой стоял в одной жилетке и глядел на восток толстый, лысый, похожий на Наполеона Третьего сиделец, на шоссейную, узкую, плохую, малоезженную дорогу и пошла по тропочке, проложенной рядом с дорогой, к видневшемуся впереди лесу.

На дороге было пусто... никто не шел и не ехал... Большой, черный, блестящий, точно покрытый лаком ворон, каркая, перелетал с одной кучи щебня на другую, да какие-то маленькие, круглые, точно шарики, с белыми брюшками, птички, потихоньку посвистывая, копошились в лошадином навозе и, спугиваемые Агафьей, небольшими стайками отлетали в сторону.

Агафья вошла в лес... Здесь было еще тише. По обеим сторонам дороги стоял частой, сплошной стеной мелкий, тонкий осинник — чапыга... Листья с этого осинника облетели уже совсем и только кое-где на макушках, более крупных и высоких, трепетали на солнце, как золотые...

С правой стороны лес поднимался несколько в гору, и лучи низкого и далекого солнца прорезывали чащу и играли на дороге «зайчиками».

Высокая, побуревшая, совершенно высохшая метла

«некос» росла в этом лесу, делая его чапыгу еще более глухой и путано-частой...

Пройдя с полверсты этим лесом, Агафья увидала, что ей навстречу кто-то идет.

— Идет кто-то,— сказала она сама себе,— мужик ли, баба ли — не разберешь. Кажись, баба.

Идущий навстречу человек и Агафья, приближаясь друг к другу, сокращали с каждым шагом расстояние между собой, и теперь Агафья ясно разглядела, что это идет не баба, как ей показалось, а мужик.

Скоро они сошлись, и Агафья увидала высокого, молодого, рыжебородого нищего, бродягу.

За спиной у этого нищего болтался пустой мешок... в руках была палка. Одет он был в длинный монастырский подрясник... Ноги были обуты в опорки и обмотаны по икрам тряпками... тряпки эти, чтобы не спускались на опорки, были подвязаны веревками... На голове у него была одета немного набок, на левое ухо, круглая, кверху востренькая шапчонка, придававшая его лицу отчаянно наглый вид.

Он шел и забавлялся тем, что сшибал толстым, немного загнутым клюшкой концом палки замерзшее конское кало с дороги в канаву.

Поровнявшись с Агафьей, он скосил глаза в ее сторону, улыбнулся, скаля белые, большие, точно у лошади зубы, и сказал хриплым басом:

— Наше вам-с!

— Здравствуй, батюшка! — в свою очередь, низко поклонившись, ответила Агафья и пошла было дальше.

— Далеча ли до деревни? — спросил бродяга.

— Нет... недалече,— ответила Агафья, приостановившись,— с версту...

— А ты куда идешь? — спросил опять бродяга, глядя на нее исподлобья и помахивая палкой.

— В город,— ответила Агафья.

Она взглянула на него и, увидев его лицо, большой рот с толстыми губами, зубы, вздрогнула и отвернулась со страхом.

— Зачем? — спросил бродяга.

Агафья не ответила и пошла дальше. Бродяга посмотрел ей вслед и вдруг, бросив на землю палку, с каким-то перекосившимся, страшным лицом на цыпочках побежал за нею.

IV

Агафья шла, не оглядываясь... Он потихоньку догнал ее и схватил сильными, длинными руками сзади в охапку так крепко, что она не могла двинуть ни правой, ни левой рукой.

Она с ужасом полуобернула свое лицо вправо через плечо и увидала на самом близком расстоянии его большие, с кровяными белками, страшные глаза, рот с пеной по углам, ощеренные зубы и закричала:

— Батюшки!.. пусти... батюшки!..

— Молчи!.. молчи... молчи, сволочь! — задыхаясь от душившей его страсти, прерывающимся голосом хрипел он.— Убью... молчи!..

— А-а-а! — завыла она и, наклонившись, хотела было укусить его за руку.

— А-а! — прохрипел он... и вдруг легко и свободно, точно какую-нибудь щепку, приподнял ее и как-то боком, тяжело дыша, поволок с дороги, через канаву, в заросшую травой чапыгу...

Агафья сначала билась у него в руках, упиралась ногами, но потом сразу ослабла, опустилась, и он волок ее, как какой-нибудь грузный, сырой, только что срубленный обрубок дерева, торопясь, ломая сучья, тяжело дыша, страшный, как дикий зверь, подальше от дороги в чащу.

Оттащив шагов за сорок, он остановился на маленькой, еще более густо, чем в чапыге, заросшей метлой прогалинке и бросил Агафью, сильно и больно толкнув в грудь, на землю, в эту метлу.

Она упала и почувствовала, что внутри у нее все точно как-то сразу похолодело и замерло.

Она хотела крикнуть, но не крикнула, потому что у нее пропал голос, и только тихо простонала и обезумевшими, налитыми ужасом глазами уставилась на его лицо.

И вдруг какая-то отчаянная, безумная смелость охватила ее, и она, пронзительно завизжав, вцепилась ему зубами в щеку.

— О-о-о! — заревел он.— О-о-о, врешь!

— Пу-у-пусти! Христосик! Батюшка... пусти! — молила она, теряя сознание.

— А-а-а!.. Нет... нет, врешь, стерва! А-а-а!..

Когда она опамятовалась, он сидел рядом с ней, протянув ноги, курил и сбоку, кося глаза, поглядывал на нее...

Она застонала.

— Наплевать! — вслух рассуждал он, посмеиваясь.— Эка штука!.. Чего там?.. Это у тебя в мешочке-то что такое — ну-кась, покажь!.. Да ну, самделе, какого ты черта арапа-то строишь? — крикнул он.— Барышня какая... махонькая, несмышленышек... Я тебе вот наставлю банок!.. У меня, брат, за этим дело не станет!.. Что я тебя, зарезал, что ли? Дура, право, ну! Чего ты?.. Ты мужу-то не сказывай!.. Надоел, чай?..

Он засмеялся и, протянув руку, сдернул привязанный у нее сбоку мешочек с грибами.

— Грибки... гм! Это ты кому же, а? Ловко! Нам годится... мы всем берем. Отдай, а то потеряешь... Они нонче в цене... Спасибо! Денег нет ли, а? Чего молчишь-то? Дура ты! Деревня! Другая бы рада была... А ты вот что, ты говори, слава богу, целу оставил, не придушил... Возьму вот, давну раз — и пар вон... Так-то вот, как тебя звать, не знаю, помалкивай!.. Полеживай тут, пока я уйду...

Он поднялся, поправился, взял ее мешочек с грибами и сказал:

— Прощай!.. Лежи, смотри, смирно, не ори... Уйду, вот тогда хоть всю глотку раздери — наплевать! Ах ты, сволочь, дура,— добавил он и, ударив ее ногой в бок, полез, ломая сучья, прямо в чапыгу, в другую, совершенно противоположную от дороги сторону...

V

Оставшись одна, Агафья приподнялась и села. Она сидела и слушала, как мало-помалу затихал треск кустов в той стороне, куда пошел он... Скоро все стало тихо... Сквозь чащу пробивались косые лучи солнца, играя какими-то причудливыми пятнами и полосами там и сям...

Было свежо, и Агафья чувствовала, как все ее измятое и какое-то чужое, не ее тело вздрагивает резкой и сильной дрожью, а зубы, несмотря на то, что она стискивала челюсти, принимаются вдруг стучать как-то сами собой, помимо ее воли, болезненно и страшно.

Она сидела долго, глядя широко открытыми, напряженными глазами прямо против себя, на то место, куда скрылся он, боясь встать и думая, что вот-вот оттуда, из этих кустов, появится снова он и с ним вместе придет ее конец, смерть.

Прошло еще немного времени, и она услыхала где-то далеко, по правую от себя руку, со стороны дороги, треск колес по камню.

Оживилась и вдруг осторожно, согнувшись, затаив дыхание, косясь в ту сторону, где скрылся он, приподнялась и, еще ниже согнувшись, похожая в своем испуге на какого-то загнанного зверя, побежала сквозь кусты, ломая их, не чувствуя, как сучья хлещут ее и по лицу и по чем попало, в ту сторону, где была дорога и откуда доносился стук колес.

Выбежав на дорогу, она присела, согнувшись, в канаву и увидала, что с той стороны, откуда она давеча, шла, кто-то едет...

«Не наши ли кто?» — подумала она и больше притаилась и припала к земле, как беляк заяц по осени, увидя охотника, боясь пошевельнуться...

Телега подъехала, и Агафья увидала, что в ней сидит их деревенская баба, Марья Утенкова.

— Слава тебе, господи, не увидала,— прошептала она, прижимаясь к земле.— Срамота-то кака... о-о-о, головушка моя... как я мужу-то... мужу-то как скажу?..

Телега проехала и скрылась за повертком.

Агафья вылезла из канавы на дорогу, отряхнулась, поправила на голове платок и растрепанные волосы, постояла, посмотрела на обе стороны и вдруг как-то отчаянно, безнадежно, всплеснув руками, горько заплакала и торопливо пошла тем же самым следом, где шла давеча, назад, домой, в деревню.

VI

Пройдя к деревне, она свернула с дороги в сторону и овражком, тянувшимся позади овинов и риг, прошла никем не замеченная прямо к своей усадьбе. На усадьбе стоял старый, покачнувшийся набок, с худыми воротами сарай и виднелась яма, где был когда-то овин, заросшая теперь бурьяном и крапивой. От сарая шла тропинка, по

которой ходили за сеном, прямо к избе, к задней калитке, сделанной со двора. Калитка эта была открыта, и на дворе было пусто. Скотину выгнали в поле гулять. Агафья шмыгнула, нагнувшись, в эту калитку, прошла по навозу двором на мост, остановилась здесь, послушала и, перекрестившись, дернула за скобку, отворила дверь и вошла в избу.

В избе было тихо и полутемно. Левон сидел спиной к двери, насупротив окна, на низеньком толстом обрубке и подшивал стельку к старому валеному сапогу. Услыхав скрип двери, он обернулся и, увидя жену, с удивлением воскликнул:

— Ну-у-у! Никак ты? Что больно скоро слетала... аль забыла что?

Агафья молчала. Он хотел было сказать что-то еще, но посмотрел ей в лицо, соскочил вдруг со своего обрубка, бросил валенок на пол и крикнул:

— Ты что, а? Что ты?

Вместо ответа Агафья повалилась на скамью ничком и заплакала жалобно и горько. Все ее тело задергалось и задрожало резкой и сильной дрожью, а в горле что-то клокотало, булькало и слышались какие-то странные, жалобные, непонятные звуки.

Левон оторопел. Его ударило в сердце. Он понял, что случилось что-то страшное, непоправимое, злое, и стоял весь бледный, не зная, что делать, с ужасом глядя на ее судорожно, точно у недорезанной курицы, вздрагивающее тело.

— Что это ты, а? Агафья, а? — проговорил он, наконец, дотронувшись до ее плеча.

Агафья затряслась еще шибче и заговорила что-то такое, чего Левон сперва не мог понять, но потом, слушая, мало-помалу стал различать странные, бессвязные слова.

— Батюшка, Левонушка,— задыхаясь от рыданий и каким-то странным, точно чужим, не ее, не знакомым ему голосом говорила она,— поганая я... опоганил, охальник... О-о-о, головушка! Батюшки, батюшки, родимые!.. Левонушка...

Она вдруг сорвалась со скамейки на пол, упала перед мужем на коленки, обхватила его ноги руками и заговорила прерывающимся голосом полные душевной скорби и горькой обиды слова. По ее бледному, сразу как-то поста-

ревшему и осунувшемуся лицу бежали частые слезы. Прерывающийся, необыкновенно жалкий, всхлипывающий голос говорил об обиде, о позоре и плакал и умолял о чем-то...

Левон молча слушал ее и чувствовал, как какой-то, невыразимый словами, холодный ужас и вместе злость охватывают его душу. В нем точно что-то оборвалось, и ему нисколько не было жалко жену, а напротив, она ему сразу сделалась чужой, ненужной, постылой...

Он слушал ее мольбы, глядел, как она билась у его ног, о чем-то прося его, и у него на душе не было ничего: ни обиды, ни жалости.

Он только чувствовал одно: как злоба, точно какая-то змея, обвивает его всего холодными, страшными кольцами и что он *не хочет* верить словам жены, хотя и знает, что она говорит правду.

— Врешь ты, паскуда,— закричал он вдруг, и сам не узнал своего голоса,— врешь!.. А сама, чай, рада!..

— Левонушка! — завопила баба.— Что ты?.. Окстись!.. Господь с тобой... рада!.. Да я, кажись, задушила бы его!.. Покарает его господь за меня!.. Ра-а-да!..

— Покарает... как же!.. Неужели ты не могла отбиться-то?.. Малютка кака! Ни в жись я не поверю... врешь ты, сволочь, по охоте ты!..

— Господи Суси... по охоте! Да кабы я захотела-то гулять-то от тебя, неужели бы я тебе сказала?..

— Врешь! — неистово закричал Левон.— Врешь!.. Ты сама... сама ты... охотница... Уйди! — завопил он, обезумев от охватившей его злобы.— Собака ты! На что ты мне теперича нужна?.. Жить я с тобой теперича, что ли, буду, а? Ах ты, сволочь ты эдакая, трепло!..

И с перекосившимся, страшным от злости лицом он ударил ее ногой в грудь так, что она отлетела от него и упала навзничь, больно и крепко стукнувшись затылком об пол...

— Левонушка! — застонала она, поднимаясь, и поползла к нему по полу.— Убей... убей ты меня сразу!.. О-о-о, заступница, матушка!..

— На кой ты мне нужна? — засмеялся он.— Убей!.. За тебя, за дьявола, отвечать придется... Погань... тьфу! — он плюнул ей в лицо.— Падаль! Гаже ты для меня теперича кошки ободранной!..

— Да нешто я виновата?.. Господи!..

— Гм... Кто же?.. Пушкин, что ли?.. Знаем мы вас достаточно!..

— Грех тебе... накажет тебя господь... невидимо накажет за меня... Чиста я перед тобой...

— Ла-а-дно, чиста! Может, почем я знаю, и Спирька-то не мой... Может, с каким с пастухом пригуляла... Почему это такоича у тебя — четвертый год пошел — детей нету, а?.. Почему такоича?..

— А уж это ты у господа спроси, а не у меня... бесстыдник ты эдакий... обидчик!

— Ла-а-дно, у господа... Может, у кого другого спросить надыть, а не у господа. Ишь тебе,— продолжал он, все больше и больше разжигая себя своими же злобными словами,— загорелось сегодня идтить... А я-то, дурак, думаю, что́ она охотится больно шибко... а она вот те!.. Ло-о-вко... чисто девки стряпали!.. Обидел ее ишь какой-то... изнасильничал... девочка кака!.. Да ты сама, коли захошь, пятерых сшибешь... Обидеть тебя... Черт тебя обидит!

Агафья села на скамью и заплакала тихо и жалобно, закрыв лицо руками.

Этот ее жалобный плач еще больше раздражал мужа. От него он пришел в ярость.

— Зачем ты мне про это сказала, а? Зачем? Насмешку надо мной сделать, а? Дескать: наплевать, дескать: рвись его сердце. Не прощу я тебе этого во веки веков!.. Сто лет проживу — до тебя не дотронусь! Ты, смотри, еще кому не скажи сдуру-то!.. Убью!..

— Я думала,— говорила, всхлипывая, Агафья,— скажу, мол... пожалеет, мол... муж вить, не чужой... Легко ли мне, владычица! А он вон как!.. Я ли тебя не жалела?.. Я ли за тобой не ходила?.. Выпимши когда придешь, ухожу, уложу... спи!.. Портянки вон новые сделала... от цельного куска отрезала, не пожалела... а он... Владычица!..

Эти ее слова и плач довели его злобу до последней степени. Он начал кричать, ругаясь скверными, злобными, бессмысленными словами, которые, как кипяток, обливали и жгли его самого, и потом, совсем ошалев, страшный и бледный, размахнулся и, скрипнув зубами, ударил ее кулаком по лицу.

Она ахнула и упала на бок, закрывая лицо руками. Он ударил ее еще.

Она вскочила и закричала вдруг пронзительно, дико, жалостливо и страшно:

— Бей... бей, бей!!! Бей, разбойник... бей! На, бей... сюды бей... до смерти... на, на, на!..

VII

Дух злобы захватил их своими цепкими щупальцами и все больше овладевал ими. Оба они обезумели. Он бил ее, рыча одно и то же: «А-а, ты орать! А-а-а, ты орать!» — и был страшен, а она, вся белая, как мел, с осунувшимся лицом, по которому текла кровь, с вытаращенными, точно как от страшного, смертельного испуга глазами, с пеной по углам большого, с посиневшими, почти черными губами рта, была страшнее его.

Она не защищалась и не сторонилась от ударов. Она с диким отчаянием и злостью лезла на них, крича:

— Бей!.. Бей, бей!.. До смерти бей, злодей!..

Несколько раз он сшибал ее с ног. Она падала, стукаясь обо что попало, и снова, вытянув перед собой руки, лезла к нему и кричала опять-таки все одно и то же:

— Бей, бей, бей!..

Этот ее крик: «бей, бей, бей» — подбодрял его, точно уставшую лошадь удары кнутом. Он бил, нанося ей беспощадные, ожесточенные удары, рыча:

— Ты орать! Ты орать! Врешь... врешь, сволочь упрямая!..

Наконец, она обессилела и свалилась на пол ничком, хрипя и корчась, точно в падучей. Он постоял над ней, тяжело дыша, дожидаясь, не закричит ли, и, видя, что она не встает, сказал, скаля зубы:

— Что, сволочь, дождалась?.. Будешь, а?..

— Бу-бу-буду! — прохрипела она, не поднимая головы.

Он скрипнул зубами и ударил ее ногой.

— Бе-е-е-ей! — как овца, проблеяла она.

Он дико и подло выругался, плюнул на нее и, ударив еще раз, вышел из избы, хлопнув за собой изо всей силы дверью.

Он сошел с моста и остановился около круглой, сделанной из березовых прутьев посреди двора кормушки для скотины и, схватившись левой рукой за край ее, весь

трясся частой и мелкой дрожью... Так простоял он минут пять, тяжело дыша и слыша, как в груди колотится и стукает сердце.

Злоба мало-помалу стихла, и вместо нее острая, тяжелая скорбь внезапно охватила его. Он почувствовал вдруг, что в его сердце точно кто-то тычет шилом. Оно мучительно заныло и забилось еще шибче.

Ему стало жалко жену, а пуще жалко самого себя, и он хотел было возвратиться назад в избу, но вдруг точно кто-то схватил его сзади и шепнул про то...

Он застонал, как от физической боли, и представил себе ясно, во всех подробностях, как его жену обнимал и мял какой-то чужой, здоровый мужик.

Эта страшная, мучительная для него картина доставляла ему нестерпимую муку. Он почувствовал опять, что ему в сердце кто-то тычет острым шилом, а перед глазами стоит и не отходит картина во всей своей ужасающей для него правде.

«Вот небось потешился-то! — думал он, облизывая пересохшие губы.— Вот, чай... а она-то небось не давалась сперва для прилику, а потом, чай, ослабла, побелела небось... глаза закрыла, руки расставила... О-о-о!.. Целовал небось ее в губы... «милая, хорошая, такая, сякая, ничего, мол, не бойся»!.. А она, сука, и рада!..»

Дикая, звериная злость опять охватила его. Он вдруг, как-то неожиданно для самого себя, заплакал и начал ломать кормушку...

— А, так ты вот как! — рычал он, с плачем выдергивая из навоза колья и швыряя их.— На вот тебе!.. На кой мне черт все нужно! Покажу я тебе... покажу я тебе, сволочь!..

— Убью! — закричал он вдруг на весь двор, обернувшись лицом к двери в избу.— Зарежу! Со свету сживу!..

Он схватил стоявшие около моста вилы и начал тыкать ими в стену избы, крича:

— Убью!.. Убью, сволочь!.. У-у-у, вот тебе!.. Вот тебе! Вот тебе!

Он бесновался в дикой злобе и не видел, как на него в дверях из калитки стоит и смотрит сынишка Спирька, прибежавший домой с улицы поесть. Он увидал отца, увидал его лицо и, перепугавшись, стоял и глядел, как он, ругаясь и плача, тычет вилами в стену.

— Тятька,— наконец, негромко крикнул он,— а, тятька!..

Отец не слыхал.

— Тятька! — закричал он шибче и вдруг заплакал.— Тятя... что ты?..

На этот раз отец услыхал, обернулся, увидал его и выронил из рук вилы.

Он сразу опомнился, взглянул на Спирьку, и нестерпимая, какая-то мучительная скорбь и жалость к самому себе охватила его душу. Он обтер рукавом глаза, нагнулся, делая вид, что сморкается, и, обернувшись потом к сынишке, сказал:

— Мать пришла... дома вон она... беги к ней!..

— О-о-о! Взаправду? — радостно крикнул Спирька, вбегая на двор и сразу позабыв свой испуг.— Гостинцев принесла?.. Принесла, тять, а?..

— Принесла,— сказал отец, кривя усмешкой губы.— Принесла,— повторил он,— обоим нам принесла... Спасибо!.. Ну, беги!..

— А ты, тятьк, куды!.. Без картуза-то холодно...

Отец не ответил и молча, глядя в землю, прошел мимо него по двору к калитке и, наклонясь, вышел, плотно прихлопнув за собой небольшую, кособокую дверку.

Спирька побежал в избу.

VIII

— Мамк,— закричал он с порога, отворив дверь и со свету плохо видя,— чего принесла мне, кажи!..

Молчание было ему ответом. Агафья, как упала давеча ничком посреди избы, так и лежала и теперь, не меняя позы.

На полу около ее лица виднелись пятна крови... растрепанные черные волосы покрывали ее голову, шею и плечи, точно какая-нибудь большая, шершавая папаха.

Она потихоньку всхлипывала и икала, точно наплакавшийся и начинающий засыпать ребенок.

— Мамк! — крикнул снова Спирька, увидя ее на полу.— Чтой-то ты где легла-то, а? Вставай!..

Агафья уперлась руками в пол, приподнялась, схватилась рукой за край скамейки, с трудом поднялась с полу и села на скамью, облокотившись на стол правой рукой, положив на нее голову.

Все лицо у нее было избито и залито кровью. Под глазами появились огромные, какого-то фиолетового цвета синяки, и один глаз — левый — почти совсем закрылся, виднелась только узенькая, небольшая, окруженная фиолетовым фоном, точно закал на зубиле, щелочка, придававшая всему лицу какое-то необыкновенно страшное выражение. Спирька, увидя это лицо, не узнал матери, испугался и сразу заплакал.

— Что-о-о, сынок, а... хо-о-роша? — скривив в горькую усмешку губы, сказала Агафья, глядя на него.— Вот как меня папашенька-то твой отделал, а... хороша?.. Поди-кась сюда ко мне.

Спирька стоял, глядел на нее и не шел. Ему было страшно глядеть на ее лицо и в особенности на эту вместо глаза глядящую на него щелку. Он заплакал еще пуще и попятился задом к двери.

Агафья тоже заплакала и закашлялась, схватившись рукой за грудь.

— О, господи Суси,— простонала она, харкнув кровью на пол,— всяе избил... почки отшиб... Что мне теперича делать-то... владычица, заступница! Спирюшка... дитятко ты мое... подь ты ко мне, родимый ты мой... подь ты ко мне, сладкий ты мой... пожалей хучь ты меня, несчастную... несчастная я, несчастная. Со всех-то с четырех сторон на меня ветер дует... Пожалей ты меня, сынок ты мой ненаглядный... Солнышко ты мое ясное... о-о-о, о-о-о, батюшки...

— Мамка, не плачь. Мамынька, золотая ты моя, не плачь! — с воплем закричал, бросаясь к ней, Спирька.— Мамынька, я с тобой... Мамынька, не плачь. Дай я тебя поцелую в глазок... Не плачь, мамынька. Не плачь, родимая...

Она привлекла его к себе левой рукой и, наклонясь над его покрытой мягкими, точно чесаный лен, волосами головкой, горько заплакала, то и дело с какой-то необыкновенной страстностью целуя его в головку.

Он обхватил ее обеими руками по талии и, тоже плача, жался к ней...

— Спирюшка... дитятко... родной ты мой... солнышко,— шептала она и чувствовала, как какое-то огромное, мучительно-сладкое, не испытанное ею никогда чувство охватило все ее существо.— Люблю-то я тебя как, дитятко ты

мое... Один ты у меня теперича остался... Постыла-то я всем стала... Пожалей ты меня!

— Мамка, не плачь... Золотая ты моя, не плачь...— прижимаясь к ней, не переставая твердил Спирька...

IX

А Левон в это время, «точно краденный», задами по усадьбам, мимо овинов, пробирался на край деревни в шинок, где торговала с год тому назад овдовевшая баба Юдиха...

Юдиха, когда он, осторожно отворив дверь, переступил порог, была дома и занималась мытьем пола. Высоко подвязав юбку, с голыми толстыми ногами, перегнувшись, терла она с каким-то ожесточением, вся мокрая от поту, грязной мочалкой пол, то и дело крича на баловавших ребятишек, загнанных, чтобы не вертелись под ногами, на печку.

Увидя вошедшего гостя, Юдиха удивилась и стояла перед ним с мочалкой в руках, красная, с грязными подтеками по лицу, удивленно большими красивыми глазами глядя на него.

— Не узнала, что ли? — сказал Левон, осторожно обходя лужу и пробираясь туда, где уже было вымыто и не мокро.— Здорово живешь! Полы никак моешь?..

— Ты как это зашел? — спросила она, не отвечая на его вопрос.— Вот чудеса-то, пра, ей-богу...

Левон усмехнулся.

— Есть? — спросил он помолчав.

— Чего?

— Ну, чего... сама знаешь...

— Что это ты вздумал?.. Чудеса! Николи не ходил... А жена-то дома?

— А тебе что?.. Давай половинку!

— Нету... вся изошла...

— Вре-ешь?!

— Ну вот,— усмехнулась Юдиха.— Право, нету...

— Давай, давай!

— А деньги-то?

— Опосля отдам.

— Ишь ты какой ловкий!.. Без денег не дам

— Да давай, дура, не пропадут... отдам!.. Деньгами

отдам, а то, коли хошь, ужотка али завтра поутру порани овса насыплю, а то мукой отдам... муки пуд...

— Врешь... не отдашь!.. А жена-то?.. Она узнает — съест.

— Чего ты мне женой-то тычешь?.. Чай, я хозяин... давай!..

— Боюсь я... не отдашь... у меня и так распущено — конца краю нет. Побожись на икону вон... перекрестись...

— Ну, вот, глазаньки мои лопни, отдам,— сказал Левон, перекрестившись в угол, где висели иконы.— Не сойти мне с этого места, коли не отдам...

— Мотри, мужик,— сказала Юдиха,— грех тебе будет, коли обманешь вдову... Господь с тебя взыщет... потеряешь впятеро.

Она обтерла руки о бедра и добавила:

— Посиди чуток... сичас я...

Она вышла куда-то из избы и вскоре возвратилась, неся подмышкой бутылку.

— Нету половинок-то,— сказала она,— все изошли... вот бутылка... хошь — бери всяе, а раскупоривать не стану.

— Давай,— сказал Левон,— все едино... Открой-кась!

— А сам-то... аль непривычен?.. Вон шило-то торчит в стенке... вон за тобой-то! Пода-кась его!..

Левон подал шило. Она вынула им пробку и, поставив бутылку на стол, сказала, улыбаясь:

— Кушай на доброе здоровье... Закусить хоть луковичку дам... Лук у меня сла-а-а-дкай, пресла-а-дкай... аки сахар, ей-богу.

Левон, не слушая ее, налил в чайную чашку водки, перекрестился и выпил.

— У-у-у! — произнес он, сплевывая на пол.— Опоила!

— А ты на, чудак, закуси скорей!..

Он закусил и немного погодя выпил еще.

Пил он вообще мало и, так сказать, только в исключительных случаях. В престольные праздники, на свадьбах, летом мирское, когда кто «попотчает», когда «на тельмовщинку». На свои пил мало. Разве уж когда зимой, перезябнув и с устатку, выпивал сотку, да и тае не всю, а разделял ее на два, как он выражался, заряда...

Теперь, выпив почти без передышки две чашки, он как-то сразу опьянел и раскис. Водка подействовала на

него не так, как он предполагал, идя к Юдихе, ободряюще и весело, но совсем напротив: она принесла ему какую-то нестерпимую душевную муку и вместе злость. Ему хотелось и плакать, и ругаться, и бить всех и все, что ни попадет под руку.

Пьяное воображение работало с удвоенной силой, рисуя перед глазами картину насилия над женой со всеми подробностями, а в уши точно кто-то нашептывал те слова, которые, по его мнению, говорил жене, лаская, обнимая и целуя ее, *тот*.

От этой воображаемой картины и слов у него внутри пробегало что-то холодное, острое, мучительное и подступало к горлу.

— Врешь,— говорил он, хлопая и стуча кулаком по столу,— врешь, паскудница!.. Сама ты... по согласью... Не поверю, чтобы занасилку. Ни в жись не поверю!.. Нешто мыслимо?.. Гы, нашла дурака... он, мол, дурак, поверит, мол...

— Да это ты про кого же? — спросила Юдиха, покончив с мытьем пола и присаживаясь на скамью к столу против него.— Слушаю я, не пойму, про что это ты онучу-то жуешь?

— А тебе что?.. Ты молчи... ты меня не серди... все вы сволочи, потаскушки. Ты как об себе понимаешь, а? Вдова ты, а?.. Небось думаешь, кто я, а?.. Живу по-хорошему, а? Честная ты, честная!

— А тебе какое дело до меня?.. Ты что надо мной, начальник какой приставлен аль муж? Может, и не один есть... тебе како дело?.. Боюсь я, что ли?.. Я хозяйка!.. Вот она, кружилочка-то, не тушилочка, собственная... Кого полюблю, тот и мой!..

— Ах,— обтирая рукавом рубахи глаза, с улыбкой произнес Левон.— Ах вы, оглашенные!.. Полюби теперь меня... А?

Юдиха засмеялась.

— А жена-то? — сказала она.— Она те убьет, а мне глаза выцарапает... За что тебя любить-то?.. Денег, что ли, много, али красив больно?... Много вас таких-то!.. А ты вот что: пей скореича, да ступай с богом... время уж... гляди, вечер... ступай к жене... ишь ты раскис, как мухомор от дождя... Смотреть-то на тебя тошно!.. Оботри сопли-то!..

— Ты мне про жену не говори... не вспоминай! —

закричал он вдруг, ударяя кулаком по столу.— Не вспоминай!..

— О, как страшно!.. Испугал!.. Тише, военный!.. Что така твоя жена за барыня?..

— Убью! — заорал Левон и сшиб со стола кулаком бутылку на пол.— За-а-душу!..

— Ах ты, пес слюнявый! — вскочив с места, в свою очередь завизжала Юдиха.— Ты чего ж это посуду-то бьешь, а? Выжрал дарма — скандальничать, приставать... аль я какая, а? Да я тебя засужу, черта!.. Отдавай деньги, лошак!

— Каки деньги? За что? Вот чего не хошь ли! Сво-о-лочи! Кустовки проклятые... зауголки!

Он поднялся и, шатаясь из стороны в сторону, точно его кто толкал то в один бок, то в другой, пошел к двери.

— Ах ты, дьявол косматый!.. Чертушка! — завопила Юдиха и ударила его обеими руками изо всей силы сзади в спину.

Он ткнулся вперед, стукнулся головой о дверь, отшиб ее и вылетел на мост...

— Вот тебе, черту, за это! — закричала Юдиха, ткнув его ногой в бок.— Всякой придет, лается!.. Иди, пока цел, а то, истинный господь, изворочаю поленом до смерти и в ответе не буду... Косматый черт! Я вить тебе не жена далась!..

Левон поднялся и, не обращая на нее никакого внимания, бормоча что-то под нос, шатаясь, вышел на улицу.

X

Солнце село... смеркалось... было совсем тихо...

Из-под горы в деревню гнали скотину... Голодные овцы бежали впереди, останавливаясь, тараща удивленные глаза, и блеяли жалобными, точно плачущие дети, голосами. Бабы закликали их по дворам: «Барашк, барашк, барашк!» — и громко и отчетливо раздавались их голоса в чистом и чутком воздухе.

Левон шел среди улицы в гору, кидаясь из стороны в сторону, точно играл в жмурки, стараясь поймать кого-то... бормотал про себя... останавливался... приплясывал... пел:

Ах, Фроська моя,
Ты не брось-ка меня!
Ты не брось, не покинь,
Я останусь один...—

привлекая на себя общее внимание бывших на улице баб и ребятишек.

Придя домой, он молча с трудом залез на печку, лег там, уткнувшись головой в задний угол к трубе, и сейчас же уснул.

Видя его в таком состоянии, Агафья ничего не сказала. У нее точно что-то оборвалось и похолодело внутри. Она тихо и горько заплакала, сознавая и как будто чувствуя, что на нее и на мужа благодаря ей надвинулось, как черная туча, огромное, непоправимое, злое горе...

Плача, с опухшим, избитым лицом, постаревшая и осунувшаяся, начала она убирать скотину. Привычное дело, которое она «обвертывала круг пальца», не спорилось теперь и валилось из рук.

Все ее хозяйство: корова, лошадь, теленок, овцы, куры,— все эти плошки, ложки, лоханки, чугуны, ухватья,— все как-то сразу отошло от нее, сделалось чужое, ненужное...

— Господи, батюшка, господи, батюшка! — с каким-то ужасом шептала она, толкаясь, как круговая овца, по двору.— Что ж теперича будет-то?.. Что я наделала-то?.. Что я, сука, наделала-то? Не нужна я теперича ему... попротивела я ему... Опоганил меня, разбойник... разлучил с мужем... разбил закон, мошенник!.. О господи, батюшка! О господи, батюшка! Не верит он мне... думается ему... И зачем я, дура, сказала?.. Молчать бы мне!.. Как жить-то теперича, господи! Руки на себя наложить... в удавку лезть?.. А мальчика-то?.. А Спирька-то на кого останется?.. Царица небесная, матушка, вразуми, услыши!.. Заступница, матушка!..

А Спирька, тоже с опухшим от слез лицом, ходил за ней по пятам, не отставая, повторяя сквозь слезы жалобным голосом:

— Мамка, об чем ты?.. Родная, не плачь! Мамынька, не плачь!

Глядя на него, Агафье делалось еще тошнее и мучительнее.

Управясь кое-как по хозяйству, подоив лягавшуюся, худую, доившуюся только тремя сосками корову, попоив

теленка, она вздула огонь и начала стелить на полу постель для Спирьки. Ей хотелось уложить его пораньше. Она боялась, что храпевший на печке муж проснется, слезет и, злющий с похмелья, начнет лаяться, и тогда уже мальчишку не уложить.

— Садись, сынок,— сказала она, сделав постель,— поужинай... похлебай щец, да и ложись...

— А ты-то? — спросил Спирька.— И ты ложись!..

— И я лягу... уберусь вот... спасуду вымою... лягу.

Она достала из печи горшок, налила в чашку щей, поставила на стол, достала ложки, отрезала хлеба и сказала:

— Садись, похлебай...

Они сели за стол и стали хлебать серые, пустые, противно пахнувшие и уже успевшие остыть щи...

Агафья ела мало. Она делала только вид, что ест, а на самом деле ей кусок не шел в глотку. Она слушала храп мужа, и сердце у нее замирало от мысли, что будет ночью, когда он проснется... Спирька, глядя на мать, тоже ел плохо.

— Не хотца! — сказал он, хлебнув несколько ложек.

— А молочка дать?

— Не хотца.

— Ну, как знаешь... разувайся... молись богу... ложись...

— А ты со мной ляжешь? И ты ложись...

— Лягу, лягу... молись...

Спирька разулся и, встав перед иконами, начал молиться.

Агафья встала позади него на коленки.

— Ну, батюшка,— сказала она, сдерживая подступившие к горлу слезы,— помолись, сынок... Ох, царица небесная, заступница!

— «Во имя отца и сына и святого духа, аминь»,— зачастил Спирька и продолжал без передышки: — «Богородица, дева, радуйся, благодатная Мария, господь с тобою! Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего...»

Он замолчал, позабыв, как дальше...

— «Яко спаса ро...» — шепнула Агафья.

— «Яко спаса родила еси душ наших! — докончил Спирька и безостановочно, торопясь, в один тон продолжал: — Господи, помилуй тятьку, мамку, хресного, хрес-

ную, всех сродников, всех православных хрестьян. Аминь».

— Поклонись, сынок, в землю. Ну, Христос с тобой... ложись... спи...

Спирька лег и прикрылся дерюжиной...

— Иди, мамк, ко мне,— сказал он.— Я без тебя не лягу.

— Сейчас я... О господи!.. Уберусь вот только...

Она смахнула со стола, убрала чашку, ложки, хлеб и, притушив в лампочке огонь, так, как была, не раздеваясь, легла рядом с ним, обняв его правой рукой.

— Спи, родной,— сказала она,— не думай... андел господний к тебе ночью придет... Цветов тебе принесет... маку.

— Мне маку не надоть!..

— А чего тебе?

— Мне гостинцев... пряников... Ты мне летось принесла... писаных-то... скусные-расскусные!..

— Принесет и пряников... спи!..

— Мамк?

— Что?

— Тятька-то как храпит на печке!

— Спи, сынок, спи... выпимши он... Завтра поутру, бог даст, в лес за сучьями поедешь с ним... спи... закрой глазки-то... завернись...

Спирька обнял ее, прижался к ней и сейчас же заснул...

XI

Агафья сняла с него свою руку, поцеловала его, чувствуя к нему какую-то необыкновенную жалость и чувствуя, как от этой мучительно любовной жалости подступают к горлу слезы и душат ее, поднялась с полу, подошла к столу, прибавила в лампочке огня и остановилась тут около стола, глядя какими-то испуганными и ставшими от этого еще больше глазами на огонь... Постояв немного, она вдруг молча, но с выражением какого-то ужаса и отчаяния всплеснула руками и закачала головой вправо и влево, вправо и влево, как маятник у больших старинных часов, точно выговаривающих редко и отчетливо твердо: ах, ах! ах, ах!..

— Рупь семьдесят пять... рупь! — раздался глухой и

хриплый голос с печи бредившего во сне мужа,— сем... семм...— повторил он, захлебываясь, и, не выговорив «семьдесят», замолчал и захрапел еще громче...

— Господи помилуй! — метнув на печку глазами, в которых как будто бы еще больше прибавилось выражения ужаса, прошептала Агафья и, потихоньку встав на цыпочки, приподнялась, протянула руку к лампочке, притушила ее совсем и, перекрестившись в потемках на то место, где висели образа, трясясь вся нервной, частой дрожью, легла на пол рядом со Спирькой...

Она легла навзничь и лежала, боясь пошевелиться, сдерживая дыхание, охваченная каким-то мучительным страхом, напряженно прислушиваясь...

В избе стояла какая-то таинственная, жуткая, точно живая, как будто чего-то поджидающая тишина.

У порога вздыхал теленок редко и ровно, точно кто-то потихоньку раздувал небольшие мехи... На печке храпел Левон... Спирька дышал ровно и тихо, и все эти звуки не нарушали тишины, а, напротив, делали ее еще более тихой, напряженной и страшной...

Агафья лежала, глядя в темноту, и ждала чего-то, и напряженно-боязливо слушала и думала.

Мысли у нее были какие-то чудные, отрывистые, путаные, вдруг как-то неожиданно странно приходившие в голову и сейчас же заменявшиеся другими...

То вдруг она себя вспоминала девчонкой... выплывала какая-нибудь картина из этого далекого прошлого... то вспоминала, как она в девках росла... гуляла, как играла с парнями... вспоминала, как ее сосватали... как на запое ее отец напился пьяным и вышиб, обозлившись на мать, в избе раму... Вспоминала, как ее венчали с Левоном... как она под венцом стояла... как ей было неловко... совестно чего-то... стыдно... гуляли как на свадьбе... Вспомнила, как их с мужем увели пьяные бабы спать... Как он обнимал ее, целовал, ласковые слова говорил...

— Господи, батюшка! — шептала она с тоской и болью в сердце,— как все у нас ладно, хорошо было, а теперича-то?.. Надо же такому греху быть!..

И перед ней в темноте вдруг выплывало, совсем близко, перед самыми ее глазами, страшное, обросшее рыжей бородой лицо, толстые губы, слюна на них, оскаленные зубы, противный гнилой запах изо рта, тяжелое, прерывистое дыхание — и она с ужасом закрывала глаза,

но лицо не отходило... Оно было тут, перед ней, страшное, противное, чужое и вместе такое знакомое и близкое...

Она вдруг с мучительной ясностью почувствовала, вздрогнув от пробежавшей по всему ее телу холодной волны, как это лицо наклонилось к ней, как толстые, горячие, мокрые губы, чмокая и слюнявя, припали к ее рту...

— Батюшка...— застонала она и, поднявшись, села, обхватив обеими руками коленки.— Что ж это за мука така мученская на мою голову... за что?..

«А ты, дура, мужу-то не сказывай!» — вспомнила она вдруг *его* слова.

— Как же мне не сказать-то,— зашептала она про себя, точно обращаясь к кому-то, тут же находившемуся,— как же мне не сказать-то? Кабы я по охоте, ну, знамо дело, нешто сказала бы?.. Муж, чай, он мне... законный... закон приявши, не по-собачьи жить... Попу на духу все одно пришлось бы каяться... Нешто думано это?.. Нешто я притчинна?..

«А ты, дура, мужу-то не сказывай! — опять как-то насмешливо и потихоньку шепнул ей в уши голос.— Надоел, чай...»

Агафья опять застонала и начала креститься, шепча про себя молитвы, какие знала, и силясь отогнать неотступную, где-то далеко-далеко спрятавшуюся греховную, как она думала, мысль: «Не сказывать бы мужу, то и все бы было по-старому»...

Мысль эта и насмешливый голос, повторявший все одно и то же: «А ты, дура, мужу-то не сказывай» — неотступно мучили ее, и она, как бы оправдываясь перед ними, приводила всякие доказательства тому, что она не могла поступить иначе, а должна была сказать.

Но от этих доказательств ей не делалось легче, и как она ни уверяла себя в том, что сделала хорошо, сказав мужу, далеко спрятавшаяся мысль твердила ей совсем другое.

— Ну, твори бог волю свою пославшую,— прошептала она, измучившись от дум, и легла, прикрывшись с головой дерюжиной...

XII

На дворе, похлопав сперва крыльями, громко, с хрипотой в голосе несколько раз подряд прокричал петух, выговаривая: «Вот тебе и ра-а-аз! Вот тебе и ра-а-аз!..»

За дверью замяукал и царапался кот, просясь в избу...

Агафья встала, отворила дверь и, пустив его, снова легла. И снова тревожные мысли и какой-то непонятно мучительный страх, предчувствие какое-то какой-то беды наполняли ее душу.

Она опять легла навзничь и опять напряженно слушала, боясь и ожидая чего-то...

Храп, доносившийся с печки, вдруг сразу затих... послышалась какая-то возня... затрещала лежавшая там лучина... послышался долгий зевок...

— Проснулся! — вся похолодев, прошептала Агафья и замерла слушая...

— Тьфу ты! — раздалось с печи, и послышался плевок в стену.— Во-от... а-а-а! Фу-у-у ты!.. тьфу!

— Голову, знать, больно,— прошептала Агафья,— натрескался... кабы не *это* дело, я бы его знала, как похмелить... А теперича его власть... И где это он денег на вино взял?..

— Испить! — раздалось с печки.— Испить дай!.. Смерть моя... тьфу!..

— Сичас! — торопливо перекрестившись и вскакивая, крикнула Агафья.— Сичас дам!..

Она бросилась за перегородку к печке, где на скамейке стояли ведра, зачерпнула в кружку воды и подала ему.

— На, батюшка... Где ты тут?.. На, испей!

— Здесь я... давай!..

Она нащупала в потемках его протянутую с печи руку и сунула в нее кружку.

— Испей на... испей на доброе на здоровье!..

Левон, жадно глотая, сразу выпил все и сказал:

— Смерть!.. Горит все!..

— Давно не пил... от этого,— ласково сказала она.

Он промолчал. Она стояла около приступки, не зная, что делать — отходить ли, или нет... вся насторожившись, чего-то ожидая.

Он тоже молчал. Он слышал, что она стоит тут, около, рядом, и тоже ждал.

— Левон,— наконец, не вытерпев больше напряженного молчания, тихонько окликнула она его и еще больше испугалась и вся похолодела.

— Ну-у-у! — сейчас же так же тихо отозвался он.

— Про-про-сти, Христа ради! — прошептала она пре-

рывающимся голосом и заплакала.— Убей меня возьми... ничем эдак-то... Не притчинна я!.. Нешто я виновата?..

Он молчал. У него болела голова, было горько во рту, горело внутри, и какая-то нестерпимая тоска, как камень, легла на сердце...

— Иди сюды! — сказал он вдруг как-то неожиданно для самого себя.

Она вся встрепенулась, обрадовалась, точно выпущенная из клетки птица, и торопливо влезла к нему на печку.

— Где ты тутотка? — тихо, ласково, задыхаясь от волнения, спросила она.— Не видать в потемках-то!..

Она обняла его левой рукой и, вся похолодев от какого-то сладкого, пробежавшего по всему ее телу чувства, молча прижалась к нему...

Он тоже вздрогнул, и то же самое сладкое чувство, как и ее, охватило его.

— Левон, батюшка... родной ты мой! — шептала она.

— Спирька-то спит? — тихо спросил он.

— Спит.

— Что он... как? Как ушел-то я, а?.. Ты-то, а?..

Он оттолкнул ее от себя и, ткнувшись вниз ничком, затявкал, как щенок, жалобно и вместе необыкновенно страшно.

Агафья вся затрепетала, услышав этот его плач-тявканье, и поспешно, не помня себя, соскочила с печи, ткнулась на пол рядом со Спирькой, укрылась с головой и замерла, боясь дышать, боясь шевельнуться, слушая, как с печи несется все усиливающееся жуткое тявканье...

XIII

Под утро, когда стало светло, Левон слез с печки и, заглянув в окно, увидал, что за ночь выпал снег.

Он надел картуз и вышел на крыльцо посмотреть.

На улице было бело, необыкновенно тихо и весело. Мягкий, пушистый снег покрыл и землю и заборы и висел, как вата, на сучьях вербы. В воздухе стоял как бы туман, и было тепло. Дым над избами, где топились печки, не поднимался тихо и плавно столбами кверху, как в мороз, а падал на землю и стлался по ней во все стороны...

К стоявшему на крыльце Левону подошел из-за угла соседней избы староста и сказал:

— Здорово, Ляух... Снежку господь царь небесный посылает нам, грешным...

Левон промолчал...

— На сходку приходи,— сказал староста,— пастухов рассчитывать.— И, отойдя шага на три, обернулся и спросил: — Ты с чего это вечор загулял-то?.. С какой с радости?

— А тебе что? — пробурчал Левон.— У тебя спроситься, что ли, забыл?

— Да так я... мне наплевать!.. Деньги готовь пастухам... Да там за тобой должок есть...

Он сделал еще несколько шагов и опять, обернувшись, спросил:

— Чего это ты штурму-то устроил? Жену-то за что искровянил?

— А ты видел?..

— Видеть не видел, а люди сказывали. Шила, друг, в мешке не спрячешь!..

— Что ж, аль она тебе докладывала? — встрепенувшись и сразу почувствовав злость и причину придраться к жене, спросил Левон.

— Бабы сказывали... слышали...

— Ну тебя к кобыле под хвост и с бабами-то вместе,— сказал Левон.— Тебе-то какое дело?.. Ну, бил! Жена моя, что хочу, то и делаю... хочу бью, хочу нет,— мое дело.

— Знамо! — усмехнувшись, согласился староста и пошел дальше.

— Эй, хозяин, на сходку выходи! — крикнул он, постучав бывшей у него в руках палкой о раму соседней избы.— На сходку! — и пошел дальше вдоль деревни под гору, постукивая под окнами и покрикивая: — На сходку! Эй, выходи на сходку!..

Левон постоял еще немного и пошел в избу.

Агафья встала и возилась около печки за перегородкой. Самовар стоял на полу и бурлил, выпуская из-под крышки клубы пара. Пар этот садился на стекла окон, покрывая их точно какими-то тонкими, сероватыми листьями бумаги, и от этого в избе было полутемно и как-то особенно печально... Около порога прыгал на одном месте, подскакивая передними ногами кверху, теленок и то и дело жалобно, звонко и протяжно, точно плача, кричал: «Мя-я-я! мя-я-я!..»

— Чай-то сейчас будешь пить,— увидев вошедшего

мужа, робко спросила Агафья,— аль обождать, когда печку затоплю, картошки сварю?

Левон посмотрел на нее, увидал ее избитое, еще больше опухшее за ночь лицо, увидал страшный, глядящий на него глаз-щелку, всю ее робкую фигуру и почувствовал вдруг, что ему стыдно и жалко жены... Но он сейчас же подавил в себе это чувство и грубо и злобно сказал:

— Ты чаво это, сволочь, языком-то натрепала, а?..

Агафья молчала, глядя на него, ничего не понимая.

— Чего бельмы-то вылупила, сука мозговая? — крикнул он.— Мало я тебе насыпал... еще захотела?.. Зачем старосте нажаловалась? У-у-у, сволочь проклятая! Подкладка чертова!..

— Господи Суси! — всплеснув руками, воскликнула Агафья.— Я, старосте? Да я его и в глаза-то не видала бо знать с какой поры... Детища мне вон свово родного не видать, коли вру... издохнуть на этом месте! Что ты, господь с тобой? Что ты меня обижаешь-то?.. За что ты надо мной тиранствовать-то начал? Господи, господи... я старосте?.. Куда я пойду?.. Мне на улицу-то нельзя показаться... Смотри-кась ты, какая я!..

— Так тебе и надыть,— сказал Левон.— Мало. Я еще тебе пропишу по первое число... Дакась мне целковый! — добавил он властно.

— Какой целковый?.. На что?..

— Ну-у-у! — крикнул он.— Какой? Деревянный! Не знаешь, какой целковый бывает?..

Агафья заплакала.

— Батюшки,— завыла она,— да что ж это такоича будет-то?.. Очумел ты, знать, совсем, а? Каки у нас целковые?.. Откуда они? За пастушню вот надыть... хлеб... батюшки, ба-а-тюшки... ро-о-одимые! Ребенок вон у нас... его-то пожалей!.. Что это тебя нечистый-то осетил?.. Окстись... опомнись!..

— Давай! — заревел Левон.— Убью! Мое!..

— Бери! — пронзительно завизжала вдруг на всю избу Агафья.— Бери, черт ты эдакий... тащи! Пропивай! Лопай! На, бери!.. бери... на, на... жри! лопай!

От ее крика проснулся Спирька и, испугавшись, заплакал и жалобно закричал:

— Тятьк, тятьк, не ругайся! Тятьк, не ругайся!..

— На, на! — визжала Агафья, выхватив из-под ска-

мейки укладку и роясь в ней.— На, черт, на, подавись!.. На, анафема! — пронзительно громко, со слезами в голосе завопила она, найдя там где-то спрятанные у ней деньги и кидая ему серебряный рубль.— На, лопай! пропивай! Авось, бо даст, захлебнешься... На!..

— Да ты что ж это, сволочь ты эдакая, а? — в свою очередь заорал Левон.— Ты с кем это говоришь-то, а? На кого ты это уства-то свои поганые отверзаешь, а?.. Ах ты, подкладка подлая!.. Да я... да я!.. Ах ты!..

И, отвратительно выругавшись, он схватил ее левой рукой сзади, с затылка, за волосы и начал правой бить по лицу.

— Тятя! тятя! тятя! — пронзительно, необыкновенно жалобно и отчаянно завопил Спирька и бросился к ним...

XIV

С этого дня Левон стал пьянствовать и пропадать из дому.

С утра он уходил или к Юдихе, или же в соседнее село, где был трактир, казенка, и околачивался там по целым дням, стараясь напиться или на свои, или же как-нибудь со знакомыми на чужбинку.

К вечеру он являлся домой совсем пьяный или «выпимши» и, забравшись на печку, начинал орать и сквернословить, ругая Агафью и не обращая внимания на Спирьку.

Агафья как-то совсем скоро извелась, похудела еще пуще, почернела и ходила как в воду опущенная, с выражением глубокого, постоянного страдания и ужаса в глазах.

Муж совсем взял еще так недавно бывшую в ее руках власть себе и почти неограниченно пользовался ею. Не могла уже она крикнуть или сказать ему, как прежде: «Не ходи! не делай! не дам!..»

— Мое! — орал он.— Давай!.. убью!.. я хозяин!..

Каждый день с утра начинал он придираться к ней и показывать свою власть.

— Эй ты, шкура! — кричал он с печи.— Заложь-ка лошадь... в город поеду... дровишек свезу...

Она обыкновенно молча, скрепя сердце, исполняла его приказание, зная по опыту, что стоит ей только сказать,

спросить «зачем», как он кубарем скатится с печки и, вытаращив страшные с похмелья, оловянные глаза, полезет на нее с кулаками драться...

Все, какие были в доме деньжонки, он помаленьку перетаскал в казенку и раз, когда в доме не было ни гроша, проснувшись утром со страшной головной болью и нытьем под ложечкой, спросил у жены двугривенный и, услышав ее ответ, что денег нет, заорал:

— Как такоича нету, а?.. Что ж ты врешь-то?.. А в городе-то, на книжку-то лежат, а?.. Не деньги нешто?.. Займи поди у старосты под нее целковый... Скажи: поеду, мол, на этих днях в город, возьму, мол, там, отдам.

Действительно, у них в городе, в казначействе, «лежало на книжку» на ее имя сто рублей, скопленных, одному богу только известно какими способами и сбережениями, на стройку.

— Ну, уж этих денег тебе не видать! — сказала Агафья.— Не наши они...

— Как так не наши?.. Чье же?..

— Вот чье,— указала она на Спирьку,— его!.. Не видать тебе этих денег,— твердо повторила она,— да и книжки у меня нету... попу я ее снесла на сбереженье... у него целей... Ступай сунься... возьми!..

Он озверел и принялся колотить ее.

— Бей! — кричала она, по обыкновению не сопротивляясь и этим еще больше зля его.— Убей до смерти, разбойник, а денег этих не видать тебе... Тащи из дому... лопай... пропивай... авось господь накажет за меня... придет конец, облопаешься... придет конец... потерпела я... придет!..

И действительно конец скоро пришел.

Как-то раз, после уж рождества, поехал он в город с дровами. Погода стояла морозная, с ветром, с метелью. Продав на рынке за рубль с четвертью дровишки, он пошел в казенку, взял половинку, выпил ее на улице и отправился в трактир закусить и попить чайку.

День был праздничный, базарный, и народу в трактире было много. Трактир торговал водкой и, между прочим, допускал каких-то «девочек»...

Обтрепанные, опухшие, нахальные, предлагали они свои услуги пьяным.

Левон сел в угол к железной печке, за свободный стол, и заказал чаю, баранок и сотку водки...

Выпитая около казенки половинка разобрала его, и он

сидел, глядя маслеными, тупыми глазами по сторонам, как какой-нибудь досыта нажравшийся говядины кот...

Одна из «девочек», рябая и толстая, подошла к его столу и, остановившись около, сказала осипшим голосом, скаля желтые, большие в огромном рту зубы:

— Ишь, серый черт, баранки жрет один... Что бы меня угостить?

— Садись,— сказал Левон.

«Девочка» села и, достав из кармана измятую, согнутую «етапную» папироску, закурила, держа ее как-то боком в углу губ...

— Что ж,— сказала она,— за пустым-то столом сидеть?.. Возьми половиночку.

— Ловкая ты,— засмеялся Левон.— Нешто за пустым?.. А это что? За что я тебя потчевать-то стану?

— За что, за что, узнаешь за что!.. Стучи, стучи... заказывай!.. А ты уж знай заказывай!..

Левон постучал и велел половому подать половинку.

— Денег-то у меня самая малость,— сказал он.

— А много ль? — спросила она.

— Да один целковый, знать, остался только.

— А две рукавицы-то у тебя... Недавно купил, должно быть?.. На бутылку поднимут,— сказала она, скаля зубы.

— Ишь ты какая ловкая!..

— У ловкого все ловко,— сказала она и, налив в чашку из сотки водку, сразу выпила ее и плюнула на пол.— Дорого все здеся... Пойдем ко мне на фатеру. У тебя лошадь-то где?

— На постоялый поставил...

Половой принес половинку, открыл ее и, поставив на стол, сказал:

— Загулял, Ванька малый!.. Смотри, рот-то не разевай,— добавил он.

К вечеру совершенно пьяного, не помнящего себя Левона этот же самый половой, нахлобучив ему на голову по самые уши шапку, спускал по лестнице и говорил:

— Я тебе, черту, сказывал давеча: не разевай хлебова-то... Где рукавицы-то?.. Че-е-ерт!.. Дураков вас везде учат... так и надыть... Ступай, ступай!.. Дома небось жена ждет... дорвался, как волк до падали!.. Ступай!..

Он вытолкнул его за дверь на мороз. Левон постоял

около трактира, мыча что-то, весь какой-то обслюнявившийся, противный, и, спотыкаясь, пошел по привычке, как-то бессознательно, на постоялый...

Здесь он нашел свою передрогшую, стоявшую около пустой колоды лошадь, кое-как, тоже по привычке, отвязал ее, обернул, ввалился в дровни и, крикнув: «Но-о-о, черт, вшивая, замерзла!» — выехал за ворота.

XV

В городишке стали зажигать огни. С базарной площади все разъезжались. На улицах было пустынно и тихо.

Проголодавшаяся и передрогшая на постоялом лошаденка ходко и быстро побежала по хорошо ей знакомой дороге домой. Не нужно было править. Ей знаком был каждый заверток, и она уверенно бежала сперва по какой-то длинной, изрытой ухабами улице, потом свернула в заулок, повернула налево, мимо церкви, перебежала по льду через реку и какими-то огородами, мимо каких-то лачужек, около которых росли старые, толстые, корявые ветлы, выбралась за город в поле.

В поле было холодно, морозно и дул не сильный, но пронизывающий ветер. По низу мело и передувало дорогу. Какая-то серая, печальная, нависшая со всех сторон, как туман, муть стояла в воздухе. Месяц светил, но его не было видно за облаками. Справа и слева по сторонам дороги торчали беспорядочно кое-как натыканные вехи, придававшие своим видом полю и дороге, по сторонам которой они были натыканы, еще более печальный и безнадежно мертвенный вид...

Левон сидел в передке дровнишек, привалясь боком к правой креслине, и время от времени по привычке и еле ворочая языком покрикивал на лошадь: «Но-о-о, дамка, но-о-о!..»

Дровнишки прыгали по ухабам, и он каждый раз на ухабе тоже прыгал и клевал носом, точно кланяясь кому-то.

Одет он был тепло. Снизу полушубок, сверху кафтан с большим, закрывавшим и щеки и уши воротником... Зябли только руки, и он как-то бессознательно совал их в рукава под полушубок: правую — в левый, левую — в правый.

Вожжи были брошены, и лошаденка, не нуждаясь в

них, зная дорогу, без понуканья торопливо бежала по дороге, кидая из-под копыт в дровни комки снега, и по временам как-то покряхтывала, точно чихала...

За полем дорога стала подниматься в гору, и лошадь, запыхавшись, пошла шагом. Левона убаюкало, и он задремал.

Очнулся он версты за две от своей деревни, в лесу. Его точно кто-то толкнул в бок и крикнул: «Эй, ты! Что спишь-то? Вставай, замерзнешь!..» Он открыл глаза, но, все еще пьяный, долго не мог сообразить, где он находится и что с ним делается.

Приподнявшись, он мутными глазами, со страшно кружившейся головой огляделся кругом... Кругом — и направо и налево — по краям дороги был лес. Над лесом, под прояснившим и вызвездившимся небом, висел, точно фонарь, месяц и молочно-бледным светом освещал и лес и дорогу. Вперед и назад по дороге было видно далеко, и Левон, приглядевшись, узнал место, где он ехал...

— Ишь ты,— сказал он,— сичас приеду ко дворам... Заснул и не видал, как приехал.

Он хотел было поправиться и пересесть поудобнее на другое место, но, протянув левую руку и взявшись было за креслину, почувствовал, что пальцы на ней не гнутся и не действуют.

Он как-то сразу опомнился, поднес руку к глазам и увидал, что пальцы сделались точно стеклянные и не гнутся... Он со страхом стал шевелить ими и мять их правой рукой, которая осталась цела только потому, что, когда он спал, она была у него под боком.

Пальцы, как он ни тер их, не действовали и ничего не чувствовали.

— Отморозил,— с ужасом прошептал он.— Отрежут теперича... без руки станешь...

Хмель от этой мысли сразу слетел с него. Он отрезвел и почувствовал, как ему холодно и как его всего трясет от холода, а пуще того от страха...

— Но, но, матушка, но! — жалобным голосом закричал он на лошадь.— Скореича домой... Авось, господь даст, ничего... Но-о-о-о!..

Лошадь побежала шибче и вскоре, миновав лес, за лесом поле, перебралась через овражек и, поднявшись в гору, где была деревня, подвезла Левона ко двору и остановилась у ворот.

Ворота были заперты, и сквозь маленькие, замерзшие стекла окон светился огонь. В избе не спали. Агафья лежала на печке и ждала мужа, чутко прислушиваясь, не заскрипят ли сани, не застучат ли в ворота...

— Отопри! — закричал Левон, застучав в окошко.

Услышав стук, Агафья горошком скатилась с печки и побежала отпирать.

— Ты? — спросила она, отворяя дверь.

— А то кто же! — ответил Левон и, торопливо стуча замороженными валенками по мосту, прошел мимо нее в избу.

«Никак трезвый,— с удивлением и почему-то еще больше испугавшись, подумала Агафья.— Вот чудеса-то!.. Что такоича значит?»

Левон вошел в избу и так, как был, в шапке и кафтане, весь трясясь и вздрагивая, подошел к лампочке и, подняв руку к огню, посмотрел на нее.

— Агафья! — каким-то другим, непривычным голосом сказал он.— Глянь-кась, никак обморозил...

Агафья взглянула и ахнула.

— Батюшки,— закричала она,— отморозил. Где это ты?.. Как? А где рукавицы-то?

— Потерял ли, украли ли — не помню,— сказал он,— выпивши был... уснул дорогой... проснулся, глядь — вот!

Он застонал и взглянул на жену.

— Глядь — вот! — повторил он.

— Догулялся! — заговорила она и заплакала.— Что, батюшка, догулялся?.. Бог-то наказал... Говорила: накажет тебя господь за меня... вот и наказал... Что теперича делать-то, а? Куды ты без руки-то годен? Господи, царица небесная, да что ж это за напасть за такая на мою голову?.. Больно тебе?.. Владание-то есть в них, в пальцах-то?..

— Нету... нет... на вот, гляди — кочерыжки...

— О господи! Что ж теперича?.. Давай маслицем от бога из лампадки потру... не отойдут ли?

— Водочки бы мне,— стуча зубами, произнес Левон.— Выпил бы... потер бы их... може, отошли бы... Смерть!..

— Догулялся!.. Где же водочка теперича?

— У Юдихи... чай, есь...

— Не даст без денег-то... Привез денег-то, а? Ах ты, гулена!.. Сичас сбегаю... попытаю...

Левон молчал и трясся всем телом, стуча зубами.

— Може, даст,— жалобно сказал он,— сходи... так и так, мол... вот какой, мол, грех... попроси... Христа ради!

— О, господи Суси! Царица небесная, матушка! — мечась по избе и ища шубенку, твердила с плачем перепуганная Агафья.— Вот наказанье-то господнее. Говорила: накажет господь... вот и наказал... Кому вот ты теперь, окромя жены, нужен-то, а? Кому, а? О господи, батюшка, подохнуть бы уж мне, что ли... один бы конец!..

XVI

Рано утром, когда только что стала заниматься заря, она повезла его в больницу.

Чернобородый, высокий, красивый, в очках, доктор молча посмотрел на руку, пощупал и, вскинув глазами на Левона, как-то весело, точно это доставляло ему большое удовольствие, сказал:

— Ло-о-вко... гм! Где это ты, милый друг, ухитрился?.. Небось «выпимши»?

— Да уж известно, барин хороший, не чвирезвый,— ответила за мужа Агафья.— Из городу ехал... уснул в дровнишках... рукавиц-то не было... потерял ишь пьяный-то... Правая-то вот рука ничего, цела осталась, спас господь... под боком она у него была... на ней лежал, а эта-то наружи, ну и прихватило...

— Так, так, та-а-а-ак! — повторил доктор, слушая ее.— Та-а-а-ак!.. Наружи... гм! Ну, милый друг,— обратился он опять к Левону,— придется тебе у нас остаться... погостить... а? Хочешь?

— Да уж как ваша милость.

— Сделайте божеску милость,— вступилась Агафья,— не оставьте!..

— Ла-а-дно... оставайся... Марья Вениаминовна,— обратился он к сидевшей за столом хорошенькой, с челкой на лбу барышне,— запишите... Ты откуда?

— Не дальние мы... из Овражков.

— Ну, ладно. Так, значит, остаешься?

— Остаюсь.

— Эй, Устин, сведи вот его!.. Койку ему... белье... все, одним словом... Я приду скоро,— сказал он явившемуся из другой комнаты служащему.

— А ванную готовить? — спросил служащий, глядя исподлобья усталыми и злыми глазами на Левона.

— Нет, «ванную» не готовить,— сказал доктор.— Веди... Эй, кто там следующий?.. Марья Вапилова!.. Марья Вапилова! — громко крикнул он.— Пожалуйста!..

В приемную вошла баба.

Левона повели наверх, где были палаты...

XVII

Через неделю, в воскресенье, Агафья пришла навестить его.

Лежал он в большой, с высоким потолком, белыми стенами, с одним, выходившим на южную сторону, большим итальянским окном, мужской палате.

Все койки в этой палате были заняты больными, и в ней, несмотря на сравнительный простор, было душно и жарко.

Левон лежал около двери, в углу, и ему была видна вся палата, с находившимися в ней больными, и видно было в коридор, как там ходили няньки, и как там же у насупротив двери висевших часов двигается безостановочно часто маятник, и как лениво, нехотя ползут стрелки, показывая время...

Рука у него была забинтована и висела на подвязке.

Каждый день поутру он ходил на перевязку. Доктор каждый раз внимательно осматривал пальцы, мазал их чем-то и, как казалось Левону, чего-то все поджидал.

— Ничего, милый друг,— весело говорил он ему,— вылечим!.. Косить будешь и водочку, может, бог даст, пить бросишь... а?.. Так, что ли?.. Али нет?.. Буду, мол, есть мякину, а вино пить не кину... А ты не робей... то ли бывает!.. Ешь больше... аппетит-то есть?..

— Ем, слава богу... тоска вот только... скука одолела...

— Тоска... гм! Пройдет... а ты не тоскуй... Это у тебя от водки тоска... Погоди, я тебя угощу одной штучкой — и тоска пройдет, и спать будешь...

Агафья пришла во время обеда и, оглядываясь и робея, села к мужу на край койки.

— Ну, что... как тутотка? — спросила она.— Что рука-то?.. Заживает аль нет?

— Заживает! — усмехнулся Левон.— Больно скоро...

— А прикладывают к ней что аль нет?

— Мажут чем-то...

— Отрежут! — вступился вдруг в их разговор сидевший рядом на койке, только что пообедавший, черный, похожий на цыгана мужик.— Отмахнут... вот погоди, дай только хорошенько наядрить... Здешний доктор мастак на это... любитель! Ему только бы, сукину сыну, кобыл драть... первое у него удовольствие! Зарезать человека ему, что стакан водки выпить... чик — и готово! А ты как хошь вертись опосля... Ему что?.. Ему, знамо, наплевать... не больно... ветер-то взад... живорез... ни в бога, ни в черта не верит... Ничего не боится...

— Чернеть стали пальцы-то,— грустно сказал Левон.

— Все?! — с ужасом спросила Агафья.

— Нет, не все... вот эти только...

— Ну, вот,— вступился опять мужик,— их и отмахнет... Дай только, говорю, наядрить им хорошенько... Уж это будьте спокойны и к маменьке не ходите... Быть тебе, Левон, без пальцев... оставит одну культяпку... приходи, кума, любоваться...

— Ну, как ты тамотка, дома-то? — спросил Левон, не глядя на жену.— Спирька-то как?..

— Ничего... слава богу... об тебе вспоминает все... «Где тятька, говорит, скоро ли придет?» Скучает шибко...

Она вдруг заплакала и, утирая рукой слезы, добавила:

— Наделал делов... господи...

— Скотина-то как? — опять, помолчав, спросил Левон.

— Ничего... теленок вот только мытится, что ли,— не пойму... пойло пьет плохо...

— Продала бы ты его поскорей от греха.

— Дают-то больно дешево... Был надысь Елкин, Иван Емельяныч, давал три с четвертью, а я пять прошу.

— Отдавала бы...

Они замолчали, не зная, что говорить, и обоим им было как-то неловко, как будто чего-то совестно.

— А я вот тебе лепешек испекла,— сказала Агафья, доставая из-за пазухи узелок,— с творогом... ты, я знаю, любишь... Может, поешь домашних-то?..

— Сыт я,— сказал Левон.— Напрасно... харчи здесь хорошие... Кусок-то в глотку не идет... тоска... смерть... хочь в удаву полезай... ночи не сплю...

— Думаешь все небось,— потупившись, вымолвила Агафья,— бросил бы ты это... пора уж...

Левон промолчал.

— К доктору нешто мне зайтить,— сказала она,— узнать у него?.. Что скажет, а? Можно? Не заругает?

— Что ж, сходи.

Они опять замолчали, и опять им стало неловко.

— Ну, прощай,— сказала, вставая, Агафья,— пойду я полегоньку... Спирька-то тамотка один с бабушкой, с Дарьей... Приду опять скоро... Не надо ль тебе чего — принесу... табак-то есь ли?..

— Есь... ничего не надо... Вот только Спирьку приведи с собой... заложь лошадь — приезжай... Чего тебе пешком-то трепаться?.. Любишь ты пешком-то... вот и тогда...

Он вдруг спохватился, замолчал и, нагнувшись, поправил на ноге чулок.

— К доктору-то зайдешь? — спросил он.

— А где мне его сыскать-то?

— Спроси тамотка внизу... укажут...

— Прощай!.. Пойду я...

— С богом,— ответил Левон, не глядя на нее...

Она спустилась по лестнице вниз и, узнав, где доктор, прошла к нему.

— Ты что? — спросил доктор и сейчас же, узнав ее, воскликнул: — А, это ты... насчет небось мужа? Ничего... поправим... не бойся... пустяки... работник у тебя будет!

— А как, барин хороший,— робко спросила она,— пальцы-то целы будут?

— Пальцы-то?.. гм! Пальцы-то? — повторил он, глядя на нее поверх очков.— Придется ему, любезная, три пальчика отнять...

— Отнять? — переспросила Агафья.

Доктор пожал плечами.

— Ничего не поделаешь,— сказал он.— Вот эти пальцы,— показал он на своей руке какие.— Два по сих пор напрочь, а этот — по сих... Два, значит, с половиной останутся... Работать можно!

— А долго они не заживут-то?

Доктор опять пожал плечами.

— А уж этого, матушка, не знаю... как дело пойдет... Не скоро все-таки.

Агафья заплакала.

— Да уж плачь, не плачь,— поморщившись, сказал доктор,— ничего не поделаешь. Много детей-то у тебя?

— Нету... один только.

— Ну, ничего, не горюй... Вот кабы правую руку, да совсем напрочь пришлось отмахнуть, ну, тогда действительно, а это не велика беда, работать может, да и наука ему: пить, глядишь, перестанет.

— Где, чай, перестанет? Не перестанет! Дай-то, царица небесная, матушка!

— Перестанет! — успокоительно сказал добродушный и веселый доктор.— Ступай с богом... приходи, проведывай его почаще — ему веселей.— И когда Агафья, поклонившись ему чуть ли не до земли, вышла за дверь, сказал, обращаясь к сидевшей за столом и что-то писавшей на листках хорошенькой барышне: — Скверная у него штука... долго проваляется мужик... Эх-хе-хе,— добавил он, закуривая папироску: — Мать российская держава, силы много, толку мало белому царю!..

XVIII

Через несколько дней Левону сделали операцию. Его, как сильно пившего, долго не могли усыпить. Когда же он, наконец, уснул, то сейчас же принялся ругаться, как-то необыкновенно часто и громко выкрикивая отвратительные слова.

Проснулся он, чувствуя страшную головную боль и горечь во рту. Первую минуту он не понимал, где он и что с ним. Когда же пришел в себя и понял и, взглянув на забинтованную руку, услыхал ноющую боль, ему стало невыносимо грустно.

— Что, родной,— спросил черный сосед, похожий на цыгана,— отмахнули? Я говорил: отмахнет. Мастак на это. Я говорил: ему кобыл драть. Больно было?

— Нет... не слыхал.

— Отмахнули,— опять повторил сосед,— гм... другие не приставить... Плохо твое дело... Н-да! А все она, все молодка в красном полушалке дело делает... не умеем мы ее пить... Плохо дело!

Левон лег на койку, укрылся одеялом с головой и потихоньку, про себя, заплакал...

Леченье затянулось надолго. Появились какие-то осложнения, и дело пошло в оттяжку.

Левон похудел, осунулся и от безделья, от всей этой больничной обстановки, от бессонных ночей, от дум тосковал и мучился.

Агафья первое время навещала его часто, а потом стала делать это все реже.

— Что долго не шла? — спрашивал иногда ее Левон.— Недосуг, что ли? Каки-таки у тебя дела?

Агафья молчала на это и как-то испуганно-торопливо опускала глаза и молча, согнувшись, сидела на койке, тоже страшно похудевшая, постаревшая, с какими-то желтыми пятнами на щеках и мешками под глазами...

Прошло три месяца, а Левон все еще лежал в больнице, и рука все еще не заживала, и доктор, когда он спрашивал у него, скоро ли, говорил:

— Погоди... успеешь... скоро теперь.

— Уж очинно скучно, ваше благородие, надоело.

— Мало что, милый друг, надоело... ничего не поделаешь... терпи... скоро выпущу... вот после пасхи... прямо пахать...

В марте, в самое благовещенье, Левона пришла вместе со Спирькой навестить Агафья.

День был чудесный, теплый и солнечный. В палате было жарко. В большое итальянское окно лились целыми потоками какие-то радостные, какие-то новые, теплые, ласковые лучи солнца.

— Разденься,— сказал Левон жене, лаская Спирьку,— чего это ты укуталась, словно мороз сто градусов? Жарко!

— Ничего... я так посижу... все едино...

— Не велит доктор одемшись-то... велит раздемшись... скидай одежу-то... positive положь вон пока под койку...

— Да не надоть,— опять сказала Агафья,— я так...

— Да что ты, дура, боишься?.. Раздевайся! Неловко так-то, ишь жарища, как в бане... чего тебе греть-то... раздевайся... сымай... посиди... торопиться-то некуда... скоро чаем поить будут... Спирька мою кружку пущай пьет.. Раздевайся. Скука тутотка лежать-то... лежишь, лежишь — смерть!

Агафья как-то нехотя, точно ей было необыкновенно трудно делать, не глядя на мужа, сняла с себя верхнюю теплую одежду и осталась в одном платье.

— Чего раздеваться-то? — сказала она.— Я бы и так... мне не жарко.

Она наклонилась, стоя к нему боком, и стала подпихивать под койку снятую одежду. Левон посмотрел на нее, и вдруг его точно кто-то ударил по голове так, что у него помутилось в глазах и захватило дыхание.

— Ты,— едва переводя дыхание, шепотом сказал он,— никак с прибылью?

— Что ты? — так же шепотом сказала Агафья.— Нет... я... ничего.

Она села на край койки и, наклонив голову, заплакала.

— Что ж ты не сказывала-то? — глухо вымолвил Левон, чувствуя, как острая, жгучая боль схватила его за сердце так, что ему стало трудно дышать.

Агафья молчала, потом едва слышно сказала:

— Думала, все так, мол. Сама себе не верила... Как говорить-то?.. Нешто мне сладко?..

— Что ж теперича, как же? — спросил Левон.

— Не знаю,— ответила она и еще ниже нагнулась.— Не знаю,— повторила она,— измучилась я... легче бы из меня жилы тянули, ничем это... прости, Христа ради!

— Бог простит! — сказал он, кривя усмешкой рот.— Спасибо тебе! Уважила вот как, по самое горло... Эх, Агафья!.. Руку вот из-за тебя потерял... Что ты со мной сделала?.. Убила ты меня... зарезала без ножа...

Агафья молчала.

— Ступай,— сказал он, тоже помолчав,— чего ж сидеть-то?

И, видя, что она не двигается, сердито и твердо, каким-то страшным шепотом, оглянувшись по сторонам, добавил:

— Ступай, сволочь, с глаз моих долой!.. Погоди, повешу я тебя и твоего... Ох!..

Агафья молча, не глядя на него, какая-то необыкновенно жалкая, худая, точно избитая бродячая собака, нагнулась, достала из-под койки одежду, надела ее на себя и, взяв за руку Спирьку, сказала:

— Пойдем, сынок, домой... время... пора... простись с отцом-то...

— Не надыть,— махнув рукой, сказал Левон.— Ну вас!

И сейчас же, не дожидаясь, когда они уйдут, лег на койку и, уткнувшись в подушку, закрылся сверху одеялом.

XIX

Всю дорогу из больницы домой Агафья плакала. Какой-то необыкновенный страх напал на нее. Она с ужасом представляла себе картину, как придет ей время родить...

— Господи, в самую рабочую пору!.. Беда-то какая...

— Господи, помилуй! Господи, помилуй! — шептала она про себя, идя позади Спирьки,— что ж тогда будет-то? Что с *ним* тогда делать-то?

То, что она затяжелела, она знала с первого же месяца после *того,* но не верила сама себе и утешала себя обычным: «авось, мол, неправда, авось, мол, бог даст, как-нибудь обойдется». Когда же она совсем уверилась, когда уже в этом не было никакого сомнения, она ужаснулась тем последствиям, которые произойдут от этого, и стала редко и на самое короткое время посещать мужа, стараясь надеть на себя что-нибудь попросторнее, пошире, чтобы не было заметно.

От постоянного страха, от бессонницы, от дум, чувствуя постоянно в самой себе то, чего она не хотела, чего пуще всего боялась, она вся извелась, сделалась черней грязи и стала напоминать своим видом помешанную, какую-то кликушу...

Когда же еще до «второй половины» она почувствовала, что *он* потихоньку толкает ее в бок и точно говорит этим: «вот он я... здесь... жив», на нее напала какая-то оторопь, какой-то необычайный ужас, и ей стало казаться, что там у нее толкается не ребенок, а что-то другое, нечистое и страшное, и ее, когда она лежала по ночам на печке или около Спирьки на полу, терзала мучительно, настойчиво, неотступно страшная, пришедшая ей давно в голову мысль: как бы избавиться от *него,* как бы уничтожить *его,* как бы сделать так, чтобы освободиться от *него* до прихода из больницы мужа.

Как надо сделать это, она не знала. Спросить, узнать у кого-нибудь — нельзя. «А тебе, скажут, на что это знать? Аль сама хочешь так сделать?»

Слыхала она, что бывают выкидыши от тяжелых подъемов, оттого, что ежели вот спрыгнешь откуда-нибудь.

Она старалась поднимать все, что ей не под силу, все тяжелое... огромный ушат воды за ушки, огромную вязанку сена...

Но ничего не помогало. *Он* стучал все чаще и сильнее и настойчиво говорил:

«Вот он я... здесь... жив!..»

Тогда она принялась за другое: принялась за прыганье.

Проделывала она это обыкновенно поздно вечером, когда уже давно засыпал Спирька и когда на деревне погасли огни, все ложились спать и делалось тихо.

Она зажигала фонарь, выходила на двор, плотно прихлопнув за собой дверь, вешала фонарь на нарочно вбитый для этого в столбе гвоздь и с каким-то страхом, пугливо оглядываясь и прислушиваясь, приставляла с высоколежавшего, накопившегося за зиму навоза к переводу лесенку, лезла по ней на этот перевод и прыгала с него вниз...

При слабом, трепетном свете фонаря, освещавшем не весь двор, а только небольшой круг посредине, с какими-то удивительно таинственно и мрачно ложившимися трепетными от этого слабого света тенями, от мрака, стоявшего по углам, она, делавшая свое безумное дело, была необыкновенно страшна, как какая-нибудь сказочная колдунья, проделывающая что-то дикое, невероятно страшное.

В полосу света, выставив свою рыжую с белым пятном на лбу голову, глядела на нее большими, мокрыми глазами корова, которая как-то задумчиво пережевывала жвачку и шумно вздыхала.

В углу, в огороженном месте, жались друг к дружке, таращa на свет глаза и топоча ногами, испуганные, любопытные овцы.

Каждый раз, забравшись на перевод, прежде чем прыгнуть, Агафья крестилась и шептала: «Господи, благослови», и тогда уже прыгала.

А *он* через самое короткое время, точно угадывая ее мысли, стукался и говорил ей этим свое обычное:

«Вот он я... жив!..»

XX

После пасхи, в апреле, на Фоминой, когда сошел весь снег, когда прошли говорливые полые вешние воды, когда прилетели журавли и стояли необыкновенно теплые, солнечные дни, выписался из больницы Левон и пришел домой.

В больнице он похудел, оброс, сделался угрюмым и глядел волком.

В последний раз Агафья была у него в больнице в благовещенье и с тех пор, даже и на пасхе, не была там.

Приход домой не вызвал в нем никакой радости. Напротив, все ему стало казаться как будто каким-то не своим, ненужным и совсем неинтересным.

Да и хозяйство за все это время, пока он «гулял» до больницы, пока лежал в больнице, опустилось, и все — и двор, и стройка, и скотина,— все глядело убого, худо, бедно, печально.

Сама Агафья ходила, как помешанная, и пугала своим видом. Она избегала мужа, и он избегал ее.

Он не мог равнодушно и спокойно видеть ее огромный теперь живот, и весь содрогался, и холодел, и скрипел зубами от муки, видя ее в таком положении...

После Фоминой, на «жен-мироносицкой», в понедельник выехали пахать. Выехал и Левон.

Погода стояла чудесная — теплая, солнечная. От земли шел пар, и она точно дышала.

Весело и радостно было в поле.

— В борозду! Ближе, ближе! — кричали на лошадей пахавшие на своих полосах мужики.

За плугом, по только что отвороченным пластам земли, ходили белоносые грачи, вороны, галки, скворцы, собирая червей. В воздухе заливались жаворонки и иногда высоко пролетали журавли... Все было радостно, весело и ново.

Нерадостен был только Левон, и невесело у него было на душе. Черная, злая мысль, жгучая и нестерпимая, сверлила его мозг.

«Пашу вот,— думал он, идя за плугом и мало обращая внимания на лошадь,— а для кого?.. Родит вот скоро какого-нибудь... тоже мальчишку... Что ты станешь с ним делать? Мой... законный... расти его... хлеб жрать будет... тятькой звать будет... вырастет, его часть не умершая — отдай!.. Корми его, старайся, ворочай... Тятькой звать будет,— повторил он и ожесточенно хлестнул лошадь.— Удушить его, чертенка, боле никаких... На кой он мне!..»

Приехав домой после работы и усевшись за стол хлебать щи, которые подала ему Агафья, он вдруг, совершенно неожиданно для нее, спросил:

— Скоро ль у тебя эта-то?

У Агафьи опустились руки от страха, и она едва слышно произнесла:

— Должно, еще не скоро... к Илье к пророку, надо быть... по моему-то счету...

— Ло-о-овко! — протянул Левон.— На самую, значит, на рабочую пору... И черт тебя понес тогда, прости ты меня, господи, не за столом будь сказано, загорелось!..

— Куда его деть-то? — спросил он, помолчав и глядя на нее.

— Не знаю,— чуть слышно отозвалась Агафья.

— Ты бы как-нибудь того...— начал он и запутался.

— Пробала,— опять так же тихо сказала Агафья.

— Пробала? — точно так же тихо и чему-то обрадовавшись, переспросил он.— Ну?

— Нету пользы... Уж я чиво ни делала... и так, и сяк... и поднимала-то тижало, и с переводу-то на дворе прыгала... Нешто мне сладко?.. А грех-то какой, господи! На том-то на свете мне за это что будет!.. Нешто *он,* ежели по правде говорить, виноват?.. Не он вить меня нашел...

— А кто же... Жалко?!

— Кабы жалко, не делала б этого... так я говорю, а уж ты взаправду... Сладко мне?.. Може, бо даст... жить не будет...

— Ну, это неизвестно,— сказал он.— А только вот что я тебе скажу, Агафья, не нужен он мне... не надоть! Куда хошь девай!

— Да куда ж я его?.. Господи!..

— Куда?..— сказал он и, не договорив того, что хотел сказать и что она поняла сразу, посмотрел ей в глаза.

— А грех-то? — сказала она и вся похолодела.— На том-то свете...

— Боли греха будет, коли оставишь,— сказал он и, не дохлебав щей, вылез из-за стола и вышел из избы, куда-то на улицу...

XXI

С этого разу каждый день, при всяком удобном случае, он говорил ей или даже не говорил, а только смотрел исподлобья какими-то разбойничьими, как она ду-

мала про себя, глазами на нее, а она понимала, что это значит.

Выйдя из больницы, он совсем почти перестал пить, меньше стал ругаться и не трогал жену пальцем.

Но Агафье от этого было не легче, ибо он вместо битья и ругани взял моду изводить ее словами.

— Ну, как, скоро ли? — говорил он и зло смеялся.— Надоело! Куды его денешь-то?.. Мне не надо...

И по мере того как время подходило, он делался все ядовитее.

— Что же ты?! Должно быть, язычком только трепать мы умеем, а самой жалко...

— Господи Суси!.. Нешто я виновата? Вот погоди, придет час,— делай в те поры, что хошь... хошь топи, хошь дави...

— Стану я душу сквернить из-за всякого, прости господи, чертенка... Твой небось... твое чадо... ты и делай!..

— Я небось тоже хрещеная... За него тоже ответ дать господу на том свете... нешто он виновен?.. Така же андельска душка безгрешная...

— А, жалко стало! «Андельска душка»! Погоди, повешу я тебе эту андельскую душку на шею, дай только твоему часу-то прийти... Что-то больно долго не идет он, час-то твой этот... Придушить, да и вся недолга... Жалость пришла... должно, угодил тот-то... О-о-о, дери тебя черт и с ним-то! Задушу! Обоих задушу.

— Взял да придушил... О господи Суси, скоро ли конец-то мучению-то моему? Взаправду уж придушил бы, легче бы мне было, ничем измываться-то... Измучил ты меня... извел! На кого я стала похожа-то? Ни на эстолько вот у тебя ко мне жалости нету... Зверь ты!..

— А ты кто? А ты что со мной сделала?.. Мне-то сладко?.. Эва она культяпка-то... по чьей милости, а? Меня вон ручкиным стали звать...

— О господи Суси! — воскликнула с плачем Агафья.— Скоро ли конец-то этому? Господи, царь небесный, смилуйся, развяжи грех! Скоро ли конец-то?.. Скоро ли конец-то муке-то моей мученской? О царица небесная, матушка, за что я такоича таку скорбь несу?.. За каки-таки грехи наказал меня батюшка царь небесный?.. Ой, скоро ли конец-то? Ой, скоро ли он придет-то?! Ба-а-тюшки! Ро-о-о-димые!..

XXII

Пришел конец.

Пришел он после Петрова, в июле, под самую Казанскую.

Дело было ночью. В избе, где было и душно и жарко, лежала только одна Агафья. Спирька уехал с вечера с ребятишками в ночное, а Левон спал в сенцах за дверью, на холодке.

Еще давеча, днем, после обеда, убирая с мужем на усадьбе сено, таская его на носилках огромными скирдами в сарай, почувствовала она, что ее час подошел, но, испугавшись, промолчала и с огромными усилиями, стиснув зубы, таскала скирды...

Левон нарочно складывал скирды как можно больше и «запрягал» жену вперед, думая, что «авось, мол, с натуги-то не сделается ли ей что», и понукал ее, покрикивая, как на лошадь.

— Но, но, небось!.. Ишь ты, барыня! Аль тяжело?..

Задыхаясь, с трясущимися руками и ногами, вся желтая, с глазами, в которых стояли какая-то боль и ужас, таскала она скирды, слыша, как стучит в груди сердце и как стучит в голове настойчиво, как-то болезненно-однообразно и мучительно, все одно и то же: «Теперь скоро! теперь скоро! теперь скоро!» Легла она не поужинав и не стала собирать Левону.

Он покосился на нее и, усмехнувшись, сказал:

— Что, аль никак кончик подходит?

— Подходит,— ответила Агафья,— радуйся! Может, бог даст, подохну... тебе развязка... Ищи тогды другую, хорошую...

Левон собрал сам себе поужинать, поел и ушел в сенцы...

Вскоре после его ухода Агафья почувствовала первую схватку и, вся похолодев от испуга и боли, стиснула зубы и только как-то зашипела сквозь зубы, точно засвистела...

«Баушку бы надыть,— мелькнуло у нее в голове,— как же так-то, господи?.. Умру... смерть моя... о-о-о!..»

Немного погодя схватка повторилась с удвоенной силой. Агафья еще пуще испугалась и, не вытерпев, закричала:

Левон услыхал и босиком, в одной рубашке, соскочил с досок, на которых спал, и на цыпочках побежал в избу.

— Что ты? — шепотом спросил он.

— Час мой приспел... баушку бы... Кончик мой... О-о-о! О-о-о! Левон... ба-а-тюшка!

— Тише ты... не кричи! — испугавшись чего-то и весь вдруг начиная трястись, сказал он.— Не надыть баушку... так ты... авось... Где теперича ее?.. Дело ночное... не кричи ты шибко-то...

— О-о-о-ох! Смерть моя! Родимые, смерть моя! — завопила вдруг Агафья от нестерпимой охватившей ее боли.— Ох, Левонушка, батюшка, умираю, смерть моя... кончик мой!.. Вздуй хочь лампадку-то, догадайся... Злодей ты эдакий! Му-учитель!

Левон, суетясь, тыкаясь по избе, испуганный и не перестающий трястись, нашел где-то спички и вздул лампаду.

— Кончик мой, умираю! — вопила Агафья.— Без покаянья... без попа... ба-а-а-тюшки! Родимые!..

— А ты не ори шибко... скрепись,— опять сказал Левон.— Терпи... не первый снег на голову... авось, обойдется... сама вин...

Но, взглянув на нее при слабом свете лампадки, он не договорил того, что хотел сказать, и замолчал.

Стаканчик в лампадке, где горело масло, был цветной, желтый.

Агафья то замолкала на минуту, то снова выла, а свет от желтого стаканчика падал прямо на нее, и лицо у нее, без того желтое, выглядело теперь еще желтее и было страшно.

Левону жутко было глядеть на жену, и он отошел за переборку к печке и встал там, не зная, что делать.

Агафья то замолкала на минуту, то снова сейчас же еще громче выла, стонала и кричала.

Под утро она совсем выбилась из сил и металась по полу, страшная, растрепанная, с перекосившимися синими губами, кусающая сама себе руки, рвущая космы своих волос...

— О-о-о-ой! — стонала она.— Смерть пришла... Дождался... о-о-ох! Левон... Лево-о-нушка!..

Но Левона уже около нее не было. Он не вытерпел и ушел из избы за дверь, в сенцы на мост, и стоял там, слушая ее стоны, и поджидал.

— Скоро ли? — шептал он, трясясь от внутреннего волнения.— Скореича бы... ишь вопит... свет скоро... вон уж бело стало... народ встанет... Ах, провались ты совсем, как вопит! Не двойни ли грешным делом бог дает?.. Не померла бы!.. Долго что-то... Не стронула ли?..— проговорил и весь как-то притаился, присел на корточки и замер, слушая...

В избе раздался вдруг какой-то удивительный по своему страданию вопль, и вслед за ним сейчас же настала тишина, и в этой тишине напряженный слух Левона разобрал какой-то слабый писк, похожий на писк мышонка.

— Готова! — сказал он, похолодев.— Простил бог... Что же теперича?!

Он приотворил дверь и на цыпочках, крадучись, как вор, вошел в избу.

В окна с улицы глядел уже слабый свет начинающегося утра и, перемешавшись со светом лампадки, тускло и как-то необыкновенно странно, точно нехотя и с испугом, освещал избу...

— Агафья! — окликнул потихоньку Левон.— А, Агафья!.. Что ты?.. Как?

Агафья молчала. Она лежала навзничь, раскидав руки, с открытым ртом, и не шевелилась.

У ног ее на сбитой, скомканной дерюжине копошилось что-то и тихонько и слабо пищало...

— Агафья... матушка! — шепотом и со слезами в голосе, чувствуя какую-то необыкновенную слабость во всем теле, опять окликнул ее Левон.

Она все молчала.

Тогда он, крадучись, как охотник на тетерева, подошел к ней, нагнулся и взял ее руку.

Взял и сейчас же бросил. Рука была, как плеть, неподвижная, холодная, неживая, страшная.

— Обмерла,— прошептал он, чувствуя невыразимый ужас в душе.— Очнется, бо даст... ничего...

И встав около ее головы на колени, нагнулся и заглянул ей в лицо.

Прямо на него, почти в упор, глядели, ничего не видя, большие, широкооткрытые, вышедшие из орбит глаза, а разинутый рот, с ощеренными зубами и с пеною по углам, точно смеялся.

— Агафья... Агафьюшка,— не веря тому, чему нельзя было не верить, заговорил Левон.— Что ты это?..

Опомнись!.. Будет тебе пугать-то, а? Агафья... слышь, что ли?..

Она молчала, не двигалась, а вместо ее у нее в ногах что-то запищало опять тихонько и жалобно и закопошилось.

У Левона упало сердце, и он потихоньку, как зверь, на четвереньках переполз от Агафьиной головы к ногам, туда, где пищало и копошилось это что-то...

Он увидел маленькое, как комочек, как какая-то куколка с ножками, с ручками, с головкой, шевелившееся, издающее писк тельце и, протянув руку, схватил его сначала, было за головку, но сейчас же, проведя рукой по чему-то теплому, нащупал что-то тоненькое и скользкое и изо всей силы давнул...

Что-то, как ему послышалось, как будто слабо хрустнуло у него под рукой, точно сучок переломился, и он, вдруг поняв, какое зло сделал, вскочил и, не помня себя, охваченный ужасом и еще чем-то большим ужаса, побежал из избы на улицу.

На улице было светло, и на востоке горела красная, как кровь, заря.

Прямо ему навстречу около избы попался едущий верхом из ночного Спирька.

— Тятька, куда ты? — крикнул он.— Куда ты таку рань раздевшись-то?..

Левон не слыхал и, махая руками, точно ловя что-то, побежал вдоль деревни вниз, под гору...

1909

Забытые

I

Столяр Иван Захарыч Даенкин проснулся часов в пять утра и лежал молча, скорчившись под своим рваным пальто, на полу, боясь пошевелиться, чтобы не побеспокоить жену, спавшую с двумя девочками в углу на кровати.

Все нутро у Ивана Захарыча горело... Во рту было сухо, под ложечкой ныло и тошнило, в голове стоял трезвон в маленькие колокола, сердце, как испорченные часы, то вдруг начинало ходить так шибко, что Иван Захарыч ясно слышал его частые с перебоями удары: «тук-тук, тук-тук!» — то вдруг замолкало, отчего Ивану Захарычу становилось жутко...

Ему страшно хотелось пить, но он боялся встать и сходить к печке, где стояли ведра с водой, потому что дорога к этим ведрам вела как раз мимо кровати, на которой спала жена. А разбудить ее Иван Захарыч не хотел, так как сознавал, что виноват и что ему «пропишут по первое число».

«Покурить бы!» — тоскливо думал он и, зная, что этого тоже сделать нельзя, начинал шептать про себя молитву Ефрема Сирина: «Господи, владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не даждь ми».

За окнами стояла непроглядная тьма... Время было глухое, ноябрь... Ивану Захарычу слышно было, как,

жалобно воя, какими-то порывами, от которых содрогался его домишко, дул ветер и по стеклам часто и громко барабанил дождь. В сенцах, за дверью, жалобно, точно новорожденный ребенок, мяукала кошка и царапала рогожку, которой была обита дверь. На дворе хрипло, отрывисто несколько раз крикнул петух и жалобно промычала проголодавшаяся за долгую ночь корова...

— Господи, владыко живота моего! — с тоской опять зашептал Иван Захарыч и потихоньку перевернулся на другой бок.— «А на улице-то что делается! — прислушиваясь со страхом к вою ветра и стуку дождя, думал он.— Зальет теперь нас... Зима скоро, холода пойдут, а у нас дров нет... На все дороговизна. О господи, владыко живота моего... Что делать? Как жить бедному человеку?.. Вон они лежат,— корми их... Не они нас нашли, а мы их...»

Эти «вон они» были дети Ивана Захарыча, четверо: две девочки, спавшие с матерью на кровати, да два мальчика, лежавшие, как и Иван Захарыч, на полу, на этот раз немного поодаль от него, чтобы он ночью в пьяном виде не задрыгал их ногами...

Дети сбросили с себя во сне одеяло; один лежал навзничь, раскинув руки, другой, вероятно озябнув, свернулся, как еж...

Тот, который лежал навзничь, хрипел и, часто просыпаясь, кашлял каким-то странным кашлем, удивительно похожим на лай щенка.

Сам Иван Захарыч лежал на голом полу, а в головах у него вместо подушки были брошены старые, с оторванными стельками валенки, от которых разило прелью...

— Ишь, стерва,— шептал про себя Иван Захарыч, перевертываясь с боку на бок,— что бы, кажись, стоило подослать что-нибудь... Валяйся вот тут, как сукин сын, на голом полу, а ведь я как-никак хозяин... О господи, владыко живота моего... похмелиться бы хорошо... Н-да!..

На кровати зашевелилась жена и вдруг принялась кашлять... Иван Захарыч закрыл глаза и стал храпеть, притворяясь спящим...

Жена долго кашляла лежа, потом села и, согнувшись, худая и страшная, продолжала кашлять, тщетно стараясь отхаркнуть мокроту. Иван Захарыч слушал. Ему было противно и страшно.

«Вот,— думал он,— ишь ты... Да ну, скоро ли! О господи, владыко живота моего... Заест она меня теперь...»

Он вдруг неожиданно громко чихнул и испугался.

С кровати сейчас же, прерываемый кашлем, раздался звонкий, озлобленный голос жены:

— Пра-а-снулся, гулена!.. Черт тебя задави, злая рота!.. Пьяница окаянная... разбойник Чуркин...

Иван Захарыч молчал и опять начал храпеть, притворяясь спящим.

«Лайся, стерва... полаешь — отстанешь,— думал он.— Ишь тебя, черта, схватывает, щука зубастая!.. Что я такое за преступленье сделал?.. Украл, что ли? Убил кого?.. Вот жисть-то нажил,— выпить бойся... О господи, владыко живота моего!..»

— Я-то, дура, рвусь!.. Я-то, дура, рвусь! — несся между тем с кровати пронзительно-тонкий с переливами голос,— думаю: ка-а-ак бы лучше, ка-а-ак бы лучше... а он — на-ка — гроша доверить нельзя... все на глотку, все на глотку, и не захлебнется, окаянный, не подавится, мошенник, не обопьется, сукин сын... Политуру, сволочь ты эдакая, останную — и тае выжрал... Как берегла пузырек — нашел!.. Чем ты теперича етажерку-то Василь Петровичу полировать станешь, а?.. Мошенник ты, мошенник!.. За этим ты меня брал, чтобы мучить, измываться надо мной? Аль я тебе кака досталась... чашу-то с тобой пить, а?..

Как же,— точно обращаясь еще к какому-то невидимому слушателю, воскликнула она,— собрался, как и путный!.. «Надо, гыт, шкаф свезть... велено к спеху, ждут... Получу за работу деньги, взять чего не надо ль из лавки, захвачу... Чай-то, гыт, с сахаром есть ли?.. Тебе лимончик принесу, знаю: любишь с чайком...» Поет, милые вы мои, как канарейка... А мне и невдомек... Замстило словно бельмы-то дымом, и не пойму сдуру, что он это с политуры распелся, политуру выжрал!.. Да и придет ли, милые, в голову?.. «Что ж, говорю, свези, коли велели,— нам деньги нужны...» Он и рад,— обманул дуру... Схватил дипломат — марш за подводой... Нанял какого-то лешмана косматого, пьяницу такого же, должно быть... Выволокли вдвоем шкаф, завалили на телегу, сами сели, по-о-ехали!.. «Ты, говорю, смотри, не долго там...» — «Ну вот, гыт, что мне там, телиться, что ли?»

У, дьявол! — злобно погрозив кулаком на то место, где лежал Иван Захарыч, воскликнула жена и опять продолжала, обращаясь к невидимому слушателю: — Час прошел, и другой прошел — нету! «Ну, думаю себе, задержали, не сразу отдадут, то да се». Жду... третий прошел, нету! Обед время,— нету! Полезла в угольник за чем-то... хвать — пузырька-то с политурой и нету!.. Я туды, я сюды... пропал. Тут меня и осенило!..

Она помолчала, повозилась на кровати и опять продолжала:

— Тут уж поняла я: завыли теперича денежки! Что получит за работу — прожрет на винище. Так и вышло... так и вышло по-моему... Дело к вечеру, а его все нету... «Гришка, говорю, сбегай в трактир к Конычу, погляди — не там ли отец?..» Прибегает назад... «Ну, что, там?..» — «Там».— «Пьяный?» — «Пьяный, распьяный!.. Стоит, гыт, у стола посередь трактира, кричит про Думу что-то... Домой звал я его, не идет... Ступай сама...»

Она опять помолчала и потом заговорила, обращаясь уже прямо к Ивану Захарычу, который попрежнему притворялся спящим и повторял про себя шепотом одно слово: «Стерва!..»

— Дьявол ты косматый, пьянчуга! Тебе ли уж про Думу говорить... думщик какой, подумаешь, а? Надоел, проклятый!.. Дума, Дума! Для нас она с тобой, что ли, а? Про нас и думать-то позабыли... Кому мы нужны?.. А он с Думой... Твоя Дума вон лежит... Думай, как кормить... Чего молчишь-то, дьявол, арапа-то корчишь, а?..

— Хима! — делая вид, что только что проснулся, необыкновенно кротким и нежным голосом заговорил Иван Захарыч,— ты это меня, что ли, спрашиваешь?

— Что-о-о? — злобным шепотом, тараща глаза, спросила жена.— Какая я тебе Хима?.. Ах ты, косматый черт... пьянчуга... я те такую Химу дам!..

— Стерва! — шепчет Иван Захарыч и опять так же кротко и нежно, с дрожью в голосе, говорит: — Что это ты?.. Господь с тобой! За что?..

— За что?..— злобно передразнивает его жена.— За что?.. Где деньги, а? Где? Прожрал! А дети не емши...

— Хима! — приподнимаясь и садясь на полу, говорит Иван Захарыч, прижимая левую руку к тому месту, где у него сердце.— Хима... истинный господь, один полтин-

ник... один разъединый полтинник только всего и дали... «После, говорят, приходи, а теперь денег нет...» Один полтинник!.. Затащили меня в трактир; я было упирался, не хотел... Все писарь, Сысой Петров, дери его черт!.. Не отвяжешься, хоть ты что хошь! Ну, я и того...

— Вре-е-ешь!.. Все пропил...

— Хима!..

— Вре-е-ешь! Это вы все на один полтинник налопались, а?.. Ты деньгами-то швыряешься... вон Гришка-то, он видел... Что ты там орал?.. Чего тебе Дума-то далась, а?.. Ты бы, мошенник, про жену с детьми думал, а не про Думу... Надоел всем, смеяться стали... Вон намедни сапожник Платоныч говорит: «Что, гыт, твово в епутаты не избрали еще?» Профессор какой, подумаешь!

— Хима, ты не понимаешь... обидно, обидно, Хима! Что ж это такое значит, почему наше сословье мещанское позабыли?.. Про всех говорят, всем облегченье хотят сделать, а нам ни фига, а? А у меня тоже дети. Что же мы, не люди, что ли?.. Обидно! Вот я про что... Прав я своих йщу... Человек я или как по-твоему?..

Жена молчит, потом вдруг принимается плакать... Ее плач похож на лай старой, охрипшей собаки... От этого плача в комнатке делается как-то сразу еще печальнее и страшнее. Все предметы, находящиеся в ней,— старый на боку комод, шкафчик с посудой, табуретка, стол, маленькие, глядящие в тьму оконца, верстак, висящие на стене часишки, бойко выговаривающие: «плохо, плохо! плохо, плохо!», подвешенное для просушки под потолком на веревке белье, ведра в углу, печка, ухваты, покрытый дерюгой сундук — все это стоит и лежит, как будто ожидая одного: «дайте поесть...»

— Я-то жду, я-то жду! — начинает снова, не переставая плакать, жена,— все сердце изорвалось, а он, на-ка, и думать-то забыл... Тятя детям тоже... Как, дескать, они там, вспомнил бы! О господи, царица небесная...

Она спускается с кровати и в короткой, почти по колено, рубашке, высокая и худая, идет, твердо ступая по полу голыми, без икр, похожими на палки ногами к «святым иконам» оправить фитиль в погасающей лампадке.

Иван Захарыч глядит на нее, на ее тонкие, голые, палкообразные ноги, на ее испитое, желтое, освещенное трепетным светом лампадки лицо, на длинный с горбин-

кой нос, на черные большие зубы, на отвислую, как у старого мерина, нижнюю губу, и, стараясь быть ласковым, говорит:

— Хима... ты бы того, умыла руки-то... Неловко прямо с постели да за святыню...

— А что ж у меня руки-то, поганые, что ли?..

— Все-таки... сполоснула бы...

— Рыло свое ополаскивай! — злобно говорит она.— Пьянчуга! Шесть часов, а он лежит, развалился, как барин... Корова вон орет... жрать просит... Мне, что ли, идти давать-то ей?.. Лодырь!..

— Темно еще на улице-то, Хима,— говорит Иван Захарыч,— я бы давно встал, да думаю себе: «Керосин жечь жалко... он ведь пять копеечек фунтик... н-дас!»

— Ах ты, еканом! — восклицает жена.— Съеканомил домок в ореховую скорлупу... На водку рубли летят, не жалко, а тут вишь на керосине нагоняет... Вставай, чего на дороге-то валяешься, как падаль?.. Протушил небось всю комнату.

Иван Захарыч молча встает и идет к ведрам пить воду. Он пьет долго и жадно, так как нутро у него горит, во рту пересохло, и весь он точно какой-то расслабленный, больной, которого от слабости кидает по сторонам.

— Похмелись! — язвительно кривя свои тонкие губы, говорит жена...

«Стерва!» — думает про себя Иван Захарыч и начинает обуваться. Сапоги заскорузли и не лезут на ногу.

— Помазать бы, что ли,— говорит он, чувствуя, как от усилий натянуть их у него кружится и трещит голова.— Деготьком бы махнуть...

— А ты припас его?.. У ребят вот сапожонки с ног ползут... Я хуже последней нищенки хожу... Му-у-уж,— презрительно тянет она,— жене на полсапожки не добудет...

«Стерва!» — опять мысленно про себя повторяет Иван Захарыч.— Где фонарь-то? Эдакую рань... эво на дворе-то тьма!.. Лоб разобьешь в потемках... Авось не издохнет корова-то твоя какой-нибудь час подождать до свету. С этих пор сеном кормить — с ума сойдешь...

— Иди, иди, лень перекатная!.. Ишь распелся... учи, с твое-то, диви, не смыслют...

Иван Захарыч надевает картуз, берет фонарь и идет на двор давать корове сена.

II

На дворе темно... Сквозь гнилую крышу льет во многих местах... Где-то в темном углу разговаривают куры. Под навесом направо шумно вздыхает корова...

Иван Захарыч вешает фонарь на гвоздь, подставляет лестницу к переводу и лезет на сушило, где у него лежит сено.

Освещенная фонарем корова просовывает голову между слег и глядит на Ивана Захарыча большими выпуклыми глазами.

— Что... жрать захотела, а? — говорит Иван Захарыч, дергая руками плотно лежащее, утоптанное сено.— Поесть захотела, матушка, а?.. Ну, поешь, поешь... поешь, не бойся... В лугах-то теперича взять нечего... ишь, что делается... Эна дождик-то... А ветер... О господи, владыко живота моего!..

Он слезает с сушила, снимает фонарь и идет по двору к калитке, заглянуть, что делается на улице.

На улице темно... шумит ветер... Падает косой частый дождь пополам со снегом. Свет от фонаря ложится полосой до средины улицы и освещает лужи с водой, непролазную топь, сломанную иву, старый, почерневший, мокрый забор, ткнувшийся вперед и повисший на подпорках, как калека на костылях.

Над городом стоит звон... Звонят к ранней, и этот грустный, точно плачущий звон вместе с порывистым воем ветра действует на Ивана Захарыча самым гнетущим образом. Тоска давит его...

— Господи, владыко живота моего,— каким-то растерзанным голосом говорит он, захлопнув калитку.— Съест она меня нонче, поедом съест... И черт меня, прости ты, господи, угораздил в трактир пойти... Знаю ведь свою нацию... Взять бы, дураку, с собой половинку, и милое бы дело! Нет, на вот — все и оставил... А все этот сволота Чертик со своей Думой... Натявкал я небось там,— на возу не увезешь... О господи, владыко живота моего!

— Скоро ты там? — раздается от двери голос.

— А, черт тебя задави, щука! — шепчет Иван Захарыч и кричит: — А что я тебе?.. Сичас!

— Ходит, дурак, с огнем по двору, сам с собой разговоры ведет,— раздается опять в темноте сердитый

голос.— Спалить, что ли, хочешь стройку-то?.. Неси дров!

— Указчица! — злобно шепчет Иван Захарыч.— У людей, посмотреть, жены — сердце прыгает, а эта — гу-гу-гу! гу-гу-гу!.. Целый божий день дудукает... Ест, собака, жует тебя... И черт меня, прости ты меня, господи, догадал жениться на ней... Лучше бы мне тогда, дураку, в петлю влезть... И как ведь добрые люди отсоветовали: «Не женись, Иван Захарыч, карахтер у нее чертов... мать родную заела, брат из-за нее спился, не доживя веку, в землю пошел... И тебе то же самое будет...» Нет, не послушался, сукин сын!.. За домом погнался, за огородом... А что, вот он, дом-то... гложи его!.. Слава одна,— гнилушки...

— Ты что ж там, телиться, что ли, задумал? — раздается опять сердитый голос.

— Сичас... успеешь! — отзывается Иван Захарыч и, торопливо набрав небольшую охапку тонких осиновых дров, несет домой и бросает их около печки на пол.

— Мало,— говорит жена,— чего тут?.. Похлебку не сварить... Неси еще!..

— Дровишек-то у нас, Хима, маловато...— говорит Иван Захарыч.— Спаси бог, такая погода долго простоит,— дороги-то следу нет... на рынок мужики не возят... Где взять-то?

— А мне хоть роди, да давай! — говорит жена.— Я без дров сидеть не намерена... На водку находишь и дров найдешь...

Иван Захарыч слушает ее и со злостью думает:

«Харкнуть бы вот тебе, сукиной дочери, в харю твою чертову... Тилиснуть бы тебя как следует разок, чтобы кишки наружу полезли, да и бросить замест стервы волкам на приваду!..»

Но это он только думает, а на самом деле виновато и робко говорит:

— Да я так только... конечно, без дров не будем... не топя сидеть нельзя... Сичас я принесу... прибавлю на подкидку... А вода-то у тебя, Хима, есть? А то я схожу принесу...

Жена взглядывает на него сбоку и, кривя тонкие губы в ядовито-злобную усмешку, говорит, покачивая головой:

— Уж и хитер ты, уж и хитер ты, мошенник...

— Хима! — говорит Иван Захарыч, стоически вынося ее взгляд.— Будь я, анафема, проклят, коли что... ей-богу! Провалиться мне вот на самом на этом месте...

— Да ну тебя к черту!.. Неси дров-то... Ох, наказал меня господь тобой... Не миновать мне суму носить... пьянчуга ты чертова... Всю ты кровь из меня выпил... на что я стала похожа? Заел ты мою жизнь... заел, сволочь ты эдакая, заел...

Она принимается плакать... Иван Захарыч, торопливо нахлобучив картуз, скрывается за дверь...

III

Иван Захарыч женился, «вошел в дом» лет пятнадцать тому назад. Женился он из расчета и, можно сказать, поневоле: ему некуда было деться.

Девица, которую он осчастливил законным браком, теперешняя жена, была на шесть лет старше его и до того «уматерела», до того озлобилась и до того была нехороша, что, несмотря на всевозможные соблазны приданого в виде дома, огорода,— ни один жених не решался сделать ее подругой жизни.

Проживала она тогда в этом же самом домике, где и сейчас, с своим «тяинькой», которому было лет под семьдесят и который делать ничего уже не мог, а только лежал зимой на лежанке, а летом в огороде на солнцепеке и разговаривал сам с собой, вспоминая старину. Хима обращалась с ним жестоко. Ее «чертов карахтер» доводил нередко почтенного старца до того, что он, забывая свой почтенный возраст, принимался браниться на чем свет стоит и, прихрамывая на левую ногу, уходил к соседу-сапожнику, забулдыге и насмешнику, жаловаться на свою дочь.

— Моя окаянная плоть-то,— говорил он,— сжевала всего... До чего дожил... а?.. Вот они, детки-то, а?..

— А ты бы ее,— говорил, смеясь, веселый сапожник, продергивая обеими руками дратву и искоса глядя на старика плутовскими глазами,— чмокнул бы ее чем ни попадя... окрестил бы...

— Где уж мне!

— Замуж бы отдавал, чего бережешь... в солку, что ли, готовишь?..

— А какой ее черт, прости ты меня, господи, на старости лет... возьмет с ее характером... тьфу!..

Была у Химы и мать, которая, к счастью, умерла, не доживя до такой глубокой старости, как отец... Хима довела ее до того, что покойница ходила, бывало, с широко открытыми перепуганными глазами, шепча про себя: «Господи Исусе Христе, господи Исусе Христе, да что ж это такое?.. Господи Исусе Христе!..»

Был у Химы также братец, которого все почему-то звали не Иваном, как это обыкновенно водится, а Иванушкой.

Этот Иванушка пил запоем и в пьяном виде творил чудеса. «Выпимши» он превращался в совершеннейшего зверя, похожего на гориллу. Все перед ним трепетало и молчало. Сердить его было опасно, так как он схватывал что ни подвертывалось под руку и запускал, скаля зубы, в рассердившего. Раз он чуть было не сварил Химу, запустив в нее вскипевшим самоваром. Не отвернись она вовремя, было бы плохо.

Задумали родители женить его. Авось, мол, бог даст, с женой-то угомонится.

— Мы тебя, Иванушка, женить хотим,— сказали они ему однажды, когда он был несколько в своем виде.— Пора тебе, дитятко... погулял достаточно. Как ты нам на это скажешь?..

— Жените... мне что ж, мне наплевать,— ответил Иванушка.— Испугался я, что ли?.. Эка штука. Взяли да и женили...

Но, увы! Слава про Иванушку прошла далече, и ни одна девица не пожелала отдать ему руку и сердце. Видя, что с девицами дело не сойдется, родители при помощи свахи подыскали вдову, огородницу, бабу лет под сорок, с двумя детьми и домом на краю города. Дом от старости врастал в землю...

Вдова дала согласие... На то, что Иванушка выпивает, она заметила, махнув рукой:

— Что уж мне про это говорить!.. Кто нонче, милая, не пьет?.. Знаю я. Мой покойник, царство небесное, вот пил, вот пил!.. И нагляделась я, меня этим не удивишь...

Но и эта баба, видавшая на своем веку всякие виды, ошиблась: Иванушка уже на смотринах доказал, что и ее еще можно удивить.

На смотрины пришел он с похмелья, одетый в какой-то долгополый сюртук с двумя пуговками на талии, шершавый, с опухшим лицом, злющий, с мыслью не о предстоящей судьбе, а о том, как бы поскорее опохмелиться...

Сначала все шло, впрочем, по-хорошему... Выпивали, закусывали; велись разговоры на разные житейские мелочные темы: у кого отелилась корова, почем дрова, много ли продали капусты и т. д. Иванушка говорил мало, а больше «надвигал» на выпивку. Когда, наконец, у него отпустило, он затеял спор с невестиным родственником, отставным солдатом Соловейчиком. Спор скоро перешел в ссору, ссора — в драку... Соловейчик получил в рыло такого раза́, что полетел на пол, зацепив скатерть, а с нею все, что было на столе. Хозяйка завыла... Иванушка, войдя окончательно в азарт, вышиб на улицу раму со всеми стеклами, сломал стул, сорвал со стены портрет какого-то бородатого архиерея, «шпокнул» подскочившую было к нему с вальком в руках невесту, вышел в сени, сломал в чулане дверь, повалил кадку и, проделав все это, ушел домой в своем длинном сюртуке, лохматый и страшный, позабыв в гостях свой картуз.

Про женитьбу, понятное дело, бросили и думать.

Между прочим, Хима была убеждена, что ее никто не сватает из-за безобразника братца. «Кабы не он,— думала она,— давно бы уж за кого-нибудь вышла... Все он ославил... Облопался бы поскорее, дьявол!.. Дай-то, господи...»

Желание ее исполнилось: господь услышал... Иванушку пьяного помяли где-то в трактире, после чего он холодной, морозной ночью долго шел, шатаясь, по улице, стукаясь об заборы, и простудился...

Болезнь пошла чрезвычайно быстро. Иванушка таял, как комок снега весной на солнце. В какие-нибудь две недели его нельзя было узнать: он стал, как скелет, глаза провалились и казались черными дырьями. В больницу его почему-то не брали... У него сделались пролежни, и от него шел отвратительный гниющий «дух»... Ходить за ним было некому...

Хима взяла тогда власть в руки. Она со злорадством говорила Иванушке, глядевшему на нее лихорадочными, провалившимися глазами:

— Что? Догулялся, молодчик? Вот она я!.. Тронь-ка

меня теперь!.. Ну-ка, тронь, а? Не-ет! Поклонишься и кошке в ножки!..

Иванушка глядел на нее и, едва шевеля губами, тихо произносил:

— Сво-о-о-лочь!..

Вскоре темной, глухой ночью, когда все спали, не видя его последних страшных мучений, Иванушка помер.

IV

Хима осталась с отцом и стала хозяйствовать... Зимой она занималась плетением крестов для поповских риз, а летом огородничала... Огород был довольно большой, исстари заведенный, земля хорошая, черная, пухлая... Осенью, после Никитина дня, Хима продавала капусту и свеклу, а лук сваливался в избе, на так называемые сушила, где и хранился по возможности до великого поста, когда цена ему, случалось, доходила до рубля двадцати и больше за меру.

Два раза в неделю Хима ездила на рынок торговать луком и семенами. Здесь, около рядов, у площади, где мужики останавливались с сеном, дровами, картошкой, поросятами и т. д., и т. д., было у ней свое место, на котором сидела еще ее покойная мать и мать ее матери. С этого места Химу невозможно было сдвинуть. Рядом с ней сидели удивительно похожие друг на дружку торговки. Между собой они жили, как чужие собаки. Не проходило рыночного дня, чтобы они не «полаялись», не стесняясь в выражениях. Несмотря на то, что Хима была в некотором роде девица, по части ругани она отличалась. Полицейский городовой, по прозванию «Морда», стоявший на своем посту неподалеку от портерной, подходил иногда к ругавшимся и говорил:

— Тише, вы!.. Не орать! Возьму вот за хвост, да о тумбу... весь пар вышибу!..

Чаще всего Химе приходилось схватываться с торговками по поводу того, что она девица и что ее до сих пор ни один сукин сын не посватал.

— Ты бы уж, милая, завела себе какого-нибудь хахаля,— язвительно говорили ей,— а то эдакой кусок да ни за что пропадает. Солдата бы, что ли, какого, благо казармы-то рядом... А ты, может, себе принца ждешь, а?..

Эти насмешки доводили Химу до слез.

— Господи Исусе Христе! Царица небесная, заступница матушка,— каждый вечер, отходя ко сну, взывала она, стоя перед иконами, между которыми особенной ее любовью пользовалась закоптелая, старая «Утоли моя печали»,— услышь ты меня, ради Христа... пошли ты мне... пошли ты мне...

Она не договаривала, кого послать, убежденная в том, что уж царица небесная знает кого...

Сваха, та самая, которая сосватала было Иванушке вдову, бегала по городу высуня язык, как гончая собака, разыскивая для Химы где-нибудь подходящего человека...

По ее совету Хима выправила в мещанской управе билет на «бедную невесту», и (вот оно счастье-то!) той же осенью, первого октября, в самый покров, выиграла сто пятьдесят рублей. Деньги эти, однако, ей не выдали... Когда она обвенчается,— пусть приходит с мужем, а до тех пор деньги будут в управе. Если же в продолжение трех лет Хима мужа не подыщет, то билет будет считаться недействительным, и денег она по нему не получит. Такова была воля «благодетеля» Терентия Игнатьича, завещавшего капитал для бедных невест.

Выиграв эти сто пятьдесят рублей, Хима совсем ополоумела отчасти от радости, а главное, от страха не выйти в продолжение трех лет замуж.

— Милая ты моя,— говорила она свахе, угощая ее чаем и водкой,— ну, как да не найдется никто, а? Завоют мои денежки... пропадут ни за бабочку... полтораста ведь рубликов... по-о-ол-тораста!.. На полу не подымешь... Неужли же, господи, не найдется никто?.. Мне вон на рынке и то все глаза прокололи.

Наконец, фортуна обернула свое капризное лицо к Химе: «нашелся человек»...

В один прекрасный день, в то самое время, когда Хима, подтыкав юбки, худая и сутулая, повязанная ситцевым клетчатым платком с напуском на глаза, сидела между гряд в бороздинке и вытаскивала свеклу, пришла сваха и принесла такую новость, от которой у Химы затряслись и руки и ноги.

— Вот, девонька, я тебе расскажу по порядку, что, и как, и где я его нашла для тебя, и кто он такой,— говорила сваха, сидя уже за столом, выпивая рюмку и заку-

сывая соленым огурцом.— Человечек самый, я тебе скажу, подходящий... Я вот к тебе приведу его в воскресенье, ты приготовься: закусить там, то, се... Уж поверь мне: самый для тебя подходящий человечек...

V

Этот «подходящий человечек» и был не кто иной, как Иван Захарыч, в то время проживавший у «позолотных дел мастера» Соплюна чуть ли не из-за одного хлеба.

Соплюн говорил, что взял Ивана Захарыча по знакомству, жалеючи, но в действительности как раз в то время Соплюн получил хороший заказ на иконостасы разных размеров. Работа требовалась чистая, с медными вставками, или «отливами», с хорошей полировкой. Мастеров на такое серьезное дело в мастерской у него не было... Была все какая-то шваль, позолотчики-мальчишки да кривой подмастерье, постоянно с мухарем. Соплюн колебался даже, принять ли заказ, когда на его счастье подвернулся Иван Захарыч. Он в это время приехал из Москвы за утерянным видом... Вернее, он не приехал, а его пригнали этапным манером, ободранного и грязного... В управе засвидетельствовали его личность и, выдав полугодовой вид, выгнали вон... Очутившись на улице, Иван Захарыч долго стоял, думая, куда ему «теперича деться» и, наконец, вспомнил про Соплюна...

— Пойду,— решил он,— может, не приткнусь ли?.. Живану месяц-другой, акапируюсь...

Соплюн был человек вида постоянно сурового, роста высокого, необыкновенно тощий. Он беспрестанно фыркал носом и заикался, особенно, если слово начиналось на букву «п». Сверх всякого ожидания, он принял Ивана Захарыча радушно.

— А-а-а! — воскликнул он, увидя робкую, бочком втиснувшуюся в мастерскую, фигуру. Было это как раз во время обеда.— А, п-п-п-о-лу-п-п-п-ачтенный, откеда?..

Иван Захарыч помолился в угол, поздоровался и стал рассказывать, «откеда он явился»... Соплюн слушал, качал головой, беспрестанно фыркал и думал про себя:

«Послал господь сукина сына в самое время... Истинный господь, находка...»

— Не оставьте, Марка Федрыч,— между тем молил

Иван Захарыч,— заставьте за себя вечно бога молить... Куда ж мне теперича, сами изволите видеть, в эдаком-то костюме?.. Поимейте жалость. Сами изволите знать мою работу-с...

— Да уж что с тобой делать... Оставайся, не обижу... Только ты уж того... п-п-п-о-аккуратней насчет чертовой-то водицы...

— Не буду... вот икона святая, не буду... сичас провалиться мне на этом месте! — забожился Иван Захарыч.

И он остался работать. Мастер он был хороший, работа в его руках спорилась, вещи выходили чистые, блестящие, красивые, как игрушки. Соплюн, имевший в числе добродетелей непобедимую страсть сватать и женить людей, как-то раз вечером сказал Ивану Захарычу, только что окончившему киот:

— Руки у тебя, Иван Захарыч, золотые, остеп-п-п-ениться бы тебе... жениться бы...

— Куда уж нам,— ответил, улыбаясь, Иван Захарыч.— Кто за нас пойдет-то?

— Погоди, я Лукерью Минишну попрошу: нет ли, мол, где на примете у тебя товарцу подходящего?..

— Помилуйте, Марка Федрыч!

— Ладно, помалкивай!..

Лукерья Минишна была та самая сваха, которая искала Химе «женишка». Когда Соплюн объяснил ей, в чем дело, она обрадовалась, но виду не показала.

— Стало быть, у него, с позволенья сказать, и штанов нет? — спросила она, выслушав откровенные сведения об Иване Захарыче.

— Мастер зато... Штаны найдем, без штанов в храм божий не поведем... Уж ты постарайся...

— Есть у меня... с домом, полтораста рублей на бедную невесту нонче в покров выиграла...

— Вот он на эти деньги акапируется и все такое,— обрадовался Соплюн.— Чья такая?..

— Чебурахова Федул Митрича дочь... Хима... знаешь?..

— Ну, вот еще, как не знать?.. Хима... гм! Самая подходящая подруга жизни... Как же бы нам свесть-то их, дать обнюхаться? Хы-хы-хы! Обделаешь дело — получишь трояк да на кофту ситцу... Только уж постарайся.

— Ладно, не учи, знаем с твое-то... Не первенького родить...

VI

Придя в мастерскую, Соплюн сообщил Ивану Захарычу эту новость.

— Сам ты посуди,— говорил он,— господь тебе счастье посылает... Девка, дом, огород... полтораста деньгами... Какого тебе еще рожна?.. Вот в воскресенье, господь даст, пойдем... п-посмотрим...

— В чем мне идтить-то?.. Идтить-то мне не в чем... Штанишков-то, с позволения сказать, нету...

— Я тебя в свой сюртук наряжу... сапоги дам с калошами, брюки, картуз... ака-п-п-ируем за милую душу... Хочется мне тебя приладить... Ежели, скажем, тебя царь небесный благословит судьбой... то ты, гляди, не зевай: как получишь деньги, ты их сейчас тут же, не выходя, в кармашек спрячь, ей не давай... Дашь — спокаешься, тогда уж пиши на двери, а получай в Твери... В субботу в баню сходишь... побреешься... оброс ты, как зверь живодамский... В воскресенье отправимся... Кривого вон за компанию возьмем... Пойдешь, кривой?..

— С величайшем удовольствием-с,— поспешно ответил, улыбаясь, кривой подмастерье, по прозванию Очко.— Мы, ежели, Марко Федрыч, дозволите, итальянку с собой захватим. Может, там сыгранем-с, барышню повеселим... Иван Захарыч, как они петь хорошо, например, могут, а я играть-с,— то мы и того... устроим дуетец...

— Ну что ж,— согласился хозяин,— возьми гармонью... Только, прошу тебя покорнейше, помене за стакан хватайся... жаден ты. Ежели господь даст,— снова обращаясь к Ивану Захарычу, сказал Соплюн,— то я тебе отцом посаженным буду.

— Покорничи благодарим, Марка Федрыч... Только я все думаю: как же это так... вдруг.. жениться?.. Чудно мне самому на себя... Вдруг я, тысь, того... муж... гы... ей-богу-с! Как я в храме-то господнем стоять буду... совестно, смотреть придут, сам себе не поверю... ей-богу-с! Спать опять ложиться... гы... оне барышни... совестно, ей-богу-с!

— О дурак! — воскликнул Соплюн.— Вон он об чем толкует... п-п-п-алено дров! Нечего с тобой, с дураком, тявкать попусту... В воскресенье безо всякого разговору пойдешь... А не пойдешь — силком стащу... Господь счастье посылает, а он: «Как я с-п-п-п-ать лягу...» Постыдился бы говорить-то!

VII

В воскресенье, часов с пяти утра, когда на дворе стояла еще непроглядная осенняя тьма, в доме золотых дел мастера Соплюна все уже встали. Шла, так сказать, генеральная репетиция. Иван Захарыч, накануне сходивший в баню, чистый, как стеклышко, с клинообразно подстриженной бородкой, похожий в некотором роде на художника, примерял хозяйский сюртук, который был ему длинен... Соплюн горячился, ругая ни за что ни про что и виновника торжества, и свою жену, полную, с испуганными глазами женщину, похожую на небольшую кадушку, и Очко, хлопотавшего около Ивана Захарыча, и кошку, вертевшуюся под ногами, и даже самого себя за то, что уродился эдакий длинный...

Сапоги тоже были Ивану Захарычу не по ноге: велики и притом сшиты как-то по-дурацки, с необыкновенно широкими, точно обрубленными топором носками, глядевшими кверху. Когда Иван Захарыч надел хозяйские брюки, подтянув их чуть ли не до горла, и спустил «навыпуск», на сапоги, то картина получилась неважная. Сапоги выглядывали из-под брюк, задравши свои широкие носы кверху с таким видом, как будто ждали чего-то удивительного...

Два мальчика-ученика, сидевшие в сторонке на верстаке и наблюдавшие эту сцену, потихоньку прыснули...

Наконец, примерка была кончена, все кое-как улажено. Осталось только ждать часа, когда надо было отправляться на смотрины... Соплюн приказал Ивану Захарычу снять с себя костюм: «Изомнешь до тех пор... грешным делом, пятен наделаешь»... Жених покорно разделся и, оставшись в одной собственной ситцевой рубашке и в клетчатых портках, надев на босу ногу опорки, уселся вместе с хозяином и Очком за чай...

Пили долго... Время тянулось бесконечно... Наконец, рассвело, ударили сначала у Николы-на-ямках к ранней, потом в женском «зачатейском» монастыре за рекой... Когда отошли эти ранние и поздние обедни и, наконец, стрелка, похожая на клешню рака, на огромных почерневших хозяйских часах остановилась на двенадцати и как будто шепнула часам: «ну, валяйте!..» — часы сначала зажужжали, как муха, попавшая в лапы паука, потом проговорили редко и как-то необыкновенно важно

двенадцать раз одно и то же: «Знаем, знаем! Знаем, знаем!..»

— П-пора! — сказал, заикнувшись, Соплюн.— Öряжайся, Иван Захарыч.

Иван Захарыч снова беспрекословно облачился...

— П-п-альтишко-то на плечи накинь,— сказал Соплюн, обозревая его.— В рукава не надевай... внакидку как-то п-п-п-осолидней...

— Грязно на улице-то, Марко Федрыч, страшное дело,— сказал Очко,— сапоги отгвоздаешь!..

— Наплевать,— ответил Соплюн,— как-нибудь доползем. А ты что наденешь? — спросил он у Очка.

— Я-с? Мой костюм один-с... майский... пиджак, брюки, картуз...

— А пальтишко-то опять, видно, в ученье?..

Очко, улыбаясь, молчал.

Наконец, сборы были окончены... Соплюн помолился в угол, где висела почерневшая доска с ликом Саввы Звенигородского, заставил сделать то же самое Ивана Захарыча и сказал:

— Ну, со Христом... пойдемте!..

VIII

На улице, носившей название «Миллионная», было безлюдно и стояло потопище грязи.

Соплюн, осторожно ступая своими длинными ногами, точно на ходулях, крался около заборов, выбирая места, мало-мальски доступные для прохода... За ним, еще осторожнее, боясь изгадить хозяйские сапоги, надев пальто внакидку, шел Иван Захарыч, а за Иваном Захарычем с «итальянкой» подмышкой, завернутой в газетную бумагу, в пиджачишке и тоже брюки навыпуск, скакал, как заяц, стараясь попадать на след Ивана Захарыча, Очко...

Пройдя Миллионную, путники свернули в еще более глухую улицу с длинными заборами. Через заборы кое-где свешивались мокрые, голые ветви рябин, лип, акаций. Улица упиралась в изрытый и загаженный берег речонки, на той стороне которой видны были кучи навоза, гряды, игрушечная сторожка, а дальше виднелись уже поля и село на горе...

Обыватели этой улицы, к числу которых принадлежала и Хима, занимались огородами, мелкой копеечной

торговлишкой на базаре, мастерством сапожным, портняжным и т. п. Народ жил здесь бедный, словно отрезанный от мира, забытый, никогда не протестовавший, пуще огня боявшийся всякого начальства, хотя бы это начальство представлял собою какой-нибудь городовой «Морда»... народ, ненавидящий в большинстве случаев, бог знает почему, друг друга, завистливый, сплетничавший и с затаенным злорадством говоривший о несчастии ближнего.

Все и каждый следили здесь друг за другом... Все здесь знали, кто какой заваривает чай, что ест, и вряд ли кто-либо из обитателей этой улицы интересовался чем-нибудь другим, помимо «брюшного вопроса»...

— Сыт — и слава тебе, господи, а там хоть гори, мне наплевать!..

Жизнь тянулась вялая, печальная, похожая на вечную осень: «ни день, ни ночь, ни тьма, ни свет»...

Домишко, где жила Хима, как и все дома на этой улице, был деревянный, почерневший, с окнами, выходившими не на улицу, а на огород, и был обнесен кругом забором из полусгнивших тесин. В этом заборе со стороны улицы были ворота, державшиеся постоянно взаперти, и калитка с покачнувшейся на левую сторону дверью. В калитку было вделано большое кольцо, которым и стучали, чтобы хозяева услышали и отперли...

Здесь направо и налево были канавы, обросшие «сабашником» и крапивой, куда из-под забора со двора стекала вонючая желтоватая жижа... На воротах были приколочены, вероятно для красоты, два грубо сделанных из жести петуха, выкрашенных красной краской, а на брусе, над калиткой, был пришит гвоздями небольшой медный крест со звездочкой посредине...

Подойдя к калитке, Соплюн достал из кармана огромный клетчатый носовой платок, пропитанный запахом мяты, встряхнул им, высморкался, обтер лицо, окинул взглядом чему-то робко улыбавшегося Ивана Захарыча и сказал:

— П-п-п-ришли... оботри ноги-то... п-постучать надо...

Он взялся за кольцо и постучал им в дверь. За воротами сейчас же раздался кашель, и кто-то спросил тоненьким детским голоском:

— Кто тутотка?..

— Мы-с! — сказал Соплюн.

— Отпирай, дура,— послышался за воротами громкий шепот,— отпирай скорей!..

— Сичас... отопру,— раздался опять тоненький детский голосок,— сичас!..

Послышался звук выдвигаемого запора... Калитка как-то необыкновенно громко и жалобно заскрипела ржавыми петлями, точно закричала: «бо-о-о-льно!» — и отворилась, еще больше покачнувшись налево. За дверью стояла девочка лет двенадцати и большими испуганными и вместе любопытными глазами глядела на гостей. Предусмотрительная Хима нарочно взяла ее у соседа-сапожника, чтобы тотчас же впустить гостей, как только постучатся.

— Не самой же мне бечь отворять, как придут,— говорила она,— еще подумают: ишь обрадовалась, дожидается...

— Дома хозяйка? — спросил Соплюн.

— А то где же? — спросила девочка.

— Где п-п-п-ройтить-то... п-п-п-рямо, что ли? — спросил он, хотя отлично знал дорогу.

— А то куда ж? — опять так же простодушно переспросила девочка.

Соплюн оглянулся на товарищей и пошел через небольшой двор с навесами к крылечку.

Здесь на свежевымытых ступеньках, где была положена для обтирки ног рогожка и стоял в уголке голик, он остановился, обшаркал сапоги, опять высморкался и, подождав, пока Иван Захарыч с Очком проделали ту же процедуру, молча, с серьезным видом взялся за скобку двери, обитой старой клеенкой, отворил ее и переступил через порог...

Вслед за ним вошли Иван Захарыч, державший в руке картуз, и Очко с итальянкой подмышкой...

IX

Гостей ждали... Много хлопот и лишних расходов принесли они Химе. Но она не жалела об этом. Еще накануне, в субботу, она начала «сновать основу», по выражению ее отца, Федула Митрича, и сновала ее почти вплоть до прихода гостей...

Угощенье было приготовлено на славу... Испечены были два пирога: один с рисом, другой сладкий, с малиновым паточным вареньем. Купили два сорта колбасы, две коробки шпротов и селедок на случай, если он солененькое любит...

— Матушка, царица небесная! — шептала Хима, обращая взоры на то место, где находилась чтимая ею икона «Утоли моя печали».— Пошли ты мне! Пошли ты мне!..

Почтенный родитель, Федул Митрич, несколько раз бегал к соседу-сапожнику поделиться семейной новостью...

— Платоныч,— говорит он,— ты что знаешь, а?.. Моя-то окаянная плоть-то замуж собралась, а?..

— Ну-у-у?!

— Сичас издохнуть!.. Гляди-кась, кака приготовка... в светло Христово воскресенье того не бывает... Селедки, пироги, кильки, водка никак двух сортов, пиво бутылочное, лиссабонское... Лукерья-сваха тут же вертится, тьфу ты, окаянная сила! Где бы не согрешил на старости лет, ан согрешишь... Вгонит она его в гроб, не дожимши веку!

— Кто ж это такой нашелся?..— недоумевал Платоныч.

— А черт их,— прости меня, господи, не согреша согрешишь,— знает... Разнюхала, знать, сука-то, сваха, где-нибудь... Тьфу ты! Пойти поглядеть, что она там... как...

Он приходил домой, садился на лежанку и опять злорадно следил за «основой».

— А-а-а, гости дорогие! — встретила гостей Лукерья Минишна.— Пожалуйте... сделайте милость... пожалуйте... раздевайтесь... Марко Федрыч, Иван Захарыч! (На Очка, стоявшего, выкатя единственный глаз, с итальянкой подмышкой, она не обращала внимания.) Сюды вот одежду-то вешайте... вот на гвоздочек... пожалуйте!..

Соплюн повесил пальто на указанное место, высморкался опять в свой носовой платок, кашлянул в руку и сказал:

— Здравствуйте, Лукерья Минишна... с п-п-п-раздником! П-п-п-агода какая неблагоприятная... п-п-п-отопище...

— Да-с,— согласилась с ним Лукерья Минишна.— Пожалуйте в горницу... Давно поджидаем,— шепнула она и подмигнула глазом.

— Гм! — кашлянул Соплюн и пошел вместе с Иваном Захарычем и Очком.

Здесь их встретила Хима, вся красная от волнения, с испуганными глазами...

Одета она была, по выражению Лукерьи Минишны, «просто, но со вкусом»... На ней был сшитый года два назад, лежавший без употребления в сундуке «натяжной лиф» темнокрасного, «бурдового цвета» и синяя «с отливом» юбка... Талия была перетянута ремнем с блестящим набором, очень похожим на подпругу. На ногах были надеты «щигреневые» башмаки на низких каблуках «с благородным скрипом». Волосы на голове она взбила копной, напустив их на виски, а на затылке закрутила каким-то затейливым узлом, называвшимся, по ее выражению, «раненым сердцем»... Это «раненое сердце», и «натяжной лиф», и юбку, и, кажется, даже башмаки облила она духами «Поцелуй амура» с той целью, чтобы отшибить запах пота.

В горнице все было прибрано, вымыто, выскребено, приготовлено, точно к светлому дню.

Пол, застланный от порога до переднего угла, где стоял стол, узеньким половиком, был вымыт с мылом, так что по нему, казалось, неловко ходить в сапогах... На окнах были повешены «гардины», то есть тоненькие кисейные занавески, перевязанные внизу лоскутьями из кумача... Проход из горницы в кухню к печке завешен был ситцевой занавеской. Здесь, на скамейке и на столе, стояли приготовленные закуски: селедка, колбаса, шпроты и пр. Около печки, на полу, стоял уже вскипевший самовар, в который можно было глядеться, как в зеркало.

В шкафу со стеклянными дверцами по полкам была расставлена «лучшая» посуда: чашки чайные, бокалы с надписью: «Дарю в день вашего ангела», «Куй железо, пока горячо», блюдечки, тарелки, рюмки, сахарница в виде наседки, какая-то зеленого цвета бутылка, изображавшая собою медведя, и т. п.

Из-под кровати, стыдливо завешенной кумачовой «откидной» занавеской, выдвинут был край большого крашеного суриком и обитого жестью сундука; в нем хранилось Химино приданое, и выдвинут он был так ловко, что сразу бросался в глаза и как бы говорил: «Вот он я... глядите... эва какой!..»

На лежанке, где обыкновенно обитал Федул Митрич и постоянно валялась «в головашках» грязная подушка и не

менее сальная поддевка, теперь было чисто... Сам Федул Митрич отсутствовал...

Гости раскланялись с Химой, поздравили ее с праздником, спросили: «Как ваше здоровье», и, наконец, по ее приглашению уселись все трое в передний угол под святые иконы, к столу, покрытому какой-то сероватого цвета прочной скатертью.

— Чайку не угодно ли? — спросила Хима, делая на своем лице умильную улыбку.

— П-п-п-ризнаться сказать, п-п-п-или,— сказал Соплюн.— А между прочим, пожалуйте... по чашечке перекувырнем для препровождения времени-с...

— Сиди, матушка, сиди,— уговаривала между тем Химу сваха,— сиди, занимайся своим делом с гостями... я сейчас и чайку и закусить, все!.. Да вы, Марко Федрыч, Иван Захарыч,— не церемоньтесь, сделайте милость... У нас ведь попросту... Сейчас я самоварчик... А вас как звать-то? — на ходу спросила она у Очка, окинув его с головы до ног подозрительным взглядом.

Очко, сидевший на кончике стула с выкаченным глазом и не ожидавший вопроса, вскочил и, еще пуще выкатив глаз, почти крикнул:

— Иваном-с, сударыня!

— А по батюшке?

— Никанором-с, сударыня!

— Ну, будьте гостем, Иван Никанорыч,— сказала сваха снисходительно и юркнула под занавеску в кухню...

X

Гости засиделись... Сначала все шло как-то по чудно́му, все изображали собою не то, что надо, а совсем другое, ненужное и мучительное для них самих... Тянулось такое мучительное состояние довольно-таки долго... Разговоры клеились плохо... Иван Захарыч только и говорил два слова: «да-с» и «нет-с»... За всех говорил Соплюн да Лукерья Минишна, которой, впрочем, некогда было много разговаривать: она хлопотала с угощением и бегала, «делая юбкой ветер», из комнаты под занавеску в кухню и обратно...

Сама Хима сидела вытянувшись, похожая на цаплю, когда та стоит на одной ноге и, почуяв, но не видя еще

крадущегося к ней по кочкам охотника, думает: улететь или погодить?..

Соплюн то и дело обращался к ней с вопросами, на которые она, делая умильную улыбку, торопливо отвечала, точно провинившаяся школьница. Вопросы были все пустяковые и, можно сказать, совсем ненужные. Увидя, например, на подоконнике два горшка с «еранью», Соплюн спросил:

— Цветочки это у вас?

— Да-с! — торопливо отвечала Хима.

— Вот и он у меня,— кивнув на Ивана Захарыча, сказал Соплюн,— охотник до цветов... Только он охотник не до таких, а до других...

— До каких же-с? — спросила Хима, взглянув на красного Ивана Захарыча.

— До каких-с? — переспросил Соплюн и, улыбнувшись, сказал: — До таких вот розанов, как вы-с... хы-хы-хы! Бо-о-льшое п-п-п-пристрастие имеет... хы-хы-хы!..

Хима покраснела и, сделав умильную улыбочку, потупилась. Иван Захарыч торопливо достал носовой платок и принялся сморкаться. Очко сидел, не меняя позы истукана, и глядел выпученным глазом на Соплюна, словно дожидаясь от него приказания...

Между тем Лукерья Минишна не зевала... Она быстро и ловко уставила стол закусками, принесла из кухни самовар, заварила чай, заставила Химу разливать его, а сама принялась угощать гостей по части выпивки... Делала она это так настойчиво, что невозможно было отказаться...

Иван Захарыч, не желая на первых порах обнаружить свою «слабость», сказал было:

— Не могу-с... истинный господь, не могу-с!

— Да полно вам,— ответила сваха,— что вы — красная девица?..

— Вино веселит сердце человека,— сказал Соплюн.— П-п-п-ей, Иван Захарыч!

Очко пил молча и с жадностью, покидывая рюмку себе в рот так ловко, что в ней не оставалось ни капли, и закусывал только селедкой.

Время шло; в бутылках убывала «чертова водица», языки гостей делались развязнее. Говорили громко и смело... то и дело хохотали и прикладывались к рюмкам.

Хима от сильного душевного волнения и от сознания, что вот, наконец, и она дождалась своего, была, можно сказать, даже интересна... В ее лице не было теперь обычного щучьего, хищного выражения, голос был не так пронзителен, как в обычное время, фигура была опрятнее. Вся она точно преобразилась: точно плохую картину тронул кистью настоящий художник, отчего картина сразу ожила...

В разгаре беседы пришел скрывавшийся у сапожника Федул Митрич. Пришел он озлобленный, ничего не говоря, не здороваясь, уселся на своей лежанке и принялся фыркать носом, как еж, когда его, свернувшегося клубком и выставившего свои иголки, ребятишки для потехи тыкают палкой.

Гостям сделалось несколько неловко... Хима, желая показать перед Иваном Захарычем, какая она примерная дочь, и чувствуя на самом деле прилив незнакомой ей доселе мягкости и доброты, подошла к Федулу Митричу и, взяв его за руку, сказала:

— Тяинька, голубчик... где это вы пропадали столько время?.. Мы вас ждали, ждали... Пожалуйте к столу, выкушайте бальзамцу...

— Да не тяни,— сказал Федул Митрич,— чего ты... знаю, небось я хозяин...

Он слез с лежанки и, припадая на левую ногу, подошел к столу. Хима подставила ему табуретку. Гости, не знавшие его, почтительно приподнялись и поклонились, а Соплюн протянул руку и сказал, обращаясь точно к старому знакомому:

— Федул Митричу п-п-п-ачтение-с! П-п-п-ируем здесь... а хозяина и нету, п-пропал!

Федул Митрич не ответил. Точно голодный волк, увидавший овцу, он глядел на бутылку. У него затряслись поджилки, а левая нога как-то сама собой необыкновенно часто забарабанила подошвой сапога по полу.

— Ну-кась,— сказал он,— насыпь-ка мне вон в энту.— Он указал на чайную чашку.— Не люблю я,— обращаясь к гостям и точно извиняясь, сказал он,— рюмочками чикаться... По-нашему, хлопнул раз, закусил, опять хлопнул... А это что? Какая это спасуда — рюмка? Девкам пить... Сунь палец — и нет ни фига... Не-е люблю!..

Теорию эту, выработанную, вероятно, годами, он сейчас же и показал на практике: хлопнул чашку, закусил

корочкой, подождал минут пять, словно расслабленный, ожидающий у Силоамской купели движения воды, и снова хлопнул.

Зарядив себя таким образом, он очень скоро сделался чересчур развязен и словоохотлив. Пододвинувшись к Соплюну, он начал рассказывать ему про старину. Рассказы его вертелись больше около выпивки, мордобития, грабежа и разгула...

— У нас, я помню,— говорил он,— служил в управе писарь, Ксенофонт Маркелыч Жеребин, не помнишь?

— Нет... не п-п-п-омню...

— Вот, бывало, царствие небесное, пил!.. Возьмет, понимаешь, в ковшик нальет — хлоп!.. Словно вот, сичас провалиться, орех раскусит. А закусывал одной редькой... Ничего ты ему не давай, а редечки... любил покойник, царство небесное... А уж здоров был, а-ах!..

— Здоров? — переспрашивал Соплюн.

— Страшное дело!.. По четвертке дров березовых швырку с рынка на себе домой таскал... Истинный господь. Зимнее дело купаться в прорубь лазал!.. Какой хошь мороз будь,— ему наплевать... Прорубь на реке, где белье полощут, большая. Залезет он в нее поутру, бултыхается, как сом... Вылезет — пар от него валит! Чудак был... На масленице раз какую штуку отмочил!.. Катанье было... Народу — туча!.. Купцы эти друг перед дружкой... не так, как теперича,— теперича что: плюнуть да ногой растереть... Все нарядные, лошади одна другой краше, львы!.. Ездиют это по Московской от Спас Преображенья до кузниц друг за дружкой... Глядь, что такое? Верхом кто-то катит, хы-хы-хы!.. А это он, Ксенофонт Маркелыч... Сел на кобылу задом наперед, как Иванушка-дурачок, хвост в левой руке держит, а в правой — полштоф... тогда бутылок не было, полштофы были... Едет таким макарцем, а сам кричит: «Вот зеркало!» Было тут смеху, истинный господь!

А то,— продолжал он, все больше и больше воодушевляясь,— был у нас в городе купец,— ты тоже, чай, не помнишь,— железом торговал в рядах, где теперича юбочницы торгуют, Субботин Василий Василич... Так тот, братец ты мой, допился до дела... И смех и грех... Пил-пил, пил-пил... На рождестве начал, весь мясоед пил, масленицу пил, великий пост пил, а на святой... Мужчина был большой, грузный, чрево одно, истинный господь, три вот

эдаких самовара... И представься ему, братец ты мой, что затяжелел он, тысь забрюхател... Кричит благушей: «Рожу... час мой приспел!» Что тут делать? Испугались... туды, сюды... А он все свое... баушку стал требовать... «Умираю, кричит, смерть моя... душа с телом расстается... бегите скорей за баушкой... к попу бегите, чтобы царские врата открыл... Умру сичас!» Что ты станешь делать? Случись это дело дома, наплевать бы, а то ведь схватило-то его средь бела дня в лавке... Орет на все ряды... Дело праздничное, народу много, потеха. Скрутили его кое-как, потащили в больницу... Увидал он там доктора, в ноги ему: «Батюшка, спаси... умираю... шевелится!» Где-то, где-то угомонили его, дали чего-то выпить... Уснул. Ну, после того мальчишки — и те над ним смеялись. Идет, бывало, по рядам, а ему: «Ну, как, Василь Василич, как тебя господь простил... кого послал?.. Акульку аль мальчика?..»

Хима, между тем видя, что родитель пристал к Соплюну, и зная по опыту, что теперь он скоро примется ругать ее, приняла против этого решительные меры. Она закатила «тяиньке» еще чашку какой-то перцовки, выпив которую Федул Митрич сразу ошалел, вытаращил глаза и лишился языка, после чего его осторожно увели куда-то в чуланчик, где он и уснул. Тогда пошло настоящее веселье.

Вскоре можно было видеть такую картину. Иван Захарыч, весь красный, с глазами, точно покрытыми лаком, оттопырив красные, толстые и тоже точно покрытые лаком губы, наклонив набок голову, сидел против Химы и, не спуская с нее глаз, пел, стараясь выводить как можно выразительнее и чувствительнее:

Я сижу и любуюсь тобою,
Все тобой, дорогая моя...

Очко, выкатя налившийся кровью глаз, играл на итальянке. Соплюн и Лукерья Минишна, оба сильно выпившие, блаженно улыбались и иногда о чем-то перешептывались... Виновница торжества, Хима, сначала слушала молча, потупя глазки, потом и сама принялась петь тонким, необыкновенно громким и неприятным голосом...

Я сижу и любуюсь тобою,
Все тобой, дорогая моя...—

начал опять Иван Захарыч.

Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой...—

завопила вдруг Хима и продолжала, покрывая своим визгом и Ивана Захарыча и итальянку.

Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красотой.
Но, увы! —

кричала она, глядя во все глаза на Ивана Захарыча.

Коротки наши встречи,
Ты спешишь на свиданье к другой...
Но иди...—

продолжала она, закатывая глаза под лоб,—

Пусть одна я страдаю,
Пусть напрасно волнуется кровь.

И, понизив несколько голос, пустив в него какую-то «дрожь», подчеркивая «для тебя», закончила:

Для тебя я жила и страдала,
Для тебя я всю жизнь отдала...
Как цветок ароматный весною,
Для тебя одного расцвела...

Вечером, когда на улице было уже совершенно темно и падал холодный назойливый дождик, гости отправились домой. Им дали фонарь и, проводив за калитку, где долго прощались, желая друг другу всех благ, ушли домой.

— Пы-п-п-пы-п-плывем и мы! — сказал Соплюн, держа в левой руке фонарь.— Эка темь-то гос-п-поди, Исуси Христе... Ну, трогай, белоногой!..

Покачиваясь и тыкаясь, точно его кто-нибудь толкал сзади в шею, он тронулся... Иван Захарыч и совершенно пьяный Очко, которого кидало из стороны в сторону, последовали за ним, шлепая по грязи сапогами, как утки по воде крыльями. Отойдя от калитки шагов шестьдесят, Соплюн вдруг споткнулся, зацепившись за что-то ногой, и упал в грязь... Фонарь погас и разбился... Путники остались, окруженные абсолютной тьмой...

Соплюн долго возился в грязи, стараясь подняться, и, громко заикаясь, сквернословил на всю улицу. Откуда-то совсем близко от них, вероятно из подворотни, обеспокоенная шумом, лаяла, захлебываясь, собака...

Иван Захарыч и Очко топтались на одном месте, стараясь не упасть...

— Сп-п-п-ички у кого? — спросил, наконец, поднявшийся Соплюн.

Спички были у Очка. Он достал коробочку и стал чиркать... Вспыхнет спичка, осветит на секунду тьму, грязь, Соплюна, Ивана Захарыча — и сейчас же погаснет, после чего сделается кругом еще темнее.

— Нало-п-п-п-ался!.. спички не может зажечь! — накинулся на него Соплюн.— Нарвался на чужбинку-то, как волк на п-п-п-адаль... обрадовался, а-а-нафема! Дай сюда коробок-то!

Но и у него дело пошло не лучше: огарок намок, спички гасли одна за другой. Вот погасла и последняя. Соплюн со злостью швырнул пустую коробочку и сказал:

— По-п-п-ойдемте так. Держитесь друг за дружку... Бери, Иван Захарыч, меня за п-п-п-олу, а ты, Очко... где ты тут, кривой черт?.. его за полу... Так гуськом и отправимся...

Шествие тронулось... Соплюн шел впереди; за ним, держась левой рукой за его полу, шагал Иван Захарыч; он потерял в грязи с правой ноги калошу и робел сказать про это Соплюну... Другую калошу он снял и спрятал в боковой карман своего дипломата... Позади всех, тоже держась левой рукой за Ивана Захарыча, плелся, качаясь, Очко. Он всю дорогу хотел объяснить что-то, но из его уст вылетало лишь невнятное бормотанье, удивительно похожее на токование тетерева, вылетевшего ранним утром в марте месяце куда-нибудь на полянку среди молодого березняка.

Домой пришли поздно. Увидавшая их хозяйка ахнула и всплеснула руками.

— Батюшки светы,— завопила она,— да и не черт ли вас носил! На что вы похожи-то, а? Что с одежей-то наделали? Жених... тоже! — набросилась она на Ивана Захарыча.— Какой ты жених? Да я на тебя, на такого, плевать-то бы не хотела... Женится тоже, голоштанный черт! А калоши где?.. Потерял, а?..

Иван Захарыч достал из кармана калошу и подал хозяйке.

— А другая-то где, а? Потерял? Да ну, говори, растяпа чертова!

Иван Захарыч, виновато и жалобно глядя на нее, улыбался и молчал...

XI

После смотрин дело пошло вперед с изумительной скоростью: Хима вцепилась в Ивана Захарыча так крепко, что ее невозможно было оторвать, как рысь, вцепившуюся в свою жертву.

Иван Захарыч заполонил ее сердце и стоял перед ней неотступно всюду, улыбающийся, с маслеными глазами, умильно напевающий: «Я сижу и любуюсь тобою»...

— Матушка, Лукерья Минишна,— чуть не плача молила она сваху,— ну, как он, спаси царица небесная, раздумает, засмеют меня тогда на рынке... проходу не будет...

— Ну, где ему, девонька, раздумать,— утешала ее сваха,— он и думать-то, милая, сам не может, люди за него думают... Такая-то в нем ангельская кротость... чистая овечка. Будете вы с ним жить, как два голубя, ей-богу!..

И действительно, Иван Захарыч походил если не на голубя, то на мерина, на которого надели хомут, поставили в оглобли, запрягли, навалили воз и покрикивают: «Но, дьявол тебя заломай!» Соплюн и Лукерья Минишна забрали его в свои руки и распоряжались им, как малым ребенком.

— Ты, Иван Захарыч, молчи,— говорил Соплюн,— делай, что велят... Образ вот надо п-п-п-риобресть... Я тебе спасителя куплю за три с полтиной... Ларец оп-п-пять надо... трояк стоит. Мыльца там, духи, зеркальце, пудра, всяка штука... Денег дам... женишься, получишь по билету — отдашь... Отдашь, чай, а?..

— Помилуйте-с!..

— Ну, свадьба на ее счет... П-п-п-рямо из-под венца на дом к ней, там и бал... Проснешься п-п-п-о-утру — «Кто я?» Ан уж вот кто: хозяин!

Недели две спустя после смотрин Ивана Захарыча и Химу торжественно благословили образом и «запили». После этого Хима уже стала садиться к Ивану Захарычу на коленки. Иван Захарыч купил в рядах ларец и подарил ей... Хима, с своей стороны, вручила ему «роспись» приданого...

Все остальное время до венца Хима ходила как полоумная, не слыша под собой ног, и успокоилась только тогда, когда очутилась рядом с Иваном Захарычем, одетым в сюртук Соплюна, у «Введения на гати».

Народу в церкви было немного. Какие-то старушонки у порога, несколько пересмеивающихся мещанок, два солдата из соседних казарм, куда Хима спускала свеклу, какой-то забравшийся случайно и сильно выпивший мужичонка — больше никого...

Служил старый, едва волочащий ноги, заштатный, проживающий халтурой батюшка и такой же дьячок Агап Павлыч Боголепов. Этот Агап Павлыч пел и читал так чудно́, что, казалось, у него за щекой было что-то положено и мешало выговаривать слова молитв. Батюшку он не слушал, а все делал по-своему. В молитвах читал скороговоркой, точно булькая из бутылки, начала да концы, сокращая середину по своему усмотрению.

Шафером со стороны Ивана Захарыча был Очко, а со стороны Химы — какой-то страшно высокий молодой человек с кадыком, в светлопалевых навыпуск брюках.

Не то вдова, не то старая девица — очевидно дальняя родственница — то и дело поправляла у Химы сзади оборки на платье и что-то ей шептала.

Хима стояла, как свечка, усердно крестилась и была от сильного душевного волнения бела, как береста. Иван Захарыч, напротив, был красен, потел, боялся пошевелиться и всей фигурой напоминал человека, которого сейчас поведут вешать...

Когда Агап Павлыч вместе с батей запели «Исаия, ликуй» и Ивана Захарыча с Химой начали водить вокруг аналоя, чуть было не случилась беда: венец, который возложили на главу Ивана Захарыча, был непомерно велик. От страху, что он может свалиться, Иван Захарыч ходил позади батюшки ни жив ни мертв. Когда же их повели во второй раз с пением: «Святые мученици добре страдальчествовавше и венчавшеся», Иван Захарыч задел сапогом за половик и чуть не растянулся. Венец только чудом остался на голове...

Иван Захарыч перепугался, и со страху пот выступил у него еще сильнее.

В конце концов все сошло, однако, благополучно. Обряд кончился. Иван Захарыч и Хима поцеловались. Очко, молодой человек в светлопалевых брюках и не то вдова, не то девица поздравили их с законным браком...

После того молодые, отслужив Спасу нерукотворному молебен, отправились домой, где их с нетерпением поджидали и где все было уже давно готово.

XII

Молодые стали жить... За получкой денег, которые пали по билету на «бедную невесту», Хима отправилась в управу вместе с Иваном Захарычем, который, помня слова своего благодетеля Соплюна и будучи ему кругом должен, рассчитывал положить их к себе в карман; но случилось совсем по-другому.

Деньги староста отсчитал (все золотом) и отдал Химе. Та быстро схватила их и с ловкостью, достойной удивления, в один момент завязала в платок и спрятала куда-то под жакетку...

Выйдя за дверь на лестницу (где их поджидал какой-то корявый посланник от писарей, поздравивший счастливых супругов с получкой и которому Хима скрепя сердце дала гривенник), Иван Захарыч сказал жене:

— Как же насчет деньжонок-то? Соплюну я должен... отдать надо... Да и самому одеться... а?

— Подождет твой Соплюн... не велик барин,— ответила Хима,— и не отдадим, так наплевать. Что у тебя, расписка, что ли, дана?.. Денежки, Ванечка, беречь надо... Может, у нас с тобой дети будут... мало ли...

— Дык как же так?.. Должен ведь я... неловко... не по совести... Человек хлопотал для меня, старался... обул, одел, а я свиньей перед ним останусь... Нет, как хошь, а денег давай,— отдам я... мои ведь деньги-то... приданое... чай, выговорено было...

Хима засмеялась, скаля большие желтые зубы.

— А я-то чья? — сказала она.— Чужая, что ли?.. Небось жена... Пропью, что ли, боишься, твои деньги, украду?.. Небось целы будут... Соплюна боишься? Не бойся... говори прямо на меня: жена, мол, не дает, а тут уж я знаю, как с ихним братом обращаться... У меня много не наговоришь... Нет, не наговоришь! — повторила она, скаля зубы, очень похожая в этом виде на суку, у которой хотят отнять щенят. Иван Захарыч глядел на нее и мысленно в первый раз произнес про себя:

«Вот стерва-то!..»

— Кто его просил одевать-то тебя? — продолжала Хима.— Я бы и сама тебя одела... Тебе и покупать-то незачем одежду-то... у нас дома есть, после братца Иванушки осталась... носи на здоровье. Куда тебе ходить-то? Щеголять-то не перед кем... Сиди дома, работай, пей,

ешь... Выпить захотел — выпей дома, тихо, смирно, никто не видит... На что лучше?..

— Что ж мне, стало быть, так около твоей юбки и сидеть на привязи? — сказал Иван Захарыч.— Небось мне работу надо искать. То, се, с людьми поговорить... Соплюн вон говорил: «У меня для тебя завсегда работа будет... работай только...» Мне без него нельзя... Чем я буду работать-то... пальцем, что ли? Где струмент? У меня своего нету...

— Эка штука... купим! — сказала Хима.

— А верстак?

— А на что тебе верстак? И без верстака обойдемся... Положил две доски, вбил гвоздь — вот тебе и верстак... строгай, работай!..

— Чего?

— Найдем чего! Я да не найду! Я твоему Соплюну вперед пять очков дам... Много он тебе заплатил за работу, а? Не ты ему должен, а он тебе... Пусть он, сопливый черт, лучше и не спрашивает... глаза выдеру, осрамлю на весь город... Мне наплевать! Мне теперь, благо я замуж вышла, все равно... Я и в девках-то ихнего брата помахивала, а теперь я ему рта разинуть, слова выговорить не дам... заплюю...

Она опять засмеялась, а Иван Захарыч опять мысленно и со страхом произнес, глядя на богоданную жену:

«Вот стерва-то!»

XIII

Нечего говорить, что Хима забрала Ивана Захарыча в руки. Она очень скоро увидала и поняла, что муж слаб, бесхарактерен и мягок, как воск.

— Чистый ребенок,— говорила она иногда Лукерье Минишне,— облапошить его всякий мальчишка сумеет... Ты ему дело говоришь, а он вытаращит глазищи, смотрит, а сам об другом думает... Вот говорить об чем не надо — мастер... В ведомостях услышит, что читают,— это ему надо... Как турецкий султан живет,— ему дело, а коснись меру луку продать — отдаст за гривенник...

— А ты учи его, девонька!.. Долби ему в голову-то, как дятел носом по дереву долбит... небось вникнет...

— Да уж и то долблю с утра до ночи, языку иногда больно... Молчит. А спрошу: что я сейчас говорила?..

Разинет рот, хлопает глазами... не слушал, значит, об другом думал...

— Ну, а уствов-то своих противу тебя не отверзает, не грубиянит?.. Рук не протягивает?..

— Что ты, Лукерья Минишна, матушка!.. Да я, коли что коснется, бельмы выцарапаю... У меня не забалуешь!

Месяца три-четыре после свадьбы, пока Хима не затяжелела, жилось Ивану Захарычу вообще недурно; он даже стал входить во вкус и нагонять на себя тело. Все у него было готовое. Утром — чай; немного погодя, когда затопится печка,— завтрак, потом, еще немного погодя,— обед, а там опять — чай... вечером — ужин... после ужина, глядь, Хима торопливо готовит постель.. И вот, помолившись богу, Иван Захарыч лежит, укрывшись ватным, собранным из лоскутков одеялом, и, поджидая Химу, которая моет в лоханке мочалкой грязную посуду, думает:

«А ведь я — хозяин... Чудно, истинный господь! Что было и что стало?.. Кабы так завсегда,— помирать не надо!..»

Но вскоре наступило жестокое разочарование... Как только Хима убедилась, что она затяжелела, то как-то сразу превратилась в злую кошку, готовую всякую минуту взъерошиться и зафыркать.

Все пошло по-другому. Хима перестала заниматься делами и взвалила все на Ивана Захарыча, то и дело покрикивая на мужа:

— Поставь чугун-то в печку!.. Аль забыл, оболтус?.. Небось я тяжелая, как бы, спаси бог, чего не случилось...

Иван Захарыч покорялся, как голубь. Химе это, повидимому, пришлось по нраву, и она делалась все капризнее и злее...

Ивану Захарычу пришлось уже самому топить печку, варить похлебку, месить тесто, печь хлебы и — ужаснее всего — доить корову. Корова была, правда, смирная, но все-таки с непривычки ему было и страшно, да и совестно подступиться к ней. Однако делать было нечего — доить надо.

— Ты, Иван Захарыч,— посоветовала Хима, лежавшая в постели,— надень мою юбку. Она тебя обнюхает, подумает — я... а то, чего доброго, молока не сдаст.

— Позвать бы кого,— сказал Иван Захарыч.— Неловко... ей-богу, в руках это дело не бывало... боюсь!..

— Ну, вот, по людям бегать, платить за все! Подоить

дело не хитрое... Помажь ей соски-то салом, да и чиркай с молитвой... Чего стыдиться-то?

Надел Иван Захарыч юбку, голову повязал платком и, нарядившись таким образом, захватив ведерко, отправился на двор...

— Ты, смотри, не вздумай с левого боку под нее садиться,— крикнула ему вслед Хима,— не любит!..

А пока происходил разговор, Федул Митрич, молча заливавшийся смехом, соскочил с лежанки и, ковыляя, скрылся за дверь. Притаившись за углом, весь согнувшись от душившего его смеха, он некоторое время наблюдал за Иваном Захарычем, а потом побежал к Платонычу.

— Ты, Платоныч, сидишь тут, ничего не знаешь, а?

— А что?

— Доит, корову доит... хы-хы-хы! Заставила... хы-хы-хы! Ей-богу!.. Хы-хы-хы! В юбку свою нарядила, в платок, сидит дурак под коровой, чиркает... Пойдем, покажу... умрешь — не увидишь! Погоди,— завопил он, перестав смеяться и грозясь кулаком в окно,— погоди, сукин ты сын, узнаешь!.. Она тебя выдоит самого неплошь коровы!..

— Скоро, видно, на крестинах загуляешь...— сказал, смеясь, Платоныч.— Все, чай, поднесут банку... Будешь, бог даст, на старости лет нянчить внучка либо внучку... Вот и тебе дело найдется...

XIV

Приспел, наконец, час... Химу схватило. В домишке по этому случаю начался ад. Хима вопила без умолку:

— Ой, батюшки, смерть моя! Ай, батюшки, умираю!..

— Не умрешь, врешь,— злобствовал Федул Митрич, сидя вместе с Иваном Захарычем в огороде, куда их прогнали из дому,— не умрешь!..

— Ой, батюшки, смерть моя! Ой, батюшки, умираю! — несся из хаты вопль, слушая который Иван Захарыч рад был провалиться куда-нибудь в преисподнюю.

— А-а-а! — ехидничал Федул Митрич.— Что, брат, это, видно, не мутовку облизать?.. Так и надо... Ну-ка еще, ну-ка еще... Эва завыла!..

Около Химы работали две женщины: сваха Лукерья Минишна и старушонка-повитуха, маленького роста,

с горбом на спине, худая и сморщенная, как старый, высохший гриб... Обе, собственно говоря, ничего не делали. Сваха толкалась зря, как ступа, всплескивала, глядя на Химу, руками с выражением испуга и сожаления, а повитуха то и дело говорила Химе:

— Потерпи, матушка, потерпи, девонька... Бог терпел и нам велел... Крута горка, да забывчиста.

— Ой, батюшки, смерть моя! Ой, батюшки, умираю!.. Подайте ножик, за-а-режусь!..

— Поди дай ей ножик-то,— язвил Федул Митрич, обращаясь к Ивану Захарычу.— Хорошее бы дело... тебе бы, по крайности, отдышка, а то, помяни ты мое слово, съест она тебя живьем, проглотит, как щука пескаря...

Роды задались трудные. Химу не отпускало двое суток, и эти двое суток она вопила без передышки.

На вторые сутки к вечеру наконец-то «бог простил»... Хима «растряслась»: родился мальчик.

— Наследничка тебе, батюшка, господь послал,— сообщила Ивану Захарычу старушка.— Эдакой-то кряжистый, чисто репина... весь в тебя, все обличье твое... надо же такое сходство!..

— Хы! — засмеялся бывший при этом Федул Митрич,— корми, дурак... Погоди, взвоешь еще!

— Да что вы, тятенька, каркаете?.. Грех вам от господа,— возмутился Иван Захарыч.— Дочь свою кровную не щадите... срамите на всю подселенную...

— Хы-хы-хы, погоди... взвоешь!..

XV

В домишке стало шумно. Новорожденный орал день и ночь почти без перерыву. Живот ли у него схватывало от сосок, которыми Хима старалась заткнуть ему глотку, или от чего другого,— неизвестно, но только он орал, орал и орал. Хима сердилась и со злости плакала. Иван Захарыч брал его на руки и неловко «тюлюлюкал», приговаривая: «Ах, дуду, дуду, дуду! Потерял мужик дугу, на поповом на лугу, шарил, шарил — не нашел, взял заплакал да пошел...»

Федул Митрич, глядя на них, фыркал носом или, отвернувшись на лежанке к стенке, заливался про себя ехидным смехом...

К году Хима опять затяжелела и сделалась, по выражению Федул Митрича, злее черта... Кроме того, ее вдруг обуяла какая-то непомерная жадность, скаредность. Чай, сахар, хлеб — все это она заперла в шкаф, ключ от которого носила постоянно у себя в кармане. Чай стали пить только один раз, поутру, да и то не чай, а какую-то мутную водицу...

— Мы не господа,— говорила Хима,— сожрать-то что хошь можно... Вон люди-то как живут, на одной на сухой корке, и то живы... Другому бы давно помирать пора,— продолжала она, выразительно глядя на Федул Митрича,— а он неизвестно зачем живет... место занимает...

— Тьфу ты, окаянная сила! — плевался, вскакивая изза стола, Федул Митрич.— А я тебя, черта, кормил?.. Забыла?..

— Погоди,— обращался он к Ивану Захарычу,— дойдет дело, будешь ты у ней ноги мыть да эту самую воду пить... Погоди!.. Может, доживу — увижу...

Но дожить и увидеть ему не пришлось, и он вскоре помер от «распаления в легком», лежа на своей лежанке...

А Хима благополучно родила другого мальчишку...

Жизнь потянулась в домишке тусклая, с ребячьим писком, с грязью, недоеданием, попреками, руганью...

Хима совсем опустилась. Ходила с мокрым подолом, грязная, с худым желтым лицом, постоянно ругаясь, пронзительно визжа и трясясь над каждой монеткой...

Ивана Захарыча она считала своей неотъемлемой собственностью, с которой можно делать что угодно...

Жилось этой «собственности» плохо. Работы было совсем мало — кое-какая грошовая починка, деньги за которую приходилось получать с трудом... Дела по огороду не ладились: либо мороз хватит чуть не в июле, либо червь навалится, либо еще что... На рынке торговля тоже шла неважно, да и Химе бывало некогда торговать: заболел второй мальчишка и не шел с рук. Хима злилась, орала и на него: «Чтоб ты издох!», и на мужа.

— Кабы знала, что ты такой, лучше бы в девках десятерых родила, чем тебя дожидаться. Заел ты мою жизнь... Куда ты годен: ни в пир, ни в мир, ни в добрые люди...

Иван Захарыч молча слушал, и в его душу заползала тупая, мучительная тоска-злость.

— О господи, владыко живота моего,— шептал он, уходя от греха куда-нибудь в огород.— И догадало меня...

жил бы теперича один... А все Соплюн проклятый... Н-да, правду говорил старик: «погоди, узнаешь»... вот и узнал... Господи, владыко живота моего.

Иногда, очень, впрочем, редко, удавалось Ивану Захарычу отлучаться из дому в город, отнести работишку, получить за нее, если отдадут, деньжонки, купить лаку, клею, политуры или что еще нужное по его делу, в чем Хима ничего не понимала. Эти редкие отлучки были для Ивана Захарыча все равно, что для жаждущего в пустыне вода.

Он шел в трактир попить за пятачок чаю. Ему нужен был, конечно, не чай, а то, что он любил чуть не с пеленок: вся эта шумная трактирная жизнь, спертый воздух, хлопанье дверью, беганье половых, пронзительная трескотня канареек, галденье мужиков, чтение газеты... Он садился где-нибудь в сторонке, спрашивал пару чая и сидел, с наслаждением поглядывая по сторонам, слушая разговоры, забывая на время, что дома ждет его Хима с своими ругательствами, дети, попреки... тоска. В особенности, сидя в трактире, он любил слушать чтение ведомостей. Сам он читал плохо, почти что ничего не понимал. Другое дело в трактире, когда эти же самые ведомости читал кто-нибудь другой. Тут Иван Захарыч, подсев к чтецу, превращался весь во внимание, изображая собою в некотором роде знак вопроса.

Его интересовало все — и передовая статья, толкующая про какой-нибудь восточный вопрос, прославляющая могущество России, и фельетон, в котором описывалось, как «Лизу погубил русокудрый Иван». Пуще же всего интересовали Ивана Захарыча разные происшествия: убийства, грабежи, землетрясения, рождение необыкновенного урода, драки... Любил он также слушать объявления: «Ищу уроков. Согласен за стол. Расстоянием не стесняюсь. Зацепа, дом Кудинова, квартира номер пять».

— Ишь ты,— говорил, выслушав это, Иван Захарыч,— стало быть, дошел до дела... перекусить нечего. А небось благородный какой...

— «Последняя новость! — начинает чтец другое объявление.— Прелестные и прочные стенные часы, «ре-ре-гулятор» новейшего фасона, с отличною самоиграющей каждый час громкой и весьма приятной для слуха музыкой. Цена вместо тридцати рублей только пятнадцать»... Вот купи! — говорит он Ивану Захарычу.

— Гм! Где уж нам?.. До часов ли! Наши часы на небе,— мы по солнышку...

Ходил Иван Захарыч постоянно в один и тот же трактир, к Конычу.

Трактир был плохой, до казенки торговавший водкой открыто, а теперь торгующий ею же закрыто, то есть, подающий на стол водку в чайниках, под видом чая. В последнее время содержатель его — Коныч, длинный человек, похожий на отесанную шестерину, с глазами голодного пса, купил в Москве граммофон для привлечения публики и заводил его, стоя около двери или окна, для того, чтобы крик граммофона слышен был за версту»...

Из Москвы же выписал он для трактира две газеты. Как граммофон, так и газеты пришлись к месту. Граммофон слушали сначала, в особенности деревенские бабы, с каким-то священным ужасом, крестясь и говоря, что «не иначе, как в нем нечистый сидит», а газеты зачитывались, переходя из рук в руки, до того, что под конец превращались в какие-то серые, скомканные портянки, хотя, собственно говоря, по своему духу они были тоже не лучше портянок....

Посещая этот трактирчик, Иван Захарыч познакомился в нем с некоторыми, по его мнению, «порядочными» людьми... Эти «порядочные» люди были известные всему городу забулдыги: писарь из мещанской управы Сысой Петров, регент соборный Вуколыч да еще служащий из казначейства, которого звали довольно-таки странно: «Чертик». Собственно говоря, Чертик этот и точно напоминал видом своего знаменитого тезку... не хватало только рогов да хвоста...

У этих людей в трактире было свое любимое место, где они постоянно и садились. Здесь они спрашивали себе три пары чаю, газету и почти каждый день «доброго здоровьица» в чайнике. Самый старший из них по годам, писарь из управы, Сысой Петров, человек с круглым, как лепешка, лицом, плешивый, с огромными красными пальцами на руках, брал газету и принимался читать вслух замогильным, как в пустую бочку, голосом, как-то странно ухая, точно огромный филин, сидящий где-нибудь весной, ночью, в дремучем лесу и редко и монотонно, как маятник у больших часов, выговаривающий: ух, ух, ух, ух!

Вуколыч, соборный регент, толстый, небольшого роста человек, засунув в рот огромную папироску «пушку», слушал, глядя не на чтеца, а куда-то в сторону, на улицу, где ходили люди и проезжали подводы, либо на полового, стоявшего заложив руки за спину и прислонясь к печке; на бритом и постоянно изрезанном тупой бритвой лице Вуколыча ничего нельзя было прочесть... Застыло это лицо, точно какой-нибудь студень, да так и осталось.

Другое дело Чертик... Этот господин, казалось, состоял весь из пружинок, винтиков, колесиков, которые бегали и кружились без перерыва... Все в нем так и ходило! Ни рукам, ни глазам, ни бороденке — ничему не давал он покоя. По всему вероятию, его и называли по этой причине не чертом, кличкой в некотором роде солидной, внушающей мысль о чем-то большом, страшном и важном, а просто чертиком, то есть чем-то маленьким, беспокойным, юрким, как мышонок...

К этим-то «порядочным» людям, приходя в трактир, и подсаживался Иван Захарыч. Он с наслаждением слушал чтение газеты, разговоры по поводу прочитанного, с затаенной завистью, глотая слюни, глядел, как они пили «по махонькой» водку, курили и вообще вели себя как-то так ловко, вольно и смело, что, глядя на них, Иван Захарыч дивился и думал:

«Вот это публика!.. А мы что?.. О господи, владыко живота моего!.. Только и есть одна Хима да Хима... Выпить — и то не могу, не на что...»

Наконец, он свел с ними знакомство. Они, вероятно, заметили, что он постоянно, чуть не разиня рот, слушает их, и вот однажды, в какой-то праздник, когда Иван Захарыч, урвавшись из дому в трактир, по обыкновению сел на свое место и стал внимательно следить и слушать, соборный регент Вуколыч, казалось ничего не замечавший, поманил его к себе пальцем.

— Поди-кась сюда! — сказал он.

Иван Захарыч подбежал к нему на цыпочках.

— Вы меня-с? — спросил он.

— Тебя,— сказал Вуколыч,— ты что, Химкин муж, что ли, а?..

— Так точно-с.

— Ах ты, горе луковое!.. Бьет?

Иван Захарыч промолчал.

— Я ее, твою Химу-то, хорошо знаю,— продолжал Вуколыч.— Я весь город знаю. Бабенка она у тебя шустрая... я у ней лук беру; ты спроси у нее про меня, она тебе скажет... Она мне про тебя говорила: столяр ты ишь хороший... Зашел бы ты, братец, ко мне как-нибудь... Есть у меня, понимаешь, стул, кресло эдакое старинное... ножка сломалась, не починишь ли? Я б тебе заплатил, чего стоит. Водку-то пьешь аль жены боишься?..

— Пью-с!

— Пью-с! — передразнил его Вуколыч.— Бери стул, садись к нашему столу... Давай сюда свой прибор-то...

Иван Захарыч перенес со своего стола «прибор» и сел как-то боком на стул рядом с Вуколычем, необыкновенно радуясь в душе эдакому, как он думал, превосходному случаю.

— Налить, что ли? — сказал Вуколыч и посмотрел на Сысоя Петрова.

— Как знаешь,— сказал тот.— Дело твое. Тебе человек нужен, стало быть, потчуй..

Вуколыч налил из чайника в чайную чашку водки и, мигнув левым глазом, сказал:

— Лакай, столяр!.. За кресло зачту...

Иван Захарыч с жадностью давно не пившего пьяницы глотнул водку.

— А ты, брат, должно быть, по этой-то штуке профессор кислых щей? — сказал Вуколыч и, налив еще, прибавил:

— Помни! Две чашки по гривеннику за чашку — двадцать монет... Это тебе зачтется...

— Помилуйте-с... я... да я даром за всякое время,— прижимая левую руку к сердцу, сказал Иван Захарыч и глотнул еще...

Глотнув, он необыкновенно быстро размяк и сделался пьян. Все как-то сразу в его голове перепуталось и перемешалось. Он вдруг почувствовал себя необыкновенно смелым, развязным, разговорчивым...

— Мне наплевать на жену! — кричал он минут через пятнадцать — двадцать, стуча кулаком по краю стола.— Мне, главная причина, люди нужны, правда, закон божий... Я человек вот какой: я рубашку сыму. Истинный господь! Вы, господа, вот ученые... а я,— он согнул четыре пальца к ладони, а большой, с огромным вымазанным лаком ногтем, как-то чудно оттопырив и наставя его себе

в лоб, шумел: — а я столяр Иван Захарыч Даенкин!.. Да-а-а-енкин... Я — хозяин, и больше никаких...

Поздно вечером, совершенно пьяный, кувыркаясь по улицам, считая углы, добрался он до дому и здесь был встречен Химой...

XVI

Увидя его в таком состоянии, Хима залилась слезами... Иван Захарыч стоял перед ней, шатаясь и тыкаясь, уставя большой палец в лоб, и повторял, еле ворочая языком:

— Я... к-к-то?.. Я Даенкин!

Хима обозлилась, завизжала, начала прибирать «всех чертей» и, схватив Ивана Захарыча за волосы, поволокла по полу и принялась колотить...

— Разбойник ты!.. Окаянная сила! — вопила она, не обращая внимания на перепуганных детей.— Это ты что же затеял, а? Да нешто я тебя затем в дом-то приняла? Черт ты голоштанный, му-у-у-читель! Заел ты мой век, заел... чтоб тебя разорвало, дьявол проклятый!.. Вот тебе, вот тебе, на, на, на!..

— М-м-мы! — мычал Иван Захарыч, принимая сыпавшиеся удары.— Я... Да-да-а-енкин.

Утром, когда еще он спал, лежа на полу, и тяжело храпел, Хима схватила его за руку, и ударив носком ботинка в бок, закричала:

— Отвяжи повод-то!.. Ваньк, а Ваньк, отвяжи повод, храпит жеребец-то!..

Иван Захарыч открыл глаза и, увидя Химу, вспомнил и понял, в чем дело. Ему сразу сделалось необыкновенно гадко и обидно.

— О господи,— произнес он про себя,— опять, значит, то же...

— Ты что ж это,— завопила Хима,— а? Ты пьянствовать... по миру меня пустить хочешь, суму на меня надеть, а? Кто щенят-то кормить станет, а? На вот, возьми их себе!.. На вот, на, на!..

Она схватила спавшего мальчишку и начала им тыкать Ивану Захарычу «в рыло»...

— Пусти младенца-то,— с тоской сказал Иван Захарыч.— Дура... испугала...

— Сам ты дурак! — завопила еще шибче Хима.— Сам ты дурак, а не я!..

Ребенок с испугу вопил во всю глотку. Хима бросила его на то место, откуда схватила, и принялась плакать, ругаясь при этом самыми отборными словами базарного лексикона...

XVII

«Эх, кабы не дети! — иногда ночью, лежа на лежанке, где обыкновенно пребывал покойный Федул Митрич, с тоскою думал Иван Захарыч.— Плюнул бы я, да и ушел куда глаза глядят... Черт бы с ней, не жалко... О господи, кабы не дети!..»

Детей своих (а число их все прибавлялось) он любил сильно и сильно болел за них душою, когда обозлившаяся Хима била их и ругала, не стесняясь в выражениях.

— Что ты? — говорил он ей.— Побойся бога... кого ругаешь?.. Ругай ты меня, сколько влезет, ударь, коли хошь, сорви на мне свою злобу... А их-то за что? Что они понимают?.. Эх ты, дикая!..

— У-у-у, черт бы вас заломал всех! — вопила Хима,— передохли бы вы от меня, собаки... Му-у-у-чители, черти! Зачем вы мой век заели, окаянные!

— Да что ты все об себе-то? — говорил Иван Захарыч.— Чего уж теперь об себе думать, об них надо думать...

— Ну, и думай, плешивый черт!.. Сорока лет нету, а уж плешь вон какая!.. Думай!.. Ты ковал, ты и поезжай...

И Иван Захарыч думал. Он думал о том, куда их пристроить, как вывести в люди... Что из них будет, когда вырастут, в какое ученье отдать?.. Вспоминалось ему, глядя на них, собственное детство и ученье...

— О господи, владыко живота моего,— с мучительной тоской на сердце шептал он,— все одно и то же, все одно и то же... мука! Куда ни кинь, все клин!..

Он мечтал видеть их хорошо одетыми, богатыми, веселыми... Мечтал видеть такими же румяными, полными, красиво и тепло одетыми в красивые мундирчики со светлыми пуговицами, с ранцами за плечами, как те «городские» дети, которые по утрам идут учиться...

«Счастье им,— думал он.— Деньги всему делу голова... Нашему брату где же?.. Наших в мастеровые куда-нибудь, в сапожники, в портные, столяры, коробочники... А то вот по торговому делу, в лавку... Н-да, им хорошо... благородные... О господи, владыко живота моего!..»

И ему никогда не приходило в голову задуматься над тем, почему им счастье...

— Стало быть, так уж от бога положено,— ответил бы, наверно, Иван Захарыч.— Не нами заведено, не нами кончится... Всех не уравняешь... Господа — так господа, чернядь — так чернядь... Мысленное ли дело нам да с ними!..

Дети его тоже любили. В особенности старший, черноволосый, курчавый, пузатый мальчуган Гришка... Он с какою-то особенной жалостью ухаживал за Иваном Захарычем в то время, когда тот бывал «выпимши»... а это — увы! — стало повторяться все чаще и чаще...

Озлившаяся Хима стала морить его голодом, стала даже запирать от него хлеб... Случалось, что с похмелья он по целым суткам не брал, таким образом, в рот ни единой крошки... Хима делала вид, что совсем не замечает Ивана Захарыча.

Зато с детьми в это время она делалась необыкновенно добра и ласкова...

— Ребятушки!.. Де-е-тки! — кричала она от печки «ангельским голоском», в котором слышались несосветимая злоба и ехидство.— Нате-ка я вам по яичку испекла... Нате-ка... кушайте, да меня слушайте!

И, немного помолчав, снова кричала тем же голоском:

— Ребятушки!.. Де-е-тушки!.. Где вы там?.. Нате-ка вам по лепешке... Не взыщите уж, пшеничных нету, ржаные... и за эти-то благодарите бога... Луку вот продала две меры — муки взяла... Кушайте, детушки, кушайте! Милые вы мои, что мне с вами делать-то будет, кушайте!..

— А тятьке-то забыла?..— говорил иной раз Гришка.

— А-а-а, тебе тятьку жалко! — набрасывалась она вдруг, вся переполненная злобой, на мальчишку.— Тебе тятьку, пьяницу, мошенника, жалко, а мать не жалко, не жалко?.. Вон как она для вас, разбойников, на все части рвется... не жалко? Вот тебе тятька! Вот тебе другой! Вот тебе тятька! Вот тебе другой!

Лежавший где-нибудь, уткнувшись в стенку или в пол, Иван Захарыч вскакивал и начинал отнимать малого, совершенно не обращая внимания на сыпавшиеся на него со всех сторон и куда попало удары...

Отбив мальчишку, Иван Захарыч, с мучительной тоской на сердце, трясясь всем телом, готовый плакать,

шел куда-нибудь на сушило и ложился, закрываясь с головой...

А спасенный от побоев Гришка, улучив удобный момент, приходил к отцу и, наклонившись, говорил ему шепотом:

— Тять, а тять!

— Что?

— На тебе хлебца... унес я... небось поесть хочешь?..

Иван Захарыч брал хлеб и, чувствуя, как у него на душе закипают и подступают к горлу радостные и вместе мучительные слезы, молча обнимал сына, прижимал к груди и шептал ему сквозь слезы:

— Умница ты мой, умница... Гришутка ты мой!.. Пожалел отца... Любишь меня, а?.. Любишь?..

XVIII

Посещение трактира, выпивка при всяком мало-мальски удобном случае стали повторяться все чаще и чаще. Дружба с Сысой Петровым, Вуколычем, Чертиком росла, как говорится, не по дням, а по часам.

Иван Захарыч подошел к этой компании так хорошо, как ключ к замку. Его полюбили. Полюбили за то, что он в пьяном виде делался вдруг каким-то другим человеком, «чудаком» и смешил их своим задором, своим криком, словами, которых в трезвом виде не сказал бы...

— А ну-ка, Даенкин... ну-ка, что ты скажешь, а? Ну!.. Да ну, брат, валяй! — подзадоривали его, и преобразившийся Иван Захарыч начинал «валять»...

— Го-го-го! Го-го-го! — ржали, глядя на него, приятели.— Ай да Даенкин!.. Вот он Златоуст-то где!.. Вот он, го-го-го!..

— Я за правду! — орал Иван Захарыч, тыча себя большим пальцем в лоб.— За правду я глотку перерву!.. Я — Даенкин, и больше никаких!..

Видя все это, Хима просто лезла на стену. Ругалась, кричала, плакала, дралась... Иван Захарыч большею частью терпеливо и безмолвно выслушивал оранье жены, стоически твердо переносил ее побои и если возражал иногда и говорил что-нибудь, то единственно в защиту детей...

Надвинулась между тем, как туча в вёдро, японская

война, и «всколыхнулось болото стоячее»... По соборам, по монастырям, по церквам начались молебствия. Дьяконы гремели во всю пасть: «И всероссийскому христолюбивому, победоносному воинству мно-о-о-огая лета!..» В газетах, особенно в газетах-портянках, которые слушал Иван Захарыч, завопили о российском могуществе... Патриотизм вдруг обуял всех, точно кто неожиданно взял да завязал каждому глаза платком. Появились карточки «героев»... Замелькали и запестрели всюду их имена. Замелькали и запестрели мудреные названия мест и местечек, где происходили их «геройские» подвиги...

По церквам начались сборы на раненых, сборы солдатам на махорку, сборы на флот, Куропаткину на икону, и т. д., и т. д. Раздавались громоносные речи... Бывшие до войны просто патриотами, во время войны стали сверхпатриотами... Появились в продаже картинки с надлежащими подписями в прозе и стихах... Стали появляться на улицах, должно быть, еще николаевские «калеки»: бритые, старые, страшные... Этим бывшим когда-то воинам охотно подавали... Женский пол вдруг стал выказывать военному сословию необыкновенную симпатию... Даже городовые, именовавшиеся до того в просторечии «селедками», и те вдруг почувствовали себя не селедками, а, можно сказать,— осетрами... Слово «мы» стояло всюду, как туман над болотом...

Можно себе представить, как все это подействовало на Ивана Захарыча. Он положительно не находил себе места. Не знал, как дождаться поезда, приходившего в час дня и привозившего новые газеты.

Как только подходило время к часу, он бросал все, какая бы ни была у него спешная работа, и, не обращая никакого внимания на Химу, бежал к Конычу...

Все эти мудреные названия, разные там Фу-заны, Ляояны, Тюренчены и пр., он в скором времени вытвердил, как «верую во единого бога», и сыпал ими так же свободно, как какими-нибудь Карповками, Ивановками и Ключевками...

Всех командующих знал наизусть... Особенной его любовью и уважением пользовался почему-то генерал Каульбарс...

— Вот у этого,— говорил он, показывая на карточку «героя»,— шарик работает... Н-да-с! Помяните мое слово, начудит он чудес... Эх, да уж и раскатаем мы япошек

проклятых! — восклицал он, потирая руки.— Всех в море попихаем... Истинный господь, передавим, как клопов! У нас, слава тебе, господи, есть где взять... Мало? — еще пошлем... Нешто мысленно?.. Мы... мы... Эва, они, герои-то: Куропаткин, Мищенко... А уж этот,— тыкал он снова пальцем в Каульбарса,— этот всем героям герой!

Сысой Петров и Вуколыч относились к его словам сочувственно, и только один Чертик протестовал, чем и доводил Ивана Захарыча чуть не до слез.

— Погоди,— говорил этот юркий человек, ехидно улыбаясь и щуря левый глаз.— Погоди, столяр, не торопись... успеешь нарядиться-то, было бы во что!..

— Да помилуйте-с! — восклицал Иван Захарыч.— Да неужели же мы-ы?.. Да нешто мысленно?.. На-а-ас?.. Да мы, слава тебе, господи... сколько нас-то, а?.. Да вы учтите!..

— Велика Федора, да дура,— говорил Чертик,— мы, мы!.. Где уж нам! Ты, Елисей плешивый, с себя пример возьми: с Химой вон со своей не сладишь. Так и все мы: характеру у нас нет, вот чего... «Мы, да мы...» А что такое мы?.. Эх, молчи уж лучше!

Но Иван Захарыч не молчал. Напротив, он гордо носил голову и, в особенности выпивши, неистово орал «мы», тыкая себя пальцем в грудь.

Горько и прискорбно пришлось ему разочароваться. Сначала он все как-то не верил роковым неудачам.

— Обождите,— говорил он в тон Куропаткину,— потерпите сколько-нибудь, сделайте одолжение... Нельзя же вдруг!.. Это вам не облупленное яичко... Дайте, пожалуйста, взяться хорошенечко.

Но вскоре он замолчал и стал как будто с опаской произносить самое слово «мы», которое, очевидно, теряло свое гордое обаяние.

Да и все как-то вдруг притихли и чего-то поджидали. Прекратились пожертвования, затихли исступленные вопли патриоток, исчезли из продажи картинки, изображающие поражения японских войск, имена «героев» стали произноситься с оттенком горечи...

— Ну, что? — смеялся иногда торжествующий Чертик.— Говорил ведь я тебе, Елисей-пророк, погоди орать... Моя правда!.. Вот тебе и япошка косоглазый!.. Ну, что же твой Каульбарс? Работает шарик у него? А?

Иван Захарыч махал рукой.

XIX

Война кончилась. Пронеслась, как буря, перебудив спавших, одуревших и оглохших от спанья... Какая-то огромная, могучая волна поднялась с востока, оттуда, где пролились реки крови, и грозила затопить Россию...

Все старое пошло насмарку... Всем как-то стало вдруг понятно, что «мы» отстали, что все у нас нуждается в починке, что так жить нельзя.

Начались забастовки... Закурились дворянские гнезда, полетели в окна со звоном и треском старинные вазы, статуи, картины... Коверкалась и ломалась без пощады старинная дедовская мебель... С хохотом опрокидывались и ломались шкафы с посудой, корчились и погибали в огне дорогие и редкие книги...

Жестоко раненный зверь заметался по сторонам, не зная, кто его ранил, кому мстить за рану... В слепой злобе он бешено грыз около себя землю...

Иван Захарыч ошалел тоже и никак не мог постигнуть, что это такое творится... Все раньше было тихо, смирно... все было по-хорошему... «мы ваши, вы наши»... начальство уважали и боялись, служили молебствия, говорили только про свои обычные житейские дела... И вдруг вместо привычных слов и речей послышались какие-то незнакомые, чудные, непонятные слова: революция, конституция, партии... Все вдруг перестали бояться, точно с цепи сорвались, как думал Иван Захарыч... Мальчишки — и те вместо «Сударыни» стали петь: «Вставай, подымайся, рабочий народ, иди на врага, люд голодный!»

А на другой день после 17 октября Иван Захарыч был на площади, где служили молебен, и слушал, как кричали «ура»... Молодые девицы и кавалеры «из благородных» пошли по городу, неся красный флаг и распевая какую-то незнакомую песню. Потом Иван Захарыч видел, как толпа злой роты, наполовину пьяная, под командой купца Соткина, торгующего иконами, и его приказчика — Сашки-Собаки, тоже с криком «ура», бросилась на этих молодых девиц и кавалеров и принялась их бить, крича что-то про «веру, царя и отечество»...

Ничего не понимал Иван Захарыч и только дивился и ахал...

Тем временем настала первая Дума... Газеты пошли в ход опять так же бойко, как во время войны, и опять так же, как во время войны, Иван Захарыч совсем отбился от дому...

Дума, суть которой объяснил ему Чертик, заинтересовала его гораздо больше, чем война. Он живо заучил думские клички: «кадеты», «социал-демократы», «трудовики», «октябристы», «умеренные», «левая», «правая» и т. д., и т. д.

Сам Иван Захарыч тотчас же пристроил свои симпатии к «крайней левой»...

Дума эта, как известно, была «горячая»... Говорились от всего сердца такие речи, каких больше, по всему вероятию, мы долго не услышим... Чувствовались в этих речах глубокая любовь к народу, желание помочь ему, открыть глаза, вывести на новую дорогу.

Слушая чтение этих речей по газетам, Иван Захарыч чувствовал, как что-то закипает у него в груди и подступают к горлу слезы...

— Детям-то нашим, может, бог даст, другая жизнь будет,— говорил он.— Авось бог даст...

— Дожидайся, Елисей-пророк! — с ехидством говорил Чертик.— Ничего не будет... Так они и допустят!

— Да нешто мысленно, помилуйте... сам государь...

— Вот погоди, увидишь... Ничего нам, брат Елисей, с тобой не будет... Как мы есть с тобой мещане голые, так и останемся... Вон об мужичье как орут: земли им, учить их... А об нас что ты слышал? А? То-то, Елисей плешивый!.. Про нас, брат, забыли...

— Вспомнят... мы такие же люди, все равны у царя...

— Вспомнят, как к тебе в карман влезть... Это вот верно... За то подай, за другое подай! Рвут изо рта, бьют и плакать не велят... Ну их к черту и с Думой-то! Пей вот лучше.

Но Иван Захарыч Чертику не верил. Приходя домой, он сажал к себе на коленки Гришутку и с умилением говорил, гладя его по голове:

— Ну, Гриш, говори: слава богу! Дождались!.. Дает вам господь счастье... совсем другая жизнь ваша противу нашей будет... Помирать мне будет легче, буду знать, что вам жить придется не по-нашему...

— А по-каковски же? — спрашивала Хима.— По-каковски же, пьяный ты черт, а?..

— Ну, ты, Хима, ничего не понимаешь...
— Где же мне?.. Прафесар какой! Чего ты ребенку-то внушаешь, а?
— Ничего я не внушаю... говорю только: хорошо, мол, вам будет... вольные будете, не как мы...

XX

— А об нас все нету? — каждый раз, выслушав чтение газеты, спрашивал Иван Захарыч.
— А об нас, Елисей, нету,— смеялся Чертик,— и не жди, не будет!..
— Ну, как не будет,— будет. Я собственно не об себе... Мне что, мне все равно, я привык... Я об детях... Им бы... ученье вот, пято-десято... как бы это все поскладней... облегчить бы... Дивное дело: про всех говорят, пишут, а про нас нет ничего... чудеса!
— Да, брат, чудеса, сосновые колеса́, и катятся, и колются... Ничего не будет никому... поболтают только... Кому надо об нас, мещанах, думать? Нас, брат Елисей, за людей не считают... Кто мы такие, а? Знаешь? Мы, брат, самый низший разряд городского населения, самая то есть голь, самая шваль... «Смесь племен, наречий, состояний»... Кого только нет у нас! Тут и дворовые, бывшие холуи, и из жидов, и из цыган, и из церковных причетников, выгнанных за негодностью из духовного звания... Кто никуда не годится — вали в мещане... Незаконнорожденные, подкидыши, непомнящие родства, иноверцы, принявшие крещение... вали валом, опосля разберем!

Плохо, Елисей, наше дело... мы забытые... Ужасное, брат, это слово... Поставили над нами крест — и кончено. Словно и нет на свете... Мы и голоса не имеем, потому что мы дики, несчастны, жалки, задавлены нуждой, всякого боимся... передохни мы все,— никто и не заметит...
— Эх, друг ты мой милый, Елисеюшка! — продолжал Чертик с необычным чувством.— Что мы такое, мещане? Живем мы на краю города, на самых подлейших, свиных, непролазных от грязи улицах... Темно, брат, и дико живем... А чем живем? Возьми хоть торговца мелкого... Да это, брат, тот же нищий, только прикрытый своей убогой торговлишкой от стыда, как голый рогожкой... Каждый

день — и в непогоду, и в холод, и в жар — торчит на площади, добывает себе на хлеб... А мещанин-ремесленник? Об этом тебе и говорить нечего,— вот ты сам налицо... Хорош? Ну куда ты годен?.. Какой ты ремесленник? Тебя, брат, еще в ученье искалечили и всю душу из тебя вышибли... Ты вон давеча говорил: «Не об себе, мол, хлопочу, а об детях»... Верно, брат, жалко детей... Вон они бегают,— рваные, босые, с волосищами копной, в которой вши копошатся, как бисер... бледные, малосильные... Вон они волокут из починки какой-нибудь диван, комод, кровать... Живут хуже собачонок, недоедая, недосыпая, в грязи, холоде, жаре, вони... Получают то и дело подзатыльники, затрещины, матюги, бегают за водкой, жадно курят где-нибудь за углом отвратительные окурки, ругаются, портятся... Н-да, брат, штука! Пройдет он эту школу, выходит в жизнь не человек, а калека, убогий душой и телом... Все в нем есть, кроме добра да правды, то есть кроме самого важного, чем только и жив человек... Станет он работать на хозяина где-нибудь в подвале, на вонючем дворе, в грязи, как свинья, без света и воздуха, за ничтожное вознаграждение... Получит заработанные деньги,— куда их деть? Ну, куда же?.. Конечно, сюда же, в трактир... Напьется пьяный, блюет, сквернословит... Эх-ма!

Возьми теперь приказчиков по лавкам... Сладка их жизнь!.. Ни кола, ни двора, в праздник еще больше работы... «Сам» по большей части черт, ни присесть, ни вздохнуть... торчи в лавке с утра до ночи в холод и в жар... Ни радости, ни просвета... Мытарствуют над ним, как хотят, платят ему, как хотят... Захотят прогнать,— ступай к черту без разговоров.

— То-то вот и есть,— уныло закончил Чертик,— а ты толкуешь: Дума! Дума! Живем мы, друг, как мухи, и умираем, как мухи, без следа, забытыми... И никакая нам, Елисей, Дума не поможет; пока сами не подумаем себе прав добывать, нечего на людей надеяться...

— Как добывать-то?

— Как? А вот как,— сказал, сверкнув глазами, Чертик и взял себя правой рукой за глотку.— «Отдай, а то потеряешь!..» Вот как!

— А ты, Чертик, потише,— басом, словно в пустую бочку, говорил ему Сысой Петров.— Что орешь?.. Знай край, да не падай!..

XXI

Вскоре Думу эту разогнали... Иван Захарыч недоумевал...

— За что? — спрашивал он у Чертика.— Кажись, все честно, благородно, по-хорошему... старались люди... За что ж это, а?..

Вместо ответа Чертик высовывал язык и несколько раз стукал по нем мизинцем правой руки...

— Стало быть, другую теперь соберут? — спрашивал Иван Захарыч.

— Соберут, погоди, и другую...

— Может, другая-то и об нас вспомнит, а?

— Непременно! Первым долгом об нас... Пожалуйте, господа мещане, ваша очередь! Извините, поопоздали с вами... Вам что будет угодно? Живете бедно? Не беспокойтесь, пожалуйста! Мы сделаем: разбогатеете вмиг! Детей своих учить желаете? Сколько угодно-с! Пожалуйте в любую гимназию бесплатно... Эх, брат Елисей, жди, верь и надейся...

И, посмотрев на Ивана Захарыча, Чертик заговорил уже совсем другим тоном:

— Чудак... да брось ты думать об этом! Смотри, похудел, пьешь здорово, от работы отбиваешься... Чего тебе эта Дума принесет?.. Небось дома-то тебя съели...

Иван Захарыч молча махал рукой, съеживался и делался как будто бы меньше.

Дома его действительно «съели». Осатаневшая Хима била детей, проклинала свою жизнь, кляла на чем свет стоит Ивана Захарыча, Думу, газеты, водку, Сысой Петрова, Вуколыча, Чертика, рвала на себе волосы и, ошалев совершенно, в бессильной злобе падала где попало и принималась выть во всю глотку...

— Истинный господь,— вопила она,— жаловаться пойду к исправнику к самому... Что ж это, скажу, ваше благородие: мужа от дому отбили, об деле забыл думать, в забастовщики записался... Так и скажу, ей-богу! Он из тебя душу-то вышибет... сво-о-лочь... работал бы, как люди... Кабы ты был мужик-то настоящий, да с такой-то женой... мы бы с двух-то бы рук денежки лопатой бы загребали... Давно бы уж каменные палаты поставили. Су-укин ты сын! Забастовщик, богоотступник!.. Ни в бога, ни в царя не стал верить... В храм господен на аркане не за-

тащишь, а в трактир газеты читать бежит, как кобелек... Сво-о-о-лочь! Де-е-е-тушки вы мои милые, что нам делать-то? Наденем мы суму, пойдем под окошками... а-а-а! А-а-а!

— Эх-ма! — с тоской, как-то безнадежно махнув рукой, произносил Иван Захарыч.— Не миновать мне поискать бочага, который поглыбше... Не миновать!..

И уходил куда-нибудь с глаз долой...

XXII

Собралась и приступила к действию вторая Дума. Иван Захарыч снова ожил. Снова начал внимательно слушать чтение газет и задавал вопросы.

— Об нас все нету?..

— И не жди, не будет,— говорил Чертик.

Вторая Дума повела дело немного иначе, чем первая. Как-то само собой стало чувствоваться, что ветер подувал с другой стороны, и благодаря этому паруса, на которых бежало судно, все исхитрялись ставить и так и сяк. Да и интерес к Думе как-то сразу сошел наполовину.

— И дивное дело! — восклицал Иван Захарыч.— Не пойму я никак, чего они спорят, разговоры разговаривают?.. Делали бы, как лучше... Об чем спорить-то? Дели все поровну, тебе хорошо, и мне хорошо, тебе это надо, а мне это надо... У тебя палец отруби — больно, и у меня отруби — больно... равняй всех... дели поровну!..

— Эх ты, чего захотел! — смеялся Чертик.— Жирно, брат, крошишь — дьячка подавишь... Сравняют они тебя, держи карман... Нет, брат Елисей, они за свое держатся и зубами и ногами... Не верь им, чертям, ни в чем... Ты мне верь, я не обману... я свой, а они, брат, на тебя глядят, как барыня на овечку... «Ах, глядите, какая овечка»... А попробуй-ка перед ними высморкаться двумя пальцами, да брось об пол, что они скажут? «Мужик, свинья, невежа»... А ведь не поймут того, что я, можно сказать, со дня своего рождения об употреблении носового платка и понятия не имел. Помню я раз, давно уж это было... жили мы тогда с отцом в сторожке... Лес он караулил у одного дьявола богатого... Сторожка около дороги стояла. Вот как-то раз ночью стучат в окно... Сам становой, да еще и с дочкой; перезябли, заехали погреться... Ну, понятное дело, отец колесом перед ними: «Пожалуйста! Яичек не

угодно ли?..» То, се... Лег это он, становой-то, на лавке, растянулся... «Хорошо!» — говорит... А дочка его, барышня эдакая, вроде спички, соплей перешибить, прищурила глазки и говорит отцу: «Папа, как это они умеют так топить тепло?» Вопрос сам по себе простой, а вот поди ты: остался он у меня в памяти на всю жизнь... Мальчишка я тогда был, а понял из этого слова «они», что мы с отцом для них люди особые, на них самих непохожие... Эх, Елисей, не надейся на князи и сыны человеческие... Чем больше тьмы у нас, тем для них жить лучше!

— Так как же быть-то? — с тоской спрашивал Иван Захарыч.

— Не знаю.

— Отстранить надо!

— Как ты их отстранишь?

— Силком-с! — выкрикивал Иван Захарыч, и глаза его загорались.

— Ну вы, философы! — вступался в разговор Сысой Петров.— Потише!.. Смотрите, как бы вас самих не отстранили... Ну вас! Наживешь еще беды с вами... Пейте вот,— это ваше дело.

XXIII

Под влиянием разговоров с Чертиком, слыша постоянно: «они не допустят»,— Иван Захарыч совсем переменился и весь переполнился ненавистью к этим «они», которые «не допустят»...

С ним стало невозможно и в некотором роде даже опасно говорить. Он орал в пьяном виде, бия себя в перси, никого не стесняясь, такую «крамолу», что даже сам Чертик уходил куда-нибудь, а трактирщик Коныч не один уж раз делал ему замечания и грозился выставить в один момент!

— Им что,— орал Иван Захарыч,— им, знамо дело, одно и нужно: принизить нашего брата, в грязь втоптать, придавить... Лежи, мол, такой-сякой... жри свиной корм... работай, ворочай, работа дураков любит... У-у-у, черт вас задави!

А после того, как разогнали и вторую Думу и собрали «господскую» — третью, Иван Захарыч окончательно, по его мнению, уразумел, в чем дело, окончательно потерял всякую веру в Думы и ругал их на чем свет стоит...

XXIV

Выскочив под вой и ругань Химы во двор, Иван Захарыч постоял несколько времени, прислушиваясь к неумолкающему крику, несшемуся из хаты, и с тоской и кружением в голове начал набирать вторую охапку дров «для подкидки»...

Его тошнило, и он чувствовал, как все у него и внутри и снаружи дрожит и трясется... Он силился восстановить в памяти, что было вчера, но не мог припомнить, так как был сильно пьян и все «заспал». Какая-то смутная тоска вместе со злостью на самого себя ныла в его душе. Что именно орал спьяну,— он не знал, но чувствовал, что, наверно, орал нечто такое, чего орать вовсе бы не следовало.

— Э-эх,— вздыхал он, набрав охапку дров и неся ее к двери,— натворил я небось чудес! И черт меня догадал язык распускать. О господи, владыко живота моего... тоска-то, а?..

Он вошел в избу и, стараясь не шуметь, положил потихоньку новую охапку на пол. На шестке у Химы стояла лампочка, освещавшая шесток, чело, печурку сбоку и бросавшая свет внутрь самой печки, куда Хима, страшная, неумытая, простоволосая, влезая чуть не наполовину, укладывала в клетку дрова...

— Чего ж ты стал-то,— набросилась она на Ивана Захарыча,— как пень горелый?.. Делал бы что-нибудь!..

— Да что делать-то?.. Делать-то нечего...

— На вот, коли лучину... лешман... мучитель!..

Иван Захарыч накалывает лучину и, сделав это, опять не знает, куда себя пристроить.

В оконцах между тем начинает белеть...

— Свет,— говорит он,— разбудряет...

Хима молчит и, уложив дрова, подсовывает под них лучину и затопляет... Иван Захарыч стоит и тупо, мутными глазами глядит, как огонь охватывает сперва лучину, как она коробится, трещит, как начинают потом заниматься дрова, как стелется по печке и выходит сквозь чело в трубу темносерый густой дым...

— Тоска!..

Начинают просыпаться дети... Одна девочка плачет... Хима подходит к кровати, ощупывает плачущую, перепу-

ганную девочку, перезябшую, трясущуюся худеньким тельцем, и вдруг кричит во всю глотку:

— Ты, стерва, опять, а?.. Ты, сволочь проклятая, опять!.. Где я на вас белья-то напасусь, а?.. Двадцать у меня рук, что ли, стирать на вас, сволочей... разорваться мне?.. Ах ты, стерва!.. Вот тебе, вот тебе! У-у-у! Дьяволы проклятые... му-у-у-чители!..

Девочка плачет сильнее и еще больше трясется... Хима сдергивает с нее мокрую рубаху, похожую на грязную тряпку, и несколько раз бьет девочку, крича при этом так, что звенят стекла:

— Молчи!.. Молчи, я тебе говорю, стерва, запорю, молчи!.. А-а-а, ты не слушаться!.. Ты не слушаться!.. Вот тебе!.. Вот!

— Да будет тебе,— говорит Иван Захарыч.— Ну, что ты ее?.. Нешто она нарочно?.. Она сама не рада...

И, отстранив Химу, он берет трясущуюся девочку на руки, укутывает одеялом, садится на табуретку и начинает ласкать, приговаривая:

— Не плачь, доченька, не плачь, матушка... Эна, гляди, какая борода-то у меня... эна, гляди! Не плачь, матушка, не плачь, доченька... Я тебе ужо конфетку принесу... вот эдакую, ей-богу... не плачь, нишкни!

Между тем дрова в печке разгораются все шибче... Нагорают уголья... Хима разводит ими самовар и ставит в печку чугун с картошкой...

— Мука вся на исходе,— кричит она,— еще на одни хлебы — и вся!.. Пьянствуй больше!.. Скоро доведешь до сумы с Думой со своей... Хоть бы тебя, черта, поучил кто хорошенько, ей-богу... Бока бы помяли... Может, перестал бы тявкать-то... Нажрется винища, вылупит бельмы-то свои поганые, совиные и орет не знамо что... Это нехорошо, да это не так... Глупей его ишь начальство-то... Ах ты, зверь живодамский... молчал бы уж, как таракан в щели... Погоди, дождешься, погоди... будь я сукина дочь, коли тебе бока не намнут!.. И хорошее бы дело, ей-богу, рада бы я радешенька была...

Иван Захарыч молчит, лаская припавшую к его груди девочку, слушая, как бьется у ней сердчишко — тук-тук! тук-тук! — точно кто-то стучит у ней там в груди маленьким молоточком... Она всхлипывает все реже и реже, реже вздрагивает худеньким тельцем...

Ему вдруг нестерпимо делается жалко эту девочку,

других детей, себя самого, всех... Он чувствует, как к горлу лезут слезы и душат...

«О господи, владыко живота моего,— мысленно восклицает он,— что ж это за жизнь такая!.. Тоска-то, господи, тоска-то, тоска!..»

XXV

Выпив две чашки жидкого, пахнущего мылом чая, Иван Захарыч принимается за дело... Начинает чинить какую-то старую, развалившуюся, облупленную этажерку... Дело у него не спорится: трясутся руки, кружится голова, и то замирает, то начинает необыкновенно громко и часто, с перебоями, стучать сердце... Хима возится около печки, стуча ухватами, кочергой, ругается и то и дело харкает со злости куда ни попало...

Работая, Иван Захарыч беспрестанно поглядывает на часы... Еще рано, только десятый в начале... До прихода поезда еще далеко, а раньше двенадцати уйти нельзя... неловко... Иван Захарыч сознает, что он виноват и что ему уйти раньше никак нельзя.

«Загрызет,— думает он,— съест, как узнает, что я все денежки ахнул... О господи, а ведь узнает! И дернул меня черт!.. Неужели же не похмелят?.. Кажись, я вчера, слава богу, не жалел, всем подносил? — задает он себе вопрос и сейчас же отвечает на него: — Поднесут... не такие люди... Ох, да и начудил я,— небось на возу не увезешь...»

Медленно, аккуратно, как-то даже осторожно, точно охотник под сторожкую птицу, двигаются, ползут на часах стрелки... Десять... одиннадцать...

«Слава богу, двенадцатый скоро! — думает Иван Захарыч...— Пущай орет, а я уйду... Издыхать мне теперича до вечера-то...»

Хима начинает собирать на стол обедать... Кидает деревянные ложки, режет во весь хлеб большой ломоть, разделяет его на несколько равных частей, по-монастырски, порциями, или, как там говорят, «укрухами», и, налив из чугунчика в глиняную, облупившуюся большую чашку похлебки, ставит ее на стол и кричит:

— Обедать!.. Кто жрать хочет, садитесь!..

Иван Захарыч не хочет. Бросив работу, он свертывает курить, идет к двери, приотворяет ее немного, в образовавшуюся щель пускает дым и беспрестанно плюет.

— А ты что же? — спрашивает у него Хима.

— Не хочется что-то... аппетиту нет.

— С осени закормлен!.. Нажрался вчерась... Что ты над собой делаешь-то? Кому ты назло делаешь-то? Удивишь кого, что ли? Кому нужда-то... Смеются над дураком... Вон Платоныч проходу не дает, смеется. За каким чертом тебя к нему намедни занесло-то, а? «Пристал, гыт, с разговорами про Думу, про господ... Никак, гыт, не отвяжусь... Кричит, гыт, ругается... Такие слова произносит, индо, гыт, страшно слушать, волос дыбом встает...»

Че-е-ерт! — перестав хлебать и положив ложку на стол, говорит она.— Чего она тебе, эта Дума-то, далась, а?.. Взял бы ты в голову свою дурацкую: на что, мол, она мне?.. Ду-у-рак ты, наше ли это дело, нам ли за господами гоняться?.. Мало ли они чего там с жиру-то придумают, и нам, значит, надо?.. На смех себя поднимаешь... Надоел всем... Допрежь, бывало, выпьешь — и все ничего, а теперь точно черт на тебя сел, чисто сатана какая... вылупит бельмы... орет... тьфу!..

— Ну, я пойду схожу тут в одно местечко,— как-то особенно торопливо, не глядя на Химу, говорит Иван Захарыч, поспешно снимая с гвоздя грязный картуз.— Вы обедайте, а я сейчас...

— Куда? — вопит Хима.— Опять! Истинный господь, не пущу! Что ж это за мученье за такое, а?.. Не пущу! Сиди дома, не пущу!..

Она схватывает Ивана Захарыча за рукав и старается оттащить от двери, за скобку которой он крепко-накрепко уцепился левой рукой, а в правой зажал скомканный картуз, зная по опыту, что Хима первым делом постарается отнять его... А без картуза идти неловко.

— Пусти... я сейчас...

— Не пущу!.. Опять нажрешься...

— На вши, что ли?

— На-а-а-йдешь! Найдешь, сволочь ты эдакая, на-а-а-йдешь!.. Ну, иди! Ну, иди! — с визгом и со слезами в голосе еще шибче начинает вопить она, и сама толкает Ивана Захарыча за дверь.— Иди, черт с тобой, иди!.. Издыхай там где-нибудь... Вот тебе, кха! тьфу! в рожу в твою поганую... утрися... вот тебе еще... на!

Она ударяет его кулаком в подбородок и выталкивает за дверь...

— Издыхай,— не пущу, сволочь, му-у-читель!..

XXVI

— Ори теперича, лайся, сколько влезет,— говорит Иван Захарыч, очутившись за калиткой на улице,— а я вот он!.. Возьми меня теперича!.. На-ка вот, выкуси!

На улице пустынно, серо, необыкновенно тоскливо. Косой холодный дождик пополам с крупой какими-то неровными порывами, точно из частой лейки, поливает улицу, превращая ее в едва проходимую топь...

Подтянув повыше к коленкам заскорузлые, грязные, опустившиеся голенища и нахлобучив по самые уши выцветший серый картуз, Иван Захарыч, не обращая внимания на грязь, идет привычной дорогой, держась около заборов, предвкушая наслаждение опохмелиться...

Пройдя улицу, он повернул в переулок и идет мимо казарм — низкого, желтого, вонючего здания... В одном из окон этого здания, с какими-то фиолетовыми, мокрыми стеклами, открыта форточка. Через нее вырывается наружу пар и слышно басистое пение многих голосов с ударениями по-владимирски на «о»:

Ой, сердце мое, чего сердишься,
Чего ко мне передом не повернешься?

У Коныча, как и всегда, несмотря даже на такую погоду, многолюдно и шумно. Сам он стоит за буфетом, длинный, с суровым, застывшим лицом, и, кажется, ничего не видит и ни на что не обращает внимания. Но это так только кажется. На самом деле от его злобных прищуренных глаз «никакая тварь не убегает»... Половые, бегая мимо буфета, чувствуют на себе хозяйский взгляд, от которого им делается жутко и даже как будто больно, точно кто стегнул неожиданно кнутом по телу.

Войдя в трактир, Иван Захарыч стряхнул у порога мокрый картуз и, проговорив, собственно ни к кому не обращаясь: «Ну и погодку бог послал!» — пошел было мимо буфета на обычное место к окну, где за столом виднелись уже Сысой Петров и Чертик, как вдруг Коныч остановил его и сказал:

— Обожди-кась чуток...

И, наклонившись к остановившемуся Ивану Захарычу, заговорил, щуря глаза, гнусавя и противно брызгая слюной:

— Ты, братец мой... скольки разов я тебе говорил,

чтобы, тоись, насчет политики ни-ни, а ты все свое?.. Вечор орал, орал... Смотри, братец мой, коли что ежели коснется опять,— не потерплю!.. Что ты кричишь-то?.. Что ты бормочешь-то? Нешто мысленно эдак-то? Об ком кричишь — вникнул бы... особы, вельможи... и вдруг, можно сказать, какая-нибудь вша портошная критику наводит... Нешто мысленно! Вникни сам! Кто ты, кто они?.. На-а-ам ли судить!.. Нам ли рот-то свой поганый открывать!.. Наше дело повиноваться — вот наше дело... Чу-удак! Ужли они мене нас смыслят?.. Ну, ступай с богом.

— Об чем это он с тобой? — кивнув по направлению к буфету, спросил Чертик у подошедшего к столу Ивана Захарыча.

— Про вчерашнее... ишь, будто я говорил тут что-то...

Чертик засмеялся.

— Было, брат Елисей... поговорил-таки!.. Н-да! Ты, брат, настоящий «сацывал-емократ» стал, ей-богу! Ну что, небось голова болит, а? Как с Химой-то своей разделался?.. Вот небось было-то, а?

Иван Захарыч молча махнул рукой и, сев к столу, опустил голову, приняв какую-то жалкую, пришибленную позу.

— А где ж Вуколыч? — помолчав, спросил он.— Не приходил, знать?

— Он не придет,— ответил Сысой Петров,— нельзя ему... дела какие-то!.. А что?

— Да так я...

— Денег-то небось ни одного су? — разглядывая Ивана Захарыча своими выпуклыми стеклянными глазами, спросил Сысой Петров.

— Какие деньги?.. Где же?.. Помилуйте-с!

— Гм! Та-а-ак... Ну, ладно... ты нас вчера угощал, надо тебя починить... А?

— Сделайте божескую милость! — встрепенулся Иван Захарыч и приложил левую руку к сердцу.— Не поверите — душа с телом расстается...

— Да уж что тут толковать, знаем! — И, поманив полового, Сысой сказал ему: — Принеси-кась товарцу аршинчик да пожевать... селедку там, что ли, сгоноши... рабствуй!..

— Я все гляжу на тебя, Елисей, да думаю: как ты от Химы своей отбодался, а? — спросил, опять ухмыляясь, Чертик.— Была небось трагедия!.. Потеха, ей-богу! Здесь

пьяный орет: «ра-а-а-зражу!» — а с женой пик, миг, да и в кусты!.. Ах ты, сацывал-емократ! «Суждены тебе, брат Елисей, благие порывы, а свершить ничего не дано». Погоди, вот скоро газеты подадут... почитаем... может, об нас чего нет ли, а? Хы-хы-хы! Может, вспомнили?..

— Где же-с!.. Им впору об себе! Злая рота, ей-богу-с! Потерял всю надежду... отшибли у меня все-с... уразумел-с.

— Уразумел?

— Так точно, уразумел-с!

Половой принес в чайнике «товару» и на тарелке селедку, заправленную уксусом и обложенную луком.

— Сейчас газеты принесут,— сказал он, ставя все это на стол,— второй в начале-с.

Сысой Петров взял чайник, открыл крышку, понюхал и, налив чайный стакан до половины, сказал, мигнув, Ивану Захарычу:

— Дерзай, столяр, поправляйся!..

Иван Захарыч взял трясущейся рукой стакан, оглянулся по сторонам и торопливо, залпом, выпил.

— Покорничи благодарим! — сказал он, обтирая левой рукой рот, усы и бороду.— Покорничи благодарим... теперича отляжет-с...

— А ты закуси... Ты вот пьешь, а ничего не ешь. Нехорошо это...

— Нация такая у меня... замычка...

— Плохая, брат, замычка!

Сысой Петров с Чертиком тоже выпили и стали закусывать селедкой.

В это время половой подал газету.

— Ну-кась,— сказал Сысой Петров, принимая ее,— что тут такое накорежено?.. Как они там исхитряются?..

Между тем в трактир ввалилась толпа грязных и мокрых рабочих-торфяников и, шумно разговаривая, громко здороваясь с Конычем, очевидно хорошо им знакомым, стала рассаживаться за столы...

— Чайку бы нам, молодчик, восемь парочек,— сказал один из них, вероятно старший, обращаясь к половому и сильно упирая на букву «о». Это был сухой и длинный мужик раскольничьего типа и сурового вида.

Сказав это, он огляделся кругом, ища места, и сел рядом с Иваном Захарычем.

— Ведомости изволите проглядывать, господа куп-

цы? — спросил он, усевшись и пристально, маленькими бойкими глазками из-под нависших и уже начавших седеть бровей поглядывая то на Сысоя Петрова, то на Чертика, то на Ивана Захарыча.

— Точно так-с! — с иронией в голосе сказал, усмехаясь, Чертик.— А что?

— Да ничего, так... Мы все, как насчет Думы?

— А тебе чего от нее надо-то?

— Да чего,— в свою очередь усмехаясь, ответил мужик.— Нам, знамо, одно нужно: землю.

— Ну, это погодишь!

— О-о-о! Неужто не дадут?

— Похоже — нет...

— А говорили то, се... отобрать у господ... у монастырей... пытали кричать... поговаривали шибко...

— Мало ли что поговаривали,— с той же иронией в голосе, улыбаясь, ответил Чертик и, достав из бокового кармана довольно толстую, в кожаном переплете, с резиновой застежкой поперек записную книжку, открыл ее и сказал: — Вот слушай... Может, и поймешь, что требовали и что ответили.

— Требовали...— начал он читать, сделавшись как-то сразу совсем другим человеком, серьезным и как будто выросшим.— Требовали,— повторил он,— полной политической амнистии, то есть освобождения из тюрем,— пояснил он и продолжал, подчеркивая слова: — Ответили: несвоевременно. Требовали: всеобщего избирательного права. Ответили: не считаем этот вопрос подлежащим обсуждению. Требовали: ответственности министров перед Думою. Ответили: не ваше дело. Требовали: закона о неприкосновенности личности, свободы совести, слова, печати, свободы союзов, собраний и стачек. Ответили: необходимо вооружить административные власти действительными способами для предотвращения злоупотребления свободами. Требовали: полного уравнения в правах всех граждан, издания законов, ограждающих равноправие крестьян и снимающих с них гнет произвола и опеки. Ответили: требуется особливая осторожность в изыскании способов разрешения этого вопроса. Требовали: отмены смертной казни и немедленного приостановления оной. Ответили: смертную казнь нельзя отменить. Требовали: наделения крестьян землею путем обращения на этот предмет земель казенных, удельных, кабинетских, монастырских, церков-

ных и принудительного отчуждения частновладельческих. Ответили: разрешение сего вопроса на предложенных Думою основаниях безусловно недопустимо. Требовали...

— А, да впрочем...— махнул он рукой и закрыл книжку.— И я дурак! Все равно не поймешь... Не отберут, друг, и не дадут: нечего и думать...

— Вот не желаешь ли, друг, в Сибирь? — с ехидством вступился заметно уже сделавшийся пьяным Иван Захарыч,— сколько угодно там земли... Придумали же, а?.. Ловко!..

— На кой она мне шут, Сибирь-то? — сказал торфяник.— Кому жисть не мила — с богом!

— Их бы, чертей, самих в Сибирь-то выслать! — закричал Иван Захарыч и стукнул рукою по краю стола.— Истинный господь, самое им там место... Забрали, братец ты мой, всю власть себе в руки, как хотят, так и воротят... А об нашем брате ни фига не понимают! — И, мигнув Сысою Петрову на чайник, он сказал: — Сделайте милость, налейте... душа горит...

Сысой Петров еще наполнил стакан и заметил:

— Не ори ты только, столяр... поаккуратней будь... попадет ведь, ей-богу...

— Э-э-э,— махнул Иван Захарыч рукой,— наплевать! Все одно уж... доколачивают пущай... Сбили меня с панталыку, пущай доколачивают!..

— Господа ишь теперича все, сказывают, в Думе-то? — сказал торфяник.

— Они, все они! — закричал Иван Захарыч, глотнув водки.— Вся власть теперича ихняя... Черносотенцы, злая рота!..

— Та-а-ак,— протянул торфяник и, помолчав, улыбнулся.— Ты говоришь, вон, черносотенцы... Значит, это те, которые против, чтобы нашему брату хорошо было... та-а-ак! А ведь я, братец ты мой, допрежь не знал этого... Я так полагал: черносотенцы — мы, православные хресьяне... чернядь тоись... Спасибо, один вот, неплошь тебя, человек вразумил...

Чертик засмеялся и, обернувшись к Сысою Петрову, сказал:

— Ну, что там, читай!..

— Да что читать-то?.. Все небось одно... «Произошел крупный инцидент, почти скандал, еще более обостривший и без того натянутые отношения думских партий».

— Полаялись, значит, опять! — сказал Чертик.

— А больше-то им и делать нечего! — обрадовавшись случаю, подхватил Иван Захарыч.

Теперь он уже окончательно отошел, берет «своей рукой» чайник и пьет не из стакана, а прямо из носика...

Сысой Петров хмурится, но молчит... Чертик смеется и говорит:

— Пошла душа в рай!.. «Шире дорогу, Любим Торцов идет!» Опять, значит, по-вчерашнему... Смотри, Елисей, Хима изукрасит... Как домой-то пойдешь?

— Как, как? — сердится вдруг Иван Захарыч и таращит на него пьяные глаза.— Как?.. Ногами! Вот как!..

— Будешь орать — и здесь еще попадет...

— Этто от кого же?!

— А вот от Коныча.

— А эттого не желает, а-а-а?.. Нет, погоди! Не имеешь права коснуться... Кто я, а?.. Гражданин!.. Что в милостивом манифесте сказано было... забыл?.. Неприкосновение к личности, вот что!.. Дык какую же он имеет возможность коснуться меня, а?..

— Я ж тебе, чудак-баран, сейчас только читал насчет прикосновения-то... Наставят банок, вот тебе и неприкосновение к личности!..

— Не имеет пра-а-ва!

— Ну да!

— Брось... не дразни его! — говорит Сысой Петров.

— Меня дразнить нечего-с! — вскочив вдруг с места и начиная левой рукой колотить себя в грудь, кричит, привлекая на себя общее внимание, Иван Захарыч.— Я не собака-с... будет... полаяли-с!.. Можно сказать, с самого с того момента, как из материнской, царство небесное, утробы-с свет узрел, только и помню: лаяли да били, били да лаяли!.. Тятька покойник, бывало, бил... Братец Никанор Захарыч в ученье отдали — били... Когда же конец-то, господи, владыко живота моего!.. Доколе же? Женили вот, в дом взошел... Соплюн, бог с ним, не тем будь помянут, устроил... дети пошли... Дума вот... Думал, авось, мол, отдышка, просвет... ан вот тебе — заместо отдышки-то крышка!..

— Что же этто такоича значит? — завопил он еще пуще, тараща помутившиеся глаза на торфяника и не переставая бить себя в грудь.— Про тебя вот, про сукина сына, про серого черта, в каждом номере печатают, а про

меня ничего, позабыли!.. Хуже я тебя, что ли, а?.. Хуже?.. Ты оброк платишь, а я нет? А?.. А я нет?..

— А это ты уж у них спроси,— сказал торфяник.— У них... Им, стало быть, виднее!..

Слова эти, сказанные с убийственным равнодушием, переполнили чашу. Иван Захарыч побагровел и заорал, ударяя кулаком по столу, на весь трактир:

— Они!.. Га-а-а... они!.. Да их вместе с теми, кто им потачку-то дает, их надо...

Но договорить ему не пришлось. Подбежал Коныч и, с перекосившимся от злобы лицом, своей длинной, как у гориллы, рукой, твердым, как чугунная гирька, кулаком ударил, ни слова не говоря, Ивана Захарыча «в рыло».

— Ло-о-вко! — воскликнул торфяник и крякнул от удовольствия...

Иван Захарыч как-то чудно, точно поросенок, хрюкнул и упал на пол, ударившись затылком об скамейку.

Коныч, ругаясь, схватил его за воротник, поднял, встряхнул, как какой-нибудь пустой куль, ударил еще раз сзади по уху и, подтащив к порогу, ткнул в дверь, отчего последняя, завизжав блоком, распахнулась настежь. Тут Коныч ударил Ивана Захарыча еще раз на прощанье по шее и, со словами: «Вот тебе, сво-о-о-лота!» — спихнул с крыльца...

Иван Захарыч, растопыря руки, как птица крылья, слетел со ступенек вниз и, уткнувшись лицом в грязь, распростерся на мостовой, похожий на бабу, лежащую на родной могиле и громко голосящую...

Неподалеку, шагов за тридцать от места происшествия, по ту сторону улицы, под навесом спасался от непогоды городовой Псунов.

Коныч крикнул его и, когда городовой торопливо, не разбирая грязи, подбежал, сказал, указывая на Ивана Захарыча:

— Распорядись, Климыч... сделай милость, убери эту падаль, утиши... Надоел, сукин сын, пуще черта!.. Ужо зайдешь...

Иван Захарыч, мыча что-то, встал сначала, как медведь, на четвереньки, постоял немного в такой позе, с трудом поднялся на ноги и, тыкаясь то вперед, то назад, прохрипел, размазывая ладонью на лице кровь, смешанную с грязью:

— Не-е имеешь права! Не-е-не-прикосновение к личности... Я... я...

— Иди, иди к черту! — крикнул Псунов, поддерживая одной рукой Ивана Захарыча за рукав, а другой ударяя его по шее.— Не разговаривай, а то... Иди домой, паршивый черт, пока цел...

— Ннн-е имеешь права...

— Иди, говорят, а то всю голову до мозгов прошибу!..

— Не-е-е-прикосновение к личности... Не-е имеешь...

— А-а-а, сволочь! Вот тебе неприкосновение! Вот тебе другое!.. Всякий черт разговаривает тоже!..

Было совсем уже темно, когда избитый, весь в грязи, без картуза, доплелся каким-то непостижимым образом Иван Захарыч до дому. Увидя его, Хима всплеснула руками и ахнула:

— Господи Исусе!.. Кто это тебя разукрасил-то?..

— Ос-ла-а-а-банили,— бормотал Иван Захарыч, стоя перед ней.— Ду-у-у-май...

Хима заплакала.

— Сколько раз говорила я,— закричала она,— сколько твердила: брось ты Думу эту... наживешь беды... вышло вот по-моему... казнись! Так и надо, так тебе, черту, и надо!.. А картуз-то где ж у тебя? Потерял? Батюшки, неужели потерял? Ах ты, сволочь ты эдакая, бродяга! Ведь он, на худой конец, два четвертака стоит...

— Ос-с-ла-а-банили,— бормотал перед ней Иван Захарыч.— Ду-у-у-ма... Н-н-е-прикосновение... к... к...

— А, че-е-е-ерт!.. Вот тебе! Вот! Вот! На... кха!.. Тьфу!..

Проснулся на другой день поутру Иван Захарыч поздно. Химы в комнате не было. Гришутка возился около печки, раздувая сапогом самовар.

Страшная боль в голове, в лице, по всему телу сразу напомнила Ивану Захарычу то, что было. Левый глаз у него затек и не открывался. По всему лицу запеклась кровь. Два передних зуба были выбиты, и во рту тоже все запеклось и засохло...

— Гриш, а Гриш! — тихонько произнес он, подзывая сына.— Дай попить... Мать где?

— Вышла... должно, корову доить...

Гришутка присел на корточки и глядел, как Иван Захарыч, немного приподнявшись на локоть, с опухшим и страшным лицом, жадно и долго глотал из ковшика воду.

— Что глядишь? — спросил Иван Захарыч, кончив пить.— А?.. Гриш...

Он потянул мальчика за рукав рубашки к себе.

— Что глядишь!.. Хорош тятя-то, а?..

Гришутка обхватил его за шею руками и припал к нему.

— Тятя... тятя... милый тятя... не пей ты больше вина... не пей ты больше вина...

Иван Захарыч молча обнял его и вдруг как-то странно, точно щенок, затявкал, громко и жалобно заплакав.

1909

Семейное торжество

I

Агап свернул с дороги и, впотьмах не попав на тропинку, полез прямо по снегу, «целиком» к своей избе.

Изба стояла с краю деревни, правой стороной в поле, откуда дуло и мело снегом, нагоняя его и к избе, и к плетню, и к шалашке с дровами.

В окнах не было света.

Деревня спала... В темноте смутно, уродливо чернели избы, и все было тихо, печально, мертво...

— Спят,— сказал Агап, добравшись до крылечка,— и собака, сволочь, спит... забралась, чай, куды-нибудь на двор, по-о-длая!.. Погоди, я вот тебе ужо хвост отмахну топором, небось злее будешь... Эй! — сердито крикнул он и застучал в дверь кольцом.— Заснули?.. Отворяйте! Мерзни здесь на улице из-за вас...

— Кто тутотка? — раздался по ту сторону двери с мосту бабий голос.— Ты, что ль, Агап?..

— Я!.. Не узнала со сна-то?.. Спите — царь денежек пришлет!

Дверь открылась. Агап вошел в темные сенцы на мост и стал околачивать об стену с валенков снег.

— Ты потише,— сказала баба,— сейчас, вот только тебе прийти, угомонила молодая Ваньку... Орал, орал — смерть, всю душу вымотал... Спокою от него нету ни днем, ни ночью...

— Что ж мне теперича, не дышать из-за него? — ска-

зал Агап.— Дерьмо!.. Подыхал бы скорей!.. Корми вас... Отец-то, вон, ни фига не дал...

Отворив дверь, он пропустил сперва бабу, потом вошел в избу, плотно и шибко прихлопнув за собой тяжелую, покрытую слизью, мокрую изнутри дверь...

II

В избе было темно и душно. Баба зажгла лампочку. Агап прошел к столу от порога, как был в полушубке и в валенках, и сел на скамью.

Дарья, жена его, высокая, беременная, с огромным животом и с огромными глазами на худом, темном лице, в одной грязной, короткой рубахе, босая, с повойником на голове, стала около стола и, вопросительно глядя на мужа, ждала, что он скажет.

Он молчал и, сердито хмуря густые черные брови, вертел папироску из лоскутка газетной бумаги толстыми и еще не совсем отошедшими от холода пальцами.

— Попусту, знать, а? — тихо спросила жена.

— Небось видишь,— нехотя и с сердцем ответил муж.— Чего уж!..

— Так как же теперича, а?

— Как хошь!

— Ах ты, господи, батюшки! — тихонько, помолчав, воскликнула баба.— Вот наказанье-то господне!.. Николи мы, сколько я вот себя помню, так и не живали... Куска нету, а? Чем же мы станем этих-то вон кормить?.. Вон их сколько... как чурки... шагнуть некуда...

Действительно, на полу, начиная от входной двери, вплоть до переднего угла, где стоял стол, все было занято спящими.

Ближе к переднему углу на соломе и на каких-то дерюжинах валялись дети самого Агапа, а налево, около самой двери, лежала, закутавшись с головой, «молодая», жена его старшего сына с грудным, только перед его приходом угомонившимся ребенком. Она не спала. На печи тоже не спал лет под девяносто «дедушка» — отец Агапа, весь белый, высохший, но еще сохранивший зубы и слух.

Изба была старая, большая, с низким потолком, почерневшим и закоптелым; огромная печка, кладенная не с земли, а с опечка, осела вперед челом и стояла, словно

старуха, наклонившаяся к полу под благословение... Там, где лазили на печку, сбоку была устроена для спанья узенькая, на колышках, «казенка» и на ней валялась сбитая в кучу грязная рвань, служившая подстилкой...

Воздух в избе стоял удушливый... Лампочка с матовым нечищеным «пузырем» светила тускло, и свет ее не веселил, а придавал избе печальный, как бы испуганный вид...

— Так как же? — снова повторила Дарья.— Аль по миру идти?.. Суму надевать?

— Наденешь,— ответил угрюмо Агап,— невелика барыня-то... почище нас ходят... Захочешь папы — протянешь лапы...

— Что ж он, по крайности, говорит-то? — опять спросила баба.

— Чего говорить?.. Нету, да и все... Шут его знает — врет ли, взаправду ли... Говорит: работы у хозяина нету.

— Так и гостинцев никаких не дал?

— Стало быть!.. Чего пристала?

— Ловко! — усмехнулась баба, кривя посиневшие губы.— Ай да сынок! Тятя детям!.. Молодай, а, молодай! — крикнула она, обернувшись к двери, туда, где лежала молодая.

— Н-ну? — раздалось из-под дерюжины.

— Слышишь?..

— Слышу... не глухая... Стало быть, взаправду нету, а то бы все сколько-нибудь дал...

— А что жрать-то, а?

Молодая промолчала. Агап поднялся и начал стаскивать с себя полушубок. На печке завозился дед и вдруг, высунув оттуда белую всклокоченную голову, громко, почти крича, сказал:

— Сколько годов на свете живу, а такого хлебушка, как теперича, не едал... белый, вкусный... гоже, голова!..

Он засмеялся и, наклонив голову набок, глядел на Агапа.

— А помнишь, Агап,— заговорил он,— аль позабыл, как мы допрежь ели, а?.. Черней грязи, да зато он у нас, батюшка, не переводился... завси был... по семи целковых за мешок не плачивали... не-ет, шалишь!.. «Земля ишь не родит». А допрежь почему родила, а?.. Сволочи вы, вот что!.. Бога вы забыли, сволочи!.. Тьфу, черти, не к ночи будь сказано!.. Сукины дети!..

Агап молчал и, сердито хмурясь, делал дрожащими пальцами новую папироску.

— Куды уж вам,— продолжал старик,— хозяйством править?.. Куды вы годны?.. Чай, самовары, табачок, водочка... на это вы мастера!.. Удавить бы вас, гляжу я, всех-то, сукиных сынов, перестрелять, мошенников!..

— Будет тебе, тятька,— сказал, махнув рукой, Агап,— меня и без тебя ноне двадцать собак облаяли...

— Не трожь его,— вступилась Дарья,— кобель ведь это у нас борзой на цепи сидит, день и ночь тявкает... пустолай!.. Подыхать пора, а он — ни стыда в нем, ни совести — живет, хлеб жрет... Молодые вон мрут, послушаешь, а этот, пес его знает, как железный, и ничем ты его не проймешь... лежит да лается... надоел пуще горькой редьки!

— Дура! — выслушав ее, произнес нисколько, повидимому, не обидевшийся старик.— Кукушка... зачирикала языком-то... заплевала... Умру, кто меня тамотка чаем-то поить станет, а? Хы, хы, хы! Тамотка чаю-то нету...

— Гаси, Дарья, свет,— не слушая его, сердито сказал Агап,— спать... неча языками-то трепать, день на то придет... Гаси!

Он разделся, снял валенки, подал их жене, сказав: «Брось в печку просохнуть», помолился, торопливо и часто крестясь в темный угол, где висели «бога», и, подойдя к печи, лег на казенку.

Дарья сунула валенки в печку и, притушив лампочку, легла на пол к детям.

— О господи, батюшка! — сказала она еще.— Что ж теперича, а?

Никто не ответил. Все не спали и все как будто чего-то ждали, напряженно и боязно...

III

Поутру поднялись чем свет, с огнем... Дарья затопила печку и стала что-то готовить к завтраку. На печи то и дело кашлял дед и, откашлянув мокроту, харкал там же в угол.

Агап лежал на казенке навзничь, глядел в черный потолок и вспоминал о том, как он вчера ходил в город к сыну просить деньжонок... Как сидели они с ним в трак-

тире, пили чай и как обоим было тяжело, неловко, совестно и совсем не о чем говорить друг с другом...

— Вот тебе и деньги,— прошептал про себя Агап, слушая над головой кашель деда.— Беда, хлеба нету, а тут вон скоро крестины... то, се... расход лишний...

В углу у порога, где лежала молодая, закричал вдруг пронзительно, громко и жалобно ребенок.

Молодая откинула дерюжину, села на скамью, взяла на руки ребенка и, вывалив одну грудь, начала тыкать ему соском в рот... Ребенок не брал и, закатившись, весь красный, дрыгая ножонками, кричал пронзительно и жалобно, так, что звенело в ушах.

— На, на, притка тебя задави! — злобно, скашивая в сторону тонкие губы и ощеривая зубы, говорила она, тыча соском.— А, чтоб тебя черти взяли! Вот наказанье-то господнее... ни дня-то, ни ночи спокою нету... с рук не идет му-у-читель!

— Грыжа у него, знать,— сказал Агап,— вот он и верещит к погоде... Ты бы в Капустино сходила с ним к баушке...

— Такой уж горлопан зародился,— отозвалась от печки Дарья,— весь в мать: така же, знать, глотка-то, шире ворот...

— Погоди, увидим скоро, какой у тебя будет,— подняв глаза от ребенка и метнув ими к печи, где копошилась Дарья, сказала молодая,— посмотрим...

— Что ты меня коришь-то? — закричала Дарья, выглянув из-за угла печки.— Нешто я причинна?.. У меня, чай, муж есть... Чего ты окрысилась-то? Я не в укор тебе, а так, спросту.

— Ну, и я спросту...

— Больно уж вы ноне стали благородны,— продолжала Дарья,— слова не смей сказать, сейчас на дыбашки. А мы-то как же жили, а? Бывало, свекровь-то ест, ест тебя, жует, жует с утра до ночи, а ты молчишь, слова насупротив сказать не смеешь...

— Мало что бывало... мы не видели... было да ехало...

— То-то ехало... А ты свой язык сокращать должна... Шустра больно...

— Полно вам... запели панафиду ни свет, ни заря,— сказал, перевернувшись на бок в их сторону, Агап,— разводите самовар... ребята встанут... чаем их поить, в училище сряжаться.

— А ты что не встаешь?.. Вставай,— сказала Дарья,— пошел бы, дал скотине...

— Да рано... успею...

— Как-никак, а жеребенка продавать не миновать,— сказала Дарья,— жрать-то что-нибудь надыть?.. Камень глодать не станешь... в левую не возьмешь...

Агап промолчал.

— Батюшка, ну, как муж-то тамотка?.. Ай без делов треплется? — спросила молодая, потихоньку укачивая затихшего ребенка.— Неужли никакого гостинца не прислал?

— Рожна он тебе прислал,— сказал Агап, сплевывая на пол.— Где ему взять-то? Сам ходит день не емши, да два так... Делов у хозяина нету, фабрика вон стала, бают, на три месяца... беда, истинный господь... Сказывал: «домой приду».

— Что дома-то... у чего дома-то жить? — вступилась в разговор Дарья. — Печку гладить?..

— В рощу, может, станет ходить,— ответил Агап.

— А где они, рощи-то?.. Каки теперича тебе рощи? Снегу по уши, а он рощи!.. Да что уж,— воскликнула она, помолчав,— не минуешь скотину со двора тащить! Вот весна подойдет... сеяться надо, а семян нету... у Савки в лавке... Обносились все... рубашонки, скажи, лишней нету... смениться не во что... погляди-кась, на мне рубашка-то, огню присечь... одни узлы...

— Ну, где же я тебе возьму? — выслушав ее, сказал Агап.— На вот меня, зарежь!.. На!..

Он замолчал и сел, свесив ноги.

На печи закашлял дед, захаркал, завозился и вдруг, нарушая неожиданно странно царившую в избе тишину, почти закричал опять, как и давеча, с печи:

— Агап, а Агап!.. В трактире-то небось ведомости читали... Как тамотка, не слыхать, Дума-то?

— А ну тебя с Думой-то! — махнув рукой, точно отгоняя комара, произнес Агап.

— Хы, хы, хы! — свесив голову, весело и ехидно засмеялся старик.— Что?.. Что, сукины дети? Говорил я! Думы захотели, слободы... вам вот нешь!.. Хы, хы, хы! Ах вы, дуроломы, и уши-то у вас холодные. Да нешто они свою жисть сменяют на нас... су-у-у-кины вы дети! Жили бы, как мы жили... сыты были... Да погоди, мошенники,— громко воскликнул он,— погоди, не то будет! Помяни мое

слово... вот как они вас сожмут — как творог: сыворотка потечет... Так вам, так вам, сукиным сынам, и надыть!

— Чего ты лаешься-то, волк старый? — крикнула от печи Дарья.— Чего ты каркаешь-то?.. И что живет и зачем живет,— разводя руками и точно обращаясь к кому-то, продолжала она,— и черти-то его, прости ты меня, господи, не возьмут!

— Будет тебе! — махнув в ее сторону рукой, сказал Агап.

— Да, будет... будет! — закричала вдруг Дарья пронзительно, со слезами в голосе.— Хорошо тебе говорить-то... кабы тебя на мое место... Что я — ай каторжная далась вам?.. Мочалка я вам, помыкать-то мной, а? — Она вдруг заплакала и швырнула в угол ухват.— Стыды, головушки! У детей дети... противу молодой вон стыдно... корит то и дело... Тебе что, к тебе не пристанет... Жрать нечего, суму надевай, по миру иди, а его, кобеля, жир точит... Дьявол гладкий, притка тебя расшиби... зачем мою жисть загрыз? Кабы я в девках-то жила теперича, а? Цвела бы как мак алый... Кабы знала — в девках бы семерых родила, чем на эту муку идти... Поглядеть вон, люди-то живут, радуются... Праздничек ли Христов придет, гости ли, все у них есть... обуться, одеться... в храм выйти — любо посмотреть! А мы что, живем не люди и умрем не родители... в храм господний — и то не в чем выйти... Вон надысь к празднику Лизаветин Петька из Москвы пришел... любо-дорого... сапоги новые, пальто новое, брюки новые, калоши новые, часы, при сорочке, денег принес, фунт чаю, сахару... А у нас что живет? Куда годен? Вот только и горазд, только ему и заботушки ведомости читать: уткнет рыло-то, оглохнет... хоть ты в те поры из пушек пали над ним, ему всё одно... Тьфу, притка вас расшиби! Народила мама, да не приняла яма...

— Ну, пошла — поехала... та, та, та! та, та, та... шарманка! — воскликнул Агап, соскакивая с казенки.— Где сапоги-то?.. Сапоги-то где, говорю?.. Черт не нашего царя, дам вот в рыло — будешь знать!..

— Дай! Ну, дай! Ну, дай, дай! — завизжала Дарья.— Разбойник!.. Ирод-царь... дай!..

Агап поспешно обулся, надел полушубок и, выругавшись, вышел, хлопнув дверью.

IV

На дворе было темно и пахло навозом... В темноте слышно было, как фыркала лошадь и шумно вздыхала корова... Наверху, где-то под самой крышей, потихоньку «шепотком» переговаривались перезябшие куры... Небольшая собачонка выскочила откуда-то и, повизгивая, начала тереться Агапу об ноги... Он злобно крикнул на нее, ударил ногой и вышел, отворив дверь, на крыльцо...

Начинало рассветать... Где-то уже топилась печка и пахло горьким дымом от осиновых дров.

Ночью, под утро, шла погода. Теперь перестала. Сделалось мягко и тепло... На востоке по небу протянулась узенькая бледнорозовая полоса зари, и на эту полосу надвигалась с запада серая туча, точно растопырившая туманные пальцы кикимора...

На другом конце деревни, в крайнем дворе, закричал петух.

Подождав немного и не слыша ответного крика, закричал еще шибче, точно выговаривая: «Эй вы, спите?..» На этот раз ему сейчас же откликнулся другой с соседнего двора, за ним третий и так далее, по порядку, вплоть до крайней Агаповой избы, где крик этот прекратился, и на улице снова стало тоскливо и мертвенно-тихо...

Агап пошел на двор, нащупал в потемках кошель и, полуотворив одну половинку ворот, отправился с этим кошелем по тропинке за сеном в сарай, стоявший на усадьбе.

Около сарая сильно надуло, и Агап долго копался у ворот, отчищая и обтаптывая валенками снег.

Сена в сарае было немного, и Агап знал, что ему не хватит; весной, как-никак, а придется покупать...

— Эх! — произнес он с тоской.— Ломаешь, ломаешь, как черт, прости, господи, какой, а все ничего нету... Тьфу, провались ты и с жизнью-то с этой!

Он плотно набил кошель, взвалил его на спину и потащил ко двору.

Скотина уже поджидала хозяина, и, когда он вошел во двор, корова тихо и жалобно замычала, точно выговаривая, прося: «да-ай, да-а-ай!»

— Рожна тебе! — сказал Агап.— Сена захотела... ах ты, шкура! Доить тебя нету... жрать только!.. С коих пор

запустили... «Причинает... скоро отелиться должна»,— переменив голос и передразнивая кого-то, ехидно произнес он.— Черта она причинает... второй месяц пошел — не доит... жрет да валит... корми черта... корова на дворе, а вода на столе... Продать дьявола-жеребину на зарез — боле никаких!

Говоря это, он бросил кошель у ворот и, подойдя к кормушке, из которой ела лошадь, выгреб все оставшиеся там объедки, ошурки и бросил их через прясла туда, где стояла корова...

— На вот, жри! — сказал он.— Соломы еще дам... ладно, сойдет... не велика барыня-то!

— Ну, а ты что? — совсем другим голосом заговорил он, обращаясь к лошади.— А, сукин ты сын, а? Жрать захотел, шельма, а? Жрать? На, на... да уж на, на!.. Ах ты, сукин ты сын... ма-а-шенник!..

Он набрал из кошеля сена и положил в кормушку. Лошадь принялась есть, а Агап стоял около, гладил ее по шее и слушал, как она жует мягкое, зеленое, душистое сено...

Бросив небольшую охапку этого же сена овцам в омшаник, он пошел опять в сарай. Набрав там из омета беремя яровой соломы, снес его корове и, затворив ворота, отправился в избу.

V

Здесь все уже встали...

Ребята, два сына-подростка, один — кончивший сельскую школу, а другой — кончающий, сидели за столом с краю под лампочкой и старший показывал младенцу — «делал за него» — на грифельной доске какую-то арифметическую задачу.

Черноголовая, лет шести, девочка сидела за столом насупротив их и, облокотившись, зажав щеки ладонями, пристально, не моргая, глядела на них большими, удивленными, покрытыми влагой красивыми глазами...

Молодая сидела в своем углу и возилась с ребенком. Она уже измучилась с ним и, сидя, плакала от злости... Ее тонкие, с опущенными углами губы пересохли, посинели, и она то и дело облизывала их языком... Большими и злобными глазами исподлобья глядела она на свекровь, копошившуюся около печки.

На печке, свесив ноги вниз к казенке, сидел дед и, запустив руку за пазуху грязной рубахи, скоблил ногтями грудь так усердно, как иногда кучер скребет скребницей лошадь.

Сидевшие за столом ребята вдруг заспорили и принялись ругаться.

— Я делать, коли так, не стану,— сказал старший.

— Не делай... наплевать! — ответил младший.— И без тебя сделаю...

— Черт паршивый, молчи уж... гляди тут, чай, я знаю, надо превратить в лоты... гляди... помножь... Не знаешь, а тоже суешься...

— Ты много знаешь!

— Побольше твоего.

— Побольше, а сам две зимы в первом сидел...

— Молчи, сволочь!

— Сам сволочь!

— А вот тебе за это... на, съешь!

— А-а-а! а-а-а! — заорал младший, перекосив рот.— Мамка! мамка! Дерется он... а-а-а! а-а-а!

Мальчики готовы были сцепиться, но в это время вошел Агап, и они сразу притихли...

Агап искоса, снимая у порога полушубок, посмотрел на ребят и, перекосив рот, негромко произнес:

— Придушу, сво-о-о-лочь!..

Он бросил полушубок на казенку и, подойдя к столу, сел на скамейку.

— Что же, самовар-то скоро? — спросил он.

— Поспел.

— Чего ж вы?.. Молодая, ты бы собрала...

— Да как мне собирать-то? — ответила молодая.— Черт-то вот этот, прости ты меня, господи, с рук не идет. У-у-у, дьявол тебя накачал на мою шею! — злобно, со слезами в голосе, крикнула она и «шваркнула» ребенка в люльку.— Ори, шут с тобой! Ни дня, ни ночи, ни дня, ни ночи спокою нет... Тьфу, издохнул бы ты!

— Не он тебя нашел, ты его,— сказал Агап,— неча лаяться-то!.. Больной он у тебя... вот и блажит... грыжа у него, говорю.

Агап замолчал. Молодая стала собирать на стол разноцветные и разнокалиберные чайные чашки, вынимая из узенького с дверкой шкафчика, устроенного в углу, около «богов»...

— Сахар-то опять весь,— сказала она, ставя на стол жестянку, служившую вместо сахарницы,— останный вот здеся...

— Жорма жрут,— сказал Агап,— не успеваю покупать...

— Нас, чай, семь человек,— крикнула от печки Дарья,— по кусочку — семь кусочков, а фунтик-то возьмешь,— велик ли он, много ль в нем дыханья... два раза попил — и нет его!.. Да и сахар-то какой? До рту не донес, а уж он готов, растаял, как снег... Бывало, сахар-то купишь, как кремень, не откусишь, а нонче на обман все... Бери иди самовар-то!

Агап поднял с полу кипевший на всех парах самовар и, поставя его на край стола, сказал:

— Чаю-то поменьше клади... соды побольше, крепче будет... Вон в городе в трактире пьешь, пьешь — не сопьешь... все цвета не теряет... а все от соды...

— На, заваривай сам,— сказала молодая, швыряя ему жестянку с чаем.

— Ну, ну, а ты не лягай пятами-то... ба-а-рыня!.. Что я тебя укусил, что ли?

— Да и я ничего... заваривай, мол, сам... Мне наплевать... чаю вашего не видала?.. Пейте, не подавитесь!..

И, отойдя от стола к люльке, она выхватила из нее ребенка и со злостью, прикусив нижнюю губу белыми и острыми, точно у белки, зубами, начала совать ребенку грудь, покраснев и ругаясь...

— Вот сволочь-то! — сказал Агап, глядя на нее с удивлением.— Вот так чертушка, а?

— С вами ангел чертом станет,— огрызнулась молодая.

— Агап, а Агап! — закричал опять с печки дед.— А помнишь, чай, как я твою дуру-то допрежь унимал, а?.. Забыл? Ну-ка ты теперь уйми, попробуй... хы, хы, хы! Он слово, а она ему десять... Возьми, дурак, полено да по хребту ее ошарашь... Их ты, дурачина, с бабами не совладаешь... Куда ж ты опосля этого годен? Трубу вон тобой затыкать... тьфу, сукин ты сын, ма-а-шенник!

— Молчи, тятька, и без тебя тошно... хоть в удавку полезай...

— Лез бы,— негромко, но все-таки слышно для всех пробурчала молодая и, наклонившись к ребенку, закри-

чала: — Да когда же ты подохнешь-то, а? Мучитель ты! Чего ты орешь-то? Чего глотку-то дерешь?..

Она завыла и начала причитать, точно на погосте по покойнику, пронзительно, громко, противно и жалобно...

— Тьфу! — плюнул со злостью Агап и начал цыркать из чайника чай по чайным чашкам.— Дай хоть хлебца-то! — крикнул он, обращаясь к жене,— какого в самом деле черта! Вчера, почитай, цельный день не жравши был, спать лег с пустым брюхом, да и нонче тоже... Лошадь я для вас, что ли?.. Мерин чалый?..

— А кто ж тебе не велит,— сказала с иронией в голосе баба,— ел бы... колбаски бы принес из городу-то... Не знаешь, что ли,— добавила она сердито,— где хлеб лежит?.. Ба-а-рин с Хитрова рынка!

Агап, хмурясь, открыл стол, вынул небольшую краюшку хлеба и, разрезав ее на несколько ломтей, положил на стол.

— Жрите! — сказал он и сам стал есть.

VI

С печки, кряхтя и цепляясь босыми ногами о приступки, спустился дед и, почесавшись как-то по-чудному плечами, подошел к столу, как был грязный, косматый, и сел на скамью с краю.

— Агап,— сказал он,— плесни и мне, малый... Ишь ты,— добавил он, усмехаясь,— не успели глаз продрать — сейчас за чай... а говорите — плохо жить... Плохо ли!.. Любота, истинный господь!..

— Ты бы хоть рыло-то перекрестил,— сказала Дарья,— ста-а-ри-чок! Постыдился бы... али стыд не дым, глаза не ест?..

— Молись, коли тебе охота, а уж мы так... Так, ребята, а? — обратился он к мальчишкам-внучатам.— Сколько богу, говорят, ни молишься — во святые не попадешь... Помрешь да сгниешь, вот те и вся недолга!..

— Язык-то бы у тебя перевернулся, у старого пса!.. Чему детей учит, а?

— Чего мне их учить... они меня научат... Ловки они нонче пошли... учены, толчены... Где уж нам!

Старик принялся за налитый Агапом чай. В это время за дверью на мосту кто-то застучал, и залаяла на дворе собака...

— Кого это черт несет ни свет, ни заря? — сказала Дарья.— Кому мы, прости господи, нужны?..

Дверь, хлюпнув, отворилась, и в избу вошел мужик. Перешагнув через высокий порог, он остановился, перекрестился в угол, потом уже сказал:

— Здорово живете! Чай да сахар!

— Здравствуй, Иван Васильевич,— ответил на его приветствие Агап.— Спасибо... садись с нами чай пить...

— Было дело,— ответил мужик, усаживаясь на казенку,— сейчас, только вот к вам идти, отлакали... А ты никак вечор в городе был?..

— Был. К сыну ходил.

— Н-ну?..

Агап ничего не ответил, а только выразительно махнул рукой.

— Та-ак,— протянул мужик,— фабрика-то, говорят, встала?..

— На три вишь месяца.

— Ловко!.. Ну, а в ведомостях что?.. Не слыхал?.. В трактире не читали? Как насчет нашего брата распределение пойдет?.. Куда, тысь, нас теперича приткнут окончательно?.. А?

— Куда нас притыкать-то осталось? — сказал Агап.— Некуда притыкать-то... Приткнуты уж, слава те, господи, достаточно.

— А я, Агап, что хочу отпалить,— начал, помолчав, мужик,— выселяться хочу на хутор... пра, ей-богу. Бают: полтораста чистыми деньгами на подъем дают... У меня две души... отводи, значит, мне восемьдесят... Ну, хоть, скажем, отведете вы мне у черных бочагов... место хо-о-рошее... Сейчас это я хату свою спихну колом набок... куплю ведерко — всю стройку зараз на место и предоставлю... а там уж мое дело... как хочу... хозяин... Хочу — продам, хочу — нет, вся власть моя. Сын у меня непутевый, возьму да продам, а денежки в кармашек... На кой она мне, земля-то? Ломаешь, ломаешь, ходишь, ходишь около нее, а жрать все нечего... ей-богу... Вон в Петушкове трое зараз выселяются... бумаги уж заданы...

— Кто такие, не слыхал?..

— Как не слыхать — слышал. Народ подобрался один к одному... Васька Шкурин, Блоха Дмитрий да Царек Гришка... Только у них заковырка выходит из-за баб... бабы не желают... Ну, а они,— продолжал с улыбкой

мужик,— говорят: «А мы, мол, прошенье подадим в святейший синод, чтобы нам на хутора-то новых жен предоставили, а вас — к чертовой матери... не заплачем!..»

Агап засмеялся. Дарья высунула голову из-за печки и сказала:

— Ты что, трепло, треплешь языком-то не дело?.. Знамо, доведись до меня хоть, да нешто я пойду... издохну, а с этого места не двинусь... На миру жить, аль одному? Как же это опять — захотел, землю продал? Это, стало быть, ежели, скажем, вон Агап мой не захочет старшему сыну доли дать, стало быть так и надо, а?

— Ну, ты ничего не смыслишь, нечего тебе и законы уставлять...— сказал Агап.— А ведь это гоже! Стало быть, полный хозяин... хочу продам, хочу нет... Вот возьму,— продолжал он, взглянув на молодую,— да и не дам твоему мужу ничего... Живите, как хотите... Хошь получать, подавай в дом, а не хошь — с богом к кобыле под хвост... Возьму вон все да Ванюшке и отдам... я хозяин... Не забалуешь... хы, хы, хы! Сейчас провалиться, гоже это... узда на сволочей...

— О-о-о! — воскликнула молодая.— Ишь ты склизкий какой... «отдам», а мир-то?

— Мир тут, дамочка, ни при чем,— сказал с казенки мужик,— был мир, да ехал... теперича отцовская власть укреплена во как, крепче каменного фундамента!

— Ловко! — опять повторил Агап и, встав из-за стола, достал с полки измятый номер газеты.

— На,— сказал он,— Иван Василич, посмотри, что тут... ребята вечор дали.

Мужик соскочил с казенки, подошел к столу, взял газету и сел на скамью к столу.

— Старая,— сказал он.

— Ваньк, а Ваньк,— заговорил все время молчавший и занятый чаем дед,— неужто же и ты, сукин сын, по этому смыслишь,— он указал на газету,— неужто же и тебя учили?

— Как нас учили,— ответил мужик,— плохо... Вот их,— он кивнул на ребят,— совсем по-другому теперича учат...— Он махнул рукой и, повернув газету на ту сторону, где печатаются объявления, сказал опять: — Старая...

— А ты почитай, почитай, наплевать, что старая,— заговорил дед с иронией,— что тутотка?.. Гы!.. Ученые! Нас вон вовсе не учили... Бывало, как учили... Был у нас,—

продолжал он с каким-то особенным азартным воодушевлением,— приказчик на барском дворе, царство небесное... Ефим Микитич звать, бывало. Э-э-н-на где его увидишь — шапку долой!.. Ни за что, ни про что, подойдет, хварысь тебя, ни слова не говоря, по уху!.. «Вот тебе разà, а десять за тобой», а уж бабенок этих шилохвосток, девок, во как трепал, и-и-и, господи, царица небесная, матушка!.. Чисто вот, голова, белье полоскал...

— А, да ну тебя,— перебила его Дарья,— трепло!.. Били тебя, да до смерти не убили... Эва до каких пор живешь!..

— А тебя завидки берут?

— Какие завидки!.. Не дай бог злому татарину... «Завидки»... хы!

— Ладно, ладно... толкуй кто откуль... а я вот он — живу. Рвись твое сердце, а я вот он — жив. Может, тебя переживу...

— Тьфу ты, лешман болотный!.. Пра, ей-богу... во-о-о-от домовой-то навязался!..

— Будет! — крикнул Агап.— Пристала, как банный лист... Читай, что ли!

— «Зубы по-ку-паю,— начал мужик читать объявление каким-то замогильным голосом, растягивая слова, спотыкаясь, плохо видя и разбирая мелкую печать,— искусственные, ста-ры-е... по высокой цене. Плачу за... челюсти от пяти до ста рублей. Плачу даже и за поломанные челюсти»... Вот штука-то! — вскричал он.— А?

— Эта какие же такие зубы, не пойму я? — сказал Агап.— На кой они ему?..

— Зубы... человечьи зубы... вставляют, понимаешь, богатые люди... У кого повывалются — ну, и вставляют другие...

— Ну да?..

— Вот те «ну да»! Не «ну да», а верно... Вишь покупает... по ста рублей дает за челюсть...

— По-о сту?..

— Да слышал, читал я... вот: «плачу за челюсти от пяти до ста рублей»,— повторил мужик, заглянув в газету.

— Ах в рот-те! — воскликнул Агап.— Вот бы, а? Да я, кажись, сейчас провалиться, весь рот отдал бы за сто-то целковых, ей-богу. Жевать-то все одно неча скоро придет... издохнешь и с зубами-то... На сто рублей я бы все кашу ел... ей-богу!.. Вышибить нешто да послать по почте?..

— Ты вон у дедушки вышиби,— сказал, улыбаясь, мужик,— на что они ему?.. А зубы у него важные!..

— Неужли и с упокойников в дело идут? — спросил Агап и с каким-то страхом, сбоку, исподлобья, поглядел на отца...

— Не знаю,— ответил мужик,— небось... А что?..

— Так я...

Все замолчали. Дарья подошла к столу и притушила в лампочке огонь. В избе стало полутемно... В замерзшие оконца проникал свет, холодный и тоскливый... У молодой опять завопил ребенок...

— Ну, что ж теперича,— сказал Агап,— за какие дела приниматься? Хлеб-то давно доел? — спросил он, обращаясь к мужику.

Тот махнул рукой.

— Что ты, аль не знаешь?.. Чу-у-дак! На хутор, одно средство,— сказал мужик, промолчав,— продать, да и в дамки... Завязывай глаза да беги... Хлеба нету... дела нету... В Москву идти — тысячи там без нас ходят... Воровать — повесят... Просить — не дают... Как тут быть?..

— Да-да-а,— подтвердил Агап.

— Дожили до моту, нету ни хлеба, ни табаку...— сказал мужик, надевая шапку.— Прощайте... прощай, Агап... заходи ужо табак курить...

Он ушел.

Дед полез на печь.

В окнах все больше и больше светлело, но в избе от этого точно мертвого света делалось еще грязнее, убоже и тоскливее...

VII

— Скотину, чай, поить время,— сказала Дарья, управясь с печкой.— Ты бы бросила свое сокровище-то,— обратилась она к молодой.— Заняла бы... Аль мне все одной чугуны-то ворочать?.. Не под силу мне... Мне скоро время... Смерть моя около меня ходит...

Молодая промолчала... Агап нахмурился... Дарья надела рваный полушубок и вышла, захватив с собой пустое ведерко. Агап пошел за ней. Дарья стояла около коровы и ощупывала у ней бок.

— Ну, что,— спросил Агап,— как, по-твоему, скоро?

— Причинает шибко... должно быть, на этих днях...

Агап помолчал, посмотрел на жену и спросил потихоньку:

— Ну, а ты как... когда растрясешься?

Не дожидая ее ответа, он оглянулся на избу и заговорил еще тише:

— А я вот что, Дашух, придумал. Хочу я барина Владимира Михайлыча в кумовья позвать, а? Папашей крестным, а?.. Он для меня хорош... потрафил я ему... Глядишь, нам бы тогда поперло... Кум, как никак, течение бы, а?

— Пойдет ли?..

— Надо просить... Кланяться стану... Ты только, смотри, не трепли языком-то до время. Ей-то,— он кивнул на дверь в избу,— смотри, не сказывай... Ну их!.. У них, я вижу, с мужем одни шашни... задумали что-то... не на место ли, гляжу, уйти хотят... Ну что же, с богом, ступай... Только уж опосля домой не придешь... Не те теперича порядки...

— А нешто он тебе сказывал?

— Прямо не говорил, а все какими-то наметками... Да уж я вижу, что он к кресьянскому делу не способен... не способен... не туда гнет... ему бы все полегше... послаще съесть... Кто ста мы?.. К каким-то вишь там — хозяйка сказывала,— к акушеркам в больницу повадился ходить... Шут его знает, чего ему надо... Вот придет на этих днях...

— Совсем, что ли?..

— А пес его знает... Баит: делов нету... Ну, и правда, хозяин сам сказывал: «Против прежнего, говорит, десятой доли не стало...»

— Ох, уж не знаю: тут-то что ему делать? — в раздумье произнесла Дарья.— Самим есть нечего... Искал бы уж помимо мастерства какое-нибудь место... все бы хотя глухое-то время как-нибудь проболтался... Ты бы к барину-то в самом деле сходил,— продолжала она, помолчав,— попросил бы, нет ли, мол, какой работенки... Сходил бы...

— И то думаю: надо сходить...

— Пойдешь,— продолжала она, присев под корову и ощупывая у ней вымя,— зайди там к приказчику аль еще к кому... скажи: «не возьмет ли, мол, овцу»... На что она нам яловая-то... Крестины вот... ежели пойдет барин в кумовья,— все, как ни говори, лишнее надо... за пустой стол не посадишь... Винца надо сладкого... закусить... колбаски там аль что... не мужик сиволапый придет...

— Это точно.

— Ноги у меня пухнуть стали,— опять заговорила она,— тяжело хожу... боюсь... думаю: ну, как да двойня...

— Что ты,— воскликнул Агап,— очумела!..

— А-а, испугался?.. Не любишь?.. Как пьешь — хорошо: «налей еще», а как с похмелья: «ох, батюшки, голову больно...» Мошенники вы все-то... кобели! — добавила она сердито. Перекрестив корову и сказав: «Ну, Христос с тобой, матушка, ляг теперича»,— она пошла в избу...

Агап постоял еще немного на дворе, что-то думая, и пошел за нею.

VIII

Молодая, пока они были на дворе, закачала ребенка и, уложив его в люльку, села к окну шить мужу рубашку, которую шила давно урывками и никак не могла кончить... Лицо у нее было злое, глаза опухли от слез... Мальчик-подросток, не ушедший в школу, сел читать растрепанную старую книжку, а девочка, которая пила с большими чай, снова легла и уже крепко спала вместе с другими ребятишками на полу. На печке чесался и «дыхал», харкая, дед...

Дарья вошла в избу и, сердито покосившись на молодую, сказала:

— Расселась, барыня... Так словно и надо... Поспеет твое шитье-то... убирай скотину... пои...

Молодая ничего не ответила, поджала губы, отчего они стали еще тоньше, и молча продолжала шить...

— Тебе я говорю-то, а? — остановившись против нее, сказала Дарья.— Аль оглохла-то?..

— Успеет твоя скотина-то, не издохнет... Чего ты?.. Кольнуть не дадут... Что за жисть моя за такая, за каторжная!..

— Обидела, матушка?!

— Ест и ест, ест и ест!.. Присесть нельзя... не пивши, не евши... куска не дают проглотить, все с оговоркой... Чашки чаю не дали глотнуть...

— Да пей хоть в три горла!.. Вон он... Кто тебе не дает?..

— Пей сама его... помои-то... лакай!.. Я, чай, не собака...

— А вот мы для тебя сейчас еще самовар разведем,— сказал вошедший Агап,— пожалуйте, барыня-сударыня!

— Я мужу скажу,— продолжала молодая, не слушая его,— жрать не дают... Сами чаи пьют, а меня к порогу... Зачем брал меня измываться-то надо мной?.. Меня бы не такой взял... Десять целковых за мной чистыми деньгами взяли... Пришла — а у вас вши одни... Прогребу нет... Платчишка, скажи, какого в гривенник за два-то года не купили... Запрягли, как кобылу гнедую... ворочай для вас. Я виновата, что ли, что ты на старости лет с пузом ходишь?.. Была мне нужда за тебя ворочать-то!.. Сын женатый, у сына дети, а она с пузом... Совестно из-за тебя в люди показаться, смеются: «Вы бы, говорят, со снохой-то бы, говорят, вместе потрафляли... Одни бы, говорят, крестины, за один за стол бы...» Молчала бы уж, лучше себя не страмила бы...

— Да что ты, сволочь ты эдакая, корить меня вздумала? — закричала Дарья, сразу вся побелев и необыкновенно широко раскрывая огромный до ушей рот с пеной по углам.— Агап,— еще шибче закричала она, обернувшись к мужу,— ай не слышишь, ай оглох... распорядись!.. Уйми!.. Ах ты, псовка ты эдакая, а? Чем корить задумала, а? Да нешто я виновна? — кричала она, наступая на невестку и махая руками.— С пастухом пригуляла, а? У меня муж есть, а? Нешто я перестарок какой?.. Жизнь меня съела, состарила... Поживи с мое, чертовка, нарожай столько щенят, как я-то, что из тебя станет!.. Ты вон и сейчас драная, как кошка дохлая... Кто тебя, опричь моего дурака-сынка, взял-то бы?.. Кто? На себя-то оглянись!..

— Чего мне оглядываться-то? А вот дай мужу прийти, я спрошу у него, как я ему досталась, пущай скажет... Как ты можешь меня порочить, а? Я тебя засудить могу за такие слова...

Она вдруг вскочила с места, бросив шитье, и, вся трясясь и сверкая глазами, сделавшимися сразу как будто больше, начала наскакивать на свекровь, поднося ей почти к лицу кулаки и пронзительно крича:

— Гулящая я, стало быть, вам досталась, а? Сказывай: гулящая? С бульвару? С Хитрова? Засужу!.. За-су-у-у-жу! Старая чертовка! Что б тебе не разродиться, дай, господи! Что б у тебя утроба-то лопнула на четыре части!..

— Агап,— закричала в свою очередь Дарья,— да что же это такое?.. Что же ты молчишь-то?.. Чего ты, черт ты проклятенный, не уймешь ее, а? Батюшки мои ро-о-димые, до чего я дожила-то, а?

— Что же мне, драться, что ли? — сказал Агап.— Дери вас дером... орите... служите молебен, благо глотки широки...

— Ванька,— крикнул с печи дед мальчишке, читавшему книгу, и, повидимому, не обращавшему никакого внимания на ссору,— готовь тамотка воды ведерку... Сейчас сцепятся, суки... Разливать станем... хы, хы, хы! хы, хы!.. Агап, а? Ты что же баб не уймешь? Куда уж вам, сукиным сынам, на свете жить?.. Куда ты годен-то... где уж тут хлебу родиться?

— Уйти, знать, захотела,— кричала между тем Дарья, махая руками,— вижу я твои штуки-то... мужа сманивать... на фабрику опять захотела... Фабричная мышь!.. Привыкла там в девках-то подолом-то вертеть... Тошно тебе здеся-то... Нет, матушка, врешь, не уйдешь... вре-е-ешь!..

— А что ж я, привязана у тебя на цепи, что ли?.. «Не уйдешь»... Как стра́шно! Кто меня может удержать? Знамо, уйдем... плюнем, да и уйдем, дери вас черт!..

— Ступай, матушка, ступай,— заговорила Дарья притворно-ласково,— ступай... не держим... ступай, треплись... Только уж не взыщи, к нам больше носу не кажи... Ничего вам нету, ничего не будет...

— Когда надо, придем... Наша доля земли не умершая... не уйдет...

— Эва чего не хошь ли? — воскликнул Агап.— На-ка вот, гляди, а не земли... Клока не дам... все мое... я хозяин!..

Молодая засмеялась.

— Молчи уж, лапоть,— сказала она,— дураку сказали, а он и поверил...

— Смотри, баба!..

— Чего смотреть-то... не ударишь!

— Очень просто... дождешься!..

— Эвося чего не хошь ли?.. На, выкуси!

— Ах ты, сволочь! — закричал обозлившийся на сделанную бабой непристойность Агап и бросился на нее с кулаками.— Ах ты, шлюха проклятая!.. Да я те... да я!..

Молодая как будто только этого и ждала...

— Ка-а-а-раул!.. Батюшки, убил!.. Караул! Караул! — завопила она и бросилась к двери.— Ка-а-раул! — визжала она, выскочив за дверь на двор, со двора на улицу.— Убил... а-а-а! Караул, караул!

— Вот черт-то,— сказал Агап,— вот срамница-то!..

Дарья, обессилев, села на скамью, бросила руки на колени и заплакала...

IX

Часу в первом после обеда, Агап стал «сряжаться» к барину... Только что вернувшаяся от соседей, молодая сидела в углу около люльки и исподлобья, злыми глазами следила за ним... Дарья с опухшим и жалким лицом сидела у окна, опустив голову, и чинила какую-то рубашонку. Дети забрались к деду на печь и тихо сидели там, боясь пикнуть: забитые, худенькие, жалкие... Какая-то тоска, невидимая, но живая, казалось, присутствовала в избе, злобствовала и радовалась...

В люльке заворочался и запищал ребенок. Молодая стала качать и запела потихоньку тонким, тягучим голосом, вливавшим в избу еще больше тоски:

Встану, встану я раненько,
Я умоюся беленько,
Приберусь я чепурненько...
Возьму гребень, возьму донце.
Сама сяду край оконца
Против ясного солнца...

— Ну, я пошел,— сказал Агап, одевшись.— Вы тут, смотрите, помене лайтесь-то!.. Ты язык-то твой сокращай,— обратился он к молодой.— Чего ты по людям-то бегаешь?.. Ты думаешь нас осрамить? Нас не осрамишь, а сама себе на хвост навяжешь...

— Ладно уж... иди куда идешь-то...

— То-то ладно... ладно, да не играет...

— У нас заиграет...

— Ах ты, шкура ты, шкура барабанная! Чего тебе недостает-то?.. Анафема ты... смутьянка!.. Черт навязался!— добавил он, выходя из избы, и сильно, обозлясь, хлопнул дверью...

До барского двора было недалеко — версты три... Шел он не торопясь и всю дорогу до самой усадьбы обдумывал про себя «речь», которую скажет барину.

— Ваше превосходительство, батюшка,— шептал он, идя и махая руками,— не оставьте... на вас все упование... В ноги ему паду,— продолжал он,— поклонюсь... шут с

ним... меня от поклону-то не убудет... А кого же в кумы-то позвать, а? — задал он себе вопрос и даже остановился на минуту.— Гм... кого же всамдели? Надо какую помоложе, покрасивее... старую-то вроде как мускоротно для него... Как бы это такую сукину дочь найти, которая бы поскладнее?..

— Стой! — воскликнул он, обрадовавшись, и усмехнулся.— Позову-ка я Феньку Журку... бабочка-огурчик! И не ломлива... В случае чего — готово, пожалуйте!

Пройдя мимо церкви, он свернул в ворота с каменными столбами и направился по расчищенной дороге к барскому дому, окруженному старыми липами, тополями, березами и пихтами... У большого крыльца с колоннами лежали два каменных сфинкса, поставленных здесь когда-то давным-давно, в дни процветания барства... Дверь с террасы в хоромы была наглухо заколочена. Зимой ход был с другой стороны, с галереи.

В этой галерее Агап столкнулся нос к носу с управляющим, выходившим из дома...

Управляющий, небольшого роста человек, одетый в полушубок, с очками на носу, с черной папахой на голове, посмотрел на него и, улыбаясь, спросил:

— Куда это, лиса, идешь?

Агап сдернул с головы шапку и, держа ее обеими руками, поклонился в пояс.

— К барину, батюшка, Антон Антоныч.

— Клянчить небось? Ах ты, мыло!

Агап промолчал.

— Сволочь, брат, ты,— сказал управляющий,— пролаза, сплетник.

— Помилуйте-с...

— Чего миловать-то?.. Знаю!.. Сволочь, брат, ты,— повторил он и пошел своей дорогой.

— От сволочи слышу,— прошептал Агап, отворив тяжелую дверь с блоком, вошел в небольшую переднюю или, как ее называли здесь, «буфет».

В буфете было тепло, чисто и сильно пахло кофеем.

Две девушки, опрятно одетые, красивые и ловкие, торопливо перемывали посуду, гремя тарелками в большой лоханке, и ставили их на стол одна на другую.

Агап помолился в угол, поздоровался и осведомился о барине.

— Дома,— ответила на его вопрос одна из девушек,— а тебе зачем он?

— Да так,— сказал Агап,— дельце есть небольшое.

Одна из девушек, скосив глаза, подозрительно посмотрела на Агаповы валенки, на которых остался снег.

— Натопчешь ты тут,— сказала она,— мой за вами, за всеми...

Агап подвинулся к самому порогу и шапкой тщательно обчистил снег.

В это время в буфет вошел высокий лакей с черными бакенбардами и бритым подбородком, в белых перчатках. Увидя Агапа, он прищурился и произнес презрительно сквозь зубы:

— Тебе что? На бедность, что ли?.. Не подаем... отчаливай!..

— Барина мне надо,— сказал Агап, отвесив поклон,— сделайте милость, доложите: Агап, мол, Мартынов пришел... Они меня знают...

— Можно,— сказал, улыбаясь, лакей,— Агап Мартынов, говоришь, а? Хорошо-с... Слушаем-с... сейчас доложим-с...

Он ушел и немного погодя возвратился.

— Доложил-с,— сказал он.— Просят обождать... извиняются... дела-с... Принесите кто-нибудь Агап Мартынычу кресло... присядут они...

— Будет вам чудить-то,— засмеялась одна из девушек и, обернувшись к Агапу, сказала: — Возьми, дедушка, вон ту табуретку... присядь...

Агап взял табуретку и, поставив ее к порогу у двери, сел.

Лакей постоял немного около девушек, молча закурил и ушел...

— Черт голенастый,— негромко произнесла девушка, предложившая Агапу табуретку,— тоже над людьми смеется, а сам-то... на всех зверей похож. Надоел, губошлепый пес, проходу не дает...

X

Сидеть Агапу пришлось больше часу, и это время он посвятил размышлениям.

«Вот,— рассуждал он,— за что, подумаешь, счастье такое человеку господь послал?.. Сыт, обут, одет, пьет,

ест — чего душа просит... Денег, как грязи, по деньгам ходит... цельный божий день посуда со стола не сходит... Во что только лезет? Дал же господь!.. Родители заслужили, а сам куда же годен? У хлеба с голоду умрет... отрезать сам не сумеет... Н-да, а мы-то, голова, а мы-то?!»

Размышления Агапа были неожиданно прерваны вбежавшей в буфет огромной откормленной собакой...

— Барин идет,— сказала девушка и еще усерднее принялась за дело.

В буфет действительно вошел барин... Он держал в левой руке толстую сигару, а в правой какую-то тоненькую белую палочку, которой ковырял в зубах.

Одет он был в коротенький нараспашку чудной пиджачишко и в широкие брюки, заправленные в короткие голенища лакированных сапог.

Кожа на его круглом лице лоснилась от жира. Голову он держал кверху, как коренник в тройке, грудь выпячивал вперед и уверенно глядел большими навыкате глазами.

Агап быстро согнулся в три погибели и произнес каким-то не своим голосом:

— Ваш превосходительство!..

— А-а-а,— воскликнул, улыбнувшись, барин,— Агап! Ну, что ты, а?..

— К вам-с... к вашему превосходительству...

— Зачем? Да ты не робей!.. Говори прямо, что надо!

— Насчет работенки... работенки попросить... Осмелюсь доложить — дошел до точки... соли, и той нет-с... К кому же нам прибегнуть-с, окромя как к царю небесному да к вашей милости... Испокон, можно сказать, веков слуги ваши...

— Гм! — поморщился барин...— Какую ж тебе работу, я не знаю... Да ты бы, братец мой, обратился в контору к управляющему...

— Слушаю-с! — уныло произнес Агап.

— Еще что-нибудь хочешь сказать? Говори... не бойся...

— Господи благослови,— прошептал про себя Агап и вдруг как-то сразу осел, сгорбился и повалился барину в ноги, упершись ладонями об пол, точно так, как проделывал в церкви, ставя свечку «празднику».

Не ожидавший этого барин отскочил, а стоявшая возле собака зарычала.

— Ваше превосходительство,— стоя на четвереньках, с дрожью в голосе забормотал Агап,— осмелюсь просить... будьте папашей, крестным... не откажите, ваше превосходительство... мы...

— Да что ты?.. Что такое? — закричал барин.— Встань! Да встань же, чего тебе?

— Осмелюсь, ваше превосходительство... воспреемником, значит, младенца моего,— бормотал Агап, не вставая.

— Да встань ты, черт! Ничего не понимаю! — крикнул барин, начиная сердиться.

Агап быстро поднялся и начал объяснять, торопливо и робко:

— Супруга у меня... ждем с часу на час... Осмелюсь просить... ваше превосходительство... Как родители наши вам служили по гроб жизни, так, стало быть, и нам наказывали... Не поимейте... будьте столь добры... для отрады души... то есть воспреемником от святые купели... папашей кресным...

— Постой! У тебя, значит, жена родила, что ли? — улыбаясь, спросил барин.

Видя, что барин отошел и улыбается, Агап ободрился и заговорил:

— Родить еще она покуда не родила... ну, а ждем с часу на час... Вот мы и надумали заблаговременно просить ваше превосходительство... сделайте божескую милость... будьте воспреемником...

Барин совсем подобрел.

— Ах ты, чудак этакой! — сказал он добродушно.— Ну что же, я не прочь .. скажи только, чтобы мальчишку родила... ха, ха, ха! Ну, а куму подыскал уже, а?

— Наметил-с!..

— Старая?

— Помилуйте-с... Зачем старая?.. Розанчик... огур чик-с...

— Ну, ну... ладно! Как родит, зови... пойду... А пока прощай! Впрочем, стой... на-ка вот тебе!

Он пошарил рукой в кармане и, не найдя того, что искал, крикнул:

— Эй!

Точно из-под земли вырос и встал навытяжку тот самый лакей, который недавно смеялся над Агапом.

— Игнатий, дай ему три рубля! — сказал барин.

— Слушаю-с.

Услыша это, Агап, переполненный счастьем, с рабским сладострастием повалился опять барину в ноги и завопил:

— Отец!.. По гроб жизни... покуда жив!..

— Ладно, ладно! — посмеиваясь, сказал барин.— Встань, встань!..

Он повернулся и, посвистывая, вышел.

— А ты, брат, я вижу, себе на уме, с подходцем,— сказал лакей, отдавая Агапу деньги,— химик!

Агап молчал и улыбался.

XI

Идя домой, на радостях он завернул во дворик, где жили какие-то старые, отставные холуи, придерживавшие водку, и тяпнул половинку.

Рассыропленная водой водка подействовала на него, давно не пившего, так, что, выйдя из дворика, он шел, покачиваясь и тыкаясь, как будто бы ловя кого-то руками.

На душе у него было необыкновенно весело... Все вокруг — и тощие кусты вереска, и голый осинник, и низкое небо, и мертвое поле, и ветер, бьющий в лицо,— все это казалось ему теперь каким-то новым и точно вместе с ним радовалось его счастью.

В умилении он остановился и заплакал, то и дело утирая нос двумя пальцами правой руки...

— Господи! Батюшка! — топчась на одном месте и балансируя ногами, рассуждал он, плача,— дай, говорит, три рубля, а?.. За что?.. Ничего не видя... Кто я, а кто он, и вдруг!.. Как обо мне теперича в деревне понимать должны, а?.. Воспреемник, кум! Кто такой!.. О господи, царица небесная!..

— «Пущай, говорит, родит мальчишку»... Ну, Дарья, как никак, а уж по-о-о-старайся, хоть плохонького, да парнишку... Эх, и потечет мне тогда, не зевай только, Агап!

До дому он добрался только к вечеру, в сумерки. Жена, делавшая что-то на дворе около скотины, сообщила ему новость: неожиданно отелилась корова...

— Кого бог дал? — спросил Агап, стараясь говорить как можно серьезней и тверже, чтобы не показать, что он выпил, зная по опыту, как его за это прохватывают...

— Быка принесла... Такой-то, господь с ним, хо-о-о-роший... се-е-дой весь! Ступай в избу, погляди... Там, увидишь, у нас еще бык сидит...

— Кто такой?..

— Васька пришел!

— Ну, да?! Ах ты наказание господне!

— Да, вот! Что жрать-то станем? Ну, а ты что долго?.. Видел барина?.. Да от тебя, никак, винищем разит?

— Молчи! — заговорил шепотом Агап.— Помалкивай!.. Дело наше — слава богу... Выпил я с радости маленько — наплевать!.. Тройку дал.

— Кто... какую тройку?.. Налил бельмы-то!

— Кто, кто?.. Барин... вот кто! «Дай, говорит, ему три рубля»... Что было-то, Дарья, истинный господь, из див-то диво!.. Крестить, почитай, сам набился... Не успел я заикнуться, рта разинуть, а уж он согласен... «Скажи, говорит, чтобы, говорит, мальчишку родила»... Потечет нам... обожди, люди будем... За тобой только теперича дело... Не подгадь, смотри!

— Ишь, вы с ним ловки больно... загадали! — сказала Дарья.— Кого бог даст, тот и будет! Где деньги-то?.. Давай сюда! Да только молчи про деньги-то, а то стерва-то начнет тявкать... Пела, пела тут без тебя... Завязывай глаза, да и беги из дому... Хоть бы ты укротил ее. Какой ты есть хозяин... бабенку унять не можешь!..

— Эх-ма! — произнес Агап.— Я думал, свежи, а это все те же! — И, отворив дверь, вошел в избу.

XII

— Вы что же в потемках-то сидите? — сказал он, войдя в избу.— Засветили б... лоб расшибешь...

Никто не ответил.

Он разделся и зажег лампочку. Лампочка закачалась. От этого по стенам, по потолку, по печи заколебались и задвигались какие-то странные, точно живые, только что проснувшиеся, угрюмые тени.

На скамье около люльки, ткнувшись лицом в тряпье, лежала молодая, а рядом, у ней в ногах, сидел, согнувшись, опустив голову, уставясь глазами в пол, муж ее Василий, только что пришедший из города.

Это был молодой мужик, худощавый, с небольшой

бородкой. Он сидел и своей позой без слов говорил, что ему и тяжело, и горько, и совестно, и обидно.

Агап покосился на него и скривил рот в усмешку.

— Пришел?

Со двора, сильно хлопнув дверью, вошла Дарья, неся подмышкой левой руки сноп соломы...

— Агап,— сказала она, бросив солому на пол,— старшина, сказывают, на днях приедет, опись скотине будет...

— Ну-у?!

— Сказывали за наверное... Как быть-то, а? Бычок-то этот, смотри, не улетел бы...

Агап промолчал и, присев на скамью, достал кисет и стал делать папироску...

— Потащишь,— начала снова Дарья,— как летось по осени в город. Стоит живот пять целковых — отдавай за полтора... Там этому живодеры рады... Издохнуть бы уж мне, что ли... не разродиться бы... лопнула бы моя утроба... не видали бы мои глаза!.. Да уж скоро, скоро конец мой... Слышу... слышу я, смерть моя около меня ходит... не ноне-завтра...

Она заплакала и продолжала, всхлипывая и захлебываясь слезами:

— Вон помощничек-то пришел... кормилец... возьми его... ишь, расселся, как и путный...

Сын еще больше нагнулся и, болезненно-сердито сдвинув брови, начал нервно стучать подошвой сапога по полу.

— Как это,— продолжала Дарья,— местов нету?.. Хорошему человеку завсе место... Ну, что ты теперича будешь делать здесь? — обратилась она к сыну.— Хлеб жрать?.. Нету его! У жениной юбки сидеть, караулить ее? Не уйдет небось, батюшка, не бойся!..

Молодая поднялась и села. Заправляя пальцами обеих рук под повойник растрепанные волосы, она заголосила:

— Что мы вам дались, измываться-то над нами? Чего, в самом деле, нешто это жизнь?.. Кипишь, как в чугуне картошка!.. Теснота, срамота... тьфу!..

— Ах ты, барыня наша,— с иронией заговорила Дарья,— тесно ей, а? Ну, как быть-то, выстройте каменные палаты, да и живите в них... лежите на точеных кроватях, на лебяжьем пуху...

— Отделил бы ты меня, тятя,— сказал все время молчавший сын и, подняв голову, посмотрел на отца,— право... Ну, что это?.. Так нельзя!

— А-а-а,— еще с большим ехидством затрещала Дарья,— делиться захотел!.. Уж успела, шкуреха, накласть дерьма-то ему в уши... У-у-у, окаянная сила!

— Василий,— в свою очередь завопила молодая, обращаясь к мужу,— скажи ты мне, доколе она меня есть будет?.. За коим, прости ты меня, господи, не при ребенке вот, не при ангельской душеньке будь сказано, чертом привел-то сюда.. Ай я вам каковская досталась?.. Какого черта ты дурака-то строишь?.. Баба рязанская!.. Смотри, Васька, я молчу, молчу, да мое терпенье лопнет... мне наплевать... доведет она меня... Я... я... Я при кресте убью, не побоюсь!..

— Да уж разбойница, разбойница и есть... Уж это мы, матушка, узнали... Ты уж, родная, и не говори... знаем мы... ра-а-а-збойница!..

Молодая заплакала... Ее злобный, деланый вой понесся по избе, и в ней стало сразу еще печальнее и страшнее.

— Будет орать-то! — закричал Агап.— Распустила глотку-то... ори, не ори — ни фига не получишь... все мое... я хозяин! Не нравится у меня — не держу, с богом на все четыре стороны!... Вы чего наживали-то, а? Много ль вы в дом-то подавали, а? Не-ет, брат, ша-а-лишь! Теперича порядки не те... укротили вашего брата... родительская власть возвеличена... Хочу — дам, хочу — нет,— все мое!..

— Ан врешь,— закричал с печи старик,— ан врешь... мое все... Покеда, значит, я жив — все мое!.. Хы, хы, хы! Что взял! Захочу вот, коли так, продам все — да и в купцы, а вы куда хотите... Ловко устроили, умные головы... хы, хы, хы!..

— Молчи уж ты там, сыч!.. Таракан запечный! — сказала Дарья...

— Васька! — закричал снова дед.— Ничего, не робей, я хозяин... Погоди вот, схожу как-нибудь, додвигаю к земскому, объясню ему все... Не порядки это... нет, нельзя так!..

— Ничего мне не надо,— сказал Василий,— берите все... проживу как-нибудь...

Он поднялся, надел полушубок, шапку и, ни слова не говоря, вышел из избы...

Он пошел вдоль деревни под гору на другой конец...

По избам в оконцах, по ту сторону и по эту, мигали огоньки. На улице было тихо и необыкновенно грустно...

В избе, к которой он подошел, тоже светился огонь и слышался шумный разговор.

«Неужели то же самое, что и у нас, ругань идет? — подумал Василий, взявшись за кольцо двери.— Кричат что-то!»

Он дернул дверь. Она была заперта. Он застучал кольцом. В избе затихло. Он постучал еще.

— Кто здеся? — раздался по ту сторону двери женский сердитый голос.

— Я.

— Кто я? Чего надо?

— Да это я, тетка Варвара,— сказал Василий, узнавши голос.— Я, Василий... не узнала? Ивана пришел проведать... дома он?

— А то где же ему быть-то? — все так же сердито раздался за дверью голос.— Где ему быть-то? Ступай вон погляди, валяется, как падаль... Ха-а-алерный!..

Дверь отворилась. Василий поднялся на мост и в потемках, держась правой рукой за стену, вошел в избу.

— Здорово живете! — громко сказал он, остановившись у порога и окидывая избу глазами.— Живы ли тут?..

— Здравствуй! — неохотно как-то и не скрывая этого, ответила ему за всех впустившая его баба.— Давно ль прибыл? А мы вишь все дома... приятель твой вон в чуланчике лежит, книжку читает... керосин палит... Сам в город уехал, дровишки повез... а мы вот вишь... эна нас сколько... живем цветем... тьфу!..

— Вась, ты это, что ли, а? — раздался голос из какого-то чуланчика, устроенного в дальнем углу большой старинной избы.

— Я! — откликнулся Василий.— К тебе.— Сказав это и чувствуя, что его приходу не рады, он прошел по загаженному, грязному полу избы и отворил тоненькую дверцу из старых фанерок в чуланчик.

Он не видал приятеля давно, почти год, и теперь, увидев его, остановился у порога, пораженный...

На постели, устроенной на козелках, на какой-то грязной рвани, вместо матраца, лежал на левом боку молодой парень, почти мальчик, и с улыбкой на тонких, совсем белых губах смотрел на него...

Весь он высох, глаза ввалились, волосы на голове вылезли и торчали кое-где белыми клочьями.

Около кровати стоял ящик вместо стола, и на нем

была небольшая лампочка, тускло светившая под самодельным из газетной бумаги абажуром. Тут же стояли пузырьки с лекарствами, завернутые в белую бумагу порошки, небольшая коробка с табаком и книжечка бумаги для куренья.

На стене была устроена полка, лежали разных размеров книжки и несколько номеров газет. Пониже этой полки, почти уже в уровень с кроватью, висели фотографические карточки в рамках и без рамок, прибитые по углам тонкими шпильками. Посреди карточек выделялась группа снятых вместе молодых людей, учеников какого-то училища...

— Что,— сказал больной, глядя на Василия большими ввалившимися глазами, в которых стоял ужас смерти,— не узнаешь, брат, а? Вот какой я стал! Полюбуйся, помираю, брат... да!.. Ну, здравствуй!.. Присядь!.. Вот здесь, ко мне на кровать...

Он отодвинул ноги к стене, освобождая место, и сел, прикрыв ноги засаленным одеялом.

Василий со страхом и жалостью, не спуская глаз с больного, потихоньку опустился на указанное место.

— Пришел вот тебя проведать,— тихо сказал он,— давно не видались... Ну, как ты... все хвораешь?..

— Спасибо,— жалобно улыбаясь, сказал больной,— спасибо, пришел... забыли меня все... умираю вот, конец...

— Полно, бог милостив... авось как-нибудь...

Больной махнул рукой.

— Чего уж мне говорить... знаю ведь я... сам фельдшер... Умираю, брат,— повторил он.— «Вырыта заступом яма глубокая, жизнь невеселая, жизнь одинокая»...

Голос его оборвался... Он замолчал и заплакал, моргая глазами.

— Ты мне, Вася, и могилу вырой, как помру... Выроешь, а? Постарайся, друг, поглубже, смотри... Земля-то теперь замерзла... б-б-бр!..

Василий потупился. Он чувствовал, как к горлу подступают слезы.

— Плохо мое дело... ах, плохо! — шепотом и наклонившись к нему, заговорил больной.— Такую терплю муку — не дай бог никому! Каждым куском попрекают, хотя я собственно почти ничего и не ем... Какой уж я едок, небось сам видишь... а пуще вот за это грызут,— он показал на лампочку,— за керосин... А мне свет необхо-

дим... Вот я ночи не сплю... лежу и думаю всю ночь. Если вот штуки четыре-пять этих порошков не съем на ночь, то и сна нет... Морфий это называется... Ты подумай-ка: ночь-то — год... Завалятся, как только стемнеет... духота, вонища, храп, клопы, вши... за окнами тьма... ветер воет... а я, понимаешь, лежу «во цвете лет» и не сплю... И представляется мне наше кладбище, кресты, могилы... мертво, тихо, ночь, и я там где-нибудь лежу, а?.. Страшно!..

Он замолчал и уставился на Василия испуганными глазами. Василий тоже молчал, подавленный, не зная, что сказать. За перегородкой в избе опять началась ругань, перекоры...

— По-о-шло! — сказал больной и махнул рукой,— залаяли... Господи, как тяжело... А у вас как, а?

— Все едино,— ответил Василий.— Где этого нету?

— Плохо живем, Вася, а? Темно, дико, бедно...

— Что ж ты здесь валяешься-то? — сказал Василий.— Ты бы в больницу шел... Там, по крайности, чистота, уход...

— Хы... в больницу,— заволновался больной,— был я... в клиниках в Москве лежал... Неизлечимый я, понимаешь... В больницах не держат... А боюсь я, Вася, смерти... не хочется умирать... Ведь я и жизни-то еще не видал... только кончил ученье... в Сибири место предлагали, и жалованье хорошее. Я ведь учился хорошо... старался... нужду какую терпел!.. Все думал: кончу, поступлю на место, отцу помогать стану... Вот и помог... Веришь, другой раз плачем мы с ним оба... Он вон там на печи, а я здесь... Все горе у нас... Корова на днях издохла, слышал?

— Нет, не слыхал.

— Издохла... Я советовал, что ей дать... Я ведь, знаешь, ветеринарный фельдшер... Так куда тебе — и слушать не стали, к «баушке» поехали. Нагадала она им, что «с глазу», мол... Дала водицы святой, из лампадки маслица... Непроглядная тьма!.. Несчастный народ, загнанный, забитый, темный... Выкололи у него глаза, и ходит он слепой в вечных потемках, тычется, как щенок... Я вот газеты читаю, присылает мне акушерка из больницы... Дума там, разговоры!.. И все это так далеко от нашей-то вот жизни, как небо от земли... Спорят они там, кричат... Электричество... свет... шум... сытые, нарядные люди... а здесь, а у нас, а мы...

Он замолчал и начал торопливо вертеть тонкими пальцами папироску.

— Идти мне время,— сказал Василий.

— Посиди, успеешь...

— Василий, а Василий! — раздался бабий голос из избы.

— Н-ну? — отозвался Василий.

— У вас как дома-то?.. Так же-ка, как у нас, что ли, каждому под рыло лампа, точно, прости, господи, свечки перед иконами, аль за одной сидите, а?

Василий молчал, наклонив голову, и глядел на пол. Больной тоже молчал, нервно стуча ногой о край кровати.

В это время с улицы кто-то торопливо-часто забарабанил пальцами по стеклу.

— Кто там? — крикнула мать больного, уткнувшись лицом в стекло и глядя на улицу, где было темно.

— Я-я-я!..— глухо отозвался с той стороны голос.— Братец у вас?..

— У нас!.. За тобой, знать... тебя зовут,— сказала баба Василию.

— Что такое там? — удивился Василий и поднялся с места.— Случилось что-нибудь... Ну, прощай! Поправляйся...

— Поправлюсь... скоро поправлюсь,— с дрожью в голосе ответил больной.— Прощай!.. Спасибо, навестил...

Он отвернулся к стенке, и Василий увидал, как задрожали его плечи и как из-под одеяла послышались жалкие, безотрадные и беспомощные всхлипыванья.

XIII

Василий вышел на улицу. Было темно, начиналась непогода.

— Ванька, ты, что ль, это, а? — окликнул он в потемках братишку.— Где ты?.. Не видать со свету-то... Что такое там?

— Мамку схватило... родить хочет... за баушкой надо гнать в Кузево.

— Ну, пойдем скорей...

Дарью действительно неожиданно, «безо время схватило»... Она ждала этого еще через неделю или больше и не готовилась.

Верстах в пяти находилась земская больница, где был устроенный недавно родильный покой. Но он по большей части пустовал... Бабы боялись его пуще огня, думая почему-то, что там непременно зарежут, и не веря немногим пионеркам, которые рассказывали чудеса о том, как там хорошо: «чистота, харчи, уход... все во-время... подадут, примут»...

Агап предложил было и своей бабе отвезти ее в больницу, но она даже рассердилась.

— Разбойник, мошенник,— заголосила она,— надоела я тебе: другую, знать, шкуреху нашел... Гони, мошенник, за баушкой Прасковьей в Кузево... Первый раз мне, что ли? Ишь, поеду я тебе в больницу!

Агап послал за бабкой сына Василия.

Ехать было недалеко... Василий обернул скоро и привез «баушку» Прасковью, высокую, долгоносую, клыкастую старуху зловещего вида. Всех «мужиков», и больших и малых, за исключением только деда, она выгнала вон. Оробевший Агап забрал детей и увел ночевать к соседу. В избе остались молодая да дед, лежавший, как и всегда, на печи...

Бабушка засветила лампадку, поклонилась три раза в землю и потом обратилась к Дарье, лежавшей на полу на соломе.

— Ну, как мы?.. Едем, аль встали?..

— Ох, баушенька, родимая, знать, скоро! Ох, стыды-то, стыды-то, головушка!..

— Чего тебе стыдиться? Небось не с пастухом пригуляла... чай, муж у тебя... Так-то вот... Дай-кась я тебя потру.

— В печку бы меня... распариться... косточки-то бы разошлись...

— Обожди... рано... бог милостив... не первый снег на голову...

Вскоре у Дарьи начались схватки. Она принялась вопить и кататься по полу, страшная, с огромным животом, растрепанная, грязная...

— В печку бы меня,— вопила она,— ой, батюшки-светы!.. Баушенька, в печку бы!..

Прасковья стояла около, крестила ее и говорила:

— Теперича скоро... обожди чуток... не бойся... не махонькая... понатужься, девонька, понатужься... Ничего... бог милостив... Держись-ка за меня... привстань-ка, я тебя тряхну маленько...

На печке, отвернувшись в угол к стене, лежал дедушка и слушал, что делается внизу... Молодая, отслонив заслонку, доставала из печки чугуны и, слушая вопли Дарьи, с злорадством шептала про себя:

— Так те и надо... так те и надо!.. Иш ты, старая падаль... Так те и надо!..

Дарья вопила и просилась в печку.

Прасковья вместе с молодой подняли, наконец, стонущую родильницу с полу и поволокли к печке...

С большим трудом они помогли ей забраться туда, и, сидя в печи, Дарья опять принялась голосить:

— Баушка, родимая, подай ты мне икону, владычицу Ахтырскую... маменькино благословенье!.. Умираю я... смерть моя...

Баба подала ей в печку небольшую черную иконку.

Дарья схватила ее и, захлебываясь от слез, вся дрожа, бормоча что-то непонятное, принялась исступленно-страстно целовать дощечку и прижимать ее к животу...

Свет от лампочки, поставленной на шестке, освещал устье, а кругом по всей избе было темно, страшно, и казалось, что все, все предметы и даже самый мрак, напряженно ждет чего-то и слушаёт...

XIV

Под утро, когда на дворе пропел несколько раз петух и когда уже стало чуть-чуть светать, Дарью, наконец, «простил бог», и она родила в печке мальчика...

Баушка Прасковья приняла его, перевязала пуповину пряжей и «обмыла», спрыснув изо рту водой.

Младенец пищал без умолку, жалобно и назойливо, как мышонок.

— О, какой, брат, ты горластый выскочил,— сказала бабушка.— Весь, знать, в родителя. Погоди, я сейчас с тобой сделаюсь...

Она прикрыла его чем-то и, подойдя к двери, три раза подряд отворила и затворила ее, приговаривая:

— Скрип, скрип, возьми наш крик, дай нам покой!

— А ты,— сказала она вернувшемуся Агапу,— коли он орать все станет да расти плохо, возьми его, положь в мешок да ночью обойди с молитвой вокруг деревни...

— Ладно, баушка, ладно, родимая... спасибо тебе за

наставленье... Что бы мы без тебя, золото ты у нас! — говорил обрадованный Агап.— Мальчишку родила... хы-хы-хы! Нам его-то и надо... теперича я через него кум королю...

Дарью, полуживую, вымазанную в золе и саже, вытащили из печки и положили на скамью, пригородив к ней еще скамейку, чтобы было пошире и удобнее.

Агап подошел к ней и спросил:

— Ну, как ты... что... полегше?

Дарья облизала языком пересохшие и растрескавшиеся губы и тихо сказала:

— Полегше... Скотине-то давал?.. Поди, дай... время... бело уж... Теленка-то напойте... Скажи нашей-то, не очень чтобы много давала... не опоить бы.

И опять, облизав губы, потихоньку спросила:

Как насчет крестин-то, а? Когда?

— Да не знаю... денег-то нету... Теленка нешто махнуть да овцу яловую...

— Жалко быка-то... мал еще... что за него дадут!..

— Так-то так, а что станешь делать?.. Чай, кум тебе даст... помалкивай... течение теперича нам пойдет...

И, помолчав немного и стараясь быть как можно серьезнее, хотя в душе у него все точно пело и ликовало, спросил:

— Я тебе надысь деньги-то отдал? Надо и их захватить для всякого случаю...

— Ох, не напейся ты там, мужик!.. Полетят тогда к шуту крестины.

Агап ничего не ответил, только махнул рукой и торопливо, делая серьезное и озабоченное лицо, вышел из избы...

XV

Пока он копошился около дровней, накладывая в них сена, чтобы теплее было лежать овце и теленку, подошел сын Василий и спросил:

— Куда это ты собрался?..

— Куда, куда,— передразнил Агап,— в город... Надо небось купить на крестины-то чего-нибудь, а?

И, помолчав, добавил:

— У меня какое лицо крестить-то будет, знаешь ли?..

— Почем мне знать?..

— Его превосходительство... барин... А ты как думаешь? Нас, брат, тоже голой-то рукой не бери...

— Гм...— усмехнулся Василий,— та-ак!

— Аль не по-твоему?.. Пойдем лучше, помоги теленка вынести...

— Зачем это? Что это ты?

— Не твое дело, пойдем... Ты, что ль, его наживал-то?.. Все мое, я хозяин!..

Василий промолчал и, нахмурившись, пошел вслед за отцом в избу.

Теленок лежал в углу и потихоньку сопел... Агап с озабоченно-деловым лицом, нахмурившись, молча и торопливо перевязал ему ноги, повалил на бок и, стукнув ладонью по брюху, сказал:

— Ладно... не убежит... Бери-ка, Вась, за передние... Господи, благослови!

— Тащил бы уж и корову со двора! — крикнула, не утерпев, молодая.— Невидаль какая, подумаешь... крестины!.. Царь в корыте едет! Теленка, не успел еще обсохнуть путем, продавать... тьфу!..

— А уж это, милка, не твое дело,— сказала «баушка»,— про то хозяева знают...

— А ну их к шуту, хозяев-то этих! — со злостью махнув рукой, крикнула молодая,— хозяева... тьфу!..

— Пойдем, теперича поможешь мне овцу вынести, сказал Агап, уложив в дровни бычка.

— Неужто и овцу? — удивился Василий, но все-таки пошел за отцом на двор, в омшаник.

Овца была большая, старая и не давалась, бегая, как полоумная, по хлеву. Агап бегал за ней, крича и ругаясь.

Эту возню услыхали в избе; молодая вышла посмотреть, в чем дело. Поняв, что происходит, она завопила.

— Что ж это такое,— кричала она, стоя на мосту и махая руками,— останное со двора тащит!.. Крестины, а у меня вон юбчонка последняя съехала!.. Платчишка, скажи, лишнего нету... что он это такое, а?..

— Ступай к чертовой матери, пока цела! — заорал на нее обозлившийся Агап.— Убью!.. Я — хозяин... все мое! На кой вы мне?.. Уходите к черту... нет вам ничего... очищай фатеру!..

Он поймал, наконец, овцу, сшиб ее на бок, с ожесточением, кривя на сторону рот, крепко-накрепко скрутил ей ноги и, завалив на спину, потащил на улицу.

— Нет, брат, теперича погодите,— продолжал он, выйдя за ворота и укладывая овцу в дровни.— Укоротили вас... не напрыгать много-то! Это в прежние времена бывало, чуть что, сейчас родителю-то в зубы... по шее на старости лет: «вам-ста пора помирать»... Теперича шалишь, хы, хы, хы!.. Я хозяин. Царь я в своем дому и бог...

— Ори, ори! — обернувшись к избе, откуда слышался визг молодой, крикнул он и засмеялся, довольный тем, что вот сейчас поедет в город, получит деньги, попьет в трактире чайку, выпьет половиночку, купит, что надо, и вернется домой, где он полный хозяин и где ему никто не смеет поперечить.

— Так-то вот лучше,— перехлестывая веревку с одной креслины на другую, говорил он.— Тоже указывать! Сиди уж, молчи, не дыши... все мое... я хозяин!..

XVI

В город по случаю базарного дня наехало множество подвод. Площадь, окруженная со всех сторон трактирами, чайными, пивными, казенкой, кипела народом. Звонили колокола. Шел крестный ход.

Дело у Агапа сладилось скоро. Знакомый мясник «много разговаривать не любил».

— Много ль за падаль-то? — спросил он, пощупав бычка за ляжку.

— Без лишнего пятерку.

— Эва!

— Бык-то хорош... порода... не из простых.

— Нам все едино, порода — наплевать... Нам мясо нужно, говядина... Возьми три...

— Помилуйте!

— Как хошь... А это что? Овца? Подыхать сюда привез?.. Старая... фунтов пятнадцть будет, боле не будет...

— Помилуйте, пятнадцать? Яловая... старица... пуд потянет.

— Будет врать-то... Сколько?..

— Три с полтиной.

— Получай два целковых, ужо за шкурой заедешь... Гривенник на чай... Чего толковать-то?.. Я много разговаривать не люблю... Ну, ладно, четвертак прибавлю... Эй,

кто там!.. Петька, поди помоги, живо!.. Эй, тетка, ты что продаешь? Шерсть? Та-ак... иди сюда, кажи!.. Много ль?..

Получив деньги, пять с четвертью, гривенник на чай, полфунта какой-то ржавой рыбы «сомовины» на закуску, Агап поехал на постоялый, оставил там лошадь, дал ей сена и отправился в трактир пить чай...

Всех денег, вместе с захваченными из дому, собралось у него семь рублей тридцать копеек.

Сидя в трактире, глотая после выпитой «сотки» необыкновенно крепкий чай, почти черный от соды, с запахом мыла, Агап рассчитывал, что ему купить...

— «Молодку в красном полушалке» первым долгом,— рассчитывал он,— два двадцать. Бутылку какого получше красного для барина... Целковый клади... Наплевать, пущай жрет, свое воротим... Три двадцать. Пивка пару — тридцать... Колбаски фунтик получше — четвертак... Эка сколько выскочит... Ну, да, надо быть... в убытке не буду. Выпьет — размякнет... Потрафить только надо... В ноги ему, выпивши, бултыхнусь, а уж своего не упущу, возвращу назад... Худого, думаю, не будет...

Довольный и возбужденный любимой трактирной обстановкой, Агап покончил с чаем, расплатился и пошел из трактира в ряды «забирать» что надо.

Он управился скоро и, выпив на дорожку еще сотку, веселый, довольный, отправился домой.

XVII

Лежа в дровнишках, завернувшись армяком, он решил, что если успеет, то нынче же по вечеру сходит к Феньке и переговорит с ней насчет крестин. Пойдет она в кумы или нет?

Фенька эта жила в деревне, «ни вдова, ни замужняя жена»... Муж ее, плюгавая, убогая и телом и душой «мастеровщина» — позолотчик, «заболтался» где-то в Москве и не являлся домой, в деревню, стыдясь явиться оборванцем... Свекор помер. Осталась только свекровь, кроткая, работящая, угодливая, да какой-то большеголовый, пузатый, с тонкими, кривыми ногами сынишка, которого Фенька не любила и дразнила «отцом»... «Весь в отца... такая же гадина»,— кричала она на него и, если бы не бабушка-свекровь, давно бы «сжила со свету»...

Дела у Феньки шли недурно. Землю она не бросала, а управлялась с нею, ловкая и сильная, лучше любого мужика. Сама пахала, косила, ходила на сходки и орала там громче всех...

Между прочим она торговала водкой. Статья эта приносила ей хороший барыш. К ней ходили и свои и из соседних деревень. Осенью, когда гуляли рекруты и пастухи, получив свою «пастушню», у ней в избе постоянно стояло веселье... Гармошки, пляска, картежная игра... Она пускала также девок и парней на всю ночь, взимая с каждого по пятачку, и сама стлала на полу солому, укладывая их спать...

У нее водились деньжонки, и жила она в общем недурно, жила так, что люди — завидовали...

Ее-то и наметил Агап в кумы...

«Схожу ужо, коли успею,— думал он, погоняя и покрикивая на лошадь.— А завтра утречком к попу схожу, а от него уж к барину пройду... Так-то вот все и будет у нас ладно... по-хорошему»...

XVIII

Домой он приехал — стало смеркаться... В избе, пока он ездил, поубрались: подмыли пол, повесили какую-то занавеску, спрятав за ней «родиху», и вынесли вон из избы на мост все лишнее.

Раздевшись, Агап зашел за занавеску. Дарья большими, провалившимися глазами пытливо посмотрела на мужа, думая, не пьян ли он, и, видя, что нет, тихо и ласково сказала:

— Слава богу, трезвый приехал... Ну, как... продал?.. За много ль?

Агап сказал.

— Продешевил... жалко!.. Ну, что уж делать?.. Винища-то много ль привез?

— Да четвертную всего...

— Будет... кому пить-то?

— Найдутся... А я хочу к Феньке сходить... в кумы позвать...

— Нашел кого!

— А что ж?.. Ничего... Чем плоха? Всегда с деньгой... Да нам наплевать... кум — главное дело...

— Да,— согласилась Дарья.— Кум у нас не кто-нибудь... не мужик серый... Вот по деревне разговору-то пойдет, зависти,— добавила она.

— А мне наплевать... завидуй!.. Говори, что хошь, а вот на̀, пошел ко мне в кумовья, да и все... Н-да! Какое лицо, а? А мне кум... хы, хы, хы!..

Вечером, когда зажгли огонь, он отправился к будущей куме. Фенька со старухой свекровью и с мальчишкой сидели за столом и пили чай.

Над столом висела на крючке яркая лампочка. В избе было светло, просторно, уютно и весело.

— Здорово живешь!.. Баушка, здорова! Чай да сахар! — сказал Агап, входя в избу.

— Милости просим с нами чай кушать,— сказала Фенька, с любопытством глядя на Агапа, заходившего к ней лишь изредка выпить «сотку».

— Сейчас от него, спасибо... Я к тебе по делу, по сурьезному...

— Зачем я тебе понадобилась?..

Агап помолчал, глядя на ее румяное красивое лицо, на белые по локоть обнаженные руки, на высокую грудь, и подумал про себя: «Эка кусок-то!.. Н-ну!..»

— Крестить ко мне не пойдешь ли, а?

— Аль жена родила?

— Выплеснула, слава богу, мальчишку.

— А кум-то кто? — спросила Фенька.

— Кум — барин...

— Какой барин?

— Какой барин!.. Один у нас барин. Владимир Михалыч будет восприемником...

— Ну, да! — воскликнула удивленно Фенька.— Неужели взаправду?.. Врешь... хвастаешь!..

— Сейчас издохнуть, не вру... лопни глаза...

— Вот счастье-то тебе! — опять воскликнула Фенька.— Вот лафа-то пойдет!.. Поправишься, на ноги встанешь!

— Пойдешь в кумы-то? — перебивая ее, спросил Агап.— Он, признаться, уж у меня спрашивал: «Нашел ли, мол, куму»... Я сказал: «Наметил, мол, одну»... А он говорит: «Старуха?» — «Зачем, говорю, старуха?.. Молодая, говорю, бабочка — огурчик»... Пойдешь, что ль?

Фенька покраснела и, засмеявшись, сказала:

— Эдакой кум да не пойти!.. Все, чай, и мне когда

перепадет... У них, у сволочей, денег-то до черта, а мне где взять?.. Мое дело вдовье... Как не пойти?.. Я тогда бояться никого не буду... Плачу теперича три рубля, а тогда — ступайте к черту. Забоятся... Скажу куму слово— полетишь к черту на рога! А когда крестины-то?..

— Послезавтра... Утре к попу пойду, а от него — к барину.

— Поп-то, услышит, рад будет! До потолка подпрыгнет,— сказала Фенька.

— Знамо,— согласился Агап.— Худо ли ему: полтинник не даст... Пятерка, глядишь, а то и поболее, влетит.

— Да уж что говорить!.. Водочки не выпьешь, а?..

Она выскочила из-за стола, сбегала куда-то из избы и принесла половинку.

— Сродственники будем,— сказала она, наливая в чашку водки,— родня... Кушай на здоровье!..

Агап перекрестился.

— Ну, дай бог в час! — сказал он, выпивая.

— Дай бог! — в тон ему произнесла Фенька...

XIX

Батюшка о. Поликарп, или Мулла, как его почему-то звали мужики, отдыхал после обеда, когда Агап на другой день пришел к нему. Пришлось долго ждать в кухне. Потревожить батюшку во время сна было опасно: «спаси, господи... прибьет...» Агап на досуге вступил с работницей в разговоры.

— Ты много ль получаешь? — спросил он.

— Четыре... что уж! Вся тут, одна... Скотины одной полон двор... смерть! Третий месяц жалованья не получаю...

— Что так?

— Нету, говорит, обожди... Спросишь — сердится... заорет, затопает. Ему бы не попом быть, не около господнего престола стоять, а лошадьми торговать на конной... Вот его дело настоящее... Об лошадях с ума сходит... лошадь ему дороже попадьи... ей-богу!

— Любитель,— сказал Агап,— знаю я...

— Лошади, да на кулачья еще драться,— вот его два занятия. Ты Серегу Сугробкина — угольщика — знаешь?.. Из Куркина из села? Ну, вот... мужик здоровый, вола сшибает... Вот наш-то и пристал к нему как-то дорогой: «Давай да давай на кулачки биться!» Тот и так, и сяк...

«Не хорошо, говорит, батюшка, совестно...» Куда тебе: «Как хошь, говорит, а давай драться... Бутылку поставлю»... Что ты станешь делать?.. Пристал без короткого!.. Гляжу, полез Серега из дровней... кафтан снял, остался в одном полушубке. Наш тоже шубу скинул, в одном полукафтанье остался... «Становись»,— говорит. Гляжу я на них, жду, что будет... Встали друг перед дружкой, как два медведя... один другого здоровее... «Бей!» — слышу, наш кричит. А Серега ему: «Бей ты первый... ты поп... ты старше меня...» А я сижу в дровнях, духу не переведу, ни жива, ни мертва... Гляжу, засучил наш эдак вот рукав, размахнулся, рыло скривил на сторону, да ка-ак хвариснет Серегу по этому вот по самому месту, по уху, так у того, у сердешного, инда шапка с головы слетела, а самого в сторону шибануло. Как он ему, дивное дело, всю скулу не своротил только!

— Не сшиб все-таки? — спросил заинтересованный рассказом Агап.

— Нет, не сшиб... устоял Сергей... Ну, ладно. «Теперь, говорит, держись, говорит, поп, на землю вдарю!» Размахнулся тоже, нацелился, да ка-а-ак ахнет! Не успела я опомниться, поп с копыльев долой, брык с ног, как сноп... слетел, чисто его, голова, вихрем снесло!..

— Ловко! — сказал, засмеявшись, Агап.

— Ну, ничего. Поднялся, надел шубу. «Поедем, говорит, до казенки, угощу»... Бутылку поставил... Выжрали у Федулыча в трактире... Приятели с тех пор... Да, вот какой он: услышит, где есть человек, на кулачья ловок драться, за сто верст побежит, истинный господь!..

— Нарвется когда на какого-нибудь,— сказал Агап, зевая.— Поди-кась, глянь, не шевелится ли, надоело ждать, да и недосуг мне... Скажи матушке, пущай толкает... у меня дело...

— Боюсь...

— Да, чай, не съест!.. Матушке скажи... Поди, сделай милость... погляди... Ей-богу, время такое... недосуг!

Работница встала, опустила засученные рукава и, осторожно приоткрыв дверь из кухни в комнату, послушала сперва и потом уже перешагнула порог и, затворив дверь, скрылась.

Немного погодя она вернулась назад и сказала Агапу:

— Проснулся... Лежит, слышно, кашляет... Матушка говорит, сейчас выйдет.

XX

Агап поднялся с табуретки, заранее приготовив руки горсточкой для благословения.

Как только поп отворил дверь в кухню и перешагнул порог, он подскочил к нему, протянул руки, согнулся и торопливо сказал:

— Благословите, батюшка!

— А-а-а, Агап! — хриплым басом произнес батюшка, сунув ему к губам мягкую руку с короткими пальцами, обросшими на суставах шерстью.— Жеребенка продал?

— Помилуйте... зачем же?..

— Продай... цену дам.

— Да я, батюшка, к вам по другому делу... Я не насчет жеребенка,— сказал Агап.

— А зачем же? — спросил батюшка, стоя перед ним, огромный, растрепанный, в подряснике нараспашку, расставя ноги, как колосс родосский...

— Младенца в крещеную веру ввести...

— Кого бог дал: жеребчика аль кобылку?..

— Мальчика.

— Ва-а-жно! Молодчина!.. Царю люди нужны... Ну что ж, можно... окрестим... Кум есть?..

— Есть... и кум и кума есть.

— Кто за кума?

— За кума? — Агап помолчал и затем, стараясь говорить как можно равнодушнее, сказал: — Барин... их превосходительство... Владимир Михалыч...

Батюшка сделал огромные, совсем круглые глаза, точно его схватил столбняк.

— А кума — наша деревенская, Федосья Буланка,— докончил Агап и замолчал, думая про себя: «Что, друг, огорошил? Вот те и жеребенок!.. Знай наших!..»

— Да неужели правда?! — крикнул батюшка.— Сам барин, а? Сам?!

— Сами-с...

— Ну-у-у, брат, молодчина же ты!.. Как у тебя смелости-то хватило?.. Пролаза, брат, ты, раб божий, а молодец, обмозговал дело ловко... Потечет тебе теперь... Когда крестить-то?..

— Завтра нельзя ли?.. Я вот от вашего благословения к нему пойду, к барину. Скажу: родила, мол, как, мол, приказывали, мальчика...

— А он разве приказывал кого родить?

— Изволили приказать: «Скажи, говорит, Агап, жене, чтобы мальчика родила»... Ну, видно, господь-батюшка помог — мальчика и родила...

— Гм... ловко!.. Ты ко мне, от него как пойдешь, зайди... Узнай, в котором часу завтра назначит... Приготовимся мы... Я Антипычу скажу, чтобы все в порядке было... Зайди же непременно!..

— Слушаю-с... Благословите...

Батюшка размашисто и широко перекрестил его наклоненную голову и, сунув руку к губам, спросил опять:

— А жеребенка-то так-таки и не продашь, а? А то давай поменяемся... Я тебе кобылу дам... хо-о-рошая кобыла, а? Много ль придачи возьмешь?..

— Опосля, батюшка, поговорим об этом деле... теперь недосуг...

— Ну, ну, ну, ладно! Ступай с богом... ступай... Молодчина, брат, ей-богу... хвалю! И мне, пастырю, тоже хорошо: на худой конец, пятерка... Ну, иди, орудуй!.. Матушка, проводи его от собаки!

XXI

Барин принял Агапа хорошо и весело смеялся, когда Агап сказал ему:

— Как приказали, ваше превосходительство, так точно и вышло: мальчика родила-с...

От барина он зашел к батюшке.

— Ну, что? — встретил его Мулла.— Как?

— В двенадцать часов назначил... в обед самый...

— В двенадцать?.. Так, так, т-а-ак! Ну, мы будем готовы... Воды в купель вели сторожу Тараске нагреть... Куме-то, Феньке-то, скажи, чтобы завтра не запоздала... Пусть пораньше приносит младенца... в сторожке посидит, подождет... А то вдруг барин приедет, а ее нет... неловко... лицо, по нынешним временам, большое... дунул — и нет тебя!.. Небось из храма к тебе проедет?

— Знамо дело... а то как же?

— Гм!.. Н-да! А что, если и мне зайти... Как ты думаешь, а?.. Поговорить с ним, не спихну ли ему кобыленку?.. Как думаешь, Агап?

— Милости просим,— тихо и не особенно охотно произнес Агап.

— Может, зайду... Увижу там как, глядя по обстоятельствам...

XXII

На другой день, задолго еще до назначенного часа, Фенька сидела уж с младенцем в сторожке, ожидая приезда барина...

На ней был длинный сак на белом меху с плюшевой отделкой; голова была повязана шелковым платком, который она одела уже в сторожке, готовясь идти в церковь. Дорогой на ней была накинута лежавшая теперь рядом на скамейке мягкая, теплая шаль... Из-под шерстяной юбки выглядывали блестящие резиновые калоши.

Она держала на руках младенца, завернутого в пестрое лоскутное одеяло, и разговаривала со старухой-сторожихой, лежавшей на печке.

— Вот как богатый-то,— говорила старуха,— загодя все заготовлено... и воду нагрели... А вон намедни у Блохи крестил: так во льдашки и сунули, синь-синем вытащили... Все-то у него, милая, наспех... У людей еще к началу звонят, а у нас уж кончено — отслужил!

Фенька слушала и поглядывала на часы, висевшие на стенке. Младенец начинал пищать и возиться... Фенька принялась его баюкать, но не могла успокоить, и волновалась. В это время в сторожку заглянул сам батюшка.

— Здесь ты? — сказал он почему-то шепотом.— Скоро приедет: полчаса осталось... Ты вот что: иди в церковь, там подождешь... А то приедет, а тебя нет... неудобно... Уйми младенца-то! Неловко, коли все орать-то будет...

— Я тут не причинна...

Ровно в двенадцать к церкви на паре подкатил барин.

Сторож Тараска, старик лет под семьдесят, нескладный и малоумный, встретил его на паперти без шапки и, кланяясь в пояс, отворил церковные двери.

Барин взошел по ступенькам быстрыми, самоуверенными шагами, высоко неся голову и пощипывая левой рукой бородку. Одет он был в какой-то чудной, нарочито «русский костюм».

С такой же нарочитостью барин перекрестился, войдя в церковь, и сразу принял благоговейно смиренный вид, в котором было не столько действительной религиозности, сколько примера «для них».

Посреди церкви виднелась купель из белой жести. Седобородый дьячок, Кирсант Иваныч, украшенный медалью за пятидесятилетнюю службу, стоял в полной готовности у аналоя. Батюшка подскочил к вошедшему барину и, почтительно поздоровавшись, сказал:

— Все готово-с... Прикажете приступать?..

— Н-да...— произнес барин,— можно...

Он покосился на Феньку, стоявшую с младенцем у окна... Фенька поймала его взгляд, покраснела и потупилась, подобрав губы...

— Какое прикажете новорожденному святое имя? — почтительно перегнувшись, спросил батюшка у кума.

— Да я, право, не знаю... Какое же имя?.. Какое-нибудь я думаю...

— Отец с матерью не сказывали тебе, какое имя дать? — спросил батя, повернувшись к Феньке.— А?

— Не-е-т...

— Да назовем Иваном,— сказал барин,— самое простое, чисто русское имя.

— Слушаю-с,— ответил батюшка и, поставив папашу и мамашу крестных перед купелью, приступил к таинству.

XXIII

А в это время в доме Агапа готовились к встрече именитого, необычайного гостя.

Поднялись до петухов. Бабушка Прасковья руководила всем делом. Молодую заставила мыть пол, самого Агапа послала таскать из колодца воду... Василия — убирать скотину, а сама воцарилась у печки...

Дарья, виновница всей этой кутерьмы, молча, широко открыв глаза, лежала за своей занавеской, смотрела в потолок и слушала... Дедушка тоже лежал на печке, тоже слушал и думал про себя: «Попадет мне ужо банка аль не попадет? Все небось поднесут,— утешал он себя, облизывая губы,— как никак, а я старший... Качать-то небось опять меня заставят».

Когда стало совсем светло, молодая, все время слив-

шаяся и с отвращением делавшая свое дело, вышла из избы и на дворе набросилась на мужа.

— Ты что же это такое молчишь-то, а? — шепотом, с побелевшими губами и вздрагивая от злости, заговорила она.— Тащат, как им надо... телку, овцу, и ты молчишь да хлопаешь бельмами-то, как филин... тьфу! Ты вспомникась, дурак губошлепый, как нашего щенка крестили! Какое угощенье куму с кумой было, а? Половинку поставили, да селедку тухлую на закуску разрезали... Кума-то вон и сейчас мне проходу не дает — корит... А эта нака-сь! Да что ж эта?.. Нет, делиться надо!..

— Отстань, дура!.. Ну тебя к черту! «Делись, делись»,— передразнил Василий,— дура... он не захочет, так ничего и не поделаешь...

— Не даст?

— Стало быть...

— О-о-о! Да я тогда, вот ребенка мне своего не видать, спалю все, не доставайся никому! Барин приедет... кум... какая птица, подумаешь... невидаль! Мне наплевать!.. Я и ему глаза выдеру, не погляжу, что барин... мне все одно... что поп, что дьякон...

— А чего он тебе сделал-то?

— Вот тебе чего сделал... знаю чего!.. Будет сидеть, жрать, пить, а мы гляди... Ей небось даст рублей пять, родихе-то молодой... хи, хи, хи!.. Бабушке на кашу...

Она заплакала и продолжала, всхлипывая:

— А я вон у тебя, у черта, какой отымалкой хожу... хуже всякой нищей!.. Люди все, как люди, а ты куда годен?.. Зачем меня брал?.. Гляди всю жизнь из чужих рук, корку завалящую — и ту без спроса взять не смей... Дьяволы!.. Чтоб вам всем передохнуть, дай, господи!..

Когда истопилась печка, испеклись пироги, сварилась лапша, похлебка, каша белая пшенная и простая черная, Агап нарядился по-праздничному: надел красную рубашку, новые валенки, расчесался и принялся за дело, которое больше всего его интересовало и о котором он все время думал с удовольствием.

Прежде всего он заправил три висевших в ряд перед святыми иконами лампадки, засветил их, обтер пальцы об голову, помолился и начал готовить стол... Застлав его белой холщовой скатертью и положив два рушника на то место в переднем углу, где должны были сидеть «крестный» и «крестная», он с озабоченно-важным лицом при-

нялся за самое главное — за разливку водки из четвертной бутыли в мелкую посуду.

Бабушка Прасковья, молодая, дед с печи, Василий — все молча и с любопытством наблюдали за ним...

— Будет, что ли, пока? — сказал Агап, ни к кому собственно не обращаясь, налив из четверти две бутылки и половинку.— Аль мало?..

— Лей, не жалей! — крикнул дед, болтая босыми ногами.— Небось не пропадет...

— Чай, это не вода,— сказал Агап,— выжрать что хошь можно...

— Кому жрать-то? — сказала молодая.— Некому жрать-то... сам все и выжрешь!

Агап скосился в ее сторону и каким-то шипящим голосом произнес:

— Ну, ты, язва!

— Не любишь правду-то?

— Ты бы, дура, чем язвить-то, прибралась бы... растрепа-дьявол... на всех зверей похожа!

— А ты покупал мне наряды-то?

— Чего уж... срамота глядеть... Ты и *его*-то испугаешь: «Чья, скажет, такая корова... откуда?»

— Тьфу тебе и с ним-то вместе,— закричала молодая,— тебе он нужен, а мне... вот он где у меня!

— Смотри, помни, об ком говоришь... Смотри ужо, боже тебя избави, убью, коли что... на месте пришибу, как котенка!..

— Молчать не стану... Пускай вон муж молчит, а мне чего, я не боюсь... Какая, подумаешь, штука барин!.. Видали мы... Теперь всяк сам себе барин... были бы денежки...

— Хы, за небольшим дело... Вот то-то и оно-то, что у тебя их нет... Сиди уж, говорю, не дыши, а коли что — к черту на вынос! Хвост в зубы — и марш! У меня разговор короток... Я вам глотку-то заткну!.. Не прежнее время отцов-то за бороду трепать!.. Живо уйму!

Он поставил водку на стол и стал резать на скамейке колбасу тоненькими круглыми ломтиками...

— Самовар-то потрите,— сказал он.— У меня чтобы все как следует, по-хорошему... Надо ежечасно помнить, кто будет... Н-да, может, первое лицо в губернии. Шутки-то в сторону!.. Понять надо, а не языками трепать... Так-то вот!..

XXIV

Между тем в деревне уже все знали, что у Агапа крестины и кто у него кум. Бабы ахали и трепали языками, завидуя и волнуясь, точно дело касалось их лично.

— Счастье лешману! Потечет теперича... не зевай только!..

Толпа мальчишек со всей деревни собралась около Агаповой избы и ждала чего-то, весело и празднично настроенная.

— Вам чего тут надо? — кричал на них выскакивавший на крыльцо Агап.— Пошли отсюда, паршивые черти!.. Я вот вас поленом!

Вдруг он, как полоумный, бросился к избе, приотворил дверь и, крикнув каким-то не своим голосом: «Едут»,— побежал опять на крыльцо...

Все в избе встрепенулись, точно тетерева, испуганные внезапным выстрелом.

— Батюшки-светы,— воскликнула бабушка Прасковья,— едут, а у нас, никак, чтоб ему пусто было, самовар заглох!

— Господи помилуй! — проговорила Дарья и перекрестилась...

— Никак едут? — вопросительно гукнул с печи дед.— Мне-то слезать, что ли, аль тут сидеть? Вы хоть бы мне, лахудры, рубаху какую дали... вши, как бараны, скачут...

— Царь в корыте едет! — усмехаясь, произнесла молодая, сидя с ребенком в углу.— Испугались! Василий, иди встречай с иконой!

— Да уж будет тебе,— сказал муж, заглядывая в окно,— надоело!..

— А мне что ж, радоваться, что ли?.. Мне небось ничего не попадет, не ко мне едет, а из избы меня, хоть сам царь приходи, не выгонит.

— Да кто тебя гонит-то, сука ты мозговая, смутьянка! Привязала бы свой язык-то долгий хоть бы для эдакого-то случая...— простонала со слезами в голосе Дарья.

— Ладно... лежи уж там, не издохни... Може, еще к году-то господь-то пошлет... хи, хи, хи!

— Тише вы! — крикнул Василий, глядевший в окно.— Приехали...

— Пошла битка в кон,— сказала молодая,— па-а-ажа-луйте, хи, хи, хи!..

XXV

К крыльцу, лихо выкидывая копытами снег, подкатила пара... Молодой, красномордый кучер с толстой шеей натянул вожжи и, крикнув «тпру»,— остановил лошадей...

В санях под полостью сидел барин и рядом с ним Фенька с новокрещенным Иваном на руках...

Фенька цвела... Невозможно выразить ту радость и гордость, какую она испытывала, сидя рядом с таким «кумом». Ей казалось, что она не едет, а летит куда-то на небеса. Дорогой барин обращался к ней с какими-то словами, но какими именно — она не понимала и отвечала на них, вся красная и задыхающаяся, только «да-с»... «да-с».

Когда сани остановились у крыльца и шумная толпа ребятишек затихла, тараща глаза на диковинное зрелище, Агап, без шапки, в одной рубахе, подскочил, кланяясь и улыбаясь, к саням и, отстегнув полость с той стороны, где сидел барин, забормотал, как тетерев на току:

— Пожалуйте, ваше превосх... пожалуйте!

Барин милостиво кивнул головой и вышел из саней. Вслед за ним вылезла Фенька...

— Пожалуйте, ваше превосх... в избу... па-а-жалуйте на чашку чаю-с... закусить... не побрезгайте... Здесь вот, за мной-с, не оступитесь здесь... ледок-с... склизко-с... спаси бог-с...

На Феньку и на своего младенца он не обратил никакого внимания, весь переполненный рабьим торжеством и рабьей преданностью.

Эти чувства достигли в нем такого напряжения, что если бы барин сказал ему сейчас: «Агап, возьми веревку и удавись на моих глазах вон на том переводе», удавился бы беспрекословно.

Когда проходили по мосту, вдруг откуда-то со двора выскочила собачонка и с отчаянным лаем бросилась барину под ноги. Агап сначала обомлел... У него похолодело в груди и заходили перед глазами круги... Но сейчас же он опомнился, схватил что-то попавшее под руку и бросился на собаку с таким искренним остервенением, что, попадись она ему, он бы ее растерзал тут же. Но, сообразив, что дело не ладно, собачонка с визгом поджала хвост, шмыгнула под мост и сразу притихла.

— Да ничего, Агап! — сказал милостиво барин.

— Как ничего-с,— ответил Агап, тяжело переводя дух,— как ничего-с?.. Помилуйте, она, подлая тварь, должна понимать, на кого лаять...

И он дикими глазами озирался, разыскивая убежище преступницы.

В избе дорогого гостя (Фенька не шла в счет) с низкими поклонами встретила бабушка Прасковья... Василий стоял в сторонке у печки, а молодая, как сидела в своем углу, так и осталась сидеть, только лицо у нее побледнело да как будто губы стали еще тоньше... Дед на печи притих и сжался, похожий на зайца-беляка, когда осенью он делается весь белый, а снегу еще нет, и он жмется к земле, боится вскочить даже и тогда, когда на него почти что наступишь...

Дарья за занавеской испугалась, сама не зная чего, и хотела было приподняться немножко и присесть, да не смогла и лежала, шепча и крестясь...

Гостя ввели в избу.

Он вошел, остановился и сначала, ни с кем не здороваясь, перекрестился в угол, где висели «бога» с горящими перед ними лампадками, и сказал:

— Ну... здравствуйте! Здравствуй, Агап... Окрестили твоего... Иваном назвали... Вон он пищит... ничего, мальчишка славный, крепкий...

— Ваше превосх... ваше превосх...— захлебываясь от умиления, бормотал Агап,— по гроб... ваше превосх...

Он прослезился и хотел поймать кума за руку, ловя заранее эту руку губами, но кум не допустил.

— Не надо, не надо,— сказал он.

— Ваше превосх... за стол-с... хлеба-соли пожалуйте откушать...

Фенька между тем, передав новорожденного матери, сняла сачок и, оставшись в одном платье, накинула на плечи платок, вышла из-за занавески, красная, с блестящими глазами, красивая и довольная...

Ее посадили рядом с кумом в передний угол.

Агап с бабушкой Прасковьей принялись неотступно-настойчиво потчевать...

Феньке и себе хозяин наливал простого, а куму — чего-то похожего цветом на жидкий квас, с ярлыком на бутылке «Лиссабонское»...

Кум, морщась, выпил две рюмки и сказал:

— Больше ты мне этого не наливай... бла-го-дарю...

Я лучше с вами водки, что ли... Да что же мы одни? — спросил он.— А остальные что же?

— Они успеют-с... они после-с...— ответил Агап, взглянув на Василия и сидящую в углу молодую. «Не велики господа-то!» — подумал он про себя.

— Это твой сын?..

— Точно так-с... сын.

— Сколько у тебя всех?

— Господь не обидел-с... закидаю детьми-с.

— Это хорошо... А кто это на печи кашлянул?

— А это там-с мой родитель, старичок...

— Что ж ты его не позовешь?.. Позови... Вы меня не бойтесь... Старый он?

— Древен... годов под сто-с...

— Неужели? Ну-ка позови...

— Тятя, а тятя,— крикнул Агап,— подь сюды... слезь!..

Услышав, что дело коснулось его, дед торопливо, ногами вперед, слез с печи и, остановившись перед столом, грязный, шершавый, босой, точно какой-нибудь пещерный человек, отвесил барину поклон в пояс.

— Здравствуй, здравствуй, старик! — возвышая голос, крикнул барин.— Садись... присядь...

— Мы постоим, ваше-ся,— сказал дед и, посмотрев на бутылки, облизнул языком губы.

— Ты, тятя, може, рюмочку пропустишь? — спросил у него Агап.— А?.. Выкушай!.. Налить?..

— Н-н-налей... барина поздравлю... Н-н-налей...

— Да ты сядь,— опять сказал барин,— не бойся... сядь...

Дед послушался и присел на скамью с краю.

Агап, сердясь в душе и стыдясь старика, скрепя сердце, делая вид, что он почтительный сын, налил рюмку водки.

Старик жадно выпил, поперхнулся, вытаращил глаза и харкнул на пол.

— Ты, дедушка, небось хорошо старые годы помнишь? — спросил барин, разглядывая его.— Я вот отца своего не помню... А ты помнишь?

— Как нам твоего родителя не помнить?.. Все одно, как вот сейчас на тебя гляжу, так и на него.

— Да?

— Сурьезный был, царство небесное, пресветлый рай. Росту был высокого, большого... нос с горбом... говорить

много не любил, только, бывало, и слов у него: «на конюшню!» Это, тоись, драть, гм... стегать. Драли в те поры нас,— пояснил старик.

— Гм!..

— Драли страсть как,— продолжал старик,— не жалели... Бывало, чуть что, «на конюшню»! На рогожке вытаскивали, бывало... в чем душа... истинный господь!

— Вот теперь этого нет... не дерут,— сказал барин и прикусил нижнюю губу.

— Теперь зато вешают,— сказал вдруг, как-то неожиданно, все время молчавший Василий.

— Что-о-о? — переспросил барин.

— Вешают теперь,— повторил Василий.

— Ну, так что же?.. А тебе это не нравится?

Василий промолчал.

— Да мы,— продолжал старик, не слушая,— мы на это не серчали... Эка беда! Наплевать! Зато, бывало, придет праздник престольный, всем миром мы прямо из храма господнего на барский двор, твоего родителя с праздником проздравлять... Бывало, царство небесное, сам на парадную выйдет... Вот по какому бокалу подносили, только рукой обхватить! Мало одного, пей другой... запрету не было, а теперь... куда тут! Хлеба — и того не стало... Не стал вишь родиться.

— Теперь зато, старик, воля,— сказал барин.

— А шут с ней, и с волей-то... На кой она нам рожон!.. Вон, погляжу я, как живут-то: ничего нету... Воля!.. Избаловался народ... Начальства настоящего не стало, страха нету... всякий сам себе барин. Кнутом бы!.. Покойного бы родителя твоего поднять, он бы дал волю!.. «На конюшню!» Да в нос эдак: «Н-н-а конюшню!» Так, бывало, от этого одного слова душа-то в тебе встрепенется, как бараний хвост!.. Жили, хлебушка-то не покупали, год за год заходил... А теперь-то, а?

Барин слушал улыбаясь. Ему было приятно: старик попал в самую точку.

— Верно, старик,— сказал он,— верно! — И, налив своей рукой водки, подал деду.— Выпей-ка, на, еще... ничего, выпей... выпей...

— Много довольны... Что ж? Я выпью... Будь здоров, батюшка, спасибо!

Дед выпил, утерся и сказал вдруг, как-то особенно скривив рот наподобие улыбки:

— На табачишко бы ты мне дал, ваше-ся, право... Курю я... по грешности балую, а табачишки-то ан и нету, купить не на что... сынок не дает.

— Не дает? — переспросил барин.

Старик махнул рукой.

— Куда тут! — сказал он.— Хлеба досыта не ем.

— Как же так, Агап? Это нехорошо.

— Помилуйте, ваше превосх...— заволновался Агап,— да я, кажись, останную кроху... Зря это он... от старости маленечко мутиться стал... да вот выпил-то...

«Ну, погоди ты, старый черт,— со злостью подумал он про себя,— я тебе ужо покажу!..»

Барин дал деду рубль.

Дед взял монету, посмотрел и вдруг, спустившись со скамейки на пол, повалился ему в ноги...

— Не надо! Не надо! — закричал барин...

— Батюшка, ваше-ся,— залепетал, поднимаясь, опьяневший старик,— батюшка... благодетель... дай тебе, господи, продли тебе веку, царица небесная!..

Он заплакал и начал креститься на иконы.

XXVI

Между тем бабушка Прасковья молча делала свое дело: подавала и принимала со стола перемену за переменой... Барин «из прилику», как она думала и как было на самом деле, брал ложку, пробовал и сейчас же клал ее обратно на стол. Дело дошло до каши, за которую обыкновенно кум с кумой «кладут» баушке денег. Барин, очевидно, не знал этого... Пример подала Фенька. Она положила гривенник. Тогда и барин, сообразив, в чем дело, дал три рубля.

У Агапа внутри все затряслось, и мысль о «течении» захватила его всего.

«Что ж это он об родихе не вспомнит,— подумал он,— знать, не знает порядку... ей небось дать надо... ее поздравить... Напомнить нешто, а?»

Он посмотрел на Феньку и выразительно сказал:

— Младенчик-то там у матери пригрелся, и не слыхать его... Спит, ангельская душка, и не думается ему, кто сейчас поздравлять родильницу с новорожденным будет...

— А и на самом деле,— спохватился барин,— что ж

это мы, а? — обратился он к Феньке.— Кумушка, про самое-то главное и забыли?..

— Ничего-с... время терпит-с! — ответила, улыбаясь, Фенька.

— Мы и так-с много вами довольны,— вступился Агап,— успеет!.. Выкушайте сладенького... Для вас только, истинный господь...

— Нет, нет, спасибо! Я пойду куму поздравлю... Там она?

— Так точно... там...

Барин пошел за занавеску.

Худая, страшная, «чернее грязи», Дарья встретила его огромными провалившимися глазами, жалко и растерянно улыбаясь, и хотела было приподняться.

— Лежи, лежи! — торопливо сказал барин, глядя на нее и одолевая брезгливое чувство.— Лежи... тебе нельзя... Ну, поздравляю,— сказал он,— пусть растет... Мальчик, кажется, здоровый будет...

— Покорнейше благодарим, батюшка,— заговорила Дарья, стараясь говорить как можно слабее и жалостнее,— покорнейше благодарим за ваше неоставленье... Не побрезгали нами... мы, кажись, все... вот как перед истинным!..

Она заплакала.

Барин торопливо достал кошелек, взял было пять рублей, да подумал: «мало», и дал десять...

Дарья, когда он отдавал ей золотой, успела схватить его за руку и прилипла к ней губами...

Барин брезгливо отдернул руку и, сказав: «поправляйся!» — вышел из-за занавески.

Агап не утерпел: шмыгнул туда и, наклонившись к жене, шепотом спросил:

— Дал?..

Дарья молча показала золотой, Агап торопливо перекрестился и юркнул в избу.

— Ваше превосх...— забормотал он.— Пожалуйте... чайку стаканчик... сделайте милость...

— Пожалуй, я стакан выпью,— сказал барин, садясь на скамью и закуривая душистую папироску.— Да мне и ехать пора...

— Посидите-с... посмотрите на наши мужичьи распорядки... Мы попросту...

— Да нет, мне пора,— сказал барин и вдруг, обратив-

шись к Василию, спросил: — А ты что же, дома и зимой живешь?.. Мастеровой ты?

— Ох уж, ваше превосх... какой мастеровой,— заговорил вместо Василия Агап,— так, ни туда ни сюда... Жил вот в городе... рассчитал хозяин... говорит, делов нету... Куда ж деваться, домой вот и пришел ко мне...

— А это твоя жена? — опять спросил барин и кивнул на молодую.

— Да,— ответил Василий.

— Самим есть нечего,— начал снова Агап,— у самого охапка, а вот и он ко мне хлеб есть. Ничего не поделаешь... Плохо живем, ваше превосх... отрады себе мало видим-с... Хлеб докормил... Который вот год все божья немилость... Вон сын пришел... жена вон у него... с дитем... Корми! Ему бы меня кормить, ан нет... Они вон говорят: «Делиться давай... отдели нас»... Только я слышал, осмелюсь спросить, насчет как тоись теперешнего положения... Слышал я, будто я, родитель, к примеру, что хочу, то и делаю... вся власть моя... хочу — землю продам, хочу — так отдам... Правда ли так-то?

— Правда,— сказал барин,— ты хозяин.

— Ну, вот! — обратился Агап к молодой,— вишь ты... а ты трещала... Не верит вон она у меня этому, ваше превосх... думает, все по-старому: родителев-то, стариков, за бороду да на улицу вон... Выкушайте еще, ваше превосх...

— Не хочу... мне пора.— Барин поднялся и прошелся по избе. Ну-с,— сказал он, остановившись,— прощайте!.. Проводи меня от собаки... Прощайте!

Агап бросился провожать. Садясь в сани, барин при всей публике, бывшей на улице и ожидавшей его у выхода, дал что-то Агапу в руку и ласково сказал:

— Прощай, Агап!

— Счастливо оставаться, ваше превосх!..— крикнул Агап, зажимая в руке монету и думая про себя: «никак золотой?!»

XXVII

Оказался действительно золотой — пять рублей.

— Во-во... он! — радостный и довольный собою, войдя в избу, крикнул Агап, показывая монету.— Пятерку дал... Что-а? Вот мы-то, а?.. Ну-ка, вы, а? То-то и оно-то!.. Говорить мы умеем, а чуть что коснись — сейчас и того, хвостом завиляла...

— Кумушка, родимая,— обратился он к Феньке,— вот мы как, а?.. Теперича тоже через меня тебе течка, а?.. А я все, все у меня шарик работает... Кумушка, родная, а? Выпьем!.. Теперича, его проводили, валяй!.. «Никто меня не видит, одни овцы глядят»... Вина у меня хоть облейся... Василий... батюшка, молодая, идите... садись за стол, пей, ешь!.. Я говорил, так и вышло по-моему... теперича у меня... хы... чудно, а? Понять надо? Понять надо, а? Кто он, кто я... нда!.. Наливай, кума... наливай, не стесняйся, пей! пей, пей!.. Не то, погоди, будет... Баушка Прасковья, пей, Василий, выпей, а? Молодая, будет тебе, а?.. Я хозяин, все мое!.. Пейте... ешьте... угощаю, не жалко!..

— Спасибо,— сказала молодая.

— А ты выпей, потом и спасибо говори... Пейте, ешьте... у меня хватит... Я теперича... я чуть что... сейчас к нему... хы, хы, хы!.. Молодая, будет сердиться-то, садись...

— Да ну тебя к черту! — пронзительно-громко крикнула молодая и вдруг заплакала.— Сволочь, сволочь ты... нахватал денежек-то, рад, обрадовался... Жри сам, нам никто не даст... нам... У-у-у, сволочь! Тьфу! Вот тебе... Ты думаешь, мне нужно что?.. Наплевать мне... подавись, наплевать!..

— Что ты, черт бешеный, перекрестись,— сказал Агап, глядя на нее с удивлением.

— Сволочь, сволочь, сволочь! — завизжала молодая и вскочила с места.— Чего ты мне сделаешь, а? Не ударишь! Сволочь! На вот тебе... выкуси!.. Ко мне приставал: «Такая, сякая»... Мужа нет, а он ко мне приставать, старый черт!.. А, что?.. На, выкуси!.. Снохач... сволочь!..

Пока она говорила, Агап молчал... Молчал он и когда она кончила, очевидно, пораженный ее злобными словами... Потом вдруг, как-то весь побагровев, вскочил и с криком и бранью бросился к ней...

— Убью! — зарычал он.

Василий подбежал и обхватил его сзади в охапку.

— Тятя, не надо! Тятя, не надо! — говорил он, удерживая рвущегося отца...

— Убью! — вопил Агап.— Зарежу!

Он рвался из рук сына к молодой, таращa на нее налитые кровью, страшные глаза.

— Снохач я, а? — рычал он.— Снохач, а?..

— Снохач, снохач, снохач! — бросив ребенка на ска-

мейку, кричала молодая, подщелкивая языком.— Снохач, а?.. Что сделаешь, а?.. Денежки схватил, кум богатый!.. «Я хозяин... ничего не дам», хи, хи, хи! Снохач, снохач, снохач!..

Агап вырвался и бросился к ней... Она с визгом отбежала и схватила лежавшую на скамье скалку.

— Убью! — крикнула она, махая скалкой, страшная и дикая в своей злобе.

Василий опять успел схватить отца в охапку, и оба они упали на пол к печке.

Видя это, молодая, вся белая, с ощеренными зубами и вышедшими из орбит, точно у удавленника, глазами, подскочила к ним и ударила, взмахнув через плечо, скалкой Агапа по голове...

Послышался какой-то страшный, глухой треск, и кровь из разбитого черепа выплеснула Василию на руки... Он закричал и бросил отца... Закричала не своим голосом за занавеской Дарья... Закричала бабушка Прасковья... Фенька побежала из избы, махая руками и точно ловя что-то...

Заплакали в ужасе дети...

1910

Шпитаты

Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей,
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?

I

Я шел из города домой к себе в деревню... Дело было в ноябре, погода стояла гадкая, дорога еще того хуже, день короткий, как говорится, «с воробьиный хвост»... Я запоздал, стал торопиться, устал до смерти и не заметил, как настигла и словно шапку мне на глаза нахлобучила темная, осенняя, долгая ночь.

Волей-неволей пришлось, не доходя верст десять — двенадцать до дому, заночевать в деревне.

Деревня была знакомая, сам я недальний, и поэтому я, не робея и надеясь, что пустят, постучался в окошко первой же стоявшей на краю избенки...

— Кто тамотка? — раздался из избы бабий визгливый голос.

— Я!

— Да кто я-то?.. Чего надыть?.. Кого тебе?

— Пусти ночевать... заплачу...

— Да ты откуда?..

Я крикнул «откуда» и стал слушать, что будет дальше.

— Андрей, а Андрей,— услыхал я бабий голос, обращавшийся к кому-то,— Андрей! Да проснись, лешман!.. Андрюх!..

— Н-ну!..— глухо донеслось откуда-то, точно из-под земли.

— Стучится кто-то... выдь, посмотри...

— Кто там у тебя стучится?.. Кой черт по ночам?.. Спокою нет!

— Да встань, дьявол!.. Чай, все бока пролежал... Выдь, может, дело какое!

Голоса замолкли. Я стоял под окном и ждал. Из окна падал слабый свет ко мне под ноги и блестел в луже, а около меня и дальше везде стояла тьма, тихая, густая и какая-то пугающая, страшная.

Где-то недалеко стукнуло... Скрипнула дверь и почти рядом со мною раздался голос:

— Кто здеся?..

— Пусти ночевать,— сказал я, не видя, кому говорю.— Запоздал, вот... устал... не дойдешь теперь до дому...

— А ты откуда?

— Да недальний, из Лескова.

— А ты где был-то?

— В город ходил.

— Зачем?..

— Да надо... по делу.

— Да у меня тесно... повернуться негде... неспокойно... ребятенки... челедни-то этой, окаянной, полна изба... По мне, иди, коли охота, не жалко.

— Ничего,— сказал я,— как-нибудь обойдемся... не привыкать... у самого дома «челедни» этой хоть отбавляй.

— Ну, иди.

— Куда?

— Эва!.. Иди ко мне на голос... крыльцо тут... ступеньки... лоб не разбей... Идешь?

— Иду... где ты?..

— Эван вот... полезай... нашел крыльцо-то?..

— Нашел... слава богу.

— Ну, и ладно... эка тьма-то!.. Ни фига не видать... как ты шел-то?

— По памяти...

— Чай, грязи-то нахлебался? Идешь? Пойдем в избу... Эво она, дверь-то в сени... нащупал?.. Не упади... иди за мной... держись... хоромы-то у меня уж очень просторны.

Где-то в потемках он нащупал скобку, дернул за нее

и, отворив хлюпнувшую, точно кто-то чмокнул губами, дверь, сказал:

— Полезай!

Я нагнулся, чтобы не удариться о косяк головой, и, держа обеими руками перед собой мешок с покупками для дома, пролез в избу. Он шагнул за мной и плотно прихлопнул за собой опять так же чмокнувшую дверь.

II

— Здорово живете! — сказал я, остановившись у порога и почти касаясь головой потолка.— Пустите ночевать.

— Здравствуй! — ответила стоявшая у стола высокая, худая, обтрепанная баба, глядевшая на меня и на мой мешок огромными, удивленными и вместе испуганными глазами.— Проходи сюда... эва... положь мешок-то!

— Ноги-то у меня больно того...— сказал я.

— Наплевать! Пол-то у нас не паркет... Эна, огню присечь! — сказал мужик, такой же, как и баба, худой и длинный.— Чай, мы не господа... проходи к столу... положь мешок-то... не бойся, все цело будет. Не взыщи, тесно у нас... плохо живем.

Я как-то боком, мимо заваленной всякой дрянью «казенки», пролез на указанное место и, чувствуя, что устал до смерти, сел на скамью.

— Теснота у меня,— снова повторил хозяин.— Плохо живу.

Этого ему и говорить было не надо. Я сразу и сам увидал, что действительно «плохо».

Грязь, неряшливость, теснота, какие были здесь, в этой избе, не скоро найдешь.

На столе, стоявшем, как и водится, в переднем углу под «богами», было загажено и залито чем-то, по всему вероятию щами, стояла неубранная чашка и валялись ложки.

Стеклянная небольшая лампочка с нечищеным матовым «пузырем» висела над столом и скупо и печально, точно готовая заплакать от стыда, освещала всю избу.

В избе действительно, как давеча выразился хозяин, повернуться было негде. Сама по себе маленькая, аршин семи, с бревенчатым полом, кое-как стесанным топором,

с низким потолком, с тремя оконцами на улицу, она была еще почти наполовину занята печкой, начинавшейся сейчас же налево от входной двери, и около нее «казенкой», заваленной разной дрянью и служившей для спанья. С этой «казенки» лазили на печь.

Посреди избы, на очепе, висела большая корзинка-люлька, закрытая какой-то тряпкой. Там, в этой люльке, что-то по временам тихо, точно щенок, взвизгивало.

Около устья печки на скамейке стоял большой, сделанный из белой жести, странной формы неуклюжий самовар, а над ним на полке виднелись чайные чашки.

Тяжелый и какой-то особенный, присущий только отчаянной бедности, воздух стоял в избе и нагонял на душу ту тоску, от которой либо «пьют мертвой чашей», либо «бегут, куда глаза глядят».

Детей, «челедни», как выразился хозяин, когда я вошел и уселся к столу, не было видно; они, как оказалось, забились на печку, где сидели, притаившись за трубой, невидимые мне, но хорошо видевшие меня.

Хозяин сел на казенку, свесив ноги, обутые в валенки, и, свернув папироску, встал и закурил не от спички, а — по всему вероятию, ради экономии — от лампочки, вынув ее предварительно из гнезда, в котором она стояла. Хозяйка взяла мочалку и начала стирать со стола.

— Поужинали недавно,— сказала она, точно стыдясь и оправдываясь.— Не успела стереть-то... Насилу ребят вон угомонила.

— А у тебя их много? — спросил я, точно так же, как и хозяин, закурив папироску.— Не видать что-то!.

— Мало ли! — ответил за нее хозяин, куривший и плевавший на пол. Своих трое да шпитат вон, дери их дером, двое... в люльке вон... издыхают, да не издохнут... спокою от них нету ни дня, ни ночи...

— Что ж вам, своих-то мало? — спросил я.

— Стало быть, мало! — сердито, как мне показалось, метнув на меня глазами, сказал он.— Небось сам понимать должен, не от радости берем... нужда наша берет... не от радости... Кабы не нужда, на кой бы они черт нужны... провались они провалом! Они мне поперек глотки встали... Не от радости,— опять повторил он и вдруг страшно и надолго закашлялся.

Он перегнулся с казенки к полу и кашлял как-то по-особенному, точно у него все нутро выворачивало или

точно там у него сидел кто-то и, вцепившись, не отдавал и не отпускал.

Его худое лицо сделалось синее, страшное и, когда он, наконец, к великой моей радости, перестал кашлять и поднял его, все оно было залито слезами, а подслеповатые глаза как-то особенно жалко и робко моргали, точно стыдясь чего-то, плакали про себя.

— Эх ты, друг! — сказал я.— Давно ли это ты?..

Он махнул рукой и не ответил.

— А кто же виноват-то? — вступилась молчавшая баба.— Никто не виноват... сам себя ухайдакал... пил бы поменьше!.. Надысь к доктору ходил... что он тебе сказал-то, а?... А ты что?.. Сам виноват!.. Ноне вон чем свет нажрался где-то, пес его знает... выспался... дрых весь день, а теперича издыхает... Никто не виноват, батюшка, никто... сам себе лиходей... Что уж, какие с ним из-за этого вина неприятности были!.. Нет, все неймется. Так вот и вцепится, как увидит!.. Видно, с тем и во сыру землю пойдет... видно, черного кобеля не вымоешь добела...

— Затрещала, трещотка, замолола! — взглянув в ее сторону, сказал мужик.— Много ты смыслишь!..

— Ты много смыслишь... ишь сидит с умной-то головой!.. Куда ты годен-то? Трубы тобой затыкать, ей-богу... наказал меня господь!

Они начали переругиваться и корить друг дружку. Это мне надоело, и, желая прекратить перебранку, все больше и больше принимавшую, так сказать, зловещий характер, я сказал, обращаясь к мужику:

— А ты, чем так мучиться-то, поправился бы... хлопнул бы сотку.

— А на что хлопать-то? — воскликнул он.— Я бы и без тебя знал, что делать, да не за большим дело: хлопалов-то нету. Ты вот не выручишь ли, а?

— Гм! — усмехнулся я.— А баба-то?.. Она нам пропишет по первое число!..

— Наплевать я хотел на бабу... ба-а-ба! Чай, я кто? Я хозяин! Да она и сама не откинет.

— А у вас тут найдется?.. Есть... занимаются?..

— Ну, вот сказал!.. Сколько угодно...

— Что ж, я, пожалуй, дам на половинку... Только вот самовар нельзя ли поставить?.. Чай у меня есть... попить бы... устал очень.

— Можно! Это можно! — обрадовался он и соскочил

с казенки.— Аксинь,— обратился он к жене, и голос у него сделался совсем не тот, что был за минуту до этого.— Где у тебя тут спасудинка-то пустая?.. Слетаю я живым манерцем к Бурихе, а ты тут пока самоварчик.

— А закусить-то? — сказал я.— Чем закусить-то?.. У вас есть что-нибудь?..

— А что у нас?.. Хлеб есть...

— Грибы есть соленые,— сказала баба,— волнушки...

— Ну, коли так, так так,— сказал я и дал мужику рубль.— Принеси половинку. Лети!..

— Ты, мотри, скореича,— сказала ему вслед баба, когда он, торопливо накинув на себя одежонку, бросился к двери,— не пропади тамотка с целковым-то...

— Ну тебя к черту!..— крикнул ей мужик.— Дура косматая! — и скрылся за дверью.

III

Мы остались вдвоем. Баба подошла к люльке, откинула тряпку, посмотрела и про себя сказала:

— Спят, угомонились,— и, повернувшись ко мне, добавила: — наказанье мне с ними, голова кругом идет... боюсь, как бы помрачение мозгов не сделалось...

— А что?..

— Да орут все и день и ночь, день и ночь. Грыжа, что ли, пес их знает!.. И не подыхает, заметь, ни один!.. Наказанье господне!

— Больны, стало быть?..

— Притка их знает... надоели... николи у меня таких не было...

— Сколько же их у тебя там? — заинтересовавшись и все еще не понимая путем, в чем дело, спросил я.

— Да двое... оба парнишки... одному-то году нету, а другому-то поболе... плохие-то, расплохие... помрут беспременно...

— Жалко?

— Чего их жалеть-то? Не свои, чай... шпитаты!..

— А-а-а! — протянул я, поняв, в чем дело.— Ну, это дело другое... а свои-то где?..

— На печке... тоже смерти молю и нашим... подохли бы — свечку поставила бы... Так разводить самовар-то?— спросила она, перебивая свою речь.

— Разводи.

Она начала возиться около устья печки, разводить самовар, застучала ведром, стала наливать воду, затрещала лучиной, загремела трубой...

— А у тебя много ль добра-то этого? — спросила она от печки.

Я не ответил ей и в свою очередь спросил, думая о «шпитатах» в люльке:

— Что ж, у вас корова есть?

— Какая у нас, батюшка, корова! — как-то даже радостно крикнула баба, точно я спросил у ней что-то смешное.— Что это ты, господь с тобой!.. Нет у нас ничего... ничего... ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни собаки... одна кошка да петух с курицей... Ничего нету, все разбойник решил!..

— Как же вы живете-то?.. Чем?.. По миру, что ли, ходите?

— Нет, пока бог миловал... по миру не ходим... Шпитатами вот питаемся... ими живем...

— Та-а-к! — протянул я опять, поняв, в чем дело.

— По четыре бумажки за каждого получаю в месяц,— продолжала она,— восемь за двоих-то... Кой-как дышим.

— А как помрут?

— А других дадут... мало этого добра-то, что ли?

— Да как же тебе дадут-то? Небось тоже зря не дают... не щенки ведь?

— Знамо, не щенки... На молоко дают.

— На какое молоко?

— На материнское.

— Да какое же у тебя молоко?

— А я за вынос плачу... мне не самой дают... мне выносят...

— Это что же за штука такая «выносят», не пойму я... как так?

Баба засмеялась, отошла от печки и, усевшись к столу, насупротив меня, воскликнула:

— Да неужли ж ты не знаешь... не слыхал, какое это дело?

— Да не к чему мне было знать-то,— сказал я.

— А это, вишь ты, как делается... расскажу я тебе, родной ты мой, как звать тебя — не знаю, очинно все просто... Помрет вот, скажем, у меня щенок, сейчас я бабу начну искать по слухам, которая недавно родила... най-

дется такая бабенка подходящая... я к ней... так и так, мол, много ль возьмешь за вынос? Ну, за рублевку, за полтора, глядя по человеку, стакаемся... Пойдет она в Москву, в гошпиталь... оттеда мне и вынесет младенца, а уж тутотка сама с ним как хочу... Про-о-стое, родной, дело!

— Чудно! — воскликнул я.— Ну, а как же потом-то ты с ним?

— Рощу, кормлю, покедова не помрет.

— Чем? Коровы-то ведь нет!

— На соску сажаю.

— Живут?..

— Нет, у меня, бог миловал, не живут...

— Сколько же ты их эдаким манером...— я хотел сказать: уморила, да язык не повернулся, и я спросил: — вырастила?

Она поняла и, глядя на меня мутными, точно в них кто-то свинца налил, глазами, сказала:

— Двоих схоронила...

— Ну, а как не помрут,— спросил я,— выживут... тогда как?

— Спаси, царица небесная! — с нескрываемым страхом воскликнула баба.— Ну их к шуту!.. Ведь за них, за махоньких, по четыре-то бумажки дают, а начни подрастать — цена другая, все меньше, а там, годам к шестнадцати, и вовсе ничего не дают... ну их к ляду!

— Этим промыслом, значит, живешь?.. А муж-то?

— Муж по рощам ходит... в рощах работает.

Замолчали. За дверью на мосту замяукала кошка... На печке завозились, и оттуда раздался детский, сквозь слезы, громкий шепот:

— Ма-амк, а мамк!

— Ну, чего тебе? — подняв голову, спросила баба.

— Выйти хо-о-чу!..

— Иди, дурак!

— Бо-о-юсь!

— Не бойся... дядя ничего... он не тронет...

— Бо-о-юсь!

— Ну, шут с тобой!.. Сиди так... Я тебе шкуру-то спущу, коли что! Что ж это он не идет так долго? — спросила она, глядя на меня.— Самовар сейчас поспеет, а его все нету...

— Не знаю... А не загуляет он с рублем-то?

— Притка его знает... от него всего жди: стыда нету,

потерян в нем стыд-то... Землю хочет продавать и с местом и с усадьбой — двести ишь ему дают за нее...

— А сам-то куда же? Как?.. .

— Шут его знает, об чем он думает!.. Пропьет все — и концы в воду! Хочу к земскому сходить... остановит, может... не даст вольничать-то! У меня дети, куда я с ними денусь?.. А, как думаешь, можно? Не даст?.. Остановит?..

— Не знаю,— сказал я, начиная чувствовать, что на меня находит какое-то особенное тоскливо-гнетущее настроение.— Не знаю... сходи...

— И то сходить надо,— сказала она и, поднявшись, направилась к печке.— Чу, бежит,— приостановившись, сказала она.— Пылит! Наш атлас не уйдет от нас...

Действительно, на мосту послышались торопливые шаги, дверь распахнулась, и в избу, запыхавшись, вошел мужик.

— Заждались? — сказал он, сбрасывая с себя на казенку одежду.— Какая штука-то,— продолжал он, подойдя к столу и ставя на него бутылку с водкой.— Нету ведь половинок-то... все расхватали! Я уж вот эту одну цельную взял... думаю себе: «Не пустом надоть бечь... все одно, думаю, коли не велит, назад снесу... деньги получит...» На, сдачу-то получи... значит, пятьдесят две за эту. Сколько сдачи-то?..

— Сорок восемь небось,— сказал я, глядя на его веселое, возбужденное лицо и читая на нем, как по книге.— Сорок восемь.

— Так ли? Сосчитай, мотри, верно ли? Гляди, двугривенный-то не фальшивый ли?.. Всучит — ищи потом ее... тоже бабочка-то огурчик! Ну, что ж самовар-то? — обернулся он к бабе.— Аксинь, самовар-то у тебя поспел? Закусить-то ты приготовь... грибков-то...

— Да уж сядь, сиди,— сказала баба, снимая с поспевшего самовара трубу,— успокойся... завертелся, веретено... рад! Обрадовался на шельмовщинку-то... дорвался волк до падали! Ишь глазищами-то вертит... так бы, думается, все со стеклом вместе и слопал!

— Где грибы-то у тебя?.. Че-е-ерт! Чума! Ляпа! — заорал на нее мужик.— Я сам возьму... ей, дьяволу, дело говорят по-хорошему, русским языком, а она сейчас рыло на сторону... Посажу вот на цепь и тявкай... брехло!.. Где грибы-то? — повторил он.— В чулане, что ли?

— Погоди, успеешь!

— Нечего годить, коли поп пошел кадить... давай! Человек устал... може, не жрамши... эдакая-то дорога! А она свое... И как только тебя господь батюшка, царь небесный, донес? — обратился он ко мне.— Дивное, сейчас умереть, дело, как ты дошел только?.. С устатку-то тебе теперича и, боже мой, как гоже!.. Открыть, что ли, пока?.. Спустить собаку с цепи?

— Как хочешь... открой, пожалуй...

Он живо, ловко, с любовью и охотой вышиб ладонью по донышку пробку и, посмотрев на свет замутившуюся водку, тоном знатока сказал:

— Настоящая!.. Ну, а все супротив прежнего много плоше... Бывалочка, я в те поры на фабрике жил, чикнешь смирновской двадцать первый номер али поповской, вдовы Поповой, двадцать шестой — сердце прыгает, фиалка! А это что, известка! Давай скорее грибов-то... человек закусить хочет, а она ковыряется... бисер нижет...

Баба принесла откуда-то в чашке соленых осклизлых грибов «волнушек», поставила их на стол, отрезала два ломтя хлеба, положила три заржавленных, с самодельными ручками вилки и подала самовар.

— Садись,— сказал хозяин,— подвигайся... залезай за стол-то... вон в углу-то...

Я поднялся и, чувствуя себя хозяином положения, залез в передний угол.

— Чем пить-то будешь? — спросил хозяин, волнуясь и горя нетерпением поскорее «глотнуть».— Рюмочку подать, али как? — И, не дожидаясь, что я скажу на это, продолжал: — Да чего, правда, рюмочкой-то? Не привышны мы к этому... по-нашему, раз выпил чашку, и кончено, дальше ехать некуда!..

— Верно,— согласился я и, налив чайную чашку водки, подал ему.— Пей... поправляйся!

— А ты сам-то... ты хозяин!

— Пей!

Он взял и жадно выпил. Я налил еще и подал бабе.

— Пей!

— О-о-о!.. Много,— сказала она,— запьянею...

— А ты, дура, бери, пей, коли дают,— поддержал ее хозяин,— не много будет... в самый раз!.. И не господь ли тебя нанес сюда, ей-богу! — обратился он ко мне.— Думано ли?.. Ан вот, вишь ты, господь-то!..

Баба приняла из моих рук чашку и стала не пить,

а тянуть из нее водку как-то особенно долго и мучительно-гадко.

Она выпила всю, обтерлась рукавом и, облизнув губы, сказала:

— Спасибо, родной, за угощенье.

— Не за что,— сказал я.— Давайте теперь чай пить... там вон у меня в узелке... дай-ко его сюда...

Она передала мне узелок. Я достал купленный в городе чай, распечатал четвертку и засыпал сколько надо в грязный, с отбитым носком чайник. Баба заварила его кипятком и поставила сверху самовара на конфорку настаиваться.

— А ребятишки-то,— спросил я,— тоже небось чаю хотят?.. Кликнула бы их с печки-то... чего они забились туда, боятся?..

— А ну их к черту! — ответил хозяин.— Ну их... надоели... Меледня окаянная! Часок без них посидеть, воздохнуть... Не издохнут! Недавно ужинали, щи жрали.

Я посмотрел на него, и сердце у меня сжалось.

«Да,— подумал я,— от этого жалости к детям, да и вообще к кому бы то ни было ждать навряд ли можно».

Он сидел напротив меня и вертел длинными, тонкими, дрожащими пальцами папироску. Худое его лицо было желтовато-бледно... мосталыжки скул на обеих щеках выделились вперед... под глазами были синяки, точно у беременной бабы, а тонкие, белые, с пеной по углам губы поистине были страшны... так вот и думалось, что он сейчас откроет рот и начнет кусаться...

— Погоди, всяё ночь спокою не дадут,— продолжал он.— Дай-ко вот эти,— он кивнул на люльку,— сволочи-то подкустовские, глаза продерут... завязывай глаза да беги!

— Не скоро продерут,— сказала повеселевшая, с выступившими по щекам пятнами баба,— не скоро!.. Я им маку дала... спят, аки мертвые...

— Маку? — переспросил я.

— Да... спасибо, научили добрые люди. Разотру его мелко-намелко, да с чаем с крепким, либо так с водицей тепленькой дам, они и спят, не блажат, аки убитые.

— Вред это им,— сказал я,— вырастут — дураками будут.

— Наплевать, а нам что! — равнодушно сказал хозяин и добавил, жадно затягиваясь: — Небось не вырастут...

отправим, куда надо! Этого добра много... других дадут... тамотка их девать некуда... бери только, сделай милость... Нам деньги нужны, живем этим... существуем...

— Чем же ты их кормишь-то? — спросил я, немного помолчав, у бабы.

— Да чем? Соску даю... нажую хлеба... суну...

— Черного?

— А то какого ж рожна им?.. Когда, бывает, баранку нажую...

— А поишь чем? Молока, говоришь, нету.

— Пою-то?.. Чаю вот даю... водицы теплой... А то чем же боле?.. Не велики господа-то! Мне их выхаживать-то какой расчет... Чем скорее помрут, тем для меня складнее...

— Так ты дала бы им прямо уж яду какого-нибудь,— сказал я,— и конец... чем мучить-то!

Запьяневшая баба рассмеялась.

— И то взаправду,— сказала она,— дать нешто?.. Неловко только, боязно... объездной узнает. Да они и так не жильцы, они и так сдохнут, и без яду. Те вон у меня, двое тоже, обе девочки, скорехонько убрались... Одна трое суток только всего и пожила-то, а я под ее билет в лавке опосля этого два месяца забирала, быдто под живую... Мне расчет... В те поры у меня и дело-то это внове было, дура я была, порядков не знала, всего боялась, теперя-то вот я привыкла, нагляделась, увидала, как добрые-то люди делают... Вон Наталья Бараниха шестерых вынесла...

— Что ж, все и того... померли?..

— Все, знамо, а то как же?

Я замолчал и глядел на нее. Она тоже с улыбкой на тонких губах глядела на меня, и в ее свинцовых, еще больше помутившихся от выпитой водки глазах ничего не было, и от этого «ничего» было, после только что слышанного, невыразимо страшно.

— Перебил ты меня,— не дал досказать,— начала она снова,— как я с первыми-то... Принесла это я, помню, девочку домой, думаю: чем поить? Дала чаю... сделала крепкого, раскрепкого: думаю, посытнее, мол... Кричит моя девка, дерьмя дерет... А он,— она кивнула на мужа,— говорит, как сейчас помню: «Возьму, говорит, я ее за ноги да шпокну об угол... только и всего, и не надоть мне твоих четырех целковых». Ну, ладно,— продолжала она, облизнув губы,— орет и орет. Я ей соску нажевала, сунула...

стала сосать, затихла... уснула... Побежала я к Баранихе...: «Как, мол, мне... научи? Благая, говорю, притка ее задави, навязалась... спокою нет... сам сердится...» — «А ты, говорит, поди возьми в лавке на нее под билет круп грешневых... свари кашку... давай ей... у нее животенко-то разопрет с каши-то... начнет пучить, она и замолчит. Помрет, говорит, а ты под билет-то бери, не сказывай, что померла-то она... вот и все... А то, говорит, чаем ее крепким пои... тоже хорошо помогает»... Так я и сделала... сварила каши, дала ей... И что ж ты думаешь, родной ты мой, в эту ж ночь раздуло у ней весь живот... вот этакой стал... аки барабан, да синий весь... и сама вся посинела... Кричала, кричала — померла!..

— Грех,— сказал я опять, не утерпев.— Нехорошо!.. Богу ответ дашь...

— Знамо дело, грех,— сейчас же согласилась она,— я и попу на духу про это же про самое сказывала.

— Н-ну? — удивился я.— Что ж он тебе?..

— Да что ж он?.. Ничего, простил: ему-то что?.. Да опять нешто он не знает нужду-то нашу? Да ведь и то сказать: куды их девать-то?.. Много уж их оченно, страсть!.. Бери только — и не жалко, еще натащат.

— Матерей бы, паскуд, давить надоть,— сказал молчавший хозяин.— Потаскушки, анафемы!.. Была тут у меня одна недавно,— продолжал он.— Приезжала из Москвы... на свое глядеть... Тамотка ведь известно, куда отдан-то... Узнала, приехала... повернула хвостом, да и лататы...

— И-и-и, батюшка, что было-то только! — вступилась и перебила его баба.— Что было-то. Слез-то сколько — конца-краю нет! Приехала это она с машины поутру...: гляжу я, господи твоя воля, кто такое?.. Одета исправно, по-господски, сама тонкая, молодая. «Здесь, спрашивает, младенец такой-то?» — «Здесь»,— говорю. «Я, говорит, мать ему, посмотреть, говорит, хочу...» — «Посмотри, говорю. Вон они в люльке... Двое их у меня, говорю. Твой вот этот». Посмотрела она, всплеснула руками, залилась... Накатило на нее: бац об пол... очнулась, уж она над ним сидела, сидела, плакала, плакала, плакала, бормотала, бормотала что-то такое, не поймешь, про себя, индо мне со стороны глядеть жалко стало. «Господи, говорит, грязный какой он!.. Умрет он здесь у тебя...» — «Ничего, говорю, сударыня, авось, бог даст, цел будет, выживет... Воля

божья!..» Улещиваю это ее... думаю себе: «Не даст ли, мол, чего»... Умасливаю всячески...

— Умаслила,— перекосив рот злобной усмешкой, перебил муж.— Много дала: дала, сволочь, целковый, да и уехала... и то уж пристал я к ней без короткого, а то бы и целкового не дала: «Нету»,— говорит... Шлюхи! Нагуляют, набегают, так и надоть... Ну их к черту!.. Пей вино-то!.. Глядеть на него принес я, что ли? Посуда чистоту любит.

Я молча, думая свои думы, налил ему еще чашку. Он еще с большей жадностью, чем первую, выпил ее, запьянел, и тогда я увидел, что сделал на свою шею нехорошее дело.

В бутылке осталась еще водка. Мужик стал приставать, чтобы я ему налил «остатки»... Баба, вероятно, зная по опыту, что будет из этого, не давала. Они стали ссориться. На печке заплакали дети, и опять точно так же, как и давеча, раздался оттуда громкий шепот:

— Ма-а-амка... не давай! Матушка родима, не давай!..

— Молчи, чертенок,— повернувшись к печке, заорал мужик,— убью, сволочь, об угол расшибу!

— Полно тебе,— сказал я, не зная, что делать,— ну, на, выпей, не кричи только; давай поговорим по-хорошему...

— Чего она меня учит-то? Чай, я не махонький... Я — хозяин. Водки ты мне поднес, угостил, спасибо, а учить меня нечего... я учен-переучен... знаю... насквозь все вижу, в ком что есть... Решаю все! — с пьяным воодушевлением вдруг закричал он и ударил рукой по столу.— Все к чертовой матери!.. Не желаю!.. Продам все!.. Землю продам... сруб, избу вот эту... яблони у меня есть... все!.. Купи...

— А сам-то?..

— А уж это дело не ваше, сказала мамаша... Нет ли у тебя охотника?.. Скажи: продает, мол, Ларивон Орлов все... У меня живо. Орел ведь я, а? Как, по-твоему, а? Орел?

— Орел,— согласился я, глядя на его страшное чахоточное лицо и ругая себя в душе за то, что напоил его.— Орел... Ложись теперь спать, да и я лягу: устал... ноги болят...

— Что ты меня укладаешь-то?.. Спи, а я не хочу... не желаю я спать... Орел я, а?.. Говори: орел, а?

— Да отстань! Чего ты пристал-то к человеку? — вступилась баба.— Налил бельмы-то... дорвался!..

— Мо-о-лчи!..

— Ну, ну, а ты не очень-то шабарши-то! — повысив голос, сказала баба,— не очинно-то тебя, гнилого пса, боятся... По-намеднишнему ошарашу поленом, тронь только!.. Пришибу, истинный господь, как собаку, и отвечать не стану... Сиди уж, где сидишь... лопай, черт паршивый!..

Мужик, к крайнему моему удивлению, ничего не ответил на это, замолчал и глядел на нее, моргая глазами да облизывая языком углы губ, где выступила слюна — пена...

— Воин... Аника,— продолжала она.— Воюй вон с ребятами! Не больно-то тебя боятся... страсть какая... дармоед дохлый!.. Куда ты годен-то? На фабрике жил,— обратилась она ко мне,— прогнали... руки длинны... протягивать стал, где плохо лежит... В городе поступил в сторожа, выхлопотала я ему через знакомую одну, к Василь Василичу Россолову,— знаешь, небось? — прогнали... не нужен. Теперича вот по рощам ходит... в рощах работает... А какой он работник? Какая от него прибыль? Грех один! Кабы не я... кабы не шпитаты эти, истинный господь, надевай суму, да и иди по миру... Только шпитатами и дышим... кормимся ими... Ты давеча вон сказал: «грех»... Знамо дело, грех, а как быть-то, научи!.. Сладко мне тоже? Нешто я так бы жила-то, кабы не этот черт? Подохни он, у меня совсем другое дело пойдет... и землю бы не бросила... держала бы... и коровка была бы, все бы было!

— Оно и видно,— ухмыляясь, произнес мужик,— хвалится!.. Куда ты без меня?.. Хы... дура! Пропадешь, как капустный червь!.. Ду-у-ра, боле никаких!.. Знамо дело, я тебе теперича не нужен, по хворости по своей не ублаготворяю тебя, паскуду... Тебе другой нужен... Гришка вон рязанец с барского двора теперича тебе нужен!.. Он, знамо, скуснее!..

— А тебя завидки берут, а? Хи, хи, хи!.. Не с тобой сравнять, известно... испугалась я тебя!.. Я не таюсь, перед добрыми людьми скажу, не испугаюсь... все, глядишь, какой целковый добуду... все в дом... тебя же, черта, содержу, кормлю... Щенят вот твоих... нарожал, а кормить не можешь... Мо-о-лчи уж! Дня тебе без меня не прожить, часу... Издыхал бы уж, что ли, скорее... к одному бы

концу... развязал бы мои руки... разбойник, вор!.. Ничего положить нельзя... из дому тащит... Как чуть что недоглядела, не убрала — не зови своим: пропадет... Так и глядит, как бы что стащить! Намедни что: положила восьмушку чаю на полку вон... отвернулась куда-то... по воду, что ли, пошла — прихожу: ни его, ни чаю! А, да все равно, что об стену горох, слова мои ему... Вот только и мастер и умен на два дела — вино пить да на гармошке играть: гармонью себе завел... все лето, должно быть, за нее работал! Бережет пуще бог знает чего... Ты погляди-кась какая... ума рехнешься. Жрать нечего, зато жить весело. Вот и зудит на ней и будни и праздник, тешит сам себя, словно некрут... Дураку забаву бог послал... говорить стыдно... Дурак, да и все!.. А как вот глотнет этого-то,— она кивнула на бутылку,— черт-чертом сделается... так и гляди, чего бы не спалил... зверь-зверем!.. Что глядишь?.. Что глядишь-то? — оборотилась она к нему.— Бельмами-то хлопает!.. Неправду говорю?.. Чем так-то сидеть,— продолжала она, помолчав,— ты взял гармонь да сыграл бы, гостя потешил... Все лучше, ничем лаяться-то!..

— Да не надо, пожалуй,— сказал я,— спать бы лечь...

— Рано... успеешь... ночь-то год... Да опять все одно спать не придется... проснутся, гляди, щенки-то... дадут тебе спокой, дожидайся... Сыграй, Андрюх!

— Так я тебе и стал задаром-то,— сказал сильно захмелевший мужик,— ишь... на кой ты мне!

— Да тебе и не сыграть сейчас,— подзадорила, очевидно, хорошо знавшая его слабую сторону баба и подмигнула мне глазом,— где тебе: распустил слюни-то... где уж тебе сыграть!.. Не можешь... не умеешь!

Она прямо попала в цель. Мужик сразу обозлился и, крикнув: — Кто, я не умею? — сорвался с места, нагнулся, полез под казенку и достал оттуда футляр с гармонией.— Я не умею? — повторил он, ставя его на пол около стола.— Я?.. Ах ты, трепло чертово!

— От такого слышу...

— Я не умею? — повторил опять он, открывая футляр и доставая оттуда прекрасную, изящно сделанную, большую, так называемую «венскую», вероятно, стоившую хороших денег гармонию.

Он взял ее, перекинул широкий ремень через плечо, сел и, посмотрев на меня, пробежал тонкими и длинными пальцами по клавишам.

— Чего тебе сыграть? — спросил он.

— Все равно, играй, что хочешь,— заинтересовавшись, ответил я.

Он опять пробежал по клавишам и вдруг, приподняв немного голову и не глядя на нас, запел чистым, высоким, легким альтом:

В далеких краях Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах...

Пропев, он сейчас же это самое заиграл на гармонии, и, удивительное дело, услышав эти прекрасные, неожиданно ворвавшиеся, точно прилетевшие бог знает откуда сюда, в эту убогую избушку, жалобные, плачущие и тоскующие звуки, я почувствовал, что у меня точно что-то сразу оборвалось в груди и что мне трудно дышать и хочется плакать...

Идет он густою тайгою,
Где пташки одни лишь поют,
Котел его сбоку тревожит,
Сухарики с ложкою бьют...—

запел он опять, и это же самое, только гораздо лучше, пропела гармония...

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбачью там лодку берет,
Унылую песню заводит,
Про родину что-то поет...—

продолжал он дальше, и мне под это пение и игру делалось все грустнее и грустнее. Мне почему-то стало жалко и его, и «шпитат» в люльке, и других, а пуще всего самого себя. Я закрыл глаза, слушал, и быстро и необыкновенно отчетливо проносились передо мной картины из моей жизни... Детство, юность, любовь, пьянство, нужда, грязь, мерзость всякая, ложь... все развертывалось, как клубок с нитками, и иное трогало, и хотелось возвратить его, а иное, чего было больше, возмущало, жгло стыдом, и хотелось забыть, отогнать, уничтожить его...

Он кончил, посмотрел на меня и, очевидно, увидав и догадавшись, что произвел на меня впечатление, засмеялся и сказал:

— Что, орел я, а?.. Как, по-твоему, орел?..

— Орел,— повторил я.— Играешь хорошо... Где учился?

— Нигде не учился. Я к этому с издетства привержен. Другие вон ребята, бывало, в карты норовят, к девкам спать, а я все с гармонией... охота моя... люблю!.. Меня на балы играть зовут... Поп вон, когда именинник, прикащик, учитель, в город зовут на свадьбу, на именины, допьяна поят, а уж ешь, что твоей душеньке угодно... Деньгами дают.

— Недешево небось стоит? — спросил я, кивнув на гармонию.

— Семнадцать целковых дал, как единую копейку!.. В Москве брал, на Тверской в магазине.

— При наших-то достатках все такие гармоньи покупать,— вступилась баба,— заместо ее-то три мешка муки бы... без малого на полгода еды... Все лето на эту гармошку и работал... Скажи, какой грош расколотый подал в дом?.. Ничего не подал!.. Одна все и бьюсь... где на поденку, где как. Да кабы не шпитаты вон, издохнуть бы надо...

Мужик промолчал и бережно обтер подолом рубашки крышку у гармонии и так же осторожно уложил ее, точно мать ребенка, в футляр и спрятал под казенку.

— А ну тебя к черту и с работой-то с твоей и со шпитатами-то! Надоела... все глаза проколола... Ест, как ржа железо... Скажу вот объездному слово одно... узнаешь, каки шпитаты.

— Чего ты скажешь-то?

— Я знаю чего...

— Говори... так тебе и поверили, пьянице, дармоеду... Сиди уж! Развезло...

Они опять сцепились, и, повидимому, дело у них дошло бы до серьезного, если бы вдруг как-то неожиданно громко и жалобно раздавшийся из люльки крик ребенка не прекратил эту ссору.

— Теперича пойдет! — махнув рукой, сказал мужик.— На всю ночь!

Он посмотрел, наклонив набок голову и прищурив глаз, на бутылку.

— Допить бы уж, осталось маленько, а? Сам ты мало пьешь... чего на нее глядеть-то?

— На, пей,— сказал я, отдавая ему бутылку.— Да и спать пора... Я тут вот на скамейке и лягу... можно, что ли?..

— Ложись, где хошь... тесно только... неловко тебе...

— Ничего, как-нибудь пролежу ночь-то...

— Знамо, в тесноте, да не в обиде... так ведь, а?.. Как тебя? Михалыч, а? Что, орел я? Хы, хы, хы! Не умею играть, а?.. Орел я? Как тебя, а?..

Он допил водку и сидел, посоловевший, тараща на меня глаза. В люльке завопил и другой ребенок. Баба отдернула тряпку и, сказав: «о, чтоб вам издохнуть», вынула оттуда одного из них, и я увидал у нее на руках что-то такое страшное и ужасное, от чего у меня невольно пробежал по спине мороз.

— Эва, каки гусары! — сказала баба, поднимая ребенка к свету и показывая мне,— вот и походи за ними...

В развернутой грязной, мокрой, сильно пахнувшей тряпке барахталось у нее на руках, дрыгая ножонками, похожими на лучинки, пузатое, со сморщенным, точно сморчок, личиком, живое существо и не плакало, а невероятно громко, жалобно, отчаянно вопило, заглушая все, так что звенело в ушах...

Из люльки несся и вторил ему такой же вопль.

— Вот они, возьми их за рупь за двадцать,— сказала баба и начала «тюлюлюкать» ребенка на руках, кидая его, как чурбашку.— Нишкни, нишкни! — говорила она.— Нишкни! О, чтоб вам издохнуть, дай, господи!

— Стукни его вон об печку об угол-то,— посоветовал пьяный мужик,— заткни ему пасть-то!.. Набрала щенятов... спокою нет... Удавить их вот взять у тебя на кресте...

— Молчи, дьявол! — огрызнулась баба.— Сиди уж, жри!.. Да ну, чего ты орешь-то, зевло? — набросилась она на ребенка и начала еще шибче швырять его, так что он весь посинел.— Чего тебе недостает-то? Жрать хочешь?.. На, на, на! На, на, вот, чертенок! — Она взяла со стола хлебного мякиша, разжевала его и стала совать ребенку в рот.— На, жри!.. На, подавись! Засад тебе в глотку-то! На, на, на! О, чтоб вас черт-то задрал, окаянная сила!..

— Да будет тебе,— сказал я, не утерпев,— чего ты его, дура, мучаешь-то?..

— Дура! — злобно передразнила она меня.— Ты умен больно!.. Пришел невесть отколь... На, уйми, коли умен! Всякой черт придет, лается тоже... Дура! — повторила она.— Не дурей тебя!

И, обозлившись от моих слов и сделавшись похожей на какую-то ведьму, грязная, длинная, полупьяная, она с каким-то остервенением начала швырять ребенка.

«Что ж мне делать? — подумал я, глядя на это истязание и чувствуя, что у меня все поднимается и дрожит от злости.— Уходить надо, пока не поздно, подобру-поздорову в другую избу... нельзя здесь быть... или как?..»

— Брось! — сказал я опять.— Положи его в люльку да дай хоть воды в сосок теплой из самовара, с сахаром...

— Да ты что за учитель такой пришел, а? — опять набросилась она на меня.— Тебе-то что за забота?.. Чего он тебе приболел очень?.. Жалостлив некстати... своих щенят иди нянчай!..

— Ну, как знаешь,— сказал я,— а я уйду.

— Иди, шут с тобой!.. Не заплачу...

И, окончательно обозлившись и желая сделать мне назло, она схватила ребенка одной рукой, как-то по-особенному, за бочок, и буквально швырнула его в люльку.

— Проклятые! — со слезами в голосе крикнула она и вдруг заплакала и села к столу.— За что я такую муку терплю? За что меня господь, царь небесный, наказал только?! — начала, воя, причитывать она, и ее вой, соединившись с воем детей в люльке, стал похож на вой волков, когда они осенью, темной ночью, где-нибудь в лесу, одуревшие от голода, на разные голоса, задрав кверху морды, необыкновенно дико и вместе жутко-жалобно воют, жалуясь на свою проклятую долю.

— Я говорил давеча тебе — спокою у меня нету,— сказал мужик, покуривая и поплевывая на пол.— Вот вишь ад кромешный, боле никаких!.. Пойдем к Бурихе, я тебя сведу... там у ней ночуешь... половиночку еще купишь, раздавим, и, боже мой, как гоже!..

— Я те дам половиночку,— своих не узнаешь! — крикнула баба.

— А что ты мне за указка?.. Боюсь я тебя, как летошнего снегу... Надо же человека проводить... дура, ляпа!

— Сам найдет, не маленький, провожать-то его... Сумел прийтить, сумеет и уйтить... Ишь ему загорелось, не сидится... учитель тоже... диви барин какой, господин, крику слышать не может... Много вас учить-то, а ты поживи на моем месте!..

— Чего ее слушать? — опять сказал мужик.— Ее ведь не переслушаешь! Пойдем, да и все... чего тут-то сидеть, вой-то слушать?.. Там по крайности в тишине и все такое... пойдем!

— Нет, не пойдешь! — задорно крикнула баба и встала, держа в руке какую-то тряпку.

— О-о-о! — так же задорно произнес мужик.— Ишь ты!.. Н-да... испугался... тише, военный, портки разорвешь!.. Пойдем,— снова обратился он ко мне.— Гармошку захватим, разделаем под орех — дальше ехать некуда!

— Нет, не пойдешь! — повторила опять с ударением баба.— Не пущу. Ты гулять будешь, а я одна вертись за всех вас, как сучка какая!.. Ишь ты!

— Что мне с тобой тут обнявшись сидеть? Нянька я тебе?

— Нянька не нянька, а сиди, слушай! Не одной мне за щенятами-то ходить... За своими-то ходи, да за этими вот, за проклятыми...

— А кто тебе велел брать?.. Завистлива больно!.. А надоело — взяла да придушила, аль дала чего... всего и дела... Об чем толковать-то?.. Пойдем! Ну ее к черту! Пущай сидит тут... не привыкать ей... Небось не издохнет? А мы выпьем... рвись ее сердце!..

От этих его слов произошло гадкое дело. Не успел еще он путем досказать их, как она, обезумев от злобы, перегнувшись как-то и сделавшись похожей на кошку, когда она, фыркая, с поднятой шерстью, блестя глазами, стоит перед носом боящейся схватить ее собаки, прыгнула к мужу и ударила его не рукой, а ногой в живот. Мужик ухнул и упал навзничь... Вскочив, он бросился к ней. Она взмахнула бывшей у нее в руке тряпкой, желая ударить его по лицу, но не попала, а задела за лампу и погасила ее. В избе моментально настала кромешная тьма и началось поистине что-то невероятно дикое и страшное. В непроглядной тьме они сцепились, сквернословя во всю глотку. «Шпитаты» в люльке и ребята на печке визжали и вопили так отчаянно-жалобно, что невозможно было без содрогания слушать. Растерявшись и не зная, что делать, как быть, я чиркнул спичкой и осветил избу. Пока она горела, я увидал, как муж и жена, забившись в темноте под койку-казенку, дрались и, как мне показалось, кусали друг дружку зубами, точно собаки. Я зажег другую спичку и тоже закричал, стараясь заглушить своим голосом и ихний крик и вой детей:

— Бросьте, дьяволы! Что вы делаете?..

Но это не помогло. Тогда я опять зажег новую спичку

и кое-как, торопясь, дрожащими руками засветив лампу, полез разнимать их.

Но и это нелегко было сделать. Мы все трое свалялись в одну кашу, и от моего разниманья толку было мало. Они совсем одурели, перестали понимать, что делают, и я отлично видел, что если бы у которого-нибудь из них было в руках какое-нибудь оружие, например ножик, то непременно произошло бы кровопускание.

— Бросьте! Бросьте! — закричал я, отпихивая то одного, то другого. Но они опять схватывались, и вот вдруг, уж и не знаю как, в пылу этого дикого побоища, кто-то из них задел или ударил нечаянно по люльке, и она от этого удара, описав дугу, ударилась об столб казенки, и из нее вылетело на пол скорчившееся, пронзительно вопиющее несчастное тельце.

— Батюшки-светы! — закричала баба, увидя это.— Убил!.. Убил, мошенник, убил.

И вдруг, подскочив к окну, наклонившись к стеклам и приложив ладони по обеим сторонам рта, закричала:

— Караул! Караул! Караул!.. Убил... Караул! Убил!.. А-а-а! А-а-а! Караул!..

Я бросился к ребенку и взял его на руки. Сердце мое сжалось, и ужас наполнил душу.

— Господи,— закричал я,— что вы делаете?! Что вы делаете, несчастные люди?!

— Наплевать! — совершенно равнодушно, точно ничего особенного и не случилось, сказал мужик, отряхиваясь и приглаживая на голове рукой волосы.— Не издохнет... а издохнет, туда ему и дорога... других, шкура, натащит... не привыкать стать морить-то!.. Погоди! — обратился он к бабе, грозя кулаком.— Я с тобой сделаюсь!..

Ребенок, весь посиневший, страшный, легкий, как перышко, кричал и бился у меня на руках, и я не знал, как быть, что делать.

В люльке кричал другой, с печки тоже несся вой; переставшая кричать баба стояла лицом к окну, всхлипывала и бормотала про себя что-то.

— Возьми ребенка,— обратился я к ней,— убился...

Она обернулась ко мне, посмотрела, хотела что-то сказать, но не сказала, а, зарыдав вдруг необыкновенно громко и жалобно, выхватила его у меня из рук и бросила в люльку.

— Провалиться бы мне сквозь землю, ничем так жить! — произнесла она с таким отчаянием в голосе, что мне стало ее жалко и совестно, что осуждал.— В удавку влезть легче...

Она завыла и начала качать люльку. Я, оглушенный этим общим воем и одуревший от всего виденного и слышанного, с болью в сердце, с мыслями о своих детях, схватил свой мешок, картуз и, не прощаясь, выскочил за дверь на мост. Здесь, чиркнув спичкой, я увидел дверь на улицу и, отворив ее, сразу попал, точно окунулся, в черную, непроглядную тьму.

Из избы слышно было, как плакали дети и как опять, немного погодя, пока я стоял и приглядывался к темноте, начала ругаться баба, проклиная их.

— Матери этих детей, где вы?! — мысленно воскликнул я и направился к видневшемуся где-то в избе и дрожавшему, как звездочка, на другой стороне деревни огоньку.

1913

Благодетель

I

Перед Николой мне понадобилось купить для посадки мер шесть-семь картошки. Сходил я с этой целью к одному человеку, думая раздобыться у него. Но оказалось, что у него самого «только на семена осталось: всю за зиму слопали».

— А ты вот что, научу я тебя,— посоветовал он,— толконись к Козе, Федыр Федрычу, в Метелкино, к угольнику-то, знаешь небось? У него есть, а ему теперича все одно не надо: решает он все хозяйство... Не хочет более хрестьянствовать.

— Что ж так... почему?

— Шут его знает! Какая-то ишь раскорячка у него по дому, с сыном с приемышем незадача... болтают люди, а как там — не знаю. Пойдешь — узнаешь...

— Надо сходить,— сказал я.— Счастливо оставаться.

II

На другой день рано утречком, когда солнце только что выплыло огромным огненным шаром, я отправился в Метелкино напрямки: сначала молодым березовым леском, трепетавшим точно умытой листвой и наполненным птичьим гамом, а затем извилистой тропкой по оврагу, где протекал ручей.

Идти было весело. Берега ручья по обеим сторонам заросли ольшняком, обвитым до самых макушек прошлогодним засохшим хмелем, кустами черной смородины и какой-то высокой травой, тоже прошлогодней, с сухими, похожими на длинные мечи, листьями. Местами попадались огромные развесистые кусты черемухи в полном цвету. Кусты склонились ветвями к наполненным «бучагам» и перекатцам, усыпанным по дну разноцветными камешками; по ним быстро бежала, журча, прозрачная, как хрусталь, вода, и все они стояли белые, точно обвешанные ватой или хлопьями снега. Аромат еще издали наполнял воздух. Соловьи перекликались по заросшему оврагу со свистом и щелканьем, точно подзадоривая один другого со всех сторон. Лучи еще не высоко поднявшегося солнца проникали сквозь частую сетку ветвей и искрами сверкали на росистых листьях.

Я шел бодро и чувствовал, любуясь окружающей красотой, как у меня в душе поднимается что-то давно позабытое, хорошее, бодрое и честное. Хотелось идти вот так, как сейчас, одному, куда-нибудь далеко-далеко, не принимая участия в житейских мелочах, в пошлости, обманах и всякой грязи!..

Метелкино, небольшая деревнюшка, дворов десять, приткнулась по берегу крутого глинистого оврага, окнами на юг. Даже теперь, при блеске весеннего солнца, у нее был убогий, запуганно печальный вид. «Что здесь делается,— думалось мне,— глубокой осенью или зимой, когда разгуляется непогода и заносит убогую деревнюшку снегом?»

Забравшись на гору, я направился прямо через усадьбу к знакомой избе Федора Федоровича.

На усадьбе против окон лежала, греясь на солнце, спутанная веребочным путом тощая, длинная лошадь. Сидевшая под окнами на завалинке маленькая собачонка, белая, с обрубленным хвостом, увидя меня, сорвалась с места и с пронзительным лаем и визгом подкатилась мне под ноги...

— Цыц, окаянная сила!.. Чтоб те издохнуть, дай господи! — раздался глухой голос. Вслед за ним хлопнуло оконце, и я увидал высунувшуюся на улицу косматую голову самого «Федыр Федрыча Козы».— Цыц, проклятая! — закричал он опять.— Вот я те рычагом!

— Ничего,— сказал я, подходя,— авось не съест. Здорово!

Он прищурился, заслонился ладонью от солнца и несколько времени молча глядел на меня из-под руки.

— А-а-а,— наконец, как мне показалось радостно, воскликнул он,— сколько лет, сколько зим! Какими судьбами? Да неужто это ты, старый приятель? А уж я думал, тебя на свете нету,— помер! Проходи в избу-то... Вот не ждал, не гадал!

Отмахиваясь от собачонки, я взошел на крыльцо, потом, в сени и, наконец, нагнувшись на пороге, вошел в избу.

III

Со свету в избе мне показалось темно. Я постоял немного у порога и, сказав: «Здорово живете!» — шагнул вперед.

Коза стоял около стола и, заслоняя окна своей фигурой и улыбаясь, протягивал мне руку.

— Здравствуй, здравствуй! — охрипшим голосом говорил он.— Как это ты?! Садись. А и постарел же, брат, ты! Словно из тебя жилы тянули... чисто Кащей бессмертный!.. Аль жизнь-то желтенькая, а? Дети небось?.. Н-да, они хоть кого ухайдакают. Не расцветешь с ними. Хомут скинут, когда в землю кинут. Параньк! — крикнул он, переменив речь.— Где ты, трепалка, основу снуешь?.. Поди сюда!

На этот зов в избу вошла босая девка, коренастая, красивая, но с испуганным лицом и заплаканными глазами.

— Где ты треплешься? — сурово спросил ее Коза.— Где была?

— Поросенку готовила,— ответила девка,— крапиву рубила. Где мне быть-то!

— Крапиву рубила! — передразнил ее Коза и, помолчав и глядя на нее из-под нахмуренных бровей, сказал: — Становь самовар... ветчинки отрежь, яичек свари... да потом слетай к Химке, принеси половинку.

— Да не надо,— сказал было я.— Я к тебе по делу пришел.

— Ну, дело не медведь, не уйдет! В кои веки пришел. Мы ведь с тобой старинные приятели. Помнишь, чай, как жили-то?

В его голосе зазвучала теплая нотка.

— Помню,— ответил и я с тем же чувством...

Глядя друг на друга, оба мы вспоминали давнее время... Сердце у меня сжалось тоскою и жалостью...

Когда-то, оба еще молодые, свободные, жили вместе на угольнице. Он был за хозяина, а я у него работал поденно по сорок пять копеек на его харчах. У нас были две ямы. Жили мы в землянке, где с трудом можно было повернуться и где все, как и мы сами, было черно, покрыто «патьей», провоняло дымом и какой-то особенной кислятиной.

Дело это было зимой, в конце февраля. Погода стояла гадкая. Каждый день, и в особенности по ночам, разыгрывалась непогода, поднимался ветер, который заметал наши ямы снегом и раздувал огонь. Спать приходилось совсем мало. Надо было караулить и следить, чтобы огонь, раздуваемый ветром, не вырвался сквозь патью наружу и не начал бы полыхать так, что вместо угольев в яме оказалась бы одна зола.

Приходилось то и дело вылезать из землянки на волю и обходить ямы... Выйдешь, бывало, посмотришь, и как-то жутко делается на сердце. Глухо шумит лес... Смутно чернеют ямы... плачет ветер, а кругом дальше везде тьма... И казалось тогда, что только мы двое с Козой и живы во всем мире, а все остальное давным-давно умерло, занесенное снегом и отпетое ветром.

В такие длинные тоскливые ночи, чтобы скоротать время, я при свете закоптевшего ночника читал вслух единственную бывшую у меня книгу Гоголя, такую же грязную, пропитанную дымом, как и все в ночной землянке.

И так хорошо вспоминаются эти чтения...

Коза лежит в своем углу навзничь, подняв кверху черную бороду, и слушает... Я читаю. Коптит ночник... За дверью шумит ветер, точно плачет кто-то и жалуется, а я, позабыв все, с увлечением читаю: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы...» — и т. д.

Чаще всего я читал Тараса Бульбу. «А ну-кась, катни из Тараса»,— говорил Коза, тоже ужасно полюбивший эту «историю». И в дымной, темной землянке проходила картина за картиной. Старый Тарас едет с сыновьями

степью... кони, наклонив головы, тихо бредут по траве. Задумавшись каждый о своем, едут всадники... Потом, встряхнувшись, откинув думы и пришпорив коней, мчатся казаки во всю конскую прыть, и шумит, и гнется скрывающая их трава.

Самое сильное впечатление на Козу производила сцена публичной муки и казни Остапа.

— Да-а-а! — говорил он задумчиво.— Вот штука, а?.. Родитель глядит, как из родного сына жилы тянут. Заплачешь, истинный господь, заплачешь! Вчуже волосы на голове шевелятся... Ей-богу! Ведь родное дитё...

Утром, когда чуть-чуть начинало «разбундрять», мы затапливали «огорелками» печку, кипятили воду, пили чай, ели вареную картошку с селедкой и отправлялись на работу. Работы было всегда много: отгребать снег, поправлять ямы... А когда яма «выходила», то есть когда в ней прогорали дрова и высокий бугор осаживался и делался низким, надо было выгребать уголь. Это дело было самое трудное и грязное: мы окончательно превращались в негров, или, как выражался Коза, «ефиопов».

Когда весь уголь был выгребен, приезжал хозяин с работниками на нескольких подводах, привозил «спасуду», то есть кули, и мы все вместе ссыпали в кули выгребенный уголь.

Хозяин, угостив нас водкой, увозил уголь в Москву на места, а мы начинали «закладывать» новую яму. Это тоже была трудная работа. Надо было уложить в яму правильными рядами, одно на другое, толстые полена внизу, тонкие сверху, саженей двадцать, а то и больше дров, обложить все сухой осокой или соломой и «замусорить» сверху патьей...

Когда это было готово, Коза, перекрестившись и сказав: «Господи благослови»,— «пущал» в яму огонь, и она начинала куриться.

— Ну, теперича, слава создателю, мы с тобой, сынок, воздохнем малым делом,— говорил мой хозяин.— Накось, сбегай в деревню за косушкой. И почитать нужно будет про этого Тараса. Эх, и жалость, право... Как ты думаешь правда это написано?

И столько неподдельной жалости звучало в его голосе и столько молодой восприимчивости к вымыслу поэта, что я любил его в эти минуты... И теперь чего бы,

кажется, я не отдал, чтобы только вернуть то время, когда мы оба были молоды, оба слушали вой метели в лесу и зачитывались Гоголем в дымной землянке.

IV

— Мы вот что,— сказал Коза, немного помолчав.— Ничем нам сидеть в духотище, пойдем в огород. Тамотка у меня пчелы, столик... посидим... А ты,— обратился он к девке,— нам туды самовар подашь. Да слетай за косушкой...

Он полез к «богам», достал оттуда с угольничка кошелек и, отсчитав сколько-то мелочи, подал ей.

— Поживей, смотри, а то ходит, словно по яйцам! Чего опять нюни распустила? Плачь не плачь — дело сделано... Пойдем! — обратился он ко мне.

Выйдя за дверь, мы прошли по двору, где лежало много скопившегося за зиму навоза, и подошли к маленькой калитке, служившей проходом в огород.

Сквозь эту лазейку оба мы — он вперед, я за ним — пролезли, согнувшись, и очутились в огороде.

Собственно говоря, это был не огород, а скорее небольшой садик, заросший весь развесистыми старыми яблонями. Яблонь было немного, всего штук шесть, но они так разрослись и так заполонили садик своими ветвями, что ничему более под их тенью не было места. Стояло несколько колодок с пчелами. Пчелы жужжали и крутились всюду. Под одной из яблонь был устроен стол и скамейки. Отсюда Коза наблюдал за пчелами во время роения. Весь этот затишный уголок напомнил мне прежнего приятеля, немного склонного к мечтательности... Подведя меня к столу, он сел и пригласил меня сделать то же.

— Ну, что скажешь хорошенького? — спросил он, барабаня толстыми пальцами по столу и не спуская с меня глаз.

Я объяснил, зачем пришел.

— Хы! — усмехнулся он.— Где ты раньше-то был? Ты нешто ничего не слыхал, а?

— Ничего.

— Эва! А я думал, вся губерния про меня знает. Нет у меня, друг, теперича ничего своего... все продал! Послед-

нее вот время здесь доживаю, будет!.. Каюк! Поломал на свой пай!..

— Что это тебе вздумалось?

— Да так вот и вздумалось!.. Эх, да что толковать-то!.. Вон Параныка бежит, водку тащит...

Через минуту в садик через ту же лазейку явилась Параныка с водкой.

— Сейчас закуску принесу,— сказала она, ставя на стол посудину.— Сколько яиц-то сварить?

— Свари десяток!

— Ладно.

Она повернулась и, шлепая босыми ногами по земле, скрылась.

— Это кто же у тебя? — спросил я.— Работница, что ли?

Он опять усмехнулся и сказал с выражением затаенной грусти:

— Кака работница!.. Дочка это моя!

— Да ведь у тебя, кажись, детей-то не было?

— Не было, а вот стало...— Он помолчал, поморгал глазами, как будто смаргивая слезу, и сказал:

— Приемыш! Принял я ее к себе, узаконил... сирота она... в дочери взял. Думал... Эх-ма!..

Он махнул рукой и замолчал нахмурившись.

— У меня и сын есть! — через некоторое время сказал он как-то резко.

— Ну?! — удивился я.

— Сейчас издохнуть!.. Тоже усыновил. Думал: своих не было, так дай, мол, сирот возьму, благодетель буду, господу угожу. Ан вот оно, дело-то! Думаешь как получше, а оно что ни есть хуже выходит.

Он опять замолчал.

В это время Параныка принесла на тарелке ветчину, хлеба, две вилки, стаканчик и, поставив все это на стол, спросила:

— Самовар-то сейчас давать аль погодить? Поспел,

— Тащи...

Она ушла. Коза посмотрел ей вслед затуманенным взглядом и сказал:

— Видал? Важная девка, орел! До дому старательная... Попасть ей, коли бог даст, за хорошего человека, будет жить.

Он взял со стола «косушку», стукнул по донышку

ладонью, вышиб пробку, налил в стаканчик водки и, пододвинув его ко мне, сказал:

— Кушай!

Мы выпили и принялись закусывать. Паранька опять ловко пролезла в калитку, неся перед собой самовар, посуду, яйца, и так же быстро исчезла.

— Где же сын-то у тебя? — спросил я, принимаясь за чай.

Он точно поперхнулся. Взгляд его стал сердитым, и он сказал с нескрываемой злостью:

— А черт его знает! В городе где-то живет на месте. Жду вот, нагрянет сюды, разбойник!.. Из-за него все и рушится у меня.

— Да ты верно землю продал?..

— Все, дочиста! За тысячу четыреста порешил... Каки-то дальние купили... латыши, что ли... немцы... понашему плохо говорят. Задатку дали триста. Живу вот, покуда всех денег не получу, а там и с богом.

— Куда?

— А в богадельню... Что думаешь: с деньгами-то всюду место. Плохо, что ли?..

Он храбрился, но в голосе слышалась глухая тоска.

— А Паранька? — спросил я.— Ее-то куда же?

Он потупился и помолчал.

— Замуж, может, выдет... награжу... дам рублей сто... Жалко ее, правда! Плачет, слезами изошла... Домовитая... Жалко ей всякой сколябинки... об поросенке вон коровой ревет: сама вишь выходила! Коровы опять, лошадь, куры... Эх, что уж!.. Думаешь, мне не жалко?..

— Да как это у вас вышло-то все? Расскажи толком, по порядку.

— А так вот и вышло! Я, брат, думал по-хорошему. Вот растил девку... Потом его, сукина сына, взял. Вырастил тоже на свою голову. Сколько стоило узаконить его! В учение отдал, до дела довел. Паяльщик он. Ну, думаю, слава богу... Теперь, значит, завершение делу. Понял ты... что мне надо было?

— Ну?

— Чего ну!.. Какой ты беспонятный! Поженить их хотел друг на дружке.

В его глазах промелькнула какая-то растроганность, и голос зазвучал мягче.

— Живите, мол, радуйтесь, да меня благодарите.

А я, старый дурак, при вас. Поломал на своем веку... Помнишь, чай, в лесу-то?.. Да и после мало ли трудился! Будет! Теперь я вот тут, в садочке, за пчелками посмотрю... Внучата пойдут, опять мне на радость...

Он вдруг стукнул по столу так, что задребезжала посуда, и сказал со злостью:

— А он, сволочь, на дыбашки!.. «Не хочу» — говорит! Слыхал ты: не хочет! У него, ишь ты, уж другая есть, и щенка прижили. «Не хошь?» — «Не хочу».— «Ну, так нет тебе ничего, ни синь-пороха! Ступай к чертовой матери! Коли не хочешь по-моему — к черту! Я тебя поил, кормил, обувал, одевал, вырастил, а ты эдак-то?.. Чем тебе Паранька плоха?» — «Да она, говорит, гаже мне пса...» Слыхал ты? «Противна, говорит, она мне».— «Ну, а коли противна, нет тебе ничего. Продал все, и кончено!» — «Врешь, говорит, не смеешь...» — «Как не смею? Не мое это, что ли?» — «А так, говорит, не смеешь... Ты меня узаконил».— «Дурак ты, говорю: я зачем тебя узаконил? Понимаешь ты это? Чтоб ты мою волю исполнял. Женись на Параньке — все ваше будет!» — «У меня, говорит, другая есть... Люблю ее, ребенок от ней...» — «А мне наплевать!.. Много их, шкур-то!.. Ты должен меня слушать, благодетеля твоего... Я тебя Христа ради взял, вырастил. Кто тебя в люди-то вывел? Не я? А ты мне за мою хлеб-соль вот как отблагодарил!.. Расшиб ты, говорю, сукин сын, весь мой плант!.. Нет тебе ничего! Продам все! Нищенствуй со своей шкурой...» — «Так зачем же ты, говорит, старый дьявол, меня взял-то?.. Я бы, может, теперича без тебя-то человеком был!.. Чего ты меня занасилку женить хочешь?.. Нечего Христа поминать! Об себе ты, говорит, только хлопочешь, чтобы тебе спокой был на печке лежать...» — «А то как же, говорю, знамо об себе!» — «А Христос-то, говорит, нешто так велел? Нешто об себе он велел думать?.. Об душе он велел думать... Все, говорит, отдай другому...»

Федор Федорыч остановился и посмотрел на меня.

— Слыхал ты это? Куда повернул? На какую сторону? «Дурак ты, говорю, да нешто это взаправду сказано? Много ты смыслишь!» Ну, да нешто его, черта, урезонишь!.. Принялся лаяться на чем свет стоит, а потом говорит: «Продашь, так и тебе не жить!» С тем и ушел... Не знаю вот, узнал он уже, что я продал все, аль нет? Шут его знает! Жду каждый час — придет!

— Боишься?

— Хы!.. Чего мне бояться-то? Сам виноват... А ведь как бы жить-то ему, жулику, а? Всего ведь у него много... Избу новую хотел поставить,— эту вот подрубить... н-да!

Он опять стукнул кулаком и сказал:

— Все продал: землю... Рожь какая: дерет — сила!.. Овса раскидал двадцать мер... картошка, две коровы. По нынешним ценам им без мала двести целковых, поросенок пудов на шесть — купи-ка поди его,— пять овец, две суягняты, скоро объягнятся... лошадь... ну, лошадь неважная, а все на худой конец, теперешнюю пору, три красных дадут... сад, пчелы, ложки, плошки... изба, двор, вышка, омшаник, амбарушка, сараи, овин!.. Лесу восьмерику сорок дерев сухого, очищенного, дров года на три запасено, швырку на продажу особо... вози всяе зиму в город... А, да что уж!..

Он замолчал и начал толстыми пальцами вертеть курить.

— Ну, а она как насчет этого?.. Паранька? — спросил я.— Согласна за него?

— То-то вот...— сказал он мрачно,— что и она косыми смотрит. «Утоплюсь, говорит, а за него не пойду». Я бы и ее намахал,— продолжал он,— да жалко: почтительна; опять работница — золото! Супротивного слова от нее не слышу! Скажи: полезай в огонь — полезет! Ревет вот теперича и день и ночь... опухла вся... Гм-да! Жалко!

— Ну, так как же быть-то?

— Чего же теперича?.. Теперича дело сделано: пущай живут, как знают, коли не хотят по-моему. А мне с деньгами-то ветер взад. Я и без них проживу! Пущай идет в работницы, дело ее молодое... Ну, а навернется человек — не обижу, дам...

— Чудно!

— Ничего не чудно, а так точно. Бу-у-дет!.. Ша-а-баш!.. Сказано — отрезано! Озорник он, мошенник, сопляк чахоточный, а тоже: кто-ста я!.. Пиджак, щиблеты с пуговицами, папироски... тьфу! Для этого я его в ученье-то отдавал, тратился, ездил, просил: «Возьмите, сделайте божескую милость»?!

— Сколько же он получает?

— Да что! Плевое дело: восемь целковых! И заметь: ни одного гроша расколотого никогда в дом не подал.

Бывало, спрошу: «Ты бы что ни на есть дал бы в дом-то!..» — «А где я, говорит, возьму? Мне одеться, обуться надо!» Франт, строганые ляжки! Вот теперича одевайся!.. Бывало, как-никак, прибежит домой... Теперича куда побежишь?! Не хошь делать по-моему — наплевать!..

— Оба, значит, не хотят... Чудак ты, право!..

— Мало что!.. Я их призрел, я им благодетель: должны они уважить...

Я промолчал. В это время Параньќа, приотворив дверку калитки и высунув голову, крикнула:

— Тятька, а, тятька!

— Ну, что тебе?

— Подь сюды!

— Что у тебя тамотка за тайности за такие? — сказал он, поднимаясь и идя к калитке.— Ну, что?..

Паранька зашептала что-то.

— Ну-у-у!.. Где?! — донеслось до меня восклицание Козы, в котором слышался испуг.

Паранька опять что-то пошептала и, махнув рукой куда-то в сторону, скрылась.

— Обожди... я сейчас! — крикнул мне Коза каким-то испуганным голосом и тоже скрылся.

Я остался один; сидел, чувствуя неприятную сердечную тревогу, и ждал, что вот сейчас должно произойти что-то особенное. Я смутно догадывался, в чем дело...

V

Минут через пять Коза вернулся обратно. Как только он подошел ко мне и я взглянул на его лицо, то сразу понял, что произошло что-то необычайное. На нем, как говорится, лица не было, и весь он стал другой: страшный и тяжелый. Он нервно одергивал обеими руками подол рубахи и как-то особенно пофыркивал, как еж, когда его, свернувшегося в клубочек, трогают палкой.

— Что такое? — спросил я.

— Идет!.. Идет сокол-то!.. Промахал, знать...— с трудом, хриплым голосом сказал он.— Васька идет из-под горы. Сичас заявится. Ты вот что, не уходи... будь свидетель, коли что...

— Мое дело сторона! Ваших делов я не знаю и

ввязываться не буду, а только скажу: сердись не сердись — напрасно ты это все затеял!

— А ну тебя! — рассердился он.— Много ты знаешь! «Напра-асно!» — передразнил он меня.— Хы!.. Чего я худо ему сделал, а? Что пригрел змею-то на груди, аспида вырастил? Обидно мне, обидно! — Голос у него задрожал.— Во как обидно! Весь мой плант разбил, сукин сын!

— Так зачем же ты его в ученье отдавал? Держал бы дома, приучал к крестьянскому делу!

— Зачем, зачем? — опять рассердился он.— Думал, выучится — хлеб! Все грош какой за зиму-то добудет. Рукомесло за плечьми не висит. Думал, женю. Лето дома будет работать, зиму по своему делу добывать. А я здеся зиму-то с бабой. Так все и расплантовал загодя; ан вон вишь ты...

Он замолчал, прислушиваясь.

— Вона... пришел, слышишь? — почему-то тихо, почти шепотом сказал он.

Мы оба притихли.

— Сво-о-о-лочь! — доносился со двора чей-то визгливо-пронзительный голос.— Сво-о-о-лочь!.. Шкура барабанная.

— Сам сволочь... от сволочи слышу! — несся в ответ пронзительный голос Параньки.

— Убью, дьявол!.. За-а-режу!.. Где он?..

— Ступай к черту, откедова пришел!.. Чтоб те издохнуть!..

— Вот и все промеж их так-то,— прошептал Коза.— Ах, окаянная сила! Вон уж сюда прет,— добавил он, кивнув на калитку,— возьми его за рупь за двадцать!.. Будь свидетель... к разу ты попал-то!..

Действительно, в дверку калитки, согнувшись, проскочил небольшой человечек и быстро подошел к нам.

Я с любопытством и с некоторым страхом посмотрел на него.

Был он ниже среднего роста, одет в черный кургузый нараспашку пиджачишко, брючонки навыпуск и штиблеты. На голове у него была белая помятая «майская» фуражка.

Лицо у него было худое, с провалившимися, испитыми щеками, нехорошего, больного, землистого цвета, покрытое на подбородке какими-то волдырями. Глаза больные, воспаленные, точно с сильнейшего похмелья. Он часто,

почти без остановок, моргал ими и щурился. Тонкие синеватые губы тряслись, точно у крепко обиженного, наплакавшегося ребенка.

Вообще всей своей фигурой, лицом, костюмом, движениями он представлял собою хорошо знакомую мне подмосковную «мастеровщину».

Он был, видимо, так взволнован и обозлен, что не смог сразу начать говорить: вместо слов у него вылетали какие-то непонятные звуки: «ля-ля!.. ка-ка!.. вв-вв!» — и т. п.

Наконец, кое-как справившись с волнением, он не заговорил, а закричал, показывая черные, гнилые зубы и брызгаясь слюной:

— Водочку кушаете, папаня?.. Гуляете?.. Денежки в кармашке грызутся?.. Получили-с! Продали! Устроили по-своему... Пустили меня по миру... Спасибо вам, папаня,— он низко поклонился,— очень благодарен... благодарю покорно! Покорно благодарю!..

— Чего ты арапа-то строишь? — сказал Коза, с презрением и злобой глядя на него.— Чего тебе надо-то? Зачем пришел? Ишь франт с Кузнецкого моста! Полюбуйтесь, добрые люди! Ну, продал, а тебе какое дело?.. Твое, что ль? Наживал ты?..

— А до этого, папаня, вы что говорили, а? — Он прищурил один глаз, а другим глядел на Козу.— А? — повторил он.— Что говорили?..

— Мало что... мое дело!

— Мое!.. А мое-то где ж?

— Какое твое?.. Подавал ты в дом-то? Нашивал?.. Ступай, брат, от греха!.. Взять тебе здесь нечего... Напрасно ноги забивал, ходил...

— Та-а-а-к,— протянул сразу как-то присмиревший приемыш.— Та-а-а-к, та-а-а-к! — повторял он, всхлипывая и вздрагивая.— Спасибо, спасибо!.. Та-а-а-к!..

Мне стало жутко. Коза молчал насупившись. Лицо у него было точно каменное...

— Сам виноват,— наконец, сказал он жестко.— На себя и плачься!.. Я хотел тебя облагодетельствовать, а ты вон как, по-своему обмозговал!.. Дело твое...

— Я жаловаться стану,— подняв голову, сказал малый жалобно.— Кто ж я теперь стал-то? По миру мне идтить? В злую роту?.. У меня ребенок, жениться я хотел! Жаловаться буду!..

— Жалуйся! — усмехнувшись, произнес Коза.— Кому?

Дурак, порядков не знаешь!.. Кабы ты мне и родной был по крови, так я бы и тогда тебя намахал, а не токмо что... Жа-а-а-ловаться! — протянул он.— Ах ты, подзаборник! Смотри, брат, улетишь у меня живо в хорошее место!.. Стоит кому надо словечко шепнуть...

— Какое словечко? Что еще, старый Иуда, придумал? — с ненавистью спросил малый.

— А-а-а, забыл! — продолжал Коза.— Про царя-то что пел да про духовное-то звание? Иконы-то у тебя доски! Мощи-то святые, по-твоему, что, а? Самое владычицу ни во что чтешь!.. А? Язык бы у тебя выворотило, у мошенника!

Малый поморгал глазами и сказал:

— Это разве твое дело? Разве об этом речь?..

— Стало быть, об этом... Уходи! — закричал он вдруг и сделался еще страшнее.— Нечего тебе тут околачиваться!.. Проваливай!

— Да куда ж я пойду? — гнусавя, заговорил приемыш.— Что ж это такое «уходи»? Собака я, что ли?.. Неужели же мне так-таки ничего и нет? От всего добра-то?

— Так вот и нет!..

У приемыша сверкнули глаза недобрым огнем. Лицо стало мрачно.

— Нет, врешь! Этого я дела так не оставлю!.. Что я, сам-дели, собачонка тебе какая, выкидывать меня? Я у тебя небось вырос?.. А? Не у тебя, скажешь? Зачем же ты меня брал? Может, я без тебя-то... Может, я свою судьбу нашел бы!..

Коза молчал. Пришла Паранька и встала в сторонке, исподлобья поглядывая на приемыша злыми глазами.

— Ей, что ли, все отдашь? — кивнул приемыш в ее сторону.— Нет, погодишь! Мне, коли так, все равно. Пущай Сибирь!.. Пущай вешают!.. А не спущу я!..

— Ты что ж это, грозиться, что ли, пришел, а?.. Да я тебя сичас за такие слова... по рукам, по ногам скручу!.. Из души три души сделаю!

Молодой человек посмотрел на него исподлобья и сказал с мрачной угрозой:

— Боюсь я тебя! Тронь, попробуй... Мне один конец: за-а-режу!

— За-а-режешь! — заорал Коза.— А... зарежешь? — повторил он и, бросившись к частоколу, которым был об-

несен садик, начал выламывать кол.— За-а-режешь? — орал он.

Я пробовал было его успокоить, но он злобно отпихнул меня, крикнув: «Не твое дело!» — и с колом в руках бросился к приемышу.— Тот отскочил в сторону, вытащил из кармана ножик и стоял в угрожающей позе.

Паранька закричала истошным голосом...

— Параньк! — заорал Коза, махая колом.— Беги за старостой!.. Скликай народ! Смертоубийство здеся...

Коза весь как-то сразу побагровел, «налился кровью», так что можно было ожидать, что его хватит удар. Глаза стали совсем безумные, круглые, кровяные, точно готовые выскочить из орбит. Он махал колом и подскакивал к малому, ругаясь скверными словами. А тот, точно обезумев, весь бледный, с трясущимися губами, следил за ним горящими ненавистью глазами.

Отойдя немного в сторону, я глядел на них, пораженный этой дьявольской злобой с обеих сторон.

За частоколом раздались голоса и потом треск раздвигаемого кем-то тычинника. Я подбежал туда. Какие-то три мужика, раздвинув частокол, улыбаясь, глядели на происходившую сцену.

— Идите скорей сюда,— сказал я,— убьют ведь они друг дружку!

— Ладно, убьют! Ни фига не убьют, не-е-бось! — сказал мне на это рыжебородый молодой мужик с бегающими веселыми глазами.— А и убьют — наплевать! Нам какое дело до чужого тела? Староста, иди, что ль, разнимай,— обратился он к высокому мужику с сердитым и тупым лицом,— твое дело. Он те пырнет, пожалуй, ножом-то,— прибавил он, с выражением любопытства глядя на приемыша.— Ишь ты, гляди, гляди: аки волк, зубы ощерил.

— Эй!.. Слышь, вы!.. Федор! — крикнул староста официальным голосом.— Брось! Оставь!.. Долго ль до греха!..

— Не трожь их,— шепотом сказал веселый мужик,— наплевать... пущай бы сцепились! Потеха, истинный господь! Ишь, старый черт, тоже разошелся — убить рад, идол!.. Благодетель тоже!.. «Я благодетель»!..

— Разогнать их надоть,— сказал третий, доселе молчаливо и серьезно смотревший на готовящуюся драку.— Обоих бы в колья! Ишь остервенились! Пойдем, ребята, растащим!

И он с медвежьими ухватками стал расширять щель частокола.

— Вор! Грабитель! — раздавался между тем пронзительный вопль приемыша.— Разбойник! Не знал я раньше этих делов! Я б с тобой устроил штуку.

— Го-го-го! Ва-ва-ва! — вторил ему задыхающийся, охрипший бас Козы.

— Да идите, что ли, живей! — закричал я на мужиков.— Какого вы черта ждете? Не видите, что ли, что тут затевается?!

— А ты кто такой?.. Разнимал бы сам! — просопел медвежеватый мужик.— Ишь он обгородился, крепость Плевну устроил!

Наконец, он пролез в щель и перешагнул в сад. За ним пролез староста, а за ним рыжий. Все это делалось неторопливо, с нарочитой оттяжкой...

А сцена между тем подходила, казалось, к трагическому концу. Коза занес кол и, держа его «на отлете», приготовлялся стукнуть своего «питомца», выбирая взглядом место. Тот в свою очередь нагнулся и следил за противником глазами, готовый броситься на него с ножом.

Все это покончила совершенно неожиданно девка Паранька. Она, как кошка, быстро, неслышно, ловко подкралась к приемышу сзади и, схватив его за руки, пронзительно завопила:

— Караул! Помогите! Караул!

Малый начал вырываться, но она, повидимому, была сильнее его: крепко схватив его за руки и не выпуская, она продолжала кричать:

— Караул! Помогите! Караул!

Тогда мужики бросились к ним. Через минуту-две приемыш лежал на земле навзничь, а мужики держали его за распростертые по сторонам руки. Медвежеватый мужик сидел на ногах и напором тяжелого тела не давал «дрыгаться».

Приемыш сразу ослаб. Лицо у него стало жалобное, как у ребенка.

— Братцы, за что? Братцы, за что? — со слезами в голосе спрашивал он.— Милые вы мои, голубчики, за что же вы меня эдак-то? А? Что же я вам сделал?..

— Вяжи его, ребята, крути покрепче! — рычал обрадованный Коза, бросив кол и суетливо кружась около них.— Параньк, тащи веревок! Тут у него, братцы, ножик

был... Эвон, гляди... ножом хотел полыхнуть, спалить грозился! Будьте свидетелями... тащи веревок, Паранька!..

Приемыша окрутили длинной, толстой веревкой, точно спеленали, и швырнули, как полено дров, под яблоню.

— Братцы! За что вы меня? — неслись из-под дерева жалобные вопросы.

— Начальство разберет,— сказал, посапывая от возни, медвежеватый мужик.

— Забастовщики, окаянная сила! — добавил староста.— Ишь ты, ножик!.. Сжечь грозится!.. За эти слова нашвырять вот тебе банок, чтобы помнил!

— Братцы, за что?.. Голубчики, за что же эдак-то? — продолжал всхлипывать, лежа навзничь, спутанный веревкой приемыш.— Да нешто я в этом деле виноват? Что я ему сделал? Что о своем просил? За что он меня по миру-то пустил?.. У меня ведь... о-о-о!.. у меня ребенок, другой скоро; куда ж я, братцы, сами посудите по-божески, как я жить буду?..

Он завыл жалобно, как баба по покойнику... На него невозможно было смотреть без сердечного содрогания.

— Начальство разберет,— опять равнодушно сказал медвежеватый и сел к столу на скамейку.

Его примеру последовали остальные.

— Ужо свезешь,— добавил он, обращаясь к Козе.

— Вам тоже со мной надыть,— сказал Коза заискивающе,— свидетели будьте...

— Наше дело сторона... Чего ради нам трепаться-то, какая корысть?.. Время терять, расход лишний... Нам недосуг!

— Я попотчую, угощу... не сумлевайтесь! — доверчиво и радушно заговорил Коза.— Расход весь мой... Не понимаю я, что ли?..

Мужики молчали.

— Да что вы! — суетливо продолжал Коза.— За нами дело не встанет, мы можем соответствовать... Параньк, сбегай живо, принеси две бутылки! А в контору поедем, тамотка особо у чайника попотчую... допьяна напою...

— Сволочь ты, сволочь! — громко и убежденно произнес вдруг лежавший на земле приемыш.— Ишь забегал, Иуда-предатель, жулик!

Коза подошел к нему, постоял около, скаля зубы, как волк. Потом ударил его ногой в бок.

— Что-о, сукин сын, добегался? Я ли тебе не благоде-

тель был? А? Не хошь... Ну, вот, получай! Я те выучу!.. Накось вот, съешь!

Он ударил его снова.

— Рвись твое сердце: по-моему не хотел, по-твоему не будет...

Он ударил лежащего в третий раз и отошел к мужикам.

Связанный и избитый приемыш заплакал от бессильной злобы и отчаяния.

Мужики нахмурились и молча сидели, поджидая водки. Вся сцена становилась невыносимо противной. Коза торжествовал. Он нервно обдергивал на себе подол рубашки, посмеивался и говорил:

— Начальство, брат, разберет! Начальство сразу увидит, в один момент. Ужли его высокоблагородие, господин земский начальник, меня да на эдакую падаль променяет?.. Нипочем!.. Он те покажет свое место — дальше ехать некуда!..

Я вышел из дома своего приятеля и пошел опять по той же дороге. Так же сияло солнце, и так же сверкала зелень, но мысли были иными... «Неужто,— думал я,— это тот самый человек, с которым мы когда-то, под шум метели, в дымной землянке, зачитывались Гоголем? Или жизнь его подменила?..»

1914

В трудное время

I

Как я думал, идя дорогой в волость, так и случилось: денег мне в кредитном товариществе не дали.

Испытывая большую нужду, я мечтал занять под корову рублей двадцать, но...

— Мы тебя не знаем,— сказал старшина,— есть у тебя корова, нет ли. На лбу у тебя не написано... Нельзя!.. Принеси от старосты поручительство али от священника с печатью, тогда дело десятое... подумаем... да и то навряд... а теперь не можем... нельзя!..

Он замолчал и глядел на меня. Я тоже глядел на него, но вместо его улыбающегося рыла видел другое... видел побелевшее с огромными синяками под глазами, изможденное, больное лицо жены... детские лица... протянутые ко мне ручонки... наполненные надеждой глазенки...

— Нельзя! — повторил он.

Я ничего не сказал и вышел в прихожую.

— Ну, как? — спросил бывший здесь сторож Фомка.— Получил?

Он посмотрел на меня и, вероятно, увидев на моем лице что-то особенное, отвернулся к окну и стал вертеть курить.

Я хотел было уходить, но в это время наружная входная дверь, визжа блоком, отворилась и в прихожую вошел хорошо знакомый мне, живший когда-то в барском имении в качестве слесаря, стекольщика, водопроводчика, а теперь уволенный от должности и севший на землю мужик Иван Петрович, по прозванию Грач. Узнав меня (мы давно

не видались), обрадовался, подошел ко мне, поздоровался и потихоньку сказал:

— У меня до тебя дело есть.

— Какое?..

— Насчет того-с... не начертишь ли ты мне прошенье?.. Я все к тебе собирался сходить, да далеча, да и недосуг... Стройку затеял... зима вот застала, а у меня печка не складена, рамы не вставлены... у людей живу... замотался совсем... съела меня эта самая стройка!.. В долги влез... вот и здесь хочу в кассе пятьдесят рублей взять на год... ничего не поделаешь—нужны. Ужо получу, пойдем в трактир, там напишешь... что стоит — отдам... угощенье мое...

— Ладно,— согласился я,— можно... Кому писать? Насчет чего?..

Он оглянулся кругом и, понизив голос до шепота, заговорил:

— Барыне... княгине... хочу у ней попросить; может, пес ее знает, на них ведь как найдет тоже, даст. Я у них двадцать один год выжил, ни в чем замечен не был... это тоже в резонт принять надо!.. По почте надо послать прошенье-то, в Москву... Я было тут хотел управляющему отдать, чтобы он передал, да боюсь: не отдаст, бросит, скажет: «Не велела давать»... Знаю я его, жулика!.. Так, значит, напишешь?..

— Можно... А сколько думаешь просить?..

— Просить-то?.. Тридцать хочу, да сот семь кирпичу старого поломать... мне хучь половья... все едино, как-нибудь доложил бы печку...

— Ладно,— еще раз сказал я,— можно... напишу...

— Ну, так ты иди к Петровне в трактир, заказывай там чаю... Я получу — приду... обожди там. А ты зачем здесь?..

Я сказал зачем, сказал также, что мне отказали, и, махнув рукой, вышел из правления, неся в сердце чувство какой-то глубокой несправедливости и обиды...

II

В трактир к Петровне надо было идти на тот конец села, мимо имения, под гору...

Я пошел не по улице, а свернул налево и направился вдоль березовой аллеи, идущей тоже вниз, под гору.

Проходя мимо имения, в котором Грач прожил двадцать один год, видя роскошный, огромный, старинный барский дом, разные строения: конюшни, оранжереи, контору, богадельню и т. п., принадлежавшие в это время какой-то допотопной старухе барыне, «ее высокопревосходительству», ведущей тот же допотопный строй жизни, какой был во время оно, при крепостном праве,— я невольно сравнил свое положение с положением не только этой старухи, но с последним из ее «хамов», проживающих на всем готовом, не думающих о завтрашнем дне... И мне стало еще гаже и тоскливее.

В трактире у Петровны было пусто. Сидели только в углу, около двери, каких-то два полупьяных, грязных нищих, отпивших уже чай и от нечего делать беспрестанно куривших и о чем-то вполголоса потихоньку между собой разговаривавших.

Петровна, не старая еще, недавно только похоронившая мужа баба, обремененная огромным семейством, худая, желтая, похожая на линяющую весной лисицу, плохо и небрежно одетая, встретила меня сурово. Да ей, впрочем, было не до меня. Она занималась делом: кормила грудью сразу двоих ребят. Один, мальчишка, годов, должно быть, уже около трех, грязный и с лицом, сплошь покрытым коростой, стоял, приладившись на скамейке, и сосал у ней левую грудь, а другого, завернутого в одеяло, она держала на руках, и он сосал у нее правую грудь, поминутно отрываясь и вскрикивая. Каждый раз, когда он вскрикивал, Петровна начинала ругаться, ворча, что наказал ее господь и чтоб передохли они, проклятенные...

Я поздоровался и, пройдя вперед, сел в угол около окна. Висевшие надо мной на стене, рядом с портретом Чехова, зачем-то попавшего не в указанное место, старинные, с большими медными гирями часы пробили два.

— Врут,— сказал один из нищих, глядя на часы,— теперича нету двух... вперед лупцуют, как заяц от собак... Приостановила бы ты их, Петровна... Куда спешить-то?.. Успеешь на тот-то свет!..

— Типун тебе на язык, а мало — так два,— ответила Петровна,— издыхай ты!.. Досуг мне тут с ними забавляться!.. До часов ли мне?.. Мне дыхнуть некогда, куска проглотить!.. Пущай, наплевать, как хотят, так и идут... Мне на время глядеть некогда... встаю — темно, ложусь в

полночь... Где тут часы разбирать?.. Это вот вам, дармоедам, от нечего делать занятье...

— Наживаешь все... хапаешь... как бы поболе задеть, зацепить на крючок норовишь все,— сказал нищий,— а ведь все, истинный господь, прах один... дым... мечта наша,— и, помолчав, добавил: —Плохо тебе без Васильича... Да, вот ты и думай, эдакое дерево — да свалилось... Кряж был, царство небесное! И человека умел понять... Сам пил и других не судил.

— Вот то-то и есть: кабы пил-то поменьше, цел бы был,— сказала Петровна.— От винища во сырую землю лег.

— Не от винища, а от смерти... час его пришел... предел его... и все пьем, не один он... кто нонче не пьет, укажи-кась?..

— Да как пить!.. Питье питью розь... Ты вон выпил, закусил — и не надо больше, а ведь он, бывало, зарядит недели на три, кажный день по четвертной... и день и ночь пьет, бывало... вот тут и вертись с ним... а сказать ежели слово — и не думай... убьет... так, бывало, что есть в руках, тем и шаркнет... топор так топор, полено так полено... ему все одно... Не один раз под смертью была...

Нищий промолчал. Петровна перестала кормить большенького и, оттолкнув его, сказала: «Будет тебе, постреленок!», пошла с маленьким из трактира куда-то в другую комнату, откуда доносился детский крик, сейчас же возвратилась назад и, обтирая о бедра руки, спросила у меня:

— Вам что прикажете?

— Да чайку,— ответил я,— две парочки.

— А где же другой-то?

— Сейчас придет... в конторе он... подождите немного подавать...

— А вы тоже там были?

— Был.

— Зачем,— спросила она, разглядывая меня,— небось насчет деньжонок?..

Я промолчал. Она тоже помолчала и потом, покачав головой и тяжело вздохнув, сказала:

— Ох, уж эти деньги, деньги — наказанье господне! Греха одного от них — конца краю нет!..

И опять, немного помолчав, спросила:

— Сколько у вас деток-то?..

— Не обидел бог,— ответил я,— пятеро!

— Да,— снова вздохнув, начала она,— тоже накормить надо... обуть, одеть... А у меня вот восемь человек, как чеснок на гряде... Как одной-то?.. Он лежит там, в земле-то, не слышит... У людей вон, у кого не надо, мрут, а тут хоть бы один... живут — да и все! Измучили они меня... голова кругом идет...

— Пе-е-тровна, грех! — сказал один нищий.— Тебе ли не житье?.. Как сыр в масле... Осетил это тебя враг нечистый, тебе все и кажется мало...

— Супруга-то ваша здорова ли? Давно я ее не видала,— не слушая его, спросила Петровна.

— Плоха.

— А что?..

— Беременна... скоро родить...

— Наказанье господне! Мученицы мы, женщины, ей-богу. И из-за чего, как подумаешь?..

— Бабы каются, а девки замуж собираются! — вставил нищий.

— Как живете-то? — опять спросила она и, видя, что я молчу, вышла в другую комнату, откуда несся ребячий, так хорошо знакомый и так жестоко измучивший меня вопль. Сердце как-то особенно тоскливо и мучительно заныло...

«Как я теперь явлюсь с пустыми руками домой?..— лезли мне в голову мучительные, тщетно отгоняемые мысли.— Что есть? Корову непременно придется продать... А дети?.. Жена родит на днях... Как быть?..»

И перед глазами стояли лица детей и пристально устремленные на меня, вопрошающие, надеющиеся, грустные глаза жены...

Являлось желание крикнуть: «Да где же я возьму?.. Оставьте вы меня в покое... отойдите... не мучьте!..»

Пришел Грач, возбужденный и радостный от полученных денег. Ему выдали пятьдесят рублей сроком на год. Проценты взяли вперед.

— Безо всякого, понимаешь, разговора выкинули,— говорил он, блестя зубами и садясь ко мне за стол.— «На, получи!..» Хорошее дело это они придумали... кассу эту устроили, ей-богу!.. А то вот бегай, ищи... кто даст-то?.. И есть, да нету!..

Посмотрев на меня и, вероятно, увидя на моем лице грусть, ласково, стараясь утешить и ободрить, сказал:

— А ты не горюй... авось как-нибудь!.. Что станешь делать?.. Выше колокольни не прыгнешь... Да ты что ж это за пустым-то столом сидишь, а?..— воскликнул он, сделавшись опять возбужденным и радостным.— Чудак человек, заказывал бы!.. Эй, Петровна!.. На пару слов...

Подошла к столу Петровна и, улыбаясь, остановилась перед нами, выжидая и уже зная, что он будет говорить и что ему надо.

— Дакась нам молочка от бешеной коровки,— зашептал Грач,— пока половинку... Есть, а?..

Петровна молча кивнула головой.

— Да колбаски погрей,— продолжал он,— с яичками... яичек толкони для скусу пяточек... мотряй только, порченых не всучи... чайку две парочки... фунт баранок сдобных... да бумаги дай с чернильницей да с пером... надо нам написать кое-что... Он вот напишет... найдется у тебя?..

— Найду... Боле ничего не потребуется?

— Пока нет, а там увидим...

— Аль с получкой? — улыбаясь, спросила Петровна.— Ну, не грех и выпить... спрыснуть не грех.

Она отошла.

— Огурчик тоже,— шепнул Грач, кивнув в ее сторону головой,— отдай, а то потеряешь... шельма баба!.. Ну, а между прочим, по ее делу иначе никак нельзя... гляди да гляди... народ-то у нас тоже — ох-хо-хо!.. Так напишешь, а?..

— Напишу...

— Сделай милость!.. За мной не пропадет... Как-нибудь постарайся пожалостней, чтобы, значит, почувствовала она... в сердце к ней чтобы, значит, взошло!.. Шут с ней, наплевать, не слиняю я от этого... даст — даст, а не даст — черт с ней!.. Пущай себе на гроб бережет!.. А может, кто ее знает, какой тоже стих на нее найдет, даст. Любит она, первым делом, покорность... капризная госпожа! Любит, чтобы, значит, перед ней ползком... Ползай перед ней, кланяйся, бесперечь говори: «Виноват-с, ваше высокопревосходительство, что прикажете-с? Слуга ваш покорный по гроб своей жизни-с!» Это вот для ней слаще меду... Чудак, двадцать ведь один год выжил... Вот как вызнал — боле некуда!.. А как заметила, что эдак кто, по нынешнему-то время, маленько рыло кверху, сейчас, по-

нимаешь, хвост в зубы, перо в сиделку и але!.. Ступай к чертовой матери греться на печку... Капризная, говорю; барыня... ка-а-рактерная!.. Ну, да тебе нечего говорить; ты человек прахтикованный, знаешь, какая это есть сволочь для нашего брата, черняти...

Подошла Петровна, неся с собой поднос, на котором стояли два стакана, сахар на блюдце, щипчики, оловянная ложечка, фунт нанизанных на мочалку баранок, и, поставя его на стол, вытащила из кармана половинку и, отдавая ее Грачу, сказала:

— Поаккуратней... Сейчас закуска готова будет...

Она опять отошла. Грач оглянулся кругом, посмотрел на нищих, молча сидевших и, как мне думается, с завистью глядевших на нас и на то, что мы делаем, наклонился под стол и вышиб там ладонью по донышку из половинки пробку.

— Знаем, что знаем,— сказал он, проделав это,— не учи ученого... «Поаккуратней»,— а сама диви боится кого!.. Урядник-то запоем задарен, по уши... кому-то надо!.. Выпьем, что ли, пока, до закуски-то?..

Я промолчал, думая о другом.

— Ну, я налью... Сейчас небось закусить принесет.

Он разлил из половинки в чайные стаканы поровну всю водку, сделав таким образом две лошадиных порции, и сказал каким-то особенным голосом:

— Кушай!..

Мы чокнулись и выпили.

— Бараночкой-то вот пока закуси.

Подошла опять Петровна, неся на этот раз сковороду, где шипела поджаренная с яйцами колбаса. Она поставила ее на угол стола и спросила:

— А хлеба-то вам надо?

— Ах, мать, царица питерская! — воскликнул Грач.— И из ума вон!.. Знамо дело, надо... А бумагу-то забыла?..

— Сейчас...

Она отошла и через минуту снова возвратилась с бумагой и хлебом.

— А уж вы никак пошабашили? — улыбнувшись тонкими, бескровными губами, спросила она.

— Готово дело! — сказал Грач и, передав ей пустую половинку, шепотом добавил: — Перемени...

Петровна отошла. Мы стали закусывать и пить чай...

III

Закусив и выпив стакана три необыкновенно крепкого (от соды) чая, я принялся строчить прошение, а Грач, открыв так же, как и давеча, вновь принесенную Петровной вторую половинку, сидел, глядел на мою руку, бегающую по бумаге, и терпеливо, с самым серьезнейшим и значительным видом ждал.

«Ее высокопревосходительству такой-то и такой-то крестьянина такого-то и такого-то, проживающего там-то и там-то, всеподданнейшее прошение», — писал я, а сам с тоской в сердце думал о себе, о своих детях, о том, что вот там где-то, в Петербурге, издаются мои книги, пишут обо мне иногда в газетах, называют «народным писателем», разбирают то, что я написал, критикуют и советуют, как писать, чтобы было «художественнее», а того не знают, что мне... и т. д., и т. д.

Прошение кончено.

— Готово дело,— говорю я Грачу.— Посылай хоть к самому царю.

— Готово? — переспрашивает он.

— Готово.

— А ну-ка, прочитай... как ты там... про кирпич-то не позабыл?..

— Нет.

— Ну... ну... вали, вали... как ты там?..

Я начинаю читать, а он, перегнувшись ко мне через стол, слушает, разиня рот и тяжело дыша прямо мне в лицо.

— Вот, вот,— шепчет он,— это самое... так... ловко... «верно и непорочно служил вашему высокопревосходительству двадцать один год»... так точно... хорошо. Прибавь нащет денег-то пятерку... пометь замест тридцати тридцать пять, ей, чай, все едино... не обедняет... пометь...

Прошение прочитано. Я, набивший руку на этих вещах, хорошо знаю, чем «потрафить» ему, и он доволен.

— Ловко! — восклицает он, потирая руки.— Дальше ехать некуда!.. Башка ты, истинный господь! Вот бы тебе к нам в контору в писаря... Ну, как же мне теперича с ним... по почте послать, а? В Москве она сейчас... Управляющему отдать — не пошлет, разорвет да бросит... Как скажешь?..

— Пошли по почте.

— А дойдет?

— Дойдет... Пошли заказным...

— Это как же?..

— Две марки надо.

— Это все едино — хучь пять... я завтрашний день нарочно малого в город налажу... Наклеит там... отправит... Ты напиши адрес-то...

— Давай конверт.

Он идет к Петровне и приносит конверт. Я складываю прошение, сую его в конверт и под его диктовку пишу адрес.

— Ну, теперича с окончанием дела,— говорит он, пряча письмо куда-то далеко за пазуху,— чикнем, как следовательно. Петровна, на пару слов!..

Подходит Петровна и, опять улыбаясь, любовно глядит на нас. Она сразу видит, что Грач при деньгах, и что мы загуляем, и что от нас ей будет хороший барыш.

— Что прикажете? — спрашивает она.

— Свинина у тебя есть?

— Есть.

— Подогрей фунтика два... не сильно только чтоб очень жирной... с любовинкой выбери кусок... любовинки поболе, а то одно сало-то есть не станешь, с души сорвет.

— Еще что прикажете?..

— Пока ничего, а там видно будет... время терпит... посидим...

— Газетку не угодно ли... «Копейку»?

— Ну ее!.. Нашла чем потчевать!.. На кой она нам?.. Читай сама!..

— Где уж мне читать!.. Досуг ли...

— Петровна, дакась мне! — крикнул один из нищих.— Почитаю на досуге, авось не поумнею ли!..

— Сиди уж!.. Газетчик тоже...

— Жалко?..

— Готовь иди свинину-то,— сказал Грач.— Почем она у тебя?..

— По восьмнадцати продаем...

— Своя?

— Своя... Сметана, а не свинина!.. Старшина все у меня ею закусывает... Хо-о-рошая!

Она уходит. Грач разливает по стаканам водку, и мы опять, как и давеча, чокнувшись, пьем ее.

На сердце у меня скребут кошки, а где-то далеко кто-то, спрятавшийся там, шепчет потихоньку: «Зачем ты это делаешь?.. Не надо это, не делай...» — «А что же мне делать? — спрашиваю я у него.— Что делать? Научи!.. Ты ведь видишь меня... видишь и знаешь, что разрывается мое сердце... что мне хочется плакать... Научи! Помоги!» Голос молчит. Тоска как камень ложится на сердце... Все противно... Хочется схватить себя за голову, рвать волосы, и кричать, и рыдать...

Грач молчит, не зная, о чем говорить. Я тоже молчу и глотаю крепкий, вяжущий язык чай. Нищие в углу чему-то громко смеются... Грач обращается к ним и спрашивает:

— Чего это вы ржете-то?.. Что вам больно весело?

— А тебе какое дело? — отвечает один из них.

— Настреляли, знать, много?.. Обжираете православных... пьянствуете...

— А ты что делаешь? Обедню, что ли, служишь?

— Ну, а ты полегче,— с сердцем говорит Грач.— Знай край, да не падай!.. Привяжи язык-то... я тебе ведь не товарищ!

— А ты что ж, медом, что ли, обмазан?.. Хы! Чем ты лучше меня?

— Сравнил!.. Знамо, лучше!.. Ты кто?..

— Нищий!.. А ты?..

— А я православный хресьянин... я работаю, тружусь...

— Работай!.. Эка нашел чем удивить!.. Хы!.. Работа дураков любит!.. Ты грамотный?..

— А зачем тебе? Ну, грамотный!..

— Книги священного писания читал?..

— Отстань, солдат, мелких нету!

— Ивана Златоустого читал поучения, а? — не унимался нищий.

— Отстань!.. Отвяжись... чего пристал?.. Ну тебя к чертям!

— То-то вот и оно-то!.. Мужик ты серый... больше ничего... Тьма! Слушай, я вот тебе, дураку, серому, наизусь прочту, а ты понимай, коли у тебя здесь вот (он постучал по лбу) есть что-нибудь... Слушай: «Чем ты гордишься? Силою ли?.. Но лев тебя смелее, кабан сильнее. Красотою ли и молодостью?.. Это похвала ворон, ты не красивее павлина; притом тем же хвалятся и женщины позорные и

бесстыдные. Но ты изобилуешь богатством, золотом, серебром, драгоценными камнями?.. Этим хвалятся и разбойники и те, кои копают рудники. Хвалишься ли красивою одеждой? Есть и кони, красиво одетые. У персов же есть верблюды, удивительно убранные, а из людей те, которые на сцене. Не стыдно же тебе хвалиться такими вещами, в коих участие принимают и скоты, и рабы, и разбойники, и рудокопы?..» Понял, серый, а?..

— Вот ты и возьми его за рубль за двадцать! — воскликнул удивленный Грач.— Нищий, золотая рота, а какие от него штуки открываются! Ты откеда? Словно я тебя не видал здесь?

— То-то и оно-то!.. Я проходом здесь... Иду на Новый Иерусалим... летом, может, опять сюда попаду, в ваши места. Вон Петровна меня знает... Васильич тоже знал хорошо... Ты вот заместо ругани-то поднес бы мне стаканчик...

— Ну, это, друг, держи право... много вас!

— Жалко?

— Знамо, жалко. Ты себе настреляешь, купишь, а нам где взять?.. Так я говорю, Павлыч, а? — обращается он ко мне и, видя, что я молчу, добавляет: — Ну что ж, сгадаем еще одну?

IV

Начинает смеркаться... Трактир наполняется новыми посетителями. Мы с Грачом докончили третью половинку и нехотя едим жирную свинину. У меня кружится голова. Я с ужасом сознаю, что мне надо идти домой, но, вспоминая, что там ничего нет, что ждут меня там, как какого-нибудь бога, надеются, я не могу сделать этого.

«Как я пойду? Ну, как, как?..— стучит в голове.— Вот они сейчас небось ждут меня. Дети то и дело выбегают на крыльцо и глядят на дорогу.

— Что, все нет? — спрашивает у них жена.— Не видать?.. Вы глядите хорошенько... Вы слушайте, не кричит ли где, не аукается ли?.. Сейчас должен прийти.

Ждут, надеются.... Самовар уже давно разведен...

— Принесет тятя чаю, баранок... чай будем пить с баранками,— говорит мать.

— А мне бонбочку принесет,— кричит младший карапуз, и я вижу, как блестят его глазенки и как весь он пе-

реполнен надеждой, как весело скачет и напевает: «села баба на баран, поехала по горам... стой, баба, не беги, отдай наши пироги»...

— О, господи, господи, господи!..»

— Сколько же тебе за труды? — спросил Грач, наклоняясь ко мне.— Давай еще одну расшибем, а? Ты домой-то не ходи... запоздаешь... ночуй у меня... ко мне пойдем... захватим с собой... тамотка посидим... наплевать, все одно, чай... Чего тебе дома-то делать?.. Небось как на ножик... Сколько, много ль тебе за работу-то?

— Да ты и так много истратил.

— А уж это дело не твое... угощенье нечего считать... Я знаю, что делаю... видали небось и мы деньги-то... Я человеку рад! Обидно, что вот тебе-то, сволочи, не дали... А надо, а?..

— Не пошел бы... Ничего нет... Как домой идти — не знаю... Голод!..

— О-о-о!.. Неужли взаправду?!.

— Ни муки, ни картошки — ничего!.. Ни сахару, ни чаю,— говорю ему с какой-то отчаянной злостью.— Ничего нет!.. Жена родит не сегодня завтра... Одно остается: корову махнуть, либо по миру идти, либо в петлю!..

Он молчит и смотрит на меня во все глаза...

«Не верит? — думаю я.— Ну, все равно, и не один ведь он не верит, что у меня ничего нет... все почему-то думают, что у меня есть деньги, что я, ничего не делая, получаю помногу их «неизвестно за что» и «неизвестно откеда»...

— Да может ли быть? — говорит он.— А ведь я слыхал от людей, что ты много получаешь... шлют ишь тебе какие-то... Будто тебе ишь самому-то в Москве и жить-то нельзя... Делами ишь ты какими-то занимаешься непутевыми... Пес их знает, болтает народ!.. Врут небось... Бить тебя, я слыхал, собираются,— добавляет он помолчав.

— Би-ить!.. Кто?.. За что?..

— Да ты про трактир пропечатал... про все распорядки и про самого чертушку-то... вот он и взъелся... «Найду, говорит, молодцов, все ребра, говорит, ему переломают... Куплю, говорит, им четвертную, не пожалею... Ну, и будет, говорит, мошенник весь век помнить».

— Да это я не про него.

— Ну, вот еще... толкуй, кто откуль!.. Все пропеча-

тано... Как затылки горчицей мажет, как по этому вот месту вкладывает, как грабит... все так точно!.. Да так и надо... Чего им в зубы-то глядеть, в задние-то копыта кланяться?.. Наплевать!..

Я молчу. Что говорить ему? Возможно, я это знаю, что меня и отколотят «ни за что», и ничего не поделаешь.

Смотрят на меня вообще как-то чудно, подозрительно, с опаской. В моих рассказах ищут прежде всего: «кого это он пропечатал?» И это мое дело, которое я люблю, считают не делом, а пустой забавой, и удивляются и не хотят верить, что мне именно за него присылают иногда деньги. «Какой такой дурак станет ему за это деньги давать?.. За что?.. Дают, да не за это... Не иначе, у него какие-нибудь штуки... Попадет вот за это куда надо... забудет, как буки называются».

— А ты не горюй,— начинает опять Грач, видя, что я молчу и хмурюсь.— Наплевать!.. Собака лает — ветер носит!.. Пойдем ко мне ночевать. Я тебе пуд муки дам да меры две картошки... Завтра поутру Ваньку заставлю кобылу запрячь, свезет тебя... Ладно, что ли, а?..

— Спасибо,— говорю я, чувствуя, как к горлу подступают слезы.— Спасибо, друг!

— Петровна,— кричит он.— На пару слов!..

— Сколько с нас? — спрашивает он, когда она подходит к столу.

— Чай, баранки, колбаса, яйца, свинина, бумага,— считает Петровна,— товару (то есть водки), пачка папирос «Трезвону»... всего...

Она думает минуту и говорит сколько.

Грач отдает деньги и говорит:

— С собой нам дай.

— Сколько?..

— Давай цельную.

— Ладно... идите в лавку... там у меня...

Мы поднимаемся, берем шапки и выходим из трактира. Пройдя темными сенцами, входим вслед за идущей впереди Петровной в лавку.

Здесь она достает из какого-то ларя, стоящего в углу, рядом с мешками муки, бутылку водки и отдает Грачу. Грач прячет ее за пазуху и говорит, обращаясь ко мне:

— Ты, Павлыч, говорил, чаю, сахару надо... Бери, я отдам, что стоит... Сколько тебе чаю-то?.. Четвертку?

Я молчу. Мне совестно, и я рад бы провалиться сквозь землю.

— Давай,— продолжает он совершенно просто, не понимая всей святости и величия своего дела, обращаясь уже к Петровне,— четвертку чаю за сорок да фунта три сахару... баранок фунт еще дай.

— Ребятам снесешь гостинца,— снова обращается он ко мне.

— Еще что?

— Боле ничего. Много ль за все?

Петровна говорит сколько и, завернув покупки в пакет, передает ему. Он передает пакет мне.

— На, получай... Ничего, брат, сочтемся!.. Гора с горой, а мы люди... друг об дружке... Идем теперича ко дворам. Прощай, Петровна!

— Счастливо оставаться!.. Заходите, не забывайте...

— Ваши гости... Идем, Павлыч, а то поздно... ночь...

V

Грач временно проживал в чужой избе, ничего по соседскому делу за это не платя. Избенка была небольшая, низенькая, старая и грязная. Хозяева жили в другой, рядом.

Мы пришли поздно. Нашему приходу, как оказалось, были рады. Высокая, пожилая, но все еще красивая баба, жена Грача, Васена, увидав, что мы «выпивши», улыбнулась и сказала:

— Спрыснули, знать, получку?

— А уж это дело не ваше, сказала мамаша,— ответил, тоже улыбаясь, Грач.— Ты нам вот закусить устрой,— добавил он, вынимая из-за пазухи и ставя на стол водку.— Рыжичков положь, да самовар становьте... чайку попьем грешным делом.

— Там небось пили?..

— Ну что ж? Небось чай пить — не дрова рубить... А что делать-то? Спать, что ли, с этих пор ложиться?.. Очумеешь!..

— Да мне не жалко,— опять добродушно улыбаясь, сказала баба.— Кушайте на доброе на здоровье.

Я смотрел на нее и удивлялся... Удивлялся тому, как она встретила нас. Хорошо зная, как встречают своих вы-

пивших мужей другие бабы, я не ожидал этого. Грач, должно быть, догадался, о чем я думаю, и сказал:

— Что глядишь?.. Баба она у меня ничего... ха-ха-ха! А у тебя как?

— Бить вас некому,— сказала Васена и, достав с полки большую чашку, пошла из избы за рыжиками.

— Садись к столу... залезай! — весело и приветливо сказал Грач, обращаясь ко мне.— Ничего... у меня просто... не сумлевайся... Вишь вот, как живу?.. Камора арестантская, ей-богу!.. А где же ребята? — обратился он к дочери, сидевшей у стола и делавшей восковые цветы.

Девушка подняла голову, покраснела и тихо сказала:

— Михайла на фабрику ушел к жене, а Иван с Петрой ушли куды-то, не сказались... гулять, должно быть...

— Ну, пес с ними... наплевать!.. Становь самовар... Иди, Павлыч, садись к столу... пролезай... Сейчас баба рыжиков принесет... закусим, чайку попьем, поговорим... Ребята, похоже, до утра закатились... шут с ними... слободней без них... народ молодой, погулять охота... Сами молоды были... а, Павлыч, так ведь?.. Да что ты такой невеселый?..

— Так, ничего,— ответил я, залезая за стол в передний угол и почти касаясь головой какого-то угольника-домика, наполненного иконами.

— Да только теперича не такой народ пошел,— продолжал он, выдвигая из стола ящик и доставая оттуда ржавые вилки,— мы такие не были.

— Что ж, теперь хуже, что ли?

— Умнее... образованнее... умнее стали... Мы тумаки были и всего боялись... можно сказать, бабьего подола боялись... не ухлеснул бы, мол, грешным делом... ха-ха-ха! Да что ты, ей-богу, правда! Бывало, идет барин эна где: еще за версту от тебя, а ты уж норовишь либо убежать, либо шапку загодя снимешь, да и стоишь, как истукан, ждешь... А теперича поди-кась!.. Что говорить, разволновался народ... чему-нибудь, а уж быть!.. Так не пройдет.

— Да чему быть-то? — спрашиваю я.— Ничего и не будет... будет все по-старому, и будем, как ты говоришь, бабьего подола бояться.

— Ну, нет... шалишь!.. Погляди-кась ты, что вон на фабрике-то делается!.. Поговори-ка ты с любым... Ждут только время.

— А то что?..

— Сам знаешь! — отвечает он и глядит на меня, прищуря глаз, и смеется.

В это время входит баба и ставит на стол чашку, до краев наполненную сильно пахнущими рыжиками.

— Я вот картошки, не хотите ли, налуплю? — спрашивает она.— С рыжиками-то гоже.

— Давай! — восклицает Грач.— Худое ли дело?.. Лучку покрошь... помасли... уксицу нет ли? Устрой как следовательно, а мы пока что по махонькой чикнем.

— Да уж ты, гляжу я, и то хорошо тамотка начикался... Где бы поберечь деньги, а ты, как купец какой, начнешь пошвыривать, бахвалиться... «Кто-ста я?.. Ванька малый... сапоги с бураками...» Эх ты! Простота-то твоя хуже воровства.

— А ты кислых слов не говори... знаешь, не люблю я этого.

— Да мне что ж?.. Деньги твои... так я сказала, к слову...

— Не они небось нас наживали-то, а мы их... наплевать!..

— Проплюешься такими кусками... всех голодных не прокормишь... всех слез не утрешь... всего не пымаешь, что по реке плывет...

— Верно... рассудила, как размазала... Дура баба, диви я не знаю, что всех не накормишь... знаю я это... Нам всех и не надо... нам одного накормить — и то слава тебе, господи!.. Чем язык-то свой мучить понапрасну — готовь закуску... Выпьешь вот с нами за компанию, поднесу банку... Ты знаешь, кто это со мной пришел-то?..

— Где ж мне всех твоих приятелев знать.

— Дура... а насчет кого намедни говорил, забыла?.. Насчет прошенья-то? — поясняет он.

— О-о-о?! — восклицает баба и с любопытством и удивлением глядит на меня.

— Что глядишь... не веришь?.. Вот оно прошенье-то, готово уж! Завтра, бог даст, отправлю по почте... живо накатал... ба-а-шка! Шарик работает... Дети только вот его задавили,— продолжает он с откровенностью, достойной лучшего дела.— Подавился детьми!.. А то, кабы не они-то, нешто ему так бы жить-то?.. Баба вот у него, сказывал, опять тижолая... ждет с часу на час... в кассыю приходил тоже вот... не дали, отказали... Корову остальную продавать хочет... Дома, сказывает, пылины муки нету,

есть нечего... вот ты тут и поживи!.. А ты толкуешь... Посади-кась тебя на его место, что запоешь?.. Сторублевая голова пропадает за монетку... н-да!.. Оно и всё так... дурак в карете едет — умный пешком идет... Говорят: «от бога...» Ну да, от бога... не верю я... так — да и всё!.. Глупость наша одна нас до сумы доводит... простота, доброта, совесть... Ну, ты скажи мне вот на милость, почему такоича, вот у нашей барыни хоть взять: капиталу — конца-краю нету, земли — почитай половина уезда... лесу одного — боже мой!.. Почему такоича это ей одной?.. Наживала она?.. Работала?.. Да она не знает, на чем зерно растет, на чем свинья хвост носит!.. На кой ей черт земля-то?.. Ей денег не прожить... кидать — не перекидать...

— Ан вот господь-то, батюшка, не по-твоему делает, а по-своему!.. Ишь ты, рассудил!.. Молчи уж, аратыр!.. Распустит язык-то, удержу нету, особливо, как вот этого (она кивнула на бутылку) дерьма-то глотнет. Наживешь ты неприятностев с языком со своим с долгим когда-нибудь... уж это помяни мое слово... Хуже, истинный Христос, бабы...

— А что я?.. Я правду...

— Да кака правда... тоже и она бывает хуже полыни.

— Ну, толкуй, кто откуль, а мы выпьем!

— Пейте!

Она отрезала хлеба, налупила картошки и, поставя все это перед нами, присела на край скамейки и, глядя на меня, спросила:

— Деток-то много ль?..

Я неохотно ответил.

— Трудно нонче с детьми-то... с маленькими плохо, а вырастут — и того еще хуже... А расходу-то на них конца-краю нет... смерть! Ждет небось жена-то, беспокоится: «Где он?» А ты ишь где... водку вот пьешь — и горюшка мало!.. И все-то вы вот так! Только нас, баб, ругаете понапрасну... мы все плохи...

— Молчи уж ты... ему и без тебя тошно! — сказал Грач.— Ну что скулишь, пристала?.. Чем бы человека разговорить, а она свою завела волынку... На вот стакашек, пропусти, авось подобреешь...

— Давай!.. Я не откину... А правду люблю сказать. Я вот и про своих детей скажу, не постесняюсь: мало в них проку.

— А чем нехороши?.. Чего врешь...

— Страху в них нету... Не боятся никого ни на эсталько вот!.. Будь тут хоть сам царь, им все одно... ей-богу!.. Выше себя никого не ставят... В храм господний на аркане не затащишь, а вот небось как гулять на всю ночь, на это взяли. Вот закатились, до утра теперича и не жди... А что делают? В карты на деньги... водка, девки... Чего хорошего!.

— Ну, мало что!.. И все так... не монахи небось... Пущай погуляют пока. Придет время — и рад бы погулять, да шалишь,— нельзя! Так, что ли, Павлыч, а?.. А ты пей, чего голову-то вешаешь?.. Не вешай голову, не печаль гостей! Вижу, что тебе тошно, да ведь ничего не поделаешь, бороду ведь не вырвешь — больно... так-то!.. Пей!

Мне действительно было тошно. Даже выпитая в таком большом количестве «чертова водица», и та подействовала на меня как раз в обратную сторону: не опьянила, а как будто еще больше отрезвила и нагнала на душу тяжелую грусть.

Я пил подносимые мне стаканчики, закусывал рыжиками, слушал разговоры, а мысли мои были другие, далекие, для них чуждые, а для меня мучительно близкие. Мне было так гадко, и тяжело, и обидно, что хотелось встать, плюнуть на все, бросить жену, детей, бросить это мое «писание» и бежать без оглядки куда глаза глядят.

«Так жить, как я теперь живу, нельзя,— думал я, слыша, но мало понимая перекоры хозяев по поводу детей и стройки.— Но что же делать?.. Как быть?.. Ты ведь должен забыть свое *я* и жить для детей... А куда ты их денешь? Какое образование дашь ты им?.. Какое ты имел право дать им жизнь?.. Ну что, ну что можешь ты сделать?! Кто тебе поможет? Кому ты нужен?.. Ты и хочешь быть полезен, ты и хочешь сделать какое-то добро и желаешь этого, но ведь не можешь... так не лучше ли тебе уйти, совсем уйти из жизни, «не отсвечивать», уничтожить себя, убить? Но ты этим сделаешь зло и горе своей семье. А почем знать: может быть, им тогда будет лучше. Может быть, найдутся люди, которые не оставят их?..»

Думая так, я чувствовал, что мне хочется плакать и что думаю я не это, а совсем, совсем другое... то, что я люблю жизнь, солнце, свет, людей, себя и что мне хочется, страстно хочется жить, хочется кричать, как бы ни было тяжело мое положение, что «не хочу я, други, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!..»

VI

Утром я проснулся на печке. Было еще рано. Рядом со мною кто-то лежал и храпел. Я догадался, что это Грач, и, толкнув, разбудил его.

— Кто это? — спросонок и, вероятно, забыв про меня, спросил он.

— Я... мне вставать пора... идти...

Он помолчал, потянулся и, громко зевнув, сказал:

— А, это ты, Павлыч!.. Лежи... небось рано еще... успеешь!

— Какой рано — пора... Вон уже в окнах начинает белеть...

— Куда торопиться-то?.. Подвезут тебя... погоди... поправимся вот, чайку попьем — и со Христом!.. А я вечор, должно, здорово напился, а? Голова как котел, ей-богу... Не помню, как сюда вот на печку попал. Не осталось у нас там водицы-то, не знаешь?

— Не знаю. Навряд!..

— Да где, правда, остаться! Оставим ли?.. Ну, ладно! Наплевать!.. Васен, а, Васен! — крикнул он.

— Ну? — раздалось снизу.

— Много ль время?.. Ты что ж не встаешь до сей поры?.. Вставай!.. Становь самовар, топи печку, закусить чего-нибудь сгадай... А ребята пришли?..

— Пришли.

— Спят?

— Известно! Вон они на полу... Чего тебе-то не спится?.. Поднялся эдакую ранину... молотить, что ли? Лежал бы... Аль опять снова-здорова за вино уцепишься?

— Поправиться, знамо, надо.

— Ну, уж это я так и знала!.. Поэтому-то ты и не дрыхнешь... Горит глотка-то. Вечор денег-то прогулял, сам того не стоишь...

— Ла-а-дно... мое дело. Засвети-кась пока огоньку, а то темно.

— Да рано... чего его зря-то палить?

— У тебя все рано... Небось теперь не Петровки... «Ра-а-но»... вставай!

— О, чтоб тебя разорвало! — послышалось снизу. Немного погодя баба поднялась и, шлепая босыми ногами по полу, пошла к печке, нащупала там в печурке коробочку

со спичками и, чиркнув несколько раз по ней спичкой, засветила, наконец, лампу. В окнах на улицу сразу стало темно, и по потолку закачались и побежали тени от качающейся лампы.

Меня, как только я проснулся, точно кто-то ткнул шилом в сердце и крикнул: «Спишь здесь пьяный и сытый, а дома?!» Тоска сразу сжала сердце, и стало жалко и досадно на то, что опять проснулся, что живешь, что и сегодня снова будет все то же, то же, то же!

На печке было не жарко, а напротив, как будто даже прохладно. Грело только, да и то не сильно, снизу, а сверху, с потолка, который, по всему вероятию, плохо был замазан и засыпан землей, и сбоку несло холодом. В трубе и за стеной слышно было, как шумит ветер и царапает бревна голой веткой какое-то дерево.

— Что,— точно угадав мои мысли, сказал Грач,— небось об своих думаешь? Небось как на ножик туда идти-то, а?.. Ничего, обойдется дело... Не пугай девку родами, она их не боится...— И, помолчав немного, добавил: — Ну что ж, вставать, так вставать!.. Сон пагуба...

— Ступай корму задай скотине,— сказала снизу баба.— Промни бока-то... прогуляйся... обленился...

Грач ничего не сказал и молча слез с печки. Вслед за ним спустился и я.

Лампочка с закоптевшим «пузырем» тускло светила, и то, что она освещала и что увидал я, было мне знакомо до отвращения!.. Грязно, неряшливо, как-то особенно растрепанно-неприятно!.. Знакомая эта мерзость нагоняла на душу безнадежную, как смерть, тоску.

Пахло прелой одеждой, человеческими испарениями, сыростью. На полу на соломе и на каких-то грязных постельниках, подложив под голову что-то свернутое, тоже из одежды, спали так, как пришли, не раздеваясь, сыновья Грача. В углу, около входной двери, на постели лежала, закутавшись с головой полушубком, дочь. Под этой высокой постелью, где образовалось пустое пространство, похожее на какую-то клетку, прыгал привязанный за шею веревкой незамеченный мною вчера теленок, время от времени громко кричавший: «ма-ма! ма-а-ма!» От этого теленка и от мокрой подстилки, загаженной им за ночь, шел сильнейший, острый, щекочущий в носу запах. На столе, как мы вчера надрызгали, так и осталось не прибрано.

Я сел на край скамьи к столу, чувствуя себя, как это и всегда бывает поутру в чужих людях, как-то особенно неловко и стеснительно. Растрепанный Грач, с посоловевшими глазами и осипшим голосом, взял пустую бутылку, посмотрел на свет и сказал:

— Чисто... дальше ехать некуда!.. Васен! — обратился он к жене, ставившей у устья печки самовар.— Не знаешь, бешеная Анютка дома, а?..

— А я почем знаю?.. Что, аль к ней?.. С чего это ты, с какой радости загулял-то?.. Ступай, бесстыдник, скотине-то дай... бессовестный!.. Тятя детям! Ни свет ни заря, не успел глаз продрать, опять за то же... только, знать, об этом и забота?.. Только об этом и думаешь?

— Ты зато за меня думаешь,— с добродушной иронией в голосе сказал Грач и добавил более строго: — Деньги-то где у тебя?.. Дакось сюда... где кошелек-то дела?... Схожу я пока что... слетаю живым манерцем!..

— Да уж ты слетаешь...,— сказала жена, подавая ему кошелек.— Ты слетаешь... на это ты взял... ма-а-стер!.. Кабы ты на дело такой ловкий был, цены бы тебе не было, истинный господь! С руками бы тебя на конной цыганы оторвали!.. На вот!.. Да ты все-то не бери, весь-то кошелек... потеряешь... наделаешь делов!..

— На что мне весь! — сказал Грач, открывая кошелек и роясь в нем,— мне сколько надо возьму, а то зачем мне? На вот назад... Получай, казначей!..

— Много ль взял-то?.. Неужели опять на бутылку?.. Да ты, никак, с ума сошел!

Грач ничего не ответил. Оделся, сунул в карман пустую бутылку и ушел.

— А скотине-то?! — крикнула ему вслед баба.

— Успеет твоя скотина! — донеслось с той стороны двери.— Небось не издохнет!

VII

— Ну, теперича пойдет рвать на цельную на неделю, а то и прибавишь,— сказала баба,— пока не заболеет... попала вожжа... А ты, родной,— обратилась она ко мне,— уходил бы поскорей от греха... Выпил вечор, ночевал, и ступай с богом... дожидаться тебе нечего... хорошего не жди...

«А мука-то, а картошка-то,— мелькнуло у меня в голове.— Ведь есть нечего завтра же будет, если я не принесу».

— Сейчас уйду! — сказал я.

— Да я не гоню... зачем сейчас?.. Попьешь вот чайку, поешь... Мне нешто жалко?.. По мне, оставайся, пьянствуй с ним... он рад... А у тебя, говоришь, жена больная, дети... дожидаются, небось... глаза проглядели... Нет, уж ты, родной, воздержись как-нибудь... нехорошо, ей-богу!

Я молчал, слушал ее и видел и понимал, что она, эта баба Васена, полоскавшая мочалкой какой-то горшок, смотрит на меня как на прохвоста, пьяницу и ждет не дождется, «когда его черт унесет отседа».

По тону, каким она со мной говорила, я видел, что она считает меня не за настоящего человека, а просто за какого-то вроде как холуя, который путем, окромя водки, ничего не смыслит. Я видел это, и мне было досадно, и больно, и обидно.

— У нас,— продолжала она,— у самих дети. Того надо, другого надо... все с купли... А где тоже взять-то? Муки-то вон смололи надысь три мешка, а она уж вон почитай что вся... Не успеваешь повертываться... народ все большой... только давай... едят-то как, инда за скулами пищит... Картошки вон нарыли, и много, да боле половины спарили в подвале... Со стройкой-то с этой недоглядели.

«Уж он ей, должно быть, сообщил насчет и муки и картошки?» — думал я свое.

— А ты покупаешь муку-то? — спросила она, как будто не зная этого.— Своей-то, знать, нету?.. Дорога она... не укупишь... Много ль за мешок-то платишь, а?.. Аль пудом берешь?

И, не дожидаясь моего ответа, опять начала ковырять и резать мое сердце:

— Как ты живешь-то... чем? Неужли вот только этим, что напишешь кому прошенье?.. Чу-у-дно! А тоже дети ишь у тебя?.. Баба-то, чай, у тебя вот мученица-то!.. В обеи, чай, пригоршни слезы-то льет! Да вам, кобелям, все едино. Вам нешто жалко?.. Устроил свое дело, получил, что надо, и ладно!.. Все вы на одну колодку... Ты вот здеся сыт, пьян, а она тамотка жди с детьми-то, рвись ее сердце! Тебе ишь вон и в кассые не дали... А почему

такое? Всем дают, а тебе нету. Стало быть, за тобой что-нибудь да есть... замечание какое, а?..

Я молчал, скрепя сердце, чувствуя, как к горлу подступают слезы, и с горечью, бессмысленно, глупо шептал про себя:

— Слушай, «народный писатель», слушай, слушай, слушай!..

Пришел, наконец, Грач и принес с собой полторы бутылки водки. Увидя это, баба всплеснула руками и завопила:

— Да ты никак, дьявол, с ума сошел?! Да что у тебя, Христос воскресе пришел, что ли?.. Илья пророк?.. Бессовестный! Обрадовался... получил... вали, значит! Небось занимал-то на дело?.. Не дам больше! Убей — не дам! Проси — не дам! Издохну — не дам!

— Молчи, дура баба!.. Небось нас ишь сколько!.. Павлыч, поправимся, а?.. Ха-ха-ха!.. Чисто девки стряпали!.. Отрежь нам ветчинки! — обратился он к жене.

— Ты и так почитай всего поросенка один съел... весь на тебя пошел... Чего там осталось-то?.. Хвост один!..

— Ну, не твое дело... ты делай, что велят! Не люблю, когда много разговариваешь!

— Мне надо идти,— сказал я,— пора.

— Ну, пора!.. Успеешь... не торопись... не на свадьбу... не опоздаешь!..

— Да чего ты его держишь-то? — вступилась баба.— Человеку, может, нужно! Жена больная, дети, а ты пристал без короткого...

— Подождут! Не уйдут небось... Надоели, чай, неплошь тебя, до смерти. Сказал отправлю — и кончено! Закусим вот, поправимся, как надо быть, запрягу мерина — и со Христом! Муки дам, как обещался... Картошки... Что тебе, сам-дели, издыхать теперича голодной смертью, что ли?..

— Муки-то у нас одна капля... у самих мало!

— Хватит! А мало — на мельницу съездить недолго... А ему где взять?.. Приди вот к такой, как ты, не дашь ведь... и есть, да скажешь нету... Сытый по голодному не разумеет... А как самим придется из такой же чаши пить, тогда как, а?

— Придется либо нет, а всех нищих не накормишь...

— Дура, дьявол!.. «Нищих»!.. Нешто он нищий?.. Задаром, что ли, даю?.. Чего ты, трепалка, понимаешь-то?..

Может, его прошенье подействует на барыню!.. Может, получу через него! Должен я это понимать, а, как по-твоему?

— Дожидайся... получишь... получил один такой! Много вас найдется с прошеньями-то... только давай! Чай, она тоже не дура... Всем давать — никакого капиталу не хватит...

— Дура ты... боле никаких! На кой ей капитал-то?.. Одна... в землю с собой не потащит...

— На помин души оставит... по обителям раздаст... мало ли?.. Нас с тобой не спросит, куды...

— А ну тебя к шуту! Давай ветчины-то скорей... А ребята чего не встают? Какого они дьявола до сея поры тянутся?.. Эй вы, лодыри! — закричал он и начал толкать спавших на полу парней ногой.— Вставайте! На работе, что ли, были?.. Намаялись!.. Эй, Ванька!.. Петька!.. Вставайте, мошенники!.. Продирайте глаза-то, а то палкой!..

Парни вскочили и, не понимая спросонок, в чем дело, глядели на него какими-то чудными, точно у пьяных, глазами.

— Что, не узнали, что ли?.. Ишь спать здоровы! Где всея ночь шатались?.. Вот я вам задам клочку — будете время знать.

Парни, оба сильные, рослые, красивые, ничего не ответили. Молча и быстро свернув свои постельники, на которых спали, вынесли их за дверь в сени и, возвратившись, стали умываться над лоханкой около печки. Баба привернула в лампе огонь.

Тусклый свет осеннего утра проник в избу, и все в ней стало еще хуже, грязнее и теснее. Мы сели за стол. Баба принесла кусок свиного соленого сала и поставила на стол вскипевший самовар.

Грач вышиб из бутылки ладонью пробку и, взяв небольшой стаканчик, по его выражению «аршин», поднес мне, сыновьям, жене и после всех выпил сам.

— Закусывай, Павлыч!.. Ешь досыта... заправляйся... не робей... на бабу не гляди... все мое!.. Я хозяин! Ванятка! — обратился он к младшему сыну,— поди дай мерину овса... засыпь малым делом... пущай пожует... ужо запряжешь, свезешь вот его домой... Знаешь?..

— Найдем,— тряхнув волосами, весело сказал парень,— доставим!

— А ты,— обратился Грач к только что вставшей до-

чери,— набери, слазай в подвал, две меры картошки, а то уж, правда, набери три... цельный мешок и будет, а то вроде как ни то ни се... Поровней, смотри, набирай... мелочи не клади... мелочь у нас на семена изойдет. Ну, а муки я сам в амбар схожу насыплю, сколько мне надо. Управимся, тогда и поедешь. Я рад, истинный господь, рад, что ты у меня! Сколько время не видались!.. Уважил ты меня! Может, прошенье-то пойдет в ход, а?

— Не знаю,— сказал я,— может быть...

— Как тоже ей взглянется, барыне-то? Она тоже, дьявол, капризна бывает. Ну, да авось за старую-то службу попомнит... А хорошо бы, ей-богу, вот уж я тебя тогда угостил бы!.. Эх, моли бога, по-нашему бы вышло... будешь доволен!... А ты пей, поправляйся! Чего ты все голову-то вешаешь?.. Ты гляди на меня: я никогда не робею... мне все ладно... все так точно... и не так, так так... В одной шкуре весь век не проживешь... Мало, что мы хотим, ан по-нашему-то не выходит! Держись за землю... все, друг, перемелется — мука будет... Пей, не робей!..

— Слушай ты его,— сказала баба,— он утешит... Он тебе наговорит — на воз не покладешь! Ведь он какой у нас: скажем, загорись вот изба, он смеяться будет... ей-богу...

— А то как же?! — воскликнул Грач.— Знамо, буду!.. Неужли ж, по-вашему, как что не так, сейчас скулить... Я так не люблю... духом не падаю... врешь, меня не обманешь!.. Ноне мне нехорошо, завтра будет хорошо!.. Колесо-то, оно так и идет... так-то вот!.. Люди пущай, как хотят, а мы, Павлыч, давакась вот чикнем!

Я отказался и стал торопить его с лошадью. Он было начал приставать, прося посидеть и опять выпить, но я окончательно сказал, что не могу и уйду пешком сейчас же, если он не даст лошадь.

Баба тоже приняла мою сторону; он, наконец, согласился и велел сыну запрягать.

— Ну, ты там как хошь, хоть ялова телись, а на прощанье выпить надо,— пристал он снова ко мне.— И лучше ты не обижай меня...

В избе стало совсем светло, и время было, повидимому, немалое. Надо было торопиться, а сердце между тем мучительно замирало и делалось поистине страшно при мысли о том, что ждет меня в семье хотя бы через неделю.

Наконец, все было готово. Лошадь запряжена, картошка набрана... оставалась одна только мука.

Сильно выпивший Грач отправился за ней куда-то сам и скоро возвратился, неся за плечами мешок, в котором, как я сразу увидал, был не пуд, а гораздо больше. Это же заметила и баба.

— Да нешто тут пуд? — сказала она.— Где ты вешал-то?.. На чем?

— На чем! — передразнил ее Грач.— Сказал бы я тебе на чем, да стыдно... Дура необузданная... ляпа!.. Накась, Ванька, тащи, клади в дровни... Мешок-то ужо, мотри, пустой не забудь... назад привези... нам мешки нужны... Картошку тащи... Накрой ее чем-нибудь потеплее... не зазноби... Пакет-то с гостинцами ребятам пуще всего не забудь. Поезжай теперича с богом!

— Ну, Павлыч,— продолжал он, улыбаясь, стоя передо мной,— спасибо тебе, друг... бо-о-о-льшое спасибо! Коли выгорит наше дело, приеду за тобой, вот как угощу — дальше ехать некуда!..

— Не мне спасибо, а тебе,— сказал я, сдерживая слезы.— Прощай!

— Бог с тобой.. прощай! — Он обнял меня и стал целовать по-мужицки, в губы.— Дай тебе, господи, всего хорошего!.. Жалею я тебя... человек ты с совестью... Кланяйся там жене своей... Коли что, приходи, выручу... Скуке не предавайся... не робей... Трогай, Ванька!.. Погоняй!..

Мы тронулись. Небольшой, вороненький, налитой меринок бойко побежал, покидывая, точно играя, из-под копыт комками снега к нам в дровни. А Грач стоял на крылечке и кричал вдогонку:

— Скуке не предавайся... гляди на меня... не робей!.. По-о-махивай, Ванька!.. Погоняй!..

1914

Карьера Захара Федорыча Дрыкалина

I

Хозяин чайной Захар Федорыч Дрыкалин, лесной приказчик Фонька Дрозд и я, «Пописухин», как меня зовут в деревне, сидели в садочке под яблонькой, в холодке, и пили чай с только что вырезанным душистым и теплым медом.

Дородная работница Афросинья, босая, с трясущимися и выпирающими наружу из-под кофточки грудями, прислуживала нам, а хозяин, Захар Федорыч, человек немного с глупинкой, то и дело покрикивал на нее:

— Ну, ты, ко-о-рова, двигайся поживей! Что это ты по рублю ступень ступаешь?

— А что ж мне — разорваться теперича? На пружинах я, что ли, заведенная тебе — вертеться-то? — отвечала на это Афросинья.— Успеешь... Не велик господин-то...

— Ну, ну, не распространяйся!.. Ишь, расперло всю... заплыла салом!.. Подставь под тебя лоханку — полна жиру накаплет...

— Мотри, еще чего не накаплет ли?.. Куском корит... Кусок-то твой поперек глотки встал... Кому прорву-то бережешь?

— Не-е распространяйся!..

— А ну тебя к шуту!..

Жарко. Над яблонями гудят пчелы, летают бабочки... Под кустами смородины и крыжовника стрекочут кузнечики. На мед лезут мухи... Высоко над садом, в лазури безоблачного неба, кричит ястреб... Где-то на деревне кто-то отбивает косу, и звуки от ударов молотка по бабке,

торопливые и частые, точно догоняющие друг друга, слышны далеко в тихом, знойном, дремлющем воздухе.

— Благодать!..— говорит Захар Федорыч, поглаживая обеими руками живот, перевешивающийся через пояс, точно у беременной бабы.— Установилась погодка!

— А вот на войне, Захар Федорыч, теперича, я думаю, простите, жарко?.. А?..— пощипывая бороденку и щуря жульничьи глаза, говорит Фонька Дрозд.

— Кому жарко, а кому нет.

— Гм... н-да! Действительно, кому как. А как вы, Захар Федорыч, думаете... ваше, простите, мнение: выиграем мы кампанию или нет?..

— А я почем знаю?.. Я не главнокомандующий. Ведомости небось читаешь... самому видно... А то вон у писателя спроси,— говорит Захар Федорыч, с ехидством усмехаясь в мою сторону.— Ему виднее... Народ передовой... хы!.. «Мы-ста, я-ста!..» До чего и не надо — у них дело... к каждой бочке гвоздь... то, се... пято, десято: «Народ... просвещение... школы, тиатры, каниматографы, живые картины, капирация, ривалюция, союзы, кредиты...» Тьфу ты, задушили словами, окаянная сила, а сути дела, сути не видят...

Вот—продолжал он, слизнув с рукава янтарную каплю меда,— супротив меня выстроили лавку потребительскую... в газете про торжество открытия пропечатано... Ты, что ли, писал, а? — обратился он ко мне.— Аль агрономишка Гвоздев?.. Обрадовались! Хы!.. И на капирацию вашу наплевать и на газету наипаче... Поп тоже... слово говорил... Лицо духовное, а туда же... «Кулаков, гыт, уничтожим...» Это тоись, понимай, нас, самолучших людей... Хы, нас не уничтожишь... Скорей, смотри, я бы тебя не уничтожил вместе с попадьей-то твоей... Нет, брат, у меня корень глыбже твоего пущен... Видали мы медали и кресты на́шивали... Я этого долгогривого, да агрономишку, да и тебя, писаку, купить и продать могу!.. Пишут, пишут, а сами все без порток ходют... Эх, вы!.. У меня, по крайности, капитал... сумел нажить... А вы куды годны, а? Трубы вами затыкать...

Он замолчал и поправил выползший из-за пояса живот.

— Да про вас, Захар Федорыч, простите, что ж остается говорить,— вступился Фонька,— вы у нас — один!..

— То-то «один». Болтать легко, а поди-ка сам наживи! Ума и не хватит... Ты думаешь, как я наживал-то? Само, думаешь, в рот лезло?.. Нет, друг, уметь надо... Я как начинал? Я снизу начинал... с навозу... а вот царь-то небесный внял... увидал меня и отметил... Н-да!..

— Не всякому, Захар Федорыч, простите, дается... другой и рад бы, да нельзя... А у вас талант.

— Талант... то-то вот талант... Ум нужен, сноровка нужна... опять смирение, покорность, трепет... Начало премудрости — страх! Я через что в люди вышел... знаешь?.. А?..

— Простите, нет, не знаю.

— Через вон кого я в гору полез,— сказал Захар Федорыч и указал пальцем на растянувшуюся под кустом собачонку.— Пути господни неисповедимы... Через псов мне господь счастье послал... псы мне, можно сказать, карьеру сделали...

— Тоись как это, Захар Федорыч,— ухмыльнулся Фонька,— простите... Неужто через псов? Невозможно это понять...

— То-то вот, что вы не можете понять... Умны очень... Господь царь, всея твари создатель, направил на путь... Указал: «Гряди, Захарине!» — я и пошел, как по лестнице... Афросинья! — закричал он свирепо.— Где ты там?.. Оглохла?.. Ко-о-рова...

— Ну, что тебе? — раздвинув сучья яблони, спросила работница.

— Приготовь, дура, закусить... подогрей фунтика два колбаски... яичками залей... десяточек пусти... хлебца там... тарелки, ножи, вилки... Поскорее!..

Работница, ворча что-то себе под нос, уходит, а Захар Федорыч, лукаво прищурив левый глаз, говорит:

— А что, ребятишки, не выпьем ли по махонькой, а?

Мы с Фонькой вопросительно глядим на него: выпить теперь, в пору «отрезвления», хитро.

— Что глядите? — улыбается Захар Федорыч.— У кого нет, а у нас есть... вот тебе и капирация и санизация... Напиши вот об этом, Пописухин, кареспанденцию в «Русское слово»... Мол, Захар Федоров Дрыкалин пьет... а где берет? Хы-хы-хы-хы!.. Никому не известно... Заплотют тебе за это — на штаны, глядишь, и хватит...

— Где же это вы, Захар Федорыч, простите за не-

скромный вопрос, раздобылись?..— с загоревшимися глазами спрашивает Фонька.

— А уж это дело не ваше, сказала мамаша: про то знаю я да папаша... Фершал знакомый снабжает товаром,— пояснил Захар Федорыч самодовольно, обращаясь ко мне,— у него аптека на руках... Докториха по вторникам в город ездит. Ну, он, не будь глуп, сейчас и того-с... в шкап. Отольет порцию — и ему тоже, да и мне тоже...

— Спирт? — спрашивает Фонька.

— Девяносто два градуса! — с нескрываемой гордостью говорит Захар Федорыч.— Из половинки рассыроплю бутылку, а то и меньше... Ма-а-лина! Я вот вам по баночке перед закуской поднесу... дам попробовать... Сполосну душу...

— Одеколон теперича стал входить в моду,— говорит Фонька.— «Союзный» — так называется... Спирт один голый, ей-богу... Я, простите, пил. Глаза на лоб лезут, истинный господь... На фабрике у нас тоже, простите, жрут. Но только не тот, а какой ни попало... Запах от него, и на зрение действует — слепнут... А в цене! Полтора рубля флакончик... а есть и дороже... Две аптеки открылись в короткое время... не успевают доставлять, ей-богу... Что значит, простите, привычка-то!..

— Нешто наш народ отучишь... наш народ впился спокон веку... и опять от скуки: девать себя некуда...

— Вот театры-то и хороши для этого случая,— говорю я.

Захар Федорыч молчит. Театры он не одобряет, называя это баловством и «барской забавой». Он признает только церковь, да и то, если поп строгий и гоняет как следует народ...

— Ну, вы посидите пока одни, а я схожу,— говорит он,— принесу... Только смотрите, ребятки, ни-ни... молчок!..

Он уходит, Фонька берет из моего папиросника папироску и, закурив, говорит:

— Псы, гыт, мне карьеру сделали... Оно и видно! Да и сам пес... Веришь богу, Семен Палыч, рощей я у него заведую, угольница у нас, рубка дров... Наказанье с ним... Ирод, удавиться рад за грош!.. Как дело к расчету — трясусь весь, ей-богу! Норовит все скидку... а меня за это намедни, простите, чуть не убили... Вот бы про него пустили в газете. Ирод!.. От него и сыновья-то разбежа-

лись... а жену, царство небесное, Мавру Кузьминишну, поедом съел. Изжевал всю заживо, так и скончалась, не доживя веку. Теперича вот живет с работницей... Денег у него, простите, до черта, а жадность непомерная... И для кого копит? Абсурд, ей-богу! Простите, но я таких людей не понимаю... Протащили бы вы его в газете... Я вам факты про него могу рассказать поразительные. Вам, простите, хлеб-с. А! Черт его несет! — перебил он свою речь, увидя идущего к нам с бутылкой в руке с терраски Захара Федорыча.— Ну, в другой раз,— шепотком добавил он, и на лице его появилась заискивающая улыбка...

II

— Эвона, кружилушка-то не тужилушка! — подходя к столу и улыбаясь, сказал Захар Федорыч.— Дорого она теперича стоит... Эй ты, корова, давай закуску-то... Качайся там!

— Сичас!.. Сичас подаю! — донесся голос работницы.

Захар Федорыч сел и, довольный, с какой-то особенной, значительной важностью начал пальцами правой руки расчесывать направо и налево свои бакенбарды. Они у него были, как у Франца-Иосифа австрийского или у наших крепостных холуев... Мужики так и звали его холуем. «Пойдем, робят, к холую чай пить...» «Ты куда?» — «К холую, в лавку...» Захар Федорыч знал это, но нисколько не обижался; с какой-то особенной, действительно холуйской, гордостью он считал себя несравненно выше, умнее и, главное, «благороднее» мужичья. Надо было слышать, каким тоном глубочайшего презрения и ненависти он произносил сквозь зубы: «мужлан», «серые черти», «деревня необузданная»...

Работница принесла сковородку, на которой шипела поджаренная с яйцами колбаса.

— Рюмки давай... Че-е-ерт не нашего царя! Что тебя все рылом-то тыкать надо во всякий след... Деревня необузданная!

— Только и знает, лается, благо на смиренную напал... Да что я тебе, каторжная, что ли, досталась,— помыкать-то мной?.. Плюну вот, да и уйду!.. Давай расчет!..

Сфабрикованную Захаром Федорычем водку приходилось глотать сразу, кидком, она жгла во рту, точно огнем.

Эта «огненная вода» развязала Захару Федорычу язык и привела его в какое-то особенное настроение. Весь он сделался масленый, точно покрытый лаком, мягкий и откровенный. Совсем иначе подействовало на Фоньку. Он стал похож на фыркающего ежа. Говорить он начал отрывисто и с ехидством, смотрел свирепо, хмуря брови, то и дело курил и плевался, стараясь попадать плевками на лежащую под кустом собаку.

— Что ты ее заплевал совсем? — заметил, наконец, Захар Федорыч.— Другого места, что ли, не найдешь харкать-то?.. Необтесанный, брат, ты человек, гляжу я на тебя, ей-ей!..

— Где уж нам до вас,— ехидно сказал Фонька.— Вы вон сказывали давеча, что через псов карьеру сделали... хы-хы-хы! Простите, любопытно послушать, как это так?.. Оч-чень это, простите, занимательно!

— А ты не болтай ногами-то. Будь, коли не дурак, умен... Любопытно тебе? Так вот и послушай... Теперича вон у меня все есть: и деньги, и дом, лавка, чайная... Староста я церковный. Земский начальник руку подает... Его сиятельство, старый граф, без слез меня слушать не могут. Медаль имею, значок русского союза...[1] Н-да... Можно сказать, господь меня из ямы из помойной взял и превознес.

В голосе Захара Федорыча послышалось умиление.

— Я ведь эва каким,— он показал на пол-аршина от земли,— в Москву был родителем-пьяницей, царство ему небесное, не тем будь помянут, отправлен... в коробочники отдали, на Зацепу, к немцу Фишеру, Карлу Богданычу. Навидался горев... Немец пожилой уж был, в годах, а жена у него, Амалия Петровна, молодая, с помощником пристава и связалась. Меня, бывало, немец караулить заставлял, выслеживать, куда она пойдет. Не угляжу — бьет... Пять лет я эту муку терпел. При отходе выговорено мне было сапоги сшить новые, гамбургские, и тройку. Отец из деревни за мной приехал. Выпимши... сели за стол обедать... Отец вытащил из кармана половинку, налил в кружку, цопнул — и с катушек долой; озорной был выпивши, пристал к немцу, сцепились за столом. Отец щами его облил... что было-то! Страсть! Выгнал нас немец с па-

---

[1] Союз русского народа — черносотенный, погромный союз царского времени.

пашей вон... Поехали мы в деревню... А время после Петрова было, к Казанской,— самый покос... Приезжаем: дома есть нечего, одни голые стены, мать больная, сестра-вековушка — зверь-зверем... Как тут быть? Поутру встали, поднялись, где еще до свету... отец и говорит: «Собирайся, косить пойдем», а я и косы-то сроду в руках не держал... Тяпаю, а толку нету... сшибаю макушки. Отец ругается... А тут, на грех, не доглядел я, махнул со всего размаху, да за пенушек-то и задел... коса моя, понимаешь, в самой пятке — раз! Готова... пересадил пополам... Схватил отец, царство ему небесное, косье, да и давай им меня охаживать вдоль спины... «Коса,— кричит на всю округу... по заре-то где слышно...— восемь гривен дадена, а я за нее трех рублей не взял бы... Где у тебя глаза-то были, чего глядел?» Отвалтузил он меня как нельзя лучше... Подошло время завтракать... Что есть? Хлеб один, да и тот не укусить... Ну, думаю себе, попал! Ежели так, думаю, жить, крестьянствовать все время, ну его к шуту и крестьянство-то! Подохнешь, не доживя веку...

— Не по скусу, простите, показалось? — щуря глаза, с ехидством перебил Фонька.

— Да уж, брат, верно, что не по скусу. Все лето я промаялся... осенью уже, после Покрова, вырвался с острова с Сахалина... Дал мне отец пачпорт — ушел я в Москву. Пошел опять к немцу... «Так и так, возьмите». Не берет. «Делов, говорит, у меня нету, закрывать хочу мастерскую». Дал мне все-таки рекомендацию, письмо. Пошел я с ним по адресу... в Столешников переулок. Взяли меня: жалованья пять рублей, харчи, два раза чай, в субботу пятачок на баню... Ладно, думаю себе, и то слава богу. Стал жить. А в те поры не так, как теперь было... Хозяин на работу будил до свету, часов с пяти, а ложились в одиннадцать. Строгий был, боишься, бывало, пикнуть, взгляду боишься... Три без мала года я здесь живанул... и застрять бы мне здесь, кабы господь про меня не вспомнил.

Он помолчал, перевел дух, поправил съезжавший живот и опять начал:

— Жил я скромно. Ни в карты, ни водку, ни по девочкам, ни-ни! Нит-нюдь! Одно любил: одеться прилично. Завел себе пару, щиблеты, часишки, сорочку крахмальную, галстук... все как надо. Пойду, бывало, в воскресенье в храм господний — картинка, ей-ей! Собой я в те поры недурен был: румяный, полненький, только ростом

маленько не вышел, а то прямо скажу: не хуже людей... Усишки росли, то, се... одним словом, молодой человек хучь куды. Отлично... очень хорошо-с. Оперился, малым делом, оброс... И вот однажды, в праздник, как сейчас помню, в Спас Преображенья, поутру, получаю записку. Хи, что такое, думаю, от кого? Подал мне ее дворник в конверте. Разорвал я, прочел... Гляжу: штучка занятная... Хи-хи-хи! Чувствительная штучка!..

Он с выражением лукавства посмотрел на меня и Фоньку, торопливо обеими руками поправил живот и спросил:

— От кого, отгадайте?.. Не отгадать нипочем! От особы от одной, женского полу — изъяснение в любви. «Вы, говорит, молодой человек, своим видом, фигурой, также лицом зажгли пламя желаний в теле женщины до такой, можно сказать, страсти, что она готова наложить на себя руки, если не дадите с своей стороны сочувственного ответа». Вот она, штука-то... вникайте в суть!.. Как создатель вел меня предначертанным путем... Мне, конечно, лестно,— стой, дескать, погоди, и мы тоже, значит, не постным маслом мазаны!.. Адрес приложен в записке и место обозначено, где свидание. «Расходы, говорит, и угощение пойдет на наш счет»... Ладно... Вечером顺 срядился, умылся, причесался, надушился — не подходи! Сердце так и прыгает.

Волнуясь от приятных воспоминаний, он опять торопливо поправил живот и продолжал:

— Ладно. Пошел вечерком по адресу... Трактир Колгушкина, дворянская зала, взойдешь — первый стол налево, у окна, около машины. Взошел в залу, гляжу: тут сидит... клюнуло, значит... хы-хы-хы!..

Фонька тоже засмеялся и потом сказал:

— Позавидуешь, ей-богу-с... Ну-с, простите, а потом какая же конференция пошла промеж вас?.. Любопытно...

— Потом, брат, пошло все, как по воде на лодке... Женщины они, царство небесное, оказались пожилые, годков эдак сорока пяти с гаком, из себя полные, лицо крупное, груди, как арбузы, ей-богу. Профессия их оказалась — кухарочная... Хозяйка ихняя — генеральша, одинокая, старая, богатая. Прислуги только и есть, что лакей-старик, да кухарка, да псы еще... Любительница генеральша была, помешалась на собачках... Бывало, пьет и ест с одной тарелки с ними... Все это, познакомившись,

кухарка мне рассказала... Закусили мы тут с ней, винца велела подать хорошего... Деньгами так и сорит...

Я хотя, почитай, вовсе не пил тогда, ну, а по ее настойчивой мольбе выпил как следует... Зашумело у меня в голове, мысли пошли наполеоновские... «Не зевай, думаю, Захария, господь это тебя направляет на дело... Не зарой талант в землю, как раб лукавый...» Ладно, выпили мы, закусили как следует, поехали на извозчике в Сандуновские бани...

— Кончили, значит, конференцию? — хихикнул Фонька.— Заключили мирный союз в Гааге?

— А ты слушай, не перебивай, не скаль зубы-то... Я тебе не сказку рассказываю, а серьезное дело, нравоучительное. Ежели ты с головой, молодой, можно сказать, человек, то можешь получить пользу... Тут зубы скалить нечего...

— Да я, Захар Федорыч, простите, понимаю! Любопытно слышать продолжение... Так знакомство и пошло?..

— А то как же?.. Дурак я, что ли? Господь мне в руки клад дает, а я рыло стану воротить,— нет, не таковский. Да и она вцепилась в меня, не оторвать... Пошла у меня линия, потекло мне и пареным и вяленым... Ходить стал — куды твой барин. Пил, ел, что хотел... Сами посудите: все у ней на руках. Барыня ни во что не мешается, у барыни только псы на уме. Истинно помешалась на собачках. Катаюсь, как сыр в масле! Пью, ем... Котлеты там, курятина... Ну, это все дело малое... В деньгах тоже отказу не было. Захочу новую пару купить, сапоги там, пальтецо — извольте! Начал я из нее сок тянуть... Подрубил, значит, березку — и потекло... Место это, где жил, бросил. Она меня к себе переманила на кухню, в кухольные мужики... Барыне там сказала слово, отрекомендовала меня — и готово дело... Попал, как мышь в крупу, пустил корень... Дело повел с оглядкой, вникать стал, приглядываться — и постиг: господь открыл мне зрение, и понял я, что хоша через кухарку мне и можно жить, но сила не в ней: суть-то вся во псах, через них, умеючи, можно в люди выйти. Но, видя это, я и стал мину закладывать под самое под генеральшу: псы-то, видите ли, мне поручены были. Понимаете?..

Он лукаво подмигнул нам, немного помолчал, обтер широким рукавом рубашки запотевшее лицо и продолжал весело:

— Значит — наблюдать, беречь, чистить за ними, купать, кормить, чесать... И все заметно, у генеральши на глазах... Ну, я и начал усердствовать: кружусь перед ней, как бес аль волчок... угождаю всеми способами... шесть штук собак-то: две суки да четыре кобелька, хожу я за ними, как за маленькими ребятами: «Миленькие, хорошенькие са-а-бачки, са-а-ба-чо-ночки. Покушать хотите, испить, жарко вам, миленькие, душно?..» На руки возьму, тюлюлюкаюсь, пестую, как дитю. В рыло, в морду, вот как перед истинным говорю, целовал!.. Легко мне это было, думаете? Зато и достиг: заметила меня сама... Лакея этого, своего крепостного бывшего, Калистратом звать, разлюбила вовсе, только и званья ему: «дурак». Пла-ачет, бывало, старик, ей-богу!.. Меня возненавидел... «Прохвост, говорит, ты, жулик». Ну, я его скоро совсем отшил... Господь мне помог... Нашему брату, мужику, с ними, со сволочами, с господишками да с ихней челядью, надо тонко дело вести... камушек за пазухой постоянно держи... Мне барин что хошь говори, хошь лисой прикидывайся: «мужичок», «как живете», «трудно вам», то, се,— нет, брат, не пообедаешь! Не товарищ ты мне. Мое дело — где можно облапошить тебя, обобрать, потому деньги у тебя шалые. Кормим-то мы тебя, а не ты нас. Свое у тебя взять, каким ни есть манером, не грех... Так-то!.. Да и сами-то хороши! Калистрат этот верный ей холоп был, из крепостных еще... А она, в благодарность, на старости прогнала его хуже собаки... В имение отослала, вроде как в ссылку... И дело-то пустое: выскочил как-то раз кобелек любимый генеральшин из ее спальни... вместе они все семеро спали, шесть штук псов, да она с ними... на одной кровати, бо-оль-шенная кровать, ста-а-ринная, под красное дерево, пятерых мужиков уложишь... На ней и спали... А этого вот кобелька, про которого говорить стану, Бобиком его звали, в морду его лизала, на грудь к себе под одеяло клала, умора, ей-богу. Ну, вот, говорю, раз поутру этот самый Бобик-то ушел из спальни,— дверь-то, знать, незаперта была в залу, а здесь в эти часы холуй этот, Калистрат, пыль, что ли, сметал, только возьми он, да замахнись на него, да метелкой-то легонько его и ударь... А я в это время в буфете был... А он, заметь, анафема проклят, избалован был: как завизжит вдруг на весь дом да прямо к ее превосходительству в спальню, воет, подлая животная. Истинный господь, чисто вот его режут... Раз-

будил генеральшу... «Что такое? Что такое?.. Ах, ах... кто обидел моего Бобика?» В слезы ударилась, а сама, как ведьма, страшная... Я из буфета прибег, пымал Бобика этого на руки, качаю его, баюкаю, в морду целую, ахаю... а Калистрат, гляжу, обомлел весь... стал, как береста, хлопает губами: па, па, па! Сказать слова не может. Ну, тут я пымал момент... Думаю: выплыву я теперича из бучала на чистое место. «Ваше превосходительство, говорю, успокойтесь... не расстраивайте себя и свои нервы... опасности нету. Бобик здоровы, ничего-с... это с ними со страху... от нежности!..» — «От какого, говорит, страху? Какой может быть страх?» — «Виноват, говорю, ваше превосходительство, Калистрат Михалыч на них замахнулись и маленечко, между прочим, метелкой ударили... Напугали-с, а это нельзя. Животное с понятием, они только что не скажут. Помилуйте. С ними надо, как с малыми детьми, потому они взгляда сурьезного, и того страшатся... животная деликатная, не с нами, с обломами, сравнять: при какой особе находятся и в каких руках-с!» Ну, с этих моих слов и пропал Калистрат: в тот же день поутру сослала его, а меня тут же за доктором, чтобы приезжал поглядеть, не заболел ли Бобик со страху-то... Потеха! Три бумажки за визит взял, ей-богу, не вру. Кучера с каретой за ним посылали... Я и позабыл сказать: кучер у нас еще жил, Харлампом звать, царство ему небесное, тоже покойник теперича... Мужик был хороший, Тульской губернии, ни во что не ввязывался, водку только пил ковшом... Только краснеет, бывало, да икать начнет, а сам все на ногах... Кроме, как лошадей, никого знать не хотел... так и спал, царство небесное, с ними в деннике... пропах весь лошадьми...

Ну, привезли мы с Харлампом с этим доктора. Осмотрел он кобелька, прописал рецепт. «Наблюдайте, говорит, берегите, а я еще заеду завтра!» Ден пять ездил... и все по трешнице получал. Худо ли? А я-то за это время арапа заправляю: с ног сбился, ночи не сплю. Генеральша без меня уже и шагу не ступит... «Захар, Захар!.. Где Захар? Позвать Захара». Доктор, со своей стороны, не зевает: в пищу прописал микстуру какую-то... Как, понимаешь, полакают, так их сейчас хлестать начнет... весь пол загадют, а я ползаю на карачках, подтираю за ними... Расстроил им все животы микстурой-то, да и говорит: «Епидемия, говорит, ваше превосходительство, диету надо

исполнять строгую. Пусть вон Захар Федорыч за ними следит. Он, кажется, как я замечаю, внимательно относится к делу и любит животных», а сам на меня смотрит: «дескать, я тебе моргану, а ты догадайся». Я конечно, понимаю, рука руку моет... Еще пуще генеральша ко мне благоволение возымела: полное мне доверие, хозяин я стал по дому, дворецкий, все на моих руках,— покупаю и слежу... На кухню, понятное дело, другого заместо себя поставил: немого подыскали... без языка... мычит только, как бык, а на работу, что хошь давай — гору своротит, только корми его... Ну, на это у нас сколько угодно. Месяц прожил — заплыл весь жиром, бык черкасский, а не мужик... У меня тоже вот эта посуда,— он стукнул рукой по животу,— расти начала. Сами посудите, буфет у меня, а в буфете — что хочешь: закуска, харчи — все в моих руках. Встану, бывало, поутру, взял себе в моду, сейчас что умоюсь, богу помолюсь — за стол!.. Привык по маленькой кувыркать. Выпью... закусить надо, потом кофей... потом за дела. Покеда ее превосходительство спать изволят, осмотришь все, сделаешь распоряжение... хозяин, одним словом!

Деньгу начал копить. Все в моей власти, а учесть меня некому. Ее превосходительство как проснется, бывало, еще в кровати сидят, сейчас меня к себе... Глядишь на нее,— она в кровати со псами вместе на всех-то сама зверей похожа, индо страшно станет, ей-богу... И сама-то вся чужая: зубы вставные, парик... «Господи, царю небесный! — думаешь сам с собой,— за что же, за каки таки дела превознес ты ее, эдакую страшилу?.. Кому какая от нее польза? Кому добро делает? Почему же ты, господи, нам-то, слугам твоим верным, крестьянам-то, дал только что с голоду не помереть? Дивны дела твои и премудры, и не понять нам. Делать она ничего не делает, а все у ней готово... И сроду так... За что, а?»

Он замолчал, глядя на нас. Мы тоже молчали.

— За что? — опять повторил он.— Ну-кась вы, умные головы, скажите, дайте ответ на вопрос, а?

— Простите, не знаем,— сказал, наконец, Фонька.

— То-то и оно-то... а я знаю. Господь по своей премудрости так поступил, чтобы ее и ей подобных наказать... В ад они все загремят после смерти... Вам, дескать, было хорошо там, а вы что делали? Кому польза от вас, а? Казнитесь теперича!.. Н-да... Я полагаю, всем им, господиш-

кам, там место уготовано... Ни один не отвертится... будьте покойны...

— Ну, а нам-то, простите, что же, а? — спросил Фонька.

— Мы... мы другое дело... мы крестьяне!.. Нас господь примет... мы здесь намаялись...

— Да вы-то, простите, Захар Федорыч, чем уж так намаялись? Всю жизнь с малых годов вы в достатке, какая вам маята?..

— Все едино... я такой же крестьянин, как ты... а что я приобрел, это не грех... У кого я брал-то?.. Сказано: «вознесох избранного от людей моих». Я вот и есть этот самый «от людей моих», тоись от крестьян... Понять это надо... н-да!.. Так-то вот. Не надоел я вам еще рассказами своими?

— Помилуйте!

— Ну, ладно... На чем я остановился-то? Да... Стоишь, бывало, перед ней... На лице умиленье изображаешь. О псах речь идет... Заставит кажного осмотреть, общупать, цел ли, мол, не захворал ли... Потом кормежка пойдет... Ей кофию подадут в постель,— так она, не умывшись, ни богу помолившись, и жрет, а я псов должен кормить. Кажному отдельный прибор, тарелка... накрошишь по тарелкам белого хлеба, что ни на есть самого наилучшего... Наш брат эдакой булки отродясь не токма что в светлый праздник съест, а и не видал никогда... И, заметь, так надо сделать, чтобы один мякиш, без корок, а то, спаси бог, не подавилась бы... тьфу!.. Нальешь молока, молоко постоянно свежее, цельное, с настоем... Вот расставишь эти тарелки и начнешь подносить к ним псов, кажного отдельно, по череду... пожалте!.. А она смотрит... Коли плохо жрут,— а ведь они зажирели все,— сердится. «Что это такое, Захар, почему Мими не кушает? Наверно, промозглое молоко?» — «Помилуйте, ваше превосходительство, скажешь ей со всей учтивостью, да нешто мысленно — промозглое! Допущу ли я!.. Просто сыты они, поэтому и не изволят кушать...» — «Как же так, говоришь ты, сыты, ты вот уже, наверно, ел сегодня?» — «Ел-с».— «Ну вот!.. Сам ел, а им не надо, по-твоему! Дай сюда тарелку»... И начнет сама пробовать... Вот с места не сойти, понюхает, зачерпнет ложкой — ест. После пса-то, тьфу, прости господь! «Горчит, горчит молоко... Я так и знала... так я и знала!.. Не стыдно тебе?.. Сейчас же давай

другое... ах, ах, ах!» — «Простите, ваше превосходительство, не моя вина... сейчас я другого, одна минута...» Побегу, захвачу кувшинку, постою в буфете минут пяток — несу назад. «Извольте попробовать...» — «Ну, вот видишь, это совсем не то».— «Про-о-стите, говорю, не доглядел...» Да заплачу... Ну, она отмякнет... приятно ей видеть мою рабскую покорность и чувствительное сердце... Начну опять кормить... «Покушайте, Бобочка, Мими, Жужушечка... будьте так любезны!..» На коленки встану, елозию по полу-то... Да-а... Трудная была должность, хуже всякой работы, но терпел. Нес даденный господом крест свой... Видел своими глазами, куда и кто наши крестьянские денежки проживает... И дура, и, можно сказать прямо по-русски, сволочь эта самая генеральша, а ничего не попишешь, силком не отымешь: ее ведь деньги-то. На псов и тратит... Сродственников, и то не принимала... Один из Самары города, офицер какой-то, близкая им родня, подсыпался было, зачастил. И вижу я: тоже не промах, к собачкам тоже мину подводит... «Какие миленькие собачки... Хорошенькие какие...» Ну, все-таки не вышло, отшили... Мною довольна была... Было у ей имение в Орловской губернии... Лет тридцать она тамотка не была, так послала меня ревизию сделать. Прикащик там у ней был приставлен, наш брат-крестьянин, Аксен Фомич звать. Наживал копеечку... То у него градом побило, скажет, то спалило жарой, то червоточина съела... все какая-нибудь божья немилость есть. В именье все свел... Липы были... Барыня меня, когда посылала с ревизией, наказывала: «Целы ли, пуще всего, липы?..» Целы... хы!.. Все порезал, в Орел продал, а на место их натыкал новых хлыстиков... Я, знамо, молчок! Зачем мне своего брата подводить?.. Грабь, шут с ней, так и надо, мне не пыльно... За молчание сюда вот в кармашек положено было как следует.

Прикащик-то этот, Аксен Фомич, чудак тоже был... Начнет рассказывать про господишек — умрешь со смеху... Между прочим, рассказывал тоже,— уж правда ли, нет ли,— как она сама раз в имение приезжала молодой еще девкой... Ну, народ собрался на поклон к ней: мужики, бабы, девки. Яиц собрали по паре со двора, принесли ей в подарок... знамо, содрать за это думали. Вышла она к ним на балкон. А народ тамотка и сейчас серый, а в те поры и вовсе леший на лешем были... Зверье,

можно сказать, а не люди... Начала она с ними разговор: то, се, не знает, что спросить, не принимает ничего... «Что вы кушаете, говорит, мужички?.. На обед да на ужин?» Ну, ей, знамо, отвечают: «Щи, мол, хлебаем, похлебку, когда по праздникам кашу, картошку, мурцовку, а больше все хлеб с водой...» — «А на десерт у вас, спрашивает, что же?» Знамо дело, мужики, сиводралы, отроду эдакого слова не слыхивали... Что, мол, за оказия? Какой десерт? Думали-думали, вот старик один и отвечает: «А это, говорит, ваше превосходительство, где придется. Место не обозначено настоящее... то, говорит, на дворе, а то в кусточках, за овинами, когда случится, в овражке — где придется... не на глазах бы только у людей!..» Хы-хы-хы!..

Он долго смеялся, и живот его от смеха опять переваливался через пояс. Он поправил его и продолжал, довольный нашим вниманием и сам увлекаясь воспоминаниями прошлого:

— Так вот и завладел я через псов генеральшей: не дохнет без меня, шагу не ступит... Я, не будь глуп, видя это, опять мину подвел: начал больным прикидываться... «Что такое с тобой, Захар?» — спросит, бывало. «Ох, ваше превосходительство, смерть моя, поясница, одышка, грыжа в пах выходит... Осмелюсь сказать вам: отпустите меня! Не слуга я делаюсь».— «То есть как же это?.. Отпустить! Куда отпустить?» А сама индо вся побелеет. «Да домой, в деревню, на спокой, отслужил я, слаб, болен».— «Нет, нет! нет! — закричит и руками замашет.— Как же, говорит, ты уйдешь?.. Они-то, радость-то наша, без тебя как останутся? Неужели тебе не жалко их?» Я возьму да заплачу... «Господи, ваше превосходительство! Да я, кажись... сдерите вот с меня шкуру, и то мне легче, чем с ними разлучаться... Господь видит мою любовь, а только ослаб я...» Всполошится: «Посылай за доктором, сейчас же посылай Харлампа!» Заложит Харламп карету, привезет доктора... Тот сейчас велит мне раздеться... «Ну-ка, что у тебя... давай послушаем...» Начнет стучать молоточком, слушать... «Дыши шибче! Еще шибче! Перестань! Дыши опять!» Выслушает, ухмыльнется, а самой скажет,— дескать, ослаб я... Упадок сил, общее недомогание, малокровие... Усилить питание... вино, прогулка и свежий воздух. Пропишет рецепт, возьмет за визит и уедет... Генеральша опять и успокоится.

— Н-да! — согласился Фонька, закурив новую папироску из моего папиросника.— Это я, простите, понимаю, что это есть жизнь... Можно сказать, наслаждение!.. Ну-с, продолжайте, Захар Федорыч... Что дальше?..

— Да что дальше? Как веревочку ни вить, а кончику быть. Пришло время — спотыкач вышел... Как сейчас помню, об эту же вот пору, летом, в самую жарищу... Добрые люди на дачи, кто куда, а мы с нашими каштанами в Москве жарились да со псами нянчились... Сучонка у нас ощенилась... Ошалели мы с ней, ей-богу. Забота, хлопоты, ванны — ей-богу, не вру... Ну, и вот в самую эту пору любимый генеральшин песик, Бобо, сбесился... Сами посудите, как не сбеситься: жара, а он весь залит салом, и опять же то мой его, то чеши его, уложи... прикрой — тьфу! Кто хошь сбесится, не токма что пес, от одного этого ухода, ей-богу!..

Меня в те поры в комнатах не было. На дворе я был... Бегут, гляжу, за мной. Так сердце и упало. «Захар Федорыч! Захар Федорыч! Барыню собака укусила... сбесилась...» Побег я... Ну, думаю, допрыгались! Прибегаю прямо в спальню. Гляжу, госпожа моя сидит в кресле и хоть бы тебе что. «Бобочка меня укусил,— говорит, а сама смеется.— Не знаю, что такое это он вздумал... Пошалил, видно?» — «Где же, говорю, он, ваше превосходительство?» — «Выбежал в гостиную, кажется...» Я в гостиную... вижу, дверь закрыта, слава те, господи! Поглядел в скважину, а он, сукин сын, осатанел, пена изо рта клубком, сам по диванам, по столам, по стульям летает, аки пуля! Вазы летят на пол, этажерки, безделушки всякие, звон идет! Что тут делать? Ба-а-тюшки родимые! Бегу к самой: «Ваше превосходительство, а ведь Бобочка-то наш сбесился...» — «Дурак ты!..— говорит.— Сам ты сбесился, а не Бобочка мой. Пошел вон!» — «Как хотите, говорю, воля ваша, а он бешеный. Взгляните сами...» Не верит. «Ну, покажи... Пойдем...» И идет прямо к двери. Я так и замер. «Господь с вами!.. Куда вы... ваше превосходительство!» Да разве ее, дуру, удержишь! Отворила дверь, он прямо на нее... цоп за подол! Батюшки-светы!.. Хорошо — бог помог, успел я ее сзади схватить да к себе за дверь... «Коли вы пойдете опять, говорю, то мне пожалуйте расчет... часу не останусь... Доктора надо!» — «Ну, хорошо, говорит, поезжай за доктором». Я, не будь глуп, гостиную запер, ключ в карман... Побежал, нанял извозчика. Слава

богу, доктор-то дома. Привез его. Повел к дверям в гостиную. Приотворил чуток дверь, чтобы ему увидать... Поглядел он. Замахал руками... «Бешеный, кричит, конечно бешеный! Полиции, говорит, надо знать дать. Убить его».

«Шутишь ты, думаю, этим делом? Скажи-ка ей — «убить», она что сделает!» «Осмотрите, говорю, самое-то... Не сбесилась бы, говорю, спаси бог, сама... человек старый... затаскают и меня-то...» Побежал он к ней. Она и ему не верит. Он говорит: «Прививку надо»,— а она смеется... Тут уж я вижу — дело нескладно... Велел Харлампу карету запрячь... «Ежели, говорю, вы не поедете, куда надо, для прививки,— пожалуйте расчет сей минут... Часу не останусь»... Ну, сдалась... Уехала... Остались мы с доктором вдвоем... «Что же теперича, Никанор Никанорыч, делать нам? — спрашиваю у него.— Убить невозможно. Сама с ума сойдет».— «Ну, так вот что, говорит, посадим его под ящик, а я, говорит, дам такого лекарства... намочишь, говорит, этим лекарством вату, подсунешь туды ее к нему под ящик, он и задохнется... а самой скажем, что издох, мол, от болезни. Воля божья...» Обрадовался я. «А как же, говорю, его под ящик-то сажать?.. Дело хитрое». Засмеялся. «Как хотите. Это уж дело не мое. Приезжай за лекарством...» С тем и уехал домой... Что тут делать? Дворников двоих призвали... немой из кухни пришел... Городовой Цыпленков, солдат, на посту стоял против ворот,— того кликнули... Собрались кучкой, стоим, удумываем: как быть? Как тут его, бешеного, в ящик-то посадить? Голыми руками не возьмешь, а взять надо. Осенило меня тут: «Давай, ребята, вот как мы сделаем: устроим петлю...» Пошли все к дверям, и городовой Цыпленков с нами. Подошли... Слышим, он тамотка скулит. Взял я сам за один конец веревки, а за другой Харламп кучер, наставили капкан, дверь приоткрыли только-только, чтобы псу пролезть. Он, сволочь, увидал — ка-а-ак махнет в щель, да прямо головой в петлю. Затянули мы. Батюшки-светы! Что тут было-то, вспомнить страшно, ей-богу! Харламп мужик грузный, необоротистый, затолкался на одном месте, запутавшись, а он его за ногу — цоп! Хорошо, что на сапоге кожа толстая, не прогрыз... Испугал только... Выпустил Харламп конец да бежать... Хорошо, городовой Цыпленков догадался, за другой конец схватил во-время, а то бы он меня, за мой уход, за мою ласку к

нему, изгрыз бы всего... Ну, все-таки затянули ему глотку-то покрепче... Подсунули под ящик, а сверху, чтобы не ушел, камней наклали да двухпудовую гирю... Заставил я дворников караулить, а сам поехал на извочике к Никанор Никанорычу за лекарством... Написал он это рецепт, поехал я в аптеку с ним, подал. Долго держали. Ну, наконец, приготовили. Извозчику три без четвертака пришлось отдать.

Вернулся домой, а сама как раз тоже во двор... Набросилась на меня: «Где Бобик? Где Бобик? Куда ты его дел? Убил... убил! Варвар! Ах, ах! Боже мой, боже мой!» Дурнота сейчас, трясение, истерика по-ихнему. «Ваше превосходительство, ради создателя умоляю вас, прекратите на время свои нервы... Жив ваш Бобик... Никанор Никанорыч были... лекарства я для него привез; посажен он пока на короткое время отдельно, нездоров он... Господь даст, поправится. Вы-то как, ваше превосходительство, съездили? Что вам-то прописали?» — «Ничего, говорит, Захар, пустяки... я не верю. Где он у тебя сидит, покажи мне?» — «Ваше, говорю, превосходительство, Никанор Никанорыч строго приказали посадить его под ящик. Так, дескать, нужно... И не велели его беспокоить... Особенно вас чтобы не видал. У него тоже нервы... Отлежится ночку и встанет здоровешенек».— «Да ведь он там задохнуться может... под ящиком, помереть?» — «Помилуйте! Разве это возможно? Ничего не будет... не беспокойтесь... Я, говорю, ему там и постельку мягкую постлал, и никто не мешает ему. Я вот сейчас пойду еще лекарства дам принять, а вы уж, ради господа, не ходите. К другим вот подите, успокойте их».— «Ах, боже мой, боже мой! Какое это, Захар, несчастие, болезнь эта... кабы ты мог чувствовать!» — «А мне-то нешто легше, ваше превосходительство? Душа выболела! Слезы задушили, как подумаю: Бобочка наш...» Замахала руками. «Ну, ну, ну! Молчи уж... ступай скорей к нему...» Ушла. Я скорей на двор, к ящику... Опять собрались все. Он тама, слышно, копошится, сопит, скулит, скребает... «Ну, говорю, ребятушки, подымай кто-нибудь ящик с одного края, а я подсуну туды составу». Взяли два кола, подсунули под ящик, приподняли с двух концов, а я в щель-то туды ваты этой и подсунул... Цыпленков-городовой говорит: «Клади еще... побольше клади. Я, говорит, уж приставу донес о происшествии». Черт уж его догадал... пото-

ропился с язычком-то... Ну, я еще подсунул... Дух идет от составу этого... Человек — и то бы, кажется, задохся. Прикрыли, камней опять сверху навалили... Наказал я дворникам поглядывать, а сам пошел в комнаты. «Ну, что, спрашивает, дал лекарство? Как Бобочка себя чувствует?» — «Как же, ваше превосходительство, дал... Ничего, говорю, успокоился теперича маленько... спать желает, сердешный...» Зачал я опять носом фыркать, глаза тереть... Плачем оба. Разливаемся! Ладно. Выхожу опять во двор... «Ну как, ребятушки, затих?» — «Какой, говорят, Захар Федорыч, затих, ни черта не затих, того гляди — ящик своротит. Что делает-то — страсть!» — «Ничего, говорю, еще, видно, не вошло в силу... ждать надо».

Наваксил вату чумой-то этой опять, всю бутылку вылил до капли. Напихал под ящик со всех четырех сторон... Прикрыли... Шабаш! Сиди теперь всю ночь. Поутру, чем свет, побежал на двор, подошел к ящику, слушаю... ничего... тихо. «Готов!» — думаю. Дворников позвал... Подошли, стоим, а открывать боимся. Харламп-кучер подошел, выпимши уж, икает. Он, царство ему небесное, и по ночам пил... привычку такую имел... «Ну как, говорит, у вас тута... жив все? Не подох?» — «Да сами не знаем. Не слыхать. Голосу не подает, а боимся».— «А-а, дураки! Давайте я открою...» Известно, пьяному море по колено... Взялся за ящик — и поднял его сразу... а он... что вы думаете, провалиться мне на этом месте, коли вру,— пырь оттедова да прямо на него!.. Цоп за ногу, за это вот место да бежать от него по двору-то... Заревел Харламп, как бык черкасский... Батюшки-светы! Хорошо еще, что ворота заперты...

А он-то по двору хлыщет — хвост опустил, язык высунул... двор-то небольшой да чистый, все наружи... Забрались мы все четверо на помойку, была такая на дворе устроена вроде колодца, со срубом аршина на полтора... Харламп сидит, плачет... меня лает, а я чем виноват? Я сам доктора Никанор Никанорыча матерно крошу за обман... Думали, думали... Делать нечего... Выждали момент, когда он на другой конец двора убежал, соскочили со сруба да прямо за колья, которыми вчера ящик подымали... Мне кола не хватило, так я камень схватил. «Ребятушки, кричу, не робейте! Бейте его, черта, анафему, мучителя!..» Харламп пуще всех остервенился... глаза на

лоб вылезли... зверь-зверем!.. А пес-то увидал, что мы с помойки слезли,— бежит к нам. Н-ну, тутотка приняли мы его... Наскочил он на первого опять на Харлампа. Тот изловчился — хлясь его колом-то прямо по морде!.. Сшиб с ног... Я кирпичиной шпокнул, дворники принялись — измесили всего... истолкли, как в ступе... Велел я дворникам пока что завернуть в рогожку, убрать с глаз долой... «Поедем, Харлампу говорю, к доктору, что скажет... Никто не виноват, сам полез...» Повез. Приехали. Разбудили... «Вот, говорю, Никанор Никанорыч, какие дела у нас, а все вы виноваты. Говорили, задохнется, вот вам и задохся! Харлампа вот укусил за ногу, что теперь делать? Куда собаку мертвую деть?..» Рассердился. «А черт вас возьми, дураков, и с барыней с вашей! Надоели! Болвана этого везите прививку сделать, а падаль девайте, куда хотите... Не мое дело!» Повернулся и ушел. Вот и весь разговор... Харламп плачет... Не хочет ехать на прививку. «Наплевать, говорит, пущай лучше сбешусь. Producing Поколею, так по крайности своей смертью... А тамотка зарежут еще... А то прижгу дома каленым железом да водочки выпью, авось господь помилует. Может, и кобель-то не бешеный... Доложу вот генеральше — она вам пропишет... народ пугаете, сволочи...» — «Чего ж ты, собака, лаешься-то? — говорю ему.— «Генеральше доложу»... Ступай докладай. А сам ты зачем его колом порснул, коли он, по-твоему, не бешеный?..» Пошло у нас колесо под гору... Прошли красные денечки. Погибла вся моя карьера...

Захар Федорыч умолк, высморкался и налил себе стакан остывшего чаю...

— Что-то глотка стала сохнуть, болтамши-то,— сказал он.— Почта теперича небось скоро должна прийтить... Почитаешь,— он кивнул на меня,— как тама кайзер работает... С головой человек... запасливый... не с нами, с растяпами, сравнить... Который час-то?..

III

Промочив засохшее горло, Захар Федорыч снова приступил к рассказу.

— Ну-с, други мои любезные, побывавши это я у доктора с Харлампом, приехали домой... Сама еще не вставала... Пошел я в буфетную, сел к столу, дожидаюсь.

И напала на меня, други мои, тоска... Всего надумался! Н-ну, часу эдак в одиннадцатом, слышу, встала. Немного погодя меня зовет... Известно, первые слова: «Ну как, Захар, Бобочка ночь провел? Здоров ли?» Молчу я... Вот не найду слов — и только. Точно за глотку кто схватил, хочу слово сказать — ан не могу. Испугалась моя генеральша. Глаза выпучила. «Что же ты не отвечаешь? Ах, боже мой, случилось что-нибудь, а? Случилось? Да говори же, дурак!»

Я бац на коленки, где стоял... зарыдал и заплакал... «Ваше превосходительство... что хотите сделайте со мной, а только приказал Бобочка долго жить... подох-с!» Батюшки-светы! Сказал — и не рад. Как завоет она в постели-то!.. И воет и смеется... Началась называемая истерика. Ведет ее всею подковой... Что делать? «Ваше превосходительство, говорю, власть господня... волос с головы не упадет без его воли, не токмо что... Министры — и те умирают... цари, ваше превосходительство, и те, можно сказать, смерти подвержены...» Куды тут! Орет благушей... Потом соскочила с постели да ко мне! «Подлец ты, негодяй! Убийца! Ты его задушил... ты обманул меня!» А сама к морде лезет... Что значит старинная привычка насчет, тоись, мужицкого рыла-то, а? «Я тебя, кричит, в тюрьме, подлеца, сгною... праху твоего не останется... Хам, подлец! Лучше бы ты подох, а не он!.. Где он, мой милый?! Где он, мое сокровище? Видеть его хочу... проститьси с ним... ах, ах!» Очумела совсем. Что мне, подумайте, делать? Как вывернуться из этакого положения, а?..

Он замолчал и вопросительно глядел на нас, ожидая ответа. Мы молчали.

— Ну, ладно... Ничего не придумаю... Надо, видно, за старое приниматься. «Пожалуйте мне, говорю, расчет».— «Что-о? Расчет тебе?.. Ах ты, негодяй!» Размахнулась — хлясь меня по рылу!

— Хо-хо-хо! — заржал Фонька.— Хо-хо-хо!

Захар Федорыч обиделся.

— А ты подожди ржать-то по-жеребячьи...— сказал он.— Тут, можно сказать, слезы, а он ржет.

— Простите, уж очень чудно-с! Такого, можно сказать, человека — и вдруг, простите, по физиономии... Я бы, доведись до меня, протестовал.

— Ты бы, ты бы... Вот то-то и есть, что ты дурак...

— А вы что же, простите, сделали?..

— То-то вот и беда, что делать ничего не пришлось. Схватилась вдруг за грудь, да как брякнется на постель... Испугался я сам до смерти. Подошел тихонько и говорю умильно: «Ваше превосходительство, говорю, у вас ведь еще собачки остались. Мимишка, Жужушка... Мало ли? Есть утешение... Ну, а кабы он, покойник,— чуть не сказал: царство небесное,— ежели бы Бобочка этих-то бы перекусал, что бы тогда-то было, а?» Молчит... Не отвечает... Только поводит ее, будто судорогой... «Ваше превосходительство!..» А у самого руки и ноги трясутся... Она слышу, вроде как икает: ек-ек! ек-ек! Да все реже... Что такое за история? «Ваше превосходительство!..» Опять екнула да ногой правой дрыгать начала. Взял я ее за плечи, эдак вот перевернул... Гляжу: перекосило ее всю... рот на сторону... правой рукой машет, а другая недвижима... глаз один закрыт совсем, а другой вертится колесом... удар сделался, паралик.

— Кондратий Иваныч хватил,— сказал Фонька.

— Что тут мне делать? Перепугался до смерти... Побежал сломя голову на двор, прямо к Харлампу. Кричу ему: так и так, гони скорей за доктором, с самой нехорошо... Прибегаю назад, гляжу — тихо... перестала екать... высунула язык. Испеклась, готова... померла... а псы лезут к ней... облизывают... тьфу!..

— Н-да,— произнес Фонька и тоже плюнул на сторону, в кусты.

— Я сперва было думал, умру сейчас со страху, а потом чисто вот меня осенило... Сейчас это я,— понизив голос и почему-то оглянувшись назад, продолжал Захар Федорыч,— руку эдаким манерцем под подушку к ней... пошарил... Постоянно под подушкой сохранялись ключи, видал я, случалось...

Фонька радостно и с очевидной завистью к чужому счастью засмеялся, взвизгнул и потер ладонь об ладонь. Он блестящими возбужденными глазами впился в Захара Федорыча...

— Ну, и что? — спросил он прерывающимся от волнения голосом...

Но Захар Федорыч внимательно посмотрел на него.

— Ну... и ничего! — ответил он спокойно.— Выбежал я после того...

— После чего? — опять жадно спросил Фонька.

Захар Федорыч опять посмотрел на него холодно насмешливыми глазами и сказал загадочно:

— Да вот... после этого самого... Выбежал из комнаты, вроде, понимаешь, полоумного... бегу, кричу, руками махаю... Напугал всех до смерти... переполошил... Городовой Цыпленков — и тот прибег... Доктора Никанор Никанорыча вскоре Харламп привез... Тот прямо ко мне... а я слова не выговорю. И идти не могу... шатает меня, падаю... взяли меня под ручки двое, ведут, аки архиерея, наверх в спальню... Увидал я ее... зарыдал, забился... Ну, доктор Никанор Никанорыч, царство небесное, покойник теперича, на Самотеке жил в доме Тазикова, подошел ко мне, нагнулся... «Ты чего, говорит, орешь тут да дурака ломаешь? Мамаша тебе, что ли, была или любовница... жалостлив что-то некстати. Говори, как дело было. Как померла? Когда? Кто был, кроме тебя?..» Ну, я конечно, рассказал все по порядку. «Полицию, говорит, надо, родных известить. Кто у ней тут, в Москве-то, есть?» — «Не знаю. Почем я знаю? Мое дело махонькое. Был, говорю, офицер сродственник».— «А, знаю, говорит. Он теперь недалеко живет, в Коломне. Послать ему телеграмму, а пока что позвать полицию...»

Послали сродственнику телеграмму в Коломну; он тут же, этим же днем присыпал... Сразу хозяином заделался. Первым делом за меня: «Где у ней ключи ото всего?» — «Не могу знать, говорю, это дело не наше. Я человек махонький... мое дело псы... за псами я приставлен был наблюдать, а не за ключами...» Ну, он тоже сейчас, не плошь меня, с головой малый; первым делом под подушку... Забрал ключи да к бюру... Тоже видывал, должно быть... Пошарил, нет ничего. Даже бледный сделался... Потом к столу кинулся... И ведь что вы думаете, нашел! В столе, в правом ящике, под бумагами... Я не знал про стол-то, ей-богу! Никогда не видал, чтобы она в этот ящик лазила за чем, а уж как следил, бывало, за ней.

— Эх, жаль,— сказал Фонька.— Ну, да и в бюре, я думаю, простите, было тоже немало, а?..

И Фонька лукаво подмигнул, вопросительно уставившись на Захара Федорыча... Тот не удостоил Фоньку ответом и продолжал:

— Ну, сцопал это он денежки, ключи себе в кармашек и принялся за распорядки по-военному. Прежде всего

подошел ко мне, поглядел, поглядел в глаза — да, ни слова не говоря, бац в рыло... Ей-богу, не вру! «Я, говорит, с тобой, с сукиным с сыном, поговорю еще. Узнаешь у меня, на чем хлеб растет. Забудешь, как сюда и дверь открывается. Вон пошел сию минуту! Убью!.. Пришибу на месте и отвечать не стану!» Сердитый человек... Глаза страшенные! Выскочил я от него и побежал в дворницкую... Тамотка и скрылся покеда, до похорон. Понесли ее на третьи сутки хоронить в Даниловский монастырь. Я, как ушли все, вылез из затвору и пошел на кухню к своей воздохнушке, собрал вещи, упаковался... «Надо, думаю, расчет попросить, как-никак, а служил... Моих денег, скажу, за ней пять красных... Может, совесть его зазрит, хоть в глаза плюнет, а отдаст». Так и сделал сдуру-то, сунулся, как налим в вершу...

Рассказчик остановился и, уставившись глазами в пространство, сказал сосредоточенно:

— Не забыть мне, братцы, покеда жив, этого расчету...

Он вдруг стукнул кулаком по столу и продолжал:

— Коли он жив теперича, то дай, господи, подохнуть в одночасье, а коли помер, то, верно, черти в ад кромешный уволокли... Туда и дорога... Пришел он с похорон-то, я выбрал время, поймал его одного, поклонился и говорю: «Ваше, говорю, высокоблагородие, осмелюсь побеспокоить вас... Так как, говорю, сами изволите знать, служил я у вашей, царство небесное, тетеньки в количестве многих лет и, можно сказать, не щадил живота жизни, то, говорю, при этом будучи они мне оставшись должны, покорнейше прошу вас, ваше высокоблагородие, не оставить меня нага и в одном рубище... Уплатите, сделайте милость, что следует, в расчет».

— Хорошо,— говорит.— С удовольствием. Тебя как звать?

Обрадовался я. «Вот, думаю, господь-то его умягчил за мое смирение...»

— Захаром-с...— отвечаю.

— Та-а-ак! А по батюшке?

— Был, говорю, Федорыч.

— А фамилия как?

— Фамилия моя Дрыкалин-с.

— А! Говорит, Дрыкалин... Хо-о-рошая фамилия... русская... А какой ты губернии?

— Здешний, Московской.

— А уезда?

— Митровского.

— Та-а-ак! Значит, тебе расчет дать, Захар Федорыч Дрыкалин? Что ж! Это мо-о-жно!.. Сейчас!..

Сказал это и идет ко мне, смотрит в глаза... шаг сделал. Я стою, жду. Подошел вот так, как ты от меня сидишь... Близко...

— Так расчет тебе, говоришь?

— Так точно-с.

— Сколько же тебе приходится?

— Да рублей,— хотел сказать: пятьдесят, да подумал, мало,— рублей, говорю, под сто... по моему счету.

— Ну что ж, все равно, говорит, для меня, отдам и сто... Н-на, говорит, получи!

И, други мои милые, взял эдаким вот манерцем...

Захар Федорыч поднялся со скамейки, встал, выставил левую ногу вперед, правую руку поднял кверху и, стоя перед нами в такой позе, продолжал:

— Размахнулся и, не говоря дурного слова, хлясь меня по уху! Потом переменил руку правую на левую (Захар Федорыч показал, как и это было сделано), да с левой-то по другому — хлясь! И пошел хлясать, пошел мылить... То с одной стороны, то с другой. То с одной, то с другой. Полощет с обоих концов, упасть не дает... пошатнусь я, хочу упасть, а он сичас с другой поддержит. Отчубучивает, а сам счет ведет: раз! два! три! четыре! пять! шесть! Я хочу рот разинуть, караул закричать, а он — хлясь да хлясь! Я только ртом булькаю: буль, буль!.. М-да-а-с... Рассчитал! Сто годов еще проживу — и то не забыть мне расчету этого.

Захар Федорыч сел и утерся рукавом. Фонька перегнулся и хохотал, не переводя духу. Я тоже не утерпел и засмеялся... Захар Федорыч был серьезен.

— Вот ведь подумайте, сволочь какая! — продолжал он с негодованием.— Мало ему еще. Взял, понимаешь, подтащил к лестнице, поставил на проход... «Говори, сукин сын, куда из бюра-то припрятал?» Вижу я — погибель мне. Лестница высокая да крутая: жваркнет — костей не соберешь! Ну, а все-таки укрепился духом. Будь, что господь пошлет... Без его святой воли волос, как говорится, с головы не упадет... Дух затаил, молчу. «Скажешь ты или нет? Ну, раз... два...» Да за третьим разом ка-а-ак

плюхнет мне сзади по становой жиле... Тут я, братцы мои, как пуля или аки птица, вниз полетел... Дух заняло... Как только господь меня спас... Истинно, милость одна господня, что цел остался...

Фонька хохотал и судорожно размахивал руками. Захар Федорыч, не обращая на него внимания, повернулся ко мне.

— Вот ведь сволочи какие бывают, эти господишки... Истинно душегубы... Слетел я с лестницы на самый низ, запахал рылом, прошел, как по полосе плугом, поднял, можно сказать, целину... содрал весь поднаряд с носу, понимаешь, всю шкуру содрал и со лба тоже... Поднялся, встал на ноги... Господи Исусе, царь небесный, ба-а-тюшка, света не вижу! Горит горьмя перед глазами... звезды сыплются... а он, варвар, наверху ногами топает, кричит: «Расчет тебе, грабитель, су-у-кин сын!.. Во-о-он! Убью! Застрелю из пистолета!.. Под суд отдам!» Поднял я разбитую морду кверху и говорю: «Креста на вас нет! Грех вам... Вы бы хошь за увечье-то мне что-нибудь дали... драться-то точно не велят ноне...» Только что сказал я, а он, сволочь, по лестнице-то оттеда сверху ко мне как загремит... Я скорей повернулся да бежать... «Убьет, думаю, до смерти...»

Скрылся на кухню. Кровь у меня из носу хлещет, глаза заплывают... поставил он мне под обоими во по какому светилу!.. Увидала меня моя в таком виде, всплеснула руками: «Батюшка, Захар Федорыч, кто это тебя так изукрасил? Господи Исусе Христе!..» Заплакал я. «Кончилась, говорю, наша с тобой счастливая жизнь... пропала карьера... разлучаться нам теперь...» — «Куда же ты теперича подашься?» — спрашивает. «В деревню уеду, больше мне некуда».— «А я-то как?» — «А ты здесь живи, господь тебя не забудет своей милостью». Плачем оба... Встал я, пошел к кранту, умылся... Поставила она закусить в последний раз. Проститься... Сели за стол, разговариваем... Только что было я за вторую рюмку взялся, глядь — ирод этот опять идет, да прямо в кухню. В руке трость здоровенная... «Ну, думаю, опять варварство будет производить...» Да живым манером — из кухни, да задним ходом, да со двора...

— Опытный, видно, простите, человек был, судя по поступкам,— сказал Фонька.— Своим поступиться не хотел... Куда же вы от него, позвольте спросить, подались?..

— Куда? Известное дело: на машину да в деревню... Кухарка мне вещи на вокзал привезла.

— Н-да! — задумчиво произнес Фонька.— Чудеса! И верно, выходит, через псов вы счастье себе нашли. А что,— вкрадчиво заговорил он,— простите за нескромный вопрос, порядочную сумму вам господь благословил в этом случае приобрести?

Захар Федорыч строго посмотрел на него.

— Любопытен ты больно. Вишь, живу, дай бог всякому... Жизнь прожил, женился, детей нажил, почет заслужил. А через что? Через ум свой... да через смирение... Вы вот горды очень: протестовать вам, а что у вас есть? Ни шиша! А я вот не гнушался псов в рыло лизать, ан господь меня и превознес... Н-да! Умный человек, куды ты его ни сунь, выплывет... Так-то вот, други мои милые!..

1915

Мимоходом

I

В одной рубашке, босой, с картузом на затылке и с железной лопатой-заступом в руках, попался мне навстречу торопливо идущий из-под горы мужик.

Позади его, немного отстав, плелась, спотыкаясь и шатаясь на ходу, точно пьяная, баба.

Когда мы сошлись вместе, мужик по старой, должно быть веками въевшейся, привычке к поклонам машинально, так сказать, поправил на голове картуз, поклонился и сказал:

— Здорово!

— Мое почтенье! — ответил я, тоже поправив в свою очередь на своей голове картуз.

Мужик был незнакомый мне, пожилой, весь заросший бородой. Борода эта, какая-то сивая, разномастная, росла у него от самых глаз, покрывая щеки, подбородок, и какими-то длинными, точно завитыми нарочно жгутами падала на грудь.

— Ты чей? — приостановившись, спросил он.— Из Москвы, знать, домой, а?.. Со станции?..

— А что? — спросил я.

— Да так... чей, мол?

Он перекинул на другое плечо заступ и, видя, что я вопросительно гляжу на него, сказал:

— А покурить нету?

— Найдем,— ответил я и, положив узелок, бывший у меня в руках, на землю, присел на кочку.— Иди... садись...

Мужик, прежде чем сесть со мной, обернулся назад на дорогу и закричал отставшей от него бабе:

— Иди, что ли, скорея! Чего ты, как опоенная лошадь, иде-ет — не идет! Иди отдохни!..

Он бросил, отшвырнул как-то, как мне показалось, с сердцем, бывший у него заступ и сел рядом со мной.

Подошла баба и молча, тяжело вздохнув, опустилась, присела немного поодаль от нас.

II

Закурили.

Мужик как-то сразу, в две-три затяжки, «съел» всю папироску и, бросив окурок, сказал, полуобернувшись ко мне:

— А ты по-богатому — папироски куришь... по-московски,— и, помолчав немного, опять спросил: — Чей ты?.. Откеда?..

Я удовлетворил его любопытство и в свою очередь спросил:

— А ты куда это с заступом-то ходил?.. Работал, что ли, где-нибудь?..

Мужик засмеялся, скаля еще сохранившиеся белые ровные зубы.

— Какое — работаю! Хы, работаю! Я, друг, как звать тебя не знаю, ребят зарываю в землю, детей, а не работаю... впору успевай только.

— Как так? — удивился я.

— А так... Третьего вот на одной неделе сволок... Что глядишь? Истинный господь, третьего! Не веришь,— спроси вон бабу, она не даст соврать. Аксинья! — крикнул он, обернувшись к сидевшей с опущенной головой бабе,— скажи вот ему, каку мы работу работаем... где были...

Баба Аксинья, как он назвал ее, ничего не ответила, а только махнула безнадежно левой рукой и уселась, еще ниже опустив голову.

— Не пойму ничего,— сказал я,— говори толком, каких детей, своих, что ли?..

— Внучат... чудак человек, внучат, а не своих! — с напускной веселостью, под которой, как сразу заметно было, скрывалось большое горе, пояснил он.— Сына моего дети... трое... скрутило вон их в одночасье... крышка!

Забыл, как болезнь-то доктириха называла... Аксинья,— обратился он опять к бабе,— как болезнь-то звать, а?

— Скарлатин,— глухо отозвалась баба.

— Скарлатин,— повторил он.— Сразу, понимаешь, раз, два, и крышка!.. Готов... испекся... Захватит глотку, похрипит и того-с, испекся, волоки на погост!..

Я помолчал и спросил:

— А сын где же?

— В бою... на войне... с ерманцами воюет. Четвертый месяц на исходе — слуху нету. Жив ли, нет ли,— неизвестно.

— А мать?

Он махнул рукой.

— Не говори уж! — воскликнул он.— Смерть! Беда! Мука, истинный господь, мученская с ней... Не знаю, как быть, что делать! Голову скружили, ей-богу! Вот мы ушли со старухой,— продолжал он, поерзав на месте и усаживаясь поудобнее,— хоронить, а она дома... Одна теперича... Кончено — одна! Старуху вон оставлял — не остается... «Мочи моей, говорит, нету... все сердце изныло...» Н-да, дела!.. Ну, а как война-то, что слышно?

— Все одно и то же,— ответил я.

— То мы, значит, их спихнем, то они нас. Народу конца-краю нет положили. Не знаю, как мой-то... Жив ли? Как думаешь, жив аль нет?

Задав этот вопрос, он уставился на меня, и в его глазах было что-то такое страшное, затаенное, скорбное, что я не вытерпел и, отвернувшись, сказал:

— В плену, небось... скорее всего в плен попал... жив, наверно... придет, бог даст...

— О! Дай-то, господи... Ты сам посуди, что же нам тогда делать-то, как не придет-то?.. Что делать-то?.. Ответь хоть ты мне на это...

— Придет,— снова повторил я,— приходят... Не один твой, у всех горе...

— Знамо,— согласился он,— да ведь родительскому-то сердцу прискорбно... Опять, как бы я один, а то вон она у меня старуха, а тамотка дома невестка... Ты пойми, друг, вникни — горе-то какое! Пошел — дети были, придет — нет никого! Господи, царю небесный! Слезы, истинный господь! Мне бы теперича спокой на старости лет, ан вот те спокой!.. Теперича что... теперича способия давать

не будут... отымут... как жить-то ей? Разорилось гнездо... собирал, собирал... радел, радел... думал: авось, мол... думал...

В голосе его послышались слезы, и весь он как-то опустился сразу и поник головой.

— Внучата... сын... спокой... думал... все по-хорошему... умру, мол, есть кому похоронить... есть кому вспомнить... ан вот, сам хороню... рою вот хожу... Рою, рою — брошу, подумаю: кому рою...

— Аксен,— перебила его баба,— пойдем, батюшка!.. Время... пора... как она тамотка одна-то?.. Изошла, чай, слезами...

— Постой!..— отмахнулся он от нее рукой,— дай с человеком-то поговорить... сиди... отдыхай... куда спешить-то... на ночник спешить... к чему придем? кого найдем? где они?.. Бывалочка, давно ли, придешь откуда, а они, как чеснок, около тебя: «Баушка, баушка! Баушка, баушка! Золотая, серебряная...» А теперича, теперича кто тебя встретит?.. Будешь на одре валяться, испить попросишь,— подать некому.

— Да уж полно тебе... без тебя тошно!

— Бывалочка,— продолжал мужик,— поеду я в город зимой... дровишки повезу аль еще что, а он, самый меньшенькой, нонче вот закопал, Гришуткой звать, встанет ведь, заметь, сукин сын, до свету... ни за что не проспит... не проморгает, когда поеду... наказывает: «Купи мне, дедушка, ножик... во-от какой... побольше... складной...» — «На что тебе, сынок?» — спросишь. «А вот сойдет снег, придет весна, буду в лес ходить, корье драть,— он мне нужен будет...» За-а-ботливый был... Настоящий бы из него хресьянин вышел... А то летом раз... пошел я косить... а утро задалось вёдренное... теплынь...

— Аксен,— перебила опять баба,— брось, Христа ради! По-о-йдем... как она тамотка?.. Подымайся... растявкался, благо слушает...

— Иди! — опять, как и давеча, отмахнулся мужик,— кто тебя держит? Диви, одна дороги не знает... Что ты за меня уцепилась? Нянька я для тебя, сторож твой? Шагу не дает ступить: куда я, туды она.

— Да бо-о-юсь я одна-то,— простонала баба,— страшно мне... боязно...

— Чего ж ты, дура, боишься? Махонькая, что ли... Кого?

— Самое себя боюсь... самое себя страшно... Враг-то силен... а уж моей силы не стало терпеть... ослабла я... вся чужая...

— А ты не предавайся... не давай ему над собой власти-то... выкидывай из головы... Мало ли что бывает?.. Мало ли что люди терпят?.. Не мы одни...

— Ох, знаю я! Знаю я все! — опять простонала баба.— Да коли... да коли режут вот, рвут на кусочки сердце мое!.. Легше бы мне, кабы кто пришиб меня, ничем эдак-то!.. Того нету... убили, знать, на чужой стороне... эти вот... Господи, царю небесный, за что наказуешь?.. Что мы тебе сделали? За каки грехи... Убили, небось... истерзали... Господи, батюшка, подумать только: кому он какое зло сделал? За что? Каки-таки ерманцы?.. Отродясь не слыхивали... откуда они взялись?.. Чего не поделили?.. За что они его?.. Царица небесная, заступница наша, за какие провинности? Что он им худого сделал?..

Она заплакала и повалилась вниз, ничком на землю.

— Ну, вот,— сказал мужик, посмотрев на меня,— вот возьми ее за рубль за двадцать... что станешь делать, как жить-то?..

Он встал и подошел к ней.

— Аксинь,— тихо ласково и любовно заговорил он,— а, Аксинь, полно... по-о-лно, матушка... авось... авось, мол, господь даст, жив... не все же... не все же эдак-то...

Он тоже захлюпал.

Смотреть на них, убитых горем, темных и жалких, стало невыносимо: хотелось самому плакать.

Я взял свой узелок и... пошел своей дорогой.

1915

«За язык пропадаю»

I

Было часов около девяти вечера. За окнами на улице слышно было, как шумит ветер и как иногда изредка где-то там, на дворе, пощелкивает от мороза крыша.

В избе было тепло, тихо, и только одни часишки, висевшие на стенке, однообразно-назойливо тикали маятником. Мы сидели и коротали время вдвоем с женой: она что-то шила, а я читал книгу...

Девятый час вечера — время по-деревенски уже позднее, и поэтому я удивился и сначала не поверил было, когда жена, отложив шитье и прислушавшись, сказала:

— Подъехал кто-то... заскрипело под окнами.

— Ну, кому теперь!.. Показалось тебе...

— Ей-богу, подъехал кто-то!.. Слышишь, отпрукивает лошадь... Поди выдь, посмотри... Да уж брось книжку-то! Присосался... диви век не читал... не уйдет она от тебя... сидит, уткнулся... во весь вечер словечка не молвит... Посмотри выдь.

— Да чего ж выходить-то? Не заперто... Кому надо, войдет сам.

— Эк ведь, лень перекатная! Может, чужой кто?.. Боишься, замерзнешь выйти-то?.. Собака там... укусит еще, спаси бог...

— Собаки, должно быть, нет, а то бы лаяла,— сказал я, действительно не желая выходить из теплой хаты на мороз.— Найдет дверь, кому надо,— опять повторил я.

— А ну тебя к шуту! — рассердилась жена и, бросив шитье, встала и молча пошла за дверь из избы посмотреть, кто там подъехал и остановился под окнами.

Я, отложив книжку и прибавив немного в лампочке огня, чтобы стало посветлее, стал ждать и прислушиваться.

— Кто тута? — минуту спустя раздался женин голос за мостом на крылечке.

Какое-то хриплое, басистое рычанье было ответом.

— А-а-а, это ты! — послышался опять женин голос.— Проходи, проходи... Что? Собаки боишься?.. Ее нету... убежала, должно быть, к соседям... не бойся... иди сюда... Что, холодно?..

Послышалось опять, на этот раз гораздо ближе, ответное рычанье, и можно было разобрать слова:

— Да, есть отчасти... Мороз невелик, а стоять не велит... Сам дома?

— Дома, дома! — ответила жена.— Проходи... Привязал лошадь-то?

— Готово дело!.. Где тут у вас ход-то? Не видать ни черта... лоб не разбить бы грешным делом в потемках... плохи у меня глаза стали... Где ты тута?..

— Эвона я!.. Иди...

Голоса замолкли. Послышалось хлопанье затворяемой сенной двери, и через минуту в избу, переступив порог, вошла жена, а вслед за ней, заняв весь проход, влез кто-то толстый, закутанный, тяжело пыхтящий...

II

Вошедший остановился у порога, снял шапку, перекрестился, как и водится, в угол и начал, кривя рот то в правую, то в левую сторону, стаскивать пальцами с усов сосульки.

— Здорово, родной! — прохрипел он, покончив с этим делом.— К тебе вот... дело есть... не взыщи уж...

Мужик был знакомый, только давно уже не видал я его и поэтому не сразу признал.

— Как это тебя бог занес? — спросил я, признав его.— Давно не видал. Не узнаешь тебя. Раздевайся!

— Да уж я у тебя был намедни, а тебя не было: в отлучке ты был. Нешто тебе баба твоя не сказывала?

— Нет.

— А я и забыла совсем,— сказала жена,— из ума вон... ей-богу!.. Закружишься одна-то... все не вспомнишь.

— Знамо,— с какой-то скрытной иронией в голосе согласился с ней мужик, начав стаскивать с себя надетый поверх плохонького старого полушубка заношенный, с большим порыжевшим воротником армяк,— знамо,— повторил он, стащив его и положив к печке,— где ж тебе об нас помнить?.. Досуг ли?.. Нас много... Ну, здорово живете! — опять сказал он, разминаясь.— Признаться сказать, прозяб... Стужа да ветер встречу... сиверко... Да уж и года-то мои ушли... пословица-то верно говорит: у старого коня не по-старому хода...

Все это он говорил каким-то особенным, больным, хриповатым и растянутым голосом, глядя на меня небольшими слезящимися глазами из-под густых, рыжеватых, спустившихся вниз бровей. Тонкие нервные и посиневшие губы то и дело в промежутках между словами кривились у него не то в злую, не то в какую-то жалкую, скрываемо-робкую усмешку.

Одет он был в заношенную, старую, завалявшуюся одежду. Подшитые валенки промерзли, и он, переступая ногами, хлопал подошвами по полу, точно деревяшками...

— Проходи,— сказал я,— что ж стоишь у порога? Проходи к огню... садись... может, ноги прозябли, так разуйся!.. Положишь в печку пока валенки-то посушить...

— Ничего,— ответил он.— Ладно!.. Отойдут... ты не беспокойся... невелик, чай, барин-то...

— А что ж, барин, что ли, один зябнет-то,— сказал я,— а нам и зябнуть нельзя?..

Он засмеялся и потер руки.

— Да похоже, что так,— сказал он.— Похоже, Павлыч,— повторил он, садясь к столу, где горела лампочка, и свет от нее из-под скосившегося на сторону и приподнятого абажура падал на его лицо,— нас везде жмут... давют нас... со всех четырех сторон ветер нам встречу, ей-богу!..

— Ну, погоди, дай время: переменится, в спину будет дуть,— сказал я и велел жене поставить самовар.

— Напрасно это ты,— сказал он.— Коли для меня-то, не хлопочи... беспокойство вам...

— Какое же беспокойство?— вступается жена.— Он у нас скорехонько поспевает... посидишь... обогреешься...

— Да так-то оно так,— согласился он,— я не об этом.

— А об чем же?..

— Да неловко... приехал ночью... самовар... забота... хлопоты... гость какой, подумаешь, заявился...

Но говорил это он только так себе; на самом же деле сразу было видно, что предложение посидеть, погреться, попить чайку было ему приятно. Он сразу как-то просветлел, и вместо той не то злой, не то испуганной и недоверчиво-напускной улыбки на тонких губах у него заиграла другая, приветливо-доверчивая и простая.

— А я к тебе, родной,— начал он, потирая, очевидно очень прозябшие, руки,— дельце есть... посоветоваться... написать надо прошение... Сделай милость, помоги... я отдам... денег у меня сейчас, по совести говорю, один гривенник; ну, я тебе картошкой аль еще чем отблагодарю... Будь покоен, за мной не пропадет.

— А что такое у тебя случилось?

— Да что, способие отняли... не стали давать... Допрежь давали, а теперь нет... Что станешь делать?..

— Какое способие?

— За сына... сын на войну у меня угнан... второй месяц пошел — слуху нет... жив ли, помер ли, неизвестно. За него вот давали мне, а теперича не дают... отменили...

— Кто же отменил?

— А я почем знаю?.. Начальство, знать, наше... в волости... члены-то эти... шайка-то...

— За что же?.. Чудно!

— Да говорят, что не за что мне... здоров я... работать могу... А допрежь-то где же они были? У меня, эва, бумага есть от доктора... свидетельство, что нездоров я, неспособен к труду.

— Покажи-ка!

Он полез в карман, вынул оттуда какой-то большой кошелек, долго открывал его толстыми и, видимо от сильного волнения, трясущимися пальцами и, наконец, достал сложенную бумажку и подал мне.

— На вот, гляди,— сказал он.— Докториха мне написала.

Я развернул бумажку и действительно прочел в ней, что такой-то и такой-то крестьянин болен и что недавно

только лежал в больнице. Было написано, какая у него болезнь и что болезнь эта хроническая.

— Так ты, чудак, бумажку-то эту и показал бы членам-то...

— Показывал... «Это, говорят, ничего не значит. Ты, говорят, к труду способен». А какой я, прости господи, к шуту работник... одышка у меня... кашель... подкатывает под это вот место... вздохнуть нельзя.

— Так как же быть-то? — спросил я.— А раньше, говоришь, выдавали?..

— Выдали один раз... ничего, слова не сказали, а теперь нету. У меня один сын... растил, растил... Ну, думаю, слава богу, вырастил помощника... женил... баба осталась молодая... ребенок... другой на дороге... пошел, оставил с кладью... Старуха моя, знаешь небось, куды она годна?.. Я плох, а она вовсе ошметок... каки мы работники?.. Хожу через силу... плачешь, да идешь... Где правда-то?.. Нельзя так... не закон...

— Ну, а молодой-то дают? — спросил я, глядя на его взволнованное лицо.

— Дают... надо бы еще ей не давать! Так ведь что ж, что ей дают?.. Ей — ей, а родителям престарелым тоже полагается... а что полагается — отдай!.. Не свое дают... мой сын... легко мне, а?..

— Не знаю я, брат, дядя Петр, ей-богу, этих порядков. Как тут быть, не знаю.

— Надо прошенье писать... бумагу...

— Куда?..

— В город... учили меня... в комитет... и эту вот грамотку,— он показал на докторское свидетельство,— приложить надыть туда, к прошению-то... Напиши, сделай милость!.. Я было в город сунулся к одному человечку насчет этого, а он говорит: «Давай три целковых, напишу, выйдет тебе спосо́бие...» Вот он нонче, народ-то какой, ободрать рады, а не токма что человеку помочь... Пытал я его, сукина сына, гонять... испушил матерью... Я так полагаю,— помолчав немного и высморкавшись, продолжал он,— потому они мне не стали выдавать, что осерчали на меня за язык мой... за язык я за свой пропадаю, истинный господь!

— Это как же так за язык?

— За правду... правду я им ляпаю... А что ж мне их бояться-то!.. В волости намедни писарь ко мне выскочил,

начал кричать, а я ему говорю: «Ты, говорю, постой, не кричи, не распространяйся очень-то... Ты, говорю, кто? Ты работник мой. Кто тебе жалованье платит?.. Мы!.. Я!.. Ты меня слушать должен, а не я тебя...» Не понравилось это ему. Старшина вышел... тот тоже начал. «Что, говорит, тебе больше всех надо?.. Чего орешь, глотка поганая?..» Я и тому обедню отслужил. Вот они за что меня и возненавидели... Как же,— продолжал он, все больше и больше волнуясь,— было как-то не так давно собрание в волости насчет ишь вот этих самых способий-то, кому давать, кому не давать... И я случись там... Прихожу, а они все, собравшись в комнате в другой... затворимшись сидят тама. Я у помощника писаря спросил: «Можно туда?..» А он говорит: «Нет». — «Почему ж такое?..» — «Потому, говорит, что это дело при закрытых дверях делается».— «Как так? Почему при закрытых?» — «А потому, говорит, что тебя, дурака, не спросили...» Послал меня подальше... Ну, я его, мошенника, щенка белогубого, отстранил да туда, к ним, к членам-то этим, в комнату. Вот они на меня все вскинулись! «Ты куда? Во-о-н! Нельзя!» — «Почему такое, говорю, нельзя, объясните? Я знать хочу, что у вас тут такое, какие секреты? Почему вам можно, а мне нет?.. Аль я понять не могу, дурнее вас, что ли?..» Ну, пошел их катать.

— И что же? — заинтересовавшись, спросил я.

— Ну, что, известно что, не пондравилось... выставили меня... вывели вон... Я и к графу к самому намедни было ходил в город,— опять немного помолчав, продолжал он,— по этому делу... ему объяснил... бумагу докторицыну показывал.

— Ну, а он что?..

— А он: «Я, говорит, ничего не знаю. У нас, говорит, ведь там есть в волости члены. Это не мое дело, к ним обращайся».— «Да какие, говорю, вашеся, тамотка члены, коли они во внимание не принимают... рта разинуть не дают? Кому не надо, идет, говорю, способие, а у меня отобрали».— «Не знаю я, говорит, этих делов... Надоели вы мне, черт вас носит! Подавай прошение в комитет». Что ты станешь делать, а? Тот говорит: «Не знаю, не мое дело», другой говорит: «Не знаю, не мое дело...» Кто же знает-то? Царь велел выдавать. Мой сын-то, не чужой кто... может, уж убит теперича... кровь пролил... надо ведь это понять тоже... меня-то кто же кормить должен, а?

Нет, врешь! Я это дело так не брошу.. я найду свое!.. Даве к попу ходил, батюшке к нашему, к отцу Василию... тот тоже на меня взъелся... накинулся, точно с цепи сорвался... наговорил, на возу не увезешь... все вспомнил... всем попрекнул: и что в храм-то я господен не хожу, и что летось постом не говел, и что должен-то я ему, недодал за венчание... все вспомнил, и что, донес ему кто-то, в среду и в пятницу молоко хлебаю, постов не соблюдаю... А мне доктор беспременно молоко хлебать велел... кого слушать-то? «Ты, говорит, такой-сякой, в храм не ходишь... не вижу я тебя с коих пор... В Николу, и в тае не был...»— «Да мне не в чем, говорю, костюму нету».— «Да какой тебе костюм нужен? Нешто, говорит, костюм ты показывать ходишь?.. Девка ты, што ли, барышня, женихов выбираешь?.. Ты богу идешь молиться, а не костюм показывать...» — «Да молиться-то, я ему говорю, я и дома могу... все одно, и еще лучше... никто не мешает, и я никого на грех не наведу».— «А ты, говорит, не кощунствуй, еретик! Я, говорит, тебя за это за хвост да об угол... все мозги вышибу. Граф Толстой какой, говорит, Максим Горький выискался. Нанюхался, говорит, духу-то, заразы-то»,— говорит... Уж он меня, уж он меня!.. Слушал я, слушал, взяла меня злость, говорю ему: «Да что же, говорю, ваше преподобие, ходить-то к вам? У вас ведь нового ничего не услышишь... все одно и то же...» — «Этта как же так, спрашивает, не пойму я: «Все одно и то же», объясни...» — «Да так, когда ни приди, все одно «господи помилуй» да «подай господи» Максимыч-дьячок жует. Заснешь, говорю, слушавши его... а читать начнет, все одно как тетерев на току бормочет: и рад бы разобрать, да нешто мысленно?.. Торопится... да выпимши постоянно али с похмелья... какой уж он читальщик!.. Он для смеху рожден, а не для этого дела». Ну, сказал я ему это, да и сам не рад. Знаешь, чай, каков он у нас? Порох... огонь. Опять же сила в нем Самсонова... человек нерабочий, неломаный... пьет, ест хорошо, в удовольствие... расперло его всего, аки распорками... жиру одного, сала ежели, скажем, натопить из него, боле чем из хорошего борова натопишь... Ну, ладно... сказал я это ему, а он, не будь глуп, ни слова не говоря, подошел ко мне, глядит на меня, ест меня глазами, перекосил рыло на сторону, зубы ощерил, протянул эдак вот руку свою, словно Минин-Пожарской в Москве, да как сгребет меня за это вот за место, за ши-

ворот! Я, понимаешь, сразу подумал, что кончик мой пришел... смерть моя!.. Словно вот, истинный господь, клещами железными ухватил, духу не переведу, глаза на лоб полезли... сичас издохнуть, не вру! Повернул меня взял к двери, ткнул рылом-то об нее, отшиб я ее, настежь расхлебяснул... трепыхаюсь в его клещах-то, аки куренок под ножом... дрыгаю пятками-то, норовлю его как-нибудь в живот вдарить... Ладно... хорошо. Выволок он меня сперва в сени, а потом на крыльцо, а с крыльца вниз ступеньки... высоко... поставил на краю... обождал чуток... дал передышку... да потом ка-а-ак шпокнет мне по этому вот месту, на чем сижу, коленкой, так я словно птица с крыльцато спорхнул, ей-богу! А он кричит: «Вот тебе, говорит, пособие, а мало — приходи, еще дам... прибавлю! Я тебя выучу, как языком трепать! Ты у меня будешь знать, с кем и что говорить!..»

Он помолчал немного, посмотрел на меня и спросил:

— Ловко, а?

— Хорошо,— ответил я.

— На что уж лучше! Вот ты тут и поживи, найди правды. Ты думаешь, как лучше, по-хорошему, ан тебе везде, куда ни пришел, комом в рыло. Как терпеть-то, а?..

Он опять помолчал, вопросительно глядя на меня, и, не дождавшись ответа, заговорил:

— А то вот со мной еще грех вышел... опять через язык свой пострадал... Ты ведь нашего кассира волостного кредитного товарищества, Егорку Килу, знаешь? — спросил он.

— Ка-ак не знать!.. Знаю... имел дело...

— Имел?.. Ну, стало быть, говорить тебе нечего... Попал я в контору, в кассу эту самую... денег просить пришел... понадобились мне... нужны... за пастушню отдать да на сапоги на головки себе... необходимость заставила: ходить было не в чем... Пришел... а тогда, в те поры, казенка не прикрыта была... торговала. Хотел было зайти, загубить гривенник, да раздумал: пахнуть будет, неловко, думаю себе. Не пошел. Опосля, мол, зайду, выпью. Ну, пошел в контору, отдал старшим книжку, стал ждать. Собрались это члены, гляжу... кассир самый, Егорка Кила, приехал... ушли в другую комнату... там у них, значит, совет свой... обсуждение дела... Стали вызывать... тот идет... другой идет... оттеда выходят с деньгами. «Полу-

чил?» — «Получил».— «Дали?» — «Дали». Слышу, кричат: «Петра Барабошкин...» — «Здесь, говорю. Вот он я!» — «Пожалте!..» Вошел. Сидят. Старшина — посередке, члены — по бокам. Кассир Кила насупротив старшины. Поздоровкался. Подает мне старшина книжку пустую. «Вам, Барабошкин, в ссуде отказано».— «Почему так? Другим даете, а мне отказ?» А Егорка Кила сейчас с языком: «Ты тогда брал, помнишь, не отдал к сроку».— «Так я процент платил».— «Нам проценты не важны. Нам надо, чтобы к сроку вносили, во-время».— «Да коли у меня не было».— «А нам какое дело?.. Брал, стало быть, на что-нибудь надеялся... Брать-то хорошо... все вы ловки. Да потом, говорит, ты пьешь. Дай тебе, а ты отседа прямо в казенку...» Ну, уж тут меня, понимаешь, Павлыч, взорвало... Ошарашил он меня словами этими... обварил кипятком... Я ему, да и всем им задал ходу... остались довольны... будут помнить Петрушку Барабошкина.

— А денег-то все-таки не дали? — спросил я.

— Как не дали? Дали. Уйди только, Христа ради, с глаз долой... не выживут меня никак... впиялся я в них, аки клещ... ей-богу! За язык-то вот за мой все они меня не любят... поперек глотки я у них встал... Вот теперича опять пошли: способие, вишь ты, отняли... Решили своим советом, что к труду я способен... н-да... Но только дело это я так не брошу... не-ет... пока дух из меня останный не выйдет, не дамся!.. Старшина вон говорит мне: «Что тебе, такой-сякой, больше всех нужно?.. Глотка ты чертова! Привязывал бы язык свой поганый...» — «Нет, не стану. Я рожден для правды, умру за нее!» — «Кому она нужна, твоя правда? На тебе вся она и будет — твоя правда, как кнут на кобыле. Вша ты, говорит, а тоже суешься, прешь... прешь... других учишь... молчал бы, как таракан в щели...» — «Вам, говорю, можно, а мне нельзя?.. Вы небось для нас, а не мы для вас. Вы наши работники. Мы вам плотим неизвестно за что. Я над тобой хозяин, а не ты надо мной». Обозлил его... довел до дела. Земскому хотел нажаловаться. Небось и нажаловался... н-да!.. Гвоздь я для них... вот они меня с этим способием-то и прижали ко время... не дают. Как тут быть? Напиши, сделай милость.

— Да выйдет ли толчина-то какая-нибудь из этого? Написать недолго.

— Да как не выйти?.. У меня свидетельство... не зря

я... Ей-богу, ведь по совести говорю, не работник я стал... задыхаюсь... поясницу не разогну... сме-ерть... А надо... надо работать... через силу, а делаю. Дрова вот теперича на станцию вожу из рощи... четыре с полтиной за сажень. Ворочаешь, а добыча остается — покурить только. Овес дорогой: полтора рубля мера. Сено — семь гривен. Самому прожить надо, а много ль наложишь? Половинку не положишь, четвертку аль уж от силы три восьмых. Встанешь с полуночи, едешь накладать в рощу. Пока накладаешь... то... се... хвать, утро... поедешь без мала двадцать верст, да горы все... один Грачковский овраг чего стоит протащить... Лошаденка плохонькая: первая соха только будет, боронка еще, много на нее не наложишь... жалеешь... зарежешь... Приедешь туда, за обед время... покеда сложишь, покеда чай пьешь, глядишь: темно... ночь. Домой приедешь вовси уж поздно... отпряжешь пока... пожрешь... время идет... ляжешь — глядь, уж петухи запели, вставать надо... Да что уж, горе, ей-богу! Когда мы жить-то будем как надо?.. Когда полегчает-то, а?..

— Не знаю, друг!

— Опосля войны, может?

— Очень просто... может быть. А ты какого же облегченья ждешь?

— Да так... вопче... сказать не умею, чего, а надо бы... очень уж, того, во всем плохи мы, темнота, глухари... Ну, возьми ты вот хучь меня. Гляди: вот он я сижу! На что я похож, а? На всех зверей... Не дожимши вот веку, подыхать надо... изломан весь... исковеркан с младенчества... а чего ради, подумаешь?.. Чего приобрел, весь век ломамши? Каку радость видал? Какие просветы?.. Спроси: досыта едал ли когда как следует? Картошка да хлеб, хлеб да картошка — вот и вся еда... А одежа? Эва, гляди, весь вот век эдак хожу, хуже нищего... Спроси, чего знаю? Чему учен? Ничему. Ворочать, ломать неплошь лошади только и умею. Грамоте, и той не обучен. Трех сосчитать не умею. Записку какую разобрать — все в люди беги... ничего сам не могу... все жду: другие помогут... Все мы вот так и живем, все ждем чего-то, помог бы нам кто-нибудь, а сами ничего не можем. Куды нас сунут, то и ладно. А говорить стал, сейчас тебе рот прикроют, молчать заставят: «Не дыши, не твое дело!» Плохо, родной!.. Как ни поверни, все плохо... куда ни сунься, везде потемки, везде лоб расшибешь... н-да...

Он замолчал и, моргая глазами, уставился на огонь в лампе, что-то думая. Мне стало и неловко и грустно. Жена налила ему чаю и сказала:

— На-ка вот, выкушай! Будет тебе тоску-то нагонять! Не один ты плохо живешь, и мы не слаще тебя...

— Сына, родная, жалко,— сказал он, принимая от нее чашку с чаем.

— Мало что! Не у одного у тебя.

— Растил, растил... ходил, ходил... вырастил, женил, думал: слава тебе, господи, дождался... вздохну, мол... Ан вот...

Он не договорил и поперхнулся. Взял дрожащими пальцами блюдце с чаем, отхлебнул раз, другой, поставил его на стол и... заплакал.

Я посмотрел на него и почувствовал, что мне кто-то как будто ткнул шилом в сердце. А жена не вытерпела и сквозь слезы сказала:

— Полно... эх ты, а еще мужик!

— Горько, родная... душа вся изныла... не стерпишь никак... Дома-то у меня, ты бы пришла, посмотрела: ад кромешный, а не жизнь. Старуха плачет, глаз не осушает... молодая ревмя-ревет день и ночь... недохватки, нужда, я больной... Думаем все, гадаем: где он? Жив ли? Слухов нету. В девятнадцатом он в сибирском стрелковом полку в десятой роте служил... Убили небось... оставил нас... Поп вон говорит: «Венец мученический принял, царство небесное заслужил...» Говорить-то легко, язык-то без костей: «царство небесное»,— кто его видал-то, а? Говорить-то все можно. «Ну, а ихних-то бьют, говорю ему, ерманцев-то энтих, австрийцев-то, те тоже, стало быть, в царство небесное пойдут, а? Люди небось тоже... тоже неплошь нас подневольные... у господа бога небось разницы нету... все равны... все люди, все одного отца дети...» — «Мы, говорит, христиане, за правду воюем, а они нет».— «Да я тебе говорю, ваш преподобие, про народ... про чернить про ихнюю, а не про тех, кто войну затеял. Тех, известно, в ад кромешный, коли он есть, посадят. Народ-то ихний... тоже ему, неплошь нас, говорят, что за правду. Тут как быть?» — «Ты, говорит, свинья, дурак! А язык твой поганый пришить надо, для того чтобы зря не болтался. Язык твой болтает, а голова не знает».— «Да уж видно, что так, говорю ему. За язык-то вот за свой я и пропадаю... Тебе хорошо говорить, за чаем-то

сидя... у тебя никого не взяли. Что я вот один-то стану делать, а?»

— Может, господь утишит войну,— сказала жена.— А внучек-то велик ли?

— По третьему году... веселый парнишка... звенит, аки колокольчик, с утра до ночи... матери-то он всяе душу вымотал... сама она, дура, виновата, научила его про отца говорить: «Вот придет, скоро гостинцу принесет». Он теперича и пристает к ней: «Мамка, скоро ли тятька придет с гостинцами?..» А она брюхатая... извелась вся... страшная стала, желтая, злая, слова ей не потрафишь сказать... и все плачет, и все плачет, и все, милая ты моя, плачет! А мы-то со старухой, глядя на нее, казнимся. Нам-то она всяе душу вымотала. Мы-то, глядя на нее, тоже. Она ревет сидит, а мы пуще... Ночью иной раз в полночь примемся все трое. Ветер воет на улице, а мы пуще... а мы, родная ты моя, пуще!..

Он опять, как и давеча, поперхнулся и заплакал.

Я не выдержал и вышел из избы на улицу. На темносинем небе, как далекие раскаленные угольки, мигали и горели звезды. Серп месяца висел налево, на востоке, и свет его, молочно-бледный, падал на землю. Было морозно и тихо. Далекое небо, звезды, лес, поле — все молчало, но в этом молчании чудилось что-то такое, отчего мне еще больше стало грустно...

1916

Новые полсапожки

I

Задолго еще до праздника, когда только что подуло теплом и начало помаленьку таять, жена Ивана Захарыча стала приставать к нему насчет полсапожек.

— Девке четырнадцатый год пошел,— говорила она,— скоро замуж выдавать думать надо, праздник великий на дворе, а она босиком ходит. Обуться не во что. Иди в город, купи тама ей хоть какие-нибудь подержанные. Сам посуди: праздник, все радуются, гулять пойдут на улицу, а она дома сиди.

— Ладно,— всякий раз давал ей на ее слова согласие Иван Захарыч,— куплю. Готовь лимонов, а купить дело не хитрое: пошел да купил,— всего и дела. Лимонов, говорю, готовь, а за мной дело не встанет — куплю. Только вот, где взять-то их? Родить ежели,— не могу: канплекция не та. Может, ты не родишь ли, а?

— А уж ты дурака-то не валяй! Не молоденькой небось! Тятя детям. Тебе, дураку, во всем смешки. Добыть надо. Достать.

— Укажи, откеда достать-то, я достану.

В таких разговорах дело дотянулось до Страстной, и накануне четверга, когда в городе обыкновенно был рынок, жена пристала «без короткого» к Ивану Захарычу, чтобы он рано утром шел в город и покупал бы там дочери, тринадцатилетней девочке Феньке, полсапожки. Лимонами они к этому времени сколотились.

В четверг утром она разбудила его чем свет, «до петухов», когда только что еще чуть-чуть начало белеть в окнах.

Спавший по привычке на печке, несмотря на страшную духоту и теплынь в вросшей в землю небольшой восьмиаршинной избенке, Иван Захарыч нехотя, с ворчанием спустился оттуда и в полупотемках, осторожно шагая через спавших вповалку на полу ребятишек, прошел к столу в передний угол.

— Зажгла бы ты покеда лампочку, что ли,— сказал он,— не видать ни фига. Эк тебе не спится! Ранину эдакую подняла. Не успею, что ли?

— Когда мне спать-то? — ответила ему на это худенькая, маленького роста, востроносая жена его.— Спать-то некогда. Бегаю все в хлев, гляжу: не дал ли бог коровку? Не отелилась ли? Жду с часу на час.

— Другая неделя пошла, ты все ждешь,— сказал Иван Захарыч.— Ничего-то вы, бабы-дуры, не понимаете...

— Ты много понимаешь! Молчи уж! Нонче жду. Беспременно должна быть. Все вымя, как распорками, расперло у ней.

— Дай бог,— сказал Иван Захарыч,— не худое бы дело для праздника.

— Ежели, бог даст, телочку принесет, на племя пустим, а бычка попоим недельки две да продадим. Каки деньги охватим! — сказала жена, заранее радуясь будущему бычку или телке.— Только бы благополучно растелилась. Нонче, говорят, поветрие, что ли, такое, все с баранцами, все неблагополучно.

Иван Захарыч промолчал и начал обуваться. Пока он копался с сапогами, натягивая их на грязные портянки, пока ходил на мост за дверь умываться,— в избенке делалось светлее. Свет как-то, точно боясь чего или стыдясь того, что он осветит, робко и медленно вливался через маленькое оконце в избу.

На полу, на разостланной соломе, прикрывшись сверху какими-то дерюжками, спали ребятишки Ивана Захарыча — три мальчика и девочка, та самая Фенька, для которой он шел сегодня в город за полсапожками. Фенька эта спала с краю, ближе к двери, и, проснувшись, молча лежала, слушая, о чем говорят тятька с мамкой. Когда Иван Захарыч совсем срядился в поход, она приподнялась и робко сказала:

— Тять, ты мне на высоких каблуках, смотри, выбирай! Таки, как у Машки Звонцевой.

— Рожна тебе! «На высоких каблуках». Спи! — сказал ей на это Иван Захарыч.— «На высоких каблуках»,— передразнил он ее.— Давай денег — на высоких куплю. Баловство одно. Спроси вон у матери, она росла, в твои годы, спроси, что носила?

— Ну, мало что прежде было! — отозвалась жена.— Теперь по-другому пошло. Люди не те. Да и что ж, самделе, не разумши же девке ходить.

— Пойдешь и разумши,— сказал Иван Захарыч и добавил: — От чужого добра не стыдно и заплакамши пойти. Ну, я готов. Как погода-то? Не подстыло? Эх, да и ходьба-то теперь горевая! Так вот уж только, мать баловница пристала, а то бы ни в жись не пошел.

— Ладно уж, ладно, а ты иди знай! Будешь теперь собираться пять часов. Не дождешься тебя. Деньги-то взял? На хлеба. Смотри, мешочек не потеряй, назад принеси. Приходи скорей. Делать тебе там нечего — купил да назад.

— По эдакой дороге не много наскачешь,— ответил Иван Захарыч, надевая картуз и беря мешочек с хлебом.— Дожидайтесь. Приду ужо — самовар готов бы был. Лошади-то не забудь дать. Немного сена давай. Поаккуратней. Не вали зря-то! Сена-то всего ничего остается, а весна-то вон она нонче какая, не то, что летось: об эту пору пахать выехали.

— Иди, иди! Ладно уж! Диви я не знаю.

Иван Захарыч поправил на голове картуз и, сказав: «Ну, покеда всего хорошего»,— вышел из избы.

Жена нагнулась к окну и посмотрела, как он сошел с крыльца и, выйдя под окнами на дорогу, направился по ней к видневшемуся вдали лесу.

— Пошел,— сказала она.— Ну, дай бог в час! Фенька, не спишь?

— Нет, мамынька, не сплю. Я уж давно не сплю, слушаю! — отозвалась с полу дочь каким-то возбужденным, радостным голосом.— Не сплю.

— Рада небось? — спросила мать тоже веселым голосом.

— Страсть! А купит?

— Ну, вот! Знамо, купит. За этим и пошел. Нешто ему жалко? Он из последнего рад. Бедность вот только нас

одолела. Ну, да авось поправимся. Теперь усе уж не то, что допрежь было. Забыла, как по миру-то ходила?

— Помню, мамынька, где забыть!

— А теперь, слава богу, не ходим. Другим подаем. Корова отелится, нонче жду, молоко будет. Хлебушка еще покеда есть. Картошка. Живы будем. Полсапожки у тебя будут.

— Я их в праздник надену!

— Знамо, наденешь,— и, отвечая, очевидно, на свои мысли, продолжала: — Мы-то что живем — в тепле, в сухоте, как-никак сыты, а вот люди-то живут. Отец вон говорил про голодающих, в ведомостях читали намедни,— мертвых едят. Вот где горе-то! Да в эдакой-то, не дай бог, праздник. Подумать, дочка, только! А мы здесь что видим? Н-да! Так-то вот! А ты вставай-ка! Все равно уж теперь не уснешь. Иди-ка убирай скотину, а я печку затоплю, за водой сбегаю. Вставай, матушка, привыкай!

— Эх, принесет ужо тятя полсапожки на высоких каблуках, надену... Эх! — сбросив с себя дерюжинку и вскочив на ноги, радуясь, воскликнула Фенька.— Хорошо-то как, мамынька, весело!

— То-то, дура,— ответила, улыбаясь, мать.— А ты отца благодари. Хороший он у нас, простой. Ну, одевайся, иди, а я затоплю печку, сварю картошки. Поедим да убираться к празднику в избе будем.

II

Иван Захарыч, выйдя из избы, отправился по дороге через поле, почти уже совсем оголившееся от снега, над которым, радуясь разгоравшейся зорьке, трепеща крылышками, пели как-то особенно радостно, точно звонили в серебряные колокольчики, жаворонки.

Деревня, где жил Иван Захарыч, стояла в глухом месте, и от большой дороги далеко, и от станции далеко, и от города, куда он шел, тоже не близко. Деревня была небольшая, всего двенадцать дворов. Езды к ней и из нее было мало, разве только свои мужики проедут. Дорога до леса, где он шел, местами еще была покрыта ледком, и идти приходилось то через лужи, то по льду, то по грязи. Не доходя до лесу, дорога заворачивала влево, около болота, покрытого водой. Около берегов этого болота

летали с каким-то особенным, похожим на плач, криком чибисы.

В лесу еще там и сям лежал снег, и от него поднимался какой-то особенный, пахучий туман. Лес уже жил новой, весенней жизнью. В него уже налетели пернатые гости, наполняя и пробуждая его от зимней спячки своими разнохарактерными голосами. Деревья — то высокие, могучие и прямые, как свечи, ели, гордо возносящие свои зеленые кроны к голубому весеннему небу, то развесистые березы, то толстые корявые осины — стояли тихо и как-то задумчиво-величаво, точно какое могучее, знающее свою силу войско.

Иван Захарыч выломал себе палку и, помахивая ею, шел не торопясь через этот лес. Когда он миновал его и опять вышел в поле, солнце уже взошло и било ему прямо в лицо. Здесь, где он шел теперь, дорога была лучше и идти было весело. По сторонам бежали ручейки, и рокочущие струйки воды блистали, переливаясь на солнышке, как серебряные. Где-то за полем, на опушке мелкорослого осинника, слышно было, как токовали тетерева и кричали, перелетая с места на место, белоносые грачи.

До города считалось верст семнадцать. Расстояние это, несмотря на плохую дорогу, Иван Захарыч прошел как-то незаметно. Человек он был нрава веселого, по-своему любил природу, радовался и весеннему дню, и яркому солнышку, и пению птиц, и открывшимся из-под снежного покрова озимым, покрытым еще зимней плесенью, как паутиной. Шел он, думал свои думы и улыбался про себя, представляя картину, как купит своей дочке полсапожки, принесет их ужо домой, как она их примеряет, как будет рада и как ему самому, видя ее радость, тоже будет радостно. Несколько раз он принимался петь тоненьким голосом любимую свою песню: «Когда я был слободный мальчик»,— но пение как-то не выходило, он бросал и, присев, где посуше, доставал кисет, зажигал «динаму», закуривал и сидел несколько минут, отдыхая и греясь на солнышке.

Версты за три до города он догнал знакомого нищего Маркелыча, который тоже зачем-то шел в город, и остальную дорогу вплоть до города шел вместе с ним. Маркелыч шел в грязных, растоптанных лаптях, с сумочкой за спиной и, после того как поздоровался с Иваном Захарычем, видимо, обрадовавшись ему, принялся жаловаться на свою жизнь и ругать советскую власть. С его слов выходило,

что виноват не он сам, Маркелыч, не умевший устроить свою жизнь, а виноваты «энти-то вот, дьяволы-то, которые все по-своему-то сделали».

— Допрежь,— говорил он, спотыкаясь на ходу, поспешая за Иваном Захарычем, шлепая лаптями по грязи,— бывало, к празднику-то Христову все у меня было. Подавали-то нешто так? Бывало, отворотят тебе ломоть-то во какой — фунта три, а нонче погодишь. Не дают. Боятся. Другой и дал бы, да боится, напуган: «А-а-а, скажут, у него, знать, хлеба много. Отобрать!» Придут да отымут — всего и дела. Безобразие пошло во всем. Разбежалось стадо без пастуха. Некому загонять. Загулял пастух. Сам ты посуди, Иван Захарыч, нешто без царя мысленно?

— Н-да,— соглашался Иван Захарыч,— пастух нужен, да только не для всех, а для овец круговых. Это ты верно сказал. Ну, а я про себя скажу, мне все едино — есть царь, нет ли, я, нечего бога гневить, худого не видал от нынешней власти. Я, прямо надо говорить, лучше живу, ничем прежде жил. Ей-богу, не вру!

— А чем лучше-то?! — как будто даже обидевшись, воскликнул Маркелыч.— Нашел чего хвалить! Говорить-то об них нехорошо, не токмо что. Слышал, нонче вот, говорят, из собора обирать будут украшения.

— Нет, не слыхал.

— Ну, вот, а толкуешь. Вот до чего дело дошло: храмы грабить. Золото, серебро, каменья драгоценные давай, значит, им, а они ишь продадут их да хлеба голодающим купят. Вот ведь что удумали, а?! Что скажешь насчет этого?

— Да что скажу: ежели по себе судить, как я голодал, бывало... Жена брюхата ходила, тяжелая, мы все дома сидим, а она побежит, бывало — да зимнее-то время, холодище, вьюга — по миру. Ждем, ждем ее! Придет к вечеру пустая. Взвоет, бряхнется, а ребятишки — на нее глядя, а я сижу, молчу. Так вот, думается, в те поры не токмо что украшенье с иконы украсть да продать, а самое бы икону-то продал на хлеб. Ей-богу, и греха нет. Так и здеся. Ежели точно взято да на хлеб голодным — хорошее дело. Я тоже за это стою.

— Чудак человек! — воскликнул Маркелыч.— Да нешто голодным-то попадет?! Гы, го-о-лодным! Ничего им не попадет — все сами слопают. Жидовская штука, дураку, кажись, и тому понятно.

— Болтай ногами-то! — перебил его Иван Захарыч.—

Нельзя этого сказать. Не верю я. Врут, кому надо, а по-моему, опять скажу, хошь ты сердись, хошь не сердись, хорошее дело.

— Ты что же,— пройдя немного молча, спросил Маркелыч,— комуния тоже, что ли, а? Больно за них стоишь-то!

— Комуния не комуния, а по правде надо делать, помогать друг дружке. Я вот, недалеко ходить, про себя скажу, про наших православных хрисьян. У меня вот изба падает, а лесу мне отвели, дали, привезти его на место надо теперь. И недалеко перевозить-то, а что я один сделаю? Думаю: дай попрошу помочь православных! Попросил: так, мол, и так, православные, давайте всей деревней перевезем. По разу, по два всего и съездить придется. Так что же думаешь, поехали? Ни один не поехал. У того лошадь отощала, у этого — подсанков нет. Так и не поехали. А что, кажись, мирским бы делом, плюнуть всего! Вот в чем, друг, дело-то. А кабы мы все-то объединились, у нас бы дело-то скорей бы пошло, а одному-то — пословица говорит — и у каши не споро.

— Всяк о себе должен прежде всего думать,— упрямо сказал Маркелыч,— а это что за человек, коли своя крыша упала, а он чужую кроет? Грош ему цена.

— Да ты вот весь век по миру ходишь, а все у тебя ничего нет, у одного-то,— сказал Иван Захарыч.— Ешь мирской хлеб, а сам ничего никому не даешь.

Маркелыч обиделся.

— Я — убогий человек,— сказал он.— С меня взять нечего. Я — нищий.

— Какой ты убогий! Набаловался ты, не в обиду будь тебе сказано, работать не любишь, вот тебе поэтому большевики-то, комуния-то, и не по вкусу. Как-никак, а они всех, брат, работать приучили.

— Работа дураков любит! — ответил на это Маркелыч и больше до самого города не стал говорить с Иваном Захарычем, как тот ни старался навести его на это.

III

В городе они расстались. Маркелыч побежал к собору узнать, что там делается, а Иван Захарыч по старой привычке, прежде чем идти на рынок, направился в трактир.

Трактир был около рынка, переполненного уже народом. Двери трактира не успевали затворяться, и Иван Захарыч, войдя в этот трактир, долго не мог найти места. Наконец, ему собрали, но не одному, а вместе с какими-то двумя бабенками. Сидя за чаем, он разговорился с этими бабенками. Рассказал, кто, и откуда, и зачем пришел. Бабенки, выслушав его, дали ему совет, где и у кого покупать полсапожки.

— Ты гляди, родной,— говорили они,— кимряки туда привозят. Смотри, у них не вздумай взять. Наградят таким товаром — бросишь.

— А я почем знаю: кимряки ли, нет ли,— сказал Иван Захарыч.— Кто их разберет, на лбу не написано.

Бабенки охотно, точно это было ихнее собственное дело и забота, научили его, где и у кого купить.

— Подороже дашь, да зато благодарить будешь.

Иван Захарыч послушал их и, напившись чаю, пошел покупать. Сверх всякого чаяния, он очень скоро нашел и сторговал полсапожки такие именно, как надо, как просила Фенька, на высоких каблуках. Обрадовавшись покупке, он, довольный и веселый, пошел пошляться по рынку. Домой еще обратно идти было рано, а на рынке было весело, и для него, давно не бывавшего в городе, любопытно. Он ходил, прицenялся к товару, который ему вовсе был не нужен, ахал, узнав цену, и отходил, говоря: «Нет, не надо. Не для нашего рыла», слушая посылаемые ему вдогонку ругательства.

Утомившись от бесцельного шатанья по рынку в толпе незнакомых людей, слушая крик, ругань, божбу, Ивану Захарычу захотелось посидеть, отдохнуть да и потом трогаться ко дворам. Подсчитав свои капиталы, он подумал что-то, усмехнулся, махнул рукой и опять пошел в трактир.

— Посижу маленько еще,— сказал он сам себе,— отдохну. Послушаю, про что люди говорят, да и домой.

В трактире на этот раз народу было гораздо меньше, и Иван Захарыч без всякого труда занял в заднем отдаленном углу, около ободранной печки, стол. Грязный, худой, как скелет, половой, измученный и злой, швырнул ему на стол «пару», потребовал вперед деньги, долго разглядывая их на свет — не фальшивые ли,— ушел.

Несколько раз, пока Иван Захарыч сидел, к его столу

подходили какие-то подозрительные попрошайки-нищие, «коты», которым Иван Захарыч отказывал, говоря каждый раз: «Бог подаст». Под конец, когда он думал было уходить, к его столу подошла откуда-то взявшаяся — Иван Захарыч не заметил, откуда,— какая-то баба вместе с девочкой-подростком, одинаковой по росту с его дочерью Фенькой. Она, эта баба, а сбоку у ней девочка, как-то крадучись, робко и боязно, пододвинулась к столу, где сидел Иван Захарыч, и баба, поклонившись сперва глубоким поясным поклоном, тихо и жалобно сказала:

— Подай Христа ради голодающим...

Пока она говорила, ее девочка, стоя сбоку, жадными, голодными глазами смотрела на ломоть хлеба, лежавший на мешочке на столе у Ивана Захарыча. Иван Захарыч заметил, как она смотрит, и, зная по опыту, что это значит, молча взял ломоть и, подавая его девочке, сказал:

— На-ка, ягодка, покушай!

— Спасибо тебе, кормилец,— еще ниже поклонившись, сказала баба, а девочка взяла ломоть и сейчас же поднесла его ко рту, жадно впустив в мягкий, душистый край его белые острые зубы.

Иван Захарыч глядел на нее, вспомнил вдруг почему-то свою Феньку и почувствовал, как у него защекотали подступившие к горлу слезы. Человек он был, как уже и говорено, добрый, мягкосердечный, отзывчивый на чужое горе, не понимавший пословицы, что, мол, «сытый голодного не разумеет» или «сытое брюхо к добру глухо».

— Давно ты эдак-то? — спросил он бабу.

— Хожу-то?

— Да. Дальняя, что ли? Откуда? Как ты сюда попала-то?

Баба стала рассказывать долгую, грустную и страшную повесть о том, что она дальняя, с Волги, что у них «божьей немилостью» все выгорело в поле, что есть стало нечего. Рассказывала, как они бились, как, не находя больше никакого выхода, бросили все и пошли куда глаза глядят. Как добрались до Москвы, как муж ее заболел здесь и умер («хоронить было не в чем, завернуть не во что»), оставя ее одну с девочкой, и как она теперь вот ходит, не знамо где, просит и живет, как она выразилась, «хуже последней собаки».

— А ты где-нибудь девочку-то пристроила бы,— сказал, выслушав ее, Иван Захарыч.— В люди бы отдала.

Гляди, ишь она у тебя вовсе извелась вся, разута, раздета.

— Пробовала, батюшка, кормилец, просить. Не берет никто. Кому мы эдакие-то нужны? Смерть моя. Связала она меня по рукам, по ногам. Здоровье мое вовсе плохое, спаси бог, свалюсь, куда ее деть? Об себе-то и не тужу, я стерплю, а ей-то, родной ты мой, тяжко. Дитя ведь еще. Сам ты посуди. Подумай-ка, легко ли?

Она не удержалась, не могла больше говорить и заплакала.

Ивана Захарыча эти слезы и весь вид ихний, в особенности девочки, резнули по сердцу. Жалко ему стало их той особенной, глубокой, захватывающей, человеческой жалостью, которая вместе и терзает сердце и наталкивает его на все хорошее. Он молчал, но у него уже там где-то, на дне души, кто-то шевелился и шептал ему, что надо делать.

— Мне бы ее хоть на эти дни-то куда девать,— продолжала баба,— на праздник-то на светлый принял бы кто. Ножки бы, кажись, тому расцеловала! Пожила бы, покеда просохнет, а там бы я ее взяла. Наказанье мне с ней. Как ходить-то теперь? Вон она в чем ходит!

Иван Захарыч давно уже видел без этой указки, «в чем она ходит», и вдруг как-то совершенно неожиданно, точно кто-то другой заставил его сделать так, сказал:

— Я, пожалуй, возьму у тебя ее на время, а там увидим, что делать.

И как только он сказал это, сразу почувствовал, точно какая-то гора свалилась с плеч и что душу его заливает какое-то особенное чувство, хочется плакать и смеяться.

Баба повалилась ему в ноги и заплакала.

— Батюшка, отец родной, кормилец,— лепетала она, захлебываясь слезами.— Да не господь ли тебя на нас послал для праздника? Ба-а-тюшка! Кормилец!

IV

Часа через полтора, рассказав бабе, где ей его найти, как называется деревня, как пройти к ней, Иван Захарыч вышел за город уже не один, а с девочкой, с новой дочкой, как он называл ее.

Ноги у девочки обуты были в какие-то рваные калижки, обмотанные грязными мокрыми тряпками. Она хлюпала ими, идя за Иваном Захарычем, и он видел, что идти ей дальнюю дорогу так, как она шла, нельзя.

«Все равно, что босиком идет»,— думал он, глядя на нее, и, пройдя верст шесть-семь, не вытерпел, остановился, сел на бережок канавы, где посуше и где грело солнышко, и сказал:

— Ну-ка, садись, разувайся! Надевай-ка на эти вот новые-то полсапожки. Ничего им не сделается. Обновляй! А там, дома, увидим, что делать. Не убьют небось! Поругают, да бросят. Простуду тебе, что ли, сам-деле, схватить? Это выходит: шуба висит, а шкура дрожит. Обувай-ка!

Девочка послушно и робко стащила с своих ног грязные тряпки вместе с калижками. Обтерла полой ноги и обула новые полсапожки, как раз пришедшиеся ей по ноге.

— Важно-то как! — воскликнул Иван Захарыч.— Ей-богу, чисто вот на тебя сшиты! Идем теперь. Вот, придем, удивятся дома-то! Ждут небось!

Дома его действительно ждали, и Фенька проглядела все глаза, сидя у окошка и глядя на дорогу.

Она первая увидала идущего по дороге со стороны леса Ивана Захарыча и закричала:

— Мамынька, гляди-ка, тятя идет! Не один идет. Ведет с собой девочку какую-то.

— Ну, болтай там не дело-то! Какую девочку? — сказала мать.

— А эна, гляди. Ей-богу, ведет кого-то!

Мать поглядела в окно и сказала:

— Взаправду ведет кого-то. Может, попутчица какая.

Между тем, пока они делали разные предположения относительно того, кто это идет с ним, Иван Захарыч подходил к избе и знал, что ему сейчас попадет. Девочка, робея, маленькими шажками следовала за ним.

Подойдя к избе, он пропустил девочку на крыльцо вперед, вошел с ней на мост и, отворив дверь в избу, пропустил опять девочку вперед через порог и вошел в избу.

Жена, дочь, мальчишки — все сгрудились около стола и, разинув рты, глазели на вошедших.

— Вот и я! — сказал Иван Захарыч, снимая картуз.— Здорово живете! Бог милости прислал,— улыбаясь виноватой улыбкой, добавил он, глядя на свою бабу.

— Это кого же ты привел-то? — спросила жена.

— А так... сиротинка одна... голодающая.

— А полсапожки купил? Где они?

— Купил. Знамо, купил. Эна они на ней, на сиротинке, надеты. Идти ей не в чем. Разумши она. Дал надеть, покуда до дому. А чего им сделается-то?

— Мошенник! — закричала жена.— Да что же это такое, а? Да зачем ты ее привел-то? Полсапожки новые надел. С ума сошел, знать, а?

Фенька, молча стоявшая, слушавшая и наблюдавшая все это, заплакала.

— Своя дочь разута, а он чужую обул. Мошенник ты, мошенник! Ра-а-сточитель! Не хозяин ты дому! Как не хотела за тебя идтить, нет, уговорили добрые люди. Пошла, дура! Вот теперь и майся!

— Чего вы орете-то? Она сейчас скинет их. Чего им сделалось-то?

И, обратившись к вновь прибывшей девочке, сказал:

— А ты их не бойся, ягодка! Они ничего. Так это они. Разувайся, сымай. Теперь, пришли домой, и босиком хорошо.

Девочка поспешно сняла башмаки и виновато стояла, не зная, что делать.

— Ну, вот, на тебе твои полсапожки на высоких каблуках,— сказал Иван Захарыч, подавая Феньке полсапожки.— Чего ты плачешь-то? Съела она их, что ли? Обувай, на, меряй. Оботри сперва.

Фенька просветлела. Схватила полсапожки, села на пол и начала примерять.

— В самый раз, тять,— сказала она, обувшись,— аккурат по ноге.

— Ну, то-то вот, а ты плакать! Чего им сделалось? Сказал — куплю, и купил. Давайте теперь чай пить. Собирайте на стол.

— А эту-то куда ж ты привел? Зачем? — кивнув на девочку, спросила жена.

— Куда привел? Домой, к нам,— ответил Иван Захарыч и, закурив, начал рассказывать жене то, что произошло с ним в городе.

Жена, по мере того как он говорил, все чаще поглядывала на девочку, робко стоявшую на полу, босую и жалкую в своем убожестве.

— О господи! — воскликнула она, дослушав рассказ.— Вот горе-то! Подумать только!

И, помолчав немного, спросила:

— Что ж нам с ней делать-то?

— А пущай живет, господь с ней! — просто и весело ответил Иван Захарыч.— Чай, не объест. Обмыть ее надо.

— Сами-то мы...— начала было жена, но не договорила и заплакала.

— Об чем ты, дура?! — крикнул Иван Захарыч, удивившись ее слезам.— Эва, дура-то! Возьмите ее! Глаза-то у тебя на мокром месте.

— Об себе я вспомнила,— всхлипывая, ответила жена.— Мы, бывало, тоже. Я по миру-то, бывало, а не подает-то никто. Придешь, бывало, а вы голодные... рев! О господи, батюшка! Вспомнишь вот, как самим-то было, так и другим поверишь. Ну что ж, Христос с ней, пущай живет. А тебя как звать-то? — обратилась она к девочке.

— Наськой! — ответила та и улыбнулась, показывая белые зубы.

А вечером, когда горела в избе лампочка и было тепло и прибрано, можно было наблюдать такую картину: Фенька, новая девочка, мальчишки с белыми головами сидели на полу и поочередно примеряли новые полсапожки, а Иван Захарыч сидел на скамейке, курил и, посмеиваясь, говорил им:

— А вы, робят, свою коммуну устройте: один, значит, походит в полсапожках — другому даст, другой походит — третьему даст. Так у вас дело-то и пойдет кругом, и никому не обидно.

1922

Понял

Старик Илья Васильевич Неробков был на собрании, куда силком затащил его сосед, кум Иван Звонарев, ездивший недавно в Москву на выставку и возвратившийся оттуда другим, непохожим на прежнего кума Ивана, человеком, с каким-то особенным азартом рассказывающим встречному и поперечному про то, что он там видел, и как его принимали, и как он был на заводе, где видел и понял, что рабочие не даром «жрут» хлеб, как до своей поездки, с чужих слов, орал он, а что они работают, и ихняя работа «куда тяжелее нашей».

— Пойдем, кум,— тащил он упиравшегося Илью Васильевича,— послушаем, что человек говорить будет. Не для себя он из городу приехал, а для нас. Неловко не идти, совестно. Диви бы у тебя дела какие, а то на печке лежишь да со снохой ругаешься. Идем. Слышал я, про германцев будет говорить, какая у них там сейчас заварошка идет.

— На кой рожон мне твои ерманцы? Знаю я их,— говорил Илья Васильевич,— спасибо! Сына у меня в войну убили, а я иди слушай про них! Не пойду!

Но все-таки в конце концов кум уломал его, и он пошел с ним.

Собрание происходило в помещении исполкома. Народу собралось человек сорок. Ждали еще, но больше никто не пришел, и приехавший из уезда докладчик приступил, сделав предварительно небольшое предисловие, к своему докладу. Докладчик, как оказалось, приехал дельный. Умело, толково и просто, не пересыпая свою речь чужими, непонятными для слушателей словами, нарисовал

он картину того, что теперь творится в Германии, и еще лучше и проще показал, «разжевал и в рот положил» то, почему мы должны и обязаны внимательно следить за борьбой германского трудового люда — рабочих.

Забившись позади всех в угол, Илья Васильевич внимательно слушал его, и чем больше слушал простую, понятную и горячую речь, тем все больше и больше, выше и выше поднималась перед его глазами какая-то темная занавеска, и за этой занавеской, когда, наконец, она поднялась совсем, он, к удивлению своему, увидал то, чего раньше до этого не видал и не хотел видеть.

А увидал он и понял, что сына его убили не те «ерманцы», такие же простые подневольные солдаты, как и его сын, а те, о ком говорил докладчик, те, которые сейчас стараются задушить и принизить таких же, как и его сын, для того, чтобы делать с ними, что им хочется, и гнать их, как «круговых овец», на убой, в огонь и в воду.

«Так вот оно в чем дело-то,— думал он,— вот им чего надо-то! А я-то, дурак, думал... Где же я прежде-то был?»

Ушел он с собрания встревоженный и пораженный тем новым, что закопошилось в его душе, и теми новыми, неожиданно увиденными им картинами, которые показал ему докладчик, открыв темную, постоянно висевшую перед его глазами занавеску.

А занавеска эта действительно висела перед ним постоянно.

Как только он, без малого шестьдесят лет тому назад, родился, так сейчас же первый повесил ее перед ним поп, после того, как выкупал зимой в какой-то лоханке, называемой купелью, наполненной холодной водой. С тех пор эта занавеска тьмы перед ним не отдергивалась, а, напротив, около нее приставлены были слуги, которые, как хорошие цепные псы, откормленные и жирные, стерегли ее, и если случалось, что находились люди, которые хотели и старались поднять эту занавеску, для того чтобы показать ему, что за ней,— на этих людей псы, караулившие ее, бросались и разносили в клочья.

Так он и жил за этой занавеской и дожил до старости, не делая самостоятельно ничего, а делая только то, что приказывали люди, караулившие занавеску.

Грамоте его не учили. «Баловство одно. На кой она нам! Жили без нее и проживем без нее»,— говорили ему,

когда он был молодой, и то же самое твердил он, когда стал «тятя детям».

«Ходи в церковь, молись за царя с царицей, исправляй праздники Миколу и Ягорья, слушай и бойся начальства, начиная с урядника, живи в грязи, жри хлеб да картошку, ворочай, как лошадь, плати оброки» — вот все, что он усвоил в своей жизни, и никогда ему в голову не приходила мысль, проходя мимо барского имения, мимо барской кухни, где с утра до ночи шла стряпня и повар с поваренком, одетые в какие-то белые балахоны, стучали ножами по столу, рубя мясо, и откуда всегда шел в открытые окна завлекательный дух, заставлявший невольно глотать слюни,— никогда не приходила мысль о том, почему же это так, за какие особенные достоинства люди, которых он называл «господами», живущие рядом с этой кухней, в роскошном доме, нарядные и красивые, постоянно, изо дня в день жрут приготовленные для них на этой кухне различные блюда, а он, Илья Васильевич, боится пройти мимо этой кухни и жрет у себя дома, в вонючей и грязной избе, какую-то мурцовку или полугнилую картошку, от которой только пучит живот.

Почему это так? Об этом он не думал и не мог думать, ибо те, которые закрыли перед его глазами занавеску, все силы употребляли на то, чтобы он, Илья Васильевич, знал, что для него так самим господом поставлено жрать картошку, а для них — все лучшее, ибо они «белая кость», а он «черная», они «благородные», а он и ему подобные — «чернять», «хамы», «подлые людишки».

И никогда также не приходило ему в голову и не казалось странным, что он почему-то быстро стаскивал со своей головы картуз или шапку, издали, еще за версту, увидя идущего барина, и отвешивал ему поклоны, на которые тот едва кивал головой и проходил мимо него, кланяющегося, так же равнодушно-презрительно, как мимо какой-нибудь паршивой собачонки.

Не удивлялся он и тому, что, например, рядом с его деревней начинались владения какой-то старой, выжившей из ума княгини, тянувшиеся и лесами, и полями, и всякими угодьями на пол-уезда, незнаемые ею, а охраняемые и управляющими, и приказчиками, и сторожами...

Как так она владеет всеми этими ненужными ей угодьями, по какому праву, почему — он не знал, а думал,

что так надо и что все от господа бога, которым его пугали и попы и все: «бог накажет», или «терпи, бог терпел и нам велел», «здесь перетерпишь, зато там, на том свете, хорошо тебе будет»... И он действительно терпел и молился каким-то своим богам, нарисованным в разных видах на досках: то бородатым, то без бороды, то изображению женщины с тремя руками, то какому-то скачущему на белой лошади всаднику с длинным копьем в руке, поражающим этим копьем в открытую пасть страшного хвостатого змея.

День за днем, год за годом тянулась жизнь его по эту сторону занавески, где все было темно, убого, принижено, забито, и когда, наконец, нашлись люди, которым ценою неимоверных усилий и борьбы удалось побороть слуг, стерегущих занавеску, он, жизнь которого была сплошная тьма, ничего уже не мог и упрямо не хотел видеть, а, как выведенный из темницы на яркий солнечный свет узник, закрывался и отворачивался от этого света.

Придя к себе домой, в избу, он застал сноху свою, жену другого (первого убили в германскую войну) сына, высокую, худую, чахоточную бабу, ругавшую сынишку Ваньку, только что возвратившегося из школы, за то, что он сел за стол есть, не помолившись предварительно богу, «не перекрестя лба», как она выражалась, в угол над столом, где висело несколько штук разного калибра икон в ризах и без них.

— Чему вас учат тама, оглашенных? — визгливо кричала она так, что звенело в ушах.— Богородицу деву радуйся и тае до сей поры, третья зима пошла, бегаешь, не знаешь!

— Да нас этому не учат,— говорил сынишка.— Чего ты пристала ко мне? Поди сама к учителю, да и скажи ему!

— А что же ты, чертенок, грубиян, думаешь, не схожу? Ища как схожу-то! Ишь ты, нахватался там! Да нешто матери-то так отвечают? Бить-то вас некому. Вон,— обернулась она к пришедшему Илье Васильевичу,— спроси у дедушки, что он тебе скажет про ученье-то про ваше!

— Дедушка сам читать и то не умеет, чего у него спрашивать-то? Он сам ничего не знает!

И, к удивлению снохи, дедушка, постоянно, каждый

раз ругавший внука по этому поводу пуще ее, на этот раз угрюмо, точно про себя, ответил:

— И правда твоя, сынок, ничего не знаю.

Ответив так, он молча, с каким-то особенным, таинственно-угрюмым видом разделся и полез на печку.

— Что это ты? Аль тама, на собранье-то, вышло что? — удивившись, спросила сноха.

Илья Васильевич промолчал.

— Чего молчишь-то? — крикнула она.— Аль, говорю, вышло что?

— Ничего не вышло,— уже забравшись с кряхтеньем на печку, ответил оттуда Илья Васильевич.

— Аль нездоровится?

Илья Васильевич опять промолчал.

— Что это на тебя наехало? — не унималась сноха.— Подшивал бы сапоги, ничем по собраниям-то на старости лет шляться! Какого рожна там услышишь, чему научишься? Постыдился бы, диви молоденькай!

— А здесь чему у тебя научишься? — буркнул Илья Васильевич.

Сноха еще больше удивилась и, помолчав, не зная, что сказать, крикнула:

— Белены, что ли, объелся?.. Тьфу! Есть-то хочешь?

— Не хочу,— ответил Илья Васильевич и, повернувшись на бок, лицом в угол, замолчал.

Сноха поговорила, поворчала что-то и, видя, что он упрямо молчит, все еще продолжая удивляться, ушла из избы убирать скотину, сказав перед уходом сынишке:

— Сиди дома, неслух! Никуда у меня не ходи. Ишь назябся — посинел весь. Ходишь, только обувь треплешь. Шут вас возьми и с ученьем-то с вашим! Бери книжку, садись читай, а уйдешь ежели — голову, ужо приду, проколочу до мозгов!

Она ушла. Ванька, чувствуя, что у него озябли ноги, обутые в несколько раз чиненные, с заплатками, сапожонки, быстро разулся и, боясь своего сердитого, постоянно пробиравшего и ругавшего его «вольницей проклятой» деда, крикнул в направлении к печке:

— Дедушк, а дедушк!

— Ну, что тебе? — отозвался с печки Илья Васильевич.

— У меня ноги иззябли страсть как! Я к тебе на печку полезу. Не заругаешь?

— Полезай,— опять отозвался Илья Васильевич.

Ванюшка быстро вскочил на приступку, а с нее, как кошка, вскарабкался на печку.

— Полезай к стенке,— сказал Илья Васильевич, поворачиваясь навзничь.— Лезь на меня.

Ванька перелез через него и улегся, поставив ноги подошвами на теплое место.

— Шибко, знать, озябли ноги-то? — помолчав, спросил Илья Васильевич, и Ванюшка с большим удовольствием услыхал, что дедушка спросил это не так, как прежде, а каким-то другим, точно не его, ласковым голосом.

— Не особенно, дедушк!

Помолчали... Илья Васильевич покряхтел, зевнул и сказал:

— А я вот на собрание ходил. Никогда не был, а тут вот вздумал: дай, мол, схожу, послушаю.

Ванюшка молчал, не зная, что сказать на это.

— Долго слушал,— продолжал Илья Васильевич.— Дельно человек приезжий говорил. Н-да. Хорошо! Думал я, признаться, пустое дело там, языком трепать приехал, трепло, очки втирать нашему брату, ан дело-то вон какое! Лежу вот все, да и думаю: правду говорил человек. Н-да! Эх, ушли мои годы, Ванюшка!

— А уж тебе небось много, дедушк, годов? — спросил Ванюшка, радуясь, что он так с ним говорит.

— Мне-то? — переспросил Илья Васильевич.— Много! Много,— повторил он с ударением.— А что толку-то? Эх-ма!

Он молчал, и долго молчал, что-то думая. Молчал и Ванюшка, слыша, как дедушка сопит носом и как у него что-то булькает в горле.

— Чему в училище-то нонче вас учили? — после молчания начал опять Илья Васильевич.

— Ничему не учили.

— Как так?

— Мы, дедушка, к празднику готовимся. Училище убираем.

— Это к какому же празднику? Словно никаких праздников нету! Ягорий наш ежели — не скоро. Веденье — то же самое.

— Чудак ты, дедушка! — воскликнул Ванюшка.— Да

разве это праздники? Неужели ты не знаешь — наш праздник!

— Какой такой «наш»?

— Какой, какой! Наш! День Октябрьской революции. Эва, неужли забыл? В прошедшем году гуляли. Опять теперь будем... Стихи учили. И я говорить буду. Спектакль. С флагом ходить будем. Из города гостинцев привезут. Петь будем. Приходи и ты смотреть.

— Куда уж мне! — усмехнувшись, ответил Илья Васильевич и, помолчав, добавил: — Где уж нам! Мы свое отжили. Допрежь этого не было.

— А что же было? — спросил Ванюшка.

— Что было-то, говоришь? — переспросил Илья Васильевич.— Что было-то? А вот что было. Теперь вот только, на краю могилы, я, сынок, понял, что было. Да вот он, локоть-то, близок, возьми его, а не укусишь!

И вдруг, очевидно отвечая на свои собственные мысли, заговорил каким-то странным, дрожащим, волнуясь и торопясь, голосом, от которого Ванюшке стало страшно, про то, что было. И чем больше говорил он, тем все больше и больше Ванюшке становилось страшно, а когда под конец услыхал он, что дедушка вдруг, точно побитая собачонка, жалобно затявкал, парнишка заплакал, закричал, обхватив его в потемках руками:

— Дедушка, не надо! Золотой мой, не надо! Дедушка, не плачь! Дедушка, не надо!

1923

Письмо

I

В деревне Дубининой случилось чудо-чудное, диво-дивное: бывший старый графский кучер Харламп Василич получил письмо от графа Анатолия Викторовича Орлова-Соколова.

Дело было как раз накануне вешнего Николы — престольного праздника. Харламп Василич лежал на печке, где он, по привычке, мог лежать даже в сорокоградусную жару и «парить вшей», по выражению молодой снохи, жены его старшего сына, у которого он проживал «на спокое», когда какой-то мальчишка принес ему с почты из соседнего села, бывшего имения графа, письмо.

В избе в это время была одна только сноха, или, как называл ее Харламп Василич, «сношенька», убиравшаяся к празднику, да он сам, как уже и было сказано, лежавший вниз животом на самом горячем месте и вспоминавший (что только ему и осталось) свое бывшее житье в кучерах.

— Дяденька Харламп дома? — крикнул с порога мальчишка.

— А за каким он тебе дьяволом понадобился? — спросила сношенька, выглянув из-за перегородки.

— Письмо ему вот с почты, наказывали отдать.

— Какое письмо? — удивленно воскликнула сношенька.— Вот он, на печке лежит, вшей парит.

И крикнула по направлению к печке:

— Эй ты, Ваня запечный, письмо тебе от любовницы принесли! Проснись! Хи-хи-хи!

Харламп Василич слышал весь этот разговор. При последних словах сношеньки он повернулся на бок и, выставя наружу бороду, захрипел:

— Ты что там насмешки-то надо мной делаешь, а? Мальчик я тебе дался? Я двадцать пять лет у графа выжил, худого слова от него, окромя как «сволочь», не слыхивал, а ты постарше себя насмешки творишь!

— Да какие насмешки? Эвон мальчик-то! Вру я, что ли?!

— А ты что, чертенок, вольница проклятая, торчишь здесь?! — набросился Харламп Василич на мальчишку.— Тебе чего надо, окаянная сила?! Ваше дело стекла в храме бить да своих разбойников-учителей — нехристей — слушать. Слезу — убью поленом! Ноги перешибу! Узнаешь, как добрых людей на грех наводить!

Мальчишка в свою очередь тоже окрысился:

— Чего же ты лаешься-то, собака старая? Письмо тебе отдать велели, я и принес, а он лается.

— Какое письмо? Насмешка, не иначе, опять какая-нибудь? Мне писем теперь получать неоткуда.

— Может, какая прежняя вспомнила, прислала? — опять, засмеявшись, сказала сношенька.

— Тьфу! — плюнул с печки в ее сторону Харламп Василич.— Засад бы тебе в глотку-то, дай господи, сел! Кол осиновый!

— Бери, бери письмо-то! Дай-ка, сынок, я ему передам. На! Вру, что ли? Эна, с какими печатями! Издалека, знать, шло.

Харламп Василич принял письмо и повертел его в руках.

— Оказия! — произнес он.

— Давай распечатаю, прочитаю,— сказала сношенька,— а то вот он,— кивнула она на мальчика,— прочитает: грамотный небось, а я-то уж, чай, разучилась.

— Так я тебе и дал. Ишь ты, разлетелась! Может, тут насмешка какая. На смех мне прислано. Языком-то тебе болтать после. Я к священнику схожу: он прочитает.

— Как хошь. Дело твое. А то давай! Любопытно, какая это тебя вспомнила, пишет. Послушать бы!..

— Тьфу! — харкнул опять Харламп Василич, слез с печки и начал одевать на себя какой-то пиджак.

— Куда срядился-то, к попу, что ли? — спросила сношенька.

— А уж это дело не ваше! — ответил Харламп Василич и вышел из избы.

— К попу, знать, пошел,— сказала она мальчику и, снова принявшись за уборку, добавила: — Вот уж верно: спал да выспал!

II

Харламп Василич действительно направился к батюшке Геннадию, с которым у него — по пословице «рыбак рыбака видит издалека» — была дружба и которому он, переполненный злобой на «нонешние порядки», изливал свою душу, захлебываясь слезами, вспоминая прежнюю свою службу у графа в кучерах.

Отец Геннадий, преклонных лет поп, накануне престольного праздника Николы, предвкушая хорошую поживу с православных, был в самом благодушном настроении и, готовясь вечером служить всенощную, хотел перед этим делом попариться в печке. Уже попадья купно с работницей Авдотьей, по прозвищу «Коряга», приготовила ему и водицы, той и другой — холодной и теплой, и соломки, и два свежих веника, когда, запыхавшись, пришел Харламп Василич с письмом.

— Батюшка у себя? — войдя в кухню, спросил он у Коряги.

— А зачем тебе?

— Надо. Отдыхает, что ли?

— Мало что надо! Он сейчас в печку полезет париться. Некогда ему! Нашел время ходить! Приходил бы опосля праздника.

Харламп Василич обиделся таким обращением, ибо он считал себя неимоверно выше этой работницы, так как он (гордость его) служил двадцать лет у его сиятельства графа.

— А ты много-то не разговаривай,— сказал он,— у тебя спрашивают: дома? — должна с кротостью, как подобает порядочной женщине, а наипаче прислуге, ответить на вопрос, а не по-свинячьи хрюкать. Дура-голова, необузданная! Не знаешь, как у хороших господ служить! Тебя бы к графу! Он бы тебя научил делу. Дома, что ли? Говори!

— Ну, дома! Чего тебе? Господин тоже, подумаешь, выискался! Эка невидаль, что ты у графа жил, а мне наплевать! По мне хучь у самого царя, а все ты как был гужеед, так им и сейчас остался. Шишка какая, подумаешь! Много вас тут, учителей, найдется. Шляются, пол топчут, не успеваешь мыть. Да что я, каторжная, что ли, какая для вас далась! Вы...

Она, повидимому, хотела продолжать дальше в этом же роде, но не успела, ибо о. Геннадий вошел в кухню и спросил:

— С кем ты тут, белый генерал, воюешь?

И, увидя Харлампа Василича, воскликнул:

— А-а-а! Кого я вижу! Товарищ Харламп Василич! Рад! По какому делу накануне великого дня? Да ты иди, пойдем в горницу, нечего на нее, на дуру, на Корягу, глядеть! Она и меня-то съела.

— Письмо вот мне пришло,— начал Харламп Василич, войдя за попом в горницу, где в подвешенной под окном клетке голосила канарейка, а по стенам висело множество фотографических карточек мужского, женского, детского — в одиночку и группами — вида.— Неизвестно от кого. К вам вот пришел. Думаю: не насмешка ли какая надо мной со стороны дьяволов нонешних?

— Ну-ка, покажи,— сказал батя и, приняв от Харлампа Василича письмо, посмотрел на него и разинул рот.— Что такие за чудеса! — воскликнул он.— Заграничное. Кто же это такое тебе?

— Не могу знать. Поглядите.

Поп разорвал конверт и, вынув лист почтовой бумаги, кругом исписанный, посмотрел прежде всего на подпись и ахнул:

— Харламп, чудо-то какое! Письмо-то, знаешь, от кого?!

— Не могу знать.

— От графа! — воскликнул о. Геннадий, тараща на него глаза.— От графа! — повторил он, садясь в каком-то изнеможении на стул.— От благодетеля твоего и моего и всей вотчины, Анатолия Викторовича! Пойми: ко-о-му? Тебе!!! Мужику серому! От кого, а? Ум меркнет! Язык немеет! А говорят: «Помещики, эксплуататоры, белая кость». Вот — факт налицо! Это ли не пример отеческого отношения, и к кому? К червю! О-о-о, боже мой! Бо-о-же мой! И такие люди вынуждены скитаться на чужбине! Где

же справедливость? Молись богу, Харламп, нашел тебя создатель! Какое лицо, и вдруг — письмо! Вспомнил, не забыл раба своего!

— Да точно ли, ваше преподобие, мне это, недостойному рабу? — задыхаясь от волнения и вдруг как-то сразу выросши в своих собственных глазах, спросил Харламп Василич.

— Вот чудак-то, а то кому же? Небось я, слава богу, грамотный! Ну, садись, давай читать, что его сиятельство пишет. Не верится даже, ей-ей! Чисто во сне кто сказку рассказывает.

И, видя, что Харламп Василич уселся напротив и впился в него глазами, приступил к чтению.

— «Здравствуй, Харламп! Жив ли ты?.. Пишу тебе издалека и не знаю, дойдет ли до тебя письмо это. Как ты живешь теперь при новой, рабоче-крестьянской власти? Помнишь ли, мой верный слуга, как ты ездил со мною, возил меня на тройке со станции в мое имение? Где теперь эта тройка? До меня дошли слухи, что в моем имении хозяйничают какие-то неизвестные люди, называющие себя коммунистами и устроившие какой-то совхоз. Харламп! Меня удивляет и поражает то, что вы, мои крестьяне, допустили до этого! Позволили войти в дом мой тем, которые при мне не смели подойти к нему. Нехорошо, Харламп! И бог за это накажет. Но есть надежда, Харламп, что все это скоро кончится, и я, ваш граф, отец ваш, снова приеду к вам и водворю разрушенный опричниками порядок. Скажи, Харламп, об этом всем моим крестьянам. А в наш престольный праздник, помнишь, Харламп, моя жена обносила вас всех из своих рук по бокалу вина и по пирогу! Как была умилительна, сердечна, братски-христианска эта картина слияния высшего сословия с низшим! Помнишь, Харламп, как священник наш, батюшка отец Геннадий (жив ли он?), как он... как он»,— захлебнулся слезами, читая это место, поп и, умолкнув, достал из кармана платок, вытер им глаза и высморкался.

— Не могу, Харламп! — пролепетал он, тяжко вздохнув.— Дух захватило! Терзается мое сердце от таких слов! Слезы... жгут!

Но если уж у него «захватило дух», то что же должен был чувствовать сам виновник всего дела, то есть получивший письмо Харламп Василич?

Умолкнувший от сердечного волнения о. Геннадий

увидал, что его слушатель не то чтобы плачет, а как-то по-чудному, точно он подавился костью или чем-нибудь другим, поминутно икает, похожий этим своим иканьем (ик! ик! ик!) на птицу дергача, «дергающего» где-нибудь поутру, на зорьке, во ржи.

— «По-о-о... по-о-о-мнишь ли, говорит, мой ве-е-рный слуга — ик! ик! ик! — как ты ездил со мною?!» Господи, царю небесный, да как же мне не помнить-то?! — воскликнул он.— Владычица, кому же помнить, коли не мне?! Ба-а-а-тюшка! Завтра праздник у нас великий, престол. Желаю я и прошу отслужить после божественные литургии благодарственное святителю и чудотворцу Николаю молебствие о драгоценном здравии болярина нашего, изгнанного врагами престола и церкви из-под своей крыши.

Отец Геннадий опять, как и давеча, прочистил глотку кашлем и приступил к чтению:

— «...отец Геннадий (жив ли он?), как он купно со мною, с тобой и с церковным старостой Егором (поклонись ему от меня, если жив) в великую пятницу, на страстной неделе, при стечении в нашем храме всех православных моих крестьян обносили мы вокруг престола плащаницу, божественное тело Христово? Я плачу, Харламп, вспоминая это! А не осквернили ли, не уничтожили ли памятники, стоящие на могилах моих родителей и предков? Помни, Харламп, они для меня дороги! Не вырубают ли мой парк? Сохранен ли вами мой лес? Скажи, Харламп, и объяви на сходке слова мои моим верным и, знаю я, любящим меня крестьянам, чтобы они до моего приезда берегли бы его, а землею моею можете пользоваться, распахивать ее, снимать покосы; я думаю по приезде моем подарить ее вам в полное ваше владение. Относительно этого я и графиня решили в вашу пользу.

Прощай, Харламп, или, вернее, до свиданья! Скажи, повторяю, всем моим верным крестьянам, что они не забыты мною. Граф Анатолий Викторович Орлов-Соколов».

— Батюшка, отец наш, дай тебе господи доброго здоровья! — всхлипывая, заговорил Харламп.— Не забыл нас. Землю, говорит, подарю в полное владение. А мы-то здесь, сукины сыны, чем его отблагодарим?

И еще раз попросив отслужить у себя в избе молебен, осторожно, как чудотворную икону, принял от попа письмо и пошел домой.

III

Это был уже не тот Харламп Василич, которого дразнили ребятишки «гужеед графский», а совсем другой, похожий на петуха, побившего в кровь своего противника; шел он с гордо поднятой головой.

Как раз проходить пришлось мимо той избы, где росла развесистая липа, на суку которой висел колокол. Сюда, под липу, мужиков на сходку собирали. А на завалинке избы, против липы, постоянно кто-нибудь сидел, ибо это было какое-то излюбленное жителями «спокон веку» место.

На завалинке этой и теперь сидело четверо почтенных, бородатых «бывших людей», споривших о том, как прежде справляли Миколу и как его справляют теперь.

Увидя подходившего к ним (миновать было нельзя) Харлампа Василича, они замолчали; когда же он подошел, один из них, сидевший с краю, в рубашке без пояса и в валеных сапогах, спросил:

— Откеда бог несет, Харламп да Василич? Далече ли путешествовал?

— К священнику ходил.

— Зачем?

— Да письмо вот получил. Читать ходил.

— Кто же это тебе прислал-то? Чудно!

— От графа письмо. От его сиятельства.

— От какого графа?

— Гм! От какого! Какой у нас граф? Один — Анатолий Викторыч. От него. Помолебствовать, православные, надо. Водоосвящение сделать. Говорите, слава богу.

— Да ты, чудак человек, про кого это?

— Да опять же все про графа! Не верите? И верно: чудо-чудное! Вот оно, письмо-то! Нате, глядите! Кто грамотный-то? Митрий, ты словно баловался, знаешь?

— Ничего я не смыслю,— ответил Митрий.— Ну тебя к лешему и с письмом-то! Попадешь еще из-за тебя. Какой такой граф тебе письма шлет? Об чем ему писать-то тебе? Станет он с тобой, с дерьмом, знаться!

— Кто, может, и дерьмо, а мы вот получили,— гордо выпячивая живот, ответил Харламп Василич.— Говорите, говорю, слава богу! Пишет в письме: «Приеду, землю вам подарю мою в полное владение».

— Что же это он, окромя тебя, никому не пишет? — спросил один из стариков.

— Дык что же ты, аль забыл, кто я у него был-то? Чудак, ей-богу! Я у него двадцать лет выжил. Можно сказать, правая рука был, и сейчас бы жил, кабы не эти дьявола-то с революцией! Ваньку-то покойника у меня кто крестил? Он! Кум он мне родной, а ты тявкаешь. Приеду, говорит, скоро. Как думаете, православные, насчет этого? Что нам делать? Как готовиться, и какой мы ему ответ дадим за все наше похабство? Приедет, по головке кое-кого не погладит. Не верится, ей-богу! Каку господь к великому дню, к празднику, нечаянную радость послал нам! Дождались! Слава тебе, создателю! Я постоянно говорил: православные, бросьте вольничать! Нешто мыслимо нам, дьяволам серым, без благородных людей. Они наши отцы, а мы дети. В священном вон в писании и то сказано: «Повинуйтеся и покоряйтеся»! А кому покоряйтеся? Знамо, не нашему брату, сволочи, а «болярам». Ты, скажем, подох, умер, тебя отпевать станут. Что священник поет? «Упокой, господи, новопреставленного раба твоего Митрия»,— а, скажем (не дай бог), граф преставится. Об нем как? Об нем: «Упокой, господи, болярина Анатолия». Понял? Заметь, разница какая! Подумай головой-то! Не знаю, как и быть, православные, что делать? Очумел, ей-богу, от нечаянной радости!

— Чего делать? Сходку собирать — вот чего! — посоветовал один из стариков.— Звони! Эдакое, сам-деле, ребята, дело важности первостатейной, а мы сидим, думаем. Звони! Скликай народ! Объявляй письмо, Харламп Васильев! Обсудим дело все сопча, миром, кого нам слушать: графа опять аль этих. С этими тоже шутки плохи, ну-ка да не приедет?!

— А, дурак, прости господи! — воскликнул Харламп Василич.— Тебе русским языком сказано: «Скоро буду». Врать он, что ли, станет, как ты полагаешь?

— Звони! Нечего зря языком бить, время терять. Зво-о-ни!

IV

Через некоторое время по деревне раздался частый, похожий на набатный, звон.

Одним из первых на этот отчаянный звон прибежал председатель сельского совета, молодой демобилизованный красноармеец Игнашкин и, увидя старика, дергавшего

изо всех сил за веревку, привязанную к языку колокола, подбежал к нему и закричал:

— По какому случаю звон? Что такое?

Старик отмахнулся от него левой рукой (не мешай дескать) и крикнул:

— Граф едет! На днях ждать надо. Землю всеё нам дарма отдает! Дарит!

— Что ты, черт, очумел, что ли?! — закричал председатель.— Какой граф? Брось звонить!

— Чего брось! Не брось, а надо! А ты не ори на меня, не велик господин-то! Вон Харламп Васильев письмо получил. Не мешай!

И еще с большей энергией задергал веревку.

Вскоре под липу со всех концов деревни набежал народ: мужики, бабы, девки, ребятишки.

Звон, наконец, прекратился, и народ, не зная, зачем его скликали, ждал объяснения.

— По какому случаю звонил? — опять, как и давеча, крикнул председатель сельского совета, обращаясь к зазвонившему старику.

Тот утер рукавом рубахи запотевшее лицо и, кивнув на Харлампа Василича, сказал:

— Вон у кого спрашивай! Насчет графа звон был. Едет ишь!

Тогда на сцену выступил Харламп Василич.

Прежде всего он высморкался, утерся, обдернул на себе пиджачишко и закричал:

— Православные, прислушайтесь к словам моим!

И, подождав немного, чтобы затихло, продолжал:

— Православные! Докладаю вам для праздника святителя и чудотворца Николая, какую нам всем создатель всевышний послал для праздника нечаянную радость. Помолимся, православные! Помолебствуем! В скором времени ожидайте нашего благодетеля и владетеля графа Анатолия Викторыча. Едет сюда из изгнания. Мне, рабу недостойному, письмо собственноручное изволил прислать. Эва оно! Глядите!

Он поднял руку с письмом и показал всем.

— Про-о-сим! — покрывая все голоса, насмешливо закричал какой-то курносый молодой малый.— Про-о-сим! Не умеешь сам-то? Давай сюда, я прочитаю.

— Читай, Агапка! Вмазывай, чтобы всем слыхать

было. Встань повыше, чтобы видать нам тебя было. Начинай! Становись вон на пень-то, вмазывай!

Агапка вскочил на пень, взял из рук Харлампа Василича конверт, вынул из него письмо, развернул, откашлялся и громко, насмешливо сказал:

— Ну-ка, что тебе эта сволота, граф твой, пишет?!

Харламп Василич, услыша такую «дерзость», даже присел от неожиданности, а потом, опомнившись, хотел было вырвать письмо, но было уже поздно.

— Слушайте, граждане! — заорал Агапка.— Начинаю! Ну, во имя отца и сына и святого духа, господи благослови! (Чтец перекрестился.) «Здравствуй, Харламп! — насмешливо начал он, и этот его насмешливый тон как-то сразу передался слушателям.— Жив ли ты?»

Агапка засмеялся и воскликнул:

— Жив, нашелся! Эвон стоит, разиня рот. Возьми его себе, повесь на шею!

Товарищи, помните ли вы, граф спрашивает, его сиятельство, а? Нет? Ну, так и запишем!

«А я вот,— опять продолжал он,— помню о вас обо всех, а об тебе, Харламп, в особенности...»

Слышь, Харламп Василич, какой тебе почет?

— Сволочь! — закричал Харламп Василич со слезами в голосе.— Я жаловаться стану!

«Помнишь ли,— возвышая голос, продолжал чтец,— мой верный слуга, как ты ездил со мной? Возил меня со станции на тройке в мое имение? Где теперь эта тройка?»

Тройка-то где? А мы ее, вашеся, когда я, простите Христа ради, в комитете бедноты состоял, тогда еще раскассировали. Ну, еще что тут?

«Удивляюсь я, Харламп, как вы все терпите и переносите? Неужели вам теперь лучше, чем было со мной? Скажи, обижал я вас? Нет! Кто помогал вам? Я! Кто наблюдал и жертвовал для благолепия храма, построенного моими предками? Все я же! А в наш престольный праздник, помнишь, Харламп, моя жена обносила вас всех из своих рук по бокалу вина и по пирогу!»

Помните, ребята, это?! — закричал Агапка.— Помним, вашеся! Спасибо! По горло были сыты вашими пирогами!

«Как была умилительна и сердечна эта картина слияния высшего сословия с низшим! Помнишь, Харламп, как священник наш, батюшка отец Геннадий (жив ли он?)...»

Черт ли ему сделается, жив! Все такой же, как был при вашем сиятельстве. Вас ждет.

«Как он, купно со мною, с тобой и с церковным старостой Егором (поклонись от меня ему, если он жив)...»

Егор? Эна стоит, бороду выставил! Живехонек!

«В великую пятницу на страстной неделе при стечении в нашем храме всех православных моих крестьян обносили мы вокруг престола плащаницу, божественное тело Христово. Я плачу, Харламп, вспоминая это!»

Плачешь ты, вашеся, да не об этом!

«А не осквернили ли, не уничтожили ли памятники, стоящие на могилах моих родителей и предков? Помни, Харламп, они для меня дороги! Не вырубают ли мой парк? Сохранен ли мой лес?»

Сохраняем! Спасибо, что не успел его спустить. Сохраняем! Не беспокойся, вашеся!

«Скажи, Харламп, и объяви на сходке слова мои моим верным и, знаю я, любящим меня крестьянам, чтобы они до моего приезда берегли бы его».

Слушаем! Бережем!

«А землею моей можете пользоваться, распахивать ее, снимать покосы, а я думаю по приезде моем подарить ее вам в полное ваше владение».

Вот за это спасибо, вашеся! Только опоздал ты, мы и без тебя управились, взяли.

«Относительно этого я и графиня решили в вашу пользу».

Слышь, граждане, и графиня за нас! Го-го-го! И ей, значит, угодили!

«Прощай, Харламп, или, вернее, до свиданья! Скажи, повторяю, всем моим верным крестьянам, что они не забыты мною. Граф Анатолий Викторович Орлов-Соколов».

И мы тебя не забыли, вашеся! Приезжай скорей. Ждем! Харламп Васильев, готовься. Гони на тройке на станцию! Го-го-го! Ловко!

— Хо-хо-хо! — подхватили в толпе.— Вот так вот! Значит, прибудет скоро? Хо-хо-хо!

— Ты что же это, мошенник? — взвыл вдруг как-то весь посиневший Харламп Василич.— Для насмешек я тебе письмо-то дал? Пра-а-вославные, заступитесь! Будьте свидетелями перед его сиятельством, когда приедет! По-о-о-годи, сукин ты сын, графа дождусь, доложу ему. Он из тебя жи-и-лы вытянет! Шкуру с живого сдерет!

— Это, брат, верно! Если он приедет, не с одного меня шкуру сдерет. Да только дело-то за небольшим: ехать ему некуда. Ау, брат, отъездил! На, хамская морда, письмо твое! — крикнул он, скомкав бумажку и швырнув ее в рыло Харлампу Василичу.— Получай! Жди своего графа, а нам он не нужен!

Харламп Василич присел, очевидно от страху, на корточки и, закрыв лицо руками, заплакал.

1923

Папаша хресный

Накануне праздника «первый Спас» к гражданину деревни Лучинки, состоявшей всего-навсего из семи дворов, Никанору Капусткину приехал давно жданный и давно обещавшийся «двоюродный братец» из Москвы, «благодетель» и он же «папаша хресный» его сынишки Ванюшки, десять лет тому назад введенного в «хрещеную веру» этим самым приезжим Федыр Федрычем Глоталовым, занимавшимся в Москве всякого рода спекуляцией и имевшим, между прочим, на Сухаревке палатку-лавку с красным товаром.

Приезжий «папаша хресный» привез с собой гостинцев: белых хлебов, баранок, сахару, две бутылки (для себя) мадеры — и на другой день, в самый праздник первого Спаса, проснувшись поутру, отправился в село в церковь к обедне, после которой сходил с иконами на воду (первый Спас — Спас на воде), получил в церкви, на виду у всех, вынесенную ему из алтаря сторожем Лукьянычем заздравную просфорку и, придя обратно в деревню, сидел за столом в переднем углу под иконами, пил чай с мадерой и говорил Никанору и его жене Макриде, с каким-то благоговейным умилением внимавшим его словам:

— Я к тебе, Миканор, по делу приехал, касаемо моего хресника Ванятки. Так как я от господа создателя моего награжден всем, окромя детей, которых, по бесплодию супруги нашей, Матрены Васильевны, не имею, то я удумал хресника своего взять к себе и произвести из него свою собственную копию, достойную сына отечества, в страхе господнем воспитанного. Где он? Дайте мне его сюда,

я желаю, будучи его отцом хресным, произвести ему экзамен. Где он?

— Сейчас здесь был, вертелся,— засуетилась Макрида.— На улице небось балует. Сейчас я!

И, поспешно выбежав из избы, увидала Ванятку, сидящего на самой макушке рябины и швырявшего оттуда ветки с ягодами на землю.

— У-у-у, чертенок, притка тебя расшиби,— зашипела она, увидя его,— черти-то тебя, прости господи, носят! Слезай скорей, иди в избу! Папаша хресный зовет!

— Не-е слезу,— отозвался с рябины Ванька,— боюсь!

— Иди, говорят, чертенок! Убью поленом! Слезай! Да что ж, не тебе говорят, что ли! Иди скорей, гостинцев хочет тебе дать.

— Вре-е-ешь...

— Глаза лопни, не вру. Ей-богу!

Ванька поверил, слез с рябины, и мать, схватив его за руку, быстро обтерла подолом юбки у него под носом и потащила в избу.

Увидя приведенного крестника, боязливо жавшегося к матери, папаша хресный поманил его к себе и сказал:

— Не бойся. Я добрый. Иди сюда ко мне. На-ко во тебе, пожуй,— подал он ему баранку.— Парнишка ничего, рослый. В училищу-то ходит? — спросил он, разглядывая его.

— Первую зиму еще только нонче бегал,— ответила мать,— глуп еще.

— Та-ак,— протянул папаша хресный.— Н-ну, отвечай мне на вопросы. Чему вас там учат? Перво-наперво ответь мне: это вот кто?

Он приподнялся, обернулся, указал рукой на одну из висевших и стоявших позади него над столом икон.

Ванька уныло молчал.

— Гмм! — крякнул папаша хресный.— Не знаешь? Ну вот, сразу видать, чему вас в училище-то в вашем энти голоштанные учат. Не показывают, чего надо, ребенку, сволочи! Это,— продолжал он внушительно,— есть лик пресвятыя владычицы и богородицы нашей, глаголемой «утоли моя печали». Ежечасно в скорбях и болезнях к ней, владычице, прибегать мы должны все, и по молитве помогает владычица. Я сам на себе великую благость получил, прибегнув с верой к ней. Обобрали меня раз. Вытащили жулики из кармана деньги. Скорбел я и плакал.

Жалко! Тосковал, а потом прибегнул к ней — и спасен был и украденную сумму покрыл вскорости с излишком. А это кто? — указал он на другую икону. И, видя, что Ванька молчит, скорбно покачал головой, с укором посмотрел на родителей и заговорил, предварительно перекрестившись на икону:

— А это лик и изображение великомученика и целителя Пантелеймона, особо чтимый мною и супругой нашей, Матреной Васильевной, угодник божий. На месте родины супруги нашей, Матрены Васильевны, в Калуцкой губернии, в селе Выдрине, есть жертвованная нами икона сия, и тамошними православными хрисьянами села того в честь иконы сей установлен праздник. Не работают в сей день и носят икону по полям и по дворам и молебствуют. Праздник сей установлен супругой нашей, Матреной Васильевной, по случаю ихнего исцеления от недуги, лютой болезни: кровяного поносу, коим они заболели, покушав малосольных огурцов с молодым картофелем, и, тяжко страдая через это свое невоздержание в пище неделю и другую, обращались ко врачам земным, но не получили исцеления. Тогда они дали обет великому мученику и целителю Пантелеймону, что если через него получат исцеление от недуга, то пожертвуют икону в храм села Выдрина, место своей родины, и установят на веки вечные праздновать сей день в память чудесного их исцеления. Помолились усердно, припали к стопам. И услышал великий страстотерпец молитву их и укротил страшный понос и боли в желудке ихнем. Выздоровели. С той поры в честь пожертвованной иконы и излиянного через нее чуда на супругу нашу установлен праздник и свято-ненарушимо продолжается до днесь.

Он помолчал, высморкался, выпил сразу чайный стакан мадеры и, оглядев с умилением слушавших его Никанора и Макриду, спросил, кивнув на Ванюшку:

— А крест на нем есть?

— Помилуй, батюшка Федыр Федрыч,— с испугом воскликнула Макрида,— так неужто нету? Небось он, слава богу, тобой хрещен.

— То-то, мной. А то ведь нам известно: снимать с них приказано кресты-то, как ненужное украшенье.

И, обратившись к крестнику, спросил:

— У тебя крест учитель твой в училище не снимал с шеи?

И, видя, что Ванька молчит и кривит губы, готовый заплакать, продолжал:

— Ну, ну, а ты, дурашка, не бойся. Я добрый. Я из тебя, господь даст, сделаю человека родителям на утешение, церкви и отечеству нашему на пользу. А молитвы знаешь?

— Не-е-е-ет.

— «Отче наш» знаешь?

Ванька молчал.

— А «богородицу?» «Богородица, дева, радуйся» не знаешь?

Ванька опять промолчал.

— Что же ты, постреленок, молчишь? — накинулась на него Макрида.— Говори папаше хресному, как я тебя учила.

— Ты учила, а в училище-то не велят по-твоему-то,— пробормотал Ванька,— ругаются.

— Тьфу,— плюнул со злостью папаша хресный,— так я и знал! Погубите вы здесь ангельскую душку. Анафемы проклятые, что делают, а? До чего допущено! Н-но ладно! Потерпим. Вот что я тебе, Миканор, скажу и тебе, кума: хресника я возьму от вас на воспитание. Человека из него сделаю, и вы мной не будете забыты, а он мне нужен и по дому и по лавке. Я за этим и приехал, и не допущу я, как есть православный хрисьянин и умру им, чтобы он, от меня приявший благодать таинства хрещенья, погибель от сволочей получил. Беру его к себе вроде как сына. В страхе и трепете будет воспитан мною.

— Нам-то, батюшка Федыр Федрыч, без него тоже плохо.

— Мною не будете забыты. Во всякое время я вам благодетель. Поеду отсюда — оставлю. Дам на расход. Сделаю, говорю, из него человека. Поставлю на ноги. Выведу в люди. Чему он здесь у вас научиться может, а? Каким понятиям? Кто его учит? Где? Какие люди? А у меня первое дело: «Начало премудрости — страх божий». Да что с вами, тумаками, толковать-то! Сказано, сделаю из него самого себя! Копию — и больше никаких! Завтра вечерком, бог даст, и поедем. А теперь... на-ка тебе, Миканор, на расход. Прими покеда. Бери, бери! У нас есть. Слава тебе, господи, откупорила нам непа опять бутылку. Опять задышали. Бери, знай! Не ворованное, а своим по-

том добытое. Ну, хресник,— обратился он к Ваньке,— рад, а?

Ванька утурился в землю и угрюмо молчал.

Мать, видя, что он молчит, взяла его сзади за шиворот, нагнула ему голову и сказала:

— Говори, глупый: рад, папаша хресный! Много благодарен за ваше наставленье, папаша хресный! Ну, говори: рад, папаша хресный!

— Ра-ад, папаша хресный,— захлебываясь слезами, проговорил Ванюшка.

— Кланяйся в ноги папаше хресному. Ну, ну! Вот эдак!

— Не буду я кланяться! — вдруг заупрямился Ванюшка.

— Как не будешь, лахудра ты эдакая?!

— Не буду. Не поеду я к нему! — твердо выговорил мальчик.

В избе стало тихо.

— А почему это ты ко мне не хочешь, хресничек дорогой? — обиженно спросил после молчания папаша хресный.

— Я в школу хочу ходить... Я привык к ребятам там... И учитель у нас... добрый... Не поеду я!

И Ванюшка стрелой выскочил на улицу.

1924

Для хорошего человека

Трое: церковный сторож, николаевский солдат Хритоныч, Гаврила Василич Чупленков, пропившийся и опустившийся «на дно» гражданин из соседней деревни, и бродячий нищий Агап Митрич рыли в церковной ограде для умершего накануне церковного старосты Миная Антипыча Малюткина могилу.

Дело было зимой, в январе месяце, в морозное ясное утро. Все трое были плохо одеты и, несмотря на тяжелую работу, зябли и корчились.

Рыть могилу они взялись за три рубля да за угощенье после похорон, на поминках.

Рыли долго потому, что все трое были малосильны, тощи, задавлены нуждой, и потому, что сверху земля замерзла и ее не брал ни лом, ни лопата. Пришлось оттаивать, разводить на том месте, где рыть, костер. И только после этого оттаиванья явилась возможность приступить как надо к делу, то есть к рытью.

Когда яма была вырыта настолько, что из нее не стало видно головы малорослого Хритоныча, в шапке с собачьими ушами, пришел посмотреть, как роют, сын покойного Миная Антипыча Иван Минаич.

— Бог помочь! — сказал он, встав на краю ямы.— Роете?

— Стараемся для хорошего человека,— подняв голову и глядя на него из ямы, сказал Хритоныч.— Для графа

так не старались, как для вашего папаши, дай ему господи за доброту его к нам, беднякам, царство небесное! Хо-о-роший был человек! Таких людей днем с огнем не найдешь!

— Поглыбжи ройте, поширши,— сказал Иван Минаич, заглядывая в яму.— Папаша человек большой, грузный. Слободней как можно делайте!

— Да уж будьте покойны, как в люльке будет лежать папаша. Ни блошки, ни вошки! Тихо, покойно, хорошо! Около самого святого алтаря господня покой себе нашел. Лежи да слушай божественную литургию да священное песнопение!

— Н-да,— сказал Иван Минаич.— Попробуй другой, заслужи в ограде, под алтарем, лечь, а папаша заслужил! Лег!

— Здесь заслужил, и там обеспечил себя, и там ему, на том свете, особый прием будет,— выкидывая землю-глину, сказал опять Хритоныч.— До-о-стойный человек был! Ему где хошь, там ли, здесь ли, везде место. Это не мы, грешные, зароют как попало и ладно: лежи там, жди второго пришествия, страшного суда, а на суде опять тебя за грехи на мученье осудят. Сунут, как полено дров, в огонь вечный, демонам на потеху. Умереть-то путем — и то не умеем!

— У меня бабушка Домна была, царство ей небесное,— послышался из ямы голос Чупленкова, Гаврилы Василича,— четыре раза умирать собиралась, покойница, на пятый только господь простил. Бывало, царство небесное, возьмет ляжет животом кверху на скамейку под иконы, руки сложит, глаза закроет: «Умираю, говорит. Сичас умру. Кончик мой пришел. Молитесь богу обо мне». Ждем, бывало. Ан, глядим, опять ничего, отойдет. На пятый раз только, говорю, умерла. Легла опять на скамейку, руки сложила, «умираю», и точно, на этот раз умерла, без обмана скончалась. Сто два года жила, покойница, окромя как после престольного праздника поносом, ничем не хворала.

— Прежде народ дольше нашего жил. Крепкий народ был, твердый,— заговорил Хритоныч.— Мой дедушка Прохор Никанорыч французский год хорошо помнил. Четвертку дров березовых на себе таскал, покойник. Хорошая лошадь, бывало, говорили, не подымет, а он подымал. В зубах, на спор, на крышу ушат с водой втаскивал.

А дрался не кулаком, а ладошкой. Ладошкой бил. Ударит ежели по уху, и то не со всей силы, на всю жизнь, говори, человек оглох. Перед самой смертью огурешного рассолу попросил испить. Подали ему на печку, испил он, икнул, повернулся на другой бок — и готов. Попов покойник до смерти не любил и на дух не ходил. Так без покаянья, вроде некрещеного татарина, и умер.

— Ну, вы тут ройте, старайтесь, а я пойду,— сказал Иван Минаич.— Заботы у меня! Хлопот! Поминки одни во что встанут! А нельзя. Не кто-нибудь помер. Н-да! Глыбжи ройте, ширши! — добавил он еще раз.— Помните, кому роете, кто здесь ляжет...

Он ушел, и как только ушел, все трое перестали работать и начали, поставя лопаты к стенкам могилы, вертеть курить. В могиле, почти уж совсем вырытой, было тихо и сравнительно тепло. Присев на дне ее на корточки, они закурили, и дым махорки потянулся из ямы кверху, точно как от какого-нибудь маленького костра, разложенного там внизу.

— Поглыбжи велел рыть. Гм-м! Боится, не вылез бы, спаси бог, назад! Рад небось до смерти, что отец издох,— сказал Хритоныч.

— Как небось не рад,— подтвердили другие двое.— Весь капитал, всю бездну ему оставил.

— А уж и сволота, не тем будь помянут, папаша-то был! Сынок-то в него удался, все лычки-обрезочки,— заговорил опять Хритоныч и, помолчав и жадно затянувшись и выпустив дым, добавил: — Дочь-то Аннушку он да и сынок-то тоже на тот свет ухайдакали. Довели девку до петли. Мне хорошо известно, из-за чего все дело вышло, потому что я постоянно при них находился, вроде работника дарового. То то, бывало, заставит сделать, то другое. Все мне известно. Знал, как он добро зарывал-прятал, когда узнал, что отбирать будут. Успел все хорошее спрятать, а прошло горячее время, пришла непа, опять он на ноги встал. Опять поперло ему. Торговлю открыл и в долг давать стал, под работу нашему брату — бедноте горькой. Опять воскрес. Почет ему! Староста церковный! Ты ему: «Здравствуйте, Минай Антипыч!» — а он и глядеть не хочет. Издох вот, слава богу, а мы опять, ишь ты, ему могилу роем. А все денежки. Нашего брата на погост к оврагу, а его в ограде под алтарь.

— Все одно, один рожон, что там, что здесь,— сказал

охрипшим, простуженным голосом нищий, Агап Митрич,— лежишь — не слышишь.

— Все равно, да не все равно. Эка ты сказал! Опять — как хоронить? Нас как хоронют? Раз, два — и готово, закапывай! А вот дай-ка завтри, зажгут паникадилу. Священники съедутся, как волки на падаль, два дьякона, певчие соборные из города. Игуминья из монастыря, мать Хиония. Народу-то набежит! Нищих всех баранками обделять будут да по десять копеек деньгами. Н-да! Вот они, дела-то какие! И чудно, братцы, сам эва где ляжет, под алтарем, а дочь родную, как падаль, зарыли. Завернули в рогожку да в яму!

— Неужели в рогожке? — спросил Агап Митрич.

— А то врать стану!

— Без гроба?

— Какой тебе гроб!

— И не отпели?

— Выдумал! Какое тебе отпеванье?! Нешто удавленников отпевают? Ее,— продолжал он, поднявшись и посмотрев из могилы на все стороны и опять опустившись,— допрежь, чем зарыть в землю, всяе изрезали доктора. Потрошили. Цельные сутки в сарае на переводе висела, из петли не вынали, пока милиция не приехала с доктором да с фершалом. Вынули ее из петли, ворота открыли, досок велели дать, положили ее на доски голую и давай кромсать-резать.

— Страшно?!

— Да уж чего говорить. Главное дело — совсем еще молодая, глупая еще, можно сказать. А вот на вот, что сделала! Думала отца угрозить, а ему наплевать. Ему все едино. Заметь: ни один к телу к ней не пришел, ни папаша, ни братец. Матери у ней, слава богу, нету. Да-а-вно померла. Тоже, не доживя веку, вогнал муженек в могилу! Без матери ей...

— Что ж, ребят, давайте кончать, вставайте! — перебил его Чупленков.— А то как бы опять не пришел. Ругаться будет. Цену сбавит, дьявол! Судись с ним!

Все трое поднялись и лениво, нехотя принялись за работу.

— Так вот и пропала девка ни за понюшку табаку,— начал снова Хритоныч, с трудом выбрасывая на поверхность пристающую к лопате глину.— А за что, спроси. За правду. По его не шла, а по-своему. В ривалюцию,

в голодовку в самую, как сейчас гляжу, дело было. Связалась она с новыми порядками, с камунистами партейными. До ривалюции-то училась в городе пять лет. Хо-о-рошо грамотная. Пошло у ней все не так да не эдак. Нащет, например, бога нехорошо говорила. Нет его, говорит. А над иконами смеялась, выкинуть хотела. Отца в глаза грабителем называла, ей-богу, не вру. И так его, и эдак начнет, бывало, ну, а он — знаете небось, каков человечек был. Ему слова поперек не скажи — убьет! Потерпел было. Очумел сперва-то, не верит сам себе, ушам своим. Думает небось: «Так это она, от глупости смеется». А как увидал да понял, что дело всурьез, показал себя: «Вон из мово дому к чертовой матери, и будь ты от меня трижды, анафема, проклята!» В Москву она ушла. А голод был, холод. У отца-то, у черта, все было, голодовки он не знал, а там другое дело. Да на грех, лукавый-то силен, спуталась она там от глупости от своей с одним с партейным товарищем, забрюхатела от него, а товарища-то,— уж как пойдет незадача, так пойдет,— на войну взяли, на фронт угнали к Колчаку, там и решили его, убили. Она из Москвы-то с горя-то лютого, с голоду-то, с холоду сюда с пузой-то. А папаша на порог не допустил: «Вон! Убью!» В больницу ее здесь, доктор пожалел, положил. Родила здесь мертвого. Сама чуть жива осталась. Куда что делось! Кожа да кости. Выписали ее из больницы, не стали держать. После пасхи дело было. Снег уж сошел. Теплынь стояла. Куда идти? Куда деться? Отец гонит, брат гонит, люди смеются: «Камунистка гулящая». Взяла, сердешная, не стерпя сердца, в сарае, на переводе, и повесилась. Ему, папаше, донесли, а он говорит: «Туда и дорога! Собаке собачья смерть! Черту баран. Сарай, жалко, опоганила, стерва!» Вот ведь какой чертушка был! Н-да! Ну что ж, еще рыть будем, аль довольно?

— Давайте еще маленько поглыбжи, лопатки по три ковырнем, чтобы не вылез, грешным делом.

— Ну ладно, так и быть, давайте постараемся для хорошего человека, осиновый кол ему в спину!

И все трое молча стали заканчивать могилу.

1928

Нашел работу

(Из прошлого)

Помню, дело было на другой день праздника «Петры и Павлы», тридцатого июня по старому стилю.

Я, молодой, здоровый парень, босой, запыленный, в серой, давно не стиранной рубашке, в черной мятой шляпе, благодаря которой меня называли «диким барином», подходил, усталый, перед закатом солнца к большому, на большой дороге, селу Зарецкому.

Шел я из монастыря, где жил месяца три-четыре послушником-рабочим и откуда вместе с двумя приятелями монахами — о. Степаном-квасником и о. Афанасием-садовником — «за хорошие дела» был выставлен за ворота и отправился куда глаза глядят, искать работы.

Несколько дней я шлялся без дела, и когда вот подходил к вышеупомянутому селу Зарецкому, в кармане у меня брякало восемь копеек медью.

В селе я решил переночевать. Но, чтобы сделать это, надо было сначала найти десятского и просить, чтобы он отвел «на черед».

Солнце еще не село. Проситься на ночлег было рано, и ввиду этого я решил подождать заката. С этой целью я свернул с дороги в сторонку за канаву и лег в мягкую, ароматную траву, около цветущей, тихо шепчущей колосьями ржи.

День, проведенный мной в дороге, был нестерпимо жаркий, и даже теперь, перед закатом солнца, вечером, все еще было жарко, а изо ржи обдавало каким-то необыкновенно приятно пахнувшим хлебным теплом.

Дождавшись, когда огненный огромный шар солнца медленно и как-то незаметно скрылся за далекими холмами, я направился в село и на улице его столкнулся с бегущим мне навстречу с противоположной стороны стадом. Я свернул в сторону и пошел под окнами изб.

Посреди села, неподалеку от большого, мутного, загаженного по берегам скотиной пруда, в длинном сером доме помещался трактир с вывеской на видном месте: «Трактир «Природа», а пониже еще надпись: «Мелочная бакалейная и табачная торговля Анисима Ивановича Грызлова с сыном».

Входная дверь в трактир и окна были открыты. Около длинной колоды, под окнами трактира, стояли две лошади: одна — запряженная в телегу, а другая, рослая и сытая,— в хорошие, крашеные беговые дрожки.

Из трактира в открытые окна доносились с небольшими перерывами жалобные, плачущие звуки скрипки.

Я остановился против открытой двери, подумал, что проситься на ночлег еще рано, и вошел в трактир, предварительно ощупав в кармане свои гроши.

В трактире, большом, с низким потолком, с засыпанным опилками полом, было пусто.

Направо от входной двери, около стойки-буфета, по эту ее сторону, за небольшим столиком, накрытым цветной салфеткой, сидели и пили чай с вареньем, как я сразу догадался, сам хозяин трактира Анисим Грызлов, а с ним какой-то высокий, скуластый, одетый в какую-то чудную синего цвета курточку, подпоясанную поясом с бляхами, на котором с правой стороны висела нагайка, обутый в длинные, с толстыми подошвами сапоги человек.

В самом заднем и теперь, после заката солнца, полутёмном углу трактира сидел за столом, на котором стояла пустая полубутылка из-под водки, растрепанный пьяный человек с длинными, висевшими сосульками по вискам волосами, плакал и водил смычком по струнам, испускавшим жалобные, плачущие, тягучие звуки.

Оглядевшись, я сел к окну за столик напротив буфета, где сидели хозяин с человеком, одетым в чудную куртку.

Ко мне босиком лениво подошел длинный, с длинным носом, какой-то точно жеваный половой и гнусаво спросил:

— Чего тебе?

— Давай чаю.

— Деньги вперед,— сказал половой.

Я дал пятак. Он ушел. Я свернул крючок и, закурив, обернулся к открытому окну.

— Эй, ты-ы! — раздался вдруг за моей спиной хриплый грубый окрик.

Я оглянулся.

Сидевший у стола «сам» глядел на меня и манил к себе пальцем.

— Подь сюда! — прохрипел он.

И, видя, что я молчу и не трогаюсь с места, крикнул:

— Откедова ты? Чей? Пропился, знать, а? Вид-то у тебя есть ли? Кажи-ка! Куда пробираешься?

— Работы ищу,— сказал я.

— Какой работы? Мастеровой ты?

— Нет.

— По хлебу резак, значит. Какой же тебе работы? Кулаком дерьмо месить, а? Косить можешь? Мне вот человек нужен на эту работу! Можешь?

— Могу.

Сидевший с ним за столом человек усмехнулся и сказал, кивнув в мою сторону головой:

— На какой черт он тебе? Знаю я эту сволоту! Куда им косить, траву только мучить! Брал я их, пробовал, ну их к чертям! Дешево, да гнило!

— А вид у тебя имеется? — опять спросил хозяин, не обращая внимания на слова только что говорившего человека в куртке.

— Есть.

— Кажи-кась...

Я подал ему свой засаленный, мятый паспорт. Он поднялся, прошел за буфет, достал с полки очки и, нацепив их на толстый нос, стал разбирать мой «вид».

— Правильно! — сказал он, снимая очки.— Вид что надо.

Он опять вышел из-за буфета, подошел ко мне, встал напротив и, держа паспорт в левой руке, сказал:

— Ну, так как же, приятель, а? Оставайся! Коси! Тридцать пять монет за день плата. Работать — лодыря не валять. Солнце встало — начинай, село — кончай. Харчи, знамо уж, мои. Обед, ужин, чай. По праздникам — с баранками. А то,— продолжал он, почесав подмышкой,— не хошь поденно, оставайся помесячно до Покрова! Восемь целковых на месяц жалованья положу тебе. Ну, знамо,

опять-таки харчи мои. Поживешь, акапируешься, а то погляди-ка на себя, на кого ты похож? На всех зверей! Кому ты такой нужен? Баб пугать тобой только! Не один ты будешь, трое вас будет. Двое у меня есть, наняты на все лето, ты третий. Сейчас вот покос начался — самое время! Косить будете, убирать. Кончите покос — другую работу найдем. Без дела не будешь. А коли хошь,— и на зиму оставайся. Знамо, уж только задарма, из-за хлеба. У меня, брат, хорошо жить, сытно. В праздник когда водочки подношу. Оставайся!

Он стоял перед моим столом и ждал ответа.

Его маленькие, осочкой перерезанные глазки пристально и как-то выжидательно-хитро глядели на меня.

Стоял он, расставив ноги, похожие на циркуль. Одет был в длинную бело-розовую рубашку, подпоясанную пояском-ленточкой с какой-то божественной надписью на ней.

Через этот поясок-ленточку перевешивался у него живот, точно силившийся совсем перевалиться через мешавшее ему препятствие и упасть на пол. Широкие полосатые портки плохо держались на поясе, и он то и дело поддергивал их кверху. Обут он был в растрепанные резиновые калоши на босу ногу.

— Оставайся! — заговорил он снова.— С завтрашнего утра пойдем на работу. Коли останешься — сейчас соточку поднесу. Глотни! Выкушай на здоровье, нам не жалко. Ребята небось скоро с косьбы придут, поужинаешь с ними, а спать укажут где. Завтра, господь даст, разбудют на работу. Косу дадут. Этого добра у нас на сто человек хватит. Оставайся! Поживешь — увидишь. Не понравится — силком держать не буду. Твоя воля. Н-ну, что скажешь?

Лучшего выхода пока у меня не было. Приходилось соглашаться.

— Ладно! — сказал я.— Остаюсь.

— Ну вот, давно бы так! Куда тебе идти-то эдакому? Тебя испугается каждый порядочный человек. Ладно. Значит, остался? Вид твой у меня будет. Запру его, а когда понадобится, — возьмешь за всякое время.

Он отошел за буфет, выдвинул ящик, спрятал туда мой паспорт, достал связку баранок и, подозвав полового, передал ему баранки и сказал, кивнув на меня:

— Н-н-на! Снеси ему...

Я остался... Стемнело. Половой зажег висевшую под потолком лампу-молнию. В трактир начали приходить посетители. Появились пьяные, и стало шумно.

Я сидел в своем углу и ждал прихода с покоса рабочих.

На улице совсем стемнело. На том конце села запели девки и затренькала гармошка.

— Не идут что-то долго,— громко сказал хозяин, обращаясь ко мне.— Положим,— продолжал он,— не близкий свет, далеча покос-то, верст за шесть. Нанятой покос-то. Зимой еще фидулинские мужики продали за полведерки. У меня здесь и пропили.

Он хотел еще что-то добавить, да не успел, потому что его перебили, остановили вошедшие в трактир работники-косцы. Их было двое, да еще вместе с ними вошел хозяйский сын, толстомордый, коренастый парень, которого, как я тут же узнал, звали Гаврилом, или Ганькой.

— Что долго? — спросил «сам», обращаясь к сыну.

— Задержал я их! — отвечал сын, кивнув на косцов, пришедших с ним.— Чего их, сволочей, лодырей, рано-то пущать! Небось не задаром работают. Не щепки плотим. За ними гляди да гляди.

— Ну, а трава как нынче?

— Хорошая! — ответил сын и опять повторил только что сказанные слова: — За ними гляди да гляди.

— Что верно, то верно,— согласился с ним отец и, улыбнувшись и показав на меня, продолжал: — А я без тебя тут еще одного хлюста приладил. Эна сидит! Был у меня сейчас управляющий графской из именья, чай со мной пил, только что перед тобой уехал, так он не советовал брать. «Траву, говорит, только будет мучить». Ну, я не послушал, взял. Эна сидит! — повторил он опять.

— Дармоед небось какой-нибудь! — сказал сын, глядя на меня.— Сволота, злая рота! Чей такой? Вид-то у него есь?

— Все в исправности! — ответил отец и крикнул мне: — Ну, вот тебе товарищей привели двоих. Обнюхайтесь покеда, пейте чай, а там поужинаете, спать ложитесь, а завтра, господь приведет живу быть, разбудим пораньше, до солнышка, на работу, пораньше: по росе-то только и косить!

И, обратившись к сыну, спросил:

— Ты их разбудишь-то аль мне встать? Пойдешь с ними ай нет?

— Как же не идти? Идти надо! Обязательно надо. Сказал тоже: не идти! Нешто их, сволочей, одних можно оставить? Оставь их одних — они тебе наработают. Нешто это люди? Над ними покедова стоишь с палкой — работают. Отвернулся — встали. Им хозяйского добра не жалко. Им одно нужно: денежки схватить. Сво-о-лочь народ! Ха-а-мы!.. С ними, с чертями, так надо, как управляющий Богдан Богданыч делает: хлещет их нагайкой, как ему только хочется. Отвозит — «иди, говорит, сволочь, проси на меня, жалуйся!»

Один из пришедших с ними косцов вдруг захихикал, скаля зубы, и, как-то особенно вытягивая шею, тоненьким бабьим голосом, хамски заискивающе сказал:

— Совершенно-с справедливо-с, Гаврил Анисимыч, изволили сказать-с! Вполне с вашей милостью согласен-с!

— Тьфу, сволочь! — злобно выругался хозяйский сын, поглядев на говорившего.— Тебе плюй в глаза — все божья роса.

Вскоре мы трое, я и два косца, сидели за чаем и знакомились.

Ганька, хозяйский сын, ушел домой, то есть в помещение, находившееся рядом, стена об стену с трактиром, из которого туда был ход — дверь, обитая клеенкой.

Один из моих товарищей, с которыми мне предстояло работать, с виду гораздо старше другого, был коренастый, с широким носом, большим ртом, маленькими тупыми глазами, по имени Терентий, по фамилии Черемушкин.

Пришел он к нам сюда, в Московскую губернию, по его словам, с ранней весны искать по барским имениям работы. Из Рязанской губернии и какого-то, как сказал он, «Рандовского» уезда.

И по фигуре, и по разговору, и по ухваткам это был тип настоящего, как говорят теперь, «от сохи» мужика.

Другой, его товарищ, тот, который был обруган хозяйским сыном, был совершенная во всех отношениях противоположность ему. Высокий, худой, нескладный, сутуловатый, со сморщенной, злой хорьковой мордочкой, со слезящимися, моргающими глазенками, с длинными

руками, одетый в замазанный монастырский подрясник. Весь он, всем своим видом, а в особенности когда начинал говорить, брызгая слюной и показывая гнилые зубы, производил нехорошее впечатление. Звали его здесь, как он сам сказал мне за столом, не по имени, а кликали, как собачонку, по кличке «раб божий»:

— Эй ты, раб божий!

Этот «раб божий», подойдя к столу, за которым сидел я, поджидая их, оглядел меня, ухмыльнулся и, растягивая слова, бабьим голосом спросил:

— Откедова тебя, раба божьего, господь принес к нам на помогу? Из Москвы приехал или из Санктпитирбуба-с?

— Ну, а ты дурака-то не ломай, раб божий! — остановил его другой.— И так не умен!

И, присаживаясь к столу, весело сказал мне:

— Здорово, приятель! Нашего полку, значит, прибыло. Как звать? Холостой?

И на мой ответ: «Да» — продолжал:

— Пропился, знать, до гашника, а? Неплошь вон раба божьего,— кивнул он на товарища.— Живет здесь на одну глотку. Что добыл, то и пропил. Мое вот дело не запьешь! Всю добычу домой шлю. А на домашнюю яму не напасешься хламу. Нужда нашего брата сюда гонит. Не от радости от дому бежишь на чужую сторону. Черт бы меня, прости господи, понес, кабы не нужда окаянная. А хозяин здешний,— продолжал он тихонько, оглянувшись на буфет,— черт не нашего царя! Я вот у него с вешней Миколы подрядился до Покрова за шесть красных, а ворочаю-ломаю,— ни на одном воле так не ездиют! Тыщу дел сует! Тьфу!.. Передышки не дает, сволочь! Ну, да, правда, поживешь — сам увидишь.

Попив чаю, пошли ужинать. Ужинали в загаженной, с низким потолком кухне, при свете висевшей с потолка над столом маленькой лампочки. Кухня эта служила жилищем и для рабочих и для толстой, заплывшей салом, собравшей нам на стол ужинать работницы-стряпухи.

— Где вас черти до сей поры носят? — встретила она нас вопросом.— За-а-работались! Ра-а-ботнички, подумаешь! Что, мне вас до свету ждать прикажете? Я небось одна. Разорваться мне, что ли? А это еще кого привели? — окинув меня с ног до головы, спросила она.

— Работник новый! — ответили ей.

— Тьфу! — со злостью плюнула стряпуха.— Мало ему вас-то, чертей, еще дерьма нанял! И чего ты сюда лезешь,— обратилась она лично ко мне,— хуже-то не нашел? Вот уж верно пословица говорит: «Кто нови не видал, тот и ветоши рад». Собакам только у здешних хозяев жить, да неплошь вот вас, обормотов, пьяниц! Хороший человек не токмо что жить здесь, а наплевать-то не захочет!

— А сама, раба божья, живешь! — вставил с ехидством «раб божий».

— Ну уж, а ты-то молчал бы! Тоже рот открывает! Пришибу, вот возьму, ухватом — только и делов!

— Хи-хи-хи! — захихикал «раб божий».— Не любишь, не любишь, раба божья! То-то и оно-то! обернись сперва, сват, на свой зад! Хи-хи-хи!

Стали ужинать. В большую «обливенную» чашку стряпуха деревянной чумичкой из черной корчаги начерпала нам супу.

Суп — какая-то остывшая бурда,— сваренный с плохо вымытыми кишками, гадко пахнувшими, не шел в душу, и я, как ни хотелось мне есть, не мог глотать его.

— Что же не хлебаешь? — спросил рязанский рабочий.

— Не хочу. Спасибо!

— С осени, знать, закормлен! — вступилась стряпуха.— Не по скусу! Ну, здесь, парень, свиней кормют сытнее, ничем вас. Не взыщи...

Она засмеялась и добавила:

— Хлебай гольем, еще подольем.

Ночевали мы на дворе, в каком-то пустом лошадином стойле, где было темно и лежало немного умятого сена. Где-то над головой слышно было, как ощипывались и встряхивались куры, а за переборкой тоже слышно было, как корова пережевывала жвачку и изредка шумно и тяжело вздыхала.

Утром, чем свет, когда только что забрезжило, хозяйский сын Ганька пришел и разбудил нас на работу, косить.

— Эй вы, дьяволы! Лодыри царя небесного, вставайте! — орал он с прибавлением матерщины.— Спать сюда пришли? Хлеб хозяйский жрать? Вставайте!

Мы поднялись, вышли со двора в калитку на задворки, умылись из кадки так называемой «капельной» водой, стекавшей в нее с крыши по желобу во время дождя, и Ганька, наблюдавший за тем, как мы умывались и вытирались подолом рубахи, отлучился куда-то и сейчас же, возвратившись обратно и неся с собой косу, крикнул, обращаясь ко мне:

— Эй ты, Миклуха-Маклай! На-ка тебе косу! Бери! Не коса, а змея! Останешься доволен! — И, засмеявшись, злобно добавил: — Ах вы, сволочи вшивые, ра-а-ботнички!

— Что же ты, собака, лаешься-то? — не стерпев, сказал я.

— Что-о-о?! — заорал он, таращa на меня страшные бельмы.— Со-о-бака? Эт-та кто-ста собака, по-твоему, а? Кто-о-о?

— Ты! — ответил я.

Он отшвырнул косу, зарычал и бросился на меня.

Мы сцепились.

Я был парень здоровый и, схватив его, сразу почувствовал, что «он мой». Я подмял его под себя. Он начал кусаться и потом что было мочи отчаянно завопил:

— Ка-а-раул! Ка-а-раул! Режу-ут!..

Потом, перестав вопить, как-то изловчился и схватил зубами мою левую руку повыше локтя.

Я почувствовал страшную боль и вместе с ней тоже страшную злобу.

— Караул! — опять заорал он.

На крик прибежал проснувшийся «сам».

— Чего же вы глядите-то? — заорал он на рабочих, наблюдавших нашу драку.— Бейте его! Ничего не пожалею! Бейте!..

Он вцепился обеими руками мне в волосы и поволок в сторону. Я выпустил Ганьку, охватил его, но тут же и упал, оглушенный чем-то твердым по голове.

Я очнулся связанный, избитый и брошенный тут же, на задворках, под липой.

— Погоди, сволочь, узнаешь у меня, как хозяев бить! — грозясь кулаками и скаля зубы, хрипел обезумевший от злости хозяин, очевидно карауливший меня.—

Погоди! Вас, чертей, привечают, поят, кормят, жалеют, думают: как по-божьи, по совести, а они на-ко: руки отверзают на хозяина! Да ты кто такой, а? Кто я, кто ты? Позову урядника, составим протокол, что ты ножом сына моего хотел зарезать. Тогда не то запоешь! У меня свидетель есть, что ты хотел зарезать!

— Какой свидетель? — испугавшись его слов и представив, что может получиться, если он приведет их в исполнение, спросил я.

— Какой! Какой! Вот те и какой! Раб божий — вот какой! Он видел. Под присягу пойдет. Он врать не станет. Узнаешь у меня! Ишь вы волю-то взяли! Черт вшивый! Валяйся вот, сволочь, здесь до завтрава, и жрать не дам, а завтра урядник приедет, запротоколит об убийстве, а разговаривать начнешь — душу вышибу и отвечать не буду. Я хозяин! Валяйся тут, издыхай, собака! Собаке собачья и смерть! Тьфу!..

Он плюнул, растер плевок ногой и сказал:

— Вот ты кто передо мной! Плевок мой! Плюнул вот да ногой растер...

Он ушел, и немного погодя, крадучись кошачьей походкой, пожаловал ко мне сильно выпивший и, вероятно, подосланный «раб божий». Он наклонился ко мне и, тараща посоловелые глаза, заговорил:

— Что, раб божий, хорошо они тебя изукрасили? Да ты говори слава богу, что я был: я отнял тебя, не дал бить, а то бы Гаврила Анисимыч изувечил бы тебя в отделку. Я заступился. Молись за меня богу, раб божий! Кабы не я, покойник бы ты был!

И, помолчав и еще ниже наклонившись ко мне, громко не заговорил а, очевидно, чтобы его слышали, закричал:

— Ах, раб божий, раб божий, да нешто возможно так с хозяином обращаться! Ты то подумай: кто он? Ему от господа богатство, слава и власть дадены. Он господин, а мы рабы! А ты что дерзнул, а? Ты, раб, отверзнул руку на владыку! Ведь ты, кабы не я, убил бы Гаврилу-то Анисимыча, зарезал бы! И откуда у тебя, раб божий, ножик-то очутился, а?

И, видя, что я молчу, продолжал:

— А ты, раб божий, не сердись очень-то! Дьявол это тебя навел на зло. Он рад. Не сердись, говорю, раб

божий! Смирение паче всего. Проси хозяина, в ножки ему поклонись, проси, чтобы дело прикончил. Проси,— повторил он и сел около меня на землю,— а то пропадешь. Пропащее твое дело. Ты подумай: зарезать хотел, а? Не отпустит тебя теперь хозяин. Не-е-ет! А ты вот что, научу я тебя, раб божий! Скажи хозяину-то: «Простите, мол, Анисим Иваныч, Христа ради и дозвольте, мол, поступок мой перед вами загладить работой моей — бесплатной в течение месяца». Понял, раб божий? Поработай на него даром! Любит он это. Простит. А то пропадешь!.. Время теперь горячее, покос подошел, рабочая пора, ему народ нужен. У него ведь — не у нас с тобой: хозяйственное колесо заведено эна какое! Лошади, коровы, свиньи, птица — всего много!.. Овса одного скупает, когда надо, по дешевым ценам пудов по пятисот, а потом весной продает его по тройной цене. У него деньга́ деньгу родит! У него все начальство задарено. Никого не боится. А такого дерьма-то, как мы с тобой, он небось на своем веку не одну тыщу проглотил!

Он помолчал и продолжал:

— Хошь, раб божий, я хозяину скажу, попрошу за тебя? Скажу, что ты даром работать останешься на цельный месяц, чтобы вину свою тяжкую перед его милостью загладить?

Он опять замолчал, поджидая, не отвечу ли что-нибудь, и, видя, что нет, ушел.

Вырваться, уйти из этого ада кромешного мне удалось только рано утром на другой день, да и то как уйти!

Все время, до утра следующего дня, валялся я, связанный, там, где меня бросили. Есть мне не хотелось, а хотелось плакать от бессильной злости и пить.

Утром пришел ко мне «раб божий» с двумя толстомордыми кабацкими завсегдатаями, как их тогда называли «котами», которые, как это бывало в старину, постоянно один или два торчали по кабакам, трактирам, крали, если приходилось, у пьяных мужиков с телег и саней, что плохо лежит, снимали с лошадей оброти, срезали вожжи и тому подобное. Хозяева заведений обращали на них внимания меньше, чем на собак, помыкали ими, а иногда они служили у них «вышибалами», то есть выталкивали из трактира пьяных, как теперь говорят, «бузотеров».

За целковый и за водку они способны были избить, по указке хозяина, человека до полусмерти, «пустить только тепленького».

Они развязали меня, и все трое, глумясь, повели в трактир. В трактире было пусто. Посторонних гостей еще не было, а за хозяйским столиком, по сю сторону буфета, сидел, развалясь с папиросой в зубах, с красной, пьяной харей (тьфу, как сейчас гляжу на нее!) урядник вместе с хозяином и хозяйским сыном Ганькой.

Пришедшие со мной «коты» и «раб божий» отошли в сторону и сели, глядя, что будет.

Я встал спиной к двери на малое расстояние от нее и, увидя, в какой нахожусь компании, испугался. Что я мог сделать? Я был в ихних руках и мог ожидать от них всего худшего.

— Ты чего это, сволочь, здеся наделал, а? — держа в левой руке мой паспорт и выплюнув изо рта папироску, тараща пьяные рачьи глаза, захрипел урядник.— Кто ты эдакой, а? Експириатор ты, сукин сын! Как звать? Много ль лет? Православный? А ну-ка прочитай символ православной веры! Н-ну, сволочь, что молчишь? Читай!

— «Верую во единого бога отца, вседержителя, творца небу и земли»,— начал я, чувствуя, как в груди закипают и подступают к горлу слезы обиды и унижения.

— Ну, а скажи мне,— начал снова урядник,— кто есть я?

— Полицейский урядник.

— «Уря-я-дник»,— передразнил он меня.— Не «урядник», а господин урядник. Понял? Власть я, поставленная над вами, сволочами, от его императорского величества государя императора! Вот,— продолжал он,— твой вид у меня в руках. Захочу — отдам, а захочу — нет. Вас, сукиных сынов, учить надо!

— Отдайте мне мой паспорт,— сказал я,— сейчас же я и уйду.

— Гм-м, та-ак! «Отдайте»! Отдать, значит? Хо-о-рошо-с! О-о-очень хоро-о-шо-с!..

Он вдруг вскочил с места, затопал ногами и, как бешеный, заорал:

— Кланяйся, сволочь, хозяину в ноги! Становись на коленки, проси прощения.

«Эх-ма! — мысленно воскликнул я.— Черт с ним и с паспортом! Будь что будет. Спасаться надо, бежать!»

— Кланяйся! — опять заорал урядник.

Я быстро, как только мог, обернулся, выскочил за дверь, прихлопнул ее за собой, перебежал через дорогу и пустился наутек под горку, как заяц от собак.

— Де-е-ржи-и!..— послышалось позади, и раздался револьверный выстрел. Я обернулся. Два «кота» гнались за мной.

— Де-е-ржи-и-и!..

Я благополучно удрал.

1928

СОДЕРЖАНИЕ

С. П. Подъячев — *вступительная статья А. Котова* . . 3

Мытарства 17
Среди рабочих 94
У староверов 253
Разлад 333
Зло 374
Забытые 428
Семейное торжество 495
Шпитаты 554
Благодетель 577
В трудное время 595
Карьера Захара Федорыча Дрыкалина 621
Мимоходом 648
«За язык пропадаю» 653
Новые полсапожки 665
Понял 678
Письмо 685
Папаша хресный 697
Для хорошего человека 702
Нашел работу 707

Редактор *А. Ноткина*. Художник *Т. Зубченков*
Художествен. редактор *Г. Кудрявцев*. Технич. редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *А. Типольт*

Сдано в набор 25/X 1954 г. Подписано к печати 24/III 1955 г. А 01820.
Бумага 84 × 108 1/32 — 45 печ. л. = 36,9 условн. печ. л. 37,8 уч.-изд. л.
Тираж 150 000. Заказ № 3600. Цена 12 р. 85 к.

Гослитиздат. Москва, Ново-Басманная, 19.

3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

ГОСПОЛИТИЗДАТ
1951